

Библиотека Всемирной Литературы



О.ГЕНРИ

Короли и капуста. Рассказы



Библиотека Всемирной Литературы



О.ГЕНРИ  
Короли и капуста  
Рассказы

Перевод с английского

Серия основана издательством  
«ЭКСМО» в 2002 году

Москва



2005



УДК 82(1-87)  
ББК 84(7США)  
О 11

Перевод с английского

Вступительная статья *В. Татарникова*

В оформлении суперобложки использованы  
работы художников *Дж. Слоана* и *Т. Икинса*

Разработка серийного оформления  
художника *А. Бондаренко*

**О. Генри**

О 11 Короли и капуста. Рассказы / Пер. с англ. Вступ. ст. В. Татарникова. – М.: Изд-во “Эксмо”, 2005. – 896 с. – (Библиотека всемирной литературы).

УДК 82(1-87)  
ББК 84(7США)

© Вступ. статья. В. Татарнинов, 2004  
© Оформление. А. Бондаренко, 2004  
© Издание на русском языке.  
ООО “Издательство “Эксмо”, 2004

ISBN 5-699-07330-2

## Содержание

*Вадим Татарнинов. Дороги судьбы* ..... 9

### КОРОЛИ И КАПУСТА (1904 г.)

*Перевод К. Чуковского*

От переводчика	21
Присказка плотника	23
I. “Лиса-на-рассвете”	29
II. Лотос и бутылка	39
III. Смит	52
IV. Пойманы!	64
V. Еще одна жертва Купидона	77
VI. Игра и граммофон. <i>Перевод М. Лорие</i>	84
VII. Денежная лихорадка	98
VIII. Адмирал	109
IX. Редкостный флаг	118
X. Трилистник и пальма	129
XI. Остатки кодекса чести	147
XII. Башмаки	157
XIII. Корабли	168
XIV. Художники	177
XV. Дикки	193
XVI. Rogue et noir	206
XVII. Две отставки	216
XVIII. Витаграфоскоп	225

Из сборника "ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА" (1906 г.)

Элси в Нью-Йорке. Перевод М. Лорие .....	231
Дары волхвов. Перевод Е. Калашниковой .....	239
Из любви к искусству. Перевод Т. Озерской .....	245
Фараон и хорал. Перевод А. Горлина .....	253
Золото и любовь. Перевод Н. Дарузес .....	260
Неоконченный рассказ. Перевод под ред. М. Лорие .....	267
Меблированная комната. Перевод М. Лорие .....	274
Недолгий триумф Тильди. Перевод под ред. М. Лорие .....	281

Из сборника "СЕРДЦЕ ЗАПАДА" (1907 г.)

Санаторий на ранчо. Перевод Т. Озерской .....	291
Купидон порционно. Перевод под ред. М. Лорие .....	308
Елка с сюрпризом. Перевод Т. Озерской .....	328

Из сборника "ГОРЯЩИЙ СВЕТИЛЬНИК" (1907 г.)

Горящий светильник. Перевод И. Гуровой .....	345
Маятник. Перевод М. Лорие .....	357
Русские соболя. Перевод Т. Озерской .....	363
Чья вина? Перевод под ред. М. Лорие .....	371
Последний лист. Перевод Н. Дарузес .....	378

Из сборника "ГОЛОС БОЛЬШОГО ГОРОДА" (1908 г.)

Голос большого города. Перевод И. Гуровой .....	387
Персики. Перевод Е. Калашниковой .....	393
Смерть дуракам. Перевод под ред. М. Лорие .....	400
В Аркадии проездом. Перевод И. Гуровой .....	408

Из сборника "БЛАГОРОДНЫЙ ЖУЛИК" (1908 г.)

Трест, который лопнул. Перевод К. Чуковского .....	417
Джефф Питерс как персональный магнит. Перевод К. Чуковского .....	425
Развлечения современной деревни. Перевод К. Чуковского ..	433
Кафедра филантроматематики. Перевод К. Чуковского .....	442

Рука, которая терзает весь мир. Перевод К. Чуковского .....	451
Супружество как точная наука. Перевод К. Чуковского .....	458
Летний маскарад. Перевод М. Беккер .....	465
Простаки с Бродвея. Перевод М. Беккер .....	473
Стихший ветер. Перевод М. Беккер .....	481
Заложники Момуса. Перевод М. Беккер .....	502
Поросячья этика. Перевод К. Чуковского .....	519

Из сборника "ДОРОГИ СУДЬБЫ" (1909 г.)

Волшебный профиль. Перевод Н. Дарузес .....	533
Гнусный обманщик. Перевод под ред. М. Лорие .....	541
Превращение Джимми Валентайна. Перевод Н. Дарузес .....	554
Друзья из Сан-Розарио. Перевод Е. Калашниковой .....	563

Из сборника "НА ВЫБОР" (1909 г.)

Третий ингредиент. Перевод М. Лорие .....	583
Как скрывался Черный Билл. Перевод Т. Озерской .....	597
Спрос и предложение. Перевод Л. Беспаловой .....	611
Негодное правило. Перевод под ред. М. Лорие .....	623
Клад. Перевод М. Лорие .....	638

Из сборника "КОЛОВРАЩЕНИЕ" (1910 г.)

Вождь краснокожих. Перевод Н. Дарузес .....	653
Формальная ошибка. Перевод И. Гуровой .....	665
Жертва невпопад. Перевод Норы Галь .....	672
Дороги, которые мы выбираем. Перевод Н. Дарузес .....	677
Громила и Томми. Перевод Н. Дарузес .....	682
Сделка. Перевод под ред. М. Лорие .....	688
Мадам Бо-Пип на ранчо. Перевод И. Гуровой .....	704

Из сборника "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (1910 г.)

Деловые люди. Перевод И. Бернштейн .....	727
Младенцы в джунглях. Перевод Е. Калашниковой .....	740
Театр — это мир. Перевод Л. Беспаловой .....	747

День воскресения. <i>Перевод М. Кан</i> .....	756
Во втором часу у Руни. <i>Перевод Л. Беспаловой</i> .....	764
Психея и небоскреб. <i>Перевод М. Кан</i> .....	779

Из сборника “Всега понемножку” (1911 г.)

Ищейки. <i>Перевод М. Кан</i> .....	791
Налет на поезд. <i>Перевод Л. Беспаловой</i> .....	799
Родственные души. <i>Перевод Т. Озерской</i> .....	811
Джимми Хейз и Мьюриэл. <i>Перевод М. Лорие</i> .....	816
Коварство Харгрейвза. <i>Перевод М. Кан</i> .....	822

Из сборника “Под лежачий камень” (1912 г.)

Маркиз и мисс Салли. <i>Перевод Р. Гальперинной</i> .....	841
На помощь, друг! <i>Перевод Т. Озерской</i> .....	853
Я интервьюирую президента. <i>Перевод И. Гуровой</i> .....	865

Из сборника “Остатки” (1913 г.)

По кругу. <i>Перевод М. Кан</i> .....	873
Воробы на Мэдисон-сквере. <i>Перевод Норы Галь</i> .....	879
Исповедь юмориста. <i>Перевод М. Лорие</i> .....	883
Сердца и руки. <i>Перевод М. Кан</i> .....	893

Жизнь писателей часто похожа на их собственные произведения, и это легко объяснить: каждый пишет, в конечном счете, для себя и о себе, приукрашивая по мере необходимости. Например, вы ухаживали за девушкой, но у вас ничего не вышло. Это жизнь. А дальше вы сочиняете историю, герой которой — ваш двойник — либо успешно проходит с возлюбленной через горнило романтических испытаний, либо красиво разрушает все козни вероломной подружки, родни и т. д., но, так или иначе, добывается своего. Это литература. Однако самое интересное наступает, когда жизнь, словно резвясь, сама сочиняет судьбу писателю в духе его же сюжетов...

Вот, например, американского сочинителя, известного нам как *О. Генри*, на самом деле звали вовсе не О. Генри, и уж тем более не О’Генри, а *Уильям Сидни Портер*. Он родился 11 сентября 1862 года в Гринсборо (штат Северная Каролина, США), в семье врача.

Впрочем, об отце Уильяма известно немного: воспитанием сына он не занимался, пил горькую и, согласно одной из легенд, был известен всей округе как неудачник-изобретатель. Забросив врачебную практику, Эджернон Сидни Портер последние тридцать лет своей жизни провел в тщетных поисках оптимальной конструкции вечного двигателя и других полезных для человечества приспособлений. Увы, хотя после смерти Портера-старшего душеприказчики и обнаружили под его матрасом 38 патентов, оформленных по всем правилам, умер он в полной нищете.

Когда мальчику было три года, его мать Мэри Вирджиния умерла от туберкулеза. После этого воспитание маленького Билли легло на плечи дяди и тети. В 1867 году он пошел в шко-

лу, которой, кстати, руководила “мисс Лина” — его тетя Эвелин Портер.

В 16 лет Билл оставил школу и поступил учеником в аптеку дяди Кларка, где вначале занялся бухгалтерскими книгами, а со временем освоил и профессию фармацевта. На этом его формальное образование завершилось, а вот приключения, которые открыли Портеру в нем самом много такого, о чем он даже не подозревал, только начинались. Он освоил еще немало занятий, сохранив жадное любопытство к новым впечатлениям и острую наблюдательность, плодами которой вот уже более ста лет наслаждаются его читатели. Впрочем, в те годы Портер еще сам был страстным читателем, который только смутно осознавал в себе формирующийся талант.

Аптекарский магазин в тогдашней Америке, да еще в небольшом городке отличался тем, что помимо покупки препаратов, помогающих сохранить здоровье, там же его можно было и основательно подпортить: попить виски, выкурить сигару — другую, поговорить о политике.

Билл быстро освоился среди джентльменов, собиравшихся по вечерам в аптеке Кларка Портера и называвших себя “профессиональными южанами”. Именно в этой компании он впервые ощутил в себе дар творчества: завсегдагаи небольшого кружка от души хохотали над его карикатурами и смешными историями и сходились на том, что остроумием парня Бог не обидел.

В этом возрасте человек успеваеt все, а работа среди порошков, пыльных полок и подвыпившей публики, чадающей дешевыми сигарами, только подстегивает стремление прожить оставшуюся часть суток с выдумкой и разнообразием. Например, история знакомства Билла с предметом его юношеской страсти могла бы вполне вдохновить романиста средней руки: мать девушки забыла в приходской церкви молитвенник, и Портер оказался тем скромным и услужливым юношей, который не поленился занести ей домой эту небольшую книжечку, а заодно и познакомиться с ее дочерью.

Девушку звали Салли Коулман. Она не осталась равнодушной к серенадам под ее окнами (Билл неплохо пел и играл на гитаре), за которыми последовали долгие многообещающие вечерние прогулки и... разлука. Билла манили новые горизонты, и завести

почтенное семейство в Гринсборо пока явно не входило в его ближайшие планы. К тому же фармацевтов в его родном городе было и так достаточно, а у него начал развиваться подозрительный кашель, заставивший родственников вспомнить о туберкулезе, который так рано свел в могилу его мать. Поэтому Билл пообещал Салли, как водится, писать, и в 1882 году уехал в Техас.

Там он поселился на ранчо, принадлежавшем Ричарду Холлу, которого с Портерами из Гринсборо связывали теплые дружеские отношения. Физический труд на свежем воздухе сказался на здоровье Билла самым благоприятным образом, к тому же он встретил множество колоритных личностей из самых разных уголков страны, стремившихся воспользоваться возможностями, которые таил в себе Дикий Запад: трудяг-ковбоев, солдат удачи, бродяг, проходимцев и просто искателей приключений. Здесь же Билл на собственном опыте познал поэзию и прозу жизни на ранчо, знание которых впоследствии так поразило его читателей.

В 1884 году Билл перебрался в город Остин, столицу штата Техас, где провел последующие двенадцать лет, сначала работая клерком-чертежником в земельной конторе, а затем бухгалтером и кассиром в Первом национальном банке. Этому городу было суждено сыграть роковую роль в судьбе Билла Портера. Вначале он щедро оделил его счастьем и большими надеждами, а затем один за другим нанес несколько ударов, последствия которых Портер ощущал до конца жизни.

Еще работая в земельной конторе, на вечеринке у приятеля он познакомился с рыжеволосой и голубоглазой девушкой по имени Этол Эстес. Вскоре школьница и молодой клерк, живущий на 25 долларов в неделю (совсем как персонажи из новеллы писателя О. Генри!), поняли, что отныне они смогут существовать только вместе.

Проблема состояла в том, что мать и отчим Этол, желавшие видеть девушку надежно устроенной в жизни, прочили ее замуж за 28-летнего управляющего кожевенным заводом, и потому Портеру отказали жестко и наотрез. Однако влюбленных этот поворот событий совсем не смутил. Дождавшись, когда родные Этол отправятся в ежегодную недельную поездку к знакомым в другой город, они втайне от всех обвенчались 1 июля 1887 года.



Поскольку тестю и теще нужно было определенное время, чтобы привыкнуть к случившемуся и обнаружить в происшедшем светлые стороны, молодые отправились в свадебное путешествие. В их случае оно приняло форму поездки по окрестным городам и местечкам, где супруги останавливались с гостиницах и наслаждались той степенью свободы, которую могут себе позволить женатые, но еще не обремененные семейными заботами люди. Возвратившись в Остин, молодые поселились отдельно, однако уже к осени родственные связи были восстановлены. В 1889 году у Портеров родилась дочь, которую они назвали Маргарет.

В 1891 году Билл устроился на должность кассира в Первый национальный банк Остина. Материальное положение молодой семьи стало постепенно улучшаться, но ответственная и монотонная работа требовавшая постоянной сосредоточенности явно тяготила Портера. Он ощущал в себе творческие способности; стремление применить их на деле привело его в детройтскую газету "Фри Пресс".

Привыкнув видеть свои сочинения опубликованными в прессе, Билл замахнулся на большее: в 1894 году он, на паях с двумя знакомыми, купил за 250 долларов газету "Иконокласт" (борец с предрассудками) и, переименовав ее в "Роллинг Стоун" (непоседа, перекаати-поле), приступил к завоеванию техасского читателя.

С этого момента в жизни Билла Портера наступила полоса неудач. На четвертом номере газета прекратила свое существование, основательно опустошив карманы соиздателей. Вдобавок ревью обнаружил в банке крупную недостачу наличности, и Портер был отстранен от работы. Именно тогда у него появилась привычка периодически снимать накопившееся за день напряжение при помощи бутылки виски.

В середине 1895 года Билл продал газету за 100 долларов и вместе с Этол и шестилетней Маргарет переехал в Хьюстон, где ему предложили надежный источник дохода — место штатного сотрудника в газете "Хьюстон Пост".

Казалось бы, все стало в его жизни налаживаться, однако прошлое продолжало преследовать Портера — в банке, где он работал, закончилось расследование, и в феврале 1896 года Портер был вызван в суд Остина, где ему собирались предъявлено обвинение в хищении или растрате банковских средств.

Споры о том, был ли Портер виновен, не удастся разрешить уже никогда. Одни биографы говорят, что у него были все основания надеяться на оправдательный приговор, поскольку факты свидетельствовали скорее о небрежности в ведении отчетности, чем о преступных действиях, другие настаивают на обратном, уверяя, что Портер мог осмотрительно воспользоваться казенными деньгами — может заболел ребенок, или расходы на издание газеты вынудили влезть в долги.

Так или иначе, нервы Билла не выдержали и он, оставив семью в Хьюстоне, и не доехав до Остина, отправился в Новый Орлеан. Там он некоторое время поработал грузчиком, а затем с одним из грузовых пароходов приплыл в Гондурас. В этой Центральноамериканской стране тогда можно было встретить многих американцев, не поладивших с законом у себя на родине — по законам Гондураса преступники не подлежали выдаче американским властям.

Так Портер оказался в городе Трухильо; по одной из версий, он поселился прямо в американском консульстве. Местные нравы произвели на него неизгладимое впечатление; ярким свидетельством этому стал его первый сборник рассказов "Короли и капуста" (1904).

В Гондурасе Билл Портер близко сошелся с человеком нелегкой и рискованной судьбы — грабителем поездов Элем Дженнингсом; собственно, на деньги, добытые Дженнингсом и его сообщниками во время одного из последних дел (около тридцати тысяч долларов) они и существовали около года в Гондурасе, Мексике и других странах этого региона.

В конце июня 1897 года до Портера дошли известия, что Этол тяжело больна и находится при смерти. Тревога за Этол заставила Портера покинуть спасительный Гондурас и возвратиться в Хьюстон. Этол, покинутая им год назад, умерла у него на руках 25 июля. После этого Билл безропотно отдался в руки властей, снисходительно согласившихся повременить с арестом. Учитывая его попытку скрыться от правосудия в Гондурасе, суд не стал долго взвешивать вопрос о виновности Портера и приговорил его к пяти годам тюремного заключения.

Федеральная тюрьма в Коламбусе (штат Огайо), куда угодил Портер, конечно, не была санаторием, но именно она сыграла решающую роль в его становлении как писателя. Портеру очень при-

годились полученное когда-то фармацевтическое образование, благодаря которому он стал аптекарем при тюремной больнице. Так у него появилось свободное время, которое он использовал как нельзя лучше — зарабатывая пером деньги на содержание дочери, нашедшей приют у родственников.

Конечно, успех пришел не сразу, и одним из уроков, который Билл Портер извлек из своего общения с журналами, заключался в необходимости прибегать к псевдонимам — в добропорядочном американском обществе творчество заключенных не пользовалось популярностью, да и сама по себе невеселая судьба автора плохо гармонировала с его энергичными и жизнерадостными новеллами, полными бесшабашного оптимизма и веры в удачу.

Первым из его рассказов стал “Рождественский подарок Свистуна Дика”, напечатанный в “Макклор Мэгэзин” в 1899 году. Портер пользовался разными псевдонимами, но в конечном счете остановился на “О. Генри”, относительно происхождения которого существует несколько версий.

По одной из них, медицинской, Портер почерпнул свой псевдоним из фармацевтического справочника тех времен, где действительно значился французский врач Этьен Оссиан Анри (фамилия “Анри” по-английски звучит как “Генри”). Авторам “кошачьей” версии, безусловно, нельзя отказать в воображении: они утверждают, что “О. Генри” произошло от обращения будущего писателя к знакомому коту (“О, Генри!”); с которым Портер будто бы общался в доме у своей подружки или же на квартире у Джозефа Харелла, где Билл провел первые три года в Остине. Согласно самому прозаическому варианту, своим псевдонимом Портер был обязан тюремному надзирателю из Огайо Оррину Генри.

Тюрьма в Коламбусе не только помогла появиться на свет писателю О. Генри; здесь, как и в Техасе, и в Гондурасе он встретил многих прототипов своих будущих персонажей, услышал реальные сюжеты, которые словно просились в литературу.

Например, реальная история лежит в основе сюжета одной из известнейших новелл О. Генри “Превращение Джимми Валентайна” (1903). Прототипу Валентайна, заключенному Прайсу, обещали помилование, если он быстро и качественно выполнит работу, которую в данных обстоятельствах кроме него не мог сделать никто: откроет сейф с важными бумагами. Прайс выполнил

свою часть сделки, однако был обманут властями и вскоре после этого умер в тюремной больнице.

В новелле О. Генри все заканчивается, напротив, очень даже оптимистично, и это не случайно. Он знал, чего ждет от него читатель, потому что сам, в сущности, мечтал о том же самом: чтобы в жизни, несмотря на неудачи, все в итоге как-нибудь налаживалось, чтобы друзья были верными, а любовь — бескорыстной и настоящей. В мире О. Генри богачи часто оказывались глупыми и никчемными людьми, жулики и бандиты — благородными рыцарями, а искренние человеческие чувства — самой большой ценностью, которую нельзя купить ни за какие деньги.

Жизнь богата на совпадения: в тюрьме Билл вновь встретил старого приятеля Дженнингса, теперь уже получившего приличный срок за свои прошлые “подвиги”. Кстати, Дженнингсу принадлежат интересные воспоминания об этой дружбе “Сквозь мрак с О. Генри”. (“Through the Shadows with O. Henry”, в нашем переводе 20-х годов почему-то названные “О. Генри на дне”).

Считается, что историю, которая легла в основу рассказа О. Генри “Налет на поезд” (1904), первоначально, в 1902 году, попробовал описать именно Дженнингс, и основана она на реальных событиях его жизни. Готовя рассказ к печати, О. Генри обработал материал по-своему, постаравшись при этом сохранить “факты и мысли” Дженнингса. Кстати, первоначальное название рассказа — “Техника и юмор вооруженного ограбления”.

В тюрьме Портер провел чуть больше трех лет и был отпущен за поведение и полезную деятельность в тюремной аптеке. Для него самого время, проведенное в Коламбусе, навсегда осталось темным пятном в биографии, которое он старательно скрывал от посторонних глаз. Интересно, что позднее О. Генри “рассчитался” с прошлым в новелле “Друзья из Сан-Розарио”: там верный друг все-таки спас старого товарища от когтей банковского ревизора благодаря смелой и остроумной комбинации.

Дочери все это время рассказывали, что ее папа-репортер уехал в длительную зарубежную командировку. Иногда он посылал ей короткие шуточные записки вроде следующей: “Маргарет, посылаю тебе двадцать центов на неотложные расходы. Будь умницей и не покупай слишком много сладкого, а то тебя в солнечный день съедят пчелы и мне не придется с тобой встретиться”.

К лету 1901 года, когда наступило время досрочного освобождения, его произведения уже печатали крупнейшие американские журналы. В 1902 году Билл Портер перебрался в Нью-Йорк — теперь у него появилась возможность обеспечивать себе литературный труд.

Первые годы после переезда в Нью-Йорк О. Генри много и напряженно работал. В 1903 году он заключил контракт с самой многотиражной газетой Нью-Йорка “Санди Уорлд” на 52 новеллы в год по 100 долларов за каждую. В 1904 году он напечатал 66 новелл, в 1905 — 64. Теперь он мог позволить себе выделить 1 000 долларов на покупки для дочери, которая жила с бабушкой в Питтсбурге или провести ночь в самом дорогом нью-йоркском ресторане и дать швейцару на чай 10-долларовую купюру.

И все же, несмотря на возрастающую популярность среди читателей и издателей, годы литературного успеха О. Генри стали для писателя не самым светлым периодом в жизни: деньги у него исчезали с той же быстротой, что и появлялись, рукописи вечно поступали в редакции в последний момент, а ежедневная норма потребления виски именно в эти годы дошла у него в среднем до двух кварт в день (одна американская кварта — это 0,95 литра).

Его образ жизни остался по-прежнему, замкнутым: он мало общался с братьями по перу, категорически возражал против публикации своего портрета в газетах и очень не любил тратить время на разговоры о литературном мастерстве. Больше всего О. Генри нравилось бродить по Нью-Йорку, который он называл “Багдадом-на-подземке”: затерявшись в шумной толпе, он наблюдал за окружающими, вступал с ними в беседы, попутно подбирая героев для своих будущих произведений. Он стал настоящим летописцем событий, происходящих в нью-йоркских магазинах, квартирах, офисах и барах.

Впрочем, О. Генри, когда дело касалось занятной истории, обращался и к международной политике. Например, в 1904 году вождь марокканских кочевников Райсули похитил грека по фамилии Пердикарис. Оказалось, однако, что грек обладал не только непростой фамилией, но и связями в Белом доме. Поэтому когда вождь марокканских индейцев потребовал за Пердикариса выкуп, Соединенные Штаты отправили к берегам Марокко небольшой военный флот с миротворческой миссией. В итоге крайним

оказался марокканский султан, которому сначала пришлось выкупить Пердикариса у вождя, а потом еще и выплатить компенсацию американцам — за беспокойство. О. Генри обыграл эту ситуацию в новеллах “Заложники Момуса” и “Вождь краснокожих”.

В 1907 году О. Генри женился во второй раз, на Салли Линдси Коулман, за которой он когда-то ухаживал еще в Гринборо — она дала знать о себе, догадавшись по некоторым сюжетам, кто скрывается за псевдонимом О. Генри. Сюжет складывался вполне в духе его лучших новелл, но для него возможность что-либо изменить в своей неуклонно катившейся под откос жизни, видимо, к тому времени исчезла уже навсегда: брак оказался неудачным и спустя год они расстались.

Уильям Сидни Портер-О. Генри умер от цирроза печени 5 июня 1910 года, и был похоронен в родных краях, в Эшвилле. Никогда не умевший позаботиться о своих делах, он умер буквально нищим.

Популярность О. Генри продолжала расти и после его смерти. Один американский ученый вспоминал, как он в те годы во время одной из поездок разговорился с фермером на Среднем Западе. В ответ на вопрос, читал ли он О. Генри, фермер с чувством ответил: “Профессор, это литература, это *настоящая* литература”. С этим фермером в США и сейчас согласятся многие — до сих пор О. Генри входит в число американских классиков, пользующихся у читателей наибольшей любовью.

За всю свою жизнь О. Генри написал почти триста художественных произведений. В историю американской литературы он вошел как писатель на редкость аполитичный, чуждый глубоким социально-аналитическим полотнам, предпочитавший идеально выстроенные сюжеты и острые, неожиданные финалы. Герои его новелл — чаще всего жертвы совпадений или роковой случайности. О. Генри не стремится исследовать психологические глубины сознания своих героев, он лишь переполнен сочувствием к ним, и их слабостям.

Естественность характеров его персонажей, тонкость и верность авторского наблюдения являются неоспоримым достоинством прозы О. Генри. Кстати, писал О. Генри на языке улицы, простых людей, без литературной вычурности (однако именно эта

особенность его произведений, меньше всего ощущается в переводах).

Все написанное О. Генри публиковалось в книгах “Короли и капуста” (1904), “Четыре миллиона” (1906), “Сердце Запада” (1907), “Горящий светильник” (1907), “Голос большого города” (1908), “Благородный жулик” (1908), “Дороги судьбы” (1909), “На выбор” (1909), “Деловые люди” (1910), “Коловращение” (1910), а также в трех посмертных сборниках: “Всего понемножку” (1911), “Под лежащий камень” (1912) и “Остатки” (1917). В 1917 году было выпущено Полное собрание сочинений О. Генри в 14-ти томах.

Писатели и литературоведы так и не пришли к единому мнению о том, кем же был О. Генри — классиком или просто сочинителем развлекательных рассказов на потребу публики.

Не вдаваясь в тонкости профессиональных диспутов, позволим себе в заключение привести мнение самого О. Генри относительно особенностей писательского труда, выраженное в свойственной ему манере: “Прежде всего нужен кухонный стол, табуретка, карандаш, лист бумаги и подходящий по размеру стакан. Это орудия труда. Далее, вы достаете из шкафа бутылку виски и апельсины — продукты, необходимые для поддержания писательских сил. Начинается разработка сюжета (можете выдать ее за вдохновение). Подливаете в виски апельсиновый сок, выпиваете за здоровье журнальных редакторов, точите карандаш, принимаетесь за работу. К моменту, когда апельсины все выжаты и бутылка пуста, ваш рассказ завершен и пригоден к продаже”.

*Вадим Татаринов*

## КОРОЛИ И КАПУСТА



Морж и Плотник гуляли по берегу. У берега они увидели устриц. Им захотелось полакомиться, но устрицы зарылись в песок и глубоко сидели в воде. Морж, чтобы выманить их из засады, предложил им пойти прогуляться.

— Приятная прогулка! Приятный разговор! — соблазнил он простодушных устриц.

Те поверили и побежали за ним, как цыплята.

— Давайте же начнем! — сказал Морж, усаживаясь на прибрежном камне. — Пришло время потолковать о многих вещах; о башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о капусте и о королях.

Но, несмотря на такую большую программу, рассказ Моржа оказался очень коротким — скоро слушатели все до одного были съедены.

Эту печальную балладу знают решительно все англичане, так как она напечатана в их любимейшей детской книге “Сквозь зеркало”, которую они читают с раннего детства до старости. Сочинил ее Льюис Кэрролл, автор “Алисы в волшебной стране”. Книга “Сквозь зеркало” есть продолжение “Алисы”.

Повторяем: Морж ничего не сказал ни о башмаках, ни о кораблях, ни о сургучных печатях, ни о королях, ни о капусте. Вместо него сделал это О. Генри. Он так и озаглавил эту книгу — “Короли и капуста”, и принял все меры к тому, чтобы “выполнить обещания” Моржа. В ней есть глава “Корабли” есть глава “Башмаки” в ней, уже во второй главе, фигурирует сургуч, и если чего в ней нет, так только королей и капусты. Не потому ли имен-

но эти слова поставлены в заглавии книги? Но автор утешает нас тем, что вместо королей у него президенты, а вместо капусты — пальмы.

Сам же он — Плотник, меланхолический спутник Моржа, и свою присказку ведет от лица Плотника.

## ПРИСКАЗКА ПЛОТНИКА

Вам скажут в Анчурии, что глава этой углой республики, президент Мирафлорес, погиб от своей собственной руки в прибрежном городишке Коралио; что именно сюда он убежал, спасаясь от невзгод революции, и что казенные деньги, сто тысяч долларов, которые увез он с собой в кожаном американском саквояже на память о бурной эпохе своего президентства, так и не были найдены во веки веков.

За один реал любой мальчишка покажет вам могилу президента. Эта могила — на окраине города, у небольшого мостика над болотом, заросшим манговыми деревьями. На могиле, в головах, простая деревянная колода. На ней кто-то выжиг каленым железом:

РАМОН АНХЕЛЬ ДЕ ЛАС КРУСЕС  
И МИЛОФЛОРЕС  
ПРЕЗИДЕНТЕ ДЕ ЛА РЕСПУБЛИКА  
Е АНЧУРИА

*Да будет ему судьбою господь!*

В надписи сказался характер этих легких духом и незлобивых людей: они не преследуют того, кто в могиле. “Да будет ему судьбою господь!” Даже потеряв сто тысяч долларов, о которых они все еще продолжают вздыхать, они не питают вражды к похитителю.

Незнакомцу или заезжему человеку жители Коралио расскажут о трагической кончине своего бывшего президента. Они расскажут, как он пытался убежать из их республики с казенными деньгами и донной Изабеллой Гилберт, молодой американской певичкой; как, пойманный в Коралио членами оппозиционной политической партии, он предпочел застрелиться, лишь бы не расстаться с деньгами и сеньоритою Гилберт. Дальше они расскажут, как донна Изабелла, почувствовав, что ее предприимчивый челнок на мели, что ей не вернуть ни знатного любовника, ни суверена в сто тысяч, бросила якорь в этих стоячих прибрежных водах, ожидая нового прилива.

Еще вам расскажут в Коралио, что скоро ее подхватило благоприятное и быстрое течение в лице американца Франка Гудвина, давнего жителя этого города, негоцианта, создавшего себе состояние на экспорте местных товаров. Это был банановый король, каучуковый принц, герцог кубовой краски и красного дерева, барон тропических лекарственных трав. Вам расскажут, что сеньорита Гилберт вышла замуж за сеньора Гудвина через месяц после смерти президента и, таким образом, в тот самый момент, когда Фортуна перестала улыбаться, отвоевала у нее, вместо отнятых этой богиней даров, новые, еще более ценные.

Об американце Франке Гудвине и его жене здешние жители могут сказать только хорошее. Дон Франк жил среди них много лет и добился большого почета. Его жена стала — без всяких усилий — царицей великосветского общества, поскольку таковое имеется на этих непритязательных берегах. Сама губернаторша, происходящая из гордой кастильской фамилии Монтелеон-и-Долороса-де-лос-Сантос-и-Мендес, и та считает за честь развернуть салфетку своей оливковой ручкой, украшенной кольцами, за столом у сеньоры Гудвин. Если в вас еще живут суеверия Севера и вы попробуете намекнуть на то недавнее прошлое, когда миссис Гудвин была опереточной дивой и своей бестрепетно бойкой манерой увлекла немолодого президента, если вы заговорите о той роли, которую она сыграла в преступлениях и

гибели этого сановника, — жители Коралио, как истые латины, только пожмут плечами, и это будет их единственный ответ. Если у них и существует предвзятое мнение в отношении сеньоры Гудвин, это мнение целиком в ее пользу, как-то бы оно ни было в прошлом.

Казалось бы, здесь не начало, а конец моей повести. Трагедия кончена. Романтическая история дошла до своего апогея, и больше уже не о чем рассказывать. Но читателю, который еще не насытил своего любопытства, покажется, пожалуй, поучительным всмотреться поближе в те нити, которые являются основой замысловатой ткани всего происшедшего.

Колоду, на которой начертано имя президента Мирафлореса, ежедневно трут песком и корою мыльного дерева. Старик метис преданно ухаживает за этой могилой со всею тщательностью прирожденного лодыря. Широким испанским ножом он выпалывает сорные растения и пышную, сочную траву. Своими загрубелыми пальцами он выковыривает муравьев, скорпионов, жуков; ежедневно он ходит за водою на площадь к городскому фонтану, чтобы окропить дерн на могиле. Нигде во всем городе ни за одной могилой не ухаживают так, как за этой.

Только высмотрев тайные нити, вы уясните себе, почему этот старый индеец Гальвес получает по секрету жалованье за свою нехитрую работу, и почему это жалованье платит Гальвесу такая особа, которая и в глаза не видала президента, ни живого, ни мертвого, и почему, чуть наступают сумерки, эта особа так часто приходит сюда и бросает издалека печальные и нежные взгляды на бесславную насыпь.

О стремительной карьере Изабеллы Гилберт вы можете узнать не в Коралио, а где-нибудь на стороне. Новый Орлеан дал ей жизнь и ту смешанную испано-французскую кровь, которая внесла в ее душу столько огня и тревоги. Образования она почти не получила, но выучилась каким-то инстинктом оценивать мужчин и те пружины, которые управляют их действиями. Необыкновенная страсть к приключениям, к опасностям и наслаждениям жизни была свойственна ей в

большей мере, чем обычным, заурядным женщинам. Ее душа могла порвать любые цепи; она была Евой, уже отведавшей запретного плода, но еще не ощутившей его горечи. Она несла свою жизнь, как розу у себя на груди.

Из всех бесчисленных мужчин, которые толпились у ее ног, она, говорят, снизошла лишь к одному. Президенту Мирафлоресу, блестящему, но беспокойному правителю Анчурийской республики, отдала она ключ от своего гордого сердца. Как же это так могло случиться, что она, если верить туземцам, стала супругой Франка Гудвина и зажила без всякого дела дремотною, тусклою жизнью?

Далеко простираются тайные нити — через море, к иным берегам. Если мы последуем за ними, мы узнаем, почему сыщик О'Дэй, по прозванию Коротыш, служивший в Колумбийском агентстве, потерял свое место. А чтобы время прошло веселее, мы сочтем своим долгом и приятной забавой прогуляться вместе с Момусом<sup>1</sup> под звездами тропиков, где некогда, печально суровая, гордо выступала Мельпомена<sup>2</sup>. Смеяться так, чтобы проснулось эхо в этих роскошных джунглях — и хмурых утесах, где прежде слышались крики людей, на которых нападают пираты, отшвырнуть от себя копье и тесак и кинуться на арену, вооружившись насмешкой и радостью; из заржавленного шлема романтической сказки извлекать благодатную улыбку веселья — сладостно заниматься такими делами под сенью лимонных деревьев, на этом морском берегу, похожем на губы, которые вот-вот засмеются.

Ибо живы еще предания о прославленных "Испанских морях". Этот кусок земли, омываемый бушующим Караибским морем и выславший навстречу ему свои страшные тропические джунгли, над которыми высится заносчивый хребет Кордильер, и теперь еще полон тайн и романтики. В былые годы повстанцы и морские разбойники будили отклики среди этих скал, на побережье, работая мечами и

1 Момус — шут богов, бог насмешки.

2 Мельпомена — муза трагедии.

кремневыми ружьями в зеленых прохладах и снабжая обильной пищей вечно кружащихся над ними кондоров. Эти триста миль береговой полосы, столь знаменитой в истории, так часто переходили из рук в руки, то к морским бродягам, то к неожиданно восставшим мятежникам, что едва ли они знали хоть раз за все эти сотни лет, кого называть своим законным владыкой. Пизарро, Бальбоа, сэр Фрэнсис Дрэйк и Боливар<sup>1</sup> сделали все, что могли, чтобы приобщить их к христианскому миру. Сэр Джон Морган, Лафит<sup>2</sup> и другие знаменитые хвастуны и громылы терзали их и засыпали их ядрами во имя сатаны Аваддона.

То же происходит и сейчас. Правда, пушки бродяг замолчали, но разбойник-фотограф (специалист по увеличению портретов), но шелкающий кодаком турист и передовые отряды благовоспитанной шайки факиров вновь открыли эту страну и продолжают ту же работу. Торгаши из Германии, Сицилии, Франции выуживают отсюда монету и набивают ею свои кошельки. Знатные проходимцы толпятся в прихожих здешних повелителей с проектами железных дорог и концессий. Крошечные опереточные народы забавляются игрою в правительства, покуда в один прекрасный день в их водах не появляется молчаливый военный корабль и говорит им: не ломайте игрушек! И вслед за другими приходит веселый человек, искатель счастья, с пустыми карманами, которые он жаждет наполнить, пронырливый, смысленный делец — современный сказочный принц, несущий с собою будильник, который лучше всяких поцелуев разбудит эти прекрасные тропики от тысячелетнего сна. Обычно он привозит с собою трилистник<sup>3</sup> и кичливо во-

1 Франсиско Писарро (1475–1517) — испанец, завоеватель Перу; Бальбоа (1475–1571) — испанец, один из первых исследователей, добравшихся до Тихого океана; сэр Фрэнсис Дрэйк (1540–1596) — англичанин, мореплаватель и колонизатор; Боливар (1783–1830) — виднейший борец за независимость испанских колоний в Центральной и Южной Америке.

2 Дж. Морган (1635–1688) — английский пират и завоеватель; Лафит (1780–1825) — французский корсар и путешественник.

3 Трилистник — национальное растение Ирландии, ее эмблема и герб.



дружает его рядом с экзотическими пальмами. Он-то и выгнал из этих мест Мельпомену и заставил Комедию плясать при свете лампы Южного Креста.

Так что, видите, нам есть о чем рассказать. Пожалуй, неразборчивому уху Моржа эта повесть полюбится больше всего, потому что в ней и вправду есть и корабли и башмаки, и сургуч, и капустные пальмы, и (взамен королей) президенты.

Прибавьте к этому щепотку любви и заговоров, посыпьте это горстью тропических долларов, согретых не только пылающим солнцем, но и жаркими ладонями искателей счастья, и вам покажется, что перед вами сама жизнь — столь многословная, что и болтливейший из Моржей утомится.

## I

## “ЛИСА-НА-РАССВЕТЕ”

Коралио нежился в полуденном зное, как томная красавица в сурово хранимом гареме. Город лежал у самого моря на полоске наносной земли. Он казался брильянтиком, вкрапленным в ярко-зеленую ленту. Позади, как бы даже нависая над ним, вставала — совсем близко — стена Кордильер. Впереди расстиралось море, улыбающийся тюремщик, еще более неподкупный, чем хмурые горы. Волны шелестели вдоль гладкого берега, попугаи кричали в апельсиновых и чибовых деревьях, пальмы склоняли свои гибкие кроны, как неуклюжий кордебалет перед самым выходом примабалерины.

Внезапно город закипел и взволновался. Мальчишка-туземец пробежал по заросшей травой улице, крича во все горло: “Busca el Señor Гудвин! Ha venido un telègrafo por el!”<sup>1</sup>

Весь город услышал этот крик. Телеграммы не часто приходят в Коралио. Десятки голосов с готовностью подхватили воззвание мальчишки. Главная улица, параллельная берегу, быстро переполнилась народом. Каждый предлагал свои услуги по доставке этой телеграммы. Женщины с самыми разноцветными лицами, начиная от светло-оливковых и кончая темно-коричневыми, кучками собрались на углах и запели мелодично и жалобно: “Un telègrafo para Señor Гудвин!” Comandante дон сеньор Эль Коронель Энкарнасион Риос, который был сторонником правящей пар-

<sup>1</sup> Разыщите сеньора Гувина! Для него получена телеграмма! (исп.)

тии и подозревал, что Гудвин на стороне оппозиции, с присвистом воскликнул: “Эге!” — и записал в свою секретную записную книжку изобличающую новость, что сеньор Гудвин такого-то числа получил телеграмму.

Кутерьма была в полном разгаре, когда в дверях небольшой деревянной постройки появился некий человек и выглянул на улицу. Над дверью была вывеска с надписью: “Кью и Клэнси”; такое наименование едва ли возникло на этой тропической почве. Человек, стоявший в дверях, был Билли Кью, искатель счастья и борец за прогресс, новейший пират Караибского моря. Цинкография и фотография — вот оружие, которым Кью и Клэнси осаждали в то время эти неподатливые берега. Снаружи у дверей были выставлены две большие рамы, наполненные образцами их искусства.

Кью стоял на пороге, опершись спиной о косяк. Его веселое, смелое лицо выражало явный интерес к необычному оживлению и шуму на улице. Когда он понял, в чем дело, он приложил руку ко рту и крикнул: “Эй! Франк!” — таким зычным голосом, что все крики туземцев были заглушены и умолкли.

В пятидесяти шагах отсюда, на той стороне улицы, что поближе к морю, стояло обиталище консула Соединенных Штатов. Из этого-то дома вывалился Гудвин, услышав громогласный призыв. Все это время он курил трубку вместе с Уиллардом Джемми, консулом Соединенных Штатов, на задней веранде консульства, которая считалась прохладнейшим местом в городе.

— Скорее! — крикнул Кью. — В городе и так уж восстание из-за телеграммы, которая пришла на ваше имя. Не шутите такими вещами, мой милый. Надо же считаться с народными чувствами. В один прекрасный день вы получите надутенную фиалками розовую записочку, а в стране из-за этого произойдет революция.

Гудвин запагал по улице и разыскал мальчишку с телеграммой. Волоокие женщины взирали на него с боязливым восторгом, ибо он был из той породы, которая для женщин

притягательна. Высокого роста, блондин, в элегантно белоснежном костюме, в *zaratos*<sup>1</sup> из оленьей кожи. Он был чрезвычайно учтив; его учтивость внушала бы страх, если бы ее не умеряла сострадательная улыбка. Когда телеграмма была, наконец, вручена ему, а мальчишка, получив свою маду, удалился, толпа с облегчением вернулась под прикрытие благодетельной тени, откуда выгнало ее любопытство: женщины — к своей стряпне на глиняных печурках, устроенных под апельсиновыми деревьями, или к бесконечному расчесыванию длинных и гладких волос, мужчины — к своим папиросам и разговорам за бутылкой вина в кабаках.

Гудвин присел на ступеньку около Кью и прочитал телеграмму. Она была от Боба Энглхарта, американца, который жил в Сан-Матео, столице Анчурии, в восьмидесяти милях от берега. Энглхарт был золотоискатель, пылкий революционер и вообще славный малый. То, что он был человеком находчивым и обладал большим воображением, доказывала телеграмма, которую получил от него Гудвин. Телеграмма была строго конфиденциального свойства, и потому ее нельзя было писать ни по-английски, ни по-испански, ибо политическое око в Анчурии не дремлет. Сторонники и враги правительства ревностно следили друг за другом. Но Энглхарт был дипломатом. Существовал один-единственный код, к которому можно было прибегнуть с уверенностью, что его не поймут посторонние. Это могучий и великий код уличного простонародного нью-йоркского жаргона. Так что, сколько ни ломали себе голову над этим посланием чиновники почтово-телеграфного ведомства, телеграмма дошла до Гудвина никем не разобранная.

Вот ее текст:

“Его пустозвонство юркнул по заячьей дороге со всей монетой в кисете и пучком кисей, от которого он без ума. Куча стала поменьше на пятерку нолей. Наша банда процветает, но без круг-

<sup>1</sup> Туфли (исп.).

ляшек туго. Сгребите их за шиворот. Главный вместе с кисейным товаром держит курс на соль. Вы знаете, что делать.

Боб.

Для Гудвина эта нескладница не представила никаких затруднений. Он был самый удачливый из всего американского авангарда искателей счастья, проникших в Анчурию, и, не будь у него способности предвидеть события и делать выводы, он едва ли достиг бы столь завидного богатства и почета. Политическая интрига была для него коммерческим делом. Благодаря своему большому уму он оказывал влияние на главарей-заговорщиков; благодаря своим деньгам он держал в руках мелкоту — второстепенных чиновников. В стране всегда существовала революционная партия, и Гудвин всегда готов был служить ей, ибо после всякой революции ее приверженцы получали большую награду. И теперь существовала либеральная партия, жаждавшая свергнуть президента Мирафлореса. Если колесо повернется удачно, Гудвин получит концессию на тридцать тысяч акров лучших кофейных плантаций внутри страны. Некоторые недавние поступки президента Мирафлореса навели его на мысль, что правительство падет еще раньше, чем произойдет очередная революция, и теперь телеграмма Энгхарта подтверждала его мудрые догадки.

Телеграмма, которую так и не разобрали анчурийские лингвисты, тщетно пытавшиеся приложить к ней свои знания испанского языка и начатков английского, сообщала Гудвину важные вести. Она уведомила его, что президент республики убежал из столицы вместе с вверенными ему казенными суммами; далее, что президента сопровождает в пути обольстительная Изабелла Гилберт, авантюристка, певица из оперной труппы, которую президент Мирафлорес вот уже целый месяц чествовал в своей столице так широко, что, будь актеры королями, они и то могли бы удовольствоваться меньшими почестями. Выражение “заячья дорога” означало вьючную тропу, по которой шел весь транспорт между столицей и Коралио. Сообщение о “ку-

че”, которая стала меньше на пятерку нолей, ясно указывало на печальное состояние национальных финансов. Также было до очевидности ясно, что партии, стремящейся к власти и не нуждающейся уже в вооруженном восстании, “придется очень туго без кругляшек”. Если она не отнимет похищенных денег, то, приняв во внимание, сколько военной добычи придется раздать победителям, невеселое будет положение у новых властей. Поэтому было совершенно необходимо “сгрести главного за шиворот” и вернуть средства для войны и управления.

Гудвин передал депешу Кьюу.

— Прочитайте-ка, Билли. Это от Боба Энгхарта. Можете вы разобрать этот шифр?

Кьюу сел на пороге и начал внимательно читать телеграмму.

— Это совсем не шифр, — сказал он, наконец. — Это называется литературой, это некая языковая система, которую навязывают людям, хотя ни один беллетрист не познакомил их с нею. Выдумали ее журналы, но я не знал, что телеграфное ведомство приложило к ней печать своего одобрения. Теперь это уже не литература, а язык. Словари, как ни старались, не могли вывести его за пределы диалекта. Ну, а теперь, когда за ним стоит Западная Телеграфная, скоро возникнет целый народ, который будет говорить на нем.

— Все это филология. Билли, — сказал Гудвин. — А понимаете ли вы, что здесь написано?

— Еще бы! — ответил философ-практик. — Никакой язык не труден для человека, если он ему нужен. Я как-то ухитрился понять даже приказ улетучиться, произнесенный на классическом китайском языке и подтвержденный дулом мушкета. Это маленькое произведение изящной словесности называется “Лиса-на-рассвете”. Играли вы в эту игру, когда были мальчишкой?

— Как будто, — ответил Франк со смехом. — Все берутся за руки и...

— Нет, нет, — перебил его Кьюу. — Я говорю вам про отличную боевую игру, а вы пугаете ее с игрою “Вокруг куста”.

“Лиса-на-рассвете” не такая игра — за руки здесь не берутся, напротив! Играют так: этот президент и дама его сердца, они вскакивают в Сан-Матео и, приготовившись бежать, кричат: “Лиса-на-рассвете!” Мы с вами вскакиваем здесь и кричим: “Гусь и гусыня!” Они говорят: “Далеко ли до города Лондона?” Мы отвечаем: “Близехонько, если у вас длинные ноги”. И потом мы спрашиваем: “Сколько вас?” — и они отвечают: “Больше чем вы можете поймать!” И после этого игра начинается.

— В том-то и дело! — сказал Гудвин. — Нельзя, чтобы гусак и гусыня ускользнули у нас между пальцев: очень уж у них дорогие перья. Наша партия готова хоть сегодня взять на себя верховную власть; но если касса пуста, мы останемся у власти не дольше, чем белоручка на необъезженном мустанге. Мы должны играть в лисицу на всем берегу, чтобы не дать белгцам улизнуть...

— Если они едут на мулах, — сказал Кью, — они доберутся сюда — только на пятый день. Времени достаточно. Всюду, где можно, мы установим наблюдательные посты. Есть только три места на всем побережье, откуда они могут попасть на корабль: наш город, Солитас и Аласан. Там и нужно поставить стражу. Все это просто, как шахматная задача, — шах лисой и мат в три хода. Ах, гусыня и гусак, вот попали вы впросак! Милостью литературного телеграфа, сокровища нашего захолустного отечества попадают прямо в руки честной политической партии, которая только и мечтает, как бы перевернуть его вверх тормашками.

Кью был прав. Путь из столицы был долгий и тяжкий. Неприятности сыпались одна за другой: лютая стужа сменялась жестоким зноем, из безводной пустыни вы попадали в болото. Тропинка карабкалась по ужасающим высям, вилась, как полусгнившая веревочка, над захватывающими дыханием безднами, ныряла в ледяные, сбегаящие со снежных вершин ручьи и скользила, как змея, по лесам, куда не проникает луч солнца, среди опасных насекомых и зверей. Спустившись с гор, эта дорога превращалась в трезубец, причем средний зубец вел в Аласан, один из боковых — в

Коралию, другой — в Солитас. Между горами и морем лежала полоса наносной земли в пять миль шириной; здесь тропическая растительность приобретала особое богатство и разнообразие. Там и сям небольшие участки земли были отвоеваны у джунглей и на них разведены плантации сахарного тростника и бананов и апельсиновые рощи. Вся же остальная земля являла буйство бешеной растительности, где жили обезьяны, тапиры, ягуары, аллигаторы, чудовищные насекомые и гады. Где не было просеки, там была такая чаща, что змея — и та с трудом протискивалась сквозь путаницу ветвей и лиан. По предательским трясинам, покрытым тропической зеленью, могли двигаться главным образом крылатые твари. Бежавший президент и его спутница могли добраться до берега лишь по одной из описанных трех дорог.

— Только, Билли, не болтать никому! — посоветовал Гудвин. — Незачем нашим врагам знать, что президент сбежал. Я думаю, что в столице это мало кому известно. Иначе Боб не прислал бы мне секретной телеграммы. Да и в нашем городе давно кричали бы об этом. Теперь я пойду к доктору Савалья, и мы пошлем нашего человека перерезать телеграфный провод.

Когда Гудвин поднялся, Кью швырнул свою шляпу в траву перед дверью и испустил потрясающий вздох.

— Что случилось. Билли? — спросил Гудвин, останавливаясь. — Первый раз в жизни я слышу, что вы вздыхаете.

— И последний, — сказал Кью. — Этим скорбным дуновением ветра я обрекаю себя на жизнь, преисполненную похвальной, хоть и очень нудной честности. Что такое, скажите на милость, фотография по сравнению с возможностями великого и веселого класса гусаков и гусынь? Не то чтобы мне хотелось стать президентом, Франк, — и с таким богатством, как у него, я все равно не совладал бы, — но как-то совесть мучает, что засел тут и снимаю эти физиономии, вместо того чтобы набить карманы и удрать. Франк, а видели вы этот “пучок кисей”, который его превосходительство свернул по швам и увез с собою?



— Изабеллу Гилберт? — спросил Гудвин смеясь. — Нет, не видел. Но слышал о ней много, и мне кажется, что справиться с нею будет не так то легко. Она пойдет напролом, будет драться и когтями и зубами. Не обольщайте себя романтическими мечтами, Билли. Иногда я начинаю подозревать, не течет ли в ваших жилах ирландская кровь.

— Я тоже никогда не видал этой дамы, — продолжал Кьюу, — но говорят, что рядом с нею все красавицы, прославленные в поэзии, мифологии, скульптуре и живописи, кажутся дешевыми клише. Говорят, что стоит ей взглянуть на мужчину, и он тотчас же превращается в мартышку и лезет на самую высокую пальму, чтобы сорвать ей кокосовый орех. Счастье этому президенту, ей-богу! Вы только вообразите себе: в одной руке у него черт знает сколько сотен и тысяч долларов, в другой — эта кисейная сирена, он скачет сломя голову на близком его сердцу осле, кругом пение птиц и цветы. А я, Билли Кьюу, по причине своего великого благородства, должен корпеть в этой глупой дыре и, ради насущного хлеба, бессовестно коверкать физиономии этих животных лишь потому, что я не вор и не мошенник. Вот она, справедливость!

— Не горюйте! — сказал Гудвин. — Что это за лисица, которая завидует гусю? Кто знает, быть может, прелестная Гилберт почувствует влечение к вам и к вашей цинкографии после того, как мы отнимем у нее президента.

— Что будет совсем не глупо с ее стороны! — сказал Кьюу. — Но этому не бывать, она достойна украшать галерею богов, а не выставку цинкографических снимков. Она очень порочная женщина, а этому президенту просто повезло. Но я слышу, что там, за перегородкой, ругается Клэнси: ворчит, что я лодырничая, а он делает за меня всю работу.

Кьюу нырнул за кулисы своего ателье, и скоро оттуда донесся его неунывающий свист, который как будто сводил на нет его недавний вздох по поводу сомнительной удачи беглого президента.

Гудвин свернул с главной улицы в боковую, которая была гораздо уже и пересекала главную под прямым углом.

Эти боковые улицы были покрыты буйной травой, которую ревностно укрощали кривые ножи полицейских — для удобства пешего хождения. Узенькие каменные тротуары бежали вдоль невысоких и однообразных глинобитных домов. На окраинах эти улицы таяли, и там начинались крытые пальмовыми ветвями лачуги караибов и туземцев победнее, а также плюгавые хижины ямайских и вест-индских негров. Несколько зданий возвышалось над красными черепичными крышами одноэтажного города: башня тюрьмы, отель де лос Эстранхерос (гостиница для иностранцев), резиденция агента пароходной компании “Везувий”, торговый склад и дом богача Бернарда Брэнигэна, развалины собора, где некогда побывал Колумб, и самое пышное здание — Casa Morena, летний “белый дом” президента Анчурии. На главной улице, параллельной берегу, — на коралийском Бродвее, — были самые большие магазины, почта, казармы, распивочные и базарная площадь.

Гудвин прошел мимо дома, принадлежащего Бернарду Брэнигэну. Это было новое деревянное здание в два этажа. В нижнем этаже помещался магазин, в верхнем, — обитал сам хозяин. Длинный балкон, окружавший весь дом, был тщательно защищен от солнца. Красивая, бойкая девушка, изящно одетая в широкое струящееся белое платье, перегнулась через перила и улыбнулась Гудвину. Она была не темнее лицом, чем многие аристократки Андалузии, она сверкала и переливалась искрами, как лунный свет в тропиках.

— Добрый вечер, мисс Паула, — сказал Гудвин, даря ее своей неизменной улыбкой. Он с одинаковой улыбкой приветствовал и женщин и мужчин. Все в Коралио любили приветствия гиганта-американца.

— Что нового? — спросила мисс Паула. — Ради бога, не говорите мне, что у вас нет никаких новостей. Какая жара, не правда ли? Я чувствую себя, как Марианна в саду — или то было в аду?<sup>1</sup> Ах, так жарко!

<sup>1</sup> “Марианна на Юге” — стихотворение Теннисона.

— Нет, у меня нет никаких новостей, — сказал Гудвин, не без ехидства глядя на нее. — Вот только Джедди становится с каждым днем все ворчливее и раздражительнее. Если он в самом близком будущем не успокоится, я перестану курить у него на задней веранде, хотя во всем городе нет такого прохладного места.

— Он совсем не ворчит, — воскликнула порывисто Паула Брэннигэн, — когда он...

Но она не докончила и спряталась, внезапно покраснев, ибо ее мать была метиска и испанская кровь придавала ей прелестную пугливость, которая служила украшением другой — ирландской — половины ее непосредственной души.

## II

### ЛОТОС И БУТЫЛКА

Уиллард Джедди, консул Соединенных Штатов в Коралио, сидел и лениво писал свой годовой отчет. Гудвин, который по обыкновению зашел к нему покурить на своей любимой прохладной веранде, не мог отвлечь его от этого занятия и удалился, жестоко браня приятеля за отсутствие гостеприимства.

— Я буду жаловаться на вас в министерство, — сердился Гудвин. — Даже разговаривать со мною не хочет. Даже виски не попотчует. Хорошо же вы представляете здесь ваше правительство.

Гудвин побрел в гостиницу наискосок в надежде уломать карантинного доктора сразиться на единственном в Коралио бильярде. Он уже сделал все, что было нужно для поимки убежавшего президента, и теперь ему оставалось одно: ждать, когда начнется игра.

Консул был весь поглощен своим годовым отчетом. Ему было только двадцать четыре года, и в Коралио он прибыл так недавно, что его служебный пыл еще не успел остыть в тропическом зное, — между Раком и Козерогом такие парадоксы допускаются.

Столько-то тысяч гроздьев бананов, столько-то тысяч апельсинов и кокосовых орехов, столько-то унций золотого песка, столько-то фунтов каучука, кофе, индиго, сарсапариллы — подумать только, что экспорт, по сравнению с прошлым годом, увеличился на двадцать процентов!

Сердце консула было преисполнено радости. Может быть, там, в государственном департаменте, прочтут его отчет и заметят... но тут он откинулся на спинку стула и засмеялся. Он становится таким же идиотом, как и все остальные. Неужели он мог забыть, что Коралио — ничтожный городишко ничтожной республики, ютящейся на задворках какого-то второстепенного моря? Ему вспомнился Грэгг, карантинный врач, выписывавший лондонский журнал "Ланцет" в надежде найти там выдержки из своих докладов о бацилле желтой лихорадки, которые он посылал в министерство здравоохранения. Консул знал, что из полсотни его добрых знакомых, оставшихся в Соединенных Штатах, едва ли один слышал об этом самом Коралио. Он знал, что только два человека прочтут его годовой отчет: какой-нибудь мелкий чиновник в департаменте да наборщик казенной типографии. Может быть, наборщик заметит, что в Коралио коммерция начала процветать, и даже скажет об этом два слова приятелю, сидя вечером за кружкой пива и порцией сыра.

Только что он написал: "Крупные экспортеры Соединенных Штатов обнаруживают непонятную косность, позволяя французским и немецким фирмам захватывать в свои руки почти все производительные силы этой богатой и цветущей страны..." — как услышал хриплый гудок паровой сирены.

Джедди отложил перо, надел панаму, взял зонт. По звуку он узнал, что прибыл пароход "Валгалла", один из грузовых пароходов компании "Везувий", занимавшейся перевозкой бананов, апельсинов и кокосов. Все в Коралио, начиная от пятилетних *pinos*<sup>1</sup>, могли с точностью определить по свистку паровой сирены, какой пароход прибыл в город.

По извилистым дорожкам, защищенным от солнца, консул пробрался к морю. Благодаря долгой практике он вымеривал свои шаги так аккуратно, что появлялся на песчаном берегу как раз в то время, когда от судна отчаливала шлюпка

1 Младенцев (*исп.*).

ка с таможенными, которые производили осмотр товаров согласно законам Анчурии.

В Коралио нет гавани. Такие суда, как "Валгалла", должны бросать якорь за милю от берега. Их нагружают в море, легкие грузовые суденышки подвозят к ним фрукты. К Солитасу, где была отличная гавань, подходило много кораблей, но в Коралио — лишь грузовые, "фруктовые". Редко-редко остановится в здешних водах каботажное судно, или таинственный бриг из Испании, или — с самым невинным видом — бесстыжая французская шхуна. Тогда таможенные власти удваивают свою бдительность и зоркость. И вот во мраке ночи между прибывшими судами и берегом начинают крейсировать какие-то загадочные шлюпки, а утром в галантерейных и винных лавчонках Коралио замечается множество новых товаров, которых не было еще вчера, в том числе бутылки с тремя звездочками. И говорят, что у таможенных, в карманах их синих штанов с пунцовыми лампасами, в такие дни звенит больше серебра, чем накануне, а в таможене не найти никаких документов, свидетельствующих о получении пошлины.

Шлюпка с таможенными и гичка "Валгаллы" прибыли к берегу одновременно. Впрочем, было так мелко, что пристать к самому берегу не представлялось возможности. Пять ярдов хороших волн отделяло прибывших от суши. Тогда полуголые караибы вошли в воду и понесли на себе судового комиссара с "Валгаллы" и маленьких туземных чиновников в бумажных рубашках, в соломенных шляпах с опущенными большими полями и в сине-пунцовых штанах.

В колледже Джедди славился своею игрою в бейсбол. Теперь он закрыл зонт, воткнул его в песок и, как лихой бейсболист, нагнулся, опираясь руками в колени. Комиссар, встав в позу подающего, швырнул консулу тяжелую пачку газет, перевязанную бечевкой (каждый пароход привозил консулу газеты). Джедди высоко подпрыгнул и с громким "твак!" поймал брошенную пачку. Гуляющие по берегу — почти треть всего населения — стали аплодировать и весело смеяться. Каждую неделю они ждали этого зрелища, и

всегда оно доставляло им радость. В Коралио не поощряли новшества.

Консул снова раскрыл свой зонтик и пошел обратно в консульство.

Представитель великой нации занимал деревянный дом о двух комнатах, обведенный с трех сторон галереей из пальмового и бамбукового дерева. Одна комната служила официальной конторой и была обставлена весьма целомудренно: письменный стол, гамак и три неудобных стула с тростниковыми сиденьями. Висевшие на стене две гравюры изображали президентов Соединенных Штатов, самого первого и самого последнего. Другая комната служила консулу жильем.

Было одиннадцать часов, когда он вернулся с берега: время для первого завтрака. Чанка, караибская женщина, которая стряпала для Джеджи, только что накрыла стол на той стороне галереи, которая была обращена к морю и славилась как самое прохладное место в Коралио. На завтрак был подан бульон из акульих плавников, рагу из земных крабов, плоды хлебного дерева, жаркое из ящерицы, вестиндские маслянистые груши авокадо, только что срезанный ананас, красное вино и кофе. Джеджи сел за стол и блаженно-лениво развернул свою пачку газет. Два дня подряд он будет читать здесь, в Коралио, обо всем, что творится на свете, с таким же чувством, с каким мы читали бы маловероятные сведения, сообщаемые той неточной наукой, которая тщится описывать дела марсиан. После того как он прочтет эти газеты, он предоставит их поочередно другим англо-американцам, живущим в Коралио.

Первая попавшаяся ему в руки газета принадлежала к разряду тех обширных печатных матрацев, на которых, как приятно думать, читатели нью-йоркских газет вкушают свой литературный сон по воскресеньям. Консул разостлал ее перед собою на столе и подпер ее увесистый край с помощью спинки стула. Потом он не спеша занялся едой; изредка он перевертывал страницы и небрежно пробежал глазами по строкам.

Вдруг ему бросилось в глаза что-то страшно знакомое — занимающая половину страницы неряшливо отгиснутая фотография какого-то судна. Лениво всмотревшись в картинку, он всмотрелся и в заглавие статьи, напечатанное рядом крупнейшими буквами.

Да, он не ошибся. Картинка изображала “Идалию”, восьмисоттонную яхту, принадлежащую, как говорилось в газете, “лучшему из лучших, Мидасу денежного рынка и образцу светского человека, Дж. Уорду Толливеру”.

Медленно потягивая черный кофе, Джеджи прочитал статью. В ней подробно исчислялось все движимое и недвижимое имущество мистера Толливера, потом столь же подробно была описана его великолепная яхта, а дальше, в конце, сообщалась главная новость, крошечная, как горчичное зерно: мистер Толливер, вместе со своими друзьями, отправляется в шестинедельное плаванье вдоль среднеамериканского и южноамериканского берега и среди Багамских островов. В числе его гостей находятся миссис Кэмберленд Пэйн и мисс Ида Пэйн из Норфолка.

Чтобы угодить своим читателям, автор статейки сочинил целый роман. Он так часто склеивал имена мисс Пэйн и мистера Толливера, что казалось, будто он уже держит над ними брачный венец. Жеманно и двусмысленно играл он словами: “в городе упорно говорят”, “носятся слухи”, “нас не удивило бы, если бы” — и в конце концов приносил поздравления.

Джеджи, окончив завтрак, взял газеты, отправился к концу веранды и, опустившись в свое любимое палубное кресло, положил ноги на бамбуковые перила. Он закурил сигару и глядел в море. Ему было приятно сознавать, что прочитанное несколько не взволновало его. Он радовался, что наконец-то ему удалось победить ту печаль, которая погнала его в добровольное изгнание в эту далекую страну лотоса<sup>1</sup>. Конечно, Иды ему не забыть никогда, но мысль о ней уже не причиняла ему боли. Когда Ида повздорила с ним,

<sup>1</sup> Лотос — символ забвения всех печалей.

он напросился на эту консульскую службу в Коралию, горя желанием отомстить Иде, порвать не только с ней, но и со всей атмосферой, которая окружала ее. И это ему удалось. За весь год, что он находился в Коралию, ни он ей, ни она ему не написали ни единого слова, хотя от немногочисленных друзей, с которыми он еще изредка переписывался, он кое-что узнавал о ней. И все же ему было приятно узнать, что она до сих пор не вышла ни за Толливера, ни за кого другого. Но, очевидно, Толливер еще не потерял надежды.

Впрочем, Джедди теперь все равно. Он вкусил цветов лотоса. Он чувствовал себя превосходно в этой земле вечно жаркого солнца. Те давно минувшие дни, когда он жил в Соединенных Штатах, казались ему раздражающим сном. Дай бог Иде такого же счастья, каким наслаждался он теперь. Воздух бальзамический, как в далеком Авалоне<sup>1</sup>, вольный, безмятежный поток зачарованных дней; жизнь среди этого праздного и поэтического народа, полная музыки, цветов и негромкого смеха; такое близкое море и такие близкие горы; многообразные видения любви, красоты, волшебства, распускающиеся белой тропической ночью, — все это доставляло ему несказанную радость. Кроме того, не нужно забывать и о Пауле Брэнигэн.

Джедди думал жениться на Пауле, конечно если она даст согласие; впрочем, он был твердо уверен, что она не откажет. Но почему-то он все не делал предложения. Несколько раз слова уже готовы были сорваться у него с языка, но что-то непонятное всегда мешало. Может быть, здесь сказывался бессознательный страх, что, если он произнесет эти слова, будет порвано последнее звено, соединяющее его с прежним миром.

С Паулой он будет очень счастлив. Мало было в этом городе девушек, которые могли бы сравниться с нею. Она два года училась в монастырской школе в Новом Орлеане, так что, когда на нее находила блажь пощеголять своим образованием, она оказывалась ничуть не хуже девушек из Нор-

<sup>1</sup> Авалон — блаженная страна, куда, по кельтской мифологии, отправляются души убитых героев.

фолька и Манхэттена. Но сладостно было смотреть на нее, когда она облекалась в национальный испанский костюм и гуляла по комнате с голыми плечами и широко развевающимися рукавами.

Бернард Брэнигэн был крупнейший купец в Коралию. Он торговал не только на побережье, но и водил караваны мулов, поддерживая оживленную связь с жителями деревень и городишек, находящихся внутри страны. Его супруга была местная аристократка, знатного кастильского рода, но на ее оливковых щеках был коричневый оттенок, свидетельствующий об индейской примеси. От союза ирландца с испанкой произошел, как это часто бывает, отпрыск удивительно красивый и самобытный. И родители и дочь были в высшей степени приятные люди, и верхний этаж их дома был давно уже к услугам Джедди и Паулы, стоило ему только собраться с силами и заговорить об этом.

Прошло два часа. Консулу наскучило чтение. Газеты в беспорядке лежали возле него на галерее. Разлегшись в кресле, полусонными глазами смотрел он на раскинувшийся вокруг него рай. Банановая роща широкими своими щитами заслоняла от его взоров море. Отлогий спуск от консульства к берегу был укутан темно-зеленой листвой апельсиновых и лимонных деревьев, только что начавших цвести. Лагуна врезалась в берег, как темный зубчатый кристалл, и над нею бледное чибовое дерево вздымалось чуть не к облакам. Зыблущаяся листва кокосовых пальм сверкала огненной декоративной зеленью на сером графите почти неподвижного моря. Джедди смутно чувствовал яркую охру и кричащую красную краску среди слишком зеленого молодого кустарника, чувствовал запах плодов, запах только что расцветших цветов, запах дыма от глиняной плиты кухарки Чанки, стряпающей под тыквенным деревом, он слышал дискантовый смех туземных женщин, несущийся из какой-то лачуги, слышал песню красногрудки, ощущал соленый вкус ветерка, диминуэндо<sup>1</sup> еле улови-

<sup>1</sup> Постепенно затихающий звук (*итал.*).

мой прибрежной волны — и понемногу возникло перед ним белое пятнышко, которое все росло и росло и в конце концов выросло в большое пятно на серой поверхности моря.

С ленивым любопытством он следил, как это пятно все увеличивалось и вдруг превратилось в яхту “Идалия”, несущуюся на всех парах параллельно берегу. Не меняя позы, Джедди следил за хорошенькой белой яхтой, как она быстро приближалась, как поравнялась с Коралио. Потом, выпрямившись, он увидел, как она пронеслась мимо и скрылась из виду. Она прошла совсем близко, в какой-нибудь миле от берега. Он видел, как поблескивали ее надраенные медные части, он видел полоски ее палубных тентов, но подробнее он не мог рассмотреть ничего. Как корабль в волшебном фонаре, “Идалия” проплыла по освещенному кружочку его миниатюрного мира — и пропала. Если бы не осталось легкого дымка на горизонте, можно было бы подумать, что она явление нематериального мира, химера его праздного мозга.

Джедди вернулся в контору и снова засел за отчет. Если чтение газетной статейки не слишком растревожило его, то это безмолвное движение внезапно появившейся яхты умиротворило его окончательно. Она принесла с собою мир и покой, ибо у него уже не осталось и тени сомнения. Он знал, что люди, сами не сознавая того, часто продолжают лелеять надежды. Теперь, когда Ида проехала по морю две тысячи миль и только что промчалась мимо него, не подав ему знака, даже подсознательно ему нечего больше было цепляться за прошлое.

После обеда, когда солнце спряталось за гору, Джедди вышел прогуляться по узкой полоске берега, под кокосовыми пальмами. Легкий ветерок дул с моря, испещряя поверхность воды еле заметными волнами. Крошечный девятый вал, нежно шелестя по песку, прибил к берегу какой-то блестящий и круглый предмет. Волна отхлынула, и предмет покатился назад. Следующая волна снова вынесла его на песок, и Джедди поднял его.

Предмет оказался винной бутылкой из бесцветного стекла. У бутылки было длинное горло. Пробка была вдавлена очень глубоко и туго, и горло запечатано темно-красным сургучом. В бутылке не было ничего, кроме листа скомканной бумаги, которую, очевидно, смяли, когда протискивали в узкое горлышко. На сургуче был оттиск кольца с какой-то монограммой; но, должно быть, оттиск делали вцопьхах: разобрать инициалы было невозможно. Ида Дайн всегда носила перстень с печаткой и любила его больше других колец. Джедди казалось, что на сургуче оттиснуты знакомые буквы И. П., и почему-то он почувствовал волнение. Это напоминание гораздо интимнее отражало ее личность, чем та яхта, на которой она только что промчалась. Он вернулся домой и поставил бутылку на письменный стол.

Сбросив шляпу и пиджак, он зажег лампу, так как ночь стремительно сгушалась после коротких сумерек, и стал внимательно рассматривать свою морскую добычу.

Приблизив бутылку к свету и понемногу поворачивая ее, он в конце концов разглядел, что она заключала в себе два листа мелко исписанной почтовой бумаги, что бумага была того же формата и цвета, как та, на которой писала свои письма Ида Пэйн, и что почерк, насколько он мог установить, был ее. Грубое стекло так искривляло лучи света, что Джедди не мог прочитать ни единого слова, но некоторые заглавные буквы, которые ему удалось рассмотреть, были написаны Идой, это было совершенно бесспорно.

С еле заметной улыбкой смущения и радости Джедди снова поставил бутылку на стол и рядом с нею аккуратно расположил три сигары. Потом он пошел на галерею, принес оттуда палубное кресло и комфортабельно разлегся в нем. Он будет курить сигары и размышлять над создавшейся проблемой.

А проблема была трудная. Лучше бы ему не вылавливать этой бутылки! Но бутылка была перед ним. Море, откуда приходит так много тревог, — зачем оно пригнало к нему эту бутылку, разурившую его душевный покой!

В этой сонной стране, где времени было больше, чем нужно, он привык размышлять даже над ничтожными вещами.

Много самых причудливых гипотез пришло ему в голову по поводу этой бутылки, но каждая в конце концов оказывалась вздором.

Такие бутылки порою бросают с тонущих или потерпевших аварию кораблей, вверяя этим ненадежным вестникам призыв о помощи. Но ведь не прошло и трех часов с тех пор, как он видел "Идалию": она была цела и невредима. Может быть, на яхте взбунтовались матросы, пассажиры заперты в трюме и письмом, заключенным в бутылке, молят о помощи! Нет, это слишком неправдоподобно, и, кроме того, неужели взволнованные узники стали бы испытывать мелким почерком четыре страницы, чтобы подробно доказывать, почему их необходимо спасти?

Так постепенно, путем исключения, он забраковал все эти невероятные гипотезы и остановился на одной, гораздо более правдоподобной: письмо в бутылке было адресовано ему. Ида знает, что он в Коралио; проезжая мимо, она бросила свое послание в море, а ветер пригнал его к берегу.

Едва Джедди пришел к такому выводу, как на лбу у него прорезалась морщинка и возле губ появилось выражение упрямства. Он продолжал сидеть, глядя в открытую дверь на гигантских светляков, бредущих по тихим улицам.

Если это послание было от Иды, о чем она могла писать ему, как не о примирении? Но в таком случае, зачем она вверилась сомнительной и ненадежной бутылке? Ведь для писем существует почта. Бросать в море бутылку с письмом! Это легкомыслие, это дурной тон. Это даже, если хотите, обида!

При этой мысли в нем пробудилась гордыня, которая заглушила все прочие чувства, воскресенные в нем найденной бутылкой.

Джедди надел пиджак и шляпу и вышел. Вскоре он оказался на краю маленькой площади, где играл оркестр и люди, свободные от всяких дел и забот, гуляли и слушали му-

зыку. Пугливые сеньориты то и дело проносились мимо него со светляками в черных, как смоль, волосах, улыбаясь ему робко и льстиво.

Воздух одурял ароматами жасмина и апельсиновых цветов. Консул замедлил шаги возле дома, где жил Бернард Брэннигэн. Паула качалась в гамаке на галерее. Она выпорхнула, словно птица из гнезда. При звуках голоса Джедди на щеках у нее выступила краска.

Ее костюм очаровал его: кисейное платье, все в оборках, с маленьким корсажем из белой фланели — какой стиль, сколько изящества и вкуса! Он предложил ей пойти прогуляться, и они побрели к старинному индейскому колодцу, выкопанному под горой у дороги. Сели рядом на Колодезном срубе, и там Джедди наконец-то сказал те слова, которых от него так давно ждали. И хотя он знал, что ему не будет отказа, он весь задрожал от восторга, увидев, как легка была его победа и сколько счастья доставила она побежденной. Вот сердце, созданное для любви и верности. Не было ни кокетливых ужимок, ни расспросов, ни других, требуемых приличиями, капризов.

Когда Джедди в этот вечер целовал Паулу у дверей ее дома, он был счастлив как никогда.

Здесь, в этом царстве лотоса,  
В этой обманной стране,  
Покоиться в сонной истоме —

казалось ему, как и многим мореходам до него, самым упоительным и самым легким делом. Будущее у него идеальное. Он очутился в раю, где нет никакого змея. Его Ева будет воистину частью его самого, недоступная соблазнам и оттого лишь более соблазнительная. Сегодня он избрал свою долю, и его сердце было полно спокойной, уверенной радости.

Джедди вернулся к себе, насвистывая эту сладчайшую и печальнейшую любовную песню, "La Golondrina"<sup>1</sup>. У двери к нему навстречу прыгнула, весело болтая, его ручная обе-

<sup>1</sup> Ласточка (исп.).

зьянка. Он направился к письменному столу, чтобы достать обезьяне орешков. Шаря в полутьме, его рука наткнулась на бутылку. Он отпрянул, словно дотронулся до холодного, круглого тела змеи.

Он совсем забыл, что существует бутылка.

Он зажег лампу и стал кормить обезьянку. Потом очень старательно закурил сигару, взял в руки бутылку и пошел по дорожке к берегу. Была луна, море сияло. Ветер переменялся и, как всегда по вечерам, дул с берега.

Приблизившись к самой воде, Джедди размахнулся и швырнул бутылку далеко в море. На минуту она исчезла под водой, а потом выпрыгнула, и ее прыжок был вдвое выше ее собственной вышины. Джедди стоял неподвижно и смотрел на нее. Луна светила так ярко, что ему было ясно видно, как она прыгает по мелким волнам — вверх и вниз, вверх и вниз. Она медленно удалялась от берега, вертясь и поблескивая. Ветер уносил ее в море. Вскоре она превратилась в блестящую точку, то исчезающую, то вновь появляющуюся, а потом ее тайна исчезла навеки в другой великой тайне: в океане. Джедди неподвижно стоял на берегу, курил сигару и смотрел в море.

\* \* \*

— Симон! О Симон! Проснись же ты, Симон! — орал чей-то звонкий голос у края воды.

Старый Симон Крус был метис, рыбак и контрабандист, живший в хижине на берегу. Он только что вздремнул, и вот его будят.

Он вышел из хижины и увидел своего знакомого, младшего офицера с “Валгаллы”, только что причалившего в шлюпке к берегу. Его сопровождали три матроса.

— Вставай, Симон! — крикнул офицер, — и разыщи доктора Грэгга, или мистера Гудвина, или кого другого из приятелей мистера Джедди и тащи их поскорее сюда.

— Святители небесные! — воскликнул сонный Симон. — Не случилось ли с консулом беды?

— Он под этим брезентом, — сказал офицер, указывая на свою шлюпку. — Еще немного, и был бы утопленником. Мы увидели его с судна, за милю от берега; он плыл, как сумасшедший, за какой-то бутылкой... но бутылка уплывала все дальше. Мы спустили ялик — и к нему. Казалось, что вот-вот он поймает бутылку, нужно было только руку протянуть, но тут он ослабел и погрузился в воду. Хорошо, что мы подошли вовремя. Может быть, он еще жив, но тут нужен доктор, — это уж ему решать.

— Бутылка? — сказал старик, протирая глаза. Он еще не совсем проснулся. — Где бутылка?

— Плывет где-нибудь там, — сказал моряк, тыкая большим пальцем по направлению к морю. — Да проснись же ты, Симон!



### III СМИТ

Гудвин и пылкий патриот Савалья сделали все возможное, чтобы не дать президенту Мирафлоресу скрыться. Они послали надежных людей в Солитас и Аласан, чтобы предупредить тамошних вожаков о побеге и выставить патрули, которые должны были сторожить побережье и во что бы то ни стало арестовать президента и его прекрасную подружку, если они появятся на берегу. После этого оставалось только позаботиться об установлении таких же наблюдательных постов вокруг Коралио и ждать, чтобы птицы прилетели. Силки были расставлены отлично. Дорог было так мало, количество мест, где можно было отчалить от берега, было так ограничено, все эти места были под такой сильной охраной, что показалось бы чудом, если бы из этой сети ускользнуло столько анчурийского достоинства, анчурийской романтики и денег. Президент, несомненно, сделает попытку достигнуть берега тайно; втихомолку попробует он пробраться на корабль в каком-нибудь укромном местечке.

На четвертый день после того как пришла телеграмма, трижды закричала сирена, и в водах Коралио бросил якорь норвежский пароход "Карлсефин". Он не принадлежал фруктовой компании "Везувий", а действовал, как дилетант, работая на мелкую торговую фирму, которая была слишком ничтожна, чтобы соперничать с компанией "Везувий". Рейсы "Карлсефина" зависели от состояния рынка. Иногда он регулярно курсировал между Новым Орлеаном

и Центральной Америкой, а потом отправлялся в Мобил или в Чарлстон, а то и в Нью-Йорк, смотря по тому, где повышался спрос на фрукты.

Гудвин бродил по берегу с обычной толпой ротозеев, собравшихся посмотреть на новопривывшее судно. Теперь, когда каждую минуту можно было ждать беглеца-президента, требовалась строгая, неослабная бдительность.

Каждое судно, появившееся у берегов, можно было рассматривать как потенциальное орудие бегства; даже шлюпки и тузики, составлявшие флотилию города, были взяты под сильнейшее подозрение. Гудвин и Савалья незаметно обследовали всю свою сеть, проверяя, нет ли где порванной петли, откуда могла бы ускользнуть их добыча.

Таможенные чиновники важно уселись в казенную шлюпку и поплыли к "Карлсефину". Пароходная шлюпка привезла на берег комиссара с бумагами, увезла с собой карантинного доктора с зеленым зонтиком и больничным термометром. Потом чернокожие начали нагружать на свои плоскодонки гроздь бананов, сложенные на берегу большими грудками, и отвозить их на пароход. Так как пассажиров на этом пароходе не было, власти скоро покончили со всеми формальностями. Комиссар заявил, что судно останется на якорь лишь до утра и потому будет грузиться всю ночь. По его словам, "Карлсефин" пришел из Нью-Йорка, куда он в последний раз отвозил партию кокосовых орехов и апельсинов. Для ускорения работы были пущены в ход даже две или три пароходные шлюпки, ибо капитан хотел вернуться как можно скорее, чтобы не упустить возможностей, создавшихся благодаря некоторой нехватке фруктов на рынках Штатов.

Около четырех часов близ Коралио появилось следом за роковой "Идалией" еще одно морское чудовище, к каким в здешних водах еще не успели привыкнуть, — изящная паровая яхта, выкрашенная в бледно-желтую краску, четко очерченная, словно гравюра. Красавица неслась к берегам, расплывая волны легко, как утка в лохани с дождевой водой. Скоро к берегу приблизилась быстроходная шлюпка, уп-

равляемая гребцами в матросской форме, и на прибрежный песок выскочил коренастый мужчина.

Поглядев как бы с неодобрением на довольно пеструю толпу туземцев, мужчина прямо направился к Гудвину, который изо всех на берегу был самым несомненным англосаксом. Гудвин вежливо приветствовал его.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что фамилия новоприбывшего Смит и что прибыл он на яхте. Тощие биографические данные! Ведь яхта и без того была у всех на виду, а о том, что фамилия незнакомца Смит, можно было догадаться по его наружности. Но Гудвину, выдавшему виды, бросилось в глаза несоответствие между Смитом и его яхтой. У Смита голова была, как пуля, у Смита были тупые и косые глаза, усы у Смита были, как у бармена, который смешивает в кабаке коктейли. И если только он не переоделся по прибытии в здешние воды, он, значит, имел дерзость оскорблять палубу своей благородной яхты котелком светло-серого цвета, клетчатым костюмчиком и водевильным галстуком. Люди, имеющие собственные яхты, обычно находятся в большей гармонии с ними.

Было ясно, что у Смита есть какое-то дело, но он не афишировал себя. Он сказал несколько слов о здешней местности, заметив, что она точка в точку похожа на картинку в географии; потом он спросил, где живет консул Соединенных Штатов. Гудвин указал ему на тряпицу в полосках и звездах, висевшую над маленьким консульским домиком за апельсиновыми деревьями.

— Вы, несомненно, застанете консула дома, — сказал Гудвин. — Мистер Джедди чуть не утонул несколько дней назад, он заплыл слишком далеко во время купания. Доктор запретил ему пока что выходить из дома.

Смит пустился вспахивать ногами песок по дороге в консульство. Его крикливый и пестрый наряд был в жестокой вражде с мягкими — синими и зелеными — красками тропиков.

Джедди лежал в гамаке, немного бледный и вялый. В ту ночь, когда шлюпка “Валгаллы” доставила на берег его бездыханное тело, доктор Грэгг и другие приятели промучи-

лись над ним два-три часа, чтобы сохранить искру жизни, еще тлеющую в нем. Бутылка с бесплодным посланием так и умчалась в море, и созданная ею проблема свелась к простой задачке на сложение: по правилам арифметики один да один — два; по правилам романтики — один.

Существует забавная старинная теория, что у человека могут быть две души — одна внешняя, которая служит ему постоянно, и другая внутренняя, которая пробуждается изредка, но, проснувшись, живет интенсивно и ярко. Подчиняясь первой, человек бреется, голосует, платит налоги, содержит семью, покупает в рассрочку мебель и вообще ведет себя нормально. Но стоит внутренней душе взять верх, и в один миг тот же человек начинает изливать на свою спутницу жизни поток яростного отвращения; не успеете вы оглянуться, как он изменяет свои политические взгляды, наносит смертельное оскорбление своему лучшему другу, удаляется в монастырь или в дансинг, исчезает, вешается, или — пишет стихи и песни, или целует жену, когда она его о том не просила, или отдает все свои сбережения на борьбу с каким-нибудь микробом. Потом внешняя душа возвращается, и перед нами снова наш уравновешенный, спокойный гражданин. То, что было, это всего лишь бунт Индивидуума против Порядка; надо было перетряхнуть атомы человека, чтобы дать им снова осесть на положенных местах.

У Джедди встряска оказалась не очень серьезной — всего-навсего прогулка в плыв по теплому морю, погоня за столь прозаическим предметом, как дрейфующая бутылка. И теперь он снова стал самим собою. У него на письменном столе лежало готовое к отправке прошение о скорейшем его увольнении с должности консула. Бернард Брэнигэн не терпел отлагательств и сразу предложил Джедди стать компаньоном в его прибыльных и разнообразных делах, а Паула с упоением строила планы новой мебелировки и нового убранства верхнего этажа Брэнигэнова дома.

Консул приподнялся в гамаке, увидев у себя столь заметного гостя.

— Сидите, сидите, любезнейший! — сказал гость, широко помахивая ручищей. — Моя фамилия Смит. Приехал на яхте. Вы как будто консул, не так ли? Там, на берегу, стоит вот этаким верзила, очень важный, он показал мне как пройти. И я подумал: зайду. Окажу респект родному флагу.

— Присядьте, — сказал Джеджи. — У вас великолепная яхта. Я все время люблюсь ею, с тех пор как она появилась у нас. И ход у нее, кажется, быстрый. А каков тоннаж?

— Черт ее знает! — сказал Смит. — Сколько она весит, для меня безразлично. Но ход у нее первый сорт: никому не даст пылить себе в нос. Зовут ее “Бродяга”, и это моя первая поездка. Надумал прокатиться, поглядеть на места, откуда к нам привозят перец, резину и революции. Я и не знал, что тут столько пейзажей. Куда ни пойдешь — пейзаж. Центральный парк в Нью-Йорке, и тот, пожалуй, спасует перед этим. Тут у вас и кокосы, и мартышки, и попки, не правда ли?

— Да, — ответил Джеджи. — Я совершенно уверен, что наша флора и фауна могли бы затмить флору и фауну Центрального парка.

— Возможно! — согласился Смит весьма охотно. — Я их не видал. Но думаю, что по животной и растительной части вы нас перешибете. А много ли у вас путешественников?

— Путешественников? — переспросил консул. — Вы, должно быть, хотите сказать, пассажиров, приезжающих на пароходах? Нет, мало кто останавливается в Коралио. Разве что деловой человек, ищущий, куда поместить капиталы, а туристы и любители красивых видов обычно проезжают дальше, в те города, где есть гавани.

— А вот этот пароход, который нагружают бананами? — сказал Смит. — Есть на нем пассажиры какие-нибудь?

— Это “Карлсефин”, — сказал консул. — Фруктовое судно без правильных рейсов. Сейчас оно, кажется, пришло из Нью-Йорка. На нем нет пассажиров. Я видел его шлюпку, когда она шла к берегу, и там не было никого постороннего. Ведь это в сущности наше единственное развлечение — рассматривать пароходы, которые прибывают к нам; вся-

кий пассажир — большое событие в городе. Если вы намерены пожить некоторое время в Коралио, мистер Смит, я буду рад познакомить вас с несколькими здешними жителями. Здесь есть американцы — пять-шесть человек, — с которыми приятно познакомиться, а также лучшие представители местного общества.

— Спасибо, — сказал Смит. — Не беспокойтесь! Рад бы поболтать с земляками и прочее, но я здесь на самое короткое время. Этот важный там, на берегу, говорил о каком-то докторе, не можете ли вы сказать мне, где этот доктор живет? “Бродяга” не так твердо стоит на ногах, как гостиница на Бродвее, в Нью-Йорке, и с человеком то и дело приключается морская болезнь. Хорошо бы заpastись пилюлями в дорогу; горсть маленьких и сладких пилюль не мешает.

— Вернее всего вы застанете доктора Грэгга в гостинице, — сказал консул. — Гостиница видна отсюда: то двухэтажное здание с балконом, где апельсиновые деревья.

Отель де лос Эстранхерос был мрачен, его избегали и свои и чужие. Он стоял на углу улицы Гроба Господня. К одному его крылу примыкала роща молодых апельсиновых деревьев, окруженная низкой каменной оградой, через которую легко мог перешагнуть человек высокого роста. Дом был оштукатурен, соленый ветер и солнце расцветили его пятнами всевозможных оттенков. На верхний балкон его выходила дверь и два окна с деревянными жалюзи вместо рам.

Из нижнего этажа две двери открывались на узкий каменный тротуар. Здесь внизу помещалась *pulperia* — распивочная, которую содержала хозяйка гостиницы, мадама Тимотеа Ортис. Позади прилавка на бутылках с водкой, анисовкой, шотландской горькой и дешевыми винами лежала густая пыль, разве что редкий гость оставит на бутылке следы своих пальцев. В верхнем этаже было пять или шесть номеров, которые почти всегда пустовали. Редко-редко какой-нибудь плантатор прискачет на коне из своего сада, чтобы потолковать со своим агентом по продаже фруктов, и проведет меланхолическую ночь в одном из

этих верхних номеров; иногда мелкий чиновник-туземец, приехавший сюда с помпой по какому-нибудь пустяковому казенному делу, в испуге предаст себя гробовому гостеприимству мадамы. Но мадама, вполне довольная, сидела за стойкой и не пыталась бороться с судьбой. Если кому нужно поесть, или выпить, или переночевать в отеле де лос Эстранхерос — милости просим, пожалуйста. *Està bueno*<sup>1</sup>. Если же никто не приходит — ну что же! Никто не приходит. *Està bueno*.

Когда изумительный Смит пробирался по зыбким тротуарам улицы Гроба Господня, единственный постоянный жилец этого увядшего отеля сидел возле дверей, услаждая себя дуновением моря.

Доктору Грэггу, карантинному врачу, было лет пятьдесят-шестьдесят. Он обладал румяными щеками и самой длинной бородой между Огненной Землей и Топикой. Должность карантинного врача досталась ему потому, что медицинский департамент в морском городке некоего южного штата испугался желтой лихорадки — этого древнего бича всех южных портов. Доктору Грэггу вменялось в обязанность осматривать команду и пассажиров всякого судна, покидающего Коралию, — не окажется ли у них ранних симптомов болезни. Обязанность легкая, жалованье — для живущего в Коралию — большое. Свободного времени много, и милый доктор стал пополнять свои заработки частной практикой среди жителей всего побережья. По-испански он не знал и десяти слов, но это не смущало его — не нужно быть лингвистом, чтобы щупать пульс и получать гонорар. Если прибавить к этому, что доктор постоянно стремился рассказать одну историю по поводу трепанации черепа, что ни разу никто не дослушал этой истории до конца и что водку он считал профилактическим средством, то этим будут исчерпаны все его наиболее интересные качества.

Доктор вынес на улицу стул. Он сидел без пиджака, приклонившись к стене, курил и поглаживал бороду. В его вы-

цветших голубеньких глазах выразилось изумление, когда он увидел Смита в костюме всех цветов радуги.

— Вы и есть доктор Грэгг, не так ли? — сказал Смит, теребя украшавшую его галстук булавку: собачью голову. — Констебль, то есть консул, сказал мне, что вы живете в этом караван-сараяе. Моя фамилия Смит. Я приехал на яхте. Просто так, для прогулки — поглядеть на обезьян и ананасы. Зайдем-ка под крышу, док, и выпьем. Вид у этого кафе паршивый, но авось и в нем найдется влага.

— Я с удовольствием, разделю ваше общество, сэр, — сказал доктор Грэгг, бодро вставая, — и позволю себе проглотить одну рюмочку водки. Я нахожу, что в качестве профилактического средства небольшая порция водки необычайно полезна при здешних климатических условиях.

Они направились к пультерии, как вдруг туземец, босой, бесшумно приблизился к ним и обратился к доктору, на испанском языке. Он весь был серо-желтого цвета, как перезрелый лимон; на нем была рубаха из бумажной ткани, рваные полотняные брюки и кожаный пояс. Лицо у него было, как у зверька, подвижное и шустрое, но проблесков ума было мало. Он заговорил взволнованно и так серьезно, что жаль было глядеть, как столько пыли пропадает напрасно.

Доктор Грэгг пощупал его пульс.

— Больны?

— *Mi mujer està enferma en la casa*, — сказал человек; он общил на единственном доступном ему языке, что его жена лежит больная в лачуге под пальмовой крышей.

Доктор вытащил из кармана горсточку капскуль, наполненных каким-то белым порошком. Он отсчитал десять штук, дал их туземцу и выразительно поднял указательный палец.

— Принимай по одной каждые два часа.

Тут он поднял два пальца и с чувством помахал ими перед лицом туземца. После этого он достал часы и дважды обвел пальцем вокруг циферблата. Затем два пальца опять потянулись к самому носу пациента.

— Два... два... два часа... — повторил доктор.

<sup>1</sup> Отлично (*исп.*).

— Si, Señor<sup>1</sup>, — безрадно сказал пациент.

Он вытащил из своего кармана дешевые серебряные часы и сунул их доктору в руку.

— Мой принесет, — говорил он, мучительно борясь с теми немногими английскими словами, которые были случайно известны ему, — мой принесет завтра другие часы.

Потом он удалился, унылый, со своими капсулями.

— Невежественный народ, сэр! — сказал доктор, опуская часы в карман. — Кажется, этот субъект смешал мой рецепт с гонораром. Ну, не беда. Он все равно мой должник. А других часов — это он врёт — не принесет! Разве можно полагаться на этих людей? Обещают и надуют... Ну, а как же наша выпивка, мистер Смит? Каким путем вы прибыли в Коралио? Я и не знал, что в последнее время, кроме “Карлсефина”, нас посетили другие суда.

Они остановились у покинутой стойки; доктор не промолвил больше ни слова, но мадама уже поставила перед ним бутылку. На этой бутылке пыли не было.

После второго стакана Смит сказал:

— Вы говорите, док, на “Карлсефине” нет пассажиров. А уверены вы в этом, мой милый? Как будто на берегу говорили, что есть... Двое или трое.

— Ни одного, — сказал доктор. — Я сам делал медицинский осмотр. Видел всю команду, там нет ни одного пассажира. Пароход снимется с якоря чуть только закончит погрузку, то есть рано утром, на рассвете... Все формальности уже закончены. Нет, там нет никаких пассажиров. Как вам нравится этот коньяк? Его привезла французская шхуна с месяц назад, целых две шлюпки с коньяком. Пари держу, что наша знаменитая республика не получила за него ни реала пошлины. Но вы не желаете пить? Тогда выйдем на улицу и посидим в холодке. Не часто нам, изгнанникам, случается беседовать с людьми из внешнего мира.

Доктор вынес на улицу еще один стул, поставил его рядом со своим и усадил нового знакомого.

<sup>1</sup> Да, сеньор (исп.).

— Вы человек бывалый, — сказал он. — Вы много путешествовали, много видели. Ваше суждение в вопросах этики, а также в вопросах чести, права и профессионального долга имеет значительный вес. Я был бы рад, если бы вы позволили мне рассказать один случай, который в летописях современной медицины является небывалым событием. Лет девять назад, когда я занимался практикой в моем родном городе, меня пригласили к больному, у которого была контузия черепа. Осколок кости нажимает на мозг — таков был мой диагноз. Хирургическая операция, называемая трепанацией черепа, была неизбежна. Но так как пациент был джентльменом богатым и уважаемым в городе, я счел необходимым пригласить на консилиум...

Смит вскочил с места и с видом нежной мольбы положил руку на плечо собеседнику.

— Вот что, док! — сказал он торжественным тоном. — Дело это очень интересное, и мне будет жаль не дослушать до конца. Я уже по началу чувствую, что дальше будет нечто замечательное, и я намерен изложить всю историю, если позволите, на ближайшем медицинском конгрессе. Но у меня срочные дела. Я живо управлюсь с ними и опять приду к вам вечером. И вы доскажете мне всю эту историю. Ладно?

— Конечно, конечно, — сказал доктор. — Идите раньше по своим делам, кончайте их и приходите сюда. Я подожду. Дело в том, что на консилиуме один из самых выдающихся врачей утверждал, будто у больного в мозгу стучит кровь, другой говорил, что нарыв, но я...

— Что вы делаете? Зачем вы рассказываете? Этак вы испортите всю вашу историю. Подождите, пока я вернусь. Тогда вы размотаете всю эту повесть медленно, как нитку с катушки.

Горы подняли свои мускулистые плечи, чтобы коням Аполлона промчаться по ним на покой, день умер и в лагунах, и в тенистых банановых рощах, и в болотах, заросших тропической зеленью, откуда выползли синие крабы для ночных прогулок по земле. И, наконец, он умер на высо-

чайших вершинах. Потом — краткие сумерки, эфемерные, как полет мотылька, и вот верхнее око Южного Креста выглянуло из-за пальмовой аллеи, и огромные светляки возвещают своими факелами тихое пришествие ночи.

В море “Карлсефин” качался на якоре. Казалось, что его огни пронзают воду своими дрожащими копьями до неизмеримых глубин. Караибы грузили пароход, то и дело подвезжая к нему на больших плоскодонках, доверху полных бананами.

На песчаном берегу, прижавшись спиной к кокосовой пальме, весь окруженный окурками бесчисленных сигар, сидел Смит и глядел неустанно, не сводя своих острых глаз с парохода.

Этот нелепый турист почему-то сосредоточил все свое внимание на невиннейшем “фруктовом” пароходе. Дважды ему было сказано, что там нет ни одного пассажира. И все же с настойчивостью, которая едва ли подобала столь беспечному гуляке, он проверял эти сведения собственными глазами. Изумительно похожий на какую-то яркую и пеструю ящерицу, он скрючился у подножия кокосовой пальмы и кругленькими бойкими глазенками ящерицы вонзился в пароход “Карлсефин”.

На белом песке покоилась еще более белая, принадлежавшая яхте гичка под охраной одного из ее белых матросов. Неподалеку, в прибрежной пульперии на Калье Гранда, три других матроса с яхты сражались друг с другом вокруг единственного в Коралио бильярда. Казалось, был отдан приказ, чтобы лодка была в любую минуту готова к отплытию. Вообще в атмосфере было ожидание, предчувствие — вот-вот что-то должно случиться, что совершенно чуждо воздуху Коралио.

Словно какая-то разноцветная залетная птица, Смит опустился на этот усеянный пальмами берег лишь для того, чтобы почистить перышки и опять улететь на бесшумных крыльях. Когда забрезжило утро, уже не было ни Смита, ни гички, ни яхты. Смит никому не оставил никаких поручений; он не оставил следов, по которым могли бы прочесть

его тайну на песчаном побережье Коралио. Он появился, поговорил на своем странном жаргоне, жаргоне кафе и асфальта; посидел под кокосовой пальмой — и сгинул. На следующее утро Коралио, бессмитный, ел бананы и говорил: “Человек в раскрашенных одеждах ушел прочь”. Вместе с *сиестой*<sup>1</sup> весь этот случай отошел, зевая, в историю.

Та же участь до поры до времени должна постигнуть Смита и в нашем рассказе. Пусть подождет за кулисами. Он никогда не вернется в Коралио, никогда не вернется к доктору Грэггу, который напрасно сидит у порога, поглаживая роскошную бороду и готовясь обогатить своего залетного слушателя волнующей повестью о трепанации черепа и кознях завистников.

Но все же Смит снова возникнет среди этих разрозненных страниц: он пропорхнет среди них, чтобы придать им ясности. Тогда он поведаст нам, почему он разбросал в ту ночь столько взволнованных сигарных окурков вокруг кокосовой пальмы. Он обязан рассказать нам это; ибо, когда перед самым рассветом он уехал на своем “Бродяге”, он увез с собою и ключ к загадке, такой большой и нелепой, что немногие в Коралио осмеливались хотя бы загадать ее.

1. Послеобеденный сон (*исп.*).

#### IV ПОЙМАНЫ!

Президенту Мирафлоресу и его спутнице было мудроно ускользнуть. Сам доктор Савалья отправился в порт Аласан выставить в этом пункте сторожевые патрули. И в Солитасе это дело было поручено человеку надежному: либеральному патриоту Варрасу. Наблюдение за окрестностями Коралио взял на себя Гудвин.

Известие о побеге президента было сообщено лишь наиболее верным членам честолюбивой политической партии, жаждавшей захватить в свои руки власть. Телеграфный провод, соединяющий город с Сан-Матео, был перерезан далеко в горах одним из подручных Савальи. Когда еще отремонтируют провод, когда еще пошлют из столицы депешу, а беглецы уже достигнут берега и будут пойманы или успеют ускользнуть.

Гудвин поставил вооруженных часовых вдоль берега — на милю от Коралио — справа и слева. Часовым было строго наказано с особым вниманием следить по ночам, чтобы не дать Мирафлоресу возможности воспользоваться челноком или шлюпкой, случайно найденными у края воды. Законспирированные патрули расхаживали по улицам Коралио, готовые схватить беглого сановника, как только он появится в городе.

Гудвин был уверен, что все меры предосторожности приняты. Он ходил по улицам, которые, при всех своих громких названиях, были всего лишь узкими, заросшими травой переулками, и глядел во все глаза, внося и свою леп-

ту в дело охраны Коралио, порученное ему Бобом Энглхартом.

Город уже вступил в медлительный круг своих ежевечерних развлечений. Несколько томных денди, облаченных в белые костюмы, с развевающимися лентами галстука, размахивая бамбуковыми тросточками, прошли по тропинкам к своим сеньоритам. Влюбленные в музыку либо неустанно растягивали плаксивое концертино, либо в окнах и в дверях перебирали унылые гитарные струны. Изредка пронесется случайный солдат, без мундира, босой, в соломенной шляпе с широкими обвисшими полями, балансируя длинным ружьем. Повсюду в густой листве гигантские древесные лягушки квакали раздражающе громко. Дальше, у опушки джунглей, где кончались тропинки, спесивое молчание леса нарушали гортанные крики мародеров-павианов и кашель аллигаторов в черных устьях болотистых рек.

К десяти часам улицы опустели. Болезненно-желтые огоньки керосиновых фонарей были погашены каким-нибудь экономным приспешником власти. Коралио спокойно почивал между нависшими горами и вторгшимся морем, как похищенный младенец на руках у своих похитителей. Где-нибудь там, в этой тропической тьме может быть уже внизу у моря, авантюрист-президент и его подруга продвигались к краю земли. Игра "Лиса-на-рассвете" скоро, скоро придет к концу.

Гудвин своей обычной неспешной походкой прошел мимо длинного и низкого здания казарм, где отряд анчурийского войска предавался мирному сну, воздев к небесам свои голые пятки. По закону, лица гражданского звания не имели права подходить так близко к этой боевой цитадели после девяти часов вечера, но Гудвин всегда забывал о таких пустяках.

— *Quién vive?*<sup>1</sup> — крикнул часовой, с усилием вскидывая свой длинный мушкет.

— *Americano*, — проворчал Гудвин, не поворачивая головы, и прошел беспрепятственно.

<sup>1</sup> Кто идет? (исп.)

Направо он повернул и налево, по направлению к Национальной площади. Улицу, по которой он шел, пересекала улица Гроба Господня. За несколько шагов до нее Гудвин остановился как вкопанный.

Он увидел высокого мужчину, одетого в черное, с большим саквояжем в руке. Мужчина быстрыми шагами шел к берегу вниз по улице Гроба Господня. Вторично взглянув на него, Гудвин увидел, что рядом с ним идет женщина, которая не то торопит его, не то помогает ему продвигаться возможно быстрее. Шли они молча. Они жили не в Коралио, эти двое.

Гудвин шел за ними, ускорив шаги, но без всяких ловких шпионских ужимок, столь любезных сердцу ищейки. Он был слишком широк и осанист, инстинкты сыщика ему не пристали. Он считал себя агентом анчурийского народа и, не будь у него политических соображений, тут же потребовал бы возвращения денег. Его партия поставила себе целью найти похищенную сумму, вернуть ее в казну и добиться власти без кровопролития и сопротивления.

Неизвестные остановились у входа в отель де лос Эстранхерос, и мужчина постучался в дверь с нетерпением человека, не привыкшего, чтобы его заставляли ждать. Мадама долго не отзывалась; наконец, в окне показался свет, дверь отворилась и гости вошли.

Гудвин стоял в тихой улице и закурил еще одну сигару. Через две-три минуты наверху сквозь щели жалюзи пробился слабый свет.

— Они заняли номера, — сказал Гудвин. — Значит, ничего еще не готово к отплытию.

В эту минуту мимо прошел Эстебан Дельгадо, парикмахер, враг существующей власти, веселый заговорщик против всякого застоя. Этот парикмахер был одним из отъявленных гуляк Коралио, его часто можно было встретить на улице в одиннадцать часов — время позднее! Он был либералом и напыщенно приветствовал Гудвина как соратника в борьбе за свободу. Однако видно было, что у него какие-то важные вести.

— Подумайте только, дон Франк, — зашептал он тем голосом, каким во всем мире говорят заговорщики. — Сегодня я брил la barba — то, что вы зовете бородой, у самого Presidente. Вы только подумайте! Он послал за мною. В бедной casita одной здешней старухи он ждал меня — в очень маленьком домике, в темном месте. Sagamba! До чего дошло — el Señor Presidente должен так таиться и прятаться. Ему, кажется, не очень хотелось, чтобы его узнали, но, черт возьми, можете вы брить человека и не увидеть его лица? Он дал мне эту золотую монетку и сказал, чтобы я помалкивал.

— А раньше вы видали когда-нибудь президента Мирафлореса? — спросил Гудвин.

— Видел раз, — отвечал Эстебан. — Он высокий, у него была борода, очень черная и большая.

— Был ли кто в комнате, когда вы брили его?

— Старуха красная, сеньор, та, которой принадлежит эта хижина, и одна сеньорита, о, такая красавица — ah, dios!

— Отлично, Эстебан, — сказал Гудвин. — Это очень хорошо, что вы поделились со мной вашим парикмахерским опытом. Будущее правительство не забудет вам этой услуги.

И Гудвин вкратце рассказал парикмахеру о том кризисе, который переживает страна, и предложил ему остаться здесь, на улице, возле отеля, и следить, чтобы никто не пытался бежать через окно или дверь. Сам же Гудвин подошел к той двери, в которую вошли гости, открыл ее и шагнул через порог.

Мадама только что спустилась вниз. Она ходила смотреть, как устроились ее постояльцы. Ее свеча стояла на прилавке. Мадама намеревалась выпить крохотную рюмочку рома, чтобы вознаградить себя за прерванный сон. Она не выразила ни удивления, ни испуга, когда увидела, что входит еще один посетитель.

— Ах, это сеньор Гудвин. Не часто достаивает он мой бедный дом своим присутствием.

— Да, мне следовало бы приходить к вам почаще, — сказал Гудвин, улыбаясь по-гудвински. — Я слышал, что от Бе-



лисе на севере до Рио на юге ни у кого нет лучшего коньяка, чем у вас. Поставьте же бутылочку, мадама, и давайте отдаем его вдвоем.

— Мой *aguardiente*, — сказала не без гордости мадама, — самого первого сорта. Он растет среди банановых деревьев, в темных местах, в очень красивых бутылках. *Si, Señor*. Его можно срывать только ночью; его срывают матросы, которые приносят его до рассвета к задней двери, к черному крыльцу. С хорошим *aguardiente* очень много возни, сеньор Гудвин. Нелегко разводить эти фрукты.

Говорят, что конкуренция — основа торговли. В Коралио основой торговли была контрабанда. О ней говорили с оглядкой, но все же хвастались, если она удавалась.

— Сегодня у вас постояльцы, — сказал Гудвин, кладя на стойку серебряный доллар.

— А почему бы и нет? — сказала мадама, отсчитывая сдачу. — Двое. Только что прибыли. Один сеньор, еще не совсем старый, и сеньорита, довольно хорошенькая. Они поднялись к себе в комнаты, не захотели ни есть, ни пить. Их комнаты — номеро девять и номеро десять.

— Я давно жду этого джентльмена и эту леди, — сказал Гудвин. — У меня к ним важное дело. Можно мне повидать их теперь?

— Почему бы не повидать? — сказала мадама спокойно. — Почему бы сеньору Гудвину не подняться по лестнице и не поговорить со своими друзьями? *Está bueno*. Комната номеро девять и комната номеро десять.

Гудвин отстегнул в кармане свой револьвер и поднялся по крутой темной лестнице.

В коридоре наверху, при свете лампы, распространявшей шафрановый свет, Гудвин легко рассмотрел большие цифры, ярко намалеванные на дверях. Он нажал дверную ручку девятого номера, вошел и затворил за собой дверь.

Если женщина, сидевшая у стола в этой убого обставленной комнате, была Изабеллой Гилберт, то надо сказать, что молва не отдала должного ее чарующей прелести. Она склонилась головой на руку. В каждой линии ее тела чувст-

вовалась страшная усталость; на ее лице была тревога. Глаза у нее были серые, той формы, какая, очевидно, присуща очам всех знаменитых покорительниц сердец; белки блестящие, необычайной белизны. Сверху они были спрятаны тяжелыми веками, снизу оставалась открытой белоснежная полоска. Такие глаза выражают великую силу, великое благородство и — если только можно вообразить себе это — самоотверженный и щедрый эгоизм.

Когда американец вошел, она подняла глаза с видом удивленным, но не испуганным.

Гудвин снял шляпу и со свойственной ему спокойной непринужденностью уселся на край стола. В руке у него дымила сигара. Он решил быть фамильярным, так как знал, что слишком церемониться с мисс Гилберт не стоит: церемонии не приведут ни к чему. Он знал ее жизнь; ему было известно, какую малую роль играли в этой жизни условности.

— Добрый вечер, — сказал он. — Ну, *madame*, не будемте мешкать, давайте сейчас же поговорим о делах. Я не называю имен, но я знаю, кто находится в соседней комнате и что у него в саквояже. Это-то и привело меня сюда. Я пришел сказать вам: сдавайтесь без боя — я сейчас же продиктую вам условия.

Дама не шевельнулась и не сказала ни слова. Не отрываясь, смотрела она на кончик его сигары.

— Мы, — продолжал Гудвин, раскачивая ногою и разглядывая свою изящную туфлю из оленьей кожи, — я говорю от лица значительного большинства всего народа, — мы требуем возвращения украденных денег, которые принадлежали народу; больше мы в сущности ничего не хотим. Наши требования очень несложны. Как представитель народа, я даю вам честное слово, что, если вы возвратите нам деньги, мы не применим к вам никакого насилия. Отдайте наши деньги и уезжайте с вашим спутником, куда хотите. Вам даже будет оказана помощь; вам помогут уехать отсюда на любом пароходе, на каком вы только пожелаете. От себя же я могу только присовокупить, что у джентльмена из

десятого номера удивительно тонкий вкус в отношении женской красоты.

Гудвин снова сунул сигару в рот и заметил, что дама ледяным взглядом следит за нею, подчеркнуто сосредоточив на ней все свое внимание. Очевидно, она не слыхала ни слова. Он спохватился, выбросил сигару в окно и с веселым смехом встал со стола.

— Так лучше, — скачала дама. — Теперь я могу выслушать вас. Если вы хотите получить от меня еще один урок хороших манер, скажите мне ваше имя. Нужно же мне знать, как зовут человека, который оскорбляет меня.

— Жаль, — сказал Гудвин, опираясь рукой о стол, — нет у меня сейчас времени для этикета. Послушайте, я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Вы не раз доказывали, что хорошо понимаете, в чем состоит ваша выгода. Вот вам еще один случай обнаружить вашу незаурядную смьшленость. В этом деле секретов нет. Я — Франк Гудвин. Я пришел за деньгами. Я очутился в вашей комнате случайно. Если бы я вошел в соседний номер, деньги уже давно были бы у меня в руках. Вы хотите, чтобы я сказал вам, в чем дело? Извольте. Джентльмен из десятого номера пользовался доверием народа, но похитил деньги. Я решил вернуть эти деньги народу. Я не говорю, кто этот джентльмен; но если обстоятельства заставят меня увидеться с ним и он окажется высоким должностным лицом республики, я сочту своим долгом арестовать его. Этот дом под охраной, убежать невозможно. Я предлагаю вам отличные условия. Я даже готов отказаться от личной беседы с джентльменом из десятого номера. Принесите мне саквояж с деньгами, и больше мне ничего не надо.

Дама встала с кресла и целую минуту стояла в глубоком раздумье.

— Вы живете здесь, мистер Гудвин? — спросила она, наконец.

— Да.

— По какому праву вы вошли в мою комнату?

— Я служу республике. Мне сообщили по телеграфу о маршруте... джентльмена из десятого номера.

— Можно задать вам два или три вопроса? Мне кажется, что вы скажете правду. Правдивости в вас, кажется, больше, чем деликатности. Что это за город — этот... Коралио, так, кажется, он называется?

— Ну какой же это город! — сказал Гудвин с улыбкой. — Так, городишко банановый! Соломенные лачуги, глинобитные домики, пять-шесть двухэтажных домов, удобств мало; население: помесь индейцев с испанцами, караибы, чернокожие. Развлечений никаких. Нравственность в упадке. Даже тротуаров порядочных нет. Вот вам и описание Коралио, очень, конечно, поверхностное.

— Но есть же и достоинства, не правда ли? Есть что-нибудь, что могло бы заставить людей из хорошего общества или дельцов поселиться в этом городе надолго?

— О да! — сказал Гудвин, широко улыбаясь. — Достоинства есть, и огромные. Во-первых, полное отсутствие шарманок. Во-вторых, никого не приглашают к вечернему чаю. И в-третьих, широкое гостеприимство для преступников: бежавшие сюда преступники не выдаются властям той страны, откуда они убежали.

— А он говорил мне, — промолвила дама, слегка нахмурившись и словно думая вслух, — что тут, на этом берегу, красивые большие города, что в них очень хорошее общество, особенно американская колония, состоящая из очень культурных людей.

— Да, здесь есть американская колония, — сказал Гудвин, с некоторым удивлением смотря на даму, — иные из них ничего. Но иные убежали от правосудия. Я помню двух сбежавших директоров банка, одного полкового казначея с подмоченной репутацией, двух убийц и некую вдову — ее, кажется, подозревали в отравлении мужа мышьяком. Я тоже принадлежу к этой колонии, но до сих пор, кажется, еще не прославил себя никаким сколько-нибудь заметным преступлением.

— Не теряйте надежды, — сказала дама сухо, — ваше сегодняшнее поведение служит залогом того, что вы скоро прославитесь. Произошла какая-то ошибка. Я не знаю, в чем дело, но ошибка произошла несомненно. Но его вы не должны

тревожить. Путешествие утомило его. Он буквально свалился с ног и, кажется, заснул, не раздеваясь. Вы говорите об украденных деньгах! Я вас не понимаю. Вы, несомненно, ошиблись, и я сейчас же докажу вам это. Подождите здесь, я сейчас принесу саквояж, о котором вы так страстно мечтаете.

Она направилась к закрытой двери, которая соединяла оба номера, но остановилась и окинула Гудвина серьезным, испытующим взглядом, который разрешился непонятной улыбкой.

— Вы насильно ворвались в мою комнату, вы вели себя, как грубиян, и предъявили мне позорнейшие обвинения; и все же... — тут она помедлила, как бы ища подходящее слово, — и все же... и все же это очень странно. Я уверена, что произошла ошибка.

Она сделала шаг к двери, но Гудвин остановил ее легким прикосновением руки. Я уже говорил, что женщины невольно оглядывались, когда он проходил мимо них. Он был из породы викингов, большой, благообразный и добродушно-воинственный. Она была брюнетка, очень гордая, ее щеки то бледнели, то пылали. Я не знаю, брюнетка или блондинка была Ева, но мудрено ли, что яблоко было съедено, если такая женщина обитала в раю?

Этой женщине суждено было сыграть большую роль в жизни Гудвина, но он еще не знал этого; все же какое-то предчувствие у него, очевидно, было, потому что, глядя на нее и вспоминая то, что о ней говорили, он испытал очень горькое чувство.

— Если и произошла здесь ошибка, — сказал Гудвин запальчиво, — то виноваты в этом вы. Я не обвиняю человека, который простился с родиной и честью и скоро должен будет проститься с последним утешением — с украденными деньгами. Во всем виноваты вы. Я теперь понимаю, что привело его к этому. Я понимаю и жалею его. Именно такие женщины, как вы, наполняют наше побережье несчастными, которые принуждены здесь скрываться. Именно из-за таких мужчины забывают свой долг и доходят...

Дама остановила его усталым движением руки.

— Прекратите ваши оскорбления, — холодно сказала она, — я не знаю, о чем вы говорите, я не знаю, какая глупая ошибка привела вас сюда, но если я избавлюсь от вас, показав вам этот саквояж, я принесу его сию же минуту.

Она быстро и бесшумно вошла в соседнюю комнату и вернулась с тяжелым кожаным саквояжем, который и вручила американцу с видом покорного презрения.

Гудвин быстро поставил саквояж на стол и начал отстегивать ремни. Дама стояла подле с выражением бесконечной гадливости и утомления.

Саквояж широко распахнул свою пасть. Когда Гудвин извлек оттуда лежавшее сверху белье, внизу оказались туго перевязанные пачки крупных кредитных билетов государственного банка Соединенных Штатов. Судя по цифрам, написанным на бандеролях, там было никак не меньше ста тысяч.

Гудвин поднял глаза на женщину и увидел с удивлением и странным удовольствием (почему с удовольствием, он и сам не умел бы сказать), что она потрясена неспритворно. Глаза ее расширились, у нее захватило дыхание, и она тяжело облокотилась о стол. Значит, она и вправду не знала, что ее спутник ограбил казну. Но почему, с раздражением допытываясь Гудвин у себя самого, он так обрадовался, убедившись, что эта бродячая авантюристка-певица совсем не так черна, как ее изображала досужая сплетня?

Шум в соседней комнате заставил их обоих встрепенуться. Дверь широко распахнулась, и в комнату быстро вошел высокий, смуглый, свежесвыбритый пожилой человек.

Все портреты президента Мирафлореса изображают его обладателем холеной, роскошной бороды. Но парикмахер Эстебан уже подготовил Гудвина к такой перемене.

Он выбежал из полутемной комнаты отяжелевший от сна, мигая от яркого света лампы.

— Что это значит? — спросил он на чистейшем английском языке, бросив на Гудвина острый взволнованный взгляд. — Воровство?

— Да, воровство, — ответил Гудвин. — Но я вовремя принял меры и не дал этому воровству совершиться. Я действую от имени людей, которым принадлежат эти деньги. Я пришел, чтобы взять эти деньги и вернуть их настоящим владельцам.

Он быстро сунул руку в карман своего просторного полотноного пиджака.

Старик сделал то же движение.

— Не надо! — резко крикнул Гудвин. — Я выну быстрее, и вам будет худо...

Женщина шагнула вперед и положила руку на плечо своего поникшего спутника. Она указала на стол.

— Скажи мне правду... Скажи мне правду... — повторила она тихим голосом. — Кому принадлежат эти деньги?

Тот не ответил. Он испустил очень глубокий вздох, наклонился к женщине, поцеловал ее в лоб, шагнул в соседнюю комнату и плотно закрыл за собою дверь.

Гудвин догадался, в чем дело, и кинулся к двери, но из-за двери раздался выстрел в ту самую минуту, когда он схватился за ручку. Послышалось падение тяжелого тела, и кто-то оттолкнул Гудвина и кинулся к упавшему.

Должно быть, подумал Гудвин, горе, более тяжелое, чем потеря любовника и золота, жило в сердце этой чаровницы, если в такую минуту у нее вырвался крик, с которым бегут к всепрощающей, к лучшей из всех земных утешительниц, если в этой поруганной, окровавленной комнате она застонала:

— О мама, мама, мама!

Но на улице уже была суматоха. Парикмахер Эстебан при звуке выстрела поднял тревогу. Выстрел и без того всколыхнул половину всего населения. Улица зашумела шагами, в тихом воздухе явственно слышались распоряжения начальства. Гудвину предстояло еще одно дело. Обстоятельства вынудили его стать охранителем богатств, принадлежащих его новой родине. Быстро закинул он деньги назад в саквояж, закрыл его и, высунувшись из окна почти всем корпусом, бросил свою добычу в самую чашу апель-

синных деревьев, что росли в маленьком садике, примыкавшем к отелю.

Вам подробно расскажут в Коралио, чем окончилась эта драма: в Коралио любят беседовать с заезжими людьми. Вам расскажут, как представители закона рысью примчались в отель, услышав тревогу, — Comandantea в красных туфлях и куртке, как у метрдотеля, препоясанный шпагой, солдаты с необыкновенно длинными ружьями, офицеры, которых было больше, чем солдат, офицеры, напяливающие на ходу эполеты и золотые аксельбанты, босые полицейские и взбурдаженные горожане самых разнообразных цветов и оттенков.

Вам расскажут, что лицо убитого сильно пострадало от выстрела, но что и Гудвин и цирюльник Эстебан, оба засвидетельствовали, что это президент Мирафлорес. На следующее утро по исправленному телеграфному проводу в город стали приходить депеши, и бегство президента стало известно всем. В Сан-Матео оппозиционная партия без всякого сопротивления захватила скипетр власти, и громкие vivas переменчивой черни быстро изгладили всякий интерес к незадачливому Мирафлоресу.

Вам расскажут, как новое правительство обшарило все города и обыскало дороги в поисках саквояжа, содержащего финансы Анчурии, которые похитил президент. Но все было напрасно. В Коралио сам сеньор Гудвин организовал особый отряд, который прочесал весь город, как женщина расчесывает волосы, но деньги пропали бесследно.

Мертвого похоронили без почестей, на задворках города, у мостика, переброшенного через болото, и за один реал любой мальчишка покажет вам его могилу. Говорят, что та старуха, у которой брился покойный, поставила у него в головах деревянную колоду и выжгла на ней надпись каленым железом.

Вы услышите также, что сеньор Гудвин стойко оберегал донну Изабеллу Гилберт в эти дни волнений и скорби, что ее прошлое перестало смущать его (если только прежде оно его смущало!), что привычки легкомысленной и раз-

гульной жизни изгладились у нее совершенно (если были у нее такие привычки), что Гудвин женился на ней и что они были счастливы.

Американец построил себе дом за городом, на невысоком холме у подножия горы. Дом построен из драгоценного местного дерева, которое само по себе, если вывезти его в иные страны, дало бы человеку состояние, а также из стекла, кирпича, бамбука и местной глины. Вокруг дома раскинулся рай, но такой же рай и в самом доме. Когда местные жители говорят об убранстве дома, они в восторге поднимают руки ввысь. Там полы такие гладкие, как зеркала. Там шелковые индейские ковры и циновки ручной работы. Там картины, статуи, музыкальные инструменты и — «вы только представьте себе!» — оклеенные обоями стены.

Но никто не скажет вам в Коралио (впоследствии вы сами узнаете это!), что случилось с деньгами, которые Франк Гудвин швырнул в апельсиновую чашу. Об этом мы сейчас не говорим, ибо пальмы зыблются от легкого ветра и зовут нас к приключениям и радостям.

## V

## ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА КУПИДОНА

Соединенные Штаты Америки, порывшись на дровяном складе своих консулов, выбрали мистера Джона де Граффенрида Этвуда из местечка Дэйлсбург, штат Алабама, в качестве заместителя вышедшего в отставку Уилларда Джедди.

При всем уважении к мистеру Этвуду мы должны отметить, что он сам пламенно жаждал этого назначения. Подобно самоизгнавшемуся Джедди, он был жертвою женской лукавой улыбки, которая погнала и его к презираемым федеральным властям с просьбой дать ему казенное место, дабы он мог уехать далеко-далеко и никогда больше не видеть неверных прекрасных глаз, сгубивших его юную жизнь. Место консула в Коралио, казалось, обещало достаточно отдаленное и романтическое убежище, обещало придать идиллическим сценам дэйлсбургской жизни необходимый элемент драматизма.

В тот период, когда Джонни разыгрывал роль жертвы Купидона, он обогатил, скорбные анналы Испанских морей своими мастерскими манипуляциями на обувном рынке, а также совершил небывалый подвиг — возвел самый презренный и бесполезный плевел своей родины в степень ценного объекта международной торговли.

Все неприятности, как это часто случается, начались с романа, вместо того чтобы окончиться им.

В Дэйлсбурге жил человек по имени Элиджа Гемстеттер, державший лавку бакалейных и мануфактурных товаров. Вся семья его состояла из единственной дочери, которую

звали Розина. Это имя вполне вознаграждало ее за неблагозвучную фамилию Гемстеттер. Вышеназванная молодая особа обладала неисчислимыми достоинствами, так что во всей округе сердца молодых людей волновались несказанно. И больше всех волновался Джонни, сын местного судьи Этвуда, который жил в большом и гордом доме на окраине Дэйлсбурга.

Казалось бы, прелестная Розина должна была чувствовать себя очень польщенной, что к ней равнодушен сам Этвуд: Этвуды еще до войны — и после войны — были весьма уважаемы во всем этом штате. Казалось бы, ей надо радоваться, что она может войти хозяйкой в этот большой и важный, но пустоватый дом. А на деле было не так. На горизонте появилось облако, грозное кучевое облако в образе джюжего и веселого фермера, который позволил себе открыто выступить соперником высокогородного Этвуда.

Однажды вечером Джонни задал Розине вопрос, который считается очень серьезным среди юных особей человеческого рода. Все атрибуты были налицо: луна, олеандры, магнолии, песня дрозда-пересмешника. Встала ли между ними роковая тень Пинкни Доусона, удачливого фермера, нам неизвестно, но ответ Розины был не тот, какого от нее ожидали Мистер Джон де Граффенрид. Этвуд отвесил такой низкий поклон, что его шляпа коснулась травы, и удалился прочь, высоко подняв голову, но чувствуя, что его гербу и сердцу нанесена неизлечимая рана. Какая-то Гемстеттер позволила себе отказать ему, Этвуду. Проклятие!

В том году в Соединенных Штатах среди прочих несчастий был президент-демократ. Судья Этвуд издавна считался боевым конем этой партии. Джонни уговорил старика двинуть кое-какие колеса, дабы приискать для него место за границей. Ему хотелось уехать далеко-далеко. Может быть, когда-нибудь Розина поймет, как верно, преданно любил он ее, и уронит слезу в те сливки, которые она будет снимать на завтрак Пинкни Доусону.

Колеса политики скрипнули, повернулись, и Джонни был назначен в Коралио консулом. Перед тем как тронуть-

ся в путь, он зашел к Гемстеттерам проститься. У Розины в тот день почему-то покраснели глаза; и если бы в комнате никого больше не было, может быть, Соединенным Штатам пришлось бы подыскивать другого консула. Но в комнате был, конечно, Пинк Доусон, без умолку говоривший о своем фруктовом саде в четыреста акров, о поле люцерны в три квадратных мили, о пастбище в двести акров. И Джонни на прощание пришлось ограничиться холодным рукопожатием, как будто он уезжал на два дня в Монтгомери. Эти Этвуды, когда хотели, умели держать себя с королевским достоинством.

— Если вам случится, милый Джонни, наткнуться там на выгодное дельце, куда стоило бы вложить капитал, дайте мне, пожалуйста, знать, — сказал Пинк Доусон. — У меня найдется несколько лишних тысяч, чтобы пустить в оборот.

— Отлично, Пинк, — мягко и любезно сказал Джонни. — Если что-нибудь такое подвернется, я с удовольствием дам вам знать.

И вот Джонни уехал в Мобил, откуда и отбыл в Анчурию на “фруктовом” пароходе.

По приезде в Коралио он был весьма поражен непривычными видами природы. Ему было всего двадцать два года от роду. Юноши не носят свое горе, как платье. Это удел пожилых. А у молодых оно перемежается с более острыми ощущениями.

На первых же порах Джонни Этвуд близко сошелся с Кью. Кью повел нового консула по городу и познакомил с горстью американцев, французов и немцев, составлявших иностранный контингент Коралио. Кроме того, ему, конечно, надлежало быть официально представленным местным властям и через переводчика передать свои верительные грамоты.

В молодом южанине было что-то, подкупавшее умудренного жизнью Кью. Новый консул держал себя просто, почти ребячливо, но в нем чувствовалась холодная независимость, свойственная более зрелым и опытным Людям. Ни

мундиры, ни титулы, ни чиновничья волокита, ни иностранные языки, ни горы, ни море — ничто не отягощало его сознания. Он был наследником всех эпох, он был Этвудом из Дэйлсбурга, и всякий мог прочесть любую мысль, зародившуюся у него в голове.

Джедди явился в консульство, чтобы ввести своего заместителя в обязанности новой службы. Вместе с Кьюу он попытался заинтересовать нового консула описанием того, какой работы ждет от него правительство.

— Ну и прекрасно, — сказал Джонни из гамака, который он избрал в качестве служебного седалища. — Если потребуется что-нибудь сделать, вы этим и займетесь. Не воображайте же вы, что член демократической партии будет работать, пока он занимает официальный пост?

— Вы бы просмотрели вот эти заголовки, — предложил Джедди, — здесь перечислены все предметы экспорта, в которых вам придется отчитываться. Фрукты разбиты по сортам; потом идут ценные породы дерева, кофе, каучук...

— Этот последний пункт звучит приятно, — перебил его мистер Этвуд, — звучит, как будто его можно растянуть. Я хочу купить новый флаг, мартышку, гитару и бочку ананасов. Как вы думаете, хватит на все это вашего каучука?

— Это всего только статистика, — сказал Джедди, улыбаясь, — а вам нужен отчет о расходах. Тот обычно обладает некоторой эластичностью. Пункт “канцелярские принадлежности” в большинстве случаев не удостоивается особого внимания государственного департамента.

— Мы попусту теряем время, — сказал Кьюу. — Этот человек рожден для дипломатической службы. Он сумел проникнуть в самую суть этого искусства одним взглядом своего орлиного ока. В каждом его слове сквозит истинный административный гений.

— Я не для того занял эту должность, чтобы работать, — лениво объяснил Джонни. — Я хотел уехать в какое-нибудь место, где не говорят о фермах. Ведь здесь их, кажется, нет?

— Таких, к каким вы привыкли, нет, — отвечал экс-консул. — Искусства земледелия здесь не существует. Во всей Анчурии никогда не видели ни плуга, ни жнейки.

— Вот это страна как раз по мне, — пролепетал консул и мгновенно уснул.

Веселый фотограф продолжал дружить с Джонни, несмотря на откровенные обвинения в том, что это якобы вызвано желанием абонировать постоянное кресло в излюбленном убежище — на задней веранде консульства. Но будь то из эгоистических или, напротив, из дружеских побуждений, Кьюу добился этого завидного преимущества. Почти каждый вечер друзья располагались на веранде, подставив лицо морскому ветру, задрыв пятки на перила и придвинув поближе сигары и бренди.

Однажды они сидели там, изредка перекидываясь словами, так как беседа их замерла под умиротворяющим влиянием изумительной ночи.

Светила огромная, полная луна, и море было перламутровое. Замолкли почти все звуки, воздух едва шевелился, город лежал усталый, ожидая, чтобы ночь освежила его. На рейде стоял “фруктовщик” “Андадор”, пароходной компании “Везувий”; он был уже доверху нагружен и должен был отойти в шесть часов утра. Берег опустел. Луна светила так ярко, что с веранды можно было разглядеть камешки на берегу, поблескивающие там, где на них набегали волны и оставляли их мокрыми. Потом появился крошечный парусник, он медленно шел, не отдаляясь от берега, белокрылый, как большая морская птица. Он шел почти против ветра, отклоняясь то вправо, то влево длинными плавными поворотами напоминавшими изящные движения конькобежца.

Вот он, волей матросов, опять приблизился к берегу, на этот раз почти что напротив консульства, и тут с него долетели какие-то чистые и непонятные звуки, словно эльфы трубили в рог. Да, это мог бы быть волшебный рожок, нежный, серебристый и неожиданный, вдохновенно играющий знакомую песню “Родина, милая родина”.

Сцена была словно нарочно создана для страны лотоса. Ощущение моря и тропиков, тайна, связанная со всяким неведомым парусом, и прелесть далекой музыки над залитой луною водой — все чаровало и баюкало. Джонни Этвуд поддался очарованию и вспомнил Дэйлсбург; но Кью, как только у него в голове созрела теория относительно этого непоседливого соло, вскочил с места, подбежал к перилам, и его оглушительный оклик прорезал безмолвие, как пушечный выстрел:

— Меллинджер, э-хой!

Парусник как раз повернул прочь от берега, но с него отчетливо донеслось в ответ:

— Прощай, Билли... е-ду до-мой, прощай!

Парусник шел к "Андадору". Очевидно, какой-то пассажир, получивший разрешение на отъезд в каком-то пункте дальше по побережью, спешил захватить фруктовое судно, пока оно не ушло в обратный рейс. Словно кокетливая горлица, лодочка зигзагами продолжала свой путь, пока, наконец, ее белый парус не растворился на фоне белой громады парохода.

— Это Г. П. Меллинджер, — объяснил Кью, снова опускаясь в кресло. — Он возвращается в Нью-Йорк. Он был личным секретарем покойного беглеца-президента этой бакалейно-фруктовой лавочки, которую здесь называют странной. Теперь его работа закончена, и, наверно, он себя не помнит от радости.

— Почему он исчезает под музыку, как Зозо, королева фей? — спросил Джонни. — Просто в знак того, что ему наплевать?

— Звуки, которые вы слышали, исходят из граммофона, — сказал Кью. — Это я ему продал. Меллинджер вел здесь игру, единственную в своем роде. Эта музыкальная вертушка однажды выручила его, и с тех пор он с ней не расстается.

— Расскажите, — попросил Джонни, проявляя признаки интереса.

— Я не распространитель повествований, — сказал Кью. — Я пользуюсь языком, чтобы говорить; но когда я пробую

произнести речь, слова выскакивают из меня, как им вздумается, а когда ударяются об атмосферу, иногда получается смысл, а иногда и нет.

— Расскажите мне, какую он вел игру, — упорствовал Джонни. — Вы не имеете права мне отказывать. Я вам рассказал все решительно, обо всех жителях Дэйлсбурга без исключения.

— Ладно, расскажу, — сказал Кью. — Я только что говорил вам, что инстинкт повествования во мне атрофирован. Не верьте. Это искусство, которое я приобрел наряду со многими другими талантами и науками.



## VI ИГРА И ГРАММОФОН

— Так в чем же состояла его проделка? — спросил Джонни, проявляя нетерпение, свойственное широкой публике.

— Сообщить вам это, значит идти против искусства и философии, — спокойно сказал Кью. — Искусство повествования заключается в том, чтобы скрывать от слушателей все, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные, не относящиеся к делу предметы. Хороший рассказ — все равно, что горькая пилюля, только сахар у нее не снаружи, а внутри. Я начну, если позволите, с того, как некоему воину из племени Чероки предсказали судьбу, а закончу нравоучительной мелодией на граммофоне.

Мы с Генри Хорсколларом привезли в эту страну первый граммофон. Генри был на четверть индеец Чероки, обучившийся на Востоке футбольному языку, а на Западе — винной контрабанде, и такой же джентльмен, как мы с вами. Характер у него был легкий и резвый; росту он был примерно шести футов и двигался, как резиновая шина. Да, небольшой был человечек, примерно пять футов пять дюймов, либо пять футов одиннадцать. Ну, роста он был, что называется, среднего, не очень большой и не такой уж маленький. Генри один раз вылетел из университета и три раза вылетал из тюрьмы Маскоги — последнее потому, что вывозил из Штатов виски и продавал его, где не положено. Генри Хорсколлар никогда бы не позволил никакой табач-

ной лавочке подобраться к нему и встать у него за спиной. Нет, он был не из этой породы индейцев<sup>1</sup>.

Мы с Генри встретились в Тексаркане и разработали наш граммофонный план. У него было триста шестьдесят долларов, вырученных за участок земли в резервации. Я только что прибыл из Литл-Рока, где оказался свидетелем очень прискорбной уличной сцены. Человек стоял на ящике и предлагал желающим золотые часы-футляры на винтиках, заводятся ключиком, очень элегантно. В магазинах они стоили двадцать монет. Здесь их продавали по три доллара, и толпа буквально дралась из-за них. Человек где-то нашел целый чемодан этих часов, и теперь их раскупали у него, как горячие пирожки. Крышки футляров отвинчивались туго, но люди прикладывали футляры к уху, и там тикало этак приятно и успокаивающе. Трое часов были настоящие; остальные — один обман. А? Ну да, пустые футляры, а в них — такие черные твердые жучки, которые кружат около электрических ламп. Эти самые жучки так искусно отстукивают секунды и минуты, что любо-дорого слушать. Так вот человек, о котором я говорю, выручил двести восемьдесят восемь долларов, а потом уехал, потому что знал, что когда в Литл-Роке настанет время заводить часы, то для этого потребуются энтомолог, а у него была другая специальность.

Так вот я и говорю: у Генри было триста шестьдесят долларов, а у меня двести восемьдесят восемь. Идея ввезти в Южную Америку граммофон принадлежала Генри, но я жадно за нее ухватился, потому что питал пристрастие ко всяким машинам.

— Латинские расы, — говорит Генри, легко изъясняясь при помощи слов, которым его обучили в университете, — особенно склонны к тому, чтобы пасть жертвою граммофона. У них артистический темперамент. Они тянутся к музыке, к ярким краскам, к веселью. Они дают деньги шарманщику и четырехлапому цыпленку на ярмарке, когда за

<sup>1</sup> В США принято перед магазинами табачных изделий ставить деревянные изображения индейцев.

бакалею и за плоды хлебного дерева не плачено уже много месяцев.

— В таком случае, — говорю я, — будем экспортировать латинцам музыкальные консервы. Но я вспоминаю, что мистер Юлий Цезарь в своем отчете о них сказал: "Omnia Gallia in tres partes divisa est"<sup>1</sup>, что означает: "Умного галла в три партии не оставишь — вот мой девиз".

Мне очень не хотелось хвастать своей образованностью, но я не мог допустить, чтобы в синтаксисе меня забил какой-то индеец, представитель народа, не давшего нам ничего, кроме той земли, на которой расположены Соединенные Штаты.

Мы купили в Тексаркане отличный граммофон — самой лучшей марки — и целую кучу пластинок. Мы уложили чемоданы и направились поездом в Новый Орлеан. Из этого прославленного центра паточной промышленности и непристойных негритянских песенок мы отплыли на пароходе в Южную Америку.

Мы высадились в Солитасе, в сорока милях отсюда. Местечко на вид вполне сносное. Домишки были чистые, белые, и, глядя, как они воткнуты в окрестный пейзаж, я невольно вспоминал салат с крутыми яйцами. На окраине расположился квартал небоскребных гор; вели они себя тихо, словно подползли сзади и следят, что делается в городе. А море говорило берегу "шш-ш". Изредка в песок плюхался спелый кокосовый орех; вот и все. Да, тихий был городок. Я так думаю: когда Гавриил кончит трубить в рог и вагончик тронется — представляете картину, — Филадельфия цепляется за ремень, Пайн-Галли, штат Арканзас, повисла на задней площадке, — только тогда этот самый Солитас проснется и спросит, не говорил ли кто чего.

Капитан сошел с нами на берег и предложил возглавить то, что ему угодно было назвать похоронной процессией. Он представил нас с Генри консулу Соединенных Штатов и еще одному пегому начальнику какого-то там Меркантильного департамента.

1 Вся Галлия делится на три части (лат).

— Я опять загляну сюда через неделю, — сказал капитан.  
— К тому времени, — отвечали мы ему, — мы будем наживать сказочное состояние с помощью нашей гальванизированной примадонны и точных копий оркестра Сузы, извлекающего марши из залежей олова.

— Ничего подобного, — говорил капитан. — К тому времени вы будете загипнотизированы. Любой джентльмен из публики, который пожелает подняться на сцену и посмотреть в глаза этой стране, проникнется убеждением, что он не более как муха в стерилизованных сливках. Вы будете стоять по колено в море и ждать меня, а ваша машинка для изготовления гамбургских бифштексов из дотоле почтенного искусства музыки будет играть: "Ах, родина, что может с ней сравниться!"

Генри снял со своей пачки верхнюю двадцатку и получил от Меркантильного бюро бумагу с красной печатью и какой-то басней на туземном языке, а сдачи не получил.

Потом мы накачали консула красным вином и попросили его предсказать нам будущее. Человек он был тощий, вроде как молодой, лет за пятьдесят, по вкусам — помесь француза с ирландцем, сплошная тоска. Да, этакий приплюснутый человек, которому и вино не шло впрок, и склонный к тучности и меланхолии. Да, ну, понимаете, этакий голландец, очень печальный и жизнерадостный.

— Поразительное изобретение, именуемое граммофоном, — говорит он, — еще никогда не вторгалось в эти края. Здешний народ никогда его не слышал. А если услышит, не поверит. Это простодушные дети природы. Прогресс еще не научил их принимать работу открывателя консервных жестянок за увертюру, а регтайм способен вдохновить их на кровавый мятеж. Но почему не попробовать? Лучшее, что может с вами случиться, когда вы начнете играть, — население просто не проснется. Они, — говорит консул, — могут принять это двояко. Либо они опьянеют от внимания, как плантатор из южных штатов при звуках марша "Шагая по Джорджии", либо рассердятся и перенесут мелодию в другой ключ топором, а вас — в каземат. Если случится послед-

нее, — продолжает консул, — я исполню свой долг: пошлю каблогранму в государственный департамент, накрою вас звездным флагом, когда вас расстреляют, и пригрожу им отмщением самой великой, твердвалютной и золотозапасной державы в мире. Мой флаг и так уже весь продырявлен пулями, — говорит консул, — все результат подобных же инцидентов. Уж два раза, — говорит консул, — я телеграфировал правительству с просьбой выслать мне пару канонерок для защиты американских граждан. Один раз департамент прислал мне двух канареек. В другой раз, когда здесь должны были казнить человека по фамилии Томат, и я возбудил вопрос о помиловании, они направили мою депешу в департамент земледелия. А теперь не будет ли добр сеньор, что стоит за стойкой, выдать нам новую бутылку красного вина?

Вот какой монолог преподнес мне и Генри Хорсколлару консул в Солитасе.

Но мы, несмотря на это, в тот же день сняли комнату на Калье де лос Анхелес, главной улице, идущей вдоль морского берега, и водворились там со своими чемоданами. Комната была большая, этакая темная и веселенькая, только маленькая. Помещалась она на не бог знает какой улице, которой придавали некоторое разнообразие дома и оранжерейные растения. Городские поселяне проходили мимо окон, по прекрасному пастбищу между тротуарами. Больше всего они напоминали оперный хор, когда на сцене вот-вот должен появиться шах Кафузлум.

Мы стирали со своей машины пыль, готовясь приступить к работе на следующий день, когда высокий, красивый белый человек в белом костюме остановился у нашей двери и заглянул в комнату. Мы сказали, что требовалось по части приглашений, и он вошел и оглядел нас с ног до головы. Он жевал длинную сигару и шурил глаза этак задумчиво, как девушка, когда она старается решить, какое платье лучше надеть на вечеринку.

— Нью-Йорк? — говорит он, наконец, обращаясь ко мне.

— Первоначально и время от времени, — говорю я. — Неужели еще не стерся?

— Понять нетрудно, кто умеет, — говорит он. — Все дело в покрое жилета. Правильно скроить жилет не умеют больше нигде. Пиджак — может быть, но жилет — никогда.

Потом этот белый человек смотрит на Генри Хорсколлару и колеблется.

— Индеец, — говорит Генри, — ручной индеец.

— Меллинджер, — говорит белый, — Гомер П. Меллинджер. Ну, друзья, вы конфискованы. Вы тут младенцы в темном лесу, и нет у вас ни няньки, ни арбитра, и моя обязанность позаботиться о вашем движении вперед. Я выбью подпорки и спущу вас, как на колесиках, на прозрачные воды этой тропической лужи. Придется вас окрестить, и, если вы пойдете со мной, я по всем правилам раздавлю у вас на носовой части бутылочку вина.

Ну вот, целых два дня после того мы были гостями Гомера П. Меллинджера. Этот человек знал свое дело. Не подкупаешься. Он был самый настоящий Кафузлум. Мы с ним и с Генри Хорсколларом взяли под ручки и стали повсюду таскать наш граммофон и всячески развлекаться. Где бы нам ни попалась открытая дверь, мы входили и заводили машинку, и Меллинджер предлагал публике обратить внимание на хитрую музыку и на его закадычных друзей, Senors Amencanos. Оперный хор проникся к нам уважением и ходил за нами по пятам из дома в дом. После каждой пластинки появлялся новый сорт выпивки. Местные жители обладают очень приятным талантом по части одного напитка, который так и врезается в память. Они отрубают конец у незрелого кокосового ореха, а в сок наливают французского коньяку и прочие ингредиенты. Мы пили и это и еще много чего.

Наши с Генри деньги хождения не имели. За все платил Гомер П. Меллинджер. Этот человек умел извлекать пачки банкнот из таких мест на своей особе, где сам Герман Чародей, великий фокусник, не обнаружил бы ни кролика, ни яичницы. Он мог бы основать два-три университета и собрать коллекцию орхидей, и у него осталось бы достаточно денег, чтобы скупить голоса всего цветного населения

страны. Мы с Генри все гадали, в чем секрет его незаконных богатств. Как-то вечером он просветил нас.

— Ребята, — сказал он, — я вас обманывал. Вы думаете, я — праздный мотылек; на самом же деле никто здесь не работает больше моего. Десять лет назад я пристал к этим берегам, два года назад я стал первым человеком в стране. Да, я в любую минуту могу направить дела этой пряничной республики, как мне захочется. Я доверяюсь вам, потому что вы — мои соотечественники и мои гости, хоть и наводнили мою приемную родину худшей из всех шумовых систем, когда-либо положенных на музыку.

Я занимаю пост личного секретаря при президенте республики, и мои обязанности состоят в том, чтобы управлять ею. Мое имя не фигурирует в официальных документах, а между тем я — горчица в приправе к салату. Все законы, которые проходят через Конгресс, все концессии, на которые мы даем разрешение, все ввозные пошлины, которые мы взимаем, — все это стряпня Г. П. Меллинджера. В парадной приемной я наливаю чернила в чернильницу президента и обыскиваю приезжих чиновников на предмет кортиков и динамита, но в задней комнате я диктую всю политику правительства. Вам никогда в жизни не отгадать, какая махинация помогла мне так возвыситься. Таки ми махинациями, кажется, еще никто не занимался. Вот послушайте. Помните заголовки в наших школьных тетрадях: «Честность — лучшая политика»? В этом все и дело. Я возвел честность в азартную игру. Я — единственный честный человек в республике. Правительство это знает; народ это знает; темные элементы это знают; иностранцы-концессионеры это знают. Я заставляю правительство держать слово. Если человеку обещано место, он получает его. Если иностранный капитал покупает концессию, ему дают то, что ему нужно. У меня здесь монополия на честные сделки. Конкуренции никакой. Вздумай полковник Диоген явиться сюда со своим фонарем, ему моментально сказали бы мой адрес. Денег это дает не ахти сколько, но заработок верный, и ночью спишь спокойно.

Так сказал Г. П. Меллинджер нам с Генри. А позднее он разрешился следующим замечанием:

— Ребята, сегодня вечером я устраиваю суарэ<sup>1</sup> для целой кучи видных граждан, и мне нужна ваша помощь. Вы притащите свою музыкальную щелкушку для орехов, и получится как будто светский прием. Предстоят важные дела, но нельзя показывать виду. С вами я могу говорить откровенно. Я уже много лет страдаю оттого, что некому душу излить, не перед кем похвастаться. Иногда меня одолевает тоска по родине, и тогда, кажется, я отдал бы все свои доходы и привилегии, только бы посидеть где-нибудь на Тридцать четвертой улице, да съесть сандвич с икрой, да запить пивом, а то просто стоять и смотреть на трамваи и вдыхать запах жареных орешков из фруктовой лавчонки старика Джузеппе.

— Да, — говорю я, — очень неплохая икра бывает в кафе Билли Ренфро, на углу Тридцать четвертой и...

— Истинная правда, — перебивает меня Меллинджер, — и если бы вы мне сказали, что знаете Билли Ренфро, чего только я не выдумал бы, чтобы доставить вам счастье. Мы с Билли были приятелями в Нью-Йорке. Вот человек, который ни разу не покривил душой. Я тут сделал из честности бизнес, а он так даже теряет на ней деньги. Sagamba!<sup>2</sup> И приедается же мне иногда эта страна! Здесь все продажно. От высшего сановника до последнего батрака на кофейных плантациях все только и думают, как бы потопить друг друга и содрать шкуру со своих друзей. Если погонщик мулов снимает шляпу, здороваясь с чиновником, тот уже воображает себя народным кумиром и готовится устроить революцию и свергнуть существующую власть. В мелкие обязанности личного секретаря входит вынюхивать такие революции и не давать им вспыхивать и портить государственное добро. С этой-то целью я и нахожусь сейчас здесь, в этом зашлесневелом приморском городишке. Здешний губернатор и его банда готовят восстание.

<sup>1</sup> Вечеринка (фр.).

<sup>2</sup> Проклятие! (исп.).

Имена заговорщиков мне известны, и все они приглашены на сегодняшний вечер к Г. П. М. послушать граммофон. Таким образом, я их сгоню в одно место, а дальше все у нас пойдет по программе.

Мы сидели втроем за столиком в харчевне Всех Святых. Меллинджер подливал нам вина, и вид у него был озабоченный; я думал о своем.

— Плуты они ужасные, — говорит он вроде как тревожно. — Их финансирует один каучуковый синдикат, и они доверху нагружены деньгами для взяток. Осточертела мне вся эта оперетка, — продолжает Меллинджер. — Хочется вспомнить, как пахнет в Нью-Йорке Восточная река, и надесть подтяжки. Порой так и подмывает бросить эту должность, но черт меня подери — горжусь я ею, хоть это и глупо. “Вот идет Меллинджер, — говорят в здешних местах. — Por Dios!<sup>1</sup> Он не клюнет и на миллион”. Хотел бы я увести этот отзыв в Нью-Йорк и показать его как-нибудь Билли Ренфро; и это поддерживает меня всякий раз, как я вижу какое-нибудь жирное животное, которое я с легкостью мог бы скрутить — стоило бы только мигнуть глазом и... отказаться от своей игры. Да, черт возьми, ко мне не подъедешь. Они это знают. Те деньги, которые попадают мне в руки, я зарабатываю честным путем и тут же трачу. Когда-нибудь наживу состояние и поеду домой к Билли есть икру. Сегодня я покажу вам, как обращаться с этими ворами и взяточниками. Я покажу им, что такое Меллинджер, личный секретарь, когда его подают без гарнира и соуса.

И тут у Меллинджера начинают трястись руки, и он разбивает стакан о горлышко бутылки.

Я сразу подумал: “Ну, мой милый, если я не ошибаюсь, кто-то положил вкусную наживку в такое место, где тебе ее видно уголком глаза”.

В тот вечер мы с Генри, как и было условлено, притащили свой граммофон в какой-то глинобитный дом на грязной узенькой улочке, по колено заросшей травой. комна-

та, куда нас провели, была длинная, освещенная вонючими керосиновыми лампами. В ней было много стульев, а в одном конце стоял стол. На него мы поставили граммофон. Меллинджер пришел еще раньше нас; он шагал по комнате совсем расстроенный, все жевал сигары, выплевывал их и кусал ноготь на большом пальце левой руки.

Скоро начали собираться приглашенные на концерт — они приходили двойками, тройками и целыми мастями. Кожа у них была самых разнообразных цветов — от не обкуренной пенковой трубки до начищенных лакированных туфель. Вежливы были необычайно — их так и распирало от счастья приветствовать сеньора Меллинджера. Я понимал, что они там лопотали по-испански, — я два года работал у насоса в мексиканском серебряном руднике и все помнил, — но тут я и виду не подал.

Собралось их человек пятьдесят, и все расселись, когда в комнату вплыл сам пчелиный король, губернатор. Меллинджер встретил его у дверей и проводил на трибуну. Когда я увидел этого латинца, я понял, что ждать больше некого. Это был огромный, рыхлый дядя калашного цвета, с глазами, как у главного лакея в гостинице.

Меллинджер без запинки объяснил на кастильском наречии, что душа его изнывает от восторга, потому что он имеет возможность показать своим уважаемым друзьям величайшее изобретение Америки, чудо нашего века. Генри понял намек и поставил шикарную пластинку — духовой оркестр, — и праздник, можно сказать, начался. Этот губернатор немножко кумекал по-английски, и, когда музыка захрипела и кончилась, он и говорит:

— Оч-чень красиво. Gr-r-r-r-racias<sup>1</sup> американским джентльменам за такую прекрасную музыку играть.

Стол был длинный, и мы с Генри сидели на одном его конце, у стены. Губернатор сидел на другом конце. Гомер П. Меллинджер стоял сбоку. Я только что подумал, как же Меллинджер возьмется за дело, как вдруг доморощенный талант сам открыл заседание.

<sup>1</sup> Клянусь богом! (исп.)

<sup>1</sup> Спасибо (исп.).

Этот губернатор был создан для восстаний и всякой политики. Опрометчивый был человек: ничего не делал, не подумав. Да, он был полон выжидательности и всяких сюрпризов. Он положил руки на стол, а лицо обратил к секретарю.

— Что, сеньоры американцы понимают испанский язык? — спрашивает он по-своему.

— Нет, не понимают, — говорит Меллинджер.

— Ну так слушайте, — быстро продолжает латинец. — Музыка-это, конечно, очень мило, но не обязательно. Поговорим о деле. Я отлично понимаю, зачем меня пригласили, раз я вижу здесь моих соотечественников. Вчера, сеньор Меллинджер, вам шепнули кое-что о наших предложениях. Сегодня мы будем говорить начистоту. Мы знаем, что президент благоволит к вам, и знаем, каким вы пользуетесь влиянием. Правительство скоро падет. Мы сумели оценить вас. Мы так дорожим вашей дружбой и вашей помощью, что... — Меллинджер поднимает руку, но губернатор затыкает ему рот. — Не говорите ничего, пока я не кончу.

Потом этот губернатор вытаскивает из кармана завернутый в бумагу пакет и кладет его на стол, около руки Меллинджера.

— Вы найдете здесь пятьдесят тысяч долларов американскими деньгами. Вы бессильны против нас, но, служа нам, вы можете отработать их. Возвращайтесь в столицу и выполняйте наши распоряжения. Возьмите эти деньги. Мы вам доверяем. В пакете вы найдете бумагу с подробным изложением того, что вы должны будете для нас сделать. Будьте благоразумны и не отказывайтесь.

“Губернатор замолчал и устремил на Меллинджера взгляд, полный всяких экспрессий и наблюдений. Я посмотрел на Меллинджера и порадовался, что Билли Ренфро не видит его в эту минуту. Пот выступил у того на лбу, он стоял, точно онемев и постукивая пальцами по пакету. Эта черно-пегая банда подкапывалась под его махинации. Ему нужно было только изменить свои политические взгляды и сунуть пятерню во внутренний карман.

Генри шепчет мне на ухо, просит разъяснить, почему такой перерыв в программе. Я шепчу в ответ: “Г. П. предлагают взятку сенаторских размеров, эти черные совсем сбили его с толку”; Я увидел, что рука Меллинджера пододвигается к пакету. “Он сдастся”, — шепнул я Генри. “Мы ему напомним, — говорит Генри, — жареные орешки на Тридцать четвертой улице в Нью-Йорке”.

Генри нагнулся, достал из корзины, которую мы принесли с собой, одну пластинку, поставил ее и пустил граммофон. Это было соло на корнете, очень чистенькое и красивое, называлось оно “Родина, милая, родина”. Из полусотни человек, сидевших в комнате, ни один не шелохнулся, пока пластинка вертелась, а губернатор все время в упор смотрел на Меллинджера. Я видел, как голова Меллинджера поднималась все выше, а рука отползала от пакета. Пока не прозвучала, последняя нота, никто не сдвинулся с места. А когда стало тихо, Гомер П. Меллинджер взял пачку денег и швырнул ее в лицо губернатору.

— Вот вам мой ответ, — говорит Меллинджер, личный секретарь, — а утром будет второй. У меня есть доказательства, что все вы, до последнего, в заговоре против правительства. Спектакль окончен, джентльмены.

— Нет, осталось еще одно действие, — перебивает его губернатор. — Насколько мне известно, вы находитесь в услужении у президента — переписываете письма и открываете дверь, когда стучат. Я здесь губернатор. Сеньоры, призываю вас во имя нашего общего дела: хватайте этого человека.

Буро-серая шайка заговорщиков отодвинула стулья и повела наступление крупными силами. Я понял, что Меллинджер сделал промах, собрав всех своих врагов вместе, чтобы изобразить эффектную сцену. Я-то лично считаю, что он допустил целых два промаха, отказавшись от денег, но на этом останавливаться не стоит, так как наши с Меллинджером представления о честной игре не совпадают с точкой зрения оценки и взглядов.

В комнате было только одно окно и одна дверь, и были они в дальнем конце. И вот, представьте себе, полсотни ла-

тинцев объявляют обструкцию против законодательства Меллинджера. Нас, можно сказать, было трое, так как мы с Генри одновременно заявили, что Нью-Йорк и племя Чероки встают на сторону слабейшего.

И тут Генри Хорсколлар высказался к беспорядку дня и вмешался, наглядно продемонстрировав преимущества американского воспитания в применении к природным способностям и врожденной культурности индейца. Он встал и обеими руками пригладил волосы, как девочка, когда садится за рояль.

— Станьте за мной, вы оба, — говорит Генри.

— Что будем делать, начальник? — спросил я.

— Я буду играть центра, — говорит Генри на своем футбольном наречии. — У них во всей команде нет ни одного приличного игрока. Не отставайте от меня, и больше жизни.

Потом этот культурный краснокожий изобразил своим ртом систему звуков, от которых вся латинская сходка застыла на месте в задумчивости и смятении. Его прокламация в общем сводилась к некоему сочетанию боевого клича Карлайльского колледжа с университетским припевом племени Чероки. Он ударил по шоколадной команде, как горошина из детского пугача. Правым локтем он уложил губернатора на поле и расчистил сквозь всю толпу проход такой широкий, что женщина могла бы пронести по нему лестницу и никого не задеть. Нам с Меллинджером оставалось только следовать за ним.

Нам потребовалось ровно три минуты на то, чтобы добраться до штаба, где Меллинджер распорядился, как у себя дома. Полковник и батальон босоногой пехоты вышли на улицу и проследовали с нами до места концерта, но заговорщики уже успели смыться. Зато мы вновь обрели граммофон и с этим трофеем зашагали обратно к казармам, — поставив в дорогу пластинку “А все-таки наша взяла”.

На следующий день Меллинджер отводит нас с Генри в сторонку и начинает швыряться десятками и двадцатками.

— Я хочу купить ваш граммофон, — говорит он. — Мне понравился последний мотивчик, который он играл на моем вечере.

— Тут больше денег, чем за него заплачено, — говорю я.

— Это из государственных средств, — говорит Меллинджер. — Платит правительство, и платит дешево.

Это мы с Генри хорошо знали. Мы знали, что граммофон спас Гомера П. Меллинджера, когда он чуть не проиграл свою партию, но мы не сказали ему, что знаем.

— А теперь, друзья, отправляйтесь-ка вы куда-нибудь дальше по берегу, — говорит Меллинджер, — и помалкивайте, пока я не засажу этих молодцов за решетку. Иначе вы рискуете нарваться на неприятности. И если вам раньше меня случится увидеть Билли Ренфро, скажите ему, что я вернусь в Нью-Йорк, как только разбогатею... но честным путем.

Мы с Генри притаились и не показывались до того дня, когда вернулся наш пароход. Увидев, что капитан пристал в шлюпке к берегу, мы вошли в воду и стали ждать. Капитан так и расплылся, когда нас увидел.

— Я же вам говорил, что вы будете ждать, — сказал он. — А где гамбургская машинка?

— Она остается здесь, — говорю я, — будет играть “Родина, милая родина”.

— Я же вам говорил, — повторяет капитан. — Ну, лезьте в лодку.

— И вот каким образом, — сказал Кью, — мы с Генри Хорсколларом ввезли в эту страну граммофон. Генри вернулся в Штаты, а я с тех пор так и застрял в тропиках. Говорят, Меллинджер после того случая шагу не ступил без граммофона. Наверно, он напоминал ему кое-что всякий раз, как сладкогласная сирена взяточников манила его, помахивая у него перед носом зелененькими.

— А теперь, вероятно, он везет его домой как сувенир, — заметил консул.

— Какой там сувенир, — сказал Кью. — В Нью-Йорке ему их понадобится целых два, и чтоб играли круглые сутки.

## VII ДЕНЕЖНАЯ ЛИХОРАДКА

С энтузиазмом взялось новое правительство Анчурии осуществлять свои права и выполнять обязанности. Первым долгом оно послало в Коралио своего представителя с поручением разыскать во что бы то ни стало казенные деньги, похищенные злосчастным Мирафлоресом.

Полковник Эмилио Фалькон, личный секретарь нового президента Лосады, был командирован по этому важному делу в Коралио.

Быть личным секретарем у тропического президента не легко. Нужно быть и дипломатом, и шпионом, и деспотом, и телохранителем своего господина. Нужно ежеминутно внюхиваться, не пахнет ли где революцией. Часто президент — только ширма, а подлинный хозяин страны — секретарь. Мудрено ли, что, когда президенту приходится выбирать секретаря, он выбирает его куда осторожнее, чем спутнику жизни.

Полковник Фалькон, человек изящный, обходительный, тонкий, с деликатными манерами, истый кастилец, приехал в Коралио искать пропавшие деньги по холодным следам. Здесь он совещался с военными властями, которые уже получили приказ всячески содействовать ему в его поисках.

Он устроил себе главную квартиру в одной из комнат Casa Mogena. Здесь около недели велось неофициальное судебное следствие, сюда были приглашены те, кто своими показаниями мог осветить финансовую трагедию, которая сопровождала другую трагедию, помельче — смерть президента.

Двое или трое из допрошенных — и среди них цирюльник Эстебан — показали, что самоубийца был действительно президент Мирафлорес.

— Конечно, — говорил Эстебан всемогущему секретарю, — это был он, президент. Подумайте: можно ли брить человека и не видеть его лица? Он позвал меня для бритья к себе в хижину. У него была борода, черная и очень густая. Вы спрашиваете, видел ли я президента до той поры? Почему бы и нет? Я видел его один раз. Он ехал с парохода в Солитас в карете. Когда я побрил его, он дал мне золотую монету и просил не говорить никому. Но я — либерал, я — преданный друг моей родины, и я сейчас же рассказал обо всем сеньору Гудвину.

— Мы знаем, — вкрадчиво сказал полковник Фалькон, — что покойный президент имел при себе кожаный саквояж, содержащий большую сумму денег. Видели ли вы этот саквояж?

— De veras<sup>1</sup>, нет! — отвечал Эстебан. — Свет в хижине был тусклый: маленькая лампочка, при которой даже брить было трудно. Может быть, и был саквояж, но, по совести, я его не видал. Нет. Была также в комнате молодая дама, сеньорита большой красоты — это я мог заметить даже при маленьком свете. Но деньги, сеньор, или саквояж — нет, я этого не видал.

Comandante и другие офицеры показали, что их разбудил и поднял на ноги звук выстрела в отеле де лос Эстранхерос. Поспешив, чтобы спасти честь и спокойствие республики, они увидели человека, лежащего на полу без признаков жизни с зажатым в руке револьвером. Возле него была молодая женщина, горько рыдавшая.

Сеньор Гудвин также находился в этой комнате. Но никакого саквояжа они не видали.

Мадама Тимотеа Ортис, владелица отеля, где была сыграна "Лиса-на-рассвете", рассказала, как в ее отеле остановились два гостя.

<sup>1</sup> Правду говоря (*исп.*).



— В мой дом они пришли, — сказала она, — сеньор, не совсем старый, и сеньорита, довольно хорошенькая. Они не пожелали ни есть, ни пить, отказались даже от моего *aguadiente*, который у меня самого первого сорта! В свои комнаты они поднялись — в *numero nueve* и *numero diez*<sup>1</sup>. Вскоре пришел сеньор Гудвин, который поднялся к ним, чтобы поговорить о делах. Потом я услышала страшный шум, вроде выстрела из пушки, и мне сказали что *robre Presidente*<sup>2</sup> застрелился. *Està bueno*. Никаких денег я не видала, а также не видала той вещи, которую вы называете сакевоаш.

Полковник Фалькон скоро пришел к вполне логичному заключению, что если кто из жителей Коралио может дать ему путеводную нить для отыскания денег, так это, несомненно, Франк Гудвин. Но с американцем мудрый секретарь повел другую политику. Гудвин был мощной опорой для новых властей, с Гудвином нужно было обращаться деликатно и бережно: нельзя было набрасывать тень ни на его храбрость, ни на его порядочность. Даже личный секретарь президента, и тот не осмеливался призвать к допросу этого каучукового принца и бананового барона, словно рядового обывателя. Поэтому он отправил Гудвину в высшей степени цветистое послание, где мед так и капал со всех словесных лепестков, и просил Гудвина осчастливить его: назначить ему свидание. В ответ на это Гудвин пригласил его к себе отобедать.

За час до обеда американец отправился в *Casa Morena* и дружески душевно приветствовал гостя. Потом, когда наступила прохлада, они оба пошли потихоньку за город, в дом Гудвина.

Американец извинился и оставил полковника в просторной, прохладной, хорошо занавешенной комнате, где паркет был составлен из брусков такого гладкого дерева, что ему позавидовал бы любой миллионер в Соединенных Штатах. Гудвин пересек внутренний дворик, искусно затененный навесами и растениями, и прошел в противоположное

1 Номер девятый и номер десятый (*исп.*).

2 Бедный президент (*исп.*).

крыло дома, в большую комнату, выходящую окнами на море. Широкие жалюзи были открыты, в комнату врвался ветерок с океана — невидимый источник прохлады и здоровья. Жена Гудвина сидела у окна и писала акварелью предвечерний морской вид.

Вот женщина, которая казалась счастливой. И даже больше — она казалась довольной. Если бы какой-нибудь поэт захотел изобразить ее с помощью сравнений, он сравнил бы ее серые, чистые, большие глаза, обведенные яркой белоснежной каймой, с цветами вьюнка. Он не нашел бы в ней ни малейшего сходства с богинями, традиционные черты которых сделались холодно-классическими. Нет, ее красота была не олимпийская, но эдемская. Вообразите себе Еву, которая после изгнания из рая зажгла страстью влюбчивых воинов и мирно и кротко возвращается в рай; не богиня, но женщина, в полной гармонии с окрестным эдемом.

Когда ее муж вошел в комнату, она подняла глаза и губы у нее полуоткрылись; веки задрожали, как (да простит нас Поэзия!) хвостик у верной собаки, и вся она затрепетала, как плакучая ива под еле заметным дуновением ветра. Так она всегда встречала мужа, как бы часто они ни видались. Если бы те, кто порою за стаканом вина вспоминали старые забавные истории о сумасбродной карьере Изабеллы Гилберт, видели сегодня вечером жену Франка Гудвина в мирном ореоле счастливой семейной жизни, они либо стали бы отрицать, либо согласились бы забыть навеки эти живописные события из биографии той, ради кого покойный Мирафлорес пожертвовал и родиной и добрым именем.

— Я привел к обеду гостя, — сказал Гудвин, — некий Фалькон из Сан-Матео, полковник. Он здесь по казенному делу. Едва ли тебе хочется видеть его, и потому я прописал тебе спасительную женскую мигрень.

— Он пришел расспросить тебя о пропавших деньгах, не правда ли? — спросила миссис Гудвин, снова принимаясь за этуод.

— Ты угадала, — ответил Гудвин. — Он уже три дня, как занимается инквизицией среди туземцев. Теперь дошло дело до меня, но так как он боится призывать к суду и расправе подданного дяди Сэма, он решил превратиться из судьи в визитера и допрашивать меня за обедом. Он будет терзать меня пытками за моим собственным вином и десертом.

— Нашел ли он кого-нибудь, кто бы видел этот саквояж с деньгами?

— Никого. Даже мадама Ортис, у которой такой зоркий глаз на сборщиков налогов, и та не помнит, что у него был багаж.

Миссис Гудвин положила кисть и вздохнула.

— Мне так совестно, Франк, — сказала она, — что из-за этих денег у тебя столько хлопот. Но ведь мы не можем сказать правду, не так ли?

— Еще бы, — сказал Гудвин и передернул плечом, как делали здешние жители, у которых он и перенял этот жест, — это было бы совсем не умно. Хотя я и американец, они живо упрятали бы меня в *salaboz*<sup>1</sup>, если бы узнали, что этот саквояж присвоен нами. Нет, мы должны заявить, что знаем обо всем этом деле не больше, чем все остальные невежды в Коралио.

— А не думаешь ли ты, что этот человек подозревает тебя в присвоении денег? — спросила она, сдвинув брови.

— Я бы ему не советовал! — небрежно отвечал Гудвин. — Хорошо, что никто, кроме меня, не видал саквояжа. Так как во время выстрела в комнате был только я, то, естественно, власти с особым вниманием захотят исследовать мою роль в этом деле. Но беспокоиться нечего. Этот полковник отлично покушает и на закуску получит порцию американского блефа. Тем все дело и кончится.

Миссис Гудвин встала и подошла к окну. Гудвин последовал за нею, и она прислонилась к нему, как бы ища у него поддержки и защиты, как всегда с той мрачной ночи, когда он впервые стал ее защитником перед людьми. Так они постояли некоторое время.

<sup>1</sup> Тюрьма (исп.).

Прямо перед ними в гуще тропических листьев, ветвей и лиан была прорублена просека, кончавшаяся у заросшего деревьями болота на окраине Коралио. У другого конца этого воздушного туннеля им была видна могила, украшенная деревянной колодой, на которой было начертано имя несчастного президента Мирафлореса. В дождливую погоду миссис Гудвин смотрела на могилу из этого окна, а когда небеса улыбались, она выходила в тенистые зеленые рощи, разведенные на плодородных холмах ее сада, и тоже не спускала глаз с могилы; на лице у нее появлялось тогда выражение нежной печали, которая теперь, впрочем, уже не могла омрачить ее счастье.

— Я так любила его, Франк, — сказала она, — я любила его даже после этого страшного бегства, которое кончилось такой катастрофой. И ты был так добр ко мне и сделал меня такой счастливой. Но все запугалось, все стало неразрешимой загадкой. Если дознаются, что мы взяли эти деньги себе, как ты думаешь, у тебя не потребуют, чтобы ты возместил эту сумму?

— Без сомнения, потребуют, — отозвался Гудвин. — Ты права, это действительно загадка. И пусть она останется загадкой для Фалькона и его соплеменников до тех пор, пока отгадка не придет сама собой. Мы с тобой знаем в этом деле больше всех, но и мы не знаем всего. Боже нас упаси обмолвиться об этих деньгах хотя бы намеком. Пусть люди думают, что президент припрятал их в горах по дороге или что ему удалось переправить их куда-нибудь прежде, чем он прибыл в Коралио. Вряд ли этот Фалькон подозревает меня. Он делает то, что ему приказано, ведет следствие очень ретиво, но он не найдет ничего.

Такова была их беседа. Если бы кто посмотрел на их лица в то время, как они совещались о погибших финансах Анчурри, всякого поразила бы вторая загадка, ибо и на лицах и на всей повадке супругов лежал отпечаток саксонской гордости, честности, благороднейших мыслей. Спокойные глаза Гудвина, выразительные черты его лица, воплощение

бесстрашной, справедливой, доброй души совершенно не вязались с его словами.

Что же касается его жены, то одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы не поверить обличающей их беседе. Благородства была исполнена вся ее поза; невинность сквозила в глазах. Ее ласковая преданность даже не напоминала то чувство, которое порой толкает женщину в порыве великодушной любви разделить вину своего возлюбленного. Нет, здесь было что-то неладно, уж очень разные картины представились бы глазу и слуху.

Обед был сервирован для Гудвина и его гостя в *ratio*<sup>1</sup>, под прохладной тенью листвы и цветов. Американец извинился перед именитым секретарем: миссис Гудвин никак не могла выйти к обеду, так как у нее от легкой *calentura*<sup>2</sup> болит голова.

После обеда они, согласно обычаю, еще посидели за кофе и сигарами. Полковник Фалькон с истинно кастильской деликатностью ждал, чтобы хозяин сам заговорил о том деле, ради которого они сегодня встретились. Ждать ему пришлось недолго. Едва появились сигары, американец первый коснулся этой темы — он спросил у секретаря, удалось ли ему набрести на след пропавших денег.

— Увы, — признался полковник Фалькон, — я еще не нашел ни одного человека, который хотя бы видел у президента саквояж или деньги. Но я не теряю надежды. В столице твердо установлено, что президент Мирафлорес выехал из Сан-Матео, имея при себе сто тысяч долларов, принадлежащих правительству, и в сопровождении сеньориты Изабеллы Гилберт, оперной певицы. Наше правительство не может допустить и мысли, — заключил полковник с улыбкой, — что вкус нашего покойного президента позволил бы ему расстаться по дороге с той или с другой из этих драгоценностей, усложнявших его бегство.

— Вероятно, вы желали бы узнать от меня все, что мне известно по этому делу, — сказал Гудвин, прямо подходя к

<sup>1</sup> Внутренний дворик (*исп.*)

<sup>2</sup> Лихорадка (*исп.*).

самой сути. — Мое показание будет короткое. В тот вечер я вместе с другими друзьями стоял на страже, поджидая президента, так как о его бегстве я был извещен шифрованной телеграммой Энглхарта, одного из наших агентов в столице. Около десяти я увидел мужчину и женщину, которые очень быстро шли по улице. Они подошли к отелю де лос Эстранхерос и сняли там комнаты. Я последовал за ними на верхний этаж, оставив Эстебана вместо себя на улице. Эстебан только что рассказал мне, что он в тот вечер сбрил президенту бороду, так что я не был удивлен, когда увидел его гладко выбритое лицо. Когда я обратился к нему от лица народа с требованием возратить народное добро, он вынул револьвер и застрелился. Через несколько минут на месте происшествия уже толпились офицеры и многие местные жители. Все дальнейшее вам, несомненно, известно.

Гудвин замолчал. Посланец Лосады тоже не произнес ни слова, как бы показывая, что ждет продолжения.

— И теперь, — продолжал американец, глядя прямо в глаза собеседнику и произнося каждое слово с особым ударением, — пожалуйста, запомните то, что я вам сейчас скажу. Я не видел никакого саквояжа, никакого ящика, сундука, чемодана, в котором хранились бы деньги, составляющие собственность республики Анчурии. Если президент Мирафлорес и скрылся с деньгами, принадлежащими казначейству этой страны, или ему самому, или еще кому-нибудь, я не видал никаких следов этих денег. Ни в гостинице, ни в каком другом месте, ни в то время, ни в какое другое. Мне кажется, что этим показанием вполне исчерпываются все вопросы, которые вам было желательно мне предложить.

Полковник Фалькон поклонился и описал своей сигарой затейливый и широкий зигзаг. Он считал свой долг исполненным. Спорить с Гудвином не подобало. Гудвин был опорой правительства и пользовался безграничным доверием нового президента. Его честность была тем капиталом, который создал ему состояние в Анчурии так же, как в свое время она явилась прибыльной "игрой" Меллинджера, секретаря Мирафлореса.

— Благодарю вас, сеньор Гудвин, за ваш ясный и прямой ответ, — сказал Фалькон, — Президенту достаточно вашего слова. Но, сеньор Гудвин, мне приказано выследить всякую нить, которая может привести нас к решению вопроса. Есть обстоятельство, которого я до сих пор не касался. Наши друзья французы, сеньор, обычно говорят: "Cherchez la femme"<sup>1</sup>, когда нужно разрешить неразрешимую загадку. Но здесь даже искать не приходится. Женщина, которая сопровождала президента во время его злополучного бегства, несомненно, должна...

— Я вынужден остановить вас, — прервал его Гудвин. — Действительно, когда я вошел в отель, чтобы задержать президента Мирафлореса, я встретил там даму. Но я позволю себе напомнить вам, что теперь она моя жена. То, что я сказал, я сказал и от ее лица. Ей ничего не известно о судьбе саквояжа или денег, о которых вы хлопочете. Скажите президенту, что я ручаюсь за ее невиновность. Едва ли я должен прибавить, полковник Фалькон, что я не хотел бы, чтобы ее подвергали допросу и вообще беспокоили.

Полковник Фалькон опять поклонился.

— *Por supuesto!*<sup>2</sup> — воскликнул он. И чтобы показать, что допрос кончен, он прибавил:

— А теперь, сеньор, покажите мне тот вид с вашей галереи, о котором вы сегодня говорили. Я большой любитель морских видов.

Вечером, еще не поздно, Гудвин проводил своего гостя в город и оставил его на углу Калье Гранде. Когда он шел домой, из двери одной пульперии к нему выскочил с радостным видом некий Блайт-Вельзевул, человек обладавший манерами царедворца и внешним обликом огородного чуела.

Блайта наименовали Вельзевулом, чтобы отметить, как велико было его падение. Некогда, в горных куцах давно потерянного рая, он общался с другими ангелами земли. Но судьба швырнула его вниз головой в эти тропики и загляла в

1 Ищите женщину (фр.)

2 Разумеется (исп.).

его груди огонь, который ему редко удавалось погасить. В Коралио его называли бродягой, но на самом деле это был закоренелый идеалист, старавшийся похерить скучные истины жизни при помощи водки и рома. Как и подлинный падший ангел, который, должно быть, во время своего страшного падения в бездну с безрассудным упрямством зажимал у себя в кулаке райскую корону или арфу, так этот его тезка держался за свое золотое пенсне, последний признак его бывшего величия. Это пенсне он носил с удивительной важностью, бродяжничая по берегу и вымогая у приятелей монету. Посредством каких-то таинственных чар его пунцово-пьяное лицо было всегда чисто выбрито. С большим изяществом он поступал в приживальщички к любому, кто мог обеспечить ему ежедневную выпивку и укрыть от дождя и полуночной росы.

— А-а, Гудвин! — развязно крикнул пролойца. — Я так и думал, что увижу вас. Мне нужно сказать вам по секрету два слова. Пойдемте куда-нибудь, где можно поговорить. Вы, конечно, знаете, что тут болтается приезжий субъект, который разыскивает пропавшие деньги старика Мирафлореса?

— Да, — сказал Гудвин, — у меня уже был с ним разговор. Пойдемте к Эспаде, я могу уделить вам минут десять.

Они вошли в пульперию и сели за маленький столик на табуретки с обитыми кожей сиденьями.

— Будете пить? — спросил Гудвин.

— Только бы поскорее, — сказал Блайт. — У меня с самого утра во рту засуха. Эй, *muchacho!* el *aguardiente* por acá<sup>1</sup>.

— А зачем я вам нужен? — спросил Гудвин, когда выпивка была поставлена на стол.

— Черт возьми, милый друг, — сказал сиплым голосом Блайт. — Почему вы омрачаете делами такие золотые мгновения? Я хотел повидаться с вами... Но сначала вот это. — Он одним глотком выпил коньяк и с тоской заглянул в пустой стакан.

— Еще один? — спросил Гудвин.

1 Мальчик, подай коньяку (исп.).

— По совести говоря, — отозвался падший ангел, — мне не нравится ваше слово “один”. Это не совсем деликатно. Но конкретная идея, которая воплощена в этом слове, неплоха.

Стаканы были наполнены снова. Блайт с упоением потягивал напиток и вскоре опять сделался идеалистом.

— Скоро мне пора уходить, — сказал Гудвин, — есть у вас какое-нибудь дело ко мне?

Блайт ответил не сразу.

— Старый Лосада здорово припечет того вора, — заметил он, наконец, — который свистнул этот саквояж. Как по-вашему?

— Несомненно, — спокойно ответил Гудвин и медленно поднялся со стула. — Ну, теперь я пойду домой. Миссис Гудвин одна. Вы так и не сказали мне вашего дела.

— Нет, — отозвался Блайт. — Когда будете проходить мимо стойки, пошлите мне еще один стакан. И заплатите за все. Старый Эспада уже не верит мне в долг.

— Ладно, — сказал Гудвин. — Buenas noches<sup>1</sup>.

Вельзевул склонился над стаканом и вытер свое пенсне не внушающим доверия платком.

— Я думал, что удастся, — пробормотал он после паузы. — Но нет, не могу. Джентльмен не может шантажировать человека, с которым он пьет за одним столом.

## VIII АДМИРАЛ

Анчурийским властям не свойственно горевать о том, чего нельзя воротить. Источников дохода у них сколько угодно; любой час дня и ночи — самый подходящий для выкачивания средств. И даже обильные сливки, снятые околдованным Мирафлоресом, не заставили удачливых патриотов тратить попусту время на бесплодные сожаления. Правительство поступило мудро: оно немедленно стало пополнять дефицит — повысило ввозные пошлины и наемкнуло ряду богатых граждан, что посильные пожертвования с их стороны будут расценены как проявление патриотизма, и притом очень своевременное. Казалось, что правление Лосады, нового президента, сулит государству немало добра. Обойденные чиновники и фавориты из армии организовали новую “либеральную” партию и снова стали строить всевозможные планы для свержения власти. Политическая жизнь Анчурии снова начала, как китайская пьеса, медленно разворачивать бесконечные, похожие друг на друга картины. Порой из-за кулис выглядывает Шутка и озаряет цветистые строки.

Дюжина шампанского в сочетании с неофициальным заседанием президента и министров привела к тому, что в стране появился военный флот, а Фелипе Каррера был назначен его адмиралом.

Шампанское, впрочем, было не единственной причиной возникновения флота. Немалую роль в этом деле сыграл также новый военный министр дон Сабас Пласидо.

<sup>1</sup> Спокойной ночи (исп.).

Президент предложил кабинету собраться, чтобы обсудить ряд политических вопросов и провести несколько текущих государственных дел. Сначала заседание шло вяло и нудно; дела и вино были сухи. Неожиданная шалость, зародившаяся в уме дона Сабаса, придала не в меру серьезной правительственной процедуре оттенок приятной игривости.

На беспорядочной повестке дня стояло донесение береговой полиции о том, что в городе Коралио таможенные захватили шлюпку "Ночная звезда" с контрабандой: галантерейные товары, медицинские снадобья, сахарный песок и коньяк с тремя звездочками, а также шесть винтовок системы Мартини и бочонок американского виски. Так как шлюпка была схвачена в то время, когда она перевозила контрабанду, она по закону считалась собственностью государства.

Начальник таможни в своем донесении осмелился отступить от строго установленных правил и указал, что конфискованное судно могло бы послужить для нужд республики. Это было первое судно, захваченное таможенным департаментом за десять лет. Начальник таможни воспользовался случаем погладить свой департамент по головке.

Судно действительно могло пригодиться. Чиновникам нередко случалось передвигаться вдоль берега по делам службы, и перевозочных средств у них не хватало. Кроме того, шлюпку можно было бы предоставить верным и надежным матросам, которые, в качестве береговой охраны, отбили бы у контрабандистов охоту заниматься столь неблагоприятным ремеслом. Начальник таможни позволил себе даже указать то лицо, которому, по его мнению, с великой пользой для дела могло быть поручено управление судном. Это молодой уроженец Коралио, некто Фелипе Каррера. Правда, он не слишком умен, но он предан правительству и слышет лучшим моряком на побережье.

Вот это-то указание и дало военному министру возможность спастись от скуки заседания при помощи забавной буффонады.

В конституции этой маленькой приморской банановой республики была полузабытая статья, которая предусматривала создание военного флота. Эта статья вместе со многими другими, более мудрыми, лежала без всякого движения с первого дня основания республики. У Анчурии не было флота, и флот ей не был нужен.

Характерно, что именно военный министр дон Сабас, человек веселый, ученый, отважный и своенравный, стряхнул пыль с этой дряхлой и спящей статьи ради того, чтобы в мире стало немного больше веселья, чтобы его снисходительные коллеги улыбнулись.

С великолепной наигранной серьезностью он внес в Высший совет предложение создать флот. Он с таким веселым и остроумным пылом доказывал, каким образом эта государственная мера покроет республику славой и сослужит ей великую службу, что перед его пародией спасовала даже та чванная важность, которая отличала президента Лосаду.

Шампанское игриво кипело в жилах веселых сановников. Не в обычае солидных управителей Анчурии было оживать свои заседания этим напитком, который набрасывает все изменяющий покров на всякое серьезное дело. Вино было любезным подношением от представителя фруктовой компании "Везувий" в знак дружбы и кое-каких деловых отношений, существующих между этой компанией и Анчурийской республикой.

Шутка была доведена до конца. Был изготовлен внушительный официальный документ, украшенный печатями всех цветов радуги, а также развевающимися пестрыми лентами. На документе были кудрявые подписи всех анчурийских министров. Эта бумага давала сеньору Фелипе Каррера звание флаг-адмирала республики. Таким-то путем в какие-нибудь двадцать минут и с помощью дюжины бутылок extra dry<sup>1</sup> Анчурия заняла подобающее ей место среди морских держав мира, а Фелипе Каррера получил право требовать салюта из девятнадцати пушек всякий раз, когда он появлялся в порту.

<sup>1</sup> Сухое (шампанское) (англ.).

Южные расы не обладают тем особенным юмором, который находит приятность в несчастиях и увечьях людей. Отсутствием этого юмора объясняется то, что они никогда не смеются, как смеются их братья на Севере, над юродивыми, сумасшедшими, больными, калеками.

Фелипе Каррера был послан на землю с половиной ума. Поэтому жители Коралио называли его "El pobrecito loco" — бедненький помешанный — и говорили, что бог послал его на землю лишь в половинном размере и что другая его половина находится где-нибудь на небе.

Мрачный и горделивый Фелипе почти никогда не произносил ни единого слова. Его сумасшествие сказывалось лишь негативно. На берегу он обычно уклонялся от всяких разговоров. Он как будто догадывался, что на суше, где требуется столько различных родов понимания, ему лучше молчать, но на воде его единственный талант уравнивал его с другими людьми. Даже те мореплаватели, которых бог делал тщательно, не наспех, не в половинном размере, и те едва ли могли управлять парусной лодкой так искусно. Когда стихии бушевали и заставляли всех людей дрожать, тогда слабоумие Фелипе не служило ему помехой. Он был несовершенный человек, но морское дело знал в совершенстве. Собственного судна у него не было, но он работал матросом на тех шхунах и шлюпках, которые постоянно шныряют вдоль берега, перевоза фрукты на пароходы в тех местах, где нет пристани. Начальник таможни и советовал предоставить в его распоряжение конфискованную шлюпку именно потому, что уважал его отвагу и талант, а кроме того, чувствовал к нему сострадание.

Когда маленькая шутка дона Сабаса приобрела форму внушительного государственного акта, начальник таможни улыбнулся. Он не ожидал, что его предложение будет выполнено так скоро и в таких преувеличенных формах. Он сейчас же послал *michacho* за будущим адмиралом.

Начальник таможни ожидал его в своей официальной конторе. Управление таможни помещалось на Калье Гранде, и в окна всегда врывались легкие морские ветерки. На-

чальник в белом костюме и в парусиновых туфлях сидел за древним письменным столом, перебирая бумаги. Попугай, забравшись на подставку для перьев, смягчал скуку, исходящую от казенных бумаг, огнем отборных кастильских ругательств. Рядом с комнатой начальника помещались две другие. В одной из них мелкочиновная рать, состоящая из юношей всевозможных оттенков кожи, исполняла с большой пышностью свои многообразные обязанности. В другой комнате можно было усмотреть бронзового младенца, нагишом резвящегося на полу. Тут же в гамаке худощавая женщина бледно-лимонного цвета играла на гитаре и с удовольствием покачивалась под дуновением прохладного ветра. Сочетая таким образом выполнение своих высоких обязанностей с видимыми признаками семейного благополучия, начальник таможни чувствовал себя еще более счастливым оттого, что ему была предоставлена власть даровать счастье "скудоумному Фелипе".

Фелипе пришел и стал перед начальником таможни. Это был юноша лет двадцати, довольно благообразный, но с выражением какой-то рассеянности и задумчивой пустоты. На нем были белые хлопчатобумажные брюки, украшенные по швам красными полосами, в чем сказывалось смутное желание приблизиться к военной форме. Его синяя рубашка была открыта у ворота; ноги были босы; в руке он держал самую дешевую соломенную шляпу американской работы.

— Сеньор Каррера, — сказал начальник важно, показывая пышную бумагу. — Я послал за вами по приказу самого президента. Этот документ, который ныне я передаю в ваши руки, возводит вас в чин адмирала нашей великой республики и предоставляет вам полную власть над всеми морскими силами нашей страны. Вы, может быть, скажете, милый Фелипе, что флота у нас еще нет, но знайте: шлюпка "Ночная звезда", отнятая у контрабандистов моими храбрыми людьми, отдается вам под начало. Шлюпка будет служить государству. Вы должны быть готовы во всякое время перевозить чиновников по морю в любое место, куда им понадобится. Вы также будете по мере сил охранять

берег от контрабандистов. Вы будете поддерживать на море честь и престиж вашей родины и примете все меры, чтобы Анчурия заняла первое место среди морских держав мира. Вот инструкции, которые военный министр поручил мне передать вам. Por dios! Я не знаю, как вы исполните эту волю властей, так как в приказе министра ни слова не говорится ни о матросах, ни о суммах, ассигнованных на флот. Может быть, матросов вы должны добыть себе сами, сеньор адмирал, этого я не знаю, но все же вам оказана высокая честь. Теперь я передаю вам этот государственный акт. Когда вы будете готовы принять под свою команду наше судно, я распорядюсь, чтобы оно немедленно было предоставлено вам. Других инструкций у меня нет.

Фелипе взял из рук начальника бумагу. Некоторое время он смотрел в открытое окно на блиставшее море с обычным видом глубокого, но бесплодного раздумья. Потом повернулся, не сказав ни единого слова, и быстро зашагал по горячему песчаннику улицы.

— Pobrecito loco! — вздохнул начальник таможни, и попугай, сидящий на подставке для перьев, закричал: “Loco! Loco! Loco!”

На следующее утро по улицам к зданию таможни потянулась странная процессия. Впереди шел адмирал флота. Кое-как ему удалось наскрести жалкое подобие военной формы — красные штаны, грязную короткую синюю куртку, обильно расшитую золотой тесьмой, и старую солдатскую фуражку, которую, должно быть, бросил за ненадобностью в Белисе какой-нибудь британский солдат, а Фелипе подобрал во время одного из своих плаваний. К его поясу была пристегнута пряжкой старинная морская шпага, подаренная ему булочником Педро Лафитом, который с гордостью утверждал, что унаследовал ее от своего великого предка, знаменитого пирата. За адмиралом шествовали его матросы, только что призванные на его корабль, — тройка улыбающихся, лоснящихся черных караибов, обнаженных до пояса и поднимавших босыми ногами целые тучи песку.

В кратких выражениях, с большим достоинством потребовал Фелипе у начальника таможни свое судно. Тут ожидали его новые почести. Супруга начальника, которая весь день играла на гитаре и читала в гамаке романы, таила в своей желтой беззлой груди большую любовь ко всему романтическому. Она разыскала в одной старой книге изображение флага, который в незапамятные времена был якобы морским флагом Анчурии. Может быть, идея его принадлежала еще родоначальникам нации; но так как флота им создать не удалось, флаг погрузился в забвение. Старательно, своими собственными ручками романтическая дама изготовила флаг по рисунку: красный крест на синем белом поле. Она поднесла его Фелипе с такими словами:

— Отважный мореплаватель, это флаг твоей родины. Будь верен ему и, если нужно, умри за него! Да хранит тебя бог!

Впервые на лице адмирала появился проблеск какого-то чувства. Он взял шелковый стяг и благоговейно погладил его.

— Я адмирал, — сказал он, обращаясь к супруге начальника. К более подробному выражению чувств на суше он не мог себя принудить. Но на море, когда он, увенчав переднюю мачту своего флота флагом, у него, может быть, найдутся более красноречивые слова.

После этого адмирал удалился в сопровождении своих подчиненных. Три дня они трудились на берегу над “Ночную звезду”: красили ее в белый цвет с голубой каймой. После этого Фелипе украсил себя новыми знаками отличия — воткнул себе в фуражку яркие перья попугай. Затем он снова проследовал со своей верной командой к зданию таможни и официально уведомил ее начальника, что шлюпке дано новое название: “El Nacional”.

Нелегко пришлось флоту в первые месяцы. Ведь и адмиралы не знают, что им делать, если они не получают приказов. Но приказов ниоткуда не поступало. Не поступало и жалованья. “El Nacional” праздно качался на якоре.

Когда жалкие сбережения Фелипе истощились, он пошел в таможню и поднял вопрос о финансах.



— Жалованье! — воскликнул начальник таможни, поднимая руки к небесам. — *Válgame dios!*<sup>1</sup> Я сам не получаю жалованья, ни сентаво за последние семь месяцев! Сколько полагается адмиралу, вы спрашиваете? Кто знает! Не меньше, чем три тысячи песо! Скоро в стране будет опять революция. Первый знак, что идет революция: правительство только и делает, что требует у нас золота, золота, золота, а само не платит нам ни реала.

Фелипе повернулся и ушел. На его мрачном лице появилось даже какое-то подобие радости. Революция — это война, а если война, значит адмирал не останется без дела. Довольно унижительно быть адмиралом и не делать ровню ничего. А тут еще голодные матросы ходят за тобою по пятам и надоедают, чтобы ты дал им на табак и бананы.

Когда он вернулся туда, где его ждала команда его беспечальных караибов, все они вскочили на ноги и отдали ему честь, как он сам научил их.

— Вот в чем дело, *muchachos*, — сказал он им, — оказывается, наше правительство бедное. У него нет денег ни для меня, ни для вас. Будем же сами зарабатывать на прожитие. Этим мы послужим родине. Скоро, — и тут его тусклый взгляд засветился, — она обратится к нам за помощью.

С этого времени "El Nacional" перестал выделяться из числа других прибрежных лодок. Он превратился в обыкновенное рабочее судно. Наравне с плоскодонками работал он, перевозя бананы и апельсины на пароходы, которые останавливались за милю от берега. Военный флот, не требующий у казны ассигновок, заслуживает того, чтобы быть отмеченным ярко-красными буквами в бюджете любой страны.

Зарботав достаточно, чтобы обеспечить и себя и команду на целую неделю вперед, Фелипе ставил свое судно на якорь и отправлялся, в сопровождении свиты, к маленькому зданию почтово-телеграфной конторы. Глядя со стороны, можно было подумать, что это прогоревшая опере-

<sup>1</sup> Боже милостивый! (исп.).

точная труппа осаждает укрывающегося антрепренера. В сердце у Фелипе никогда не умирала надежда, что вот-вот ему пришлют какой-нибудь приказ из столицы. Большой обидой для его самолюбия и его патриотизма было то, что в нем, как в адмирале, никто не нуждался. Всякий раз, придя на телеграф, он спрашивал очень серьезно, с надеждой во взоре, нет ли телеграммы на его имя.

Телеграфист делал вид, что роется среди телеграмм, и неизменно отвечал одно и то же:

— Покуда нет, *Señor el Almirante! Poco tiempo!*<sup>1</sup>

А на улице, в холодке под лимонными деревьями, его команда жевала сахарный тростник или безмятежно спала. Какое удовольствие служить государству, которое довольствуется столь малой службой!

Однажды, в начале лета, в стране вспыхнула революция, предсказанная начальником таможни. Она давно уже тлела под спудом. При первом же раскате революционной грозы адмирал направил свое судно к берегам соседней республики и променял наскоро собранные фрукты на патроны для пяти винтовок системы Мартини — единственных орудий, которыми мог похвалиться флот. Потом он вернулся домой и поспешил на телеграф. Мундир его вылинял, длинная сабля цепляла о пунцовые штаны. Он растягивался в своем излюбленном углу и снова принимался ждать телеграмму — эту телеграмму, которая так долго не приходит, но теперь придет непременно.

— Покуда нет, *Señor el Almirante*, — говорил телеграфист. — *Poco tiempo!*

При этом ответе адмирал, гремя саблей, опускался на стул и снова ждал, когда затикает аппарат на столе.

— Придет! — говорил он с уверенностью. — Я адмирал!

<sup>1</sup> Подождите! (исп.).

## IX РЕДКОСТНЫЙ ФЛАГ

Во главе повстанцев на этот раз оказался Гектор и Пиндар южных республик, дон Сабас Пласидо. Путешественник, воин, поэт, ученый, государственный деятель, тонкий ценитель искусств — что интересного мог он найти в мелких делах родного захолустья?

— Политические интриги для нашего друга Пласидо — просто каприз, — объяснял один его приятель. — Революция для него то же самое, что новые темпы в музыке, новые бактерии в науке, новый запах, или новая рифма, или новое взрывчатое вещество. Он выжмет из революции все возможные ощущения и через неделю забудет о ней и снова пустится на своей бригантине черт знает куда, за океан, чтобы пополнить какой-нибудь редкостью свою и так уже всемирно знаменитую коллекцию. Коллекцию чего? Боже мой, решительно всего: начиная с почтовых марок и кончая доисторическими каменными идолами.

Однако события под руководством этого эстета и дилланта развертывались довольно бурно. Население обожало его. Его яркая личность привлекала к нему сердца. Кроме того, всем было лестно, что такой большой человек мог заинтересоваться такой малостью, как собственная родина. В столице многие примкнули к его знаменам, хотя войска (вразрез с его планами) оставались верны старому правительству. В прибрежных городишках уже начались весьма оживленные схватки. Говорили, будто за оппозиционной партией стоит пароходная компания “Везувий” — великая

сила, которая всегда смотрела на республику Анчурию с укоризненной улыбкой и поднятым пальцем, внушая ей, чтобы она не шалила и была паинькой. Пароходная компания “Везувий” предоставила свои пароходы “Путник” и “Спаситель” для перевозки революционных отрядов.

Но в Коралио все было тихо. Город был объявлен на военном положении, и, таким образом, революционные дрожжи до поры до времени были прочно закупорены. А потом разнеслись слухи, что повстанцы повсюду разбиты. В столице войска президента одержали победу; передавали, будто вожди восстания были вынуждены скрыться и бежать и что за ними будто мчалась погоня.

В маленькой почтовой конторе всегда толпились чиновники и преданные правительству граждане, ожидая новостей из столицы. Однажды в конторе застучал телеграфный аппарат и через минуту телеграфист закричал во все горло:

— Телеграмма для el Almirante дона сеньора Фелипе Каррера!

Послышался суетливый шорох, потом резкое бряцание жестяных ножен; адмирал быстро вскочил со своего обычного места и побежал через всю комнату к телеграфисту.

Ему дали телеграмму. Он стал читать ее медленно, по складам. Это был первый приказ, полученный им от начальства. В приказе было начертано:

“Немедленно доставьте свое судно к устью реки Руис, откуда повезете говядину и другие припасы для солдатских казарм в Альфоране.

*Генерал Мартинес”.*

Невелика честь везти говядину, но, как бы то ни было, адмирала наконец-то призвали на службу отечеству, и радость охватила его. Он еще ту же затянул свой кушак, разбудил дремавшую команду, и через четверть часа “El Nacional” уже несся вдоль берега на всех парусах под свежим ветром, дувшим с океана.

Рио-Руис — небольшая речонка, впадающая в море за десять миль от Коралию. Этот участок берега дик и безлюден. С высот Кордильер несется Руис, холодная и пенистая, а потом, успокоившись на низине, широко и лениво течет по наносному болоту в море.

Через два часа “El Nacional” прибыл к устью реки. Берега были покрыты уродливыми, страшными деревьями. Буйные заросли тропиков опутали все берега и погрузились в красно-бурую воду. Беззвучно вошла туда шлюпка и была встречена еще более глубоким беззвучием. Сверкая зеленью, охрой, ярко пунцовыми красками, Рио-Руис покоилась в тени, без движения, без звука. Только и было слышно, как вливавшаяся в море вода ворковала у носа шлюпки. Можно ли было надеяться получить в этом пустынном безлюдье говядину и другие припасы?

Адмирал решил бросить якорь, и едва загремела цепь, как в лесу раздался неожиданный шум, мгновенно подхваченный эхом. Устье реки Руис пробудилось от утреннего сна. Попугаи и павианы завизжали и залаляли в листве; свист, писк, рычанье: животная жизнь проснулась; мелькнуло что-то синее: это вспугнутый тапир пробивал себе дорогу сквозь лианы.

Военный флот по приказу адмирала простоял в устье реки несколько долгих часов. Команда соорудила обед: полхлебка из акульих плавников, бананы, вареные крабы и кислое вино. Адмирал в трехфутовый телескоп внимательно разглядывал непроходимую чащу листвы в пятидесяти футах от себя.

Дело шло к вечеру, когда внезапно в лесу, с левой стороны, послышались раскатистые крики “Ал-ло-о!” С судна ответили, и три человека, верхом на мулах, продрались сквозь густую листву и остановились ярдах в десяти от воды. Там они соскочили с мулов, и один из них расстегнул пояс и так яростно ударил ногами своей шпаги всех мулов одного за другим, что животные, вскинув ногами, галопом кинулись обратно в лес.

Странно: неужели этим людям поручено доставить на берег говядину? Совсем неподходящие люди! Один крупный, энергичный мужчина, весьма незаурядной наружности. Чистый испанский тип — темные курчавые волосы, тронутые кое-где сединой, глаза голубые, блестящие, и осанка важного сеньора, caballero grande. Двое других были невысокого роста, темнолицы, в военных мундирах, в высоких ботфортах и при шпагах. Платье у всех было мятое, равное, грязное. Очевидно, какая-то очень серьезная причина погнала их сломя голову через джунгли, болота и реки.

— О-гэ! Señor Almirante! — крикнул высокий мужчина. — Пошлите-ка нам ваш челнок.

Челнок был спущен на воду; Фелипе с одним из караибов взяли за весла и причалили к левому берегу.

Рослый, дородный мужчина стоял у самого края воды, по пояс в перепутанных лианах. Взглянув на воронье пугало, сидевшее на корме челнока, он, видимо, почувствовал к нему живой интерес; его подвижное лицо так и засветилось.

Месяцы бескорыстной службы — без всякого жалования — сильно омрачили блистательную внешность адмирала. Его малиновые брюки превратились в лохмотья. Блестящие пуговицы почти все отвалились. Желтая тесьма тоже. Козырек его фуражки был оторван и болтался над самыми глазами. Ноги адмирала были босы.

— Дорогой адмирал! — крикнул дородный мужчина, и его голос зазвучал, словно охотничий рог. — Целую ваши руки, дорогой адмирал! Я знал, что мы можем положиться на вас. Вы такой надежный патриот! Вы получили нашу телеграмму от... генерала Мартинеса? Пожалуйста, вот сюда, ближе, ближе, дорогой адмирал. На этих зыбких дьявольских болотах мы все еще не чувствуем себя в безопасности.

Фелипе смотрел на него с неподвижным лицом.

— Говядину и другие припасы для Альфоранских казарм, — процитировал он.

— Право, дорогой адмирал, мясники были бы рады поработать ножом, да не вышло. Скот будет спасен: вы приехали

вовремя. Поскорее возьмите нас к себе на корабль, сеньор. Сначала вы, caballeros, a prisa!<sup>1</sup> А потом приедете за мной. Лодочка слишком мала.

Челнок подвез двух офицеров к шлюпке и вернулся к берегу за толстяком.

— А есть ли у вас, дорогой адмирал, такая презренная вещь, как еда, — крикнул он, очутившись на судне. — И, может быть, кофе?.. “Товядина и другие припасы”? Nombre de dios!<sup>2</sup> Еще немного, и мы принуждены были бы съесть одного из этих мулов, которых вы, полковник Рафаэль, приветствовали так нежно в последнюю минуту ножами вашей шпаги. Давайте же подкрепимся едою — и в путь!.. Прямо к Альфоранским казармам, не так ли?

Караибы приготовили пищу, на которую три пассажира “El Nacional” накинулись с радостью сильно проголодавшихся людей. С наступлением вечера ветер, как всегда в этих местах, переменился; подуло с гор; повеяло прохладой, стоячими болотами, гнилыми растениями топей. Грот был поднят и надулся, и в ту же минуту с берега, из глубины лесной чащи, послышался нарастающий гул. Стали доноситься какие-то крики.

— Это мясники, — засмеялся большой человек, — мясники, дорогой адмирал! Но они опоздали. Скотинки для убоя уж нет.

Адмирал командовал судном и больше не произносил ни слова. Когда поставили кливер и марсель, шлюпка быстро выбралась из устья. Толстяк и его спутники устроились на голой палубе с наибольшим доступным в их положении комфортом. Очевидно, до сих пор они были охвачены единственной мыслью, как бы отчалить от этого неприятного берега; теперь, когда опасность уменьшилась, они могли позволить себе подумать о дальнейшем избавлении. Впрочем, увидев, что шлюпка повернула и понеслась в направлении Коралио, они успокоились, вполне довольные курсом, которого держался адмирал.

1 Господа, живо! (исп.)

2 Клянусь богом (исп.).

Толстяк сидел развалившись; его живые синие глаза задумчиво вглядывались в командующего военным флотом. Он пытался разгадать этого мрачного, нелепого юношу. Что таится за его непроницаемым, неподвижным лицом? Таков уж был характер у этого пассажира. Он еще не ушел от опасности, его ищут, за ним погоня, только что он был разбит и побежден, и все же, несмотря ни на что, в нем уже пылает любопытство к новому, неизведанному явлению жизни. Да и кто, кроме него, мог бы придумать такой рискованный и сумасшедший план: послать депешу этому несчастному, безмозглому fanatico в несусветном мундире, носителю опереточного титула? Его спутники потеряли голову, убежать, казалось, было невозможно. И все же они убежали, и все же план, который они называли безумным, удался превосходно. Толстяк был положительно доволен собой.

Краткие тропические сумерки быстро растворились в жемчужном великолепии лунной ночи. Справа, на фоне потемневшего берега, появились огоньки Коралио. Адмирал стоял молча у румпеля. Караибы, как темные пантеры, бесшумно прыгали с места на место, подчиняясь коротким словам его команды. Три пассажира внимательно вглядывались в море, и когда, наконец, перед ними возник силуэт парохода с отраженными глубоко в воде огнями, стоящего на якоре за милю от берега, у них закипел оживленный секретный разговор. Шлюпка шла не к берегу, но и не к судну. Она держала курс посредине.

Спустя некоторое время толстяк отделился от своих товарищей и приблизился к пугалу, стоящему у руля.

— Мой дорогой адмирал, — сказал он, — наше правительство положительно слепо: оно ухитрилось не заметить, как верно и доблестно вы служите ему. Мне стыдно, что оно до сих пор не вознаградило вас по заслугам. Это непростительно. Но ничего, подождите: в награду за вашу верную службу вам дадут новый корабль, новый мундир и новых матросов. А покуда вот вам еще поручение. Пароход, который вы видите впереди, — “Спаситель”. Мне и моим друзь-

ям желательно попасть туда возможно скорее по делу государственной важности. Будьте любезны, направьте свое судно туда.

Адмирал ничего не ответил, но резко скомандовал что-то и направил судно прямо в гавань. "El Nacional" накренился и стрелой помчался к берегу.

— Сделайте милость, — сказал пассажир с чуть заметным раздражением, — дайте же по крайней мере знак, что вы слышите мои слова и понимаете их.

Может быть, у этого несчастного нет не только ума, но и слуха?

У адмирала вырвался жесткий, каркающий смех, и он заговорил:

— Тебя поставят лицом к стене и застрелят. Так убивают изменников. Я узнал тебя сразу, чуть ты вошел в мою лодку. Я видал тебя на картинке. Ты Сабас Пласидо, изменник своей родине. Лицом к стене, да, да, лицом к стене. Так ты помрешь. Я адмирал, и я повезу тебя в город. Лицом к стене. Да, да, лицом к стене.

Дон Сабас повернулся к двум другим беглецам и с громким смехом сделал движение рукою.

— Вам, caballeros, я рассказывал историю заседания, когда мы сочинили эту... о! эту смешную бумагу. Поистине наша шутка повернулась против нас же самих. Взгляните на чудовище Франкенштейна<sup>1</sup>, которое мы создали!

Дон Сабас кинул взор по направлению к берегу. Огни Кориалио все приближались. Он уже мог различить полосу песчаного берега, государственные склады рома — Bodega Nacional, длинное низкое здание казармы, набитое солдатами, и там, позади, — озаренную луной высокую глиняную стену. Не раз в своей жизни он видел, как людей ставили лицом к этой стене и расстреливали.

И снова он обратился к причудливой фигуре на корме.

1 В романе миссис Шелли "Франкенштейн" (1818) чудовище, которое некий студент создал из трупов и наделил жизнью при помощи гальванической силы, убивает своего создателя.

— Правда, — сказал он, — я хочу убежать отсюда. Но уверяю вас, что разлука с отчизной очень мало волнует меня... Меня, Сабаса Пласидо, всюду встретят с распростертыми объятиями — при любом дворе, в любом военном лагере. *Vaya!*<sup>1</sup> А это свиное логово, кротовая нора, эта республика — что делать в ней такому человеку, как я? Я *paisano*<sup>2</sup> всех стран. В Риме, в Лондоне, в Париже, в Вене — всюду мне скажут одно: добро пожаловать, дон Сабас! Вы снова приехали к нам! Ну, ты, *tonto*<sup>3</sup>, павиан... адмирал, как бы там тебя не величали, поверни свою лодку. Посади нас на борт парохода "Спаситель" и получай — здесь пятьсот песо деньгами *Estados Unidos*<sup>4</sup> — это больше, чем заплатит тебе твое лживое начальство в двадцать лет.

Дон Сабас стал втискивать в руку молодого человека пухлый кошелек с деньгами. Адмирал не обратил никакого внимания ни на его слова, ни на его жесты. Он был словно прикован к рулю. Шлюпка неслась прямо к берегу. На неосмысленном лице адмирала появилось что-то светлое, почти разумное, как будто он придумал какую-то хитрость, которая доставляла ему много веселья. Он снова закричал, как попугай:

— Вот для чего они делают так: чтобы ты не видел винтовок. Выстрелят — бум! — и ты мертвый. Лицом к стене. Да.

Потом внезапно он отдал своей команде какой-то приказ. Ловко и беззвучно караибы закрепили шкоты, которые они держали в руках, и нырнули в трюм через люк. Когда скрылся последний из них, дон Сабас, как большой бурый леопард, кинулся вперед, захлопнул люк и сказал с улыбкой:

— Ружей не нужно, дорогой адмирал. Когда-то для забавы я составил словарь караибского языка, и потому я понял ваш приказ... Может быть, теперь...

1 Хорошо! (*исп.*)

2 Житель (*исп.*).

3 Дурак (*исп.*).

4 Соединенных Штатов (*исп.*).

Но он не договорил, потому что раздалось пренебрежительное “звяк” какого-то железа, которое царापало жечь. Адмирал извлек из ножен шпагу Педро Лафита и кинулся с нею на своего пассажира. Занесенный клинок опустился, и лишь благодаря изумительной ловкости великан ускользнул, отделившись царapiной на плече. Вскочив на ноги, он вынул револьвер и выстрелил в адмирала. Адмирал упал.

Дон Сабас нагнулся над ним, но через минуту встал на ноги.

— В сердце, — сказал он. — Сеньоры, военный флот уничтожен.

Полковник Рафаэль бросился к рулю, другой офицер стал развязывать шкоты; передняя рея описала дугу, “El Nacional” повернулся и поплыл к пароходу “Спаситель”.

— Сорвите флаг, сеньор! — сказал полковник Рафаэль. — Наши друзья на пароходе не поймут, почему мы крейсируем под таким флагом.

— Справедливо! — сказал дон Сабас. Подойдя к мачте, он спустил флаг прямо к тому месту, где на палубе лежал доблестный защитник этого флага. Таково было окончание маленькой послеобеденной шутки, придуманной военным министром... Кто начал ее, тот и кончил.

Но вдруг дон Сабас испустил крик радости и побежал по откосой палубе к полковнику Рафаэлю. Через руку он перекинул флаг погибшего флота.

— Mire! Mire! Señor! Ah, dios! Ну и зарычит этот австрийский медведь! “Ты разбил мое сердце!” — скажет он. “Du hast mein Herz gebrochen!” Mire! Вы слышали, я уже рассказывал вам о моем венском приятеле, о герре Грюнитце. Этот человек ездил на Цейлон, чтобы добыть орхидею, в Патагонию — за головным украшением... в Бенарес — за туфлей... в Мозамбик — за наконечником копья. Тебе известно, amigo Рафаэль, что я тоже собиратель всяких редкостей. Моя коллекция военно-морских флагов была до прошлого года самая обширная в мире. Но герр Грюнитц

1 Смотрите (исп.).

раздобыл два таких экземпляра, о! два таких экземпляра, что его коллекция стала считаться полнее моей. К счастью, их можно достать, и я их достану! Но этот флаг, сеньор, знаете ли вы, какой это флаг? Видите: малиновый крест на бело-синем поле. Вы не видели его до сих пор ни разу? Seguramente, no! Это морской флаг вашей родины. Mire! Эта гнилая лохань, в которой мы сейчас находимся, — ее флот; этот мертвый какаду — начальник флота; этот взмах шпаги и единственный выстрел из револьвера — морской бой. Глупость, чепуха, но это жизнь! Другого такого флага никогда не было и не будет. Это уникам. Подумайте, что это значит для собирателя флагов. Знаете ли вы, полковник, сколько золотых крон дал бы герр Грюнитц за этот флаг? Тысяч десять, не меньше. Но я не отдам его и за сто. Дивный флаг! Единственный флаг! Неземной флаг, черт тебя возьми! О-гэ, старый ворчун, герр Грюнитц, подожди, когда дон Сабас вернется на Кенигин-штрассе. Он позволит тебе пасть на колени и дотронуться пальцем до этого флага. О-гэ! ты шнырял по всему миру со своими очками, а его проморгал.

Забыты были неудачи революции, опасности, утраты, боль и обида разгрома. Охваченный всепоглощающей страстью коллекционера, он шагал взад и вперед по маленькой палубе, прижимая свою находку к груди. Он с торжеством поглядывал на восток. Голосом звонким, как труба, он воспевал свое сокровище, словно старый герр Грюнитц мог слышать его в своей затхлой берлоге за океаном.

На “Спасителе” их ждали и встретили радостно. Шлюпка скользнула вдоль борта парохода и остановилась у глубокого выреза, устроенного в борту для погрузки фруктов. Матросы “Спасителя” заценили шлюпку баграми и подтащили к борту.

Через борт перегнулся капитан Маклеод.  
— Говорят, сеньор, делу-то крышка...

1 Конечно, нет! (исп.)

— Крышка? Какая крышка? — С минуту дон Сабас был в недоумении, с минуту, не больше. — А! Революция. Да! — И он повел плечом, отбрасывая от себя всякие мысли о ней.

Капитану рассказали о побеге и о команде, запертой в трюме.

— Караибы? — сказал он. — Они не причинят нам вреда.

Он спрыгнул в шлюпку, отодвинул скобу, и из трюма стали выползать черномазые потные, но улыбающиеся.

— Эй вы, черненькие! — сказал капитан. — Возьмите свою лодку и валяйте назад, домой.

Он указал на шлюпку, на них и на Коралио. Их лица озадачились еще более широкой улыбкой, они закивали и заговорили:

— Да, да!

Дон Сабас, оба офицера и капитан собрались покинуть шлюпку. Дон Сабас отстал от других, взглянул на тело адмирала, раскинувшееся на палубе в ярких отрезьях.

— Pobrecito loco! — сказал он нежно.

Дон Сабас был блистательный космополит, первоклассный знаток и ценитель искусств; но в конце концов по инстинктам и крови он был сын своего народа. Как сказал бы самый простой коралийский крестьянин, так сказал и дон Сабас; без улыбки посмотрел он на адмирала и сказал:

— Бедный несмысленный!

Нагнувшись, он приподнял мертвого за тощие плечи и подостлал под них свой бесценный, единственный флаг. Потом он снял с себя бриллиантовую звезду — орден Сан-Карлоса и, словно булавкой, скрепил ею концы флага на груди у адмирала.

Потом догнал остальных и встал вместе с ними на палубе "Спасителя". Матросы, державшие шлюпку, оттолкнули ее от борта. Караибы отчалили, натянули паруса, и шлюпка понеслась к берегу.

А коллекция военно-морских флагов, принадлежащая герру Грюнитцу, так и осталась самой полной и первой в мире.

## X

## ТРИЛИСТНИК И ПАЛЬМА

Однажды в душный безветренный вечер, когда казалось, что Коралио еще ближе придвинулся к раскаленным решеткам ада, пять человек собрались у дверей фотографического заведения Кьюу и Клэнси. Так во всех экзотических, дьявольски жарких местах на земле белые люди сходятся вместе по окончании работ, чтобы, браня и порицая чужое, тем самым закрепить за собою права на великое наследие предков.

Джонни Этвуд лежал на траве, голый, как караиб в жаркое время года, и еле слышно лепетал о холодной воде, которую в таком изобилии дают осененные магнолиями колодцы его родного Дэйлсбурга. Доктору Грэггу, из уважения к его бороде, а также из желания подкупить его, чтобы он не начал делиться своими медицинскими воспоминаниями, был предоставлен гамак, протянутый между дверным косяком и тыквенным деревом. Кьюу вынес на улицу столик с принадлежностями для фотографической ретуши. Он единственный из всех пятерых занимался делом. Горный инженер Бланшар, француз, в белом прохладном полотняном костюме, сидел, словно не замечая жары, и следил сквозь спокойные стекла очков за дымом своей папиросы. Клэнси сидел на ступеньке и курил короткую трубку. Ему хотелось болтать. Остальные так размякли от жары, что являлись идеальными слушателями: ни возражать, ни уйти они не могли.

Клэнси был американцем с ирландским темпераментом и вкусами космополита. Многими профессиями он занимал

ся, но каждой — только короткое время. У него была натура бродяги. Цинкография была лишь небольшим эпизодом его скитальческой жизни. Иногда он соглашался передать своими словами какое-нибудь событие, отметившее его вылазки в мир экзотический и неофициальный. Сегодня, судя по некоторым симптомам, он был склонен кое-что разгласить.

— Элегантная погодка для боя! — начал он. — Это мне напоминает то время, когда я пытался освободить одно государство от убийственного гнета тиранов. Трудная работа: спины не разогнуть, на ладонях мозоли.

— Я и не знал, что вы отдавали свой меч угнетенным народам, — промямлил Этвуд, лежа на траве.

— Да! — сказал Клэнси. — Но мой меч перековали на орало.

— Что же это за страна, которую вы осчастливили своим покровительством? — спросил Бланшар немного свысока.

— Где Камчатка? — отозвался Клэнси без всякой видимой связи с вопросом.

— Где-то в Сибири... у полюса, — неуверенно вымолвил кто-то.

Клэнси удовлетворенно кивнул головой.

— Я так и думал... Камчатка — это где холодно! Я всегда путаю эти два названия. Гватемала — это где жарко. Я был в Гватемале. На карте вы найдете это место в районе, который называется тропиками. По милости providения страна лежит на морском берегу, так что составитель географических карт может печатать названия городов прямо в морской воде. Названия длинные, не меньше дюйма, если даже напечатать их мелкими буквами, составлены из разных испанских диалектов и, сколько я понимаю, по той же системе, от которой взорвался “Мэйн”<sup>1</sup>. Да, вот в эту страну я и помчался, чтобы в смертном бою поразить ее деспотов, стреляя в них из одноствольной кирки, да еще незаряженной. Не понимаете, конечно? Да, тут кое-что нужно разъяснить.

<sup>1</sup> “Мэйн” — американский крейсер, в 1898 г. взорвавшийся по неизвестным причинам на рейде Гаваны (Куба), что послужило поводом для испано-американской войны.

Это было в Новом Орлеане, утром, в начале июня. Стою я на пристани, смотрю на корабли. Прямо против меня, внизу, вижу, небольшой пароход готов тронуться в путь. Из труб его идет дым, и босяки нагружают его какими-то ящиками. Ящики большие — фута два ширины, фута четыре длины — и как будто довольно тяжелые. Они штабелями лежали на пристани.

От нечего делать я подошел к ним. Крышка у одного из них была отбита, я приподнял ее из любопытства и заглянул внутрь. Ящик был доверху набит винтовками Винчестера.

“Так, так, — сказал я себе. — Кто-то хочет нарушить закон о нейтралитете Соединенных Штатов. Кто-то хочет помочь кому-то оружием. Интересно узнать, куда отправляются эти пугачи”.

Слышу, сзади кто-то кашляет! Оборачиваюсь. Передо мною кругленький, жирненький, небольшого роста человек. Личико у него темненькое, костюмчик беленький, а на пальчике брильянт в четыре карата. Замечательный человек, лучше не надо. В глазах у него вопрос и уважение. Похож на иностранца — не то русский, не то японец, не то житель Архипелагов.

— Тс! — говорит человек шепотом, словно секрет сообщает. — Не будет ли сеньор такой любезный, не согласится ли он с уважением отнестись к той тайне, которую ему случайно удалось подсмотреть, — чтоб люди на пароходе не узнали о ней? Сеньор будет джентльменом, он не скажет никому ни слова.

— Мусью, — сказал я (потому что он казался мне вроде француза), — позвольте принести вам уверение, что вашей тайны не узнает никто. Джеймс Клэнси не такой человек. К этому разрешите добавить: вив ля либерте — да здравствует свобода! Я, Джеймс Клэнси, всегда был врагом всех существующих властей и правительств.

— Сеньор очень карош! — говорит человек, улыбаясь в черные усы. — Не пожелает ли сеньор подняться на корабль и выпить стаканчик вина?



Так как я — Джеймс Клэнси, то не прошло и минуты, как я уже сидел вместе с этим заграничным мусью в каюте парохода за столиком, а на столике стояла бутылка. Я слышал, как грохотали ящики, которые швыряли в трюм. По моему расчету, во всех этих ящиках было никак не меньше двух тысяч винтовок. Выпили мы бутылочку, появилась другая. Дать Джеймсу Клэнси бутылку вина — все равно что спровоцировать восстание. Я много слышал о революциях в тропических странах, и мне захотелось приложить к ним руку.

— Что, мусью, — спросил я, подмигивая, — вы немного хотите расшевелить вашу родину, а?

— Да, да! — закричал человек, ударяя кулаком по столу. — Произойдут большие перемены! Довольно дурачить народ обещаниями! Пора, наконец, взяться за дело. Предстоит большая работа! Наши силы двинутся в столицу. Sagamba!

— Правильно, — говорю я, пьянея от восторга, а также от вина. — Другими словами, вив ля либерте, как я уже сказал. Пусть древний трилистник... то есть банановая лоза и пряничное дерево, или какая ни на есть эмблема вашей угнетенной страны, цветет и не вянет вовеки.

— Весьма благодарен, — говорит человек, — за ваши братские чувства. Больше всего нашему делу нужны сильные и смелые работники. О, если бы найти тысячу сильных, благородных людей, которые помогли бы генералу де Вега покрыть нашу родину славой и честью. Но трудно, о, как трудно завербовать таких людей для работы.

— Слушайте, мусью, — кричу я, хватая его за руку, — я не знаю, где находится ваша страна, но сердце у меня обливается кровью, так горячо я люблю ее. Сердце Джеймса Клэнси никогда не было глухо к страданиям угнетенных народов. Мы все, вся наша семья, флибустьеры по рождению и иностранцы по ремеслу. Если вам нужны руки Джеймса Клэнси и его кровь, чтобы свергнуть ярмо тирана, я в вашем распоряжении, я ваш.

Генерал де Вега был в восторге, что заручился моим сочувствием к своей конспирации и политическим труднос-

тям. Он попробовал обнять меня через стол, но ему помешали его толстое брюхо и вино, которое раньше было в бутылках. Таким образом я стал флибустьером. Генерал сказал мне, что его родину зовут Гватемала, что это самое великое государство, какое когда-либо омывал океан. В глазах у него были слезы, и время от времени он повторял:

— А, сильные, здоровые, смелые люди! Вот что нужно моей родине!

Потом этот генерал де Вега, как он себя называл, принес мне бумагу и попросил подписать ее. Я подписал и сделал замечательный росчерк с чудесной завитушкой.

— Деньги за проезд, — деловито сказал генерал, — будут вычтены из вашего жалованья.

— Ничего подобного! — сказал я не без гордости. — За проезд я плачу сам.

Сто восемьдесят долларов хранилось у меня во внутреннем кармане. Я был не то, что другие флибустьеры: флибустьерил не ради еды и штанов.

Пароход должен был отойти через два часа. Я сошел на берег, чтобы купить себе кое-что необходимое. Вернувшись, я с гордостью показал свою покупку генералу: легкое меховое пальто, валенки, шапку с наушниками, изящные рукавицы! обшитые пухом, и шерстяной шарф.

— Sagamba! — воскликнул генерал. — Можно ли в таком костюме ехать в тропики!

Потом этот хитрец смеется, зовет капитана, капитан — комиссара, комиссар зовет по трубке механика, и вся шайка толщится у моей каюты и хохочет.

Я задумываюсь на минуту и с серьезным видом прошу генерала сказать мне еще раз, как зовется та страна, куда мы едем. Он говорит: "Гватемала" — и я вижу тогда, что в голове у меня была другая: Камчатка. С тех пор мне трудно отделить эти нации — так у меня спутались их названия, климаты и географическое положение.

Я заплатил за проезд двадцать четыре доллара — еду в каюте первого класса, столовую с офицерами. На нижней палубе пассажиры второклассные. Люди — человек сорок —

какие-то итальяшки, не знаю. И к чему их столько и куда они едут?

Ну, хорошо. Ехали мы три дня и причалили, наконец, к Гватемале. Это синяя страна, а не желтая, как ее малюют на географических картах. Вышли мы на берег. Там стоял городишко. Нас ожидал поезд, несколько вагонов на кривых, распатанных рельсах. Ящики перенесли на берег и погрузили в вагоны. Потом в вагоны набились итальяшки, я вместе с генералом сел в первый. Да, мы с генералом де Вега были во главе революции! Приморский городишко остался позади. Поезд шел так быстро, как полисмен на склоку. пейзаж вокруг был такой, какой можно увидеть только в учебниках географии. За семь часов мы сделали сорок миль, и поезд остановился. Рельсы кончились. Мы приехали в какой-то лагерь, гнусный, болотистый, мокрый. Запущение и меланхолия. Впереди рубили просеку и вели земляные работы. «Здесь, — говорю я себе, — романтическое убежище революционеров, здесь Джеймс Кленси, как блестящий ирландец, представитель высшей расы и потомок фениев, отдаст свою душу борьбе за свободу».

Из вагона вынули ящики и стали сбивать с них крышки. Из первого же ящика генерал де Вега вынул винтовки Винчестера и стал раздавать их отряду каких-то омерзительных солдат. Другие ящики тоже открыли, и — верьте мне или не верьте, черт возьми, — ни одного ружья в них не оказалось. Все ящики были набиты лопатами и кирками.

И вот, провалиться бы этим тропикам, гордый Кленси и презренные итальяшки — все получают либо кирку, либо лопату, и всех гонят работать на этой поганой железной дороге. Да, вот для чего ехали сюда макаронники, вот какую бумагу подписал флибустьер Джеймс Кленси, подписал, не зная, не догадываясь. После я разведал, в чем дело. Оказывается, для работ по проведению железной дороги трудно было найти рабочую силу. Местные жители слишком умны и ленивы. Да и зачем им работать? Стоит им протянуть одну руку, и в руке у них окажется самый дорогой, самый изысканный плод, какой только есть на земле; стоит им протя-

нуть другую — и они заснут хоть на неделю, не боясь, что в семь часов утра их разбудит фабричный гудок или что сейчас к ним войдет сборщик квартирной платы. Поневоле приходится отправляться в Соединенные Штаты и обманом завлекать рабочих. Обычно привезенный землекоп умирает через два-три месяца — от гнилой, перезрелой воды и необузданного тропического пейзажа. Поэтому, нанимая людей, их заставляли подписывать контракты на год и ставили над ними вооруженных часовых, чтобы они не вздумали дать стрелка.

Вот так-то меня обманули тропики, а всему виною наследственный порок — любил совать нос во всякие беспорядки.

Мне вручили кирку, и я взял ее с намерением тут же взбунтоваться, но неподалеку были часовые с винчестерами, и я пришел к заключению, что лучшая черта флибустьера — скромность и умение промолчать, когда следует. В нашей партии было около ста рабочих, и нам приказали двинуться в путь. Я вышел из рядов и подошел к генералу де Вега, который курил сигару и с важностью и удовольствием смотрел по сторонам. Он улыбнулся мне вежливой сатанинской улыбкой.

— В Гватемале, — говорит он, — есть много работы для сильных, рослых людей. Да. Тридцать долларов в месяц. Деньги не маленькие. Да, да. Вы человек сильный и смелый. Теперь уж мы скоро достроим эту железную дорогу. До самой столицы. А сейчас ступайте работать. Adios, сильный человек!

— Мусью, — говорю я, — скажите мне, бедному ирландцу, одно. Когда я впервые взошел на этот ваш тараканий корабль и дышал свободными революционными чувствами в ваше кислое вино, думали ли вы, что я воспеваю свободу лишь для того, чтобы долбить киркой вашу гнусную железную дорогу? И когда вы отвечали мне патриотическими возгласами, восхваляя усыпанную звездами борьбу за свободу, замыслили ли вы и тогда принизить меня до уровня этих скованных цепями итальяшек, корчующих пни в вашей низкой и подлой стране?

Человечек выпятил свой круглый живот и начал смеяться. Да, он долго смеялся, а я, Клэнси, я стоял и ждал.

— Смешные люди! — закричал он, наконец. — Вы смещите меня до смерти, ей-богу. Я говорил вам одно: трудно найти сильных и смелых людей для работы в моей стране. Революция? Разве я говорил о р-р-революции? Ни одного слова. Я говорил: сильные, рослые люди нужны в Гватемале. Так. Я не виноват, что вы ошиблись. Вы заглянули в один-единственный ящик с винтовками для часовых, и вы подумали, что винтовки во всех. Нет, это не так, вы ошиблись. Гватемала не воюет ни с кем. Но работа? О да. Тридцать долларов в месяц. Возьмите же кирку и ступайте работать для свободы и процветания Гватемалы. Ступайте работать. Вас ждут часовые.

— Ты жирный коричневый пудель, — сказал я спокойно, хотя в душе у меня было негодование и тоска. — Это тебе даром не пройдет. Дай только мне собраться с мыслями, и я найду для тебя отличный ответ.

Начальник приказывает приниматься за работу. Я шагаю вместе с итальяшками и слышу, как почтенный патриот и мошенник весело смеется.

Грустно думать, что восемь недель я проводил железную дорогу для этой непотребной страны. Флибустьерствовал по двенадцати часов в сутки тяжелой киркой и лопатой, вырубая роскошный пейзаж, который был помехой для намеченной линии. Мы работали в болотах, которые издавали такой аромат, как будто лопнула газовая труба, мы топтали ногами самые лучшие и дорогие сорта оранжерейных цветов и овощей. Все кругом было такое тропическое, что не придумать никакому географу. Все деревья были небо-скребы; в кустарниках — иголки и булавки; обезьяны так и прыгают кругом, и крокодилы, и краснохвостые дрозды, а нам — стоять по колено в вонючей воде и выкорчевывать пни для освобождения Гватемалы. Вечерами разводили костры, чтобы отвадить moskitov, и сидели в густом дыму, а часовые ходили с винтовками. Рабочих было двести человек — по большей части итальянцы, негры, испанцы и шведы. Было три или четыре ирландца.

Один из них, старик Галлоран, — тот мне все объяснил. Он работал уже около года. Большинство умирало, не протянув и шести месяцев. Он высох до хрящей, до костей, и каждую третью ночь его колотил озноб.

— Когда только что приедешь сюда, — рассказывал он, — думаешь: завтра же улепетну. Но в первый месяц у тебя удерживают жалованье для уплаты за проезд на пароходе, а потом, конечно, — ты во власти у тропиков... Тебя окружают сумасшедшие леса и звери с самой дурной репутацией — львы, павианы, анаконды<sup>1</sup>, — и каждый норовит тебя сожрать. Солнце жарит немилосердно, даже мозг в костях тает. Становишься вроде этих пожирателей лотоса, про которых в стихах написано. Забываешь все возвышенные чувства жизни: патриотизм, жажду мести, жажду беспорядка и уважение к чистой рубашке. Делаешь свою работу да глотаешь керосин и резиновые трубки, которые повар-итальяшка называет едой. Закуриваешь папироску и говоришь себе: на будущей неделе уйду непременно, и идешь спать, и зовешь себя луном, так как прекрасно знаешь, что никуда не уйдешь.

— Кто этот генерал? — говорю я, — который зовет себя де Вега?

— Он хочет возможно скорее закончить дорогу, — отвечает Галлоран. — Вначале этим занималась одна частная компания, но она лопнула, и тогда за работу взялось правительство. Этот де Вега — большая фигура в политике и хочет быть президентом. А народ хочет, чтобы железная дорога была закончена возможно скорее, потому что с него дерут налоги, и де Вега двигает работу, чтобы угодить избирателям.

— Не в моих привычках, — говорю я, — угрожать человеку мстью, но Джеймс О'Дауд Клэнси еще предъявит этому железнодорожнику счет.

— Так и я говорил, — отвечает Галлоран с тяжелым вздохом, — пока не отведал этих лотосов. Во всем виноваты тро-

<sup>1</sup> Анаконда — гигантская змея южноамериканских лесов.

пики. Они выжимают из человека все соки. Это такая страна, где, как сказал поэт, вечно послеобеденный час. Я делаю мою работу, курю мою трубку и сплю. Ведь в жизни ничего другого и нет. Скоро ты и сам это поймешь. Не питай никаких сентиментов, Клэнси.

— Нет, нет, — говорю я. — Моя грудь полна сентиментами. Я записался в революционную армию этой богомерзкой страны, чтобы сражаться за ее свободу. Вместо этого меня заставляют уродовать ее пейзаж и подрывать ее корни. За это заплатит мне мой генерал!

Два месяца я работал на этой дороге, и только тогда выдался случай бежать.

Как-то раз нескольких человек из нашей партии послали назад, к конечному пункту проложенного пути, чтобы мы привезли в лагерь заступы, которые были отданы в Порт-Барриос к точильщику. Они были доставлены нам на дрезине, и я заметил, что дрезина осталась на рельсах.

В ту ночь, около двенадцати часов, я разбудил Галлорана и сообщил ему свой план побега.

— Убежать? — говорит Галлоран. — Господи боже, Клэнси, неужели ты и вправду затеял бежать? У меня не хватает духу. Очень холодно, и я не выспался. Убежать? Говорю тебе, Клэнси, я объелся этого самого лотоса. А все тропики. Как там у поэта — “Забыл я всех друзей, никто не помнит обо мне; буду жить и покоиться в этой сонной стране”. Лучше отправляйся один, Клэнси. А я, пожалуй, останусь. Так рано, и холодно, и мне хочется спать.

Пришлось оставить старика и бежать одному. Я тихонько оделся и выскользнул из палатки. Проходя мимо часового, я сбил его, как кеглю, неспелым кокосовым орехом и кинулся к железной дороге. Вскрываю на дрезину, пускаю ее в ход и лечу. Еще до рассвета я увидел огни Порт-Барриоса — приблизительно за милю от меня. Я остановил дрезину и направился к городу. Признаюсь, не без робости я шагал по улицам этого города. Войска Гватемалы не пугали меня, а вот при мысли о рукопашной схватке с конторой по найму рабочих сердце замирало. Да, здесь, раз уж попался в ла-

пы, — держись. Так и представляется, что миссис Америка и миссис Гватемала как-нибудь вечером сплетничают через горы. “Ах, знаете, — говорит миссис Америка, — так мне трудно доставать рабочих, сеньора, мэм, просто ужас”. — “Да что вы, мэм, — говорит миссис Гватемала, — не может быть! А моим, мэм, так и в голову не приходит уйти от меня, хи-хи”.

Я раздумывал, как мне выбраться из этих тропиков, не угодив на новые работы. Хотя было еще темно, я увидел, что в гавани стоит пароход. Дым валил у него из труб. Я свернул в переулок, заросший травой, и вышел на берег. На берегу я увидел негра, который сидел в челноке и собирался отчалить.

— Стой, Самбо! — крикнул я. — По-английски понимаешь?

— Целую кучу... очень много... да! — сказал он с самой любезной улыбкой.

— Что это за корабль и куда он идет? — спрашиваю я у него. — И что нового? И который час?

— Это корабль “Кончита”, — отвечает черный человек добродушно, свертывая папироску. — Он приходил за бананы из Новый Орлеан. Прошедшая ночь нагрузился. Через час или через два он снимается с якорь. Теперь будет погода хороший. Вы слышали, в городе, говорят, была большая сражения. Как, по-вашему, генерала де Вега поймана? Да? Нет?

— Что ты болтаешь, Самбо? — говорю я. — Большое сражение? Какое сражение? Кому нужен генерал де Вега? Я был далеко отсюда, на моих собственных золотых рудниках, и вот уже два месяца не слышал никаких новостей.

— О, — тараторит негр, гордясь своим английским языком, — очень большая революция... в Гватемале... одна неделя назад Генерала де Вега, она пробовала быть президент... Она собрала армию — одна, пять, десять тысяч солдат. А правительство послало пять, сорок, сто тысяч солдат, чтобы разбить революцию. Вчера была большая сражения в Ломагранде — отсюда девятнадцать или пятьдесят миль. Солдаты правительства так отхлестали генералу де Вега, —

очень, очень. Пятьсот, девятьсот, две тысячи солдат генералы де Веги убито. Революция чик — и нет. Генерала де Вега села на большого-большого мула и удрала. Да, саганба! Генерала удрала, и все солдаты генералы убиты. А солдаты правительства ищут генералу де Вегу. Генерала им нужно очень, очень. Они хотят ее застрелить. Как, по-вашему, сеньор, поймают они генералу де Вегу?

— Дай бог! — говорю я. — Это была бы ему господняя кара за то, что он использовал мой революционный талант для ковыряния в вонючем болоте. Но сейчас, мой милый, меня увлекает не столько вопрос о восстании, сколько стремление спастись из кабалы. Важнее всего для меня сейчас отказаться от высокоответственной должности в департаменте благоустройства вашей великой и униженной родины. Отвези меня в твоём челноке вон на тот пароход, и я дам тебе пять долларов, синка пасе, синка пасе, — говорю я, снисходя к пониманию негра и переводя свои слова на тропический жаргон.

— Cinco pesos, — повторяет черный — Пять долла?

В конце концов он оказался далеко не плохим человеком. Вначале он, конечно, колебался, говорил, что всякий, покидающий эту страну, должен иметь паспорт и бумаги, но потом взялся за весла и повез меня в своём челноке к пароходу.

Когда мы подъехали, стал только-только заниматься рассвет. На борту парохода — ни души. Море было очень тихое. Негр посадил меня, и я взобрался на нижнюю палубу, там, где выемка для ссыпки фруктов. Люки в трюм были открыты. Я глянул вниз и увидел бананы, почти до самого верха наполнявшие трюм. Я сказал себе: «Клэнси! Ты уж лучше поезжай зайцем. Безопаснее. А то как бы пароходное начальство не вернуло тебя в контору по найму. Попадешь ты тропикам, если не будешь глядеть в оба».

После чего я прыгаю тихонько на бананы, выкапываю в них ямку и прячусь. Через час, слышу, загудела машина, пароход закачался, и я чувствую, что мы вышли в открытое море. Люки были открыты у них для вентиляции; скоро в

трюме стало довольно светло, и я мог оглядеться. Я почувствовал голод и думаю — почему бы мне не подкрепиться легкой вегетарианской закуской? Я выкарабкался из своей берлоги и приподнял голову. Вижу ползет человек, в десяти шагах от меня, в руке у него банан. Он сдирает с банана шкуру и пихает его себе в рот. Грязный человек, темнолицый, вида гнусного и очень потрепанного — прямо карикатура из юмористического журнала. Я всмотрелся в него и увидел, что это мой генерал — великий революционер, наездник на мулах, поставщик лопат, знаменитый генерал де Вега. Когда он увидел меня, банан застрял у него в горле, а глаза стали величиною с кокосовые орехи.

— Тсс... — говорю я. — Ни слова! А то нас вытащат отсюда и заставят прогуляться пешком. Вив ля либерте! — шепчу я, запихивая себе в рот банан. Я был уверен, что генерал не узнает меня. Зловредная работа в тропиках изменила мой наружный вид. Лицо мое было покрыто саврасо-рыжеватой щетиной, а костюм состоял из синих штанов да красной рубашки.

— Как вы попали на судно, сеньор? — заговорил генерал, едва к нему вернулся дар речи.

— Вошел с черного хода, вот как, — говорю я. — Мы доблестно сражались за свободу, — продолжал я, — но численностью мы уступали врагу. Примем же наше поражение, как мужчины, и скушаем еще по банану.

— Вы тоже бились за свободу, сеньор? — говорит генерал, поливая бананы слезами.

— До самой последней минуты, — говорю я. — Это я вел последнюю отчаянную атаку против наемников тирана. Но враг обезумел от ярости, и нам пришлось отступить. Это я, генерал, достал вам того мула, на котором вам удалось убежать... Будьте добры, передайте мне ту ветку бананов, она отлично созрела... Мне ее не достать. Спасибо!

— Так вот в чем дело, храбрый патриот, — говорит генерал и пуще заливается слезами. — Ah, dios! И я ничем не могу отблагодарить вас за вашу верность и преданность. Мне еле-еле удалось спастись. Саганба! ваш мул оказался

истинным дьяволом. Он швырял меня, как буря швыряет корабль. Вся моя кожа исцарапана терновником и жесткими лианами. Эта чертова скотина терлась о тысячу пней и тем причинила ногам моим немалые бедствия. Ночью приезжаю я в Порт-Барриос. Отделяюсь от подлеца-мула и спешу к морю. На берегу челнок. Отвязываю его и плыву к пароходу. На пароходе никого. Карабкаюсь по веревке, которая спускается с палубы, и зарываюсь в бананах. Если бы капитан корабля увидел меня, он швырнул бы меня назад в Гватемалу. Это было бы очень плохо. Гватемала застрелила бы генерала де Вега. Поэтому я спрятался, сижу и молчу. Жизнь сама по себе восхитительна. Свобода тоже хороша, никто не спорит, но жизнь, по-моему, еще лучше.

До Нового Орлеана пароход идет три дня. Мы с генералом стали за это время закадычными друзьями. Бананов мы съели столько, что глазам было тошно смотреть на них и плотке было больно их есть. Но все наше меню заключалось в бананах. По ночам я остороженько выползал на нижнюю палубу и добывал ведро пресной воды.

Этот генерал де Вега был мужчина, обожравшийся словами и фразами. Своими разговорами он еще увеличивал скуку пути. Он думал, что я революционер, принадлежащий к его собственной партии, в которой, как он говорил, было немало иностранцев — из Америки и других концов земли. Это был лукавый хвастунишка и трус, хотя он сам себя считал героем. Говоря о разгроме своих войск, он жалел одного себя. Ни слова не сказал этот глупый пузырь о других идиотах, которые были расстреляны или умерли из-за его революции.

На второй день он сделался так важен и горд, как будто он не был несчастный беглец, спасенный от смерти ослом и краденными бананами. Он рассказывал мне о великом железнодорожном пути, который собирался достроить, и тут же сообщил мне комический случай с одним простофилей-ирландцем, которого он так хорошо одурачил, что тот покинул Новый Орлеан и поехал в болото, в мертвецкую гниль,

работать киркой на узкоколейке. Было больно слушать, когда этот мерзавец рассказывал, как он насыпал соли на хвост неосмотрительной глупой пичуге Клэнси. Он смеялся искренно и долго. Весь так и трясся от хохота чернорожий бунтовщик и бродяга, зарытый по горло в бананы, без родины, без родных и друзей.

— Ах, сеньор, — заливался он, — вы сами хохотали бы до смерти над этим забавным ирландцем. Я говорю ему: “Сильные и рослые мужчины нужны в Гватемале”. А он отвечает: “Я отдам все свои силы вашей угнетенной стране”. — “Ну, конечно, говорю, отдадите”. Ах, такой смешной был ирландец! Он увидел на пристани сломанный ящик, в котором было несколько винтовок для часовых. Он думал — винтовки во всех ящиках. А там были кирки да лопаты. Да, Ах, сеньор, посмотрели бы вы на лицо этого ирландца, когда его послали работать!

Так этот бывший агент конторы по найму рабочих усиливал скуку пути шуточками и анекдотами. А в промежутках он снова орошал бананы слезами, ораторствуя о погибшей свободе и о проклятом муле.

Было приятно слышать, как пароход ударился бортом о новоорлеанский мол. Скоро мы услышали шлепанье сотни босых ног по сходням, и в трюм вбежали итальянцы — разгружать пароход. Мы с генералом сделали вид, как будто мы тоже грузчики, стали в цепь, чтобы передавать груз, а через час незаметно ускользнули с парохода в гавань.

Клэнси выпала честь ухаживать за представителем великой иноземной державы. Первым долгом я раздобыл для него и для себя много выпивки и много еды, в которой не было ни одного банана. Генерал семенил со мною рядом, предоставляя мне заботиться о нем. Я повел его в сквер Лафайета и посадил там на скамью. Еще раньше я купил ему папирос, и он комфортабельно развалился на скамье, как жирный, самодовольный бродяга. Я посмотрел на него издали, и, признаюсь, его вид доставил мне немалую радость. Он и от природы черный, и душа у него была черная, а тут

еще грязь и пыль. По милости мула его платье превратилось в отрепья. Да, Джеймсу Клэнси было очень приятно смотреть на него.

Я спрашиваю у него с деликатностью, не привез ли он из Гватемалы случайно чьих-нибудь денег. Он вздыхает и пожимает плечами, ни цента. Отлично. Он надеется, что его друзья из-под тропиков пришлют ему впоследствии небольшое пособие. Словом, если был на свете нищий безо всяких средств к пропитанию — это был генерал де Вега.

Я попросил его никуда не ходить, а сам отправился на тот перекресток, где стоял мой знакомый полисмен О'Хара. Жду его минут пять, и вот вижу, идет рослый, красивый мужчина, лицо красное, пуговицы так и сияют. Идет и помахивает дубинкой. О, если бы Гватемала была в полицейском участке О'Хары! Раз или два в неделю он подавлял тамошние революции дубинкой — просто для развлечения, играючи. Я подошел к нему и без дальних предисловий спросил:

— Что, статья 5046 еще действует?

— Действует с утра до поздней ночи! — отвечает О'Хара и смотрит на меня подозрительно. — По-твоему, она подходит к тебе?

Статья 5046 была знаменитая статья городского устава, подвергающая аресту и тюремному заключению лиц, скрывших от полиции свои преступления.

— Что, не узнал Джимми Клэнси? — говорю я. — Ах ты, чудовище красножаброе!

Когда О'Хара распознал меня под той скандальной внешностью, которой наделили меня тропики, я втолкнул его в какой-то подъезд и рассказал ему все, что мне нужно и почему.

— Отлично, Джимми! — говорит О'Хара. — Воротись назад и садись на скамейку. Я приду через десять минут.

Вот идет О'Хара по скверу Лафайета и видит: два босяка оскорбляют своим видом скамейку, на которой они сидят. Еще через десять минут Джимми Клэнси и генерал де Вега,

вчерашний кандидат в президенты республики, оказываются в полицейском участке. Генерал испуган, он говорит о своих высоких орденах и чинах и ссылается на меня как на свидетеля.

— Этот человек, — говорю я, — был железнодорожным агентом. Но его прогнали. Он потерял должность, и теперь он просто сумасшедший.

— Sagamba! — говорит генерал, шипя, как сифон с сельтерской. — Ведь вы сражались в рядах моего войска, сеньор, почему же вы говорите неправду? Вы должны сказать, что я генерал де Вега, солдат, caballero.

— Железнодорожный агент! — говорю я опять. — За душой ни цента. Темная личность. Три дня питался крадеными бананами. Посмотрите на него. Сами убедитесь.

Двадцать пять долларов штрафа или шестьдесят дней заключения закатали генералу в участке. Денег у него не было, пришлось посидеть. А меня отпустили! Я знал, что меня не задержат, при мне были деньги, да и О'Хара шепнул обо мне два-три слова. Да! На два месяца засадили его. Ровно столько времени ковырял я киркой великую республику Кам... Гватемалу.

Клэнси замолчал. При ярком сиянии звезд было видно, что в его взоре, устремленном в былое, светятся довольство и счастье. Кью откинулся на спинку стула и хлопнул своего товарища по еле прикрытой спине.

— Расскажи ты им, дьявол этакий, — сказал он, хихикая, — как ты сквитался с этим генералом на почве земледельческих махинаций.

— Так как у генерала не было денег, — заговорил Клэнси с большим удовольствием, — то для того, чтобы получить с него штраф, полиция заставила его работать, с партией других арестантов, по уборке улицы Урсулинок. За углом находился салун, художественно убранный электрическими вентиляторами и холодными напитками. Я сделал этот салун своей главной квартирой и каждые четверть часа выбегал оттуда на улицу поглядеть на маленького человека,

флибустьерствующего граблями и лопатой. Жара стояла страшная, не меньше, чем сейчас.

— Эй, мусью! — кричал я ему, и он смотрел на меня, злой, как черт; на рубашке у него были мокрые пятна.

— Жирные, здоровые люди, — говорил я генералу де Вега, — очень нужны в Новом Орлеане. Да, им предстоит великая работа. Саганба! Да здравствует Ирландия!

## XI

## ОСТАТКИ КОДЕКСА ЧЕСТИ

В Коралио завтракают не раньше одиннадцати. Поэтому на рынок уходят поздно. Маленькое деревянное строение крытого рынка стоит на короткой, подстриженной травке под ярко-зеленой листвой хлебного дерева.

Однажды утром в обычный час пришли на рынок торговцы и принесли с собой свои товары. Здание рынка со всех сторон окружала галерея в шесть футов шириной, защищенная от полуденного зноя соломенной крышей, далеко выступавшей над стенами. Обычно на этой галерее торговцы раскладывали свои товары — свежую говядину, рыбу, крабов, фрукты, кассаву<sup>1</sup>, яйца, сласти и высокие дрожащие груды маисовых лепешек, каждая такой ширины, как сомбреро испанского гранда.

Но в это утро те торговцы, которые занимали площадку, обращенную к морю, не разложили товаров, а сбились в кучу и, размахивая руками, негромко залопотали о чем-то. Потому что там, на галерее, лежала объятая сном — нисколько не прекрасная — фигура Блайта-Вельзевула. Он покоился на измызганном кокосовом коврикe, больше чем когда-либо похожий на падшего ангела. Его грубый полотняный костюм, весь испачканный, разодранный по швам, был испещрен тысячами всевозможных морщин и так нелепо облекал его туловище, словно Вельзевул был не человек, а чучело,

<sup>1</sup> Кассава — южноамериканское тропическое растение, корни которого богаты крахмалом.



на которое забавы ради напялили одежду, а потом, когда вдоволь наиздевались над ним, бросили. Но непоколебимо на его переносице сверкало золотое пенсне — единственный уцелевший знак его бывшего величия.

Лучи солнца, отразившиеся в мелкой ряби моря и заигравшие на лице Вельзевула, а также голоса рыночных торговцев разбудили его. Он приподнялся на своем ложе, мигая глазами, оперся о стену рынка. Вынув из кармана злокачественный шелковый носовой платок, он тщательно протер и отполировал пенсне. И постепенно ему стало ясно, что в его спальне чужие и что учтивые бурые и желтые люди умоляют именно его уступить свое ложе товарам.

— Если сеньор будет так добр... Тысяча извинений за беспокойство... но скоро придут покупатели... покупать провизию... Десять тысяч горьких сожалений, что пришлось потревожить сеньора!

В таком стиле они возвещали ему, что он должен убраться и не тормозить колес торговли.

Блайт покинул площадку с видом принца, покидающего осененное великолепным балдахинном ложе. Этого вида он не терял никогда, даже в периоды самого глубокого падения. Всякому ясно, что курс нравственности не обязателен в программе аристократического образования.

Блайт почистил свой измятый костюм и медленно зашагал по горячим пескам Калье Гранде. Куда он идет, он не знал. Городок лениво предавался своим повседневным занятиям. В траве копошились младенцы с золотистыми телами. Морской ветер навевал ему аппетит, но не навевал средств для утоления оногo. Как всегда по утрам, Коралио был полон тяжелым запахом тропических цветов, и запахом печеного хлеба, приготавливаемого тут же, на улице, и запахом дыма от глиняных печек. В тех местах, где не было дыма, виднелись горы, и казалось, что хрустальный воздух, обладая могуществом евангельской веры, придвинул их почти к самому морю, — придвинул так близко, что можно было сосчитать все скалистые прогалины на покрытых лесами склонах. Легконогие караибы спешили на берег к еже-

дневным трудам. Уже среди кустов, по тропинкам, медленно спускались лошади одна за другою — от банановых плантаций к морю. Видны были только их головы да ноги. Все остальное было прикрыто огромными связками золотисто-зеленых плодов, свешивающихся у них со спины. На порогах сидели женщины и расчесывали длинные черные волосы, переключаясь друг с другом через узкую улицу. В Коралио царил покой — скучный, выжженный зноем, но все же покой.

В это яркое, ясное утро, когда Природа, казалось, подавала лотос забвения на золотой тарелке Рассвета, Блайт-Вельзевул докатился до дна. Дальше падать было уже некуда. Ночевка на базаре опозорила его окончательно. Покуда у него над головой был кров, все еще оставалось что-то, отличающее джентльмена от лесного зверя и птиц поднебесных. Но теперь он — жалкая устрица, которую ведут на съедение по песчаному берегу Южного моря хитрый Морж — Случай, и безжалостный Плотник — Судьба<sup>1</sup>.

Деньги давно уже были для Блайта легендой. Он выкачал из своих приятелей все, что их дружба могла ему дать; потом он выжал до последней капли то, что могло дать ему их великодушие, и, наконец, подобно Аарону, выбил из их затвердевших сердец, как из камня, скудные капли унижительной милостыни.

Он истощил свой кредит до последнего реала. С той ясной отчетливостью, которая отличает ум потерявшего стыд паразита, он знал наперечет все места в Коралио, где можно раздобыть стакан рома, порцию съестного, серебряную монетку. Теперь он перебирал в уме все эти источники благ, вникая в них с тем прилежным вниманием, которое дается лишь жаждой и голодом. Весь его оптимизм не мог найти ни зерна надежды в мякине его жизненных планов. Игра сыграна. Эта ночевка на улице доконала его. До сих пор он мог просить займы. Теперь он может только попрошайничать. Самая наглая софистика бессильна была

1. См. предисловие переводчика.

бы назвать возвышенным именем ссуды монету, небрежно швыряемую в лицо шалопаю, который ночует на голых досках базара.

Но в это утро он, как последний нищий, с благодарностью принял бы любое подаяние, ибо демон жажды схватил его за горло, — демон утренней жажды привычного пьяницы, требующей утоления на каждой станции по пути в геенну огненную.

Блайт медленно шел по улице, зорко высматривая какое-то чудо, которое пошлет манну в его пустыню. Проходя мимо простонародной харчевни мадамы Вакес, он увидел, как завсегдатаи этой харчевни сидят за столом и поглощают ломти свежиспеченного хлеба, авокадо, ананасы и очаровательный кофе, аромат которого свидетельствовал о его отменных достоинствах. Мадама прислуживала за столом; отвернувшись на мгновение к окну и кинув на улицу робкий, бессмысленный, меланхолический взор, она увидела Блайта; взгляд ее стал еще более смущенным и робким. Вельзевул был должен ей двадцать песо. Он поклонился ей так, как некогда кланялся менее робким дамам, которым ничего не был должен, и пошел дальше.

Купцы и их подручные открывали массивные деревянные двери магазинов. Вежливы, но холодны были их взоры, когда они смотрели на Блайта, как он гордо шагает по улице, с остатками своей прежней элегантной осанки, потому что они все без изъятия были его кредиторами.

На площади у фонтана он совершил туалет при помощи смоченного в воде носового платка.

По площади тянулась печальная вереница людей. То были друзья заключенных в тюрьме; они несли арестантам их утренний завтрак. Пища не возбудила в Блайте никаких вожделений. Ему нужна была не пища, но выпивка или монета для ее приобретения.

По дороге ему встретилось немало людей, которые некогда были его друзьями и близкими. Но у всех у них он уже истощил и терпение и щедрость. Уиллард Джеджи и Паула проскакали мимо него, возвращаясь с ежедневной прогул-

ки верхом по старой индейской дороге, и ответили ему самым холодным поклоном. На другом углу ему встретился Кью, который шел, весело насвистывая и неся, словно приз, свежие яйца на завтрак себе и Клэнси. Лихой искаатель счастья был одной из жертв Блайта; чаще всех он опуская руку в карман, чтобы дать Вельзевулу подачку. Но теперь оказалось, что даже он забаррикадировался против дальнейших вторжений. Его небрежный поклон и злое щий блеск в серых больших глазах заставили Вельзевула ускорить шаги, хотя за минуту до этого он помышлял о добавочном "займе".

После этого злосчастный отверженец посетил три пивные одну за другой. Во всех трех его деньги и его кредит давно уже были истрачены; но сегодня Блайт готов был валяться в ногах у самого лютого врага за один глоток *aguardiente*. В двух пульпериях его дерзкие просьбы встретили такой учтивый отказ, что эта учтивость показалась обиднее ругани. Третье заведение усвоило себе американские методы: посетителя схватили за шиворот и дали ему такого пинка, что он вылетел на улицу и упал на колени.

Физическое оскорбление изменило его самым неожиданным образом. Когда он встал с колен и пошел дальше, весь облик его выражал полное и абсолютное спокойствие. Та искательная и притворная улыбка, которая словно застыла у него на лице, сменилась упорной и злобной решимостью. До сих пор Вельзевул барахтался в море бесчестия, держась за веревочку, которая соединяла его с порядочным обществом, вышвырнувшим его за борт. И вот он почувствовал, что эту веревочку внезапно выдернули у него из рук, и на него снизошло то блаженное спокойствие духа, которое испытывает всякий пловец, когда, утомившись бороться с волнами, он видит, что ему осталось одно: утонуть.

Блайт отошел к ближайшему углу, счистил там со своего костюма песок и протер стекла пенсне.

— Ничего другого не осталось, — сказал он вслух самому себе. — Будь у меня бутылка рома, я бы подождал еще не-

много. Но для Вельзевула, как они называют меня, рома нет больше нигде. Клянусь пламенем Тартара... Если меня сажают по правую руку самого сатаны, кто-нибудь должен платить за эту царственную роскошь. Придется расплачиваться вам, мистер Франк Гудвин. Вы славный малый, я знаю, но нельзя же, чтобы джентльмена выбрасывали из питейной на улицу. Шантаж — нехорошее слово, но шантаж есть ближайшая станция на той дороге, по которой я теперь путешествую.

Решительной поступью Блайт зашагал через город, держась наиболее удаленных от моря окраин. Он миновал грязные домишки беззаботных негров и живописные лачуги беднейших метисов; по пути он то и дело, со многих улиц, видел сквозь тенистые просеки дом Франка Гудвина в роще на холме. И когда он шел по мостику через болото, он видел старого индейца Гальвеса, скребущего деревянную колоду, на которой было выжжено имя президента Мирафлореса. За болотом по склону горы начинались владения Гудвина. Заросшая травой дорога вилась от края банановой рощи к дому. Тропические деревья самого разнообразного вида давали ей обильную тень. Блайт пошел по этой дороге, шагая широко и решительно.

Гудвин сидел на той галерее, где было прохладнее, и диктовал письма своему секретарю, местному уроженцу, способному юноше с болезненно желтым лицом. В доме завтракали по-американски рано. Прошло уже больше получаса с тех пор, как Гудвин встал из-за стола.

Отверженный подошел к ступенькам и помахал рукой.

— Доброе утро, Блайт, — сказал Гудвин. — Входите и садитесь. У вас есть ко мне дело?

— Мне нужно поговорить с вами наедине.

Гудвин сделал знак секретарю; тот вышел в сад, стал под манговым деревом и закурил папиросу. Блайт сел на освободившийся стул.

— Мне нужны деньги, — сказал он отрывисто и хмуро.

— Извините, пожалуйста, — сказал Гудвин, — но денег я вам не дам. Вы сопьетесь до смерти. Ваши друзья делали

все, что могли, чтобы поставить вас на ноги, но их помощь шла вам во вред: вы сами губили себя. Больше денег вам давать нельзя.

— Милый человек, — сказал Блайт, откачнувшись назад вместе с креслом, — оставим политическую экономию в покое. Я говорю о другом. Я люблю вас, Гудвин, но я пришел всадить вам нож между ребер. Сегодня меня выгнали из садуна Эспады, и я хочу, чтобы общество заплатило мне за нанесенное оскорбление.

— Но ведь выгнал вас не я.

— Все равно: вы представитель общества, и в частности вы моя последняя надежда. Что делать! Не нравится мне эта история, но иного пути нет. Еще месяц тому назад, когда здесь был секретарь Лосады, я попробовал это сделать, но тогда я не мог. Тогда я не мог. А теперь могу. Теперь времена другие. Мне нужна тысяча долларов, Гудвин, и вам придется выдать мне эти деньги немедленно.

— Только на прошлой неделе вы просили не больше одного серебряного доллара, — сказал Гудвин с улыбкой.

— Что доказывает, — нахально подхватил Блайт, — что даже в тисках нищеты я все еще сохранял благородство. Согласитесь, что какого-то несчастного мексиканского доллара мало, чтобы заплатить за грех. Будем же говорить, как деловые люди. Я негодяй из третьего акта пьесы. Мне подobaет полный, хоть и временный триумф. Я видел, как вы зажали в кулак чемоданчик покойного президента с монетой. О, я знаю, это шантаж; но зато я недорого беру. Я знаю, я дешевый негодяй, прямо из мелодрамы, но так как вы мой задушевный приятель, я не хочу выжимать из вас последние соки.

— А не можете ли вы поподробнее? — сказал Гудвин, спокойно разбирая письма у себя на столе.

— С удовольствием, — сказал Блайт. — Мне нравится, как вы относитесь к делу. Театральщина мне ненавистна, и я предупреждаю заранее, что в моем рассказе не будет ни фейерверков, ни бенгальских огней, ни фиоритур на сакофоне.

В ту ночь, когда беглое превосходительство прибыло в город, я был очень пьян. Мне простительно гордиться этим фактом, ибо я достигаю такого блаженства не часто. Кто-то поставил скамью под апельсинными деревьями в садике мадамы Ортис. Я перелез через ограду, лег и заснул. Разбудил меня апельсин, который упал мне на нос. Я очень рассердился и стал проклинать сэра Исаака Ньютона — или как его звали? — за то, что, выдумав притяжение земли, он не ограничил своей теории яблоками.

А тут прибыл мистер Мирафлорес со своей возлюбленной и с деньгой в саквояже и прошел в отель. Вскоре явились вы и завели разговор с артистом парикмахерского цеха, который обязательно желал разговаривать на профессиональные темы, хоть время уже было не рабочее. Я пытался заснуть опять, но меня опять разбудили, на этот раз выстрелом из пистолета во втором этаже. А через минуту, смотрю, на меня летит саквояж и застревает в ветвях моего апельсинного дерева. Я встаю и думаю: уж не чемоданный ли дождь? Но тут со всего города сбежалась полиция, армия в орденах и медалях, наскоро приколотых к пиджамам, с обнаженными ножиками, и я предпочел затаиться под тенью благодетельных бананов. Там я просидел около часа, к этому времени все успокоилось. И тогда, мой милый Гудвин, — простите, пожалуйста, — я видел, как вы пробрались в сад и тихомолком сорвали с апельсинного дерева этот спелый, сочный саквояж. Я поплелся за вами и видел, как вы внесли его к себе в дом. Чтобы одно-единственное апельсинное дерево в один сезон принесло такой огромный урожай — сто тысяч долларов чистого дохода — это ли не рекорд для фруктовой промышленности?

В то время я был еще джентльменом и, конечно, не сказал никому ни слова. Но сегодня меня выгнали из питейной, у меня нет больше ни чести, ни совести; сегодня я продал бы за рюмку коньяку молитвенник моей матери! Я не ставлю вам тяжелых условий... Я прошу только тысячу долларов за то, что во время всей вашей кутерьмы я спал непробудным сном и ничего не видел.

Гудвин распечатал еще два письма и сделал на них карандашные пометки. Потом он кликнул секретаря.

— Мануэль!

Секретарь мгновенно появился.

— Когда отходит “Ариэль”? — спросил Гудвин.

— Сеньор, — ответил молодой человек, — сегодня в три. Он зайдет еще в порт Соледад за дополнительным грузом, а оттуда прямо в Новый Орлеан.

— Вуено, — сказал Гудвин. — Эти письма могут подождать.

Секретарь снова удалился под манговое дерево к своей папиресе.

— Круглым счетом, — спросил Гудвин, глядя прямо в лицо Вельзевулу, — сколько денег вы должны в этом городе, не считая тех, которые вы “брали взаймы” у меня?

— Долларов пятьсот приблизительно, — ответил, не задумываясь, Блайт.

— Ступайте в город и составьте там точный список всех ваших долгов. Этот список принесите мне через два часа, и я пошлю Мануэля с деньгами, чтобы он заплатил все до последнего гроша. Я также распоряджусь, чтобы вам купили приличный костюм. Вы уедете на “Ариэле” в три. Мануэль проводит вас к самому судну, и, перед тем как оно тронется в путь, он вручит вам тысячу долларов. Но, надеюсь, вы понимаете сами, что за это...

— Вполне понимаю! — весело выкрикнул Блайт. — Всю ту ночь я проспал без просыпу под апельсинным деревом мадамы Ортис и теперь должен навеки отряхнуть от себя прах Коралио. Не беспокойтесь, я выполню свое обязательство честно. Лотоса мне больше не есть. Ваше предложение отличное, и сами вы отличный человек и дешево отделились. Я подчиняюсь всем вашим условиям. Но куда... у меня страшная жажда... и, милый Гудвин...

— Не дам ни реала, — твердо сказал Гудвин, — куда вы не сядете на пароход. Если вам дать деньги сейчас, вы через полчаса так напьетесь...

Но тут Гудвин всмотрелся в покрасневшие глаза Вельзевула, увидел, как дрожат у него руки и какой он весь расхля-

банний. Он шагнул через стеклянную дверь террасы в столовую и вынес оттуда стакан и графинчик водки.

— Выпейте покуда, на дорогу! — сказал он, угощая шантажиста, как своего лучшего друга.

У Блайта-Вельзевула даже глаза заблестели при виде той благодати, по которой все утро томилась его душа. Сегодня в первый раз его отравленные нервы не получили той установленной дозы, которая была им нужна. И в отместку они мучили его жестоко. Он схватил графин, и хрустальное горлышко застучало об стакан в его дрожащих руках. Он налил полный стакан и встал навывтяжку, держа стакан перед собою в руке. На минуту ему удалось высунуть голову из заливающих его губительных волн. Он небрежно кивнул Гудвину, поднес стакан ко рту и пробормотал. “Ваше здоровье”, соблюдая древний ритуал своего потерянного рая. А потом, так внезапно, что вино расплескалось у него по руке, он отставил стакан, не отпив ни единого глотка.

— Через два часа, — прошептал он Гудвину сухими губами, сходя вниз по ступенькам и направляя стопы свои в город.

Дойдя до тенистой банановой рощи, Вельзевул остановился и ту же затянул пояс.

— Этого я сделать не мог, — лихорадочно сказал он, обращаясь к верхушкам банановых деревьев. — Хотел, но не мог. Джентльмен не может пить с человеком, которого он шантажирует.

## XII БАШМАКИ

Джон де Граффенрид Этвуд обедался лотосом сверх всякой меры: ел корни, стебли и цветы. Тропики околдовали его. С энтузиазмом принялся он за работу, а работа у него была одна: забыть во что бы то ни стало Розину.

Те, кто обедаются лотосом, никогда не вкушают его без приправы. А приправа к нему — подливка *au diable*, и изготовляют ее водочные заводы. Все вечера Джонни и Билли Кьюу проводили за бутылкой на террасе консульского домика, так громко распевая непристойные песни, что прохожие туземцы только пожимали плечами и бормотали что-то по поводу “*Americanos diablos*”.

Однажды слуга принес Джонни почту и положил ее на стол. Джонни протянул руку с гамака и меланхолически взял четыре или пять писем. Кьюу сидел на столе и от нечего делать отрубал разрезным ножом ноги у большой сороконожки, которая ползла среди бумаг. Джонни находился в той стадии объедения лотосом, когда все слова отдают горечью.

— Все то же!.. — роптал он. — Идиоты! Пишут мне письма, задают вопросы об этой стране. Все желают узнать, как им устроить плантации и как нажать миллионы, не затрачивая никакого труда. Многие даже марок на ответ не прилагают. Они думают, у консула нет другого дела, как только писать им письма. Распечатайте конверты, мой милый, и прочитайте, в чем дело, а мне что-то лень.

Кьюу, который так обжился среди тропиков, что они уже не могли испортить ему настроения, придвинул стул к сто-

лу и с покладистой улыбкой на румянном лице стал разбирать корреспонденцию консула. Четыре письма были из разных концов Соединенных Штатов, от лиц, очевидно, смотревших на консула в Коралио как на некий энциклопедический словарь. Они присылали ему длинные столбцы всевозможных вопросов — каждый вопрос за особым номером — и требовали сведений о климате, естественных богатствах, статистических данных, возможностях, законах и перспективах страны, где консул имел честь быть представителем их государства.

— Каждому напишите, пожалуйста, Билли, — сказал апатично консул, — одну строчку, не больше: “Смотрите последний отчет коралийского консульства”. Да прибавьте, что всякие беллетристические подробности им с радостью сообщат в государственном департаменте. И подпишите мое имя. Вот и все. И, пожалуйста, не скрипите пером: это не дает мне заснуть.

— Если вы не будете храпеть, — сказал благодушный Кьюу, — я сделаю за вас всю работу. Вам нужен целый штат секретарей, я и вообразить не могу, как вы справились с вашим отчетом. Проснитесь на минуту! Вот еще одно письмо — оно из вашего родного города, из Дэйлсбурга.

— Да? — протянул Джонни, обнаруживая снисходительное любопытство. — О чем оно?

— Пишет почтмейстер, — пояснил Кьюу. — Он говорит, что один из его сограждан хотел бы воспользоваться вашими советами и опытом. Этот человек не прочь приехать сюда, чтобы открыть здесь башмачный магазин. И ему хотелось бы знать, выгодное ли это предприятие. Он, видите ли, слышал, что для наживы тут места благодатные, и хочет воспользоваться.

Джонни жестоко страдал от жары, состояние духа у него было убийственное, и все же его гамак так и затрясся от хохота. Кьюу тоже не мог удержаться от смеха; и ручная обезьяна, сидевшая на самой верхней книжной полке, тоже отнеслась иронически к этому письму из провинции: захихикала пронзительным голосом.

— Боже милосердный! — крикнул консул. — Башмачный магазин! Что еще придумают эти ослы? Мастерскую меховых изделий? Ну-ка, Билли, скажите на милость, сколько человек из наших трех тысяч жителей когда-нибудь надевали башмаки, а?

Кьюу задумался.

— Сколько человек? Погодите... Вы да я...

— Нет, не я! — сказал Джонни и вытянул ноги, облаченные в истоптанные туфли. — Я не был жертвой башмаков уже несколько месяцев.

— Но все же у вас они есть, — возразил Кьюу. — Дальше: Гудвин, Бланшар, Джедди, старый Лютц, доктор Грэгг, и этот... как его? итальянец... агент по закупке бананов... и старик Дельгадо... впрочем, нет, он носит сандалии. Ну, кто еще? Мадам Ортис, хозяйка гостиницы. На вчерашней baile<sup>1</sup> я видел у нее на ногах красивые козловые туфельки. И ее дочка, мисс Паса... ну та училась в Штатах и знает, что такое культурная обувь... Кто же еще? Сестра comandante; по большим праздникам она действительно носит ботинки. И миссис Джедди: у нее номер тридцать третий, с высоким подъемом. А больше, кажется, нет никого. Стойте, а солдаты? Впрочем, нет, им обувь полагается только в походе, а в казармах они все босиком.

— Правильно, — согласился консул. — Из трех тысяч человек едва ли двадцать чувствовали когда-нибудь прикосновение кожи к ногам. О да! Коралио самое подходящее место для продажи обуви... если, конечно, торговец не желает расстаться со своим товаром. Нет, это, должно быть, написано в шутку. Просто дядя Паттерсон хотел рассмешить меня. Он всегда считал себя большим остряком. Напишите ему письмо, Билли, я продиктую. Мы покажем ему, что мы тоже умеем шутить!

Кьюу обмакнул перо и стал писать под диктовку Джонни. Были большие паузы, бугылка и стаканы путешествовали от одного к другому, и в результате получилось такое послание:

<sup>1</sup> Танцевальная вечеринка (исп.).

*“Мистеру Обедая Паттерсону,  
Дэйлсбург, штат Алабама.*

Милостивый государь,

В ответ на ваше уважаемое письмо от 2 июня с. г. честь имею уведомить вас, что, по моему убеждению, на всем земном шаре нет другого места, где первоклассная обувная торговля имела бы больше шансов на успех, чем именно город Коралио. В этом городе 3000 жителей, и ни одного магазина обуви! Положение говорит само за себя. Наше побережье понемногу становится ареной деятельности предприимчивых коммерсантов, но, к великому сожалению, башмачное дело до сих пор не привлекло никого. Подавляющее большинство обитателей города до сих пор обходится без обуви.

Но эта нужда не единственная. Есть много других неудовлетворенных потребностей. Настоятельно необходимы: пивоваренный завод, институт высшей математики, уголь для отопления домов, а также кукольный театр с участием Панча и Джуди<sup>1</sup>

Остаюсь

ваш покорный слуга

*Джон де Граффенрид Этвуд,  
Консул Соединенных Штатов  
в Коралио!*

Р. С. Дядя Паттерсон, ау! Наш городишко еще не провалился сквозь землю? Что бы делало правительство без нас с вами? Ждите, на днях я пришлю вам попугая с зеленой головкой и пучок бананов.

Ваш старый приятель

*Джонни”.*

— Я сделал эту приписку, чтобы дядюшка не принял мое послание всерьез и не обиделся бы за официальный тон. Теперь, Билли, запечатайте письма и дайте их Панчо: пусть

<sup>1</sup> Панч и Джуди — популярные герои английского национального кукольного театра, Панч во многом сходен с Петрушкой.

отнесет на почту. Завтра “Ариадна” увезет почту, если успеет сегодня закончить погрузку.

Вечерняя программа Коралио — всегда одна и та же. Развлечения снотворны и скучны. Люди слоняются без цели, босые, вяло болтают друг с другом. В зубах у них сигара или папираса. Глядя вниз на слабо освещенные улицы, можно подумать, что там беспорядочно движутся черномазые призраки и спятившие с ума светляки. Треньканье заунывной гитары усугубляет ночную тоску. Гигантские лягушки сидят на деревьях и квакают оглушительно, как трещотки в негритянском оркестре. Около десяти часов на улицах уже нет никого.

В консульстве царила такая же рутинка. Каждый вечер появлялся Кьюу — посидеть в самом прохладном месте города, на веранде консульского дома.

Графинчик водки скоро приходил в движение, и около полуночи в сердце изгнанника-консула начинали пробуждаться сентименты. Тогда он излагал Кьюу свою любовную историю, завершившуюся таким печальным концом. И каждый вечер Кьюу безропотно выслушивал друга, не уставая выражать ему сочувствие.

Свои lamentации Джонни неизменно заканчивал так:

— Но, ради бога, не думайте, что у меня сохранились какие-нибудь чувства к этой девушке. Я никогда не вспоминаю о ней. Мне нет до нее дела. Если бы она сейчас вошла в эту дверь, пульс у меня бился бы так же спокойно. Это все в прошлом.

— Еще бы! — отвечал Кьюу. — Не сомневаюсь, что вы забыли ее. Таких и надо забывать. С ее стороны было даже совсем некрасиво поддаться на удочку этого грубияна... Динка Поусона.

— Пинка Доусона! — произносил Джонни тоном величайшего презрения. — Ничтожество. Я считаю его полным ничтожеством. Но у него была земля, пятьсот акров, и потому его сочли достойным. Погодите, я еще с ним сквитаюсь. Кто такие Доусоны? Никто. А Этвуды известны по всей Ала-

баме. Скажите, Билли, знаете ли вы, что моя мать — урожденная де Граффенрид?

— Нет, — отвечал неизменно Кью. — Неужели?

Он слышал об этом обстоятельстве никак не меньше трехсот раз.

— Факт! Де Граффенрид из округа Хэнкок... Но об этой девушке я больше не думаю. Я выкинул ее из головы. Не так ли, Билли?

— Так, так, — поддакивал Кью, и это было последнее, что слышал победитель Кулидона.

На этой реплике Джонни обычно погружался в легкий сон, а Кью покидал террасу и брел через площадь в свою хижину под тыквенным деревом.

Через два-три дня коралийские изгнанники забыли письмо почтмейстера. Забыли они и свой забавный ответ на него. Но двадцать шестого июня плод этого ответа появился на древе событий.

В коралийские воды прибыл пароход "Андадор", совершавший регулярные рейсы. Он стал на якорь за милю от города. Побережье было усеяно зрителями. Карантинный доктор и таможенные отбыли в шлюпке на судно.

Через час Билли Кью вошел в консульство, сверкая белоснежным костюмом и ухмыляясь, как довольная акула.

— Что я вам скажу? Угадываете? — сказал он консулу, разлегшемся в гамаке.

— Куда там угадывать в такую жару, — лениво промямлил консул.

— Приехал ваш человек с сапогами, тот самый, — медленно заговорил Кью, с удовольствием ворочая на языке этот сладкий леденец. — И привез с собой столько сапог, что хватило бы на весь континент — до Огненной Земли. Сейчас их перевозят на таможню. Шесть лодок, переполненных доверху, уже привезли и уехали за новой партией. Святители небесные! Вот будет дело, когда он поймет вашу шутку и придет побеседовать с вами, мистер консул. Стоило прокорпеть в тропиках девять лет, чтобы дожидаться такого веселого зрелища.

Кью любил веселиться с комфортом. Он выбрал чистое место на коврике и повалился на пол. Стены дрожали от его удовольствия.

Джонни повернулся к нему и, мигая глазами, сказал:

— Неужели нашелся такой идиот, который принял мое письмо всерьез?

— Товару на четыре тысячи долларов! — захлебывался Кью в экстазе. — Привез бы уголь в Ньюкасл! Или пальмовые веера на Шпицберген. Я видел старого чудака на взморье. Посмотрели бы вы на него, когда он вздел себе на нос очки и разглядывал босые ноги туземцев. Пятьсот человек, и все босиком!

— И это правда? — спросил консул слабым голосом.

— Правда? Вы посмотрели бы, какую дочку привез с собой этот околпаченный гражданин. Красота! Рядом с нею кирпичные лица наших сеньорит показались черными, как вакса.

— Дальше! Рассказывайте дальше, — сказал Джонни, — если только вы способны прекратить ваше ослиное ржанье. Терпеть не могу, когда взрослый человек гогочет, как гиена!

— Зовут его Гемстеттер, — продолжал Кью. — Он... ах, что это с вами?

Джонни стукнул подошвами об пол и выкарабкался из гамака.

— Да встаньте вы, идиот, — закричал он в сердцах, — или я разможу вам голову этой чернильницей! Ведь это Розина и ее отец. Ах, боже мой, что за болван этот старый почтмейстер! Ну встаньте же, Билли Кью, и помогите мне. Что же нам делать? Или весь мир сошел с ума?

Кью поднялся и стряхнул с себя пыль. Кое-как ему удалось придать себе благопристойный вид.

— Нужно что-нибудь предпринять, Джонни, — сказал он, с трудом переходя на серьезный тон. — Я ведь не думал, что это ваша возлюбленная. Раньше всего нужно найти им квартиру. Вы идите на берег, встречайте гостей, а я сбегаю к Гудвину может быть, миссис Гудвин приютит их у себя. Ведь у них лучший дом во всем Коралио.



— Милый Билли! — сказал консул. — Я знал, что вы не оставите меня. Наступил конец света, в этом нет никакого сомнения, но попробуем отсрочить катастрофу... на день или на два.

Кью раскрыл зонтик и направился к дому Гудвина. Джонни надел пиджак и шляпу. Он схватил было графинчик с водкой, но поставил его снова на стол, не отпив ни глотка, и смело двинулся к берегу.

Он нашел мистера Гемстеттера и его дочь в холодке, у таможенных. Окружавшая их толпа молча глазела на них. Таможенные чиновники кланялись и расшаркивались, в то время как капитан "Андадора" переводил им, с какой целью эти люди приехали в Коралио. Розина была, по-видимому, в полном здоровье, она с веселым интересом рассматривала все вокруг. Все было так ново! Ее круглые щечки чуть-чуть покраснели, когда она увидела своего бывшего поклонника. Мистер Гемстеттер пожал ему руку весьма дружелюбно. Это был пожилой человек без всяких житейских талантов, один из тех многочисленных неудачников, дельцов-непосед, которые никогда не бывают довольны и вечно мечтают о чем-нибудь новом.

— Очень рад вас видеть, милый Джон. Можно называть вас просто Джоном! — сказал он. — Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы так скоро ответили на запрос нашего почтмейстера. Он был очень любезен, — предложил хлопотать обо мне. Он знал, что я ишу себе такое дело, где прибыль была бы побольше. Я читал в газетах, что здешние места привлекают много капиталов. Спасибо за ваш совет. Я продал все, что имел, и купил вот эти башмаки. Хорошие башмаки, первый сорт. Живописный у вас городишко, Джон! Я надеюсь, что дела у меня пойдут превосходно. Судя по вашему письму, спрос на обувь здесь будет огромный.

Страдания злополучного консула вскоре, к счастью, прекратил Кью, появившийся с известием, что миссис Гудвин будет очень рада предоставить комнаты в своем доме мистери Гемстеттеру и его дочери. Туда-то и были отведены ново-приезжие. Там их и оставили: пусть отдыхают с дороги.

Консул пошел последить, чтобы обувь пока что, в ожидании досмотра, убрали в таможенный склад. Кью, улыбаясь, как акула, побежал по городу, разыскивать Гудвина и внушить ему, чтобы он не открывал своему гостю, каковы истинные перспективы башмачной торговли в Коралио, пока Джонни не придумает что-нибудь, чтобы спасти положение, если это вообще возможно.

Вечером у Кью с консулом состоялся на подветренной террасе отчаянный военный совет.

— Отправьте их домой, — начал Кью, читая у консула в мыслях.

— Отправил бы, — сказал Джонни помолчав, — только, Билли, дело в том, что я все это время безбожно обманывал вас.

— Это ничего, — сказал покладистый Кью.

— Я говорил вам сто раз, — медленно продолжал Джонни, — что я забыл эту девушку, выбросил ее из головы.

— Триста семьдесят пять раз вы говорили об этом, согласился монумент терпения.

— Я лгал, — повторил консул, — я лгал каждый раз. Я не забывал ее ни на секунду. Я был упрямый осел: убежал черт знает куда лишь потому, что она мимоходом сказала "нет". И, как спесивый болван, не хотел вернуться. Но сегодня я обменялся с нею двумя-тремя словами у Гудвина и узнал одну вещь. Вы помните этого фермера, который волочился за нею?

— Динка Поусона?

— Пинка Доусона. Он для нее — ноль. Она, оказывается, не верила его рассказам обо мне. Но все равно, я погиб. Это дурацкое письмо, которое мы с вами сочинили тогда, расстроило все мои шансы. Она с презрением отвернется от меня, когда узнает, что я сыграл такую жестокую шутку над ее старым отцом, — шутку, не достойную самого глупого школьника. Башмаки! Боже мой, да сиди он здесь двадцать лет, он не продаст и двадцати пар башмаков. Напяльте-ка башмаки на караиба или на чумазого испанца — и что сделают эти люди? Встанут на голову и будут визжать, пока

не стряхнут их. Никогда не носили они башмаков и не будут носить. Если я пошлю их домой, я должен буду рассказать им всю историю, и что подумает Розина обо мне? Я люблю эту девушку больше прежнего. Билли, и теперь, когда она тут, в двух шагах, я теряю ее навеки лишь потому, что я попробовал шутить, когда термометр показывал сто два градуса.

— Не падайте духом! — сказал оптимист Кьюу. — И пусть они откроют магазин. Я недаром поработал нынче. На первое время мы можем устроить бум. Чуть откроется магазин, я пойду и куплю шесть пар. Я уже говорил кое с кем и объяснил им, какая случилась катастрофа, и все наши накупят себе столько башмаков, как будто они стоножки. Франк Гудвин купит целый ящик или два. Джедди покупают одиннадцать пар. Клэнси вложит в это дело всю свою недельную выручку, и даже старый доктор Грэгг готов купить три пары туфель из крокодиловой кожи, если у них найдется достаточно большой размера. Бланшпар видел мельком мисс Розину Гемстетгер, и, так как он француз, он потребует не меньше двенадцати пар.

— Десяток покупателей, — сказал Джонни, — а товару на четыре тысячи долларов. Это не годится. Тут нужны широкие масштабы. Идите, Билли, домой и оставьте меня одного. Мне нужно подумать. И прихватите с собою этот коньяк, да, да, без разговоров! Больше консул Соединенных Штатов не выпьет ни капли вина. Я буду сидеть всю ночь и думать. Если есть в этом деле какая-нибудь зацепка, я найду ее. Если нет, на совести роскошных тропиков прибавится еще одна гибель.

Кьюу ушел, видя, что он больше не нужен. Джонни разложил на столе три или четыре сигары и растянулся в кресле. Когда внезапно на землю пал тропический рассвет и посеребрил морские струи, консул все еще сидел за столом. Потом он встал, насвистывая какую-то арию, и принял ванну.

В девять часов утра он направился в грязную почтово-телеграфную контору и провозился больше получаса с блан-

ком. В результате получилась следующая каблограмма, которую он подписал и отправил, заплатив тридцать три доллара:

*"П. Доусону,*

*Дэйлсбург, Алабама.*

Сто долларов посланы вам почтой. Пришлите мне немедленно пятьсот фунтов крепких колючих репейников. Здесь большой спрос. Рыночная цена двадцать центов фунт. Возможны дальнейшие заказы. Торопитесь".

### ХШ КОРАБЛИ

В течение ближайшей недели на Калье Гранде было найдено отличное помещение для магазина. Мистер Гемстеттер снял его за довольно дешевую плату и разложил всю свою обувь на полках. Магазин украсился изящными белыми коробками, выглядевшими очень заманчиво.

Друзья Джонни постояли за него горой. В первый день Кьюо заглядывал в магазин как бы мимоходом каждый час и покупал башмаки. После того как он купил башмаки на резинках, башмаки на шнурках, башмаки на пуговках, башмаки с гетрами, башмаки для тенниса, башмаки для танцев, туфли всевозможных цветов и оттенков и вышитые ночные туфли, он кинулся разыскивать Джонни — спросить у него, какие сорта обуви существуют еще, дабы закупить и их. Столь же благородно сыграли свою роль остальные: покупали часто и помногу. Кьюо руководил операциями и распределял клиентов так, чтобы растянуть торговлю на несколько дней.

Мистер Гемстеттер был доволен, но его смущало одно: почему никто из туземцев не приходит покупать башмаки?

— Ах, они такие застенчивые, — говорил Джонни, нервно вытирая лоб. — Дайте им немного попривыкнуть. От них отбою не будет; раскупят весь товар моментально.

Однажды предвечерней порой в конторе консула появился Кьюо, задумчиво пожевывая кончик не зажженной сигары.

— Ну, придумали какой-нибудь фокус? — спросил он Джонни. — Если придумали, то сейчас самое время пока-

зать его. Если вы сумеете взять у одного из зрителей шляпу и вынуть оттуда несколько сот покупателей, которые желают купить башмаки, действуйте немедленно. Мы все «накупили себе столько обуви, что хватит на десять лет. Теперь в башмачном магазине затишье, dolce far niente<sup>1</sup>. Я сейчас оттуда. Ваша жертва — почтенный Гемстеттер — стоит у порога и с изумлением взирает сквозь очки на босые ноги, проходящие мимо его магазина. У этих туземцев наклонности чисто художественные. Сегодня утром мы с Клэнси за два часа сфотографировали восемнадцать человек. А башмаков за весь день продана одна пара. Ее купил Бланшар. Ему показалось, что в магазине дочь хозяина. Он вошел и купил комнатные туфли, меховые. Потом я видел, как он размахнулся и швырнул их в залив.

— Завтра или послезавтра придет фруктовый пароход из Мобила, — сказал Джонни. — А до той поры нам делать нечего.

— Но что вы намерены делать? Создать спрос?

— Много вы понимаете в политической экономии, — ответил консул довольно невежливо. — Спроса создать нельзя. Но можно создать условия, которые вызовут спрос. Вот этим-то я и занят.

Через две недели после того как консул послал каблогамму, в Коралио прибыл фруктовый пароход и привез консулу огромный серый тюк, наполненный чем-то загадочным. Так как консул был официальное лицо, таможенные сделали ему поблажку и не распаковали тюка. Тюк был доставлен к нему в контору и с комфортом водворен в задней комнате.

Вечером консул сделал в холсте надрез, сунул туда руку и вытащил горсть репейников. Долго он осматривал их, как воин осматривает оружие, перед тем как ринуться в бой за жизнь и любимую женщину. Репейники были первого сорта, августовские, крепкие, как лесные орехи. Они были покрыты колючей и прочной щетиной, словно стальными

<sup>1</sup> Блаженное безделье (итал.).

иголками. Джонни тихонько засвистал какую-то арию и отправился к Билли Кью.

Позже, когда Коралио погрузился в сон, консул и Билли прокрались на опустелые улицы. Их пиджаки раздувались наподобие воздушных шаров. Медленной поступью прошли они по Калье Гранде, засеяв пески колючками; тщательно обработали боковые дорожки, не пропустили и травы меж домами: засеяли каждый фут. Потом проследовали в боковые улицы, не пропустив ни одной. Не забыто было ни одно место, куда могла ступить нога мужчины, женщины или ребенка. Не раз возвращались они в консульство за пополнением колючих запасов. Лишь на рассвете, вернувшись домой, они с чистым сердцем легли почивать, как великие полководцы накануне сражения, после того как, работав план кампании, они видят, что победа обеспечена.

Когда встало солнце, на базарную площадь пришли торговцы, продававшие фрукты и мясо, и разложили свои товары в здании рынка и на окружавшей его галерее. Базарная площадь была почти на самом морском берегу, так далеко сеятеля колючек не заходили. Наступил установленный час, а покупателей не было. Еще полчаса — никого! "Que hay?"<sup>1</sup> — стали они восклицать, обращаясь друг к другу.

Между тем в обычное время из каждого глинобитного домика, каждой пальмовой лачуги, каждого ратио выпорхнули женщины, черные женщины, коричневые женщины, лимонно-желтые женщины, каштановые женщины, краснокожие женщины, загорелые женщины. Все они стремились на рынок — купить для своей семьи кассаву, бананы, мясо, кур и маисовых лепешек. Все они были декольте, с голыми руками, босыми ногами, в юбках чуть ниже колен. Скудоумные и волоокие, они отошли от дверей и зашагали по узким тротуарам или посреди улицы по мягкой траве.

Вдруг самая первая издала странный писк и высоко подняла ногу. Еще немного, и несколько женщин сразу так и се-

ли на землю с пронзительными воплями испуга, — поймать ту опасную, неведомую тварь, которая кусает их за ноги. "Que picadores diablos!"<sup>1</sup> — визжали они, переключаясь друг с другом через узкую улицу. Некоторые перебежали с дорожек на траву, но и там их кусали и жалили непонятные колючие шарики. Они тоже повалились на землю, и их причитания слились с причитаниями тех, что сидели на песчаных тропинках. Весь город наполнился женским вьтсьем. А торговцы на рынке все гадали, почему не идут покупатели?

Вот на улицу вышли владыки земли, мужчины. Они тоже начали прыгать, танцевать, приседать и ругаться. Одни, словно лишившись рассудка, остановились как вкопанные, другие нагнулись и стали ловить ту нечисть, которая кусала им пятки и щиколотки. Некоторые во всеуслышание заявляли, что это ядовитые пауки новой, неизвестной породы.

А вот хлынули на улицу дети — порезвиться с утра на воле. И тут к общему гаму прибавился вой уязвленных и захромавших младенцев. Жертвы множилось с каждой минутой.

Донна Мария Кастильяс-и-Буэнвентура-де-лас-Касас вышла, как всегда по утрам, из своего почтенного дома купить в *panaderia* напротив свежего хлеба. На ней была золотистая атласная юбка, вся в цветочках, батистовая сорочка, вся в складочках, и пурпурная мантилья из Испании. Ее лимонно-желтые ноги были, увы, босы. Поступь у нее была величавая, ибо разве ее предки не чистокровные арагонские гидальго? Три шага она сделала по бархатным травам и вдруг наступила аристократической пяткой на одну из колючек Джонни. Донна Мария Кастильяс-и-Буэнвентура-де-лас-Касас завизжала, как дикая кошка. Упав на колени, упираясь руками в землю, она поползла — да, поползла, как животное, — назад, к своему почтенному дому.

Дон сеньор Ильдефонсо Федерико Вальдасар, мировой судья, весом в двадцать английских стон<sup>2</sup>, повлек свое груз-

1 Что случилось? (исп.)

1 Какие колючие дьяволы! (исп.)

2 То есть больше ста килограммов.

ное туловище на площадь в пульверию — утолить утреннюю жажду. С первого же шага его незащищенная нога наткнулась на скрытую мину. Дон Ильдефонсо рухнул, как обвалившийся кафедральный собор, крича, что его насмерть укусил скорпион. Всюду, куда ни глянь, прыгали безбашмачные граждане, дрыгая ногами и отрывая от пяток ядовитых насекомых, которые появились в одну ночь неизвестно откуда и доставили им столько хлопот.

Первый, кто догадался, как спастись от беды, был парикмахер Эстебан, человек бывалый и ученый. Сидя на камне и вынимая у себя из большого пальца занозы, он произнес такую речь:

— Посмотрите, милые друзья, на этих клопов сатаны. Я знаю их отлично. Они летают в небе, как голуби, стаями... Живые улетели, а мертвые засыпали своими телами наш город. Это еще мелочь, а в Юкатане я видел вот таких, величиной с апельсин. Да! Там они шипят, как змеи, а крылья у них, как у летучей мыши. От них одно спасение — башмаки. Zapatos — zapatos para mí! — Эстебан заковылял к магазину Гемстеттера и купил себе пару ботинок. Выйдя оттуда, он гордо зашагал по улицам, не боясь ничего и громко понося сатанинских клопов. Пострадавшие либо сидели, либо стояли на одной ноге и смотрели на счастливец — парикмахера. Женщины, мужчины и дети — все подхватили клич:

— Zapatos! Zapatos!

Условия, порождающие спрос, были созданы. Спрос не замедлил последовать. В этот день мистер Гемстеттер продал триста пар башмаков.

— Удивительно, — сказал он консулу, который заглянул к нему вечером помочь ему навести порядок в магазине, — какое внезапное оживление торговли. Вчера я продал всего три пары.

— Я говорил вам, что если уж они начнут покупать, от них буквально не будет отбоя.

— Завтра же выпишу еще ящиков десять, не меньше, в запас, — сказал Гемстеттер, сияя сквозь очки. — Чтобы, знаете, не остаться вдруг без товара.

— Я бы не советовал, — сказал Джонни. — Не нужно торопиться. Посмотрим, как пойдет торговля дальше.

Каждую ночь Джонни и Кьюо бросали в землю семя, всходившее поутру долларами. Через десять дней в магазине Гемстеттера разошлось две трети товара; репейник у Джонни разошелся весь без остатка. Джонни выписал от Пинка Доусона еще пятьсот фунтов по двадцати центов за фунт. Мистер Гемстеттер выписал еще башмаков на полторы тысячи долларов от северных фирм. Джонни околачивался в магазине, чтобы перехватить заказ, и уничтожил его прежде, чем он поступил на почту.

В этот вечер, он ушел с Розиной под то манговое дерево, что росло у террасы Гудвина, и рассказал ей все. Она посмотрела ему прямо в глаза и сказала:

— Вы очень нехороший человек. Мы с папой сейчас же уедем домой. Вы говорите, что это была шутка? По-моему, это очень серьезное дело!

Но через полчаса тема их беседы изменилась. Они горячо обсуждали вопрос, какими обоями — розовыми или голубыми — лучше украсить колониальный дом Этвудов в Дэйлсбурге после их свадьбы.

На следующее утро Джонни покаялся перед мистером Гемстеттером. Сапожный торговец надел очки и сказал:

— Вы большой негодяй, молодой человек. Таково мое мнение. Хорошо, что я, как опытный делец, поставил все дело на солидную ногу, а не то я был бы банкротом. Что же вы предлагаете сделать теперь, чтобы распродать оставшееся?

Когда прибыла новая партия репейников, Джонни нагрузил ими шхуну, захватил оставшуюся обувь и направился вдоль берега в Аласан.

Там таким же дьявольским манером он устроил свое темное дело и вернулся с туго набитым бумажником и без единого башмачного шнурка.

После этого он упробил своего великого Дядюшку, щеголяющего в звездном жилете и трясущего козлиной бород-

кой<sup>1</sup>, принять его отставку, так как лотос уже не прельщал его. Он мечтал о шпинате и редиске с огородов Дэйлсбурга.

Временно замещающим должность консула Соединенных Штатов был назначен, по совету Джонни, мистер Уильям Теренс Кью, и вскоре Джонни отплыл с Гемстетгерями к берегам своей далекой отчизны.

Кью принял свою синекуру с той легкостью, которая никогда не покидала его даже на высоком посту. Его фотографическая мастерская вскоре прекратила свое бытие, хотя следы ее смертоносной работы никогда не изгладились на этих мирных, незащищенных берегах. Компаньонам не сиделось на месте. Они снова готовы были пуститься в погоню за быстроногой Фортуной. Но теперь дороги у них были разные. Воинственный Клэнси прослышал о том, что в Перу готовится восстание, и жаждал направить туда свой предприимчивый шаг. А Кью — у того созрел и уже уточнялся на официальных бланках консульства новый план, перед которым работа по искажению человеческих лиц совершенно стухивывалась.

— Мне бы, — часто говорил Кью, — подошло какое-нибудь этакое дельце, не скучное, и чтобы казалось труднее, чем есть на самом деле, какое-нибудь деликатное жульничество, еще не настолько разработанное, чтобы его можно было включить в программу заочного обучения. Я не гонюсь за быстрыми доходами, но мне хочется иметь хотя бы столько же шансов на успех, как у того человека, который учится играть в покер на океанском пароходе. А когда я начну считать прибыль, мне совершенно не улыбается найти у себя в кошельке лепты вдовиц и сирот.

Весь земной шар, заросший травой, был тем зеленый стол, за которым Кью предавался азартной игре. Он играл только в те игры, которые сам изобрел. Он не хватался за каждый подвернувшийся под руку доллар, не преследовал его с охотничьим рогом и гончими, но предпочитал ло-

<sup>1</sup> Дядя Сэм — символ Соединенных Штатов. Его принято изображать в виде сухопарого верзилы с длинной бородкой, в жилете, усеянном звездами (национальный флаг).

вить его на блестящую редкостную мушку в водах диковинных рек.

И все-таки он был хороший делец, и его планы, несмотря на всю их фантастичность, были так же всесторонне обдуманы, как планы какого-нибудь строительного подрядчика. Во времена короля Артура сэра Уильяма Кью был бы рыцарем Круглого Стола. В наши дни он разъезжает по свету, но цель его — не Грааль, а Игра.

Через три дня после отъезда Джонни два маленьких парусных судна появились у берегов Коралио. Вскоре одно из них спустило на воду шлюпку, и в ней прибыл загорелый молодой человек. У молодого человека был острый, сметливый глаз; с удивлением осматривал он диковинки, которые видел вокруг. Кто-то на берегу указал ему, где контора консула, и туда он направился нервной походкой.

Кью сидел, развалившись, в казенном кресле, рисуя на кипе казенных бумаг карикатуры на дядюшку Сэма. Когда посетитель вошел, он поднял голову.

— Где Джонни Этвуд? — деловым тоном спросил загорелый молодой человек.

— Уехал, — ответил Кью, тщательно отделявая галстук дядюшки.

— Узнаю моего Джонни! — сказал загорелый, опираясь руками о стол. — Такой он всегда был. Чем заниматься делом, шляется где-нибудь по пустыкам. А скоро он вернется?

Кью подумал и сказал:

— Едва ли.

— Бездельничает, как всегда, — сказал посетитель убежденно добродетельным тоном. — Никогда у него не было выдержки: работать и работать до конца, чтобы добиться успеха. Как же он может вести дело здесь, если он даже в конторе не бывает?

— Теперь это дело поручено мне, — сказал заместитель консула.

— Вам! А, вот оно что! Скажите же мне, где фабрика?

— Какая фабрика? — спросил Кью с учтивым любопытством.

— Да та, где обрабатывают эти репейники! Что с ними там делают, кто его знает. Вот эти два судна доверху набиты репейником, я сам зафрахтовал их. Продам вам всю партию, и дешево. В Дэйлсбурге я нанял всех женщин, мужчин и детей специально для сбора репейника. Собирали целый месяц без отдыха. Все думали, что я сумасшедший. Ну, теперь я могу продать вам всю свою партию по пятнадцати центов за фунт. С доставкой, пересылкой и другими накладными расходами. И если вам нужно еще, мы поднимем на ноги всю Алабаму. Джонни, когда уезжал сюда, обещал мне, что, если наклонится какое-нибудь выгодное дело, он тотчас даст мне знать. Могу ли я подъехать к берегу и разгрузиться?

Огромная, почти невероятная радость засветилась на розовой физиономии Кью. Он уронил карандаш. Его глаза обратились к загорелому молодому человеку, в них отразились и веселье и страх. Он боялся, как бы все это прелестное событие не оказалось сновидением.

— Ради бога, — сказал он взволнованно, — скажите мне: вы Динк Поусон?

— Меня зовут Пинкни Доусон, — ответил король репейного рынка.

В тихом упоении Кью соскользнул с кресла на пол, на свой любимый коврик.

Немного было звуков в Коралио в этот душный и знойный полдень. Среди них мы могли бы упомянуть восторженный и несправедливый хохот простертого на коврике ирландского янки, пока загорелый молодой человек стоит и смотрит на него пронизательным взглядом в великом изумлении и замешательстве. А также топ-топ-топ-топ многих обутых ног, шагающих по улицам. А также тихий шелест волн Караибского моря, омывающего этот исторический берег.

## XIV Художники

Огрызок синего карандаша служил Кью жезлом, с помощью которого он совершал предварительные действия своего волшебства. Зажав его в пальцах, он покрывал бумагу диаграммами и цифрами, выжидая, когда Соединенные Штаты пришлют в Коралио заместителя вышедшему в отставку Этвуду.

Новый план, зародившийся у него в уме, поддержанный его отважным сердцем и зафиксированный его синим карандашом, строился на свойствах и человеческих слабостях нового президента Анчурии. Эти свойства, а также ситуация, из которой Кью надеялся вытянуть золотую дань, заслуживают того, чтобы мы изложили их более подробно, дабы связь событий стала понятнее.

Великие таланты президента Лосады — многие звали его диктатором — были бы заметны даже среди англосаксов, если бы к этим талантам не примешивались другие черты, мелочные и пагубные. Благородный патриот (в духе Георга Вашингтона, которому он поклонялся), он обладал душевными силами Наполеона и в значительной мере — мудростью великих мудрецов. Все это давало бы ему несомненное право именоваться “Достоправным Освободителем Народа”, если бы не его изумительное и несуразное чванство, которое отодвигало его в менее достойные ряды диктаторов.

Правда, он сослужил своей родине великую службу. Могучей дланью он встряхнул ее так, что с нее чуть не спали

оковы оцепенения, лени, невежества. Анчурия чуть было не стала державой, с которой считаются другие нации. Он учреждал школы и больницы, строил мосты и шоссе, строил железные дороги, дворцы. Щедрой рукой раздавал он субсидии для поощрения наук и художеств. Он был абсолютный тиран и в то же время кумир народа. Богатства страны так и текли к нему в руки. Другие президенты грабили без толку. Лосада хоть и стяжал несметные суммы денег, все же некоторую долю уделял и народу.

Его наиболее уязвимым местом была ненасытная жажда монументов, похвал, славословий. В каждом городе он приказал воздвигнуть себе статуи и на пьедесталах высечь слова, восхваляющие его величие. В стены каждого общественного здания вделывались мраморные доски с надписями, повествующими о его великолепном правлении и о благодарности его верноподданных. Статуэтки и портреты президента наполняли всю страну, их можно было видеть в каждом доме, в каждой лачуге. Один из лизоблюдов при его дворе изобразил его в виде апостола Иоанна, с золотым ореолом вокруг головы и целой шеренгой приближенных в полной парадной форме. Лосада не усмотрел в этой картине ничего непристойного и распорядился повесить ее в одной из церквей столицы. Одному французскому скульптору он заказал мраморную группу, где рядом с ним, президентом, стояли Наполеон, Александр Великий и еще два-три человека, которых он счел достойными этой чести.

Он обшарил всю Европу, чтобы добыть себе знаки отличия. Деньги, интриги, политика — все годилось как средство получить лишний орден от королей или правителей. В особо торжественных случаях вся его грудь, от одного плеча до другого, была покрыта лентами, звездами, орденами, крестами, золотыми розами, медалями, ленточками. Говорили, что всякий, кто мог раздобыть для него новую медаль или как-нибудь по-новому прославить его, получал возможность глубоко запустить руку в казначейство республики.

На этом-то человеке и сосредоточились помыслы Кьюу. Благородный разбойник заметил, что на тех, кто льстит непомерному честолюбию Лосады, целыми потоками льется дождь богатых и щедрых милостей. Кто же вправе требовать от него, от Кьюу, чтобы он раскрыл зонтик для защиты от этого ливня!

Вскоре в Коралио прибыл новый консул и освободил Кьюу от временного исполнения обязанностей. Новоприбывший был молодой человек, только что с университетской скамьи, и цель жизни у него была одна: ботаника. Консульская служба в Коралио давала ему возможность изучать тропическую флору. Очки у него были дымчатые, а зонтик зеленый. На прохладной террасе консульства он поместил такое количество всевозможных растений, что не осталось места ни для бутылки, ни для кресла. Кьюу посмотрел на него с тоскою, но без всякой вражды, и начал упаковывать свой чемодан, ибо его новые планы требовали путешествия за море.

Вскоре снова прибыл “Карлсефин” — пароход-бродяга — и стал грузиться кокосовыми орехами для нью-йоркского рынка. Кьюу устроился пассажиром на этот пароход.

— Да, я еду в Нью-Йорк, — говорил он знакомым, собравшимся на берегу проводить его. — Но не успеете вы соскучиться, как я буду здесь опять. Надо же заняться художественным воспитанием этой желто-черно-красной страны. И не такой я человек, чтобы оставить ее в ранних конвульсиях цинкографической стадии.

С этой загадочной декларацией он взшел на пароход.

Через десять дней, дрожа от холода и высоко подняв воротник своего легкого пальто, он ворвался в мастерскую Кэролоса Уайта на верхнем этаже многоэтажного дома на Десятой улице в Нью-Йорке.

Кэролос Уайт курил папиросу и поджаривал на керосиновой печке колбасу. Ему было всего двадцать три года, и его идеи об искусстве были чрезвычайно благородны.

— Билли Кьюу! — вскричал Уайт, протягивая левую руку (в правой была сковородка). — Откуда? Из каких нецивилизованных стран?



— Здравствуй, Кэрри! — сказал Кью, пододвигая стул к печке и грея около нее оковенелые пальцы. — Хорошо, что я разыскал тебя так скоро. Я целый день рылся в телефонных книжках и картинных галереях и ничего не нашел, а в распивочной за углом мне сразу сказали твой адрес. Я был уверен, что ты все еще не бросил своего малевания.

Кью окинул стены мастерской испытующим взглядом.

— Да, ты настоящий художник, — объявил он, несколько раз кивнув головой. — Вот эта картина, большая, в углу, где ангелы, зеленые тучи и фургон с оркестром, превосходно подойдет для нас. Как называется эта картина? “Сцена на Кони-Айленд”<sup>1</sup>?

— Эта? Я хотел назвать ее: “Илья-пророк возносится на небо”, но, может быть, ты ближе к истине.

— Дело не в названии! — философски заметил Кью. — Самое главное — рама и пестрые краски. Теперь я скажу тебе без оговорок, зачем я пришел к тебе. Я проехал на пароходе две тысячи миль, чтобы повлечь тебя в одно предприятие. Чуть только я затеял это дело, я сразу же подумал о тебе. Хочешь поехать со мною, чтобы смастерить одну картину? Работать три месяца. Пять тысяч долларов.

— А какая работа? — спросил Уайт. — Рекламы о средствах для рращения волос? Об овсяной каше?

— Никакой рекламы тебя малевать не заставят!

— Что же это за картина?

— Долго рассказывать.

— Ничего, рассказывай. А я, уж извини, буду следить за колбасой. Чуть она примет ван-дейковский коричневый тон, нужно снимать. Иначе пиши пропало.

Кью рассказал ему весь свой проект. Они должны были поехать в Коралио, где Уайту надлежало разыграть из себя знаменитого американского художника-портретиста, который будто бы разъезжает по тропикам для отдохновения от напряженной и высокооплачиваемой работы. Можно было с уверенностью сказать, что художник с такой репутаци-

<sup>1</sup> Кони-Айленд — остров близ Нью Йорка, где сосредоточены балаганы, качели, американские горы и пр.

ей непременно получит казенный заказ — увековечить на полотне бессмертные черты Лосады — и окажется под тем ливнем червонцев, который обеспечен каждому, кто умеет играть на слабой струне президента.

Кью решил назначить десять тысяч долларов. Случалось, художникам платили за портреты и больше. Расходы по путешествию пополам, все доходы тоже пополам. Такова была схема; он сообщил ее Уайту. С Уайтом он познакомился на Западе еще до того, как один посвятил себя искусству, а другой ушел в бедуины.

Заговорщики покинули мастерскую и заняли уютный уголок в кафе, где и просидели до ночи в обществе старых конвертов и огрызка синего карандаша, принадлежавшего Кью.

Ровно в полночь Уайт скрючился на стуле, положив подбородок себе на кулак, и закрыл глаза, чтобы не видеть безобразных обоев.

— Хорошо, я поеду, Билли, — сказал он спокойно и твердо. — У меня есть две-три сотни, чтобы платить за колбасу и мастерскую, я рискну. Пять тысяч! Эти деньги дадут мне возможность уехать на два года в Париж и на год в Италию. Завтра же начну собираться.

— Ты начнешь собираться через десять минут. Завтра уже наступило. “Карлсефин” отходит в четыре часа. Пойдем в твою красильню, я помогу тебе.

На пять месяцев в году Коралио становится фешенебельным центром Анчурии. Только тогда в городе кипит жизнь. С ноября по март город в сущности является столицей. Там имеет пребывание президент со своей официальной семьей; высшее общество тоже перебирается туда. Люди, живущие в свое удовольствие, превращают весь этот сезон в сплошной праздник: развлечениям и забавам нет конца. Празднества, балы, игры, морские купанья, прогулки, спектакли — все способствует увеселению. Знаменитый швейцарский оркестр из столицы играет каждый вечер на площади, и все четырнадцать карет и экипажей, имеющих в

городе, кружат по улицам в похоронно-медленном, но сладостном темпе. Индейцы, похожие на доисторических каменных идолов, спускаются с гор и продают на улицах свои изделия. Узенькие улочки полны народу — журчащий, беззаботный, веселый поток человечества. Нахальные мальчишки, вся арматура которых состоит из коротенькой туники и золотых крылышек, визжат под ногами кипучей толпы. Особенно помпезно обставлено прибытие в город президента и его приближенных. Это великое торжество начала сезона, и сопровождается оно всегда парадами и патриотическими изъявлениями восторга и преданности.

Когда Кью и Уайт прибыли на “Карлсефине” в Коралию, веселый зимний сезон был уже в полном разгаре. Ступив на берег, они услышали швейцарский оркестр. Деревенские девы, украсив светляками свои черные кудри, уже скользили по тропинкам, босые, с пугливыми взорами. Франты в белых полотняных костюмах, помахивая тросточками, уже начали свою вечернюю прогулку, столь опасную для женских сердец. Человеческое заполнило собою весь воздух: искусственные чары, кокетство, праздность, развлечения — созданный человеком смысл жизни.

В первые два-три дня по прибытии в Коралию Кью и его приятель занялись подготовкой почвы. Кью сопровождал художника во всех его прогулках по городу, познакомил его с маленьким кружком англичан и американцев и всеми возможными способами внушал окружающим, что приезжий — знаменитый художник.

Желая нагляднее показать, что это действительно так, Кью наметил целую программу.

Приятель снял комнату в отеле де лос Эстранхерос. Оба щеголяли в новых костюмах из девственно-чистой парусины, у обоих были американские соломенные шляпы и трости, очень экстравагантного вида и совершенно ненужные. Даже среди пышно-мундирных офицеров анчурийского воинства числилось не много таких *cabaleros* — таких элегантных и непринужденных в обращении джентльме-

нов, как Кью и его друг, великий американский художник сеньор Уайт.

Уайт поставил свой мольберт на берегу и сделал несколько ярких этюдов — моря и гор. Туземцы образовали у него за спиной широкий и болтливый полукруг и следили за работой его кисти. Кью, никогда не пренебрегавший деталями, усвоил себе роль, которую и выдержал до самого конца: он друг великого художника, деловой человек на покое. Эмблемой его положения служил карманный фотоаппарат.

— Как признак дилетанта из высшего общества, — говорил он, — обладателя чистой совести и солидного счета в банке, аппарат забивает даже частную яхту. Человек ничего не делает; шатается по берегу и щелкает затвором, значит — он пользуется большим уважением в денежных кругах. Чуть только он кончает обирать... своих ближних, он — начинает снимать их. Кодак действует на людей больше, чем брильянтовая булавка в галстук или титул.

Таким образом, Кью разгуливал по Коралию и снимал красивые виды и робких сеньорит, а Уайт парил в более высоких эмпиреях искусства.

Через две недели после их прибытия великий план начал осуществляться. К отелю подъехал один из адъютантов президента в великолепной четырехместной коляске. Президент хотел бы, чтобы сеньор Уайт побывал в Casa Morena с неофициальным визитом.

Кью крепко сжал трубку зубами.

— Десять тысяч, ни цента меньше, — сказал он художнику. — Помни свою цену. И, пожалуйста, золотом! Не давай им всучить тебе гнусные бумажки, которые считаются деньгами в здешних местах.

— Может быть, он зовет меня совсем не для этого, — сказал Уайт.

— Еще чего! — сказал Билли с великолепным апломбом. — Уж я знаю, что ему нужно. Ему нужно, чтобы знаменитый американский художник и флибустьер, ныне живущий в его презренной стране, написал его портрет. Собирайся же скорей!

Коляска отбыла вместе с художником. Кью шагал по комнате взад и вперед, выпуская из трубки огромные клубы дыма, и ждал. Через час коляска снова остановилась у двери отеля, оставила Уайта и покатила прочь. Художник взбежал по лестнице, перескакивая через три ступеньки. Кью перестал курить и превратился в молчаливый вопросительный знак.

— Вышло! — крикнул Уайт. Его детское лицо пылало. — Билли, ты просто восторг. Да, ему нужен портрет. Я сейчас расскажу тебе все. Черт возьми! Этот диктатор молодчина! Диктатор до кончиков ногтей. Некая смесь из Юлия Цезаря, Люцифера и Чонси Делью<sup>1</sup>, написанных сепией. Вежливость и мрачность его стиль. Комната, где он принял меня, в десять квадратных акров и напоминает увеселительный пароход на Миссисипи — зеркала, позолота, белая краска. По-английски он говорит лучше, чем я. Зашел разговор о цене. Я сказал: десять тысяч. Я был уверен, что он позовет часовых, прикажет вывести меня и расстрелять. Но у него даже ресницы не дрогнули. Он только махнул своей каштановой ручкой и сказал небрежно: “Сколько скажете, столько и будет”. Завтра я должен явиться к нему, и мы обсудим все детали портрета.

Кью повесил голову. Легко было прочитать на его помятом лице сильнейшие угрызения совести.

— Я провалился, — сказал он печально. — Куда мне братья за такие большие дела? Мое дело продавать апельсины с тележки, для более сложных махинаций я не гожусь. Когда я сказал: десять тысяч, клянусь, я думал, что больше этот черномазый не даст, а теперь я вижу, что из него можно было с тем же успехом выжать все пятнадцать. Ах, Кэрри, отдай старого Кью в уютный и тихий сумасшедший дом, если еще хоть раз с ним случится подобное.

Летний дворец, Casa Morgna, хотя и был одноэтажным зданием, отличался великолепным убранством. Он стоял на невысоком холме в обнесенном стеною роскошном тро-

<sup>1</sup> Чонси Делью (1834–1928) — известный американский адвокат и оратор.

пическом саду на возвышенной окраине города. На следующий день коляска президента снова приехала за живописцем. Кью пошел прогуляться по берегу, где и он и его “коробка с картинками” уже стали обычным явлением. Когда он вернулся в гостиницу, Уайт сидел на балконе в шезлонге.

— Ну, — сказал Кью, — была ли у тебя беседа с его пусто-звонством? Решили, какая мазня ему надобна?

Уайт вскочил с кресла и несколько раз прошелся взад и вперед по балкону. Потом он остановился и засмеялся самым удивительным образом. Он покраснел, и глаза у него блестели сердито и весело.

— Вот что, Билли, — сказал он резко. — Когда ты пришел ко мне в мастерскую и сказал, что тебе нужна картина, я думал, что тебе нужно, чтобы я намалевал где-нибудь на горном хребте объявление об овсянке или патентованном средстве для ращения волос. Так вот, по сравнению с тем, что мне предлагают теперь по твоей милости, это было бы самой возвышенной формой живописи. Я не могу написать эту картину, Билли. Отпусти меня домой. Дай я попробую рассказать тебе, чего хочет от меня этот варвар. У него все уже заранее обдумано, и есть даже готовый эскиз, сделанный им самим. Недурно рисует, ей-богу. Но, музы! послушай, какую чудовищную чепуху он заказывает. Он хочет, чтобы в центре картины был, конечно, он сам. Его нужно написать в виде Юпитера, который сидит на Олимпе, а под ногами у него облака. Справа от него стоит Георг Вашингтон в полной парадной форме, положив руку ему на плечо. Ангел с распростертыми крыльями парит в высоте и возлагает на чело президента лавровый венок, точно он победитель на конкурсе красоток. А на заднем плане должны быть пушки, а потом еще ангелы и солдаты. У того негодяя, который намалевал бы такую картину, не человечья, а собачья душа; единственный достойный удел для него — погрузиться в забвение даже без жестянки, прикрепленной к хвосту и напоминающей о нем своим дребезжанием.

Мелкие бусинки пота выступили у Кью на лбу. Такого оборота огрызок его синего карандаша не предусмотрел.

До сих пор колеса его плана вертелись так гладко, что он чувствовал себя поистине польщенным. Он выволок на балкон еще одно кресло и снова усадил Уайта. Потом с напускным спокойствием закурил свою трубку.

— Ну, сынок, — сказал он нежно и в то же время очень серьезно, — давай поговорим, как художник с художником. У тебя свое искусство, у меня свое. Твое искусство — классическое: не дай бог нарисовать пивную вывеску или, скажем, олеографию “Старая мельница”. А мое искусство — бизнес. Весь этот план — мой. Я разработал его, как дважды два. Малюй этого чудака-президента в виде короля Коля, или в виде Венеры, или в виде пейзажа, или в виде фрески, или в виде букетика лилий, или на что бы он ни считал себя похожим, но малюй и получай монету. Ты не покинешь меня, Кэрри, теперь, когда игра началась. Подумай: десять тысяч.

— Об этом я не забываю, — сказал Уайт, — и это страшно мучает меня. Меня и самого подмывает втоптать в грязь все свои идеалы и опаскудить свою душу малеванием этой картины. Эти пять тысяч долларов означали для меня три года учения в Европе. Ради этого я бы, кажется, продал душу дьяволу.

— Ну зачем же дьяволу? — сказал Кью ласково. — Это чисто деловое предложение. Столько-то красок и времени — столько-то денег. Я не согласен с тобою, что в этой картине совершенно нет места искусству. Георг Вашингтон был вполне порядочный человек, и что можно сказать против ангела? По-моему, группа задумана не так уж плохо. Если ты дашь Юпитеру эполеты и шпагу да сделаешь облака, что висят над его головой, похожими на грядку черной смородины, получится отличная батальная сцена. Конечно, если бы мы заранее не назначили цену, можно было бы спросить с него добавочную тысячу за Вашингтона да за ангела не меньше пятисот.

— Ты ничего не понимаешь, Билли, — сказал Уайт, напряженно смеясь. — У некоторых из нас, художников, такие огромные требования! Я мечтал о том, что когда-нибудь лю-

ди станут перед моей картиной и забудут, что она написана красками. Картина проникнет им в душу, как музыка, и засядет там, как мягкая пуля. Люди отойдут от картины и спросят: “А что еще написал этот художник?” — и окажется, что ничего, никаких обложек для журнала, никаких иллюстраций, никаких женских головок — ничего. Только картина. Вот ради чего я питался одной колбасой: я не хотел изменять себе. Я согласился сварганить этот президентский портрет, чтобы выбраться в чужие края и учиться. Но эта гнусная, ужасная карикатура! Боже, боже! Неужели ты сам не понимаешь, в чем дело?

— Понимаю! Превосходно понимаю! — сказал Кью так нежно, как будто говорил с ребенком, и положил свой длинный палец на колено Уайта. — Я понимаю. Ужасно, что приходится так унижать свое любимое искусство. Я понимаю. Ты хотел намалевать картину огромных размеров, какую-нибудь этакую панораму “Битва при Геттисбурге”, но позволь представить тебе один небольшой эскиз. Маленький набросок пером. До нынешнего дня мы затратили на все это дело триста восемьдесят пять долларов пятьдесят центов. Мы вложили сюда весь наш капитал. У нас осталось ровно столько, чтобы доехать до Нью-Йорка, не больше. Мне нужны мои пять тысяч долларов. Я намерен добывать медь в Айдахо и заработать сто тысяч. Такова деловая сторона положения. Слезай со своего высокого искусства, мой милый, и давай не будем упускать эту охашку долларов.

— Билли, — сказал Уайт, и чувствовалось, что он превозмогает себя. — Я попробую. Не ручаюсь, но попробую. Я возьмусь за эту картину и постараюсь довести ее до конца.

— Вот это бизнес! — радостно сказал Кью. — Молодчина! И слушай: заканчивай картину скорее! Если нужно, найми двух помощников, чтобы смешивали тебе краски. Торопись! В городе нехорошие слухи. Здешним людям начинает надоедать президент. Говорят, что он слишком швыряется концессиями. Толкуют, будто он снюхался с Англией и понемногу распродает свою родину. Нужно закончить картину и получить гонорар прежде, чем наступит революция.

В обширном ратио дворца президент приказал натянуть большой холст. Под этим балдахинном сеньор Уайт устроил свою временную мастерскую. Каждый день великий человек позировал ему по два часа.

Уайт работал добросовестно. Но по мере того как работа подвигалась к концу, на него стала находить тоска. Он жестоко клеймил себя, издевался над собой, презирал себя. Кью с терпением великого полководца утешал его, ласкал, успокаивая всевозможными доводами, не давая ему уйти от картины.

К концу месяца Уайт объявил, что картина окончена. Юпитер, Вашингтон, ангелы, облака, пушки и прочее. Лицо художника было бледно, губы кривились. Он сказал, что президенту картина пришла по душе. Ее решили повесить в Национальной галерее героев и государственных деятелей. Художнику было предложено завтра же явиться в Casa Mogena за деньгами. В назначенный час он ушел из гостиницы, ни слова не отвечая на веселую болтовню Кью.

Через час он вошел в комнату, где его ждал Кью, швырнул шляпу на пол и уселся на стол.

— Билли, — сказал он с наугой, сдавленным голосом. — У меня есть небольшой капитал, вложенный в дело моего брата на Западе. Эти-то деньги и дают мне возможность изучать искусство и жить. Я возьму у брата мою долю и возвращу тебе то, что ты потратил на эту затею.

— Как! — вскричал Кью и вскочил со стула. — Он не заплатил за картину?

— Заплатил, заплатил, — сказал Уайт. — Но картины больше нет, нет и платы. Если интересно, послушай. Дело поучительное. Президент и я стояли рядом и смотрели на картину. Его секретарь принес чек на десять тысяч долларов, — для предъявления в нью-йоркский банк. Чуть только в руке у меня оказалась эта бумажка, я буквально сошел с ума. Я разорвал ее в мелкие клочки и швырнул на пол. Недалеке стоял маляр и красил колонны дворика, возле него было ведро с краской. Я взял его огромную кисть и в одну минуту замазал весь этот десяти тысячный кошмар. Потом

поклонился и вышел. Президент не двинулся с места, не сказал ни слова. Он был ошеломлен неожиданностью. Я знаю, Билли, что я поступил не по-товарищески, но иначе я не мог, пойми!

На улице послышался шум. В городе было неспокойно. Смешанный, все растущий ропот вдруг пронзили резкие крики:

— Bajo el traidor!.. Muerte al traidor!<sup>1</sup>

— Слышишь? — воскликнул огорченный Уайт. — Я немного понимаю по-испански. Они кричат: долой изменника! Я слышал эти крики и раньше. Они кричат обо мне. Изменник — это я. Я изменил искусству. Я не мог не уничтожить картину.

— Долой дурака! Долой идиота! Эти крики были бы более кстати, — сказал Кью, пылая возмущением. — Ты уничтожил десять тысяч долларов, разорвал их, как старую тряпку, потому что тебя мучает совесть, что ты извел на пять долларов красок иначе, чем тебе хотелось. В следующий раз, когда у меня будет какой-нибудь коммерческий план, я поведу своего компаньона к нотариусу и заставлю его присягнуть, что он никогда не слышал слова "идеал".

Кью выбежал из комнаты в бешенстве. Уайт не обратил никакого внимания на его свирепые чувства. Презрение Билли Кью было для него ничто по сравнению с тем презрением к себе самому, от которого он только что спасся.

А в Коралио недовольство росло. Вспышка была неизбежна. Всех раздражало появление в городе краснощекого толстяка-англичанина, который, как говорили, был агентом британских властей и вел тайные переговоры с президентом о таких торговых сделках, в результате которых весь народ должен был оказаться в кабале у иностранной державы. Говорили, что президент предоставил англичанам самые дорогие концессии, что весь государственный долг будет передан англичанам и что в обеспечение долга им будут сданы все таможи. Долготерпеливый народ решил, наконец, заявить свой протест.

1. Долой изменника! Смерть изменнику! (исп.)

В этот вечер в Коралию и в других городах послышался голос народного гнева. Шумные толпы, беспорядочные, но грозные, зашумели улицы. Они свергли с пьедестала бронзовую статую президента, стоявшую посреди площади, и разбили ее на куски. Они сорвали с общественных зданий мраморные доски, где прославлялись деяния "Великого освободителя". Его портреты в правительственных учреждениях были уничтожены. Толпа атаковала даже Casa Mogena, но была рассеяна войсками, которые остались верны президенту. Всю ночь царствовал террор.

Лосада доказал свое величие тем, что к полудню следующего дня в городе был восстановлен порядок, а сам он снова стал полновластным диктатором. Он напечатал правительственное сообщение о том, что никаких переговоров с Англией он не вел и не намерен вести. Сэр Стаффорд Воан, краснощекий британец, заявил от своего имени в газетах и в особых афишах, что его пребывание в этих местах лишено международного значения. Он просто путешественник, турист. Он (по его словам) и в глаза не видал президента и ни разу не разговаривал с ним.

Во время всей этой смуты Уайт готовился к обратному пути. Пароход отходил через два-три дня. Около полудня Кьюу, непоседа, взял свой фотографический аппарат, чтобы как-нибудь убить слишком медленно ползущие часы. Город был снова спокоен, как будто и не бунтовал никогда.

Спустя некоторое время Кьюу влетел в гостиницу с каким-то особенным, решительно-сосредоточенным видом. Он удалился в тот темный чулан, в котором обычно проявлял свои снимки.

Оттуда он прошел на балкон, где сидел Уайт. На лице у него играла яркая, хищная, злая улыбка.

— Знаешь, что это такое? — спросил он, показывая издали маленький фотографический снимок, наклеенный на картонку.

— Снимок сеньориты, сидящей на стуле, — аллитерация непреднамеренная, — лениво сказал Уайт.

— Нет, — сказал Кьюу, и глаза у него засверкали. — Это не снимок, а выстрел. Это жестянка с динамитом. Это золотой

рудник. Это чек от президента на двадцать тысяч долларов, да, сэр, двадцать тысяч, и на этот раз картина испорчена не будет. Никакой болтовни о высоком назначении искусства. Искусство! Ты, мазилка с вонючими тюбиками! Я окончательно перешиб тебя кодаком. Посмотри-ка, что это такое!

Уайт взял карточку и протяжно свистнул.

— Черт! — воскликнул он. — В городе будет бунт, если ты покажешь этот снимок. Но как ты раздобыл его, Билли?

— Знаешь эту высокую стену вокруг президентского сада? Там, позади дворца? Я пробрался к ней, снять весь город с высоты. Вижу: из стены выпал камешек, и штукатурка чуть держится. Думаю, дай-ка посмотрю, как растет у президента капуста. И вдруг предо мною в двадцати шагах — этот сэр англичанин вместе с президентом, за столиком. На столике бумаги, и оба они воркуют над ними, совсем как два пирата. Славное местечко в саду, тенистое, уединенное. Кругом пальмы, апельсиновые деревья, а на траве ведро с шампанским, тут же под рукой. Я почувствовал, что пришла моя очередь создать нечто великое в искусстве. Я приставил аппарат к отверстию в стене и нажал кнопку. Как раз в эту минуту те двое стали пожимать друг другу руки — они закончили свою тайную сделку, — видишь, это так и вышло на снимке.

Кьюу надел пиджак и шляпу.

— Что же ты думаешь сделать с этим? — спросил Уайт.

— Я! — воскликнул обиженным тоном Кьюу. — Я привяжу к нему красную ленточку и повешу у себя над камином. Ты меня изумляешь, ей-богу! Я уйду, а ты, пожалуйста, прикинь-ка в уме, какой именно пряничный деспот захочет приобрести мою картинку для своей частной коллекции, лишь бы только она не попала ни к кому постороннему.

Солнце уже обагрило верхушки кокосовых пальм, когда Билли Кьюу вернулся из Casa Mogena. Художник встретил его вопросительным взглядом. Кьюу кивнул головой и тотчас же растянулся на койке, подложив руки под голову.

— Я видел его. Он заплатил деньги, вполне превосходно. Сначала меня не хотели пускать к нему. Я сказал, что это

очень важно. Да, да, этот президент молодчина. Способная bestия. Безусловно деловое устройство мозгов. Мне стоило только показать ему снимок и назвать мою цену. Он улыбнулся, пошел к несгораемому шкафу и вынул деньги. С такой легкостью он выложил на стол двадцать новеньких бумажек по тысяче долларов, как я бы положил один доллар и двадцать пять центов. Хорошие бумажки, хрустят, как сухая трава во время пожара.

— Дай пощупать, — сказал с любопытством Уайт. — Я еще никогда не видал тысячедолларовой бумажки.

Кью отозвался не сразу.

— Кэрри, — сказал он рассеянно, — тебе дорого твое искусство, не правда ли?

— Да, — сказал тот. — Ради искусства я готов пожертвовать и своими собственными деньгами и деньгами моих милых друзей.

— Вчера я думал, что ты идиот, — спокойно сказал Кью, — но сегодня я переменяю свое мнение. Или, вернее, я оказался таким же идиотом, как ты. Я никогда не отрекался от жульничества, но всегда искал равного по силам противника, с которым стоило бы потягаться и мозгами и капиталом. Но схватить человека за горло и ввинтить в него винт — нет, темная это работа, и она носит гнусное имя... Она называется... ну, да ты понимаешь. Ты знаешь, что такое профанация искусства... Я почувствовал... ну да ладно. Я разорвал свою карточку, положил ключики на пачку денег, да и отодвинул все назад к президенту. "Простите меня, мистер Лосада, — сказал я, — но, мне кажется, я ошибся в цене. Получайте свою фотографию бесплатно". Теперь, Кэрри, бери-ка ты карандаш, мы составим маленький счетик. Не может быть, чтобы от нашего капитала не осталось достаточной суммы тебе на жареную колбасу, когда ты вернешься в свою нью-йоркскую берлогу.

## XV ДИККИ

Последовательность в Анчурии не в моде. Политические бури, бушующие там, перемежаются с глубоким затишьем. Похоже, что даже Время вешает каждый день свою косу на сук апельсинного дерева, чтобы спокойно вздремнуть и выкурить папиросу.

Побунтовав против президента Лосады, страна успокоилась и по-прежнему терпимо взирала на злоупотребления, в которых обвиняла его. В Коралио вчерашние политические враги ходили под ручку, забыв на время все несходство своих убеждений.

Неудача художественной экспедиции не обескуражила Кью. Он падал, как кошка, не разбиваясь. Никакие обиды Фортуны не в силах были изменить его мягкую поступь. Еще на горизонте не рассеялся дым парохода, на котором уехал Уайт, а Кью уже пустился работать своим синим карандашом. Стоило ему сказать одно слово Джемми — и торговый дом Брэннигэн и компания предоставил ему в кредит любые товары. В тот самый день, когда Уайт приехал в Нью-Йорк, Кью, замыкая караван из пяти мулов, навьюченных скобяным товаром и ножами, двинулся внутрь страны, в мрачные, грозные горы. Там племена краснокожих намывают золотой песок из золотоносных ручьев, и когда товар доставляют им на место, торговля в Кордильерах идет бойко и *muу bueno*. В Коралио Время сложило крылья и томной походкой шло своим дремотным путем. Те, кто больше всех наполнял весельем эти душевные часы,

уже уехали. Клэнси помчался в Калао, где, как ему говорили, шел бой. Джедди, чей спокойный и приветливый характер в свое время сильно помог ему в борьбе с расслабляющим действием лотоса, был теперь семьянин, домосед: он был счастлив со своей яркой орхидеей Паулой и никогда не вспоминал о таинственной запечатанной бутылке, секрет которой, теперь уже не представлявший интереса, надежно хранило море.

Недаром Морж, самый сообразительный зверь, эклектик всех зверей, поместил сургуч в середине своей программы, среди многих других развлекательных номеров.

Этвуд уехал — хитроумный Этвуд с гостеприимной задней веранды. Правда, оставался доктор Грэгг; но история о трепанации черепа по-прежнему кипела в нем, как лава вулкана, и каждую минуту готова была вырваться наружу, а эта катастрофа, по совести, не могла служить к уменьшению скуки.

Мелодия нового консула звучала в унисон с печальными волнами и безжалостной зеленью тропиков: мелодии Шехерезады и Круглого Стола были чужды его лютне. Гудвин был занят большими проектами, а в свободное время никогда не ходил, потому что полюбил домоседство.

Прежние дружеские связи распались. Иностранная колония скучала.

И вдруг с облаков свалился Дикки Малони и занял своей особой весь город.

Никто не знал, откуда он приехал и каким образом очутился в Кориалио. Вдруг в один прекрасный день его увидели на улице, вот и все. Впоследствии он утверждал, будто прибыл на фруктовом пароходе "Тор"; но в списках тогдашних пассажиров этого парохода никакого Малони не значилось. Впрочем, любопытство, вызванное его появлением, скоро улеглось: мало ли какой рыбы не выбрасывают на берег волны Караибского моря.

Это был подвижной, беспечный молодой человек. Привлекательные серые глаза, неотразимая улыбка, смуглое — или очень загорелое — лицо и огненно-рыжие волосы, такие рыжие, каких в этих местах еще никогда не видали. По-

испански он говорил так же хорошо, как и по-английски; в кармане у него серебра было вдоволь, и скоро он сделался желанным гостем повсюду. У него была большая слабость, к *vino blanco*<sup>1</sup>, и скоро весь город узнал, что он один может выпить больше, чем любые три человека в Кориалио. Все звали его Дикки; куда бы он ни пришел, всюду встречали его веселым приветом — все, в особенности местные жители, у которых его изумительные рыжие волосы и простота в обращении вызывали восторг и зависть. Куда бы вы ни пошли, вы непременно увидите Дикки или услышите его искренний смех; вечно он был окружен толпой почитателей, которые любили его и за хороший характер и за то, что он охотно угощал белым вином.

Много было толков и догадок, зачем он приехал сюда, но вскоре все стало ясно: Дикки открыл лавочку для продажи сластей, табака и различных индейских изделий — шелковых вышивок, туфлей и плетеных камышовых корзин. Но и после этого он не переменял своего нрава: день и ночь играл в карты с *comandante*, с начальником таможни, шефом полиции и прочими гуляками из местных чиновников.

Однажды Дикки увидел Пасу, дочь мадамы Ортис; она сидела у боковой двери отеля де лос Эстранхерос. И в первый раз за все время своего пребывания в Кориалио Дикки остановился как вкопанный, но сейчас же снова сорвался с места и кинулся с быстротою лани разыскивать местного франта Васкеса, чтобы тот представил его Пасе.

Молодые люди называли Пасу "La Santita Naranjadita". *Naranjadita* по-испански означает некоторый оттенок цвета. У англичан такого слова нет. Описательно и приблизительно мы могли бы перевести это так: "Святая с замечательно-прекрасно-деликатно-апельсинно-золотистым отливом". Такова и была дочь мадамы Ортис.

Мадама Ортис продавала ром и другие напитки. А ром, да будет вам известно, компенсирует недостатки всех прочих товаров. Ибо не забывайте, что изготовление рома яв-

<sup>1</sup> Белое вино (ист.).



ляется в Анчурии монополией правительства, а продавать изделия государства есть дело вполне уважаемое. Кроме того, самый строгий цензор нравов не мог бы найти в учреждении мадамы Ортис никакого изъяна. Посетители пили очень робко и мрачно, как на похоронах, ибо у мадамы было такое старинное и пышное родословное дерево, что оно не допускало легкомысленных шуток даже у сидящих за бутылкою рома. Разве она не была из рода Иглесиа, которые прибыли сюда вместе с Пизарро? И разве ее покойный супруг не был *comisionado de caminos y puentes*<sup>1</sup> во всей этой области?

По вечерам Паса сидела у окна, в комнатке рядом с распивочной, и сонно перебирала струны гитары. И вскоре в эту комнатку по двое, по трое входили молодые кабаллеро и садились у стены на стулья. Их целью была осада сердца молодой "Santita". Их система (не единственная и, вероятно, не лучшая в мире) заключалась в том, что они выпячивали грудь, принимая воинственные позы, и выкуривали бездну папирос. Даже святые с золотисто-апельсиновым отливом предпочитают, чтобы за ними ухаживали как-нибудь иначе.

Донья Паса заполняла периоды отравленного никотином молчания звуками своей гитары и с удивлением думала: неужели все романы, которые она читала о галантных и более... более осязательных кавалерах, — ложь? Через определенные промежутки времени в комнату выливалась из пульперии мадама; что-то в ее взгляде вызывало жажду, и тогда слышалось шуршание накрахмаленных белых брюк, — это один из кабаллеро направлялся к стойке.

Что рано или поздно на этом поприще появится Дикки Малони, можно было предсказать с полной уверенностью. Мало оставалось дверей в Коралио, куда бы он не совал свою рыжую голову.

В невероятно короткий срок после того, как он впервые увидел Пасу, он уже сидел с нею рядом, у самой качалки, на которой сидела она. У него были свои собственные прави-

<sup>1</sup> Уполномоченный по мостам и дорогам (исп.).

ла ухаживания за молодыми девицами: молчаливое сидение у стены не входило в его программу. Он предпочитал атаку на близкой дистанции. Взять крепость одним концентрированным, пылким, красноречивым, неотразимым штурмом — такова, была его боевая задача.

Род Пасы был один из самых аристократических и горделивых во всей стране. Кроме того, у нее были и большие личные достоинства — два года, проведенные ею в одном новоорлеанском училище, поставили ее значительно выше заурядных коралийских девиц. Она требовала от судьбы гораздо больше. И все же она покорила первому попавшемуся рыжему нахалу с бойким языком и приятной улыбкой, потому что он ухаживал за нею как следует.

Вскоре Дикки повел ее в маленькую церковку, тут же на площади, и ко всем именам Пасы прибавилось еще одно: "миссис Малони".

И вот довелось ей — с такими кроткими, святыми глазами, с фигурой терракотовой Психеи — сидеть за покинутым прилавком убогой лавчонки, покуда ее Дикки пьянствовал и разгильдяйничал со своими беспутными приятелями.

Женщины, как известно, по природе бессознательно склонны к добру, и потому все соседки с большим удовольствием стали запускать в нее шпильки и колоть ее поведением ее молодого супруга. Она обратилась к ним с прекрасным и печальным презрением.

— Вы, коровы, — сказала она им ровным, хрустально-звонким голосом. — Что вы знаете о настоящем мужчине? Все ваши мужья — *mataderos*<sup>1</sup>. Они годятся лишь на то, чтобы свертывать себе в тени папироски покуда солнце не припечет их и не выгонит вон. Они, как трутни, валяются у вас в гамаках, а вы причесываете их и кормите свежими фруктами. Мой муж не такой. В нем другая кровь, совсем другая. Пусть себе пьет вино. Когда он выпьет столько, что можно было бы утопить любого из ваших заморышей, он придет ко мне сюда, домой, и будет больше мужчиной, чем

<sup>1</sup> Канатные плясуны (исп.).

тысяча ваших pobrecitos. Тогда он гладит и заплетает мне волосы, он мне, а не я ему. Он поет мне песни; он снимает с меня туфли и целует мои ноги, здесь и здесь. И он обнимает меня... да нет, вы никогда не поймете! Несчастные слепые, никогда не знавшие *мужчины!*

Иногда по ночам странные вещи творились в лавчонке у Дикки. В переднем помещении, где происходила торговля, было темно, но в маленькой задней комнатке Дикки и небольшая кучка его ближайших приятелей сидели за столом и далеко за полночь тихо беседовали о каких-то делах. Потом он украдкой выпускал их на улицу, а сам шел наверх, к своей маленькой "святой". Ночные гости имели вид заговорщиков: темные костюмы, темные шляпы.

Конечно, в конце концов, их темные дела не ускользнули от внимания жителей, и в городе поднялись всевозможные толки.

На иностранцев, живущих в Коралио, Дикки, казалось, не обращал внимания. Он явно избегал Гудвина. А тот хитрый маневр, посредством которого ему удалось ускользнуть от истории доктора Грэгга о трепанации черепа, и до сих пор вызывает в Коралио восторг как шедевр дипломатической ловкости.

Он получал много писем, адресованных "мистеру Дикки Малони" или "Сеньору Диккею Малони". Паса была очень польщена: если столько людей желают ему писать, значит, и вправду цвет его красно-рыжих волос сияет во всем мире. А каково было содержание писем, ее никогда не занимало. Вот бы вам такую жену!

Дикки допустил в Коралио лишь одну оплошность: он оказался без денег в самое неподходящее время. Откуда он вообще добывал свои средства, было загадкой для всех, так как его лавчонка давала ничтожную прибыль. Деньги приходили к нему из какого-то другого источника, и вдруг этот источник иссяк, и в очень тяжелую пору, иссяк тогда, когда comandante дон сеньор полковник Энкарнасион Риос взглянул на святую, сидевшую в лавке, и почувствовал, как сердце у него пошло ходуном.

Comandante, который был тончайшим знатоком всех галантных наук, раньше всего выразил свои чувства деликатным, не навязчивым намеком: он напялил на себя парадный мундир и стал шагать перед окнами сеньоры Малони. Паса застенчиво глянула на него из окошка своими святыми глазами, увидела, что он страшно похож на ее попугая Чичи, и на лице у нее появилась улыбка.

Comandante увидел улыбку и, решив, что произвел впечатление, вошел в лавку с интимным видом и приблизился к даме, чтобы сказать комплимент. Паса съежилась, он не унимался. Она царственно разгневалась, он, очарованный еще больше, стал настойчивее, она приказала ему уйти вон; он попробовал схватить ее за руку, и... вошел Дикки, широко улыбаясь, полный белого вина и дьявола.

Пять минут он потратил на то, чтобы наказать comandante самым тщательным научным способом, то есть принял все меры, чтобы боль от побоев не прекращалась возможно дольше. По окончании экзекуции он вышвырнул пыльного волокиту за дверь, на камни мостовой, бездыханного.

Босоногий полицейский, наблюдавший это происшествие, вынул свисток и свистнул. Из-за угла, из казармы прибежали четыре солдата. Когда они увидели, что нарушитель порядка — Дикки, они остановились в испуге и тоже стали свистеть. Скоро пришло подкрепление: еще восемь солдат. Считая, что силы сторон теперь примерно равны, воины стали наступать на буяна.

Дикки, все еще не остывший от боевого пыла, нагнулся к ножнам comandante и, обнажив его шпагу, напал на врага. Он прогнал регулярную армию через четыре квартала, подгоняя шпагой визжащий арьергард и норовя уколоть шоколадные пятки.

Но справиться с гражданскими властями оказалось труднее. Шесть ловких, мускулистых полицейских в конце концов одолели его и победоносно, хоть и с опаской, потащили в тюрьму. El Diablo Colorado<sup>1</sup>, — ругали они его и из-

<sup>1</sup> Рыжий черт (исп.).

девались над военными силами за то, что те отступили перед ним.

Дикки было предоставлено, вместе с другими арестантами, смотреть из-за решетчатой двери на заросшую травой площадь, на ряд апельсиновых деревьев да на красные черепичные крыши и глиняные стены каких-то захудалых лавчонок.

На закате по тропинке, пересекающей площадь, потянулось печальное шествие: скорбные, понурые женщины, несущие бананы, кассаву и хлеб — пропитание жалким узникам, томящимся здесь в заключении. Женщинам было разрешено приходить дважды в день: утром и вечером, ибо республика давала своим подневольным гостям воду, но не пищу.

В этот вечер часовой выкрикнул имя Дикки, и он подошел к железным прутьям двери. У двери стояла «святая», покрытая черной мантилей. Ее лицо было воплощение грусти; ясные глаза смотрели на Дикки так жадно и страстно, словно хотели извлечь его из-за решетки сюда, к ней. Она принесла жареного цыпленка, два-три апельсина, сласти и белый хлебец. Солдат осмотрел принесенную пищу и вручил ее Дикки. Паса говорила спокойно, — она всегда говорила спокойно, — своим чарующим голосом, похожим на флейту.

— Ангел моей жизни, — сказала она. — Воротись ко мне скорее. Ты знаешь, что жизнь для меня тяжкое бремя, если ты не со мною, не рядом. Скажи мне, чем я могу тебе помочь. Если же я бессильна, я буду ждать — но недолго. Завтра утром я приду опять.

Сняв башмаки, чтобы не мешать другим заключенным, Дикки полночи прошагал по камере, проклиная свое безденежье и причину его, какова бы она ни была. Он отлично знал, что деньги сразу купили бы ему свободу.

Два дня подряд Паса приходила к нему в урочное время и приносила поесть. Всякий раз он спрашивал ее с большим волнением, не получено ли по почте какое-нибудь письмо или, может быть, пакет, и всякий раз она грустно качала головой.

На утро третьего дня она принесла только маленькую булочку. Под глазами у нее были темные круги. По внешности она была так же спокойна, как всегда.

— Клянусь чертом, — воскликнул Дикки, — это слишком постный обед, muchachita<sup>1</sup>. Не могла ты принести своему мужу чего-нибудь повкуснее, побольше?

Паса посмотрела на него, как смотрит мать на любимого, но капризного сына.

— Не надо сердиться, — сказала она тихим голосом, — завтра не будет и этого. Я истратила последний centavo.

Она сильнее прижалась к решетке.

— Продай все товары в лавке, возьми за них, сколько дадут.

— Ты думаешь, я не пробовала? Я хотела продать их за какие угодно деньги, хоть за десятую долю цены. Но никто не дает ни одного песо. Чтобы помочь Дикки Малони, в городе нет ни реала.

Дикки мрачно сжал зубы.

— Это все comandante, — сказал он. — Это он восстанавливает всех против меня. Но подожди, подожди, когда откроются карты.

Паса заговорила еще тише, почти шепотом.

— И слушай, сердце моего сердца, — сказала она, — я старалась быть сильной и смелой, но я не могу жить без тебя. Вот уже три дня...

Дикки увидал, что в складках ее мантили слабо блеснула сталь. Взглянув на него, Паса впервые увидела его лицо без улыбки — строгое, выражающее угрозу и какую-то непреклонную мысль. И вдруг он поднял руку, и на лице у него опять засияла улыбка, словно взошло солнце. С моря донесся хриплый рев паровой сирены. Дикки обратился к часовому, который шагал перед дверью.

— Какой это пароход?

— «Катарина».

— Компании «Везувий»?

<sup>1</sup> Девочка (исп.).

— Несомненно.

— Слушай же, *ricarilla*<sup>1</sup>, — весело сказал Дикки. — Ступай к американскому консулу. Скажи ему, что мне нужно сказать ему несколько слов. И пусть придет сию минуту, не медля. Да смотри, чтобы я больше не видал у тебя таких замученных глаз. Обещаю тебе, что сегодня же ночью ты положишь голову на эту руку.

Консул пришел через час. Подмышкой у него был зеленый зонтик, и он нетерпеливо вытирал платком лоб.

— Ну, вот видите, Малони, — сказал он раздраженно. — Вы все думаете, что вы можете сколько угодно скандалить, а консул должен вызволять вас из беды. Я не военное министерство и не золотой рудник. У этой страны, знаете ли, есть свои законы, и между прочим у нее есть закон, воспрепятствующий вышибать мозги из регулярной армии. Вы, ирландцы, вечно затеваете драки. Нет, я ничем не могу вам помочь. Табаку, пожалуй, я пришлю... или, скажем, газету...

— Несчастный! — сурово прервал его Дикки. — Ты не изменился ни на йоту. Точно такую же речь, слово в слово, ты произнес и тогда, когда — помнишь? — на хоры нашей церкви забрались гуси и ослы старика Койна и виновные в этом деле хотели спрятаться у тебя в комнате.

— Боже мой! — воскликнул консул, быстро поправляя очки. — Неужели вы тоже окончили Иэльский университет? Вы тоже были среди шутников? Я не помню никого такого рыж... никого с такой фамилией — Малони. Ах, сколько бывших студентов упустили те возможности, которые им дало образование! Один из наших лучших математиков выпуска девяносто первого года продает лотерейные билеты в Белесе. В прошлом месяце сюда заезжал один человек, окончивший университет Корнелла. Теперь он младший стюард на пароходе, перевозящем птичий помет, гуано. Если вы хотите, я, пожалуй, напишу в департамент, Малони. Также, если вам нужен табак или, скажем, газеты...

— Мне нужно одно, — прервал его Дикки, — скажите капитану "Катарины", что Дикки Малони хочет его видеть воз-

<sup>1</sup> Плутовка (исп.).

можно скорее. Скажите ему, что я здесь. Да поживее. Вот и все.

Консул был рад, что так дешево отделался, и поспешил уйти. Капитан "Катарины", здоровяк, родом из Сицилии, скоро пробился к дверям тюрьмы, без всякой церемонии растолкав часовых. Так всегда вели себя в Коралио представители компании "Везувий".

— Ах, как жаль! Мне очень больно видеть вас в таком тяжелом положении, — сказал капитан. — Я весь к вашим услугам, мистер Малони. Все, что вам нужно, будет вам доставлено. Все, что вы скажете, будет сделано.

Дикки посмотрел на него без улыбки. Его красно-рыжие волосы не мешали ему быть суровым и важным. Он стоял, высокий и спокойный, сомкнув губы в прямую горизонтальную линию.

— Капитан де Люкко, мне кажется, что у меня еще есть капиталы в паровой компании "Везувий", и капиталы довольно обширные, принадлежащие лично мне. Еще неделю назад я распорядился, чтобы мне перевели сюда некоторую сумму немедленно. Но деньги не прибыли. Вы сами знаете, что необходимо для этой игры. Деньги, деньги и деньги. Почему же они не были посланы?

Де Люкко ответил, горячо жестикулируя:

— Деньги были посланы на пароходе "Кристоваль", но где "Кристоваль"? Я видел его у мыса Антонио со сломанным валом. Какой-то катер тащил его за собой на буксире обратно в Новый Орлеан. Я взял деньги и привез их с собой, потому что знал, что ваши нужды не терпят отлагательства. В этом конверте тысяча долларов. Если вам нужно еще, можно достать еще.

— Покуда и этих достаточно, — сказал Дикки, заметно смягчаясь, потому что, разорвав конверт, он увидел довольно толстую пачку зеленых, гладких, грязноватых банкнот.

— Зелененькие! — сказал он нежно, и во взгляде его появилось благоговение. — Чего только на них не купишь, правда, капитан?

— В свое время, — ответил де Люкко, который был немного философом, — у меня было трое богатых друзей. Один из них спекулировал на акциях и нажил десять миллионов; второй уже на том свете, а третий, женился на бедной девушке, которую любил.

— Значит, — сказал Дикки, — ответа надо искать у, всевышнего, на Уолл-стрит и у Купидона. Так и будем знать.

— Скажите, пожалуйста, — спросил капитан, охватывая широким жестом всю обстановку, окружавшую Дикки, — находится ли все это в связи с делами вашей маленькой лавочки? Ваши планы не потерпели крушения?

— Нет, нет, — сказал Дикки. — Это просто маленькое частное дело, некоторый экскурс в сторону от моего основного занятия. Говорят, что для полноты своей жизни человек должен испытать бедность, любовь и войну. Может быть, но не сразу, не в одно и то же время, *caripian mio*. Нет, я не потерпел неудачи в торговле. Дела в лавчонке идут хорошо.

Когда капитан ушел, Дикки позвал сержанта тюремной стражи и спросил:

— Какою властью я задержан? Военной или гражданской?

— Конечно, гражданской. Военное положение снято.

— Виено! Пойдите же и пошлите кого-нибудь к алькаду, мировому судье и начальнику полиции. Скажите им, что я готов удовлетворить правосудие.

Сложенная зеленая бумажка скользнула в руку сержанта.

Тогда к Дикки вернулась его былая улыбка, ибо он знал, что часы его заточения сочтены; и он стал напевать в такт шагам своих часовых:

Нынче вешают и женщин и мужчин,  
Если нет у них зеленой бумажки

Таким образом, в тот же вечер Дикки сидел у окна своей комнаты, на втором этаже над лавкой, а рядом с ним сидела "святая" и вышивала что-то шелковое, очень изящное. Дикки был задумчив и серьезен. Его рыжие волосы были в необыкновенном беспорядке. Пальцы Пасы так и тянулись

поправить и погладить их, но Дикки никогда не позволял ей этого. Весь вечер он корпел над какими-то географическими картами, книгами, бумагами, покуда у него на лбу не появилась та вертикальная черточка, которая всегда беспокоила Пасу. Наконец, она встала, ушла, принесла его шляпу и долго стояла с шляпой, пока он не взглянул на нее вопрошительным взглядом.

— Дома тебе невесело, — пояснила она. — Пойди и выпей *vino blanco*. Приходи назад, когда у тебя опять появится твоя прежняя улыбка.

Дикки засмеялся и отодвинул бумаги.

— Теперь мне не до *vino blanco*. Эта эпоха прошла. Вино сыграло свою роль, и довольно. Сказать правду, гораздо больше входило мне в уши, чем в рот. Едва ли кто догадывался об этом. Но сегодня не будет больше ни карт, ни морщин на лбу. Обещаю. Иди сюда.

Они сели у окна и стали смотреть, как отражаются в море дрожащие огоньки "Катарини".

Вдруг заструился негромкий смех Пасы. Она редко смеялась вслух.

— Я подумала, — сказала она, чувствуя, что Дикки не может понять ее смеха, — я подумала, как глупы бываем мы, девушки. Вот я, поучилась в Штатах и чего только не воображала! Представь себе, я мечтала о том, чтобы сделаться женой президента. Женою президента — не меньше. Но вышла за рыжего жулика — и живу в нищете, в темноте.

— Не теряй надежды, — сказал Дикки улыбаясь. — В Южной Америке было немало президентов из ирландского племени. В Чили был диктатор по имени О'Хиггинс. Почему Малони не может быть президентом Анчурии? Скажи только слово, *santita mia*, и я приложу все усилия, чтобы занять эту должность.

— Нет, нет, нет, ты, рыжий разбойник, — вздохнула Паса. — Я довольна (она положила голову ему на плечо) и здесь.

## XVI ROGUE ET NOIR

Мы уже упоминали о том, что с самого начала своего президентства Лосада сумел заслужить неприязнь народа. Это чувство продолжало расти. Во всей республике чувствовалось молчаливое, затаенное недовольство. Даже старая либеральная партия, которой так горячо помогали Гудвин, Савалья и другие патриоты, разочаровалась в своем ставленнике. Лосаде так и не удалось сделаться народным кумиром. Новые налоги и новые пошлины на ввозимые товары, а главное, потворство военным властям, которые притесняли гражданское население страны, сделали его одним из самых непопулярных правителей со времен презренного Альфорана. Большинство его собственного кабинета было в оппозиции к нему. Армия, перед которой он заискивал, которой он разрешал тиранить мирных жителей, была его единственной и до поры до времени достаточно прочной опорой.

Но самым опрометчивым поступком нового правительства была ссора с пароходной компанией "Везувий". У этой организации было двенадцать своих пароходов, а капитал ее выражался в сумме несколько большей, чем весь бюджет Анчурии — весь ее дебет и кредит.

Естественно, что такая солидная фирма, как компания "Везувий", не могла не разгневаться, когда вдруг какая-то ничтожная розничная республика вздумала выжимать из нее лишние деньги. Так что когда агенты правительства обратились к компании "Везувий" за субсидией, они встретили уч-

тивый отказ. Президент сквитался с нею, наложив на нее новую пошлину: реал с каждого пучка бананов — вещь, невиданная во фруктовых республиках! Компания "Везувий" вложила большие капиталы в пристани и плантации Анчурии, служащие этой компании выстроили себе в городах, где им приходилось работать, прекрасные дома и до этого времени были в наилучших отношениях с республикой к несомненной выгоде обеих сторон. Если бы компания вынуждена была покинуть страну, она потерпела бы большие убытки — продажная цена бананов — от Вэра-Крус до Тринидада — три реала за один пучок. Эта новая пошлина — один реал — должна была разорить всех садоводов Анчурии и причинила бы большие неудобства компании "Везувий", если бы компания отказалась платить. Все же по какой-то непонятной причине "Везувий" продолжал покупать анчурийские фрукты, платя лишний реал за пучок и не допуская, чтобы владельцы плантаций потерпели убытки.

Эта кажущаяся победа ввела его в превосходительство и заблуждение, и он возжаждал новых триумфов. Он послал своего эмиссара для переговоров с представителем компании "Везувий". "Везувий" направил для этой цели в Анчурию некоего мистера Франзони, маленького, толстенького, жизнерадостного человечка, всегда спокойного, вечно насвистывающего арии из опер Верди. В интересах Анчурии был уполномочен действовать сеньор Эспирисион, чиновник министерства финансов. Свидание состоялось в каюте парохода "Спаситель".

Сеньор Эспирисион с первых же слов сообщил, что правительство намерено построить железную дорогу, соединяющую береговые районы страны. Указав, что благодаря этой железной дороге "Везувий" окажется в больших барышах, сеньор Эспирисион добавил, что, если "Везувий" даст правительству ссуду на постройку дороги, — скажем, пятьдесят тысяч песо, — эта трата в скором времени окупится полностью.

Мистер Франзони утверждал, что никаких выгод от железной дороги для компании "Везувий" не будет. Как пред-

ставитель компании, он считает невозможным выдать ссуду в пятьдесят тысяч pesos. Но он на свою ответственность осмелился бы предложить двадцать пять.

— Двадцать пять тысяч pesos? — переспросил дон сеньор Эспирисион.

— Нет. Просто двадцать пять pesos. И не золотом, а серебром.

— Своим предложением вы оскорбляете мое правительство! — воскликнул сеньор Эспирисион, с негодованием вставая с места.

— Тогда, — сказал мистер Франзони угрожающим тоном, — *мы переменим его.*

Предложение не подверглось никаким переменам. Неужели мистер Франзони говорил о перемене правительства?

Таково было положение вещей в Анчурии, когда, в конце второго года правления Лосады, в Коралио открылся зимний сезон. Так что, когда правительство и высшее общество совершили свой ежегодный въезд в этот приморский город, президента встретили без всяких чрезмерных восторгов. Приезд президента и веселящихся представителей высшего света был назначен на десятое ноября. От Солитаса на двадцать миль в глубь страны идет узкоколейная железная дорога. Обычно правительство следует в экипажах из Сан-Матео до конечного пункта этой дороги и дальше едет поездом в Солитас. Оттуда торжественная процессия тянется к Коралио, где в день ее прибытия устраиваются пышные торжественные празднества. Но в этом году наступление десятого ноября предвещало мало хорошего.

Хотя время дождей уже кончилось, воздух был душный, как в июне. До самого полудня моросил мелкий, унылый дождик. Процессия въехала в Коралио среди странного, непонятного молчания.

Президент Лосада был пожилой человек с седеющей бородкой, его желтое лицо изобличало изрядную примесь индейской крови. Он ехал впереди всей процессии. Его ка-

рету окружала кавалькада телохранителей: знаменитая кавалерийская сотня капитана Круса — El Ciento Huilando. Сзади следовал полковник Рокас с батальоном регулярного войска.

Остренькие, круглые глазки президента беспокойно бегали по сторонам: президент ожидал приветствий, но всюду он видел сумрачные, равнодушные лица. Жители Анчурии любят зрелища, это у них в крови. Они зеваки по профессии; поэтому все население, за исключением тяжело больных, высыпало на улицу посмотреть на торжественный поезд. Но стояли, смотрели — и молчали. Молчали неприязненно. Заполнили всю улицу, до самых колес кареты, залезли на красные черепичные крыши, но хоть бы один крикнул viva. Ни венков из пальмовых и лимонных веток, ни гирлянд из бумажных роз не свешивалось с окон и балконов, хотя этого требовал стародавний обычай. Апатия, уныние, молчаливый, упрек чувствовались в каждом лице. Это было тем более тяжело, что нельзя было понять, в чем дело. Вспышки народного гнева президент не боялся: у этой недовольной толпы не было вождя. Ни Лосада, ни его верноподданные никогда не слышали ни об одном таком имени, которое могло бы организовать глухое недовольство в оппозицию. Нет, никакой опасности не было. Толпа сначала обзаводится новым кумиром и лишь тогда свергает старый.

Майоры с алыми шарфами, полковники с золотым шитьем на мундирах, генералы в золотых эполетах — все это гарцевало и охорашивалось, а потом процессия повернула на Калье Гранде, построилась в новом порядке и направилась к летнему дворцу президента, Casa Morena, где ежегодно происходила официальная встреча новоприбывшего хозяина страны.

Во главе процессии шел швейцарский оркестр. Затем comandante верхом, с отрядом войска. Затем карета с четырьмя министрами, среди которых особенно выделялся военный министр, старик, генерал Пилар, седоусый, с военной осанкой. Затем, окруженная сотней капитана Кру-

са карета президента, где находились также министр финансов и министр внутренних дел. А за ними остальные сановники, судьи, важные военные и другие украшения общества.

Едва заиграл оркестр и процессия, тронулась, как в водах Коралио, словно какая-то зловеющая птица, появился пароход "Валгалла", самое быстроходное судно компании "Везувий". Появился перед самыми глазами президента и всех его приближенных. Разумеется, в этом не было ничего угрожающего: промышленные фирмы не воюют с государствами, но и сеньор Эспирисион и еще кое-кто из сидевших в колясках сейчас же подумали, что компания "Везувий" готовит им какой-то сюрприз.

Покуда процессия двигалась по направлению к дворцу, капитан "Валгаллы" и мистер Винченти, один из членов компании "Везувий", успели высадиться на берег. Весело, задорно, небрежно протискались они сквозь толпу. Это были крупные, упитанные люди, благодушные и в то же время властные; они были в белоснежных полотняных костюмах и, естественно, привлекали внимание среди темных и мало импозантных туземцев. Они пробились сквозь толпу и встали на виду у всех в нескольких шагах от ступенек дворца. Глядя поверх голов, они заметили, что над низкорослой толпой возвышается еще одна голова: это была рыжая макушка Дикки Малони — яркое пятно на фоне белой стены неподалеку от нижней ступени. Широкая, чарующая улыбка, появившаяся у Дикки на лице, показала, что он заметил их появление...

Как и подобало в такой высокаторжественный день, Дикки был в черном, отлично сшитом костюме. Паса стояла тут же рядом. Голова ее была покрыта неизменной черной мантилейей.

Мистер Винченти внимательно посмотрел на нее.

— Мадонна Ботичелли, — сказал он серьезно. — Хотел бы я знать, как она попала в это дело: мне, признаться, не нравится, что тут замешана женщина, лучше бы ему держаться от них подальше.

Капитан Кронин засмеялся так громко, что чуть было не отвлек внимание толпы от процессии.

— Это с такой-то шевелурой держаться подальше от женщины! Да еще фамилия-то какая ирландская. А что, разве он женился без необходимых формальностей? Но оставим вздор, что вы думаете обо всем этом деле? Признаться, я мало смыслю в таких флибустьерских затеях.

Винченти снова посмотрел на огненную макушку Дикки.

— Rouge et noir, — сказал он улыбаясь. — Это как в рулетке: красное и черное. Делайте вашу игру, джентльмены! Наши деньги на красном.

— Малый он стоящий, — сказал капитан, одобрительно глядя на высокого, изящного Дикки. — Но все это вместе до странности напоминает мне любительский домашний спектакль.

Они перестали разговаривать, так как в это самое время генерал Пилар вышел из кареты и встал на верхней ступеньке дворца. Согласно обычаю, он, как старейший член кабинета, должен был произнести приветственную речь и вручить президенту ключи от его официальной резиденции.

Генерал Пилар был один из самых уважаемых граждан республики. Герой трех войн, участник революции, почетный гость многих европейских дворов, друг народа, красноречивый оратор, он являл собою высший тип анчурийца.

Держа в руке позолоченные ключи дворца, он начал свою речь в ретроспективной, исторической форме. Он указал, как постепенно, от самых отдаленных времен, в стране воцарялись культура и свобода, росло народное благосостояние. Перейдя затем к правлению президента Лосады, он, согласно обычаю, должен был воздать горячую хвалу его мудрости и заявить о благоденствии его народа. Но вместо этого он замолчал. А потом, не говоря ни слова, поднял ключи высоко у себя над головой и стал внимательно рассматривать их. Лента, перевязывающая эти ключи, заметалась от налетевшего ветра.



— Он все еще дует, этот ветер! — воскликнул в экстазе оратор. — Граждане Анчурии, воздадим благодарность святым: наш воздух, как и прежде, свободен!

Покончив таким образом с правлением Лосады, он неожиданно перешел к Оливарре, самому любимому из всех анчурийских правителей. Оливарра был убит девять лет тому назад, в полном расцвете сил, в разгаре полезной, плодотворной работы. По слухам, в этом преступлении была виновата либеральная партия, во главе которой стоял тогда Лосада. Верны были эти слухи или нет, несомненно одно, что вследствие этого убийства честолюбивый карьерист Лосада только через восемь лет добился верховной власти.

Красноречие Пилара полилось вольным потоком, чуть он подошел к этой теме. Любящей рукой нарисовал он образ благородного Оливарры. Он напомнил, как счастливо и мирно жилось народу в то время. Как бы для контраста, он воскресил в уме слушателей, какими оглушительными vivas встречали президента Оливарру в Коралио.

В этом месте речи впервые народ стал проявлять свои чувства. Тихий, глухой ропот прокатился по рядам, как волна по морскому побережью.

— Ставлю десять долларов против обеда в “Святом Карлосе”, — сказал мистер Винченти, — что красное выиграет.

— Я никогда не держу пари против своих же интересов, — ответил капитан, зажигая сигару. — Красноречивый старичок, ничего не скажешь. О чем он говорит?

— Я понимаю по-испански, — отозвался Винченти, — если в одну минуту говорят десять слов. А здесь — не меньше двухсот. Что бы он ни говорил, он здорово разжигает их.

— Друзья и братья, — говорил между тем генерал, — если бы сегодня я мог протянуть свою руку над горестным молчанием могилы Оливарре “Доброму”, Оливарре, который был вашим другом, который плакал, когда вы страдали, и смеялся, когда вы веселились, если бы я мог протянуть ему руку, я привел бы его снова к вам, но Оливарра мертв — он пал от руки подлого убийцы!

Тут оратор повернулся к карете президента и смело посмотрел на Лосаду. Его рука все еще была поднята вверх. Президент вне себя, дрожа от изумления и ярости, слушал эту необычайную приветственную речь. Он откинулся назад, его темнокожие руки крепко сжимали подушки кареты.

Потом он встал, протянул одну руку к оратору и громко скомандовал что-то капитану Крису, начальнику “Летучей сотни”. Но тот продолжал неподвижно сидеть на коне, сложив на груди руки, словно и не слышал ничего. Лосада снова откинулся на подушки кареты; его темные щеки заметно побледнели.

— Но кто сказал, что Оливарра мертв? — внезапно выкрикнул оратор, и, хотя он был старик, его голос зазвучал, как боевая труба. — Тело Оливарры в могиле, но свой дух он завещал народу, да, и свои знания, и свою доблесть, и свою доброту, и больше — свою молодость, свое лицо, свою фигуру... Граждане Анчурии, разве вы забыли Рамона, сына Оливарры?

Капитан и Винченти, внимательно глядевшие все время на Дикки, вдруг увидели, что он снимает шляпу, срывает с головы красно-рыжие волосы, вскакивает на ступеньки и становится рядом с генералом Пиларом. Военный министр положил руку ему на плечо. Все, кто знал президента Оливарру, вновь увидели ту же львиную позу, то же смелое, прямое выражение лица, тот же высокий лоб с характерной линией черных, густых, курчавых волос...

Генерал Пилар был опытный оратор. Он воспользовался минутой безмолвия, которое обычно предшествует буре.

— Граждане Анчурии! — прогремел он, потрясая у себя над головой ключами от дворца. — Я пришел сюда, чтобы вручить эти ключи, ключи от ваших домов, от вашей свободы, избранному вами президенту. Кому же передать эти ключи — убийце Энрико Оливарры или его сыну?

— Оливарра, Оливарра! — закричала и завывала толпа. Все выкрикивали это магическое имя, — мужчины, женщины, дети и попугаи.

Энтузиазм охватил не только толпу. Полковник Рокас взошел на ступени и театрально положил свою шпагу к ногам молодого Рамона Оливарры. Четыре министра обняли его, один за другим. По команде капитана Круса, двадцать гвардейцев из "Летучей сотни" спешили и образовали кордон на ступенях летнего дворца.

Но тут Рамон Оливарра обнаружил, что он действительно гениальный политик. Мановением руки он удалил от себя стражу и сошел по ступеням к толпе. Там, внизу, нисколько не теряя достоинства, он стал обниматься с пролетариатом: с грязными, с босыми, с краснокожими, с караибскими, с детьми, с нищими, со старыми, с молодыми, со святыми, с солдатами, с грешниками — всех обнял, не пропустил никого.

Пока на подмостках разыгрывалось это действие драмы, рабочие сцены тоже не сидели без дела. Солдаты Круса взяли под уздцы лошадей, впряженных в карету Лосады; остальные окружили карету тесным кольцом и ускакали куда-то с диктатором и обоими непопулярными министрами. Очевидно, им заранее было приготовлено место. В Коралио есть много каменных зданий с хорошими, надежными решетками.

— Красное выиграло, — сказал мистер Винченти, спокойно закуривая еще одну сигару.

Капитан уже давно всматривался в то, что происходило внизу у каменных ступеней дворца.

— Славный мальчик! — сказал он внезапно, как будто с облегчением. — А я все думал: неужели он забудет свою милую?

Молодой Оливарра снова взошел на террасу дворца и сказал что-то генералу Пилару. Почтенный Ветеран тотчас же спустился по ступеням и подошел к Пасе, которая, вне себя от изумления, стояла на том самом месте, где Дикки оставил ее. Сняв шляпу с пером, сверкая орденами и лентами, генерал сказал ей несколько слов, подал руку и повел вверх по каменным ступеням дворца. Рамон Оливарра сделал несколько шагов ей навстречу и на глазах у всех взял ее за обе руки.

И тут, когда ликование возобновилось с новой силой, Винченти и капитан повернулись и направились к берегу, где их ожидала гичка.

— Вот и еще один "presidente proclamado"<sup>1</sup>, — задумчиво сказал мистер Винченти. — Обычно они не так надежны, как те, которых избирают. Но в этом молодце и в самом деле как будто много хорошего. Всю эту военную кампанию и выдумал и провел он один. Вдова Оливарры, вы знаете, была женщина состоятельная. После того как убили ее мужа, она уехала в Штаты и дала своему сыну образование в Йельском университете. Компания "Везувий" разыскала его и оказала ему поддержку в этой маленькой игре.

— Как это хорошо в наше время, — сказал полшутя капитан, — иметь возможность низвергать президентов и сажать на их место других по собственному своему выбору.

— О, это чистый бизнес, — заметил Винченти, остановившись и предлагая окурочку сигары обезьяне, которая качалась на ветвях лимонного дерева. — Нынче бизнес управляет всем миром. — Нужно же было как-нибудь понизить цену бананов, уничтожить этот лишний реал. Мы и решили, что это будет самый быстрый способ.

<sup>1</sup> Президент, пришедший к власти вследствие непосредственного изъятия воли народа.

## XVII

### ДВЕ ОТСТАВКИ

Прежде чем опустить занавес над этой комедией, сшитой из пестрых лоскутьев, мы считаем своим долгом выполнить три обязательства. Два из них были обещаны; третье не менее важно.

В самом начале книги, в программе этого тропического водевиля, мы обещали поведать читателю, почему Коротыш О'Дэй, агент Колумбийского сыскного агентства, потерял свое место. Было также обещано, что загадочный Смит снова явится на сцену и расскажет, какую тайну он увидел в ту ночь, когда сидел на берегу, на песке под кокосовой пальмой, разбрасывая вокруг этого дерева столько сигарных окурков. Но, кроме того, мы обязаны совершить нечто большее — снять мнимую вину с человека, совершившего, если судить по приведенным выше (правдиво изложенным) фактам, серьезное преступление. И все эти три задачи выполнит голос одного человека.

Два субъекта сидели на одном из молвов Северной реки в Нью-Йорке. Пароход, только что прибывший из тропиков, стал выгружать на пристань апельсины и бананы. Порою от перезревших гроздьев отваливался банан, а порою и два, и тогда один из субъектов не спеша вставая с места, хватал добычу и делился с товарищем.

Один из этих людей был в состоянии крайнего падения. Все, что могли сделать с его платьем солнце, ветер и дождь, было сделано. На лице у него было начертано чрезмерное

пристрастие к выпивке. И все же на его пунцовом носу сверкало безупречное золотое пенсне.

Другой еще не успел так далеко зайти по наклонной Дороге Слабых. Правда, он тоже, по-видимому, знал лучшие времена. Но все же там, где он бродил, еще были тропинки, по которым он мог, без вмешательства чуда, снова выйти на путь полезного труда. Он был невысокого роста, но коренастый и крепкий. У него были мертвые рыбы глаза и усы, как у бармена, смешивающего за стойкой коктейли. Мы знаем этот глаз и этот ус: мы видим, что Смит, обладатель роскошной яхты, шеголявший таким пестрым костюмом, приехавший в Коралию непонятно зачем и уехавший оттуда неизвестно куда, — этот самый Смит опять появился на сцене, хотя и лишенный аксессуаров былого величия.

Сунув себе в рот третий банан, человек в золотом пенсне внезапно выплюнул его с гримасой отвращения.

— Черт бы побрал все фрукты! — сказал он презрительным тоном патриция. — Два года я прожил в тех самых краях, где растет эта дрянь. Ее вкус навеки остается во рту. Апельсины лучше. Постарайтесь, О'Дэй, подобрать мне в следующий раз парочку апельсинов, если они выпадут из какой-нибудь дырявой корзинки.

— Так вы жили там, где мартышки? — спросил О'Дэй, у которого немного развязался язык под влиянием солнца и благодатных плодов. — Я тоже там был как-то раз. Но недолго, несколько часов. Это когда я служил в Колумбийском сыскном агентстве. Тамошние мартышки и подгадили мне. Если б не они, я бы и сейчас был в сыскном. Я расскажу вам все дело.

В один прекрасный день получается у нас в конторе такая записка: "Пришлите сию минуту О'Дэя. Важное дело". Записка от самого шефа. Я в ту пору был один из самых шустрых агентов. Мне всегда поручали серьезные дела. Дом, откуда писал шеф, находился в районе Уолл-стрит.

Приехав на место, я нашел шефа в чьей-то частной конторе: его окружали большие дельцы, и у каждого была на лице неприятность. Они рассказали, в чем дело. Прези-

дент страхового общества “Республика” убежал неизвестно куда, захватив с собою сто тысяч долларов. Директоры общества очень желали, чтобы он воротился, но еще больше им хотелось воротить эти деньги, которые, по их словам, были им нужны до зарезу. Им удалось дознаться, что в этот же день, рано утром, старик со всем семейством, состоявшим из дочери и большого саквояжа, уехал на фруктовом пароходе в Южную Америку.

У одного из директоров была наготове яхта, и он предложил ее мне, *carte blanche*. Через четыре часа я уже мчался по горячим следам в погоне за фруктовым суденышком. Я сразу смекнул, куда улепетывает этот старый Уорфилд — такое у него было имя: Дж. Черчилл Уорфилд. В то время у нас были договоры со всеми странами о выдаче преступников, со всеми, за исключением Бельгии и этой банановой республики, Анчурии. В Нью-Йорке не было ни одной фотографической карточки старого Уорфилда; он, лисица, был слишком хитер, не снимался, но у меня было подробное описание его наружности. И, кроме того, с ним была дама — это тоже недурная примета. Она была важная птица, из самого высшего общества, не из тех, чьи портреты печатают в воскресных газетах, а настоящая. Из тех, что открывают выставки хризантем и крестят броненосцы.

Представьте, сэр, нам так и не удалось догнать эту фруктовую лоханку. Океан велик, — вероятно, мы поехали разными рейсами, но мы все держали курс на Анчурию, куда, по расписанию, направлялся и фруктовец.

Через несколько дней, часа в четыре, мы подъехали к этой обезьяньей стране. Недалеко от берега стояло какое-то плоговое судно, его грузили бананами. Мартышки подвозили к нему бананы на шлюпках. Может быть, это был тот пароход, на котором приехал мой старик, а может быть и нет. Неизвестно. Я пошел на берег — порасспросить, поискать. Виды кругом — красота. Я таких не видал даже в нью-йоркских театрах. Вижу, стоит на берегу среди мартышек рослый, спокойный детина. Я к нему, где здесь консул? Он показал. Я пошел. Консул был молодой и приятный. Он

сказал мне, что этот пароход — “Карлсефин”, что обычный его рейс — Новый Орлеан, но что сейчас он прибыл из Нью-Йорка. Тогда я решил, что мои беглецы тут и есть, хотя все говорили, что на “Карлсефине” не было никаких пассажиров. Я решил, что они спрячутся и ждут темноты, чтобы высадиться на берег ночью. Я думал: может быть, их напутала моя яхта? Мне оставалось одно: ждать и захватить их врасплох, чуть они выйдут на берег. Я не мог арестовать старика Уорфилда, мне нужно было разрешение тамошних властей, но я надеялся выцарапать у него деньги. Они почти всегда отдают вам украденное, если вы нагрываете на них, когда они распатаны, устали, когда у них развинчены нервы.

Чуть только стемнело, я сел под кокосовой пальмой на берегу, а потом встал и пошел побродить. Ну уж и город! Лучше оставаться в Нью-Йорке и быть честным, чем жить в этом мартышкином городе, хотя бы и с миллионом долларов.

Глиняные гнусные мазанки; трава на улицах такая, что тонет башмак; женщины без рукавов, с голой шеей, ходят и курят сигары; лягушки сидят на деревьях и дребезжат, как телега с пожарной кишкой, горы (с черного хода), море (с парадного). Горы сыплют песок, море смывает краску с домов. Нет, сэр, лучше человеку жить в стране господ бога<sup>1</sup> и кормиться у стойки с бесплатной закуской.

Главная улица тянулась вдоль берега, и я пошел по ней и повернул в переулок, где дома были из соломы и каких-то шестов. Мне захотелось посмотреть, что делают мартышки у себя дома, в жилищах, когда они не шмыгают по кокосовым деревьям. И в первой же лачуге, куда я заглянул, я увидел моих беглецов. Должно быть, высадились на берег, покуда я шатался по городу. Мужчина лет пятидесяти, гладко выбритый, нависшие брови, черный плащ и такое лицо, будто он хочет сказать: “А ну-ка, маленькие мальчики, ответьте мне на этот вопрос”, — как инспектор воскресной

<sup>1</sup> Ироническое название Соединенных Штатов.

школы. Подле него саквояж, тяжелый, как десять золотых кирпичей; тут же на деревянном стуле сидит шикарная барышня — прямо персик, одетая, как с Пятой авеню. Какая-то старуха, чернокожая, угощает их бобами и кофе. На гвозде висит фонарь — вот и все освещение. Я вошел и стал в дверях. Они посмотрели на меня, и я сказал:

— Мистер Уорфилд, вы арестованы. Надеюсь, что, щадя свою даму, вы не станете сопротивляться и шуметь. Вы знаете, зачем вы мне нужны.

— Кто вы такой? — спрашивает старик.

— О'Дэй, — говорю я. — Сыщик Колумбийского агентства. И вот вам мой добрый совет: возвращайтесь в Нью-Йорк и примите то лекарство, которое вы заслужили. Отдайте людям краденое; может быть, они простят вам вину. Едем сию же минуту. Я замолвлю за вас словечко. Даю вам пять минут на размышление.

Я вынул часы и стал ждать.

Тут вмешалась эта молодая. Высшего полета девица! И по ее платью и по всему остальному было ясно, что Пятая авеню создана для нее.

— Войдите! — сказала она. — Не стойте на пороге. Ваш костюм взбудоражит всю улицу. Объясните подробнее, чего вы хотите?

— Прошло три минуты, — сказал я. — Я объясню вам подробнее, покуда не прошли еще две. Вы признаете, что вы президент “Республики”?

— Да, — сказал он.

— Отлично, — говорю я. — Остальное понятно. Необходимо доставить в Нью-Йорк Дж. Черчилла Уорфилда, президента страхового общества “Республика”, а также деньги, принадлежащие этому обществу и находящиеся в незаконном владении у вышеназванного Дж. Черчилла Уорфилда.

— О-о! — говорит молодая леди в задумчивости. — Вы хотите увезти нас обратно в Нью-Йорк?

— Не вас, а мистера Уорфилда. Вас никто ни в чем не обвиняет. Но, конечно, мисс, никто не мешает вам сопроводить вашего отца.

Тут девица взвизгивает и бросается старику на шею.

— О, отец, отец, — кричит она этаким контральтовым голосом. — Неужели это правда? Неужели ты похитил чужие деньги? Говори, отец.

Вас бы тоже кинуло в дрожь, если бы вы услышали ее музыкальное тремоло.

Старик вначале казался совершенным болваном. Но она шептала ему на ухо, хлопала по плечу; он успокоился, хоть и вспотел.

Она отвела его в сторону, они поговорили минуту, а потом он надевает золотые очки и отдает мне саквояж.

— Господин сыщик, — говорит он. — Я согласен вернуться с вами. Я теперь и сам кончаю видеть (говорил он по-нашему ломано), что жизнь на этот гадкий и одинокий берег хуже, чем смерть. Я вернусь и отдам себя в руки общества “Республика”. Может быть, оно меня простит. Вы привезти с собой грабль?

— Грабли? — говорю я. — А зачем мне...

— Корабль! — поправила барышня. — Не смейтесь. Отец по рождению немец и неправильно говорит по-английски. Как вы прибыли сюда?

Барышня была очень расстроена. Держит платочек у лица и каждую минуту всхлипывает: “Отец, отец!” Потом подходит ко мне и кладет свою лилейную ручку на мой костюм, который, по первому разу, показался ей таким неприятным. Я, конечно, начинаю пахнуть, как двести тысяч фиалок. Говорю вам: она была прелесть! Я сказал ей, что у меня частная яхта.

— Мистер О'Дэй, — говорит она, — увезите нас поскорее из этого ужасного края. Пожалуйста! Сию же минуту. Ну, скажите, что вы согласны.

— Попробую, — говорю я, скрывая от них, что я и сам तो роплюсь поскорее спустить их на соленую воду, покуда они еще не передумали.

Они были согласны на все, но просили об одном: не вести их к лодке через весь город. Говорили, что они боятся огласки. Не хотели попасть в газеты. Отказались двинуться

с места, покуда я не дал им честного слова, что доставлю их на яхту не говоря ни одному человеку из тамошних.

Матросы, которые привезли меня на берег, были в двух шагах, в кабачке: играли на бильярде. Я сказал, что прикажу им отъехать на полмили в сторону и ждать нас там. Но кто доставит им мое приказание? Не мог же я оставить саквояж с арестованным, а также не мог взять его с собою — боялся, как бы меня не приметили эти мартышки.

Но барышня сказала, что черномазая старуха отнесет моим матросам записку. Я сел и написал эту записку, дал ее черномазой, объяснил, куда и как пойти, она трясет головой и улыбается, как павиан.

Тогда мистер Уорфилд заговорил с нею на каком-то заграничном жаргоне, она кивает головой и говорит “си, сеньор”, может быть, тысячу раз и убегает с запиской.

— Старая Августа понимает только по-немецки, — говорит мисс Уорфилд и улыбается мне. — Мы остановились у нее, чтобы спросить, где мы можем найти себе квартиру, и она предложила нам кофе. Она говорит, что воспитывалась в одном немецком семействе в Сан-Доминго.

— Очень может быть, — говорю я — Но можете обыскать меня, и вы не найдете у меня немецких слов; я знаю только четыре: “ферштейнхт” и “нох эйне”<sup>1</sup>. Но мне казалось, что “си, сеньор” — это скорее по-французски.

И вот мы трое двинулись по задворкам города, чтобы нас никто не увидел. Мы путались в терновнике и банановых кустах и вообще в тропическом пейзаже. Пригород в этом мартышкином городе — такое же дикое место, как Центральный парк в Нью-Йорке. Мы выбрались на берег за полмили от города. Какой то темно-рыжий дрыхнул под кокосовым деревом, а возле него длинное ружье в десять футов. Мистер Уорфилд поднимает ружье и швыряет в море.

— На берегу часовые, — говорит он. — Бунты и заговоры зреют, как фрукты.

Он указал на спящего, который так и не шевельнулся.

<sup>1</sup> “Не понимаю” и “еще одну” (рюмку).

— Вот, — сказал он, — как они выполняют свой долг. Дети!

Я видел, что подходит наша лодка, взял газету и зажег ее спичкой, чтобы показать матросам, где мы. Через полчаса мы были на яхте.

Первым долгом я, мистер Уорфилд и его дочь взяли саквояж в каюту владельца яхты, открыли его и сделали опись всего содержимого. В саквояже было сто пятьдесят тысяч долларов и, кроме того, куча брильянтов и разных ювелирных вещичек, а также сотня гаванских сигар. Я вернул старику сигары, а насчет всего остального выдал ему расписку как агент сысского бюро и запер все эти вещи у себя в особом помещении. Никогда я еще не путешествовал с таким удовольствием. Чуть мы выехали в море, дама повеселела и оказалась первоклассной певицей. В первый же день, как мы сели обедать и лакей налил ей в бокал шампанского, — а эта яхта была прямо плавучей “Асторией”, — она подмигивает мне и говорит:

— Не стоит нюнить, будем веселее! Дай бог вам скушать ту самую курицу, которая будет копошиться на вашей могиле.

На яхте было пианино, она села и начала играть, и пела лучше, чем в любом платном концерте, — она знала девять опер насквозь; лихая была барышня, самого высокого тона! Не из тех, о которых в великосветской хронике пишут: “и другие”. Нет, о таких печатают в первой строке и самыми крупными буквами.

Старик тоже, к моему удивлению, поднял повешенный нос. Однажды угощает он меня сигарой и говорит веселым голосом из тучи сигарного дыма:

— Мистер О’Дэй, я почему-то думаю, что общество “Республика” не доставит мне многие хлопоты. Берегите чемодан, мистер О’Дэй, чтобы отдать его тем, кому он принадлежит, когда мы кончим приехать.

Приезжаем мы в Нью-Йорк. Я звоню по телефону к начальнику, чтобы он встретил нас в конторе директора. Берем кеб, едем. На коленях у меня саквояж. Входим. Я с радостью вижу, что начальник созвал тех же денежных тузов,

что и прежде. Розовые лица, белые жилеты. Я кладу саквояж на стол и говорю:

— Вот деньги.

— А где же арестованный? — спрашивает начальник.

Я указываю на мистера Уорфилда, он выходит вперед и говорит:

— Разрешите сказать вам слово одно секретно.

Они уходят вместе с начальником в другую комнату и сидят там десять минут.

Когда они выходят назад, начальник черен, как тонна угля.

— Был ли у этого господина этот чемодан, когда вы в первый раз увидели его? — спрашивает он у меня.

— Был, — отвечаю я.

Начальник берет чемодан и отдает его арестанту с поклоном и говорит директорам:

— Знает ли кто-нибудь из вас этого джентльмена?

Все сразу закачали своими розовыми головами:

— Нет, не знаем.

— Позвольте мне представить вам, — продолжает начальник, — сеньора Мирафлореса, президента республики Анчурия. Сеньор великодушно согласился простить нам эту вопиющую ошибку, если мы защитим его доброе имя от всяких могущих возникнуть нападков и сплетен. С его стороны это большое одолжение, так как он вполне может потребовать удовлетворения по законам международного права. Я думаю, мы можем с благодарностью обещать ему полную тайну.

Розовые закивали головами.

— О'Дэй, — говорит мне начальник. — Вы не пригодны для частного агентства. На войне, где похищение государственных лиц — самое первое дело, вы были бы незаменимым человеком. Зайдите в контору завтра в одиннадцать.

Я понял, что это значит.

— Так что это обезьянский президент? — говорю я начальнику. — Почему же он не сказал мне этого?

— Так бы вы ему и поверили!

## XVIII ВИТАГРАФОСКОП

Программа мюзик-холла по сути своей фрагментарна и раздроблена. Публика не ждет эффектной развязки. Каждый номер достаточно плох сам по себе. Никому нет дела до того, сколько романов было у комической певицы, если она выдерживает свет прожекторов и может вытянуть две-три высоких ноты. Публика и бровью не поведет, если ученых собак бросят в пруд, как только они проскочат через последний обруч. Зрителям все равно, расшибся или нет велосипедист-эксцентрик, когда выкатился головой вперед со сцены при оглушительном звоне разбитой (бутафорской) посуды. Также не считают они, что купленный билет дает им право знать, питает ли виртуозка на банджо какие-нибудь чувства к ирландцу куплетисту.

Поэтому не будем поднимать занавес над живой картиной — соединившиеся любовники на фоне наказанного порока и для контраста — целующиеся комики, горничная и лакей, введенные как подачка церберам с пятидесятицентовых мест.

Наша программа заканчивается несколькими короткими номерами, а потом расходитесь по домам, спектакль окончен. Те, кто высидит до конца, найдут, если захотят, тоненькую нить, связывающую, хоть и очень непрочно, нашу повесть, понять которую может, пожалуй, один только Морж.

*Выдержки из письма от первого вице-президента нью-йоркского страхового общества "Республика" Франку Гудвину, в город Коралло, республика Анчурия.*

“Глубокоуважаемый мистер Гудвин! Мы получили ваше сообщение от фирмы Гаулэнд и Фурше из Нового Орлеана, а также чек на 100000 долларов, увезенных из нашей кассы покойным Дж. Черчиллем Уорфилдом, бывшим президентом нашего общества... Служащие и директора единогласно поручили мне выразить вам свое глубокое уважение и принести вам искреннюю благодарность за то, что вы так быстро возвратили нам все утраченные нами деньги, меньше чем через две недели после их исчезновения... Позвольте заверить вас, что все это дело не получит ни малейшей огласки... Искренне сожалеем о самоубийстве мистера Уорфилда, но... Приносим вам горячие поздравления по поводу вашего бракосочетания с мисс Уорфилд... Ее чарующая внешность, привлекательные манеры... благородная женственная душа... завидное положение в лучшем столичном обществе...

Сердечно вам преданный

*Люсайас И. Этлгэйт,*  
первый вице-президент  
страхового общества “Республика”.

ВИТАГРАФОСКОП  
(Кинематограф)

#### ПОСЛЕДНЯЯ КОЛБАСА

Место действия — *мастерская художника*. Художник, молодой человек приятной наружности, сидит в печальной позе среди разбросанных этюдов и эскизов, подпирая голову рукою. На сосновом ящике в центре мастерской стоит керосинка. Художник встает, затягивает ту же кушак и зажигает керосинку. Потом подходит к жестяной коробке для хлеба, наполовину скрытой ширмами, достает оттуда колбасу, переворачивает коробку вверх дном, чтобы показать, что она пустая, и кладет колбасу на сковородку, а сковородку ставит на керосинку. Керосинка гаснет; ясно: в ней нет керосина. Художник в отчаянии. Он хватается за колбасу и, пы-

лая внезапно нахлынувшим гневом, бешено швыряет ее в дверь. В эту самую минуту дверь открывается, и колбаса с силою бьет по носу входящего гостя. Видно, что он кричит и прыгает на месте, как будто танцует. Вошедший — краснощекий, бойкий остроглазый человек, вернее всего — ирландец. Вот он уже смеется; потом пинком ноги он сбрасывает на пол керосинку, художник тщетно старается пожать ему руку, гость со всего размаха ударяет его по спине, после этого делает знаки, по которым всякий мало-мальски смысленный зритель поймет, что он заработал огромные деньги, обменивая в Кордильерах у краснокожих индейцев ножи, топоры и бритвы на золотой песок. Он вытаскивает из кармана пачку денег величиной с изрядную ковригу хлеба и машет ею у себя над головой, в то же время делая жесты, как будто он пьет из стакана. Художник хватается за шляпу, и оба покидают мастерскую.

#### ПИСЬМЕНА НА ПЕСКЕ

Место действия — *пляж в Ницце*. Женщина, красивая, еще молодая, прекрасно одетая, с приятной улыбкой, степенная, склонилась над водою и от нечего делать выводит концом шелкового зонтика какие-то буквы на прибрежном песке. В ее красивом лице что-то дерзкое; в ее ленивой позе вы чувствуете что-то хищное; вам кажется, что вот сейчас эта женщина прыгнет, или скользнет, или поползет, как пантера, которая по непонятной причине притаилась и замерла. Она лениво чертит по песку одно только слово: “Изабелла”. В нескольких шагах от нее сидит мужчина. Вы видите, что хотя они уже не связаны дружбой, они все еще неразлучные спутники. Лицо у него темное, бритое, почти непроницаемое, но не совсем. Разговор у них клеится вяло. Мужчина тоже чертит на песке концом своей трости. И слово, которое он пишет, — “Анчурия”. А потом он глядит туда, где Средиземное море сливается с небом, и в глазах у него смертная тоска.



О. ГЕНРИ

ПУСТЫНЯ И ТЫ

Место действия — *окраина богатого имения, где-то в тропиках*. Старый индеец — лицо точно из красного дерева — ухаживает за травкой, растущей на могиле у болота. Потом встает и уходит в рощу, где уже сгустились короткие сумерки. На опушке рощи стоят рослый, хорошо сложенный мужчина с добрым, очень почтительным видом и женщина, безмятежно спокойная, с ясным лицом. Когда старый индеец подходит к ним, мужчина дает ему деньги. Хранитель могилы с той наивной гордостью, которая в крови у индейцев, получает свой заработок и удаляется. Мужчина и женщина стоят у опушки, потом поворачиваются и уходят по темнеющей тропинке рядом, рядом, так близко друг к другу, потому что в конце концов разве есть во всем мире что-нибудь лучше, чем маленький круг на экране кино и в нем двое, идущие рядом?

Занавес

Из сборника  
“ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА”  
1906

## Элси в Нью-Йорке

Нет, всезнающий читатель, это не продолжение серии “Элси”<sup>1</sup>. Но если бы та Элси жила в нашем большом городе, в книге о ней могла бы быть глава, мало чем отличающаяся от этого рассказа. Ни для кого не расставлено на дорогах Манхэттена столько силков и ловушек, как для бездомной молодости. Но представители городских учреждений, опекающих молодежь, изучили эти злодейские капканы, и почти все опасные пути охраняются их часовыми, которые жаждут спасти неразумных от грозящей им гибели. Из этого рассказа вы узнаете, как они провели мою Элси целой и невредимой через все опасности к цели, к которой она стремилась.

Отец Элси был закройщиком в фирме “Фокс и Оттер, верхнее платье и меховые изделия” на Нижнем Бродвее. Он был стар, двигался медленно и на ходу прихрамывал, поэтому какой-то рекордсмен-шофер, только что получивший права, в один прекрасный день сшиб его с ног за неимением более интересного объекта. Старика привезли домой, где он и пролежал в постели год, а потом умер, оставив после себя два доллара пятьдесят центов наличными и письмо от мистера Оттера, в котором тот предлагал по мере сил помочь своему верному старому служащему.

<sup>1</sup> Серия романов для юношества; автор их – Марта Финли (1828–1909).

Старый закройщик считал это письмо ценным наследством для своей дочери и с гордостью передал его из рук в руки, перед тем как ножницы Великого Портного перерезали нить его жизни.

Домовладелец только того и ждал; он вышел из-за кулис и бойко провел свою роль в знаменитой сцене выселения. Никто не потрудился заготовить снежную метель, в которую Элли могла бы убежать, кутаясь в старую красную шаль; но она все же ушла из дому, игнорируя все три единства. А что касается красной шали, — кому она теперь нужна? Коричневое осеннее пальто Элли было из дешевого материала, но по стилю и покрою не уступало лучшим творениям Фокса и Оттера. И ее счастливая звезда подарила ей красоту и глаза, голубые и невинные, как дамская почтовая бумага, и от двух долларов пятидесяти центов у нее оставался еще целый доллар. И письмо от мистера Оттера. Это ключ к рассказу. Я хочу, чтобы все было ясно с самого начала. Детективных рассказов написано так много, что они уже не находят сбыта.

И вот Элли, снаряженная, как описано выше, пускается в путь искать счастья. В письме мистера Оттера был один недостаток: в нем не значился адрес фирмы, которая с месяц назад переехала в новое помещение. Но Элли полагала, что сумеет найти ее. Она слышала, что полисмены, если вы обратитесь к ним вежливо или если следственная комиссия подвергнет их допросу с пристрастием, сообщают всякие сведения, в том числе адреса. Поэтому на углу Сто семьдесят седьмой улицы Элли села в трамвай и поехала на юг, до Сорок второй улицы, где, по ее мнению, остров кончался. Здесь она в нерешительности остановилась, потому что грохот и движение центральных улиц были ей внове. Там, где она жила до сих пор, был провинциальный Нью-Йорк, такая глушь, что по утрам молочники будили жителей скрипом колодцев, а не грохотом бидонов.

Симпатичный, загорелый молодой человек в мягкой шляпе прошел мимо Элли в здании Центрального вокзала. Это был Хэнк Росс с ранчо "Подсолнух" в штате Айдахо,

возвращавшийся домой после вылазки на Восток. На сердце у Хэнка было тоскливо, ибо ранчо "Подсолнух" было скучноватым местечком, и ему недоставало присутствия женщины. Хэнк надеялся во время своей поездки встретить родственную душу, которая согласилась бы разделить с ним его дом и достаток, однако девушки Ютама<sup>1</sup> пришлось ему не по вкусу. Но вот, подходя к вокзалу, он вдруг ощутил радостное волнение: он заметил милое наивное лицо Элли и тоску и неуверенность ее взгляда. С искренней, честной непосредственностью Запада он решил, что нашел свою подругу. Он чувствовал, что полюбит ее и окружит таким довольством, что она будет счастлива и вырастит на ранчо два подсолнуха там, где раньше рос один.

Хэнк повернулся и зашагал к Элли. Черпая спокойствие в своих благих намерениях, в которых еще никто никогда не сомневался, он подошел к ней и снял свою мягкую шляпу. Элли едва успела окинуть его красивое, открытое лицо робким взглядом скромного восхищения, как громадный полисмен набросился на ранчмена, схватил его за шиворот и прижал к стене. За два квартала от них из большого дома выходил в эту минуту вор-взломщик с мешком столового серебра на плече; но это я только так, к слову пришлось.

— Вы что же, решили у меня под самым носом свои штучки проделывать? — заорал полисмен. — Я вам покажу, как приставать к незнакомым женщинам на моем участке. Идем.

Элли со вздохом отвернулась, чтобы не видеть, как уведут ее ковбоя. А ей понравились его голубые глаза на темном, загорелом лице. Она пошла к югу, считая, что уже находится в том районе, где работал когда-то ее отец, и надеясь встретить кого-нибудь, кто расскажет ей, как найти фирму "Фокс и Оттер".

Но так ли ей хотелось найти мистера Оттера? Она унаследовала от старого закройщика независимый характер.

<sup>1</sup> Шутливое название Нью-Йорка; одноименная английская деревня увековечена в легенде о трех глупых готамских "мудрецах".

Насколько приятнее было бы найти работу, не прибегая к чужой помощи!

Элси увидела вывеску "Контора по найму" и вошла. Вдоль стены на стульях сидело много девушек. Несколько богато одетых дам расхаживали среди них и выбирали. Одна старая леди с белыми волосами и добрым лицом, вся в шуршащем черном шелку, поспешно подошла к Элси.

— Моя милая, — сказала она мягким, приятным голосом. — Вы ищите места? Мне так понравилось ваше лицо. Я ищу молоденькую женщину, которая была бы у меня и горничной, и компаньонкой. Вы будете жить в хороших условиях и получать тридцать долларов в месяц.

Прежде чем Элси успела пролепетать восторженное согласие, какая-то молодая женщина в золотых очках на костлявом носу и плотно застегнутом жакете схватила ее за рукав и увлекла в сторону.

— Меня зовут мисс Тиклбаум, — сказала она, — я работаю в Обществе Борьбы с Навязыванием Работы Девушкам, Ищущим Работы. На прошлой неделе мы удержали сорок семь девушек от поступления на место. Я здесь, чтобы защитить вас. Берегитесь всякого, кто предлагает вам работу. Откуда вы знаете, что эта женщина не собирается послать вас на работу в угольную шахту или убить вас, чтобы завладеть вашими зубами? Если вы согласитесь на какую бы то ни было работу без разрешения нашего Общества, вы будете арестованы нашим агентом.

— Но что же мне делать? — спросила Элси. — У меня нет ни дома, ни денег. Надо же мне что-нибудь делать. Почему мне нельзя принять предложение этой доброй леди?

— Не знаю, — сказала мисс Тиклбаум. — Этим ведает наш Комитет по Ликвидации Работодателей. В мои обязанности входит только следить, чтобы вы не получили работы. Я запишу вашу фамилию и адрес, и вы каждый четверг будете являться к нашему секретарю. У нас уже записано шестьсот девушек, которым со временем разрешено будет поступить на работу, когда освободятся места по нашему списку Достойных Работодателей, насчитывающему сейчас двадцать

семь имен. Можете в третье воскресенье каждого месяца приходиться в нашу часовню помолиться богу, послушать музыку и выпить лимонада.

Элси поспешила прочь, поблагодарив мисс Тиклбаум за ее своевременное предостережение и совет. В конце концов, нужно было, по-видимому, разыскивать мистера Оттера.

Но, пройдя несколько кварталов, она увидела в окне кондитерской записку: "Требуется кассирша". Проворно шмыгнула она в магазин, бросив сначала быстрый взгляд через плечо, чтобы убедиться, что агент по борьбе с получением работы не следует за ней.

Владелец кондитерской был благожелательный старичок, пахнувший мятными конфетами. Подробно расспросив Элси, он решил, что она вполне ему подходит. Приступать к работе нужно было немедленно, и Элси, преисполненная благодарности, сняла свое коричневое пальто и уже собралась влезть на высокий табурет за кассой.

Но она еще не успела это сделать, когда перед ней выросла какая-то тощая дама в стальных очках и черных митенках, которая указала на нее длинным пальцем и воскликнула: "Остановись, несчастная".

Элси остановилась.

— Известно ли вам, — сказала черно-стальная дама, — что, согласившись принять это место, вы, возможно, сегодня же явитесь причиной того, что сотни людей скончаются в нестерпимых мучениях и сотни душ погибнут безвозвратно?

— Ох, нет, — сказала испуганная Элси. — Как же это может случиться?

— Ром, — сказала дама, — сатана в образе рома. Известно ли вам, почему погибает столько людей, когда в театре происходит пожар? Конфеты с ликером. В них притаился демон — ром. У наших женщин, когда они сидят в театре, наблюдается сильное опьянение оттого, что они едят эти конфеты, наполненные ликером. Когда демон огня налетает на них, они не способны бежать. Кондитерские — это

винокуренные заводы дьявола. Способствуя распространению этих коварных изделий, вы способствуете физической и духовной гибели ваших ближних и заполнению тюрем, приютов и богаделен. Подумайте, прежде чем прикоснуться к деньгам, на которые покупают конфеты с ликером.

— Ах, боже мой! — сказала Элси, совсем сбитая с толку. — Я не знала, что в конфетах с ликером есть ром. Но надо же мне чем-нибудь жить. Что мне делать?

— Откажитесь от этого места, — сказала дама, — и пойдете со мной. Я скажу вам, что делать.

Сообщив владельцу кондитерской, что она передумала насчет места кассирши, Элси надела пальто и вышла вслед за тощей дамой на улицу, где ту поджидала элегантная коляска.

— Поищите другой работы, — сказала черно-стальная дама, — и всемерно помогайте истреблять многоголовую гидру — ром. — И она села в коляску и уехала.

— Что ж, придется все-таки идти к мистеру Оттеру, — сказала Элси огорченно, пускаясь в путь. — А жаль, я бы гораздо охотнее обошлась без чужой помощи.

Не доходя до Четырнадцатой улицы, Элси увидела прикрепленное к дверям объявление, которое гласило: "Пятьдесят девушек, умеющих шить, срочно требуются в костюмерную театра. Плата хорошая".

Она уже собиралась войти, когда торжественного вида человек, весь в черном, положил ей руку на плечо.

— Моя милая, — сказал он, — умоляю вас, не входите в эту одеваельню дьявола.

— Ах, господи! — воскликнула Элси, теряя терпение. — Можно подумать, что дьявол завладел всем Нью-Йорком! Чем плохо это место?

— Здесь, — сказал торжественный человек, — изготавливаются регалии сатаны, другими словами — костюмы, которые носят на сцене. Сцена — путь к пороку и гибели. Неужели вы не пожалеете свою душу и захотите собственноручно поддержать это измышление дьявола? Знаете ли вы, моя

милая, куда ведет театр? Знаете ли вы, куда отправляются актеры и актрисы, после того как опускается занавес над последним действием?

— Конечно, — сказала Элси. — В мюзик-холл. Но вы в самом деле полагаете, что будет грешно, если я заработаю немного денег шитьем? Мне, право же, пора подумать о заработке.

— Дары несправедливы! — воскликнул преподобный джентльмен, вздевая руки. — Заклинаю вас, дитя мое, отвернитесь от этого приюта греха и разврата.

— Но как мне заработать себе на жизнь? — спросила Элси. — Я совсем не горю желанием шить на оперетку, если это так ужасно, как вы говорите, но мне необходимо найти место.

— Господь напитает, — сказал торжественный джентльмен. — Бесплатные уроки закона божьего даются по воскресеньям в подвальном этаже под табачным магазином рядом с церковью. Мир вам. Аминь. До свиданья.

Элси побрела дальше на восток по Бродвею, и вдруг сердце ее подскочило: она увидела вывеску "Фокс и Оттер", протянувшуюся через весь фасад высокого здания. Словно невидимая рука привела ее сюда по извилистым путям, на которых она тщетно искала работы.

Она поспешно вошла в магазин и попросила мальчика передать мистеру Оттеру ее фамилию и письмо, которое он когда-то написал ее отцу. Ее сейчас же провели к нему в кабинет.

Когда она вошла, мистер Оттер поднялся ей навстречу и с приветливой улыбкой пожал ей руку. Это был уже немолодой, начинающий тучный мужчина, с лысиной, в золотых очках, вежливый, элегантный, сияющий.

— Так, так, вы, значит, маленькая дочка нашего Биэтти? Я всегда считал вашего отца одним из своих самых дельных и ценных служащих. Ничего не оставил? Так, так. Ну что же, мы не забыли его верную службу. Я не сомневаюсь, что у нас найдется место манекенщицы. О, работа легкая, легче не придумаешь.

Мистер Оттер позвонил. В дверь просунулась часть длинноногого клерка.

— Попросите сюда мисс Хокинс, — сказал мистер Оттер.

Мисс Хокинс явилась.

— Мисс Хокинс, — сказал мистер Оттер, — принесите мисс Биэтти для примерки наше манто из русского соболя и... постойте-ка... да, черную тюлевую шляпу, последнюю модель, с белыми перьями.

Элси стояла перед огромным зеркалом, порозовевшая, взволнованная. Ее глаза сияли, как далекие звезды. Она была красива. Увы, она была красива.

Ах, если бы я мог на этом закончить! И закончу, черт возьми. Нет, нужно довести рассказ до конца. Не я его придумал. Я только повторяю его.

Мне хотелось бы забросать цветами и мудрого полисмена, и леди, что Спасает Девушек от Работы, и антиалкоголистку, что пыгается искоренить конфеты с ликером, и служителя церкви, что восстает против театральных костюмов, и тысячи добрых людей, оберегающих молодежь от ловушек большого города, и в заключение указать, что все они явились орудиями, с помощью которых Элси добралась до благодетеля своего отца, до своего доброго друга и спасителя. И получился бы отличный рассказ про Элси, совсем в прежнем духе. Мне хотелось бы на этом закончить, но кое-что еще нужно досказать.

Пока Элси любовалась на себя в зеркало, мистер Оттер вошел в телефонную будку и вызвал какой-то номер. Не спрашивайте меня, какой именно.

— Оскар, — сказал он, — оставьте мне на сегодня вечером тот же столик... Что? Да тот, в мавританской комнате, слева от зимнего сада... Да, на двоих... Да, моя обычная марка, а к жаркому рейнвейн восемьдесят пятого года. Если окажется теплым, я вам шею сверну... Нет, не с ней... Да нет же... Новая — пальчики оближешь, Оскар, пальчики оближешь.

Утомленный и утомительный читатель, я закончу, с вашего разрешения, парафразой на несколько строк, написан-

ных, как вы, вероятно, помните, им, тем жителем Гэдсхилла<sup>1</sup>, перед которым вы если сейчас же не снимете шляпу, то так и будете стоять со шляпой на тыкве, да, сэр, на тыкве.

Погибла, ваше превосходительство. Погибла, ассоциации и общества. Погибла, преподобные и неподобные всех мастей. Погибла, реформаторы и законодатели, рожденные с божественным состраданием в сердце, но с еще большим благоговением перед деньгами. И гибнут подобные ей вокруг нас каждый день.

## ДАРЫ ВОЛХВОВ

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуть на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдать

<sup>1</sup> Диккенсом; описав в "Холодном доме" смерть бедняка Джо, Диккенс добавляет: "Умер ваше величество. Умер, милорды и джентльмены. Умер, преподобные и неподобные всех мастей. Умер, мужчины и женщины, рожденные с божественным состраданием в сердце. И умирают подобные ему вокруг нас каждый день".

ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью: "М-р Джеймс Диллингхем Юнг" "Диллингхем" развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове "Диллингхем" потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное "Д"? Но когда мистер Джеймс Диллингхем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: "Джим!" и нежные объятия миссис Джеймс Диллингхем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой мебелированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали крас-

ки. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингхем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое — волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спустились ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: "M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос". Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпу, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

— Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец, она нашла. Без сомнения, что было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восьмьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась кривыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом. "Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!" В семь часов кофе был сварен, раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обра-

щаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась.

Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас — ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, а лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так. Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердись, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

— Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью.

— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала — остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, — продолжала она, и ее нежный голос



вдруг зазвучал серьезно, — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше — восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делл, — сказал он. — Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же — увь! — чисто поженски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых, — которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого... Делла знала это, — и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вождеденный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

— Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

## ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ

Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием — лишь немногим древнее, чем Великая Китайская стена.

Джо Лэрреби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя, в большой спешке проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки, рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лэрреби исполнилось двадцать лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк.

Дилия Кэрузер жила на Юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепьянной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки на Север с целью завершения музыкального образования. Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли, впрочем, об этом мы и поведем рассказ.

Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы поговорить о светотени, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоях, Вальдтейфеле, Шопене и улонге<sup>1</sup>.

Джо и Дилия влюбились друг в друга или полюбились друг другу — как вам больше по вкусу — и, не теряя времени, вступили в брак, ибо (смотри выше), когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы.

Мистер и миссис Лэрреби сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля диез фортепьянной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а Искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат: продай имение твое и раздай нищим, а еще лучше — отдай эти денежки приврат-

<sup>1</sup> Улонг — сорт китайского чая.

нику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей Дилией и своим Искусством.

Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска — трюмо, письменный стол — комнату для гостей, а умывальник — пианино! И если все четыре стены вздумают надвинуться на вас, — не беда! Лишь бы вы со своей Дилией уместились между ними. Ну, а уж если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через Золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гаттерас, платье — на мыс Горн и выйти через Лабрадор!

Джо обучался живописи у самого великого Маэстри. Вы, без сомнения, слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока — вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепьянных клавиш.

Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда, но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской. Дилия же должна была познать все тайны Музыки, затем пресытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в партере или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду.

Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке: горячие, увлекательные беседы по возвращении с уроков; уютные обеды вдвоем и легкие, небременительные завтраки; обмен честолюбивыми мечта-

ми — причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого; взаимная готовность помочь и ободрить, и — да простят мне непритязательность моих вкусов — бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну.

Однако дни шли, и высоко поднятое знамя Искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистера Маэстри и герра Розенштока. Но, когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами.

День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении.

— Джо, дорогой мой, я получила урок? — торжественно объявила она. — И, знаешь, такие милые люди! Генерал... генерал А. Б. Пинкни с дочкой. У них свой дом на Семьдесят первой улице. Роскошный дом, Джо! Поглядел бы ты на их подъезд! Византийский стиль — так, кажется, ты это называешь. А комнаты! Ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного!

Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей восемнадцать лет. Я буду заниматься с ней три раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок пять долларов! Это же чудно! Еще два-три таких урока, и я возобновлю занятия с герром Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться и давай устроим хороший ужин.

— Тебе легко говорить, Дили, — возразил Джо, вооружась столовым ножом и топориком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. — А мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь,

а я — беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет, клянусь останками Бенвенуто Челлини! Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мостить улицы и приносить в дом доллар-другой.

Дилия подошла и повисла у него на шее.

— Джо, любимый мой, ну какой ты глупый! Ты не должен бросать живопись. Ты пойми — ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним... а я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстаюсь с моей музыкой. А на пятнадцать долларов в неделю мы будем жить, как миллионеры. И думать не смей бросать мистера Маэстри.

— Ладно, — сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. — Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не Искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина.

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы, — изрекла Дилия.

— Маэстри похвалил небо на том этюде, что я писал в парке, — сообщил Джо. — А Тинкл разрешил мне выставить две вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они подадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами.

— Непременно купят, — нежно проворковала Дилия. — А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку.

Всю следующую неделю чета Лэрреби рано садилась завтракать. Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки, и в семь часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями.

Искусство — требовательная возлюбленная. Джо теперь редко возвращался домой раньше семи часов вечера.

В субботу Дилия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький (восемь на десять дюймов) столик в маленькой (восемь на десять футов) гостиной.

— Клементина удручает меня порой, — сказала она чуть-чуть устало. — Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз. И эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни — вот чудесный старик! Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока — он ведь одинокий, вдовец — и стоит, теребя свою белую козлиную бородку. “Ну, как шестнадцатые и тридцать вторые? — спрашивает он всегда. — Идут на лад?”

Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной! А какие мягкие шерстяные портьеры! Клементина немножко покашливает. Надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ней — она такая ласковая и кроткая и так хорошо воспитана. Брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии.

Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана сначала десять долларов, потом пять, потом еще два и еще один-четыре самые что ни на есть настоящие банкноты — и положил их рядом с заработком своей жены.

— Продай акварель с обелиском одному субъекту из Пеории, — преподнес он ошеломляющее известие.

— Ты шутишь, Джо, — сказала Дилия. — Не может быть, чтобы из Пеории!

— Да вот, представь себе. Жаль, что ты не видала его, Дилия. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубчисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Гинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск и даже заказал мне еще одну картину — маслом: вид на Лэкуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох, уж эти мне уроки музыки! Ну ладно, ладно, они, конечно, не делимы от Искусства.

— Я так рада, что ты занимаешься своим делом, — горячо сказала Дилия. — Тебя ждет успех, дорогой. Тридцать три доллара! Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин.

— И филе-миньон с шампиньонами, — добавил Джо. — А ты не знаешь, где вилка для маслин?

В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил восемнадцать долларов на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное — по-видимому толстый слой масляной краски.

А через полчаса появилась и Дилия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел.

— Что случилось, Дилия? — спросил Джо, целуя жену. Дилия рассмеялась, но как-то не очень весело.

— Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валлийски, — сказала она. — Вообще это девушка со странностями. В пять часов вечера — гренки по-валлийски!

Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой, можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем — она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас как больно было! Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни... ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то — кажется, истопника — в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уж не так больно.

— А это что у тебя тут? — спросил Джо, нежно приподымая ее забинтованную руку и осторожно потягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта.

— Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь, — сказала Дилия. — Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд? — Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги.

— Продай ли я этюд! Спроси об этом нашего друга из Пеории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дилия?

— Часов в пять, должно быть, — жалобно сказала Дилия. — Утюг... то есть сыр сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он...

— Поди-ка сюда, Дилия, — сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи.

— Чем это та занималась последние две недели? — спросил он.

Дилия храбро посмотрела мужу в глаза — взглядом, исполненным любви и упрямства, — и забормотала что-то насчет генерала Пинкни... потом опустила голову, и правда вылилась наружу в бурном потоке слез.

— Я не могла найти уроков, — призналась Дилия. — И не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную — знаешь, на Двадцать четвертой улице — гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это — насчет генерала Пинкни и Клементины, — как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердись, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пеории.

— Он, между прочим, не из Пеории, — с расстановкой проговорил Джо.

— Ну, это уж не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо, и скажи, пожалуйста... нет, поцелуй меня сначала, скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?

— Я и не догадывался... до последней минуты, — сказал Джо. — И теперь бы не догадался, но сегодня я послал из котельной наверх, в прачечную, лигнин и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котел в этой прачечной.

— Так, значит, ты не...

— Мой покупатель из Пеории — так же, как и твой генерал Пинкни, — всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой.

Оба рассмеялись, и Джо начал:

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы... Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой.

— Нет, — сказала она. — Просто: когда любишь...

## ФАРАОН И ХОРАЛ

Сопи заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Сони начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу.

Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза; этот старик добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки Северному ветру, швейцару гостиницы "Под открытым небом", чтобы постояльцы ее приготовились.

Сопи понял, что для него настал час учредить в собственном лице комитет для изыскания средств и путей к защите своей особы от надвигавшегося холода. Поэтому он заерзал на своей скамейке.

Зимние планы Сопи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Трех месяцев заключения на Острове — вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды, в приятной компании, вдали от посягательства Борея и фараонов — для Сопи это был поистине предел желаний.

Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на Острове служила ему зимней квартирой. Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Сопи делал несложные приготовления к ежегодному паломничеству на Остров. И теперь время для этого наступило.

Прошлой ночью три воскресные газеты, которые он умело распределил — одну под пиджак, другой обернул ноги, третьей закутал колени, не защитили его от холода: он провел на своей скамейке у фонтана очень беспокойную ночь, так что Остров рисовался ему желанным и вполне своевременным, приютом. Сопи презирал заботы, расто-

чаемые городской бедноте во имя милосердия. По его мнению, закон был милостивее, чем филантропия. В городе имелась тьма общественных и частных благотворительных заведений, где он мог бы получить кров и пищу, соответствовавшие его скромным запросам. Но для гордого духа Сопи дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был Брут, так и здесь каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в личные дела джентльмена.

Решив, таким образом, отбыть на зимний сезон на Остров, Сопи немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много легких путей. Самая приятная дорога туда пролегла через ресторан. Вы заказываете себе в хорошем ресторане роскошный обед, наедаетесь до отвала и затем объявляете себя несостоятельным. Вас без всякого скандала передают в руки полисмена. Сговорчивый судья доверяет доброе дело.

Сопи встал и, выйдя из парка, пошел по асфальтовому морю, которое образует слияние Бродвея и Пятой авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, где по вечерам сосредоточивается все лучшее, что может дать виноградная лоза, шелковичный червь и протоплазма.

Сопи верил в себя — от нижней пуговицы жилета и дальше вверх. Он был чисто выбрит, пиджак на нем был приличный, а красивый черный галстук бабочкой ему подарила в День Благодарения<sup>1</sup> дама-миссионерша. Если бы ему удалось незаметно добраться до столика, успех был бы обеспечен. Та часть его существа, которая будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жа-

<sup>1</sup> День Благодарения — официальный американский праздник, введенный ранними колонистами Новой Англии в ознаменование первого урожая, собранного и Новом Свете (в последний четверг ноября).

ренная утка, думал Сопи, и к ней бутылка сабли. Затем сыр, чашечка черного кофе и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Счет будет не так велик, чтобы побудить администрацию кафе к особо жестоким актам мщения, а он, закусив таким манером, с приятностью начнет путешествие в свое зимнее убежище.

Но как только Сопи переступил порог ресторана, наметанный глаз метрдотеля сразу же заметил его потертые штаны и стоптанные ботинки. Сильные, ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар, избавив, таким образом, утку от уготованной ей печальной судьбы.

Сопи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на Остров не будет усеян розами. Что делать! Надо придумать другой способ проникнуть в рай.

На углу Шестой авеню внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами. Сопи схватил бульжник и бросил его в стекло. Из-за угла начал сбегаться народ, впереди всех мчался полисмен. Сопи стоял, заложив руки в карманы, и улыбался навстречу блестящим медным пуговицам.

— Кто это сделал? — живо осведомился полисмен.

— А вы не думаете, что тут замешан я? — спросил Сопи, не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу.

Полисмен не пожелал принять Сопи даже как гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Сопи с омерзением в душе побрел дальше... Вторая неудача.

На противоположной стороне улицы находился ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие ашгиты и тощие кошельки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы — жиденькие. В этот храм желудка Сопи беспрепятственно провел свои предсудительные

сапоги и красноречивые брюки. Он сел за столик и проглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога. А затем поведал ресторанному слуге, что он, Сопи, и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего.

— Ну, а теперь, — сказал Сопи, — живее! Позовите фараона. Будьте любезны, пошевеливайтесь: не заставляйте джентльмена ждать.

— Обойдешься без фараонов! — сказал официант голосом мягким, как сдобная булочка, и весело сверкнул глазами, похожими на вишенки в коктейле. — Эй, Кон, подсоби!

Два официанта аккуратно уложили Сопи левым ухом на бесчувственный тротуар. Он поднялся, сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и счистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой, Остров — далеким миражем. Полисмен, стоявший за два дома, у аптеки, засмеялся и пошел дальше.

Пять кварталов миновал Сопи, прежде чем набрался мужества, чтобы снова попытать счастья. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромно и мило одетая, стояла перед окном магазина и с живым интересом рассматривала тапки для бритвы и чернильницы, а в двух шагах от нее, опершись о пожарный кран, красовался здоровенный, сурового вида полисмен.

Сопи решил сыграть роль презренного и всеми ненавидимого уличного ловеласа. Приличная внешность намеченной жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основание надеяться, что скоро он опутит увесистую руку полиции на своем плече и зима на уютном острове будет ему обеспечена.

Сопи поправил галстук — подарок дамы-миссионерши, вытащил на свет божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу набекрень и направился прямо к молодой женщине. Он игриво подмигнул ей, крикнул, улыбнулся, откашлялся, словом — нагло пустил в ход все классические приемы уличного приставалы. Уголкем глаза Сопи видел,

что полисмен пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять предалась созерцанию тапков для бритвы. Сопи пошел за ней следом, наконец стал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал:

— Ах, какая вы милшечка! Прогуляемся?

Полисмен продолжал наблюдать. Стоило оскорбленной молодой особе поднять пальчик, и Сопи был бы уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка. Молодая женщина повернулась к Сопи и, протянув руку, схватила его за рукав.

— С удовольствием, Майк! — сказала она весело. — Пивком угостишь? Я бы я раньше с тобой заговорила, да фараон подсматривает.

Молодая женщина обвилась вокруг Сопи, как плющ вокруг дуба, и под руку с ней он мрачно проследовал мимо блюстителя порядка. Положительно, Сопи был осужден наслаждаться свободой.

На ближайшей улице он стряхнул свою спутницу и пустился наутек. Он остановился в квартале, залитом огнями рекламы, в квартале, где одинаково легки сердца, победы и музыка. Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто весело переговаривались на холодном ветру. Внезапный страх охватил Сопи. Может, какие-то злые чары сделали его неуязвимым для полиции? Он чуть было не впал в панику и дойдя до полисмента, величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку хулиганства в публичном месте.

Во всю мочь своего охрипшего голоса Сопи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся — всяческими способами возмущал спокойствие.

Полисмен покрутил свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему:

— Это йельский студент. Они сегодня празднуют свою победу над футбольной командой Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их.

Безутешный Сопи прекратил свой никчемный фейерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватит его за шиворот? Тюрьма на Острове стала казаться ему недоступной Аркадией. Он плотнее застегнул свой легкий пиджачок: ветер пронизывал его насквозь.

В табачной лавке он увидел господина, закуривавшего сигару от газового рожка. Свои шелковый зонтик он оставил у входа. Сопи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек с сигарой быстро последовал за ним.

— Это мой зонтик, — сказал он строго.

— Неужели? — нагло ухмыльнулся Сопи, прибавив к мелкой краже оскорбление. — Почему же вы не позовете полисмента? Да, я взял ваш зонтик. Так позовите фараона! Вот он стоит на углу.

Хозяин зонтика замедлил шаг. Сопи тоже. Он уже предчувствовал, что судьба сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством.

— Разумеется, — сказал человек с сигарой, — конечно... вы... словом, бывают такие ошибки... я... если это ваш зонтик... надеюсь, вы извините меня... я захватил его сегодня утром в ресторане... если вы признали его за свой... что же... я надеюсь, вы...

— Конечно, это мой зонтик, — сердито сказал Сопи. Бывший владелец зонтика отступил. А полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном манто: нужно было перевести ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай.

Сопи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шляпах и с дубинками. Он так хочет попасться к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого папу римского.

Наконец, Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суета и шум почти не долетали, и взял курс на Мэдисон-сквер. Ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке.

Но на одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь с остроконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из ее окон струился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей Сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки.

Взошла луна, безмятежная, светлая; экипажей и прохожих было немного; под карнизами сонно чирикали воробьи — можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше — в те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья, и чистые мысли, и чистые воротнички.

Под влиянием музыки, лившейся из окна старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная и чудесная перемена. Он с ужасом увидел бездну, в которую упал, увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низменные побуждения, из которых слагалась его жизнь.

И сердце его забилося в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой-судьбой. Он выкарабкается из грязи, он опять станет человеком, он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще не ушло, он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние честолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. Завтра утром он отправится в деловую часть города и найдет себе работу. Один меховщик предлагал ему как-то место возчика. Он завтра же разыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком. Он...

Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собою широкое лицо полисмента.

— Что вы тут делаете? — спросил полисмен.



- Ничего, — ответил Сопи.
- Тогда пойдем, — сказал полисмен.
- На Остров, три месяца, — постановил на следующее утро судья.

## ЗОЛОТО И ЛЮБОВЬ

Старик Энтони Рокволл, удалившийся от дел фабрикант и владелец патента на мыло “Эврика”, выглянул из окна библиотеки в своем особняке на Пятой авеню и ухмыльнулся. Его сосед справа, аристократ и клубмен Дж. ван Шуйлайт Саффолк-Джонс, садился в ожидавшую его машину, презрительно воротя нос от мыльного палатца, фасад которого украшала скульптура в стиле итальянского Возрождения.

— Ведь просто старое чучело банкрота, а сколько спеси! — заметил бывший мыльный король. — Берег бы лучше свое здоровье, замороженный Нессельроде, а не то скоро попадет в Эдемский музей. Вот на будущее лето размалюю весь фасад красными, белыми и синими полосами — погляжу тогда, как он сморщит свой голландский нос.

И тут Энтони Рокволл, всю жизнь не одобрявший звонков, подошел к дверям библиотеки и заорал: “Майк!” — тем самым голосом, от которого когда-то чуть не лопалось небо над канзасскими прериями.

— Скажите моему сыну, чтоб он зашел ко мне перед уходом из дому, — приказал он явившемуся на зов слуге.

Когда молодой Рокволл вошел в библиотеку, старик отложил газету и, взглянув на него с выражением добродушной суровости на полном и румяном без морщин лице, одной рукой взъерошил свою седую гриву, а другой загремел ключами в кармане.

— Ричард, почему ты платишь за мыло, которым моешься? — спросил Энтони Рокволл.

Ричард, всего полгода назад вернувшийся домой из колледжа, слегка удивился. Он еще не вполне постиг своего па-

пашу, который в любую минуту мог выкинуть что-нибудь неожиданное, словно девица на своем первом балу.

— Кажется, шесть долларов за дюжину, папа.

— А за костюм?

— Обыкновенно долларов шестьдесят.

— Ты джентльмен, — решительно изрек Энтони. — Мне говорили, будто бы молодые аристократы швыряют по двадцать четыре доллара за мыло и больше чем по сотне за костюм. У тебя денег не меньше, чем у любого из них, а ты все-таки держишься того, что умеренно и скромно. Сам я моюсь старой “Эврикой” — не только по привычке, но и потому, что это мыло лучше других. Если ты платишь больше десяти центов за кусок мыла, то лишнее с тебя берут за плохие духи и обертку. А пятьдесят центов вполне прилично для молодого человека твоих лет, твоего положения и состояния. Повторяю, ты — джентльмен. Я слышал, будто нужно три поколения для того, чтобы создать джентльмена. Это раньше так было. А теперь с деньгами оно получается куда легче и скорей. Деньги тебя сделали джентльменом. Да я и сам почти джентльмен, ей-богу! Я ничем не хуже моих соседей — так же вежлив, приятен и любезен, как эти два спесивых голландца справа и слева, которые не могут спать по ночам из-за того, что я купил участок между ними.

— Есть вещи, которых не купишь за деньги, — мрачно заметил молодой Рокволл.

— Нет, ты этого не говори, — возразил обиженный Энтони. — Я всегда стою за деньги. Я прочел всю энциклопедию насквозь: все искал чего-нибудь такого, чего нельзя купить за деньги; так на той неделе придется, должно быть, взяться за дополнительные тома. Я за деньги против всего прочего. Ну, скажи мне, чего нельзя купить за деньги?

— Прежде всего, они не могут ввести вас в высший свет, — ответил уязвленный Ричард.

— Ого! неужто не могут? — прогремел защитник корней зла. — Ты лучше скажи, где был бы весь твой высший свет, если бы у первого из Асторов не хватило денег на проезд в третьем классе?

Ричард вздохнул.

— Я вот к чему это говорю, — продолжал старик уже более мягко. — Потому я и попросил тебя зайти. Что-то с тобой неладно, мой мальчик. Вот уже две недели, как я это замечаю. Ну, выкладывай начистоту. Я в двадцать четыре часа могу реализовать одиннадцать миллионов наличными, не считая недвижимости. Если у тебя печень не в порядке, так “Бродяга” стоит под парами у пристани и в два дня доставит тебя на Багамские острова.

— Почти угадали, папа. Это очень близко к истине.

— Ага, так как же ее зовут? — проницательно заметил Энтони.

Ричард начал прохаживаться взад и вперед по библиотеке. Неотесанный старик отец проявил достаточно внимания и сочувствия, чтобы вызвать доверие сына.

— Почему ты не делаешь предложения? — спросил старик Энтони. — Она будет рада-радехонька. У тебя и деньги и красивая наружность, ты славный малый. Руки у тебя чистые, они не запачканы мылом “Эврика”. Правда, ты учился в колледже, но на это она не посмотрит.

— Все случая не было, — вздохнул Ричард.

— Устрой так, чтоб был, — сказал Энтони. — Ступай с ней на прогулку в парк или повези на пикник, а не то проводи ее домой из церкви. Случай! Тьфу!

— Вы не знаете, что такое свет, папа. Она из тех, которые вертят колесо светской мельницы. Каждый час, каждая минута ее времени распределены на много дней вперед. Я не могу жить без этой девушки, папа, без нее этот город ничем не лучше гнилого болота. А написать ей я не могу — просто не в состоянии.

— Ну, вот еще! — сказал старик. — Неужели при тех средствах, которые я тебе даю, ты не можешь добиться, чтобы девушка уделила тебе час-другой времени?

— Я слишком долго откладывал. Послезавтра в полдень она уезжает в Европу и пробудет там два года. Я увижусь с ней завтра вечером на несколько минут. Сейчас она гостит

в Ларчмонте у своей тетки. Туда я поехать не могу. Но мне разрешено встретить ее завтра вечером на Центральном вокзале, к поезду восемь тридцать. Мы проедем галопом по Бродвею до театра Уоллока, где ее мать и остальная компания будут ожидать нас в вестибюле. Неужели вы думаете, что она станет выслушивать мое признание в эти шесть минут? Нет, конечно. А какая возможность объясниться в театре или после спектакля? Никакой! Нет, папа, это не так просто, ваши деньги тут не помогут. Ни одной минуты времени нельзя купить за наличные; если б было можно, богачи жили бы дольше других. Нет никакой надежды поговорить с мисс Лэнтри до ее отъезда.

— Ладно, Ричард, мой мальчик, — весело отвечал Энтони. — Ступай теперь в свой клуб. Я очень рад, что это у тебя не печень. Не забывай только время от времени воскурять фимиам на алтаре великого бога Маммона. Ты говоришь, деньги не могут купить времени? Ну, разумеется, нельзя доказать, чтобы вечность завернули тебе в бумажку и доставили на дом за такую-то цену, но я сам видел, какие мозоли на пятках натер себе старик Хронос, гуляя по золотым приискам.

В этот вечер к братцу Энтони, читавшему вечернюю газету, зашла тетя Эллен, кроткая, сентиментальная, старенькая, словно пришибленная богатством, и, вздыхая, завела речь о страданиях влюбленных.

— Все это я от него уже слышал, — зевая, ответил братец Энтони. — Я ему сказал, что мой текущий счет к его услугам. Тогда он начал отрицать пользу денег. Говорит, будто бы деньги ему не помогут. Будто бы светский этикет не спихнуть с места даже целой упряжке миллионеров.

— Ах, Энтони, — вздохнула тетя Эллен. — Напрасно ты придаешь такое значение деньгам. Богатство ничего не значит там, где речь идет об истинной любви. Любовь все-сильна. Если б он только объяснился раньше! Она бы не смогла отказать нашему Ричарду. А теперь, я боюсь, уже поздно. У него не будет случая поговорить с ней. Все твое золото не может дать счастья нашему мальчику.

На следующий вечер ровно в восемь часов тетя Эллиен достала старинное золотое кольцо из футляра, побитого молотком, и вручила его племяннику.

— Надень его сегодня, Ричард, — попросила она. — Твоя мать подарила мне это кольцо и сказала, что оно приносит счастье в любви. Она велела передать его тебе, когда ты найдешь свою суженую.

Молодой Рокволл принял кольцо с благоговением и попробовал надеть его на мизинец. Оно дошло до второго сустава и застряло там. Ричард сиял его и засунул в жилетный карман, по свойственной мужчинам привычке. А потом вызвал по телефону кеб.

В восемь часов тридцать две минуты он выловил мисс Лэнтри из говорливой толпы на вокзале.

— Нам нельзя задерживать маму и остальных, — сказала она.

— К театру Уоллока, как можно скорей! — честно передал кебмену Ричард.

С Сорок второй улицы они влетели на Бродвей и помчались по звездному пути, ведущему от мягких лугов Запада к скалистым утесам Востока.

Не доезжая Тридцать четвертой улицы Ричард быстро поднял окошечко и приказал кебмену остановиться.

— Я уронил кольцо, — сказал он в извинение. — Оно принадлежало моей матери, и мне было бы жаль его потерять. Я не задержу вас: я видел, куда оно упало.

Не прошло и минуты, как он вернулся с кольцом. Но за эту минуту перед самым кебом остановился поперек дороги вагон трамвая. Кебмен хотел объехать его слева, но тяжелый почтовый фургон загородил ему путь. Он попробовал свернуть вправо, но ему пришлось попятиться назад от подводы с мебелью, которой тут было вовсе не место. Он хотел было повернуть назад — и только выругался, выпустив из рук вожжи. Со всех сторон его окружала невообразимая путаница экипажей и лошадей.

Создалась одна из тех уличных пробок, которые иногда совершенно неожиданно останавливают все движение в этом огромном городе.

— Почему вы не двигаетесь с места? — сердито спросила мисс Лэнтри. — Мы опоздаем.

Ричард встал в кебе и оглянулся по сторонам. Застывший поток фургонов, подвод, кебов, автобусов и трамваев заполнял обширное пространство в том месте, где Бродвей перекрещивается с Шестой авеню и Тридцать четвертой улицей, — заполнял так тесно, как девушка с талией в двадцать шесть дюймов заполняет двадцатидвухдюймовый пояс. И по всем этим улицам к месту их пересечения с грохотом катились еще экипажи, на полном ходу врезываясь в эту путаницу, цепляясь колесами и усиливая общий шум громкой бранью кучеров. Все движение Манхэттена будто застопорилось вокруг их экипажа. Ни один из нью-йоркских старожилков, стоявших в тысячной толпе на тротуарах, не мог припомнить уличного затора таких размеров.

— Простите, но мы, кажется, застряли, — сказал Ричард, усевшись на место. — Такая пробка и за час не рассосется. И виноват я. Если бы я не выронил кольца...

— Покажите мне ваше кольцо, — сказала мисс Лэнтри. — Теперь уже ничего не поделаешь, так что мне все равно. Да и вообще театр это, по-моему, такая сучка.

В одиннадцать часов вечера кто-то легонько постучался в дверь Энтони Рокволла.

— Войдите! — крикнул Энтони, который читал книжку о приключениях пиратов, облачившись в красный бархатный халат.

Это была тетя Эллиен, похожая на седовласого ангела, по ошибке забытого на земле.

— Они обручились, Энтони, — кротко сказала тетя. — Она дала слово нашему Ричарду. По дороге в театр они попали в уличную пробку и целых два часа не могли двинуться с места.

И знаешь ли, братец Энтони, никогда больше не хвастайся силой твоих денег. Маленькая эмблема истинной любви, колечко, знаменующее собой бесконечную и бескорыстную преданность, помогло нашему Ричарду завоевать свое счастье. Он уронил кольцо на улице и вышел из кеба,

чтобы поднять его. Но не успели они тронуться дальше, как создалась пробка. И вот, пока кеб стоял, Ричард объяснился в любви и добился ее согласия. Деньги просто мусор по сравнению с истинной любовью, Энтони.

— Ну ладно, — ответил старик. — Я очень рад, что наш мальчик добился своего. Говорил же я ему, что никаких денег не пожалее на это дело, если...

— Но чем же тут могли помочь твои деньги, братец Энтони?

— Сестра, — сказал Энтони Рокволл. — У меня пират попал черт знает в какую переделку. Корабль у него только что получил пробоину, а сам он слишком хорошо знает цену деньгам, чтобы дать ему затонуть. Дай ты мне ради бога дочитать главу.

На этом рассказ должен бы кончиться. Автор стремится к концу всей душой, так же как стремится к нему читатель. Но нам надо еще спуститься на дно колодца за истиной.

На следующий день субъект с красными руками и в синем горошчатом галстуке, назвавшийся Келли, явился на дом к Энтони Рокволлу и был немедленно допущен в библиотеку.

— Ну что же, — сказал Энтони, доставая чековую книжку, — неплохо сварили мыло. Посмотрим, — вам было выдано пять тысячч?

— Я приплатил триста долларов своих, — сказал Келли. — Пришлось немножко превысить смету. Фургоны и кебы я нанимал по пяти долларов, подводы и двуконные упряжки запрашивали по десяти. Шоферы требовали не меньше десяти долларов, а фургоны с грузом и все двадцать. Всего дороже обошлись полицейские: двоим я заплатил по полсотне, а прочим по двадцать и по двадцать пять. А ведь здорово получилось, мистер Рокволл? Я очень рад, что Уильям А. Брэди не видел этой небольшой массовой сценки на колесах; я ему зла не желаю, а беднягу, верно, хватил бы удар от зависти. И ведь без единой репетиции! Ребята были на месте секунда в секунду. И целых два часа ниже памятника Грили даже пальца негде было просунуть.

— Вот вам тысяча триста, Келли, — сказал Энтони, отрывая чек. — Ваша тысяча да те триста, что вы потратили из своих. Вы ведь не презираете денег, Келли?

— Я? — сказал Келли. — Я бы убил того, кто выдумал бедность.

Келли был уже в дверях, когда Энтони окликнул его.

— Вы не заметили там где-нибудь в толпе этакого пухлого мальчишку с луком и стрелами и совсем раздетого? — спросил он.

— Что-то не видал, — ответил озадаченный Келли. — Если он был такой, как вы говорите, так, верно, полиция забрала его еще до меня.

— Я так и думал, что этого озорника на месте не окажется, — ухмыльнулся Энтони. — Всего наилучшего, Келли!

## НЕОКОНЧЕННЫЙ РАССКАЗ

Мы теперь не стонем и не посыпаем главу пеплом при упоминании о геенне огненной. Ведь даже проповедники начинают внушать нам, что бог — это радий, эфир или какая-то смесь с научным названием и что самое худшее, чему мы, грешные, можем подвергнуться на том свете, — это некая химическая реакция. Такая гипотеза приятна, но в нас еще осталось кое-что и от старого религиозного страха.

Существуют только две темы, на которые можно говорить, дав волю своей фантазии и не боясь опровержений. Вы можете рассказывать о том, что видели во сне, и передавать то, что слышали от попуая. Ни Морфея, ни попуая суд не допустил бы к даче свидетельских показаний, а слушатели не рискнут придрагаться к вашему рассказу. Итак, сюжетом моего рассказа будет сновидение, за что приношу свои искренние извинения попуаям, словарь которых уж очень ограничен.

Я видел сон, столь далекий от скептических настроений наших дней, что в нем фигурировала старинная, почтенная, безвременно погибшая теория Страшного суда.

Гавриил протрубил в трубу, и те из нас, кто не сразу откликнулся на его призыв, были притянуты к допросу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися зади<sup>1</sup>, но, по-видимому, что-то с их имущественным цензом оказалось неладно, и непохоже было, чтобы нас выдали им на поруки.

Крылатый ангел-полисмен подлетел ко мне и взял меня за левое крыло. Совсем близко стояло несколько очень состоятельного вида духов, вызванных в суд.

— Вы из этой шайки? — спросил меня полисмен.

— А кто они? — ответил я вопросом.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые...

Но все это не относится к делу и только занимает место, предназначенное для рассказа.

Дэлси служила в универсальном магазине. Она продавала ленты, а может быть, фаршированный перец, или автомобили, или еще какие-нибудь безделушки, которыми торгуют в универсальных магазинах. Из своего заработка она получала на руки шесть долларов в неделю. Остальное записывалось ей в кредит и кому-то в дебет в главной книге, которую ведет господь бог... то есть, виноват, ваше преподабие. Первичная Энергия, так, кажется? Ну, значит, в главной книге Первичной Энергии.

Весь первый год, что Дэлси работала в магазине, ей платили пять долларов в неделю. Поучительно было бы узнать, как она жила на эту сумму. Вам это не интересно? Очень хорошо, вас, вероятно, интересуют более крупные суммы. Шесть долларов более крупная сумма. Я расскажу вам, как она жила на шесть долларов в неделю.

Однажды, в шесть часов вечера, прикалывая шляпку так, что булавка прошла в одной восьмой дюйма от мозжечка, Дэлси сказала своей сослуживице Сэди — той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем:

— Знаешь, Сэди, я сегодня сговорила пойти обедать со Свинкой.

— Не может быть! — воскликнула Сэди с восхищением. — Вот счастливица-то! Свинка страшно шикарный, он всегда водит девушек в самые шикарные места. — Один раз он водил Бланш к Гофману, а там всегда такая шикарная музыка и пропасть шикарной публики. Ты шикарно проведешь время, Дэлси.

Дэлси спешила домой. Глаза ее блеснули. На щеках горел румянец, возвещавший близкий расцвет жизни, настоящей жизни. Была пятница, из недельной получки у Дэлси осталось пятьдесят центов.

Улицы, как всегда в этот час, были залиты потоками людей. Электрические огни на Бродвее сияли, привлекая из темноты ночных бабочек; они прилетали сюда за десятки, за сотни миль, чтобы научиться обжигать себе крылья. Хорошо одетые мужчины — лица их напоминали те, что старые матросы так искусно вырезают из вишневого косточек, — оборачивались и глядели на Дэлси, которая спешила вперед, не удостоивая их вниманием. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно белые, с тяжелым запахом лепестки.

Дэлси вошла в дешевый магазин и купила на свои пятьдесят центов воротничок из машинных кружев. Эти деньги были, собственно говоря, предназначены на другое: пятнадцать центов на ужин, десять — на завтрак и десять — на обед. Еще десять центов Дэлси хотела добавить к своим скромным сбережениям, а пять — промотать на лакричные леденцы, от которых, когда засунешь их за щеку, кажется, что у тебя флюс и которые тянутся, когда их сосешь, так же долго, как флюс. Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией, но стоит ли жить, если жизнь лишена удовольствий!

Дэлси жила в меблированных комнатах. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница: в меблированных комнатах ваши соседи не знают, когда вы голодаете.

Дэлси поднялась в свою комнату — третий этаж, окна во двор, в мрачном каменном доме. Она зажгла газ. Ученые го-

<sup>1</sup> Одежда протестантских священников.

ворят нам, что самое твердое из всех тел — алмаз. Они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глиной. Они смазывают им крышки газовых горелок, и вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилькой его не всегда удастся проковырять, так что условимся называть его стойким.

Итак, Дэлси зажгла газ. При его свете силою в четверть свечи мы осмотрим комнату.

Кровать, стол, комод, умывальник, стул — в этом была повинна хозяйка. Остальное принадлежало Дэлси. На комод помещались ее сокровища, фарфоровая с золотом вазочка, подаренная ей Сэди, календарь — реклама консервного завода, сонник, рисовая пудра в стеклянном блюдечке и пучок искусственных вишен, перевязанный розовой ленточкой.

Прислоненные к кривому зеркалу, стояли портреты генерала Киченера, Уильяма Мэлдуна, герцогини Мальборо и Бенвенуто Челлини. На стене висел гипсовый барельеф какого-то ирландца в римском шлеме, а рядом с ним — ярчайшая олеография, на которой мальчик лимонного цвета гонялся за огненно-красной бабочкой. Дальше этого художественный вкус Дэлси не шел; впрочем, он никогда и не был поколеблен. Никогда шушуканья о плагиатах не нарушали ее покоя; ни один критик не шурился презрительно на ее малолетнего энтомолога.

Свинка должен был зайти за нею в семь. Пока она быстро приводит себя в порядок, мы скромно отвернемся и немного посплетничаем.

За комнату Дэлси платит два доллара в неделю. В будни завтрак стоит ей десять центов: она делает себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается. По воскресеньям она пирует: ест телячьи котлеты и оладьи с ананасами в ресторане Билли; это стоит двадцать пять центов, и десять она дает на чай. Нью-Йорк так располагает к расточительности. Днем Дэлси завтракает на работе за шестьдесят центов в неделю и обедает за один доллар и пять центов. Ве-

черняя газета — покажите мне жителя Нью-Йорка, который обходился бы без газеты! — стоит шесть центов в неделю и две воскресные газеты — одна ради брачных объявлений, другая для чтения — десять центов. Итого — четыре доллара семьдесят шесть центов. А ведь нужно еще одеваться, и...

Нет, я отказываюсь. Я слышал об удивительно дешевых распродажах мануфактуры и о чудесах, совершаемых при помощи нитки и иголки; но я что-то сомневаюсь. Мое перо повисает в воздухе при мысли о том, что в жизнь Дэлси следовало бы еще включить радости, какие полагаются женщине в силу всех неписанных, священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости. Два раза она была на Кони-Айленде и каталась на карусели. Скучно, когда удовольствия отпускаются вам не чаще раза в год.

О Свинке нужно сказать всего несколько слов. Когда девушки дали ему это прозвище, на почтенное семейство свиной легло незаслуженное клеймо позора. Можно и дальше использовать для его описания животный мир: у Свинки была душа крысы, повадки летучей мыши и великодушные кошки. Он одевался щеголем и был знатоком по части недоедания. Взглянув на продавщицу из магазина, он мог сказать вам с точностью до одного часа, сколько времени прошло с тех пор, как она ела что-нибудь более питательное, чем чай с пастилой. Он вечно рыскал по большим магазинам и приглашал девушек обедать. Мужчины, выводящие на прогулку собак, и те смотрят на него с презрением. Это — определенный тип; хватит о нем: мое перо не годится для описания ему подобных, я не плотник.

Без десяти семь Дэлси была готова. Она посмотрелась в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером, почти совсем свежие перчатки — все эти свидетельства отречения (даже от обеда) были ей очень к лицу.

На минуту Дэлси забыла все, кроме того, что она красива и что жизнь готова приподнять для нее краешек таинственной завесы и показать ей свои чудеса. Никогда еще ни

один мужчина не приглашал ее в ресторан. Сегодня ей предстояло на краткий миг заглянуть в новый, сверкающий красками мир.

Девушки говорили, что Свинка — мот. Значит, предстоит роскошный обед, и музыка, и можно будет поглядеть на разодетых женщин и отведать таких блюд, от которых у девушек скулы сводит, когда они пытаются описать их подругам. Без сомнения, он и еще когда-нибудь пригласит ее.

В окне одного магазина она видела голубое платье из китайского шелка. Если откладывать каждую неделю не по десять, а по двадцать центов... постоите, постоите... нет, на это уйдет несколько лет. Но на Седьмой авеню есть магазин подержанных вещей, и там...

Кто-то постучал в дверь. Дэлси открыла. В дверях стояла квартирная хозяйка с притворной улыбкой на губах и старалась уловить носом, не пахнет ли стряпней на украденном газе.

— Вас там внизу спрашивает какой-то джентльмен, — сказала она. — Фамилия Уиггинс.

Под таким названием Свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьез.

Дэлси повернулась к комоду, чтобы достать носовой платок, и вдруг замерла на месте и крепко закусилла нижнюю губу. Пока она смотрела в зеркало, она видела сказочную страну и себя — принцессу, только что проснувшуюся от долгого сна. Она забыла того, кто не спускал с нее печальных, красивых, строгих глаз, единственного, кто мог одобрить или осудить ее поведение. Прямой, высокий и стройный, с выражением грустного упрека на прекрасном меланхолическом лице, генерал Киченер глядел на нее из золоченой рамки своими удивительными глазами. Как заводная кукла, Дэлси повернулась к хозяйке.

— Скажите ему, что я не пойду, — проговорила она тупо. — Скажите, что я больна или еще что-нибудь. Скажите, что я не выхожу.

Проводив хозяйку и заперев дверь, Дэлси бросилась ничком на постель, так что черное перо совсем смялось, и про-

плакала десять минут. Генерал Киченер был ее единственный друг. В ее глазах он был идеалом рыцаря. На лице его читалось какое-то тайное горе, а усы его были, как мечта, и она немного боялась его строгого, но нежного взгляда. Она привыкла тешить себя невинной фантазией, что когда-нибудь он придет в этот дом и спросит ее, и его шпага будет постукивать о ботфорты. Однажды, когда какой-то мальчик стучал цепочкой по фонарному столбу, она открыла окно и выглянула на улицу. Но нет! Она знала, что генерал Киченер далеко, в Японии, ведет свою армию против диких турок. Никогда он не выйдет к ней из своей золоченой рамки. А между тем в этот вечер один взгляд его победил Свинку. Да, на этот вечер.

Поплавав, Дэлси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик. Обедать ей не хотелось. Она пропела два куплета из "Самми". Потом серьезно занялась красным пятнышком на своем носу. А потом придвинула стул к распатанному столу и стала гадать на картах.

— Вот гадость, вот наглость! — сказала она вслух. — Я никогда ни словом, ни взглядом не давала ему повода так думать.

В девять часов Дэлси достала из сундучка жестянку с сухарями и горшочек с малиновым вареньем и устроила пир. Она предложила сухарик с вареньем генералу Киченеру, но он только посмотрел на нее так, как посмотрел бы сфинкс на бабочку, если только в пустыне есть бабочки.

— Ну и не ешьте, если не хотите, — сказала Дэлси, — и не важничайте так, и не укоряйте глазами. Навряд ли вы были бы такой гордый, если бы вам пришлось жить на шесть долларов в неделю.

Дэлси нагубила генералу Киченеру, это не предвещало ничего хорошего. А потом она сердито повернула Бенвенуто Челлини лицом к стене. Впрочем, это было простительно, потому что она всегда принимала его за Генриха VIII, поведения которого не одобряла.

В половине десятого Дэлси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и юркнула в постель. Это очень

страшно: лечь спать, обменявшись на прощание взглядом с генералом Киченером, Уильямом Мэлдуном, герцогиней Мальборо и Бенвенуго Челлини.

Рассказ собственно так и остался без конца. Дописан он будет когда-нибудь позже, когда Свинка опять пригласит Дэлси в ресторан, и она будет чувствовать себя особенно одинокой, и генералу Киченеру случится отвернуться, и тогда...

Как я уже сказал, мне снилось, что я стою недалеко от кучки ангелов зажиточного вида, и полисмен взял меня за крыло и спросил, не из их ли я компании.

— А кто они? — спросил я.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые нанимали на работу девушек и платили им пять или шесть долларов в неделю. Вы из их шайки?

— Нет, ваше бессмертство, — ответил я. — Я всего-навсего поджег приют для сирот и убил слепого, чтобы воспользоваться его медяками.

## МЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА

Беспокойны, непоседливы, преходящи, как само время, люди, населяющие красно-кирпичные кварталы нижнего Вестсайда. Они бездомны, но у них сотни домов. Они перепархивают из одной мебелированной комнаты в другую, не заживаясь нигде, не привязываясь ни к одному из своих убежищ, непостоянные в мыслях и чувствах. Они поют "Родина, милая родина" в ритме рэгтайма, своих ларов и пенатов они носят с собой в шляпных картонках, их лоза обвивается вокруг соломенной шляпки, смоковницей их служит фокус.

Дома этого района, перевидавшие тысячи постояльцев, могли бы, вероятно, рассказать тысячи историй, по большей части скучных, конечно, но было бы странно, если бы после всех этих бродячих жильцов в домах не осталось ни одного привидения.

Однажды вечером, когда уже стемнело, среди этих красных домов-развалин блуждал какой-то молодой человек и звонил у каждой двери. У двенадцатой двери он поставил свой тощий чемоданчик на ступеньку и вытер пыль со лба и шляпы. Звонок прозвучал еле слышно, где-то далеко, в недрах дома.

В дверях этого двенадцатого по счету дома появилась хозяйка, похожая на противного жирного червя, который уже выгрыз всю сердцевину ореха и теперь заманивает в пустую скорлупу съедобных постояльцев.

Он спросил, есть ли свободные комнаты.

— Войдите, — сказала хозяйка. Голос шел у нее из горла, словно подбитого мехом. — Есть комната на третьем этаже, окнами во двор, уже неделю стоит пустая. Хотите посмотреть?

Молодой человек стал подниматься следом за ней по лестнице. Тусклый свет из какого-то невидимого источника скрадывал тени в коридорах. Хозяйка и гость бесшумно шли по устилавшему лестницу ковру, такому древнему, что от него отрезся бы даже станок, на котором его ткали. Он теперь принадлежал скорее к растительному царству: выродился в этом затхлом, лишенном солнца воздухе в буйный лишайник или пышный мох, который пучками прирос к ступенькам и прилипал к подошвам, как органическое вещество. На каждом повороте лестницы в стене была пустая ниша. Здесь, возможно, стояли когда-то цветы. Если так, цветы, должно быть, погибли в этом нечистом, зловонном воздухе. Возможно также, что когда-нибудь в этих нишах помещались статуи святых, но легко было представить себе, что черти с чертенятами, выбрав ночь потемнее, выволокли их оттуда и ввергли в нечестивую глубь какой-нибудь мебелированной преисподней.

— Вот комната, — раздалось из мехового горла хозяйки. — Хорошая комната. Она редко пустует. Прошлой лето у меня в ней жили прекрасные постояльцы — никаких неприятностей, и платили вперед, точно, в срок. Кран в конце коридора. Три месяца ее снимали Спраулз и Муни. Из водевиля,



играли скетчи. Мисс Брэгга Спраулз, может, слышали... Нет, нет, она только выступала под этой фамилией, брачное свидетельство висело вон там, над комодом, в рамке. Газ вот тут, стенные шкафы, как видите, есть. Такая комната кому не понравится. Она никогда не пустует подолгу.

— И часто актеры снимают у вас комнаты? — спросил молодой человек.

— Всяко бывает. Многие из моих постояльцев работают в театре. Да, сэр, в этом районе много театров. Актеры, они, знаете, нигде подолгу не живут. Бывает, что и у меня поселятся, всяко бывает.

Он сказал, что комната ему подходит и что он устал и куда сегодня не пойдет. Он отдал деньги вперед за неделю. Комната прибрана, сказала хозяйка, даже вода и полотенце приготовлены. Когда она собралась уходить, он в тысячный раз задал вопрос, который вертелся у него на языке:

— Вы не помните среди ваших жильцов молодую девушку — мисс Вешнер, мисс Элоизу Вешнер? Скорее всего она поет на сцене. Красивая девушка, среднего роста, стройная, волосы рыжевато-золотистые и на левом виске темная родинка.

— Нет, такой фамилии не помню. Эти актеры меняют имена так же часто, как комнаты. Нынче они здесь, завтра уехали, всяко бывает. Нет, такой что-то не припомню.

Нет. Вечное нет. Пять месяцев беспрестанных поисков, и все напрасно. Сколько времени потрачено, днем — на расспрашивание антрепренеров, агентов, театральных школ и эстрадных хоров; по вечерам — в театрах, от самых серьезных до мюзик-холлов такого низкого пошиба, что он боялся найти там то, на что больше всего надеялся. Он любил ее сильнее всех и давно искал ее. Он был уверен, что после ее исчезновения из дому этот большой, опоясанный водой город прячет ее где-то, но город — как необъятное пространство зыбучего песка, те песчинки, что вчера еще были на виду, завтра затянет илом и тиной.

Меблированная комната встретила своего нового постояльца слабой вспышкой притворного гостеприимства, лихо-

радным, вымученным, безучастным приветствием, похожим на лживую улыбку продажной красотки. Отраженный свет сомнительного комфорта исходил от ветхой мебели, от оборванной парчовой обивки дивана и двух стульев, от узкого дешевого зеркала в простенке между окнами, от золоченых рам на стенах и никелированной кровати в углу.

Новый жилец неподвижно сидел на стуле, а комната, путаясь в наречиях, словно она была одним из этажей Вавилонской башни, пыталась поведать ему о своих разношерстных обитателях.

Пестрый коврик, словно ярко расцвеченный прямоугольный тропический островок, окружало бурное море истоптанных циновок. На оклеенных серыми обоями стенах висели картины, которые по пятнам преследуют всех бездомных, — “Любовь гугенота”, “Первая ссора”, “Свадебный завтрак”, “Психея у фонтана”. Целомудренно-строгая линия каминной доски стыдливо пряталась за наглой драпировкой, лихо натянутой наискось, как шарф у балерины в танце амазонок. На камине скопились жалкие обломки крушения, оставленные робинзонами в этой комнате, когда парус удачи унес их в новый порт, — грошковые вазочки, портреты актрис, пузырек от лекарства, разрозненная колода карт.

Один за другим, как знаки шифрованного письма, становились понятными еле заметные следы, оставленные постояльцами меблированной комнаты. Вытертый кусок ковра перед комодом рассказал, что среди них были красивые женщины. Крошечные отпечатки пальцев на обоях говорили о маленьких пленниках, пытавшихся найти дорогу к солнцу и воздуху. Неправильной формы пятно на стене, окруженное лучами, словно тень взорвавшейся бомбы, отмечало место, где разлетелся вдребезги полный стакан или бутылка. На зеркале кто-то криво нацарапал алмазом имя “Мари”. Казалось, жильцы один за другим приходил в ярость, — может быть, выведенные из себя вопиющим равнодушием комнаты, — и срывали на ней свою злость. Мебель была изрезанная, обшарпанная; диван с

торчащими пружинами казался отвратительным чудовищем, застывшим в уродливой предсмертной судороге. Во время каких-то серьезных беспорядков от каминной доски откололся большой кусок мрамора. Каждая половица бормотала и скрипела по своему, словно жалуясь на личное, ей одной известное горе. Не верилось, что все эти увечья были умышленно нанесены комнате людьми, которые хотя бы временно называли ее своей, а впрочем, возможно, что ярость их распалил обманутый, подавленный, но еще не умерший инстинкт родного угла, мстительное озлобление против вероломных домашних богов. Самую убогую хижину, если только она наша, мы будем держать в чистоте, украшать и беречь.

Молодой человек, сидевший на стуле, дал этим мыслям прошагать на бесшумных подошвах по его сознанию, в то время как в комнату незаметно стекались мебелированные звуки и запахи. Из одной комнаты донесся негромкий, прерывистый смех, из других — монолог разъяренной мегеры, стук игральные костей, колыбельная песня, приглушенный плач, над головой упоенно заливалось банджо. Где-то хлопнули двери, то и дело громыхали мимо поезда надземки, во дворе на заборе жалобно мяукала кошка. И он вдыхал дыхание дома — скорее даже не запах, а промозглый вкус — холодные влажные испарения, словно из погреба, смешанные с зловонием линолеума и заплесневелого, гниющего дерева.

И вдруг, пока он сидел все так же неподвижно, комнату наполнил сильный, сладкий запах резеды. Он вошел, словно принесенный порывом ветра, такой уверенный, проникновенный и яркий, что почти казался живым. И молодой человек крикнул “Что, милая?” — словно его позвали, вскочил со стула и огляделся. Густой запах льнул к нему, обволакивал его. Он протянул руки, чтобы схватить его, все его чувства мгновенно смешались и спутались. Как может запах так настойчиво звать человека? Нет, это, конечно, был звук. Но тогда, значит, звук дотронулся до него, погладил по руке?

— Она была здесь! — крикнул он и заметался по комнате, надеясь вырвать у нее признание, так как был убежден, что узнает каждую мелочь, которая принадлежала ей или которой она касалась. Этот всепроникающий запах резеды, аромат, который она любила, ее аромат, откуда он?

Комната была прибрана не очень тщательно. На смятой салфетке комода валялось несколько шпилек — этих молчаливых, безличных спутников всякой женщины: женского рода, неопределенного вида, неизвестно какого времени. Их он не стал разглядывать, понимая, что от них ничего не добиться. Роясь в ящиках комода, он нашел маленький разорванный носовой платок. Он прижал его к лицу. От платка, нагло и назойливо пахло гелиотропом — он швырнул его на пол. В другом ящике ему попало несколько пуговиц, театральная программа, ломбардная квитанция, две конфеты, сонник. В последнем ящике он увидел черный шелковый бант и на минуту затаил дыхание. Но черный шелковый бант — тоже сдержанное, безличное украшение любой женщины и ничего не может рассказать.

И тут он, как ищейка, пошел по следу оглядывал стены, становился на четвереньки, чтобы ощутить улы бугристой циновки, обшарил столы и камин, портьеры и занавески и пьяный шкафчик в углу, в поисках видимого знака, еще не веря, что она здесь, рядом, вокруг, в нем, над ним, льнет к нему, ластится, так мучительно зовет к его сознанию, что даже его чувства восприняли этот зов. Раз он опять ответил вслух: “Да, милая!” — и обернулся, но его широко раскрытые глаза увидели пустоту, потому что он не мог еще различить в запахе резеды очертаний, и красок, и любви, и протянутых рук. О боже! Откуда этот запах, и давно ли у запахов есть голос? И он продолжал искать.

Он копался в углах и щелях и находил пробки и папиросы. Их он пренебрежительно отшвыривал. Но под циновкой ему попался окурок сигары, и он, выругавшись злобно и грубо, раздавил его каблуком. Он просеял всю комнату как сквозь сито. Он прочел печальные и позорные строки о многих бродячих жильцах, но не нашел ни следа той, ко-

торую искал, которая, может быть, жила здесь, чей дух, казалось, витал в этой комнате.

Тогда он вспомнил о хозяйке.

Из населенной призраками комнаты он сбежал по лестнице вниз к двери, из-под которой виднелась полоска света. Хозяйка вышла на его стук.

Он, насколько мог, подавил свое возбуждение.

— Скажите мне, пожалуйста, — умолял он ее, — кто жил в моей комнате до меня?

— Хорошо, сэр. Могу рассказать еще раз. Спраулз и Муни, как я вам и говорила. Мисс Брэтта Спраулз — это по сцене, а на самом деле — миссис Муни. У меня живут только порочные люди, это всем известно. Брачное свидетельство висело в рамке, на гвозде, над...

— А что за женщина была эта мисс Спраулз, какая она была с виду?

— Да как вам сказать, сэр, брюнетка, маленького роста, полная, лицо веселое. Они съехали в прошлый вторник.

— А до них?

— А до них был одинокий джентльмен, работал по извозной части. Уехал и задолжал мне за неделю. До него была миссис Краудер с двумя детьми, жила четыре месяца, еще до них был старый мистер Доил, за того платили сыновья. Он занимал комнату шесть месяцев. Вот вам целый год, сэр, а раньше я и не припомню.

Он поблагодарил ее и пошел назад в свою комнату. Комната умерла. Того, что вдохнуло в нее жизнь, больше не было. Аромат резеды исчез. Как прежде, пахло погребом и отсыревшей мебелью.

Взлет надежды отнял у него последние силы. Он сидел, туло уставившись на желтый, шипящий газовый рожок. Потом подошел к кровати и стал разбирать простыни на полосы. Перочинным ножом он крепко законопатил ими дверь и окна. Когда все было готово, он потушил свет, открыл газ и благодарно растянулся на постели.

В этот вечер была очередь миссис Маккуль идти за пивом. Она и сходила за ним и теперь сидела с миссис Пурди

в одном из тех подземелий, где собираются квартирные хозяйки и где червь если и умирает, то редко<sup>1</sup>.

— Сдала я сегодня мою комнату на третьем этаже, ту, что окнами во двор, — сказала миссис Пурди поверх целой шапки пены. — Снял какой-то молодой человек. Он уже два часа как лег спать.

— Да что вы, миссис Пурди, неужто сдали? — сказала миссис Маккуль, сопя от восхищения. — Прямо чудо, как вы умеете сдавать такие комнаты. И как же вы, сказали ему или нет? — закончила она криплым, таинственным шепотом.

— Меблированные комнаты, — сказала миссис Пурди на самых своих меховых нотах, — для того и существуют, чтобы их сдавать. Я ему ничего не сказала, миссис Маккуль.

— И правильно сделали, миссис Пурди: чем же нам и жить, как не сдачей комнат. Вы, прямо скажу, деловая женщина. Ведь есть которые нипочем не снимут комнату, скажи им только, что в ней человек покончил с собой, да еще на кровати.

— Ваша правда, жить всем нужно, — заметила миссис Пурди.

— Нужно, миссис Пурди, ох как нужно! Сегодня как раз неделя, что я вам помогала обмывать покойницу. А хорошенькая была какая, и чего ей понадобилось травить себя газом, личико такое милое у нее было, миссис Пурди.

— Пожалуй, что и хорошенькая, — сказала миссис Пурди, соглашаясь, но не без критики, — только вот родинка эта на левом виске ее портила. Наливайте себе еще, миссис Маккуль.

## НЕДОЛГИЙ ТРИУМФ ТИЛЬДИ

Если вы не знаете закуской и семейного ресторана Богля, вы много потеряли. Потому что если вы — один из тех счастливых, которым по карману дорогие обеды, вам должно

<sup>1</sup> Намек на евангельское: "Где червь их не умирает и огонь не погасает", то есть в аду, "геенне огненной".

быть интересно узнать, как уничтожает съестные припасы другая половина человечества. Если же вы принадлежите к той половине, для которой счет, поданный лакеем, — событие, вы должны узнать Богля, ибо там вы получите за свои деньги то, что вам причитается (по крайней мере по количеству).

Ресторан Богля расположен на проспекте Средней буржуазии — на бульваре Брауна-Джонса-Робинсона — на Восьмой авеню. В зале два ряда столиков, по шести в каждом ряду. На каждом столике стоит судок с приправами. Из перечницы вы можете вытрясти облачко чего-то меланхоличного и безвкусного, как вулканическая пыль. Из солонки не сыплетс ничего. Даже человек, способный выдавить красный сок из белой репы, потерпел бы поражение, вздумай он добыть хоть крошку соли из боглевской солонки. Кроме того, на каждом столе имеется баночка подделки под сверхострый соус, изготавливаемый по рецепту одного индийского раджи.

За кассой сидит Богль, холодный, суровый, медлительный, грозный, и принимает от вас деньги. Выглядывая из-за горы зубочисток, он дает вам сдачу, накалывает ваш счет, отрывисто, как жаба, бросает вам замечание насчет погоды. Но мой вам совет — ограничьтесь подтверждением его метеорологических пророчеств. Ведь вы — не знакомый Богля; вы случайный кормящийся у него посетитель; вы можете больше не встретиться с ним до того дня, когда труба Гавриила призовет вас на последний обед. Поэтому берите вашу сдачу и катитесь куда хотите, хоть к черту. Такова теория Богля.

Посетителей Богля обслуживали две официантки и Голос. Одну из девушек звали Эйлин. Она была высокого роста, красивая, живая, приветливая и мастерица позубоскалить. Ее фамилия? Фамилии у Богля считались такой же излишней роскошью, как полоскательницы для рук.

Вторую официантку звали Тильди. Почему обязательно Матильда? Слушайте внимательно: Тильди, Тильди. Тильди была маленькая, толстенная, некрасивая и прилагала слишком много усилий, чтобы всем угодить, чтобы всем угодить.

Перечитайте последнюю фразу раза три, и вы увидите, что в ней есть смысл.

Голос был невидимкой. Он исходил из кухни и не блистал оригинальностью. Это был непросвещенный Голос, который довольствовался простым повторением кулинарных восклицаний, издаваемых официантками.

Вы позволите мне еще раз повторить, что Эйлин была красива? Если бы она надела двухсотдолларовое платье и прошла бы в нем на пасхальной выставке нарядов, и вы увидели бы ее, вы сами поторопились бы сказать это.

Клиенты Богля были ее рабами. Она умела обслуживать сразу шесть столов. Торопившиеся сдерживали свое нетерпение, радуясь случаю полюбоваться ее быстрой походкой и грациозной фигурой. Насытившиеся заказывали еще что-нибудь, чтобы подольше побыть в сиянии ее улыбки. Каждый мужчина — а женщины заглядывали к Боглю редко — старался произвести на нее впечатление.

Эйлин умела перебрасываться шутками с десятью клиентами одновременно. Каждая ее улыбка, как дробинки из дробовика, попадала сразу в несколько сердец. И в это же самое время она умудрялась проявлять чудеса ловкости и проворства, доставляя на столы свинину с фасолью, рагу, яичницы, колбасу с пшеничным соусом и всякие прочие яства в сотейниках и на сковородках, в стоячем и лежащем положении. Все эти пиршества, флирт и блеск остроумия превращали ресторан Богля в своего рода салон, в котором Эйлин играла роль мадам Рекамье.

Если даже случайные посетители бывали очарованы восхитительной Эйлин, то что же делалось с завсегдатаями Богля? Они обожали ее. Они соперничали между собою. Эйлин могла бы весело проводить время хоть каждый вечер. По крайней мере два раза в неделю кто-нибудь водил ее в театр или на танцы. Один толстый джентльмен, которого они с Тильди прозвали между собой Боровом, подарил ей колечко с бирюзой. Другой, получивший кличку Нахал и служивший в ремонтной мастерской, хотел подарить ей пуделя, как только его брат-возчик получит подряд на

Девятой улице. А тот, который всегда заказывал свиную грудинку со шпинатом и говорил, что он биржевой маклер, пригласил ее на "Парсифалья".

— Я не знаю, где это Парсифаль и сколько туда езды, — заметила Эйлин, рассказывая об этом Тильди, — но я не сделаю ни стежка на моем дорожном костюме, до тех пор пока обручальное кольцо не будет у меня на пальце. Права я или нет?

А Тильди...

В пропитанном парами, болтовней и запахом капусты заведении Богля разыгрывалась настоящая трагедия. За кубышкой Тильди, с ее носом-пуговкой, волосами цвета соломы и веснушчатым лицом, никогда никто не ухаживал. Ни один мужчина не провожал ее глазами, когда она бегала по ресторану, разве что голод заставит их жадно высматривать заказанное блюдо.

Никто не заигрывал с нею, не вызывал ее на веселый турнир остроумия. Никто не подтрунивал над ней по утрам, как над Эйлин, не говорил ей, скрывая под насмешкой зависть к неведомому счастливцу, что она, видно, позднеенько пришла вчера домой, что так медленно подает сегодня. Никто никогда не дарил ей колец с бирюзой и не приглашал ее на таинственный, далекий Парсифаль.

Тильди была хорошей работницей, и мужчины терпели ее. Те, что сидели за ее столиками, изъяснялись с ней короткими цитатами из меню, а затем уже другим, медовым голосом заговаривали с красавицей Эйлин. Они ерзали на стульях и старались из-за приближающейся фигуры Тильди увидеть Эйлин, чтобы красота ее превратила их яичницу с ветчиной в амброзию.

И Тильди довольствовалась своей ролью серенькой труженицы, лишь бы на долю Эйлин доставались поклонение и комплименты. Нос пуговкой питал верноподданнические чувства к короткому греческому носику. Она была другом Эйлин, и она радовалась, видя, как Эйлин властвует над сердцами и отвлекает внимание мужчин от дымящегося пирога и лимонных пирожных. Но глубоко под веснуш-

чатой кожей и соломенными волосами у самых некрасивых из нас таится мечта о принце или принцессе, которые придут только для нас одних.

Однажды утром Эйлин пришла на работу с подбитым глазом, и Тильди излила на нее потоки сочувствия, способные вылечить даже трахому.

— Нахал какой-то, — объяснила Эйлин. — Вчера вечером, когда я возвращалась домой, пристал ко мне на Двадцать третьей. Лезет да и только. Ну, я его отшила, и он отстал. Но оказалось, что он все время шел за мной. На Восемнадцатой он опять начал приставать. Я как размахнулась да как ахну его по щеке! Тут он мне этот фонарь и наставил. Правда, Тиль, у меня ужасный вид? Мне так неприятно, что мистер Никольсон увидит, когда придет в десять часов пить чай с гренками.

Тильди слушала, и сердце у нее замирало от восторга. Ни один мужчина никогда не пытался приставать к ней. Она была в безопасности на улице в любой час дня и ночи. Какое это, должно быть, блаженство, когда мужчина преследует тебя и из любви ставит тебе фонарь под глазом!

Среди посетителей Богля был молодой человек по имени Сидерс, работавший в прачечной. Мистер Сидерс был худ и белобрыс, и казалось, что его только что подсушили и накрахмалили. Он был слишком застенчив, чтобы добиваться внимания Эйлин, поэтому он обычно садился за один из столиков Тильди и обрекал себя на молчание и вареную рыбу.

Однажды, когда мистер Сидерс пришел обедать, от него пахло пивом. В ресторане было только два-три посетителя. Покончив с вареной рыбой, мистер Сидерс встал, обнял Тильди за талию, громко и бесцеремонно поцеловал ее, вышел на улицу, показал кукиш своей прачечной и отправился в пассаж опускать монетки в щели автоматов.

Несколько секунд Тильди стояла окаменев. Потом до сознания ее дошло, что Эйлин грозит ей пальцем и говорит:

— Ай да Тиль, ай да хитрюга! На что это похоже! Этак ты отобьешь у меня всех моих поклонников. Придется мне следить за тобой, моя милая.

И еще одна мысль забрезжила в сознании Тильди. В мгновение ока из безнадежной, смиренной поклонницы она превратилась в такую же дочь Евы, сестру всемогущей Эйлин. Она сама стала теперь Цирцеей, целью для стрел Купидона, сабинянкой, которая должна остерегаться, когда римляне пируют. Мужчина нашел ее талию привлекательной и ее губы желанными. Этот стремительный, опаленный любовью Сидерс, казалось, совершил над ней то чудо, которое совершается в прачечной за особую плату. Сняв грубую дерюгу ее непривлекательности, он в один миг выстирал ее, просушил, накрахмалил, выгладил и вернул ей в виде тончайшего батиста — облачения, достойного самой Венеры.

Веснушки Тильди потонули в огне румянца. Цирцея и Психея вместе выглянули из ее загоревшихся глаз. Ведь даже Эйлин никто не обнимал и не целовал в ресторане у всех на глазах.

Тильди была не в силах хранить эту восхитительную тайну. Воспользовавшись коротким затишьем, она как бы случайно остановилась возле конторки Богля. Глаза ее сияли; она очень старалась, чтобы в словах ее не прозвучала гордость и похвальба.

— Один джентльмен оскорбил меня сегодня, — сказала она. — Он обхватил меня за талию и поцеловал.

— Вот как, — сказал Бogle, приподняв забрало своей деловитости. — С будущей недели будете получать на доллар больше.

Во время обеда Тильди, подавая знакомым посетителям, объявляла каждому из них со скромностью человека, достоинства которого не нуждаются в преувеличении:

— Один джентльмен оскорбил меня сегодня в ресторане. Он обнял меня за талию и поцеловал.

Обедающие принимали эту новость по-разному: одни выражали недоверие; другие поздравляли ее; третьи забросали ее шуточками, которые до сих пор предназначались только для Эйлин. И сердце Тильди ширилось от счастья — наконец-то на краю однообразной серой равнины,

по которой она так долго блуждала, показались башни романтики.

Два дня мистер Сидерс не появлялся. За это время Тильди прочно укрепились на позиции интересной женщины. Она накупила лент, сделала себе такую же прическу, как у Эйлин, и затянула талию на два дюйма туже. Ей становилось и страшно, и сладко от мысли, что мистер Сидерс может ворваться в ресторан и застрелить ее из пистолета. Вероятно, он любит ее безумно, а эти страстные влюбленные всегда бешено ревнивы. Даже в Эйлин не стреляли из пистолета. И Тильди решила, что лучше ему не стрелять; она ведь всегда была верным другом Эйлин и не хотела затмить ее славу.

На третий день в четыре часа мистер Сидерс пришел. За столиками не было ни души. В глубине ресторана Тильди накладывала в баночки горчицу, а Эйлин резала пирог. Мистер Сидерс подошел к девушкам.

Тильди подняла глаза и увидела его. У нее захватило дыхание, и она прижала к груди ложку, которой накладывала горчицу. В волосах у нее был красный бант; на шее — эмблема Венеры с Восьмой авеню — ожерелье из голубых бус с символическим серебряным сердечком.

Мистер Сидерс был красен и смущен. Он опустил одну руку в карман брюк, а другую — в свежий пирог с тыквой.

— Мисс Тильди, — сказал он, — я должен извиниться за то, что позволил себе в тот вечер. Правду сказать, я тогда здорово выпил, а то никогда не сделал бы этого. Я бы никогда ни с одной женщиной не поступил так, если бы был трезвый. Я надеюсь, мисс Тильди, что вы примете мое извинение и поверите, что я не сделал бы этого, если бы понимал, что делаю, и не был бы пьян.

Выразив столь деликатно свое раскаяние, мистер Сидерс дал задний ход и вышел из ресторана, чувствуя, что вина его заглажена.

Но за спасительной ширмой Тильди упала головой на стол среди кусочков масла и кофейных чашек и плакала навзрыд — плакала и возвращалась на однообразную серую

равнину, по которой блуждают такие, как она, с носом-пуговкой и волосами цвета соломы. Она сорвала свой красный бант и бросила его на пол. Сидерса она глубоко презирала: она приняла его поцелуй за поцелуй принца, который нашел дорогу в заколдованное царство сна, и привел в движение уснувшие часы, и заставил суетиться сонных пажей. Но поцелуй был пьяный и неумышленный; сонное царство не шелохнулось, услышав ложную тревогу; ей суждено навеки остаться спящей красавицей.

Однако не все было потеряно. Рука Эйлин обняла ее, и красная рука Тильди шарилась по столу среди объедков, пока не почувствовала теплого пожатия друга.

— Не огорчайся, Тиль, — сказала Эйлин, не вполне понявшая, в чем дело. — Не стоит того этот Сидерс. Не джентльмен, а белобрысая защипка для белья — вот он что такое. Будь он джентльменом, разве он стал бы просить извинения?

Из сборника  
“СЕРДЦЕ ЗАПАДА”

1907

## САНАТОРИЙ НА РАНЧО

Если вы следите за хроникой ринга, вы легко припомните этот случай. В начале девяностых годов по ту сторону одной пограничной реки состоялась встреча чемпиона с претендентом на это звание, длившаяся всего минуту и несколько секунд.

Столь короткая схватка — большая редкость и форменное надувательство, так как она обманывает ожидания ценителей настоящего спорта. Репортеры постарались выжать из нее все возможное, но если отбросить то, что они присочинили, схватка выглядела до грусти неинтересной. Чемпион просто швырнул на пол свою жертву, повернулся к ней спиной и, проворчав: “Я знаю, что этот труп уже не встанет”, протянул секунданту длинную, как мачта, руку, чтобы он снял с нее перчатку.

Этим и объясняется то обстоятельство, что на следующее утро, едва забрезжил рассвет, полный пассажирский комплект донельзя раздосадованных джентльменов в модных жилетах и буйно пестрых галстуках высыпал из пульмановского вагона на вокзале в Сан-Антонио. Этим же объясняется отчасти и то плачевное положение, в котором оказался Сверчок Макгуайр, когда он выскочил из вагона и повалился на платформу, раздираемый на части сухим, лающим кашлем, столь привычным для слуха обитателей Сан-Антонио. Случалось, что в это же самое время Кэртис



Рейдлер, скотовод из округа Нуэсес — да будет над ним благословение Божие! — проходил по платформе в бледных лучах утренней зари.

Скотовод поднялся спозаранку, так как спешил домой и хотел захватить поезд, отходивший на юг. Остановившись возле незадачливого покровителя спорта, он произнес участвливо, с характерным для техасца тягучим акцентом:

— Что, худо тебе, бедняжка?

Сверчок Макгуайр — бывший боксер веса пера, жокей, жучок, специалист в три листика и всегдатай баров и спортивных клубов — воинственно вскинул глаза на человека, обозвавшего его “бедняжкой”.

— Катись, Телеграфный Столб, — прохрипел он. — Я не звонил.

Новый приступ кашля начал выворачивать его наизнанку, и, обессиленный, он привалился к багажной тележке. Рейдлер терпеливо ждал, пока пройдет кашель, поглядывая на белые шляпы, короткие пальто и толстые сигары, загромождившие платформу.

— Ты, верно, с Севера, сынок? — спросил он, когда кашель стал утихать. — Ездил поглядеть на бокс?

— Бокс? — фыркнул Макгуайр. — Игра в пятнашки! Дал ему раза и уложил на пол быстрее, чем врач укладывает больного в могилу. Бокс! — Он поперхнулся, закашлялся и продолжал, не столько адресуясь к скотоводу, сколько стремясь отвести душу: — Верный выигрыш! Нет уж, дольше меня на эту удочку не поймает. А ведь на такую приманку клюнул бы и сам Рокфеллер. Пять против одного, что этот парень из Корка не продержится трех раундов, — вот же я на что ставил! Все вложил, до последнего цента, и уже чувял запах опилюк в этом ночном кабаке на Тридцать седьмой улице, который я сторговал у Джима Дилэни. И вдруг... Ну, скажите хоть вы, Телеграфный Столб, каким нужно быть обормотом, чтобы всадить свое последнее достояние в одну встречу двух остолопов?

— Что верно, то верно, — сказал могучий скотовод. — Особенно, если денежки-то ухнули. А тебе, сынок, лучше бы пойти в гостиницу. Это скверный кашель. Легкие?

— Да, нелегкая их возьми! — последовал исчерпывающий ответ. — Заполучил удовольствие. Старый филин сказал, что я протяну еще с полгода, а может, и с год, если переменю аллор и буду держать себя в узде. Вот я и хотел осесть где-нибудь и взяться за ум. Может, я потому и рискнул на пять против одного. У меня была припасена железная тысяча долларов. В случае выигрыша кафе Дилэни перешло бы ко мне. Ну, кто мог думать, что эту дубину уложат в первом же раунде?

— Да, не повезло тебе, — сказал Рейдлер, глядя на миниатюрную фигурку Макгуайра, прислонившуюся к тележке. — А сейчас, сынок, пойдика ты в гостиницу и отдохни. Здесь есть “Менджер”, и “Маверик”, и...

— И “Пятая авеню”, и “Уолдорф-Астория”, — передразнил его Макгуайр. — Вы что, не слышали? Я прогорел. У меня нет ничего, кроме этих штанов и одной монеты в десять центов. Может, мне было бы полезно отправиться в Европу или совершить путешествие на собственной яхте?.. Эй, газету!

Он бросил десять центов мальчишке-газетчику, схватил “Экспресс” и, примостившись поудобней к тележке, погрузился в отчет о своем Ватерлоо, раздутым по мере сил изобретательной прессой.

Кэртис Рейдлер поглядел на свои огромные золотые часы и тронул Макгуайра за плечо.

— Пойдем, сынок, — сказал он. — Осталось три минуты до поезда.

Сарказм, по-видимому, был у Макгуайра в крови.

— Вы что видели, как я сорвал банк в железку или выиграл пари, после того как минуту назад я сказал вам, что у меня нет ни гроша? Ступайте своей дорогой, приятель.

— Ты поедешь со мной на мое ранчо и будешь жить там, пока не поправишься, — сказал скотовод. — Через полгода ты забудешь про свою хворь, мальш. — Одной рукой он приподнял Макгуайра и повлек его к поезду.

— А чем я буду платить? — спросил Макгуайр, делая слабые попытки освободиться.

— Платить? За что? — удивился Рейдлер. Они озадаченно уставились друг на друга. Мысли их вертелись, как шестеренки конической зубчатой передачи, — у каждого вокруг своей оси и в противоположных направлениях.

Пассажиры поезда, идущего на юг, с любопытством поглядывали на эту пару, дивясь столь редкостному сочетанию противоположностей. Макгуайр был ростом пять футов один дюйм. По внешности он мог оказаться уроженцем Дублина, а быть может, и Иокогамы. Острый взгляд, острые скулы и подбородок, шрамы на костлявом дерзком лице, сухое жилистое тело, побывавшее во многих переделках, — этот парень, задиристый с виду, как шершень, не был явлением новым или необычным в этих краях. Рейдлер вырос на другой почве. Шести футов двух дюймов росту и необъятной ширины в плечах, он был, что называется, душа нараспашку. Запад и Юг соединялись в нем. Представители этого типа еще мало воспроизводились на полотне, ибо наши картинные галереи миниатюрны, а кинематограф пока еще не получил распространения в Техасе. Достоинно запечатлеть образ такого детины, как Рейдлер, могла бы, пожалуй, только фреска — нечто огромное, спокойное, простое и не заключенное в раму.

Экспресс мчал их на юг. Зеленые просторы прерий наступали на леса, дробя их, превращая в разбросанные на широком пространстве темные купы деревьев. Это была страна ранчо, владения коровьих королей.

Макгуайр сидел, забившись в угол, и с острым недоверием прислушивался к словам скотовода. Какую штуку задумал сыграть с ним этот здоровенный старичина, который тащит его неизвестно куда? То, что им руководит бескорыстное участие, меньше всего могло прийти Макгуайру на ум. «Он не фермер, — рассуждал пленник, — да и на жулика не похож. Что ж это за птица? Ну, гляди в оба, Сверчок, — не крапленая ли у него колода? Теперь уж хочешь — не хочешь, а деваться некуда. У тебя скоротечная чахотка и пять центов в кармане, так что сиди тихо. Сиди тихо и гляди, что он там замышляет».

В Ринконе, в ста милях от Сан-Антонио, они сошли с поезда и пересели в таратайку, которая ждала Рейдлера на станции, после чего покрыли еще тридцать миль, прежде чем добрались до места своего назначения. Именно эта часть путешествия могла бы, казалось, открыть подозрительному Макгуайру глаза на подлинный смысл его пленения. Они катили на бархатных колесах по ликующему раздолью саванны. Пара резвых испанских лошадок бежала ровной, неутомимой рысцой, порой по собственному почину пускаясь вскачь. Воздух пьянил, как вино, и освежал, как сельтерская, и с каждым глотком его путешественники вдыхали нежное благоухание полевых цветов. Дорога понемногу затерялась в траве, и таратайка поплыла по зеленым степным бурунам, направляемая опытной рукой Рейдлера, которому каждая едва приметная рошица, мелькнувшая вдали, служила знакомой вехой, каждый мягкий изгиб холмов на горизонте указывал направление и отмечал расстояние. Но Макгуайр, откинувшись на сиденье, с угрюмым недоверием внимал скотоводу и не видел вокруг себя ничего, кроме безлюдной пустыни.

«Что он замышляет? — тяготила его неотвязная мысль. — Какую аферу обмозговал этот верзила?» Среди необозримых просторов, ограниченных только линией горизонта да четвертым измерением, Макгуайр подходил к людям с меркой жителя тесных городских кварталов.

Неделей раньше, проезжая верхом по прерии, Рейдлер наткнулся на больного теленка, который жалобно мычал, отбившись от стада. Не спешиваясь, Рейдлер нагнул, перебросил через седло этого горемыку и передал на попечение своих ковбоев на ранчо. Откуда было Макгуайру знать, да и как бы вместились это в его сознание, что он в глазах Рейдлера был примерно то же, что этот теленок, — больное, беспомощное создание, нуждающееся в чьей-то заботе. Рейдлер увидел, что он может помочь, и этого было для него достаточно. С его точки зрения все это было вполне логично, а значит, и правильно. Макгуайр был седьмым по счету недужным, которого Рейдлер случайно подобрал в

Сан-Антонио, куда в погоне за озоном, застревающим якобы в его узких улочках, тысячами стекаются больные чахоткой. Пятеро из его гостей жили на ранчо Солито, пока не выздоровели или не окрепли, и со слезами благодарности на глазах распростились с гостеприимным хозяином. Шестой попал сюда слишком поздно, но, отмучившись, обрел в конце концов вечный покой в тихом углу сада под раскидистым деревом.

Поэтому никто на ранчо не был удивлен, когда таратайка подкатила к крыльцу, и Рейдлер извлек оттуда своего больного протеже, поднял его словно узел тряпья, и водворил на веранду.

Макгуайр окинул взглядом непривычную, для него картину. Дом на ранчо Солито считался лучшим в округе. Он был сложен из кирпича, привезенного сюда на лошадях за сотню миль, но имел всего один этаж, в котором размещались четыре комнаты, окруженные верандой с земляным полом, носившей название "галерейки". Пестрый ассортимент лошадей, собак, седел, повозок, ружей и всевозможных принадлежностей ковбойского обихода поразил столичное око прогоревшего спортсмена.

— Вот мы и дома, — весело сказал Рейдлер.

— Ну, и чертова же дыра! — выпалил Макгуайр и покатился на пол веранды в судорожном приступе кашля.

— Мы постараемся устроить тебя поудобнее, сынок, — мягко сказал хозяин. — В доме-то у нас, конечно, не шикарно, но зато на воле хорошо, а для тебя ведь это самое главное. Вот твоя комната. Что понадобится — спрашивай, не стесняйся.

Рейдлер ввел Макгуайра в комнату, расположенную на восточной стороне дома. Незастеленный пол был чисто вымыт. Свежий ветерок колыхал белые занавески на окнах. Большое плетеное кресло-качалка, два простых стула и длинный стол, заваленный газетами, трубками, табаком, шпорами и ружейными патронами, — стояли в центре комнаты. Несколько хорошо выделанных оленьих голов и одна огромная, черная, кабанья смотрели со стен. В углу по-

мещалась широкая парусиновая складная кровать. В глазах всех окрестных жителей комната для гостей на ранчо Солито была резиденцией, достойной принца. Макгуайр при виде ее широко осклабился. Он вытащил из кармана свои пять центов и подбросил их в потолок.

— Вы думали, я вру насчет денег? Вот, можете теперь меня обыскать, если вам угодно. Это было последнее из моих сокровищ. Ну, кто будет платить?

Ясные серые глаза Рейдлера твердо взглянули из-под седящих бровей прямо в черные бусинки глаз Макгуайра. Немного помолчав, он сказал просто, без гнева:

— Ты меня очень обяжешь, сынок, если не будешь больше поминать о деньгах. Раз сказал, и хватит. Я не беру со своих гостей платы, да они обычно и не предлагают мне ее. Ужин будет готов через полчаса. Вот тут вода в кувшине, а в том, красном, что висит на галерейке, — похолоднее, для питья.

— А где звонок? — озираясь по сторонам, спросил Макгуайр.

— Звонок? А для чего?

— Звонить. Когда что-нибудь понадобится. Я же не могу... Послушайте, вы! — закричал он, вдруг, охваченный бессильной злобой. — Я не просил вас тащить меня сюда! Я не кланялся у вас денег! Я не старался разжалобить вас — вы сами ко мне пристали! Я болен! Я не могу двигаться! А тут за пятьдесят миль кругом ни коридорного, ни коктейля? О черт! Как я влип! — И Макгуайр повалился на койку и судорожно разрыдался.

Рейдлер подошел к двери и позвав слугу. Стройный краснощекий мексиканец лет двадцати быстро вошел в комнату. Рейдлер заговорил с ним по-испански.

— Иларио, помнится, я обещал тебе с осени место *vaquero*<sup>1</sup> в лагере Сан-Карлос?

— Si, Señor, такая была ваша милость.

— Ну, слушай. Этот Señorito — мой друг. Он очень болен. Будешь ему прислуживать. Находясь неотлучно при нем, ис-

1 Ковбой (исп.).

полный все его распоряжения. Тут нужна забота, Иларио, и терпение. А когда он поправится или... а когда он поправится, я сделаю тебя не *vaquero* а *mayordomo*<sup>1</sup> на ранчо де ля Пьедрас. *Esta bueno?*<sup>2</sup>

— *Si, si, mil gracias, Señor!*<sup>3</sup> — Иларио в знак благодарности хотел было опуститься на одно колено, но Рейдлер шутиво пнул его ногой, проворчав:

— Ну, ну, без балетных номеров...

Десять минут спустя Иларио, покинув комнату Макгуайра, предстал перед Рейдлером.

— Маленький *Señor*, — заявил он, — шлет вам поклон (Рейдлер отнес это вступление за счет любезности Иларио) и просит передать, что ему нужен колотый лед, горячая ванна, гренки, одна порция джина с сельтерской, закрыть все окна, позвать парикмахера, одна пачка сигарет, “Нью-Йорк геральд” и отправить телеграмму.

Рейдлер достал из своего аптечного шкафчика бутылку виски.

— Вот, отнеси ему, — сказал он.

Так на ранчо Солито установился режим террора. Первые недели Макгуайр хвастал напрапалую и страшно заносился перед ковбоями, которые съезжались с самых отдаленных пастбищ поглядеть на последнее приобретение Рейдлера. Макгуайр был совершенно новым для них явлением. Он посвящал их в различные тонкости боксерского искусства, щеголяя хитроумными приемами защиты и нападения. Он раскрывал их изумленному взору всю изнанку жизни профессиональных спортсменов. Они без конца дивились его речи, пересыпанной жаргонными словечками, и забавлялись ею от души. Его жесты, его странные позы, откровенная дерзость его языка и принципов завораживали их. Он был для них существом из другого мира.

Как это ни странно, но тот новый мир, в который он сам попал, словно не существовал для него. Он был закончен-

1 Управляющий (*исп.*). Здесь: старший объездчик на ранчо.

2 Хорошо? (*исп.*).

3 Да, да, спасибо, сеньор! (*исп.*)

ным эгоистом из мира кирпича и известки. Ему казалось, что судьба зашвырнула его куда-то в пустое пространство, где он не обнаружил ничего, кроме нескольких слушателей, готовых внимать его хвастливым реминисценциям. Ни безграничные просторы залитых солнцем прерий, ни величавая тишина звездных ночей не тронули его души. Все самые яркие краски Авроры не могли оторвать его от розовых страниц спортивного журнала. Прожить на шармака — было его девизом, кабак на Тридцать седьмой — венцом его стремлений.

Месяца через два он начал жаловаться, что здоровье его ухудшилось. С этого момента он стал бичом, чумой, кошмаром ранчо Солито. Словно какой-то злой гном или капризная женщина, сидел он в своем углу, хныча, скуля, обвиняя и проклиная. Все его жалобы звучали на один лад: его против воли ввергли в эту геенну огненную, где он гибнет от отсутствия ухода и комфорта. Однако вопреки его отчаянным воплям, что ему якобы день ото дня становится хуже, с виду он нисколько не изменился. Все тот же дьявольский огонек горел в черных бусинках его глаз, голос его звучал все так же резко, тощее лицо — кости, обтянутые кожей, — достигнув предела худобы, уже не могло отощать больше. Лихорадочный румянец, вспыхивавший по вечерам на его торчащих скулах, наводил на мысль о том, что термометр мог бы, вероятно, зафиксировать болезненное состояние, а выслушивание — установить, что Макгуайр дышит только одним легким, но внешний облик его не изменился ни на йоту.

Иларио бесценно прислуживал ему. Обещанное повышение в чине, как видно, было для юноши большой приманкой, ибо горше горького стало его существование при Макгуайре. По распоряжению больного все окна в комнате были наглухо закрыты, шторы спущены и всякий доступ свежего воздуха прекращен. Так Макгуайр лилпал себя своей единственной надежды на спасение. В комнате нельзя было продохнуть от едкого табачного дыма. Кто бы ни зашел к Макгуайру, должен был сидеть, задыхаясь в дыму, и

слушать как этот бесенок хвастает напрапалую своим скандальной карьерой.

Но всего удивительнее были отношения, установившиеся у Макгуайра с хозяином дома. Большой третировал своего благодетеля, как своенравный, избалованный ребенок третировает не в меру снисходительного отца. Когда Рейдлер отлучался из дома, на Макгуайра нападала хандра и он замыкался в угрюмом молчании. Но стоило Рейдлеру переступить порог, и Макгуайр набрасывался на него с самыми колкими, язвительными упреками. Поведение Рейдлера по отношению к своему подопечному было в такой же мере непостижимо. Рейдлер, казалось, и сам поверил во все те страшные обвинения, которыми осыпал его Макгуайр, и чувствовал себя жестоким угнетателем и тираном. Он, очевидно, считал себя целиком ответственным за состояние здоровья своего гостя и с покаянным видом терпеливо и смиренно выслушивал все его нападки.

Как-то раз Рейдлер сказал Макгуайру:

— Попробуй больше бывать на воздухе, сынок. Бери мою таратайку и катайся хоть каждый день. А то поживи недельку-другую с ребятами на выгоне. Я бы тебя там неплохо устроил. На свежем воздухе, да к земле поближе — это бы живо поставило тебя на ноги. Я знал одного парня из Филадельфии — еще хуже болел, чем ты, а как случилось ему заблудиться на Гвадалупе и две недели прожить на овечьем пастбище да поспать на голой земле, так сразу пошел на поправку. Воздух да земля — целебная штука. А то покатайся верхом. У меня есть смиренная лошадка...

— Что я вам сделал? — взвизгнул Макгуайр. — Разве я вам втирал очки? Заставлял вас привозить меня сюда? Просил об этом? А теперь — катись на выгон? Да уж пырнули бы просто ножом, чего там канитель разводите! Скачи верхом! А я ног не таскаю! Понятно? Пятилетний ребенок надает мне тумачков — я и то не смогу увернуться. А все ваше проклятое ранчо — это оно меня доконало. Здесь нечего есть, не на что глядеть, не с кем говорить, кроме орды троглодитов, которые не отличат боксерской груши от салата из омаров!

— У нас тут, правда, скучновато, — смущенно оправдывался Рейдлер. — Всего вдоволь — но все простое. Ну, да если что нужно, пошлем ребят, они привезут из города.

Чэд Мерчисон, ковбой из лагеря Серкл Бар, первый высказал предположение, что Макгуайр — притворщик и симулянт. Чэд привез для него корзину винограда за тридцать миль, привязав ее к луке седла и дав четыре мили крюку. Побыв немного в накуренной комнате, он вышел оттуда и без обиняков выложил свои подозрения хозяину.

— Рука у него — тверже алмаза, сказал Чэд. — Когда он познакомил меня с “прямым коротким в солнечное сплетение”, так я думал, что меня мустанг лягнул. Малый бессовестно надувает вас, Кэрт. Он такой же хворый, как я. Стыдно сказать, но этот недоносок просто водит вас за нос, чтоб пожить здесь на дармовщинку.

Однако прямодушный скотовод пропустил мимо ушей разоблачения Чэда, и если несколько дней спустя он подверг Макгуайра медицинскому осмотру, это было сделано без всякой задней мысли.

— Как-то в полдень двое людей подъехали к ранчо, вылезли из повозки, привязали лошадей, зашли в дом и остались отобедать: всякий считает себя раз и навсегда приглашенным к столу — таков обычай этого края. Один из приезжих оказался медицинским светилом из Сан-Антонио, чьи дорогостоящие советы потребовались какому-то коровьему магнату, угодившему под шальную пулю. Теперь доктора везли на станцию, где он должен был сесть на поезд. После обеда Рейдлер отозвал его в сторонку и, тыча двадцатидолларовую бумажку ему в руку сказал:

— Доктор, не откажитесь досмотреть одного паренька — он тут, в соседней комнате. Боюсь, что у него чахотка в последней стадии. Мне бы хотелось узнать, очень ли он плох и что мы можем для него сделать.

— Сколько я вам должен за обед, которым вы меня угостили? — проворчал доктор, взглядывая поверх очков на хозяина. — Рейдлер сунул свои двадцать долларов обратно в карман. Доктор без замедления проследовал в комнату к

Макгуайру, а скотовод опустился на кучу седел, наваленную в углу галерейки, и приготовился проклясть себя, если медицинское заключение окажется неблагоприятным.

Через несколько минут доктор бодрым шагом вышел из комнаты Макгуайра.

— Ваш малый, — сказал он Рейдлеру, — здоровее меня. Легкие у него чисты, как только что отпечатанный доллар. Пульс нормальный, температура и дыхание тоже. Выдох — четыре дюйма. Ни малейших признаков заболевания. Конечно, я не делал бактериологического анализа, но ручаюсь, что туберкулезных бацилл у него нет. Можете поставить мое имя под диагнозом. Даже табак и спертый воздух ему не повредили. Он кашляет? Так скажите ему, что это не обязательно. Вас интересует, что можно для него сделать? Мой совет — пошлите его ставить телеграфные столбы или объезжать мустангов. Ну, наши лошади готовы. Счастливого оставаться, сэр. — И, как порыв живительного освежающего ветра доктор помчался дальше.

Рейдлер сорвал листок с мескитового куста у перил и принялся задумчиво жевать его.

Приближался сезон клеймения скота, а на следующее утро. Росс Харгис, старший загонщик, собрал во дворе ранчо два с половиной десятка своих ребят, чтобы отбыть с ними в лагерь Сан-Карлос, где должны были начаться работы. В шесть часов лошади были оседланы, провизия погружена в фургон, и ковбой один за другим уже вскакивала в седла, когда Рейдлер попросил их немного обождать. Мальчик-коных подвел к воротам еще одну взнузданную и оседланную лошадь. Рейдлер направился к комнате Макгуайра и широко распахнул дверь. Макгуайр, не одетый, лежал на койке и курил.

— Подымайся! — сказал скотовод, и голое его прозвучало отчетливо и резко, как медь охотничьего рога.

— Что такое? — оторопело спросил Макгуайр.

— Вставай и одевайся. Я бы мог терпеть в своем доме гремучую змею, но обманщику здесь не место. Ну! Сколько раз

повторять! — Схватив Макгуайра за шиворот, он стащил его с постели.

— Послушайте, приятель! — в бешенстве вскричал Макгуайр. — Вы что — белены объелись? Я же болен — не видите. Что ли? Я подожду, если сдвинусь с места! Что я вам сделал? Разве я просил?.. — захныкал он было на привычный лад.

— Одевайся! — сказал Рейдлер, повысив голос.

Путаясь в одежде, бормоча ругательства и не сводя изумленного взора с грозной фигуры разъяренного скотовода, Макгуайр кое-как, дрожащими руками, натянул на себя штаны и рубашу. Рейдлер снова схватил его за шиворот и поволок через двор к привязанной у ворот лошади. Ковбои покачнулись в седлах, разинув рты.

— Возьми с собой этого малого, — сказал Рейдлер Россу Харгису, — и приставь его к работе. Пусть работает, как надо, спит, где придется, и ест, что дадут. Вы знаете, ребята, — я делал для него все, что мог, и делал от души. Вчера лучший доктор из Сан-Антонио осмотрел его и сказал, что легкие у него как у мула, и вообще он здоров как бык. Словом, поручаю его тебе, Росс.

Росс Харгис только хмуро улыбнулся в ответ.

— Вот оно что! — протянул Макгуайр, с какой-то странной усмешкой глядя на Рейдлера. — Так старый филин сказал, что я здоров? Он сказал, что я симулянт, так, что ли? А вы, значит, подослали его ко мне? Вы думали, что я прикидываюсь? Я, по-вашему, обманщик. Послушайте, приятель, я часто был груб, я знаю, но ведь это только так... Если бы вы побывали хоть раз в моей шкуре... Да, я позабыл... Я же здоров... Так сказал старый филин. Ладно, дружище, я отработаю вам. Вот когда вы со мной посчитались!

Легко, как птица, он взлетел в седло, схватил хлыст, положенный на луку, и стегнул коня. Сверчок, который на скачках в Хоторне привел когда-то Мальчика первым к финишу, повысив выдачу до десяти к одному, снова вдел ногу в стремя.

Макгуайр был впереди, когда кавалькада, вылетев за ворота, взяла направление на Сан-Карлос, и вдогонку ему нес-

лось одобрительное гиканье ковбоев, скакавших в поднятых им клубях пыли.

Но, не покрыв и мили, он стал отставать и уже плелся в хвосте, когда всадники, миновав выгоны, продолжали путь среди высоких зарослей чапарала. Заехав в щажу, он натянул поводья и, вытащив платок, прижал его к губам. Платок окрасился алой кровью. Он забросил его в колючие кусты и, прохрипев своему удивленному коню "катись!", поскакал следом за ковбоями.

Вечером Рейдлер получил письмо из своего родного городка в Алабаме. Умер один из его родственников, и Рейдлера просили приехать, чтобы принять участие в дележе наследства. На рассвете он уже катил в своей таратайке по прерии, спеша на станцию.

Домой он возвратился только через два месяца. Усадьба опустела — он застал там одного Иларио, который в его отсутствие присматривал за домом. Юноша стал рассказывать ему, как шли дела, пока хозяин был в отлучке. С клеймением скота еще не управились, сказал он. Было много ураганов, скот разбежался, и клеймение подвигается туго. Лагерь сейчас в долине Гвадалупы — в двадцати милях от усадьбы.

— Да, между прочим, — сказал Рейдлер, внезапно припомнив что-то. — Как этот парень, которого я отправил с ребятами в лагерь, Макгуайр? Работает он?

— Не знаю, — отвечал Иларио. — Ковбои редко заглядывают теперь на ранчо. Очень много хлопот с молодыми телятами. Нет, ничего про него не слышал. Верно, его уже давно нет в живых.

— Что ты мелешь! — сказал Рейдлер. — Как это — нет в живых?

— Очень, очень он был плох, этот Макгуайр, — сказал Иларио, пожимая плечами. — Я знал, что ему не прожить и месяца, когда он уезжал отсюда.

— Вздор! — проворчал Рейдлер. — Я вижу, он и тебя одурачил. Доктор осмотрел его и сказал, что он здоров, как мексиканская коряга.

— Это он так сказал? — спросил Иларио, ухмыляясь. — Этот доктор даже не видел его.

— Говори толком! — приказал Рейдлер. — Какого черта ты меня морочишь?

— Макгуайр, — спокойно сказал Иларио, — пил воду на галерейке, когда этот доктор прибежал в комнату. Он сразу схватил меня и давай стучать по мне пальцами — вот тут стучал и тут. — Иларио показал на грудь. — Я так я не понял зачем. Потом он стал прикладываться ухом и все что-то слушал. Вот тут слушал и тут. А зачем? Потом достал какую-то стеклянную палочку и сунул мне в рот. Потом схватил меня за руку и начал ее щупать — вот так. И еще велел мне считать тихим голосом двадцать, treinta, cuarenta<sup>1</sup>. Кто его знает, — закончил Иларио, — в недоумении разводя руками, — зачем он все это делал? Может, хотел пошутить?

— Какие лошади дома? — только и спросил Рейдлер.

— Пайсано пасется за маленьким корралем, Señor.

— Оседлай его, живо!

Через несколько минут Рейдлер вскочил в седло и скрылся из виду. Пайсано, недаром названный в честь этой невзрачной с виду, но быстроногой птицы, мчал во весь опор, пожирая ленты дорог, как макароны. Через два часа с небольшим Рейдлер с невысокого холма увидел лагерь, раскинувшийся у излучины Гвадалупы. С замиранием сердца, страшась услышать самое худшее, он подъехал к лагерю, спешился и бросил поводья. В простоте душевной он уже считал себя в эту минуту убийцей Макгуайра.

В лагере не было ни души, кроме повара, который, поджидая ковбоев к ужину, раскладывая по тарелкам огромные куски жареной говядины и расставлял на столе железные кружки для кофе. Рейдлер не решился сразу задать терзавший его вопрос.

— Все благополучно в лагере, Пит? — неуверенно спросил он.

<sup>1</sup> Тридцать, сорок (исп.).

— Да так себе, — сдержанно отвечал Пит. — Два раза сидели без провизии. Ураган наделал бед — облазили все заросли на сорок миль вокруг, пока собрали скот. Мне нужен новый кофейник. Москиты в этом году совсем осата-нели.

— А ребята как... все здоровы?

Пит не отличался оптимизмом. К тому же справляться о здоровье ковбоев было не только явно излишне, но граничило со слюняйством. Странно было слышать такой вопрос из уст хозяина.

— Тех, что остались, не приходится по два раза звать к столу, проронил он, наконец.

— Тех что остались? — хрипло повторял Рейдлер. Он невольно оглянулся, ища глазами могилу Макгуайра. Ему уже мерещилась каменная белая плита, вроде той, что он видел недавно на кладбище в Алабаме. Но он тут же опомнился, сообразив, что это нелепо.

— Ну да, — сказал Пит. — Тех, что остались. В ковбойском лагере бывают перемены — за два-то месяца. Кой-кого уже нет.

Рейдлер собрался с духом.

— А этот парень, которого я прислал сюда, — Макгуайр... Он не...

— Слушайте, — перебил его Пит, поднимаясь во весь рост с толстым ломтем кукурузного хлеба в каждой руке. — Как это у вас хватило совести прислать такого больного парнишку в ковбойский лагерь? Этому вашему, доктору, который не мог распознать, что малый уже одной ногой стоит в могиле, надо бы спустить всю шкуру хорошей подпругой с медными пряжками. А уж и боевой же парень! Вы знаете, что он выкинул — скандал да и только! В первый же вечер ребята решили посвятить его в ковбойские рыцари. Росс Харрис вытянул его разок кожаными гетрами, и как вы думаете, что сделал этот несчастный ребенок? Вскочил, чертенок эдакий, и вздул Росса Харриса. Ну да, вздул Росса Харриса. Всыпал ему, как надо. Выдал ему крепко, хорошую порцию. Росс встал и тут же пошел искать местечко, где

бы снова прилечь. А этот Макгуайр отошел в сторонку, повалился лицом в траву и стал харкать кровью, кровохарканье — так это и называется, передайте вашему коновалу. Восемнадцать часов по часам пролежал он так и никто не мог сдвинуть его с места. А потом Росс Харрис, который очень любит тех, кому удалось его вздуть, взялся за дело и проклял всех докторов от Гренландии, до Китайландии. Вдвоем с Джонсоном Зеленой Веткой они перетащили Макгуайра в палатку и стали наперебой пичкать его сырым мясом и отпаивать виски.

Но у малого, как видно, не было охоты идти на поправку. Ночью он удрал из палатки и опять зарылся в траву — а тут еще дождь моросил. “Катитесь! — говорит он им. — Дайте мне спокойно помереть. Он сказал, что я обманщик и симулянт. Ну, и отвяжитесь от меня!”

— ...Две недели провалялся он так, — продолжал повар, — словечка ни с кем не сказал, а потом...

Топот, подобный удару грома, сотряс воздух, и два десятка молодых кентавров, вылетев из зарослей, ворвались в лагерь.

— Пресвятые драконы и гремучие змеи! — заметавшись из стороны в сторону, возопил повар. — Ребята оторвут мне голову, если я не подам им ужин через три минуты.

Но глаза Рейдлера были прикованы к маленькому загорелому пареньку, который, весело блестя зубами, соскочил с лошади у ярко горевшего костра. Он не бил похож на Макгуайра, но все же...

Секунду спустя Рейдлер тряс ему руку, схватив другой рукой за плечо.

— Сынок, сынок, ну, как ты? — с трудом выговорил он.

— Поближе к земле, вы говорили? — заорал Макгуайр, стиснув руку Рейдлера в стальном пожатии. — Я так и сделал — и вот, видите, здоров и силы прибавилось. И понял, признаться, какого шута горохового я из себя разыгрывал. Спасибо, старина, что прогнали меня сюда! А здорово вышло со старым-то филином? Я видел в окно, как он выбивал зорьку на груди у этого мексиканского парня.



— Что же ты молчал, собачья душа! — загремел скотовод. — Почему не сказал, что доктор тебя не осматривал?

— А, катитесь! Не морочьте мне голову, — проворчал Макгуайр, сразу ощетинившись, как бывало. — Вы меня разве спрашивали? Вы произнесли свою речь и вышвырнули меня вон, и я решил, что так тому и быть. Но знаете, приятель, эти скачки с коровами — здорово занятная штука. И ребята тут первый сорт — лучшая команда, с какой мне доводилось ездить. Вы мне разрешите остаться здесь, старина?

Рейдлер вопросительно посмотрел на Росса Харгиса.

— Этот паршивец, — нежно сказал Росс, — самый лихой загонщик на все ковбойские лагеря. А уж дерется так, что только держась,

## КУПИДОН ПОРЦИОННО

— Женские наклонности, — сказал Джефф Питерс, после того как по этому вопросу высказано было уже несколько мнений, — направлены обыкновенно в сторону противоречий. Женщина хочет того, чего у вас нет. Чем меньше чего-нибудь есть, тем больше она этого хочет. Она любит хранить сувениры о событиях, которых вовсе не было в ее жизни. Односторонний взгляд на вещи не совместим с женским естеством.

— У меня несчастная черта, рожденная природой и развитая путешествиями, — продолжал Джефф, задумчиво поглядывая на печку сквозь свои высоко задранные вверх ноги. — Я глубже смотрю на некоторые вещи, чем большинство людей. Я надыхался парами бензина, ораторствуя перед уличной толпой почти во всех городах Соединенных Штатов. Я зачаровывал людей музыкой, красноречием, проворством рук и хитрыми комбинациями, в то же время продавая им ювелирные изделия, лекарства, мыло, средство для ращения волос и всякую другую дрянь. И во время

моих путешествий я, для развлечения, а отчасти во искупление грехов, изучал женщин. Чтобы раскусить одну женщину, человеку нужна целая жизнь, но начатки знания о женском поле вообще он может приобрести, если посвятит этому, скажем, десять лет усердных и пристальных занятий. Очень много полезного по этой части я узнал, когда работал на Западе с бразильскими брильянтами и патентованными растопками, — это после моей поездки из Саванны, через хлопковый пояс, с дельбиевским невзрывающимся порошком для ламп. То было время первого расцвета Оклахомы. Гатри рос в центре этого штата, как кусок теста на дрожжах. Это был типичный городок, рожденный бумом: чтобы умыться, нужно было стать в очередь; если вы засиживались в ресторане за обедом дольше десяти минут, к вашему счету прибавляли за постой; если вы ночевали на полу в гостинице, утром вам ставили в счет полный пансион.

По убеждениям моим и по природе я склонен везде разыскивать наилучшие места для кормежки. Я огляделся и нашел заведение, которое меня устраивало как нельзя лучше. Это был ресторан-палатка, только что открытый семьей, которая прибыла в город по следу бума. Они наскоро построили домик, в котором жили и готовили, и приткнули к нему палатку, где и помещался собственно ресторан. Палатка эта была разукрашена плакатами, рассчитанными на то, чтобы вырвать усталого пилигрима из греховных объятий пансионеров и гостиниц для приезжающих. “Попробуйте наше домашнее печенье”, “Торячие пирожки с кленовым сиропом, какие вы ели в детстве”, “Наши жареные цыплята при жизни не кукарекали” — такова была эта литература, долженствовавшая способствовать пищеварению гостей. Я сказал себе, что надо будет бродячему сынку своей мамы пожевать чего-нибудь вечером в этом заведении. Так оно и случилось. И здесь-то я познакомился с Мэйми Дьюган.

Старик Дьюган — шесть футов индианского бездельника — проводил время лежа на лопатках в качалке и вспоминая недород восемьдесят шестого года. Мамаша Дьюган го-

товила, а Мэйми подавала. Как только я увидел Мэйми, я понял, что во всеобщей переписи допустили ошибку. В Соединенных Штатах была, конечно, только одна девушка! Подробно описать ее довольно трудно. Ростом она была примерно с ангела, и у нее были глаза, и такая повадка. Если вы хотите знать, какая это была девушка, вы их можете найти целую цепочку, — она протянулась от Бруклинского моста на запад до самого здания суда в Каунсил-Блафс, штат Индиана. Они зарабатывают себе на жизнь, работая в магазинах, ресторанах, на фабриках и в конторах. Они происходят по прямой линии от Евы, и они-то и завоевали права женщины, а если вы вздумаете эти права оспаривать, то имеете шанс получить хорошую затрещину. Они хорошие товарищи, они честны и свободны, они нежны и дерзки и смотрят жизни прямо в глаза. Они встречались с мужчиной лицом к лицу и пришли к выводу, что существо это довольно жалкое. Они убедились, что описания мужчины, имеющиеся в романах для железнодорожного чтения и рисующие его сказочным принцем, не находят себе подтверждения в действительности.

Вот такой девушкой и была Мэйми. Она вся переливалась жизнью, весельем и бойкостью; с гостями за словом в карман не лазила; помереть можно было со смеху, как она им отвечала! Я не люблю производить раскопки в недрах личных симпатий. Я придерживаюсь теории, что противоречия и несуразности заболевания, известного под названием любовь, дело такое же частное и персональное, как зубная щетка. По-моему, биографии сердец должны находить себе место рядом с историческими романами из жизни печени только на журнальных страницах, отведенных для объявлений. Поэтому вы мне простите, если я не представлю вам полного преискуранта тех чувств, которые я питал к Мэйми.

Скоро я обзавелся привычкой регулярно являться в палатку в нерегулярное время, когда там поменьше народа. Мэйми подходила ко мне, улыбаясь, в черном платице и белом переднике, и говорила: «Хелло, Джефф, почему не

пришли в положенное время? Нарочно опаздываете, чтобы всех беспокоить? Жареные-цыплята-бифштекс-свиные-отбивные-яичница-с-ветчиной — и так далее. Она называла меня Джефф, но из этого ровно ничего не следовало. Надо же ей было как-нибудь отличать нас друг от друга. А так было быстрее и удобнее. Я съедал обыкновенно два обеда и старался растянуть их, как на званом обеде в высшем обществе, где меняют тарелки и жен, и перекидываются шуточками между глотками. Мэйми все это сносила. Не могла же она устраивать скандалы и упускать лишний доллар только потому, что он прибыл не по расписанию.

Через некоторое время еще один парень — его звали Эд Коллиер — возымел страсть к принятию пищи в неурочное время, и благодаря мне и ему между завтраком и обедом и обедом и ужином были перекинута постоянные мосты. Палатка превратилась в цирк с тремя аренами, и у Мэйми совсем не оставалось времени, чтобы отдохнуть за кулисами. Этот Коллиер был напичкан разными намерениями и ухищрениями. Он работал по части бурения колодцев, или по страхованию, или по заявкам, или — черт его знает — не помню уж по какой части. Он был довольно густо смазан хорошими манерами и в разговоре умел расположить к себе. Мы с Коллиером развели в палатке атмосферу ухаживания и соревнования. Мэйми держала себя на высоте беспристрастности и распределяла между нами свои любезности, словно сдавала карты в клубе: одну мне, одну Коллиеру и одну банку. И ни одной карты в рукаве.

Мы с Коллиером, конечно, познакомились и иногда даже проводили вместе время за стенами палатки. Без своих военных хитростей он производил впечатление славного малого, и его враждебность была забавного свойства.

— Я заметил, что вы любите засиживаться в банкетных залах после того, как гости все разошлись, — сказал я ему как-то, чтобы посмотреть, что он ответит.

— Да, — сказал Коллиер подумав. — Шум и толкотня раздражают мои чувствительные нервы.

— И мои тоже, — сказал я. — Славная девочка, а?

— Вот оно что, — сказал Коллиер и засмеялся. — Раз уж вы сказали это, я могу вам сообщить, что она не производит дурного впечатления на мой зрительный нерв.

— Мой взор она прямо-таки радует, — сказал я. — И я за ней ухаживаю. Сим ставлю вас в известность.

— Я буду столь же честен, — сказал — Коллиер. — И если только в аптекарских магазинах здесь хватит пепсина, я вам задам такую гонку, что вы придете к финишу с несварением желудка.

Так началась наша скачка. Ресторан неустанно пополняет запасы. Мэйми нам прислуживает, веселая, милая и любезная, и мы идем голова в голову, а Купидон и повар работают в ресторане Дьюгана сверхурочно.

Как-то в сентябре я уговорил Мэйми выйти погулять со мной после ужина, когда она кончит уборку. Мы прошлись немножко и уселись на бревнах в конце города. Такой случай мог не скоро еще представиться, и я ей сказал все, что имел сказать. Что бразильские брильянты, патентованные растопки дают мне доход, который, вполне может обеспечить благополучие двоих, что ни те, ни другие не могут выдержать конкуренцию в блеске с глазами одной особы и что фамилию Дьюган необходимо переменить на Питерс, а если нет, то потрудитесь объяснить почему.

Мэйми сначала ничего не ответила. Потом вдруг как-то вся передернулась, и тут я услышал кое-что поучительное.

— Джефф, — сказала она, — мне очень жаль, что вы заговорили. Вы мне нравитесь, вы мне все нравитесь, но на свете нет человека, за которого бы я вышла замуж, и никогда не будет.

Вы знаете, что такое в моих глазах мужчина? Это могила. Это саркофаг для погребения в нем бифштекса, свиных отбивных, печенки и яичницы с ветчиной! Вот что он такое, и больше ничего. Два года я вижу перед собой мужчин, которые едят, едят и едят, так что они превратились для меня в жвачных двуногих. Мужчина — это нечто сидящее за столом с ножом и вилкой в руках. Такими они запечатлелись у

меня в сознании. Я пробовала побороть в себе это, но не могла. Я слышала, как девушки расхваливают своих женихов, но мне это непонятно. Мужчины, мясорубка и шкаф для провизии вызывают во мне одинаковые чувства. Я пошла как-то на утренник, посмотреть на актера, по которому все девушки сходили с ума. Я сидела и думала, какой он любит бифштекс — с кровью, средний или хорошо прожаренный — и яйца — в мешочек или вкрутую? И больше ничего. Нет, Джефф. Я никогда не выйду замуж. Смотреть, как он приходит завтракать и ест, возвращается к обеду и ест, является, наконец, к ужину и ест, ест, ест...

— Но, Мэйми, — сказал я, — это обойдется. Вы слишком много имели с этим дела. Конечно, вы когда-нибудь выйдете замуж. Мужчины не всегда едят.

— Поскольку я их наблюдала — всегда. Нет, я вам скажу, что я хочу сделать. — Мэйми вдруг воодушевилась, и глаза ее заблестели. — В Терри-Хот живет одна девушка, — ее зовут Сюзи Феетер, она моя подруга. Она служит там в буфете на вокзале. Я работала там два года в ресторане. Сюзии мужчины еще больше опротивели, потому что мужчины, которые едят на вокзале, едят и давятся от спешки. Они пытаются флиртовать и жевать одновременно. Фу! У нас с Сюзи это уже решено. Мы копим деньги, а когда накопим достаточно, купим маленький домик и пять акров земли. Мы уже присмотрели участок. Будем жить вместе и разводить фиалки. И не советую никакому мужчине подходить со своим аппетитом ближе чем на милю к нашему ранчо.

— Ну, а разве девушки никогда... — начал я.

Но Мэйми решительно остановила меня.

— Нет, никогда. Они погрызут иногда что-нибудь, вот и все.

— Я думал, конфе...

— Ради бога, перемените тему, — сказала Мэйми.

Как я уже говорил, этот опыт доказал мне, что женское естество вечно стремится к миражам и иллюзиям. Возьми-те Англию — ее создал бифштекс, Германию родили сосис-

ки, дядя Сэм обязан своим могуществом пирогам и жареным цыплятам. Но молодые девицы не верят этому. Они считают, что все сделали Шекспир, Рубинштейн и легкая кавалерия Теодора Рузвельта.

Это было положеньеице, которое хоть кого могло расстроить. О разрыве с Мэйми не могло быть и речи. А между тем при мысли, что придется отказаться от привычки есть, мне становилось грустно. Я приобрел эту привычку слишком давно. Двадцать семь лет я слепо несся навстречу катастрофе и поддавался вкрадчивым зовам ужасного чудовища — пищи. Меняться мне было поздно. Я был безнадежно жвачным двуногим. Можно было держать пари на салат из омаров против пончика, что моя жизнь будет из-за этого разбита.

Я продолжал столоваться в палатке Дьюгана, надеясь, что Мэйми смилюстивится. Я верил в истинную любовь и думал, что если она так часто превозмогала отсутствие приличной еды, то сумеет, авось, превозмочь и наличие оной. Я продолжал предаваться моему фатальному пороку, но всякий раз, когда я в присутствии Мэйми засовывал себе в рот картофелину, я чувствовал, что, может быть хороню мои сладчайшие надежды.

Коллиер, по-видимому, тоже открылся Мэйми и получил тот же ответ. По крайней мере в один прекрасный день он заказывает себе чашку кофе и сухарик, сидит и грызет кончик сухаря, как барышня в гостиной, которая предварительно напичкалась на кухне ростбифом с капустой. Я клюнул на эту удочку и тоже заказал кофе и сухарь. Вот хитрецы-то нашлись, а? На следующий день мы сделали то же самое. Из кухни выходит старина Дьюган и несет наш роскошный заказ.

— Страдаете отсутствием аппетита? — спросил он отечески, но не без сарказма. — Я решил сменить Мэйми, пускай отдохнет. Столик нетрудный, его и с моим ревматизмом можно обслужить.

Так нам с Коллиером пришлось опять вернуться к тяжелой пище. Я заметил в это время, что у меня появился со-

вершенно необыкновенный, разрушительный аппетит. Я так ел, что Мэйми должна была проникаться ненавистью ко мне, как только я переступал порог. Потом уже я узнал, что я стал жертвою первого гнусного и безбожного подвоха, который устроил мне Эд Коллиер. Мы с ним каждый день вместе выпивали в городе, стараясь утопить наш голод. Этот негодяй подкупил около десяти барменов, и они подливали мне в каждый стаканчик виски хорошую дозу анакондовской яблочной аппетитной горькой. Но последний подвох, который он мне устроил, было еще труднее забыть.

В один прекрасный день Коллиер не появился в палатке. Один общий знакомый сказал, что он утром уехал из города. Таким образом, моим единственным соперником осталась обеденная карточка. За несколько дней до своего исчезновения Коллиер подарил мне два галлона чудесного виски, которое ему будто бы прислал двоюродный брат из Кентукки. Я имею теперь основания думать, что этот виски состоял почти исключительно из анакондовской яблочной аппетитной горькой. Я продолжал поглощать тонны пищи. В глазах Мэйми я по-прежнему был просто двуногим, более жвачным чем, когда-либо.

Приблизительно через неделю после того как Коллиер испарился, в город прибыла какая-то выставка вроде паноптикума и расположилась в палатке около железной дороги. Я зашел как-то вечером к Мэйми, и мамаша Дьюган сказала мне, что Мэйми со своим младшим братом Томасом отправилась в паноптикум. Это повторилось на одной неделе три раза. В субботу вечером я поймал ее, когда она возвращалась оттуда, и уговорил присесть на минуточку на пороге. Я заметил, что она изменилась. Глаза у нее стали как-то нежнее и блестели. Вместо Мэйми Дьюган, обреченной на бегство от мужской прожорливости и на разведение фиалок, передо мной сидела Мэйми, более отвечающая плану, в котором она задумана была богом, и чрезвычайно подходящая для того, чтобы греться в лучах бразильских бриллиантов и патентованных растопок.

— Вы, по-видимому, очень увлечены этой доселе непревзойденной выставкой живых чудес и достопримечательностей? — спросил я.

— Все-таки развлечение, — говорит Мэйми.

— Вам придется искать развлечения от этого развлечения, если вы будете ходить туда каждый день.

— Не раздражайтесь, Джефф! — сказала она. — Это отвлекает мои мысли от кухни.

— Эти чудеса не едят?

— Не все. Некоторые из них восковые.

— Смотрите, не прилипните, — сострил я без всякой задней мысли, просто каламбура.

Мэйми покраснела. Я не знал, как это понять. Во мне вспыхнула надежда, что, может быть, я своим постоянством смягчил ужасное преступление мужчин, заключающееся в публичном введении в свой организм пищи. Мэйми сказала что-то о звездах, в почтительных и вежливых выражениях, а я нагородил чего-то о союзе сердец и о домашних очагах, согретых истинной любовью и патентованными растопками. Мэйми слушала меня без гримас, и я сказал себе: “Джефф, старина, ты ослабил заклятие, которое висит над едоками! Ты наступил каблуком на голову змеи, которая прячется в соуснике!”

В понедельник вечером я опять захожу к Мэйми. Мэйми с Томасом опять пошли на непревзойденную выставку чудес. “Чтоб ее побрали сорок пять морских чертей, эту самую выставку! — сказал я себе. — Будь она проклята отныне и навеки! Аминь! Завтра пойду туда сам и узнаю, в чем заключается ее гнусное очарование. Неужели человек, который сотворен, чтобы унаследовать землю, может лишиться своей милой сначала из-за ножа и вилки, а потом из-за паноптикума, куда и вход-то стоит всего десять центов?”

На следующий вечер, прежде чем отправиться в паноптикум я захожу в палатку и узнаю, что Мэйми нет дома. На сей раз она не с Томасом, потому что Томас подстерегает меня на траве, — перед палаткой, и делает мне предложение.

— Что вы мне дадите, Джефф, — говорит он, — если я вам что-то скажу?

— То, что это будет стоить, сынок.

— Мэйми втюрилась в чудо, — говорит Томас, — в чудо из паноптикума. Мне он не нравится. А ей нравится. Я подслушал, как они разговаривали. Я думал — может быть, вам будет интересно. Слушайте, Джефф, два доллара — это для вас не дорого? Там, в городе, продается одно ружье для стрельбы в цель, и я хотел...

Я обшарил карманы и вылил Томасу в шляпу поток серебра. Известие, сообщенное мне Томасом, подействовало на меня так, словно в меня заколотили сваю, и на некоторое время мысли мои стали спотыкаться. Пропливая мелкую монету и глупо улыбаясь, в то время как внутри меня разрывало на части, я сказал идиотски-шутливым тоном:

— Спасибо, Томас... спасибо... того... чудо, говоришь, Томас? Ну, а в чем его особенности, этого уroda, а, Томас?

— Вот он, — говорит Томас, вытаскивает из кармана программу на желтой бумаге и сует мне ее под нос. — Он чемпион мира — постник. Поэтому, наверно, Мэйми и врезалась в него. Он ничего не ест. Он будет голодать сорок пять дней. Сегодня шестой... Вот он.

Я посмотрел на строчку, на которой лежал палец Томаса: “Профессор Эдуардо Коллиери”.

— А! — сказал я в восхищении. — Это не худо придумано, Эд Коллиер! Отдаю вам должное за изобретательность. Но девушки я вам не отдам, пока она еще не миссис Чудо!

Я поспешил к паноптикуму. Когда я подходил к нему с задней стороны, какой-то человек вынырнул, как змея, из-под палатки, встал на ноги и полез прямо на меня, как бешеный мустанг. Я схватил его за шиворот и исследовал при свете звезд. Это был профессор Эдуардо Коллиери, в человеческом одеянии, со злобой в одном глазу и нетерпением в другом.

— Хэлло, Достопримечательность! — говорю я. — Подожди минутку, дай на тебя полюбоваться. Ну что, хорошо

быть чудом нашего века, или бимбомом с острова Борнео, или как там тебя величают в программе?

— Джефф Питерс, — говорит Коллиер слабым голосом. — Пусти меня или я тебя тресну. Я самым невероятным образом спешу. Руки прочь!

— Легче, легче, Эди, — отвечаю я, крепко держа его за ворот. — Позволь старому другу насмотреться на тебя всласть. Ты затеял колоссальное жульничество, сын мой, но о мордобое толковать брось: на это ты не годишься. Максимум того, чем ты располагаешь — это довольно много наглости и гениально пустой желудок.

Я не ошибался: он был слаб, как вегетарианская кошка.

— Джефф, — сказал он, — я согласен был бы спорить с тобой на эту тему неограниченное количество раундов, если бы у меня было полчаса на тренировку и плитка бифштекса в два квадратных фута для тренировки. Черт бы добрал того, кто изобрел искусство голодать! Пусть его на том свете прикуют навеки в двух шагах от бездонного колодца, полного горячих котлет. Я бросаю борьбу, Джефф. Я дезертирую к неприятелю. Ты найдешь мисс Дьюган в палатке; она там созерцает живую мумию и ученую свинью. Она чудная девушка, Джефф. Я бы победил в нашей игре, если бы мог выдержать беспищевое состояние еще некоторое время. Ты должен признать, что мой ход с голодовкой был задуман со всеми шансами на успех. Я так и рассчитывал. Но слушай, Джефф, говорят любовь двигает горами. Поверь мне, это ложный слух. Не любовь, а звонок к обеду заставляет содрогаться горы. Я люблю Мэйми Дьюган. Я прожил шесть дней без пищи, чтобы потрафить ей. За это время я только один раз проглотил кусок съестного; это, когда двинул татуированного человека его же палицей и вырвал у него сэндвич, который он начал есть. Хозяин оштрафовал меня на все мое жалованье. Но я пошел сюда не ради жалованья, а ради этой девушки. Я бы отдал за нее жизнь, но за говяжье рагу я отдаю мою бессмертную душу. Голод — ужасная вещь, Джефф. И любовь, и дела, и семья, и религия, и искусство, и патриотизм — пустые тени слов, когда человек голодает.

Так говорил мне Эд Коллиер патетическим тоном. Диагноз установить было легко: требования сердца и требования желудка вступили в нем в драку, и победило интендантство. Эд Коллиер мне в сущности всегда нравился. Я поискал у себя внутри какого-нибудь утешительного слова, но не нашел ничего подходящего.

— Теперь сделай мне удовольствие, — сказал Эд, — отпусти меня. Судьба крепко меня ударила, но я ударю сейчас по жратве еще крепче. Я очищу все рестораны в городе. Я зарююсь до пояса в филе и буду купаться в яичнице с ветчиной. — Это ужасно, Джефф Питерс, когда мужчина доходит до такого; отказывается от девушки ради еды. Это хуже, чем с этим — как его? — Исавом который спустил свое авторское право за куропатку.

Но голод жестокая штука. Прости меня, Джефф, но я чувю, что где-то вдалеке жарится ветчина, и мои ноги молят меня погнать их в этом направлении.

— Приятного аппетита, Эд Коллиер, — сказал я, — и не сердись на меня. Я сам создан незаурядным едоком и сочувствую твоему горю.

В эту минуту до нас донесся на крыльях ветерка сильный запах жареной ветчины. Чемпион-постник фыркнул и галопом поскакал в темноту к кормушке.

Жаль, что этого не видели культурные господа, которые вечно рекламируют смягчающее влияние любви и романтики! Вот вам Эд Коллиер, тонкий человек, полный всяких ухищрений и выдумок. И он бросил девушку, владычицу своего сердца и перекочевал на смежную территорию желудка в погоне за гнусной жратвой. Это была пощечина поэтам, издевка над самыми прибыльным сюжетом беллетристики. Пустой желудок — вернейшее противоядие от переполненного сердца.

Мне было, разумеется, чрезвычайно интересно узнать, насколько Мэйми ослеплена Коллиером и его военными хитростями. Я вошел внутрь палатки, в которой помещался непревзойденный паноптикум, и нашел ее там. Она как будто удивилась, но не выразила смущения.

— Элегантный вечерок сегодня на улице, — сказал я. — Такая приятная прохлада, и звезды все выстроились в перво-классном порядке, где им полагается быть. Не хотите ли вы плюнуть на эти побочные продукты животного царства и пройтись погулять с обыкновенным человеком, чье имя еще никогда не фигурировало на программе?

Мэйми робко покосилась в сторону, и я понял что это значит.

— О, — сказал я. — Мне неприятно говорить вам это, но достопримечательность, которая, питается одним воздухом, удрала. Он только что выполз из палатки с черного хода. Сейчас, он уже объединился в одно целое с половиною всего съестного в городе.

— Вы имеете в виду Эда Коллиера? — спросила Мэйми.

— Именно, — ответил я. — И самое печальное то, что он опять ступил на путь преступления. Я встретил его за палаткой, и он объявил мне о своем намерении уничтожить мировые запасы пищи. Это невыразимо печальное явление, когда твой кумир сходит с пьедестала, чтобы превратиться в саранчу.

Мэйми посмотрела мне прямо в глаза и не отводила их до тех пор, пока не откупила всех моих мыслей.

— Джефф, — сказала она, — это не похоже на вас — говорить такие вещи. Не смейте выставлять Эда Коллиера в смешном виде. Человек может делать смешные вещи, но от этого он не становится смешным в глазах девушки, ради которой он их делает. Такие люди, как Эд, встречаются редко. Он перестал есть исключительно в угоду мне. Я была бы жестокой и неблагодарной девушкой, если бы после этого плохо к нему относилась. Вот вы, разве вы способны на такую жертву?

— Я знаю, — сказал я, увидев, к чему она клонит, — я осужден. Я ничего не могу поделать. Клеймо едока горит у меня на лбу. Миссис Ева предопределила это когда вступила в сделку со змием. Я попал из огня в полымя. Очевидно, я чемпион мира — едок.

Я говорил со смирением, и Мэйми немного смягчилась.

— У меня с Эдом Коллиером очень хорошие отношения, — сказала она, — так же, как и с вами. Я дала ему такой же ответ, как и вам: брак — это не для меня. Я любила проводить время с Эдом и болтать с ним. Мне было так приятно думать, что вот есть человек, который никогда не употребляет ножа и вилки и бросил их ради меня.

— А вы не были влюблены в него? — спросил я совершенно неуместно. — У вас не было уговора, что вы станете миссис Достопримечательность?

Это случается со всеми. Все мы иногда высказываем за линию благоразумного разговора. Мэйми надела на себя прохладительную улыбочку, в которой было столько же сахара, сколько и льда, и сказала чересчур любезным тоном:

— У вас нет никакого права задавать мне такие вопросы, мистер Питерс. Сначала выдержите сорокапятидневную голодовку, чтобы приобрести это право, а потом я вам, может быть, отвечу.

Таким образом, даже когда Коллиер был устранен с моего пути своим собственным аппетитом, мои личные перспективы в отношении Мэйми не улучшились. А затем и дела в Гатри стали сходиться на нет.

Я пробыл там слишком долго. Бразильские брильянты, которые я продал, начали понемногу снашиваться, а растопки упорно отказывались загораться в сырую погоду. В моей работе всегда наступает момент, когда звезда успеха говорит мне: "Переезжай в соседний город". Я путешествовал в то время в фургоне, чтобы не пропускать маленьких городков, и вот несколько дней спустя я запряг лошадей и отправился к Мэйми попроситься. Я еще не вышел из игры. Я собирался проехать в Оклахома-Сити и обработать его в течение недели или двух. А потом вернуться и возобновить свой атаки на Мэйми.

И можете себе представить, прихожу я к Дьюганам, а там Мэйми, прямо-таки очаровательная, в синем дорожном платье, и у двери стоит ее сундучок. Оказывается, что ее подружка Лотти Белл, которая служит машинисткой в Терри-Хот, в следующий четверг выходит замуж, и Мэйми уезжает на не-

делу, чтоб стать соучастницей этой церемонии. Мэйми дожидается товарного фургона, который должен довезти ее до Оклахомы. Я обливаю товарный фургон презрением и грязью и предлагаю свои услуги по доставке товара. Мамаша Дьюган не видит оснований к отказу, ведь за проезд в товарном фургоне надо платить, и через полчаса мы выезжаем с Мэйми в моем легком рессорном экипаже, с белой полотняной крышей, и берем направление на юг.

Утро заслуживало всяческих похвал. Дул легкий ветерок, пахло цветами и зеленью, кролики забавы ради скакали, задрав хвостики, через дорогу. Моя пара кентуккийских гнедых так лупила к горизонту, что он начал рябить в глазах, и временами хотелось увернуться от него, как от веревки, натянутой для просушки белья. Мэйми была в отличном настроении и болтала, как ребенок, — о старом их доме, и о своих школьных проказах, и о том, что она любит, и об этих противных девицах Джонсон, что жили напротив, на старой родине, в Индиане. Ни слова не было сказано ни об Эде Коллиере, ни о съестном и тому подобных неприятных материях.

Около полудня Мэйми заглядывает в свой сундучок и убеждается, что корзинка с завтраком, которую она хотела взять с собой, осталась дома. Я и сам был не прочь закупить, но Мэйми не выказала никакого неудовольствия по поводу того, что ей нечего есть, и я промолчал. Это было большое место, и я избегал в разговоре касаться какого бы то ни было фуража в каком бы то ни было виде.

Я хочу пролить некоторый свет на то, при каких обстоятельствах я сбился с дороги. Дорога была неясная и сильно заросла травой и рядом со мной сидела Мэйми, конфисковавшая все мое внимание и весь мой интеллект. Годятся эти извинения или не годятся, это как вы посмотрите. Факт тот, что с дороги я сбился, и в сумерках, когда мы должны были быть уже в Оклахоме, мы путались на границе чего-то с чем-то, в высохшем русле какой-то не открытой еще реки, а дождь хлестал толстыми прутьями. В стороне, среди болота, мы увидели бревенчатый домик, стоявший на твер-

дом бугре, кругом него росла трава, чапараль и редкие деревья. Это был меланхолического вида домишко, вызывавший в душе сострадание. По моим соображениям, мы должны были укрыться в нем на ночь. Я объяснил это Мэйми, и она предоставила решить этот вопрос мне. Она не стала нервничать и не корчила из себя жертвы, как сделало бы на ее месте большинство женщин, а просто сказала: “Хорошо”. Она знала, что вышло это не нарочно.

Дом оказался необитаемым. В нем были две пустые комнаты. Во дворе стоял небольшой сарай, в котором в былое время держали скот. На чердаке над ним оставалось порядочно прошлогоднего сена. Я завел лошадей в сарай и дал им немного сена. Они посмотрели на меня грустными глазами, ожидая, очевидно, извинений. Остальное сено я сволок охапками в дом, чтобы там устроиться. Я внес также в дом бразильские брильянты и растопки, ибо ни те, ни другие не гарантированы от разрушительного действия воды.

Мы с Мэйми уселись на фургонных подушках на полу, и я зажег в камине несколько растопок, потому что, ночь была холодная. Если только я могу судить, вся эта история девушку забавляла. Это было для нее что-то новое, новая позиция, с которой она могла смотреть на жизнь. Она смеялась и болтала, а растопки горели куда менее ярким светом, чем ее глаза. У меня была с собой пачка сигар, и, поскольку дело касалось меня, я чувствовал себя как Адам до грехопадения. Мы были в добром старом саду Эдема. Где-то неподалеку в темноте протекала под дождем река Сион, и ангел с огненным мечом еще не вывесил дощечку “По траве ходить воспрещается”. Я открыл гросс или два бразильских брильянта и заставил Мэйми надеть их — кольца, брошки, ожерелья, серьги, браслеты, пояски и медальоны. Она искрилась и сверкала, как принцесса-миллионерша, пока у нее не выступили на щеках красные пятна, и она стала чудь не плача требовать зеркала.

Когда наступила ночь, я устроил для Мэйми на полу отличную постель — сено, мой плащ и одеяла из фургона — и уговорил ее лечь. Сам я сидел в другой комнате, курил, слу-



шал шум дождя и думал о том, сколько треволнений выпадает на долю человека за семьдесят примерно лет, непосредственно предшествующих его погребению.

Я, должно быть, задремал немного под утро, потому что глаза мои были закрыты, а когда я открыл их, было светло и передо мной стояла Мэйми, причесанная, чистенькая, в полном порядке, и глаза ее сверкали радостью жизни.

— Хэлло, Джефф, — воскликнула она. — И проголодалась же я! Я съела бы, кажется...

Я посмотрел на нее пристально. Улыбка сползла с ее лица, и она бросила на меня взгляд, полный холодного подозрения. Тогда я засмеялся и лег на пол, чтобы было удобнее. Мне было ужасно весело. По натуре и по наследственности я страшный хохотун, но тут я дошел до предела. Когда я высмеялся до конца, Мэйми сидела повернувшись ко мне спиной и вся заряженная достоинством.

— Не сердитесь, Мэйми, — сказал я. — Никак не мог удержаться. Вы так смешно причесались. Если бы вы только могли видеть...

— Не рассказывайте мне басни, сэр, — сказала Мэйми холодно и внушительно. — Мои волосы в полном порядке. Я знаю, над чем вы смеялись! Посмотрите Джефф, — прибавила она, глядя сквозь щель между бревнами на улицу.

Я открыл маленькое деревянное окошко к выглянул. Все русло реки было затошено, и бугор, на котором стоял домик, превратился в остров, окруженный бушующим потоком желтой воды ярдов в сто шириною. А дождь все лил. Нам оставалось только сидеть здесь и ждать, когда голубь принесет нам оливковую ветвь.

Я вынужден признаться, что разговоры и развлечения в этот день отличались некоторой вялостью. Я сознавал, что Мэйми опять усвоила себе слишком односторонний взгляд на вещи, но не в моих силах было изменить это. Сам я был пропитан желанием поесть. Меня посещали котлетные галлюцинации и ветчинные видения, и я все время говорил себе: “Ну, что ты теперь скушаешь, Джефф? Что ты закажешь, старичина, когда придет официант?”

Я выбирал из меню самые любимые блюда и представлял себе, как их ставят передо мною на стол. Вероятно, так бывает со всеми очень голодными людьми. Они не могут сосредоточить свои мысли ни на чем, кроме еды. Выходит, что самое главное — это вовсе не бессмертие души и не международный мир, а маленький столик с кривоногим судком, фальсифицированным вустерским соусом и салфеткой, прикрывающей кофейные пятна на скатерти.

Я сидел так, пережевывая, увы, только свои мысли, и горячо споря сам с собой, какой я буду есть бифштекс с шампиньонами или по-креольски. Мэйми сидела напротив, задумчивая, склонив голову на руки. “Картошку пусть изжарят по-деревенски, — говорил я сам себе, — а рулет пусть жарится, на сковородке. И на ту же сковородку выпустите девять яиц”. Я тщательно обыскал свои карманы, не найдется ли там случайно земляной орех или несколько зерен кукурузы.

Наступил второй вечер, а река все поднималась и дождь все лил. Я посмотрел на Мэйми и прочел на ее лице тоску, которая появляется на физиономии девушки, когда она проходит мимо будки с мороженым. Я знал, что бедняжка голодна, может быть, в первый раз в жизни. У нее был тот озабоченный взгляд, который бывает у женщины, когда она опаздывает к обеду или чувствует, что у нее сзади расстегнулась юбка.

Было что-то вроде одиннадцати часов. Мы сидели в нашей потерпевшей крушение каюте, молчаливые и угрюмые. Я откидывал мои мозги от съестных тем, но они шлепались обратно на то же место, прежде чем я успевал укрепить их в другой позиции. Я думал обо всех вкусных вещах, о которых когда-либо слышал, я углубился в мои детские годы и с пристрастием и почтением вспоминал горячий бисквит, смоченный в патоке, и ветчину под соусом. Потом я поехал дальше по своей жизни, останавливаясь на свежих и моченых яблоках, оладьях и кленовом сиропе, на маисовой каше, на жареных по-виргински цыплятах, на вареной кукурузе, свиных котлетах и на пирогах с бататами,

и кончил брунсвикским рагу, которое является высшей точкой всех вкусных вещей, потому что заключает в себе все вкусные вещи.

Говорят, перед утопающим проходит панорама всей его жизни. Может быть. Но когда человек голодает, перед ним встают духи всех съеденных им в течение жизни блюд. И он изобретает новые блюда, которые создали бы карьеру повара. Если бы кто-нибудь потрудились собрать предсмертные слова людей, умерших от голода, он, вероятно, обнаружил бы в них мало чувства, но зато достаточно материала для поваренной книги, которая разошлась бы миллионным тиражом.

По всей вероятности, эти кулинарные размышления совсем усыпили мой мозг. Без всякого на то намерения я вдруг громко обратился к воображаемому официанту:

— Нарезьте потолще и прожарьте чуть-чуть, а потом залейте яйцами — шесть штук, и с гренками.

Мэйми быстро повернула голову. Глаза ее сверкали она улыбнулась.

— Мне среднеподжаренный, — затараторила она, — и с картошкой и три яйца. Ах, Джефф, вот было бы замечательно, правда? И еще я взяла бы цыпленка с рисом, крем с мороженым и...

— Легче! — перебил я ее. — А где пирог с куриной печенкой, и почки сотэ на кругонах, и жареный молодой барашек, и...

— О, — перебила меня Мэйми, вся дрожа, — с мятным соусом... И салат с индейкой, и маслины, и тарталетки с клубникой, и...

— Ну, ну, давайте дальше, — говорю я. — Не забудьте жареную тыкву и сдобные маисовые булочки, и яблочные пончики под соусом, и круглый пирог с ежевикой...

Да, в течение десяти минут мы поддерживали этот ресторанный диалог. Мы катались взад и вперед по магистрали и по всем подъездным путям съестных тем, и Мэйми заводила, потому что она была очень образована насчет всяческой съестной номенклатуры, а блюда, которые она называла,

все усиливали мое тяготение к столу. Чувствовалось, что Мэйми будет впредь на дружеской ноге с продуктами питания и что она смотрит на предосудительную способность поглощать пищу с меньшим презрением, чем прежде.

Утром мы увидели, что вода спала. Я запряг лошадей, и мы двинулись в путь, шлепая по грязи, пока не наткнулись на потерянную нами дорогу. Мы ошиблись всего на несколько миль, и через два часа уже были в Оклахоме. Первое, что мы увидели в городе, это была большая вывеска ресторана, и мы бегом бросились туда.

Я сижу с Мэйми за столом, между нами ножи, вилки, тарелки, а на лице у нее не презрение, а улыбка — голодная и милая.

Ресторан был новый и хорошо поставленный. Я процитировал официанту так много строк из карточки, что он оглянулся на мой фургон, недоумевая, сколько же еще человек вылезут оттуда.

Так мы и сидели, а потом нам стали подавать. Это был банкет на двенадцать персон, но мы и чувствовали себя, как двенадцать персон. Я посмотрел через стол на Мэйми и улыбнулся, потому что вспомнил кое-что. Мэйми смотрела на стол, как мальчик смотрит на свои первые часы с ключиком. Потом она посмотрела мне прямо в лицо, и две крупных слезы показались у нее на глазах. Официант пошел на кухню за пополнением.

— Джефф, — говорит она нежно, — я была глупой девочкой. Я неправильно смотрела на вещи. Я никогда раньше этого не испытывала. Мужчины чувствуют такой голод каждый день, правда? Они большие и сильные, и они делают всю тяжелую работу, и они едят вовсе не для того, чтобы дразнить глупых девушек-официанток, правда? Вы рассказали... то есть... вы спросили меня... вы хотели... Вот что Джефф, если вы еще хотите... я буду рада... я хотела бы чтобы вы всегда сидели напротив меня за столом. Теперь дайте мне еще что-нибудь поесть, и скорее, пожалуйста.

— Как я вам и докладывал, — закончил Джефф Питерс, — женщине нужно время от времени менять свою точку зре-

ния. Им надоедает один и тот же вид — тот же обеденный стол, умывальник и швейная машина. Дайте им хоть какое-то разнообразие — немножко путешествий, немножко отдыха, немножко дурачества вперемежку с трагедиями домашнего хозяйства, немножко ласки после семейной сцены, немножко волнения и торможения — и, уверяю вас, обе стороны останутся в выигрыше.

## ЕЛКА С СЮРПРИЗОМ

Чероки называли отцом Желтой Кирки. А Желтая Кирка была новым золотоискательским поселком, возведенным преимущественно из не остроганных сосновых бревен и парусины. Чероки был старателем. Как-то раз, пока его ослик уголял голод кварцем и сосновыми шишками, Чероки выворотил киркой самородок в тридцать унций весом. Чероки застолбил участок и тут же — как радушный хозяин и человек с размахом — разослал всем своим друзьям в трех штатах приглашение приехать, разделить с ним его удачу.

Никто из приглашенных не ответил вежливым отказом. Они прикатили с реки Хилы, с Рио-Пекос и с Соленой реки, из Альбукерка и Феникса, из Санта-Фэ и изо всех окрестных старательских лагерей.

Когда около тысячи золотоискателей застолбили участки и обосновались на них, они назвали свое поселение Желтой Киркой, избрали комитет охраны общественного порядка и преподнесли Чероки цепочку для часов из небольших самородков.

Через три часа после окончания церемонии с цепочкой золото на участке Чероки иссякло. Он застолбил не жилу, а карман. Чероки бросил участок и принялся столбить новые — один за другим. Но счастье повернулось к нему спиной. Золотого песка, который он намывал за день, ни разу не хватило, чтобы оплатить его счет в баре. Зато почти у всех приглашенных им старателей дела шли на лад, и Чероки радостно улыбался и поздравлял их с успехом.

В Желтой Кирке подобрался народ, уважавший тех, кто не падает духом от неудачи. Старатели спросили Чероки, что они могут для него сделать.

— Для меня? — сказал Чероки. — Да что ж, небольшая ссуда пришлось бы сейчас в самую пору. Надо, пожалуй, попытаться счастья в Маринозе. Если нападу там на хорошую залежь, тут же пришлю вам весточку. Вы же знаете: я не из тех, кто скрывает свою удачу от друзей.

В мае Чероки навьючил свое снаряжение на ослика и повернул его задумчивой мышасто-серой мордой на север. Толпа новоселов проводила его до воображаемой городской заставы, и он зашагал дальше, напутствуемый прощальными криками и пожеланиями успеха. Пять фляжек без единого пузырька воздуха между пробкой и содержимым были силком расставаны по его карманам. Чероки просил не забывать, что в Желтой Кирке его всегда будут ждать постель, яичница с салом и горячая вода для бритья, если Фортуна не надумает заглянуть к нему на стоянку в Маринозе, чтобы погреть руки у его костра.

Чероки получил это свое прозвище в соответствии с существовавшей среди старателей номенклатурной системой. Предъявления свидетельства о крещении не требовалось — каждый получал свою кличку и без этого. Имя и фамилия человека считались его личной собственностью, а чтобы его удобнее было кликнуть к стойке и как-то отличить от других облаченных в синие рубахи двуногих, общество присваивало ему какое-нибудь временное звание, титул или прозвище. Повод для этих не предусмотренных законом крестин чаще всего усматривался в личных особенностях каждого. Ко многим без труда приставало название той местности, из которой они, по их словам, прибыли. Некоторые громко и нахально именовали себя Адамсами, или Томпсонами, или еще как-нибудь в том же роде, бросая этим тень на свою репутацию. Кое-кто хвастливо и бесстыдно раскрывал свое бесспорно подлинное имя, но это воспринималось как пустое зазнайство и не имело успеха среди старателей. Одному типу, заявившему,

что его зовут Честертон Л. К. Белмонт, и предъявившему в доказательство бумаги, категорически предложили покинуть город до захода солнца. Особенно в ходу были клички вроде: Коротыш, Криволапый, Техасец, Лежебока Билл, Роджер-Выпивоха, Хромой Райли, Судья и Эд-Калифорния. Чероки получил свое прозвище потому, что он прожил будто бы некоторое время среди этого индейского племени.

Двадцатого декабря Болди, почтальон, прискакал в Желтую Кирку с потрясающей новостью.

— Как вы думаете, кого я видел в Альбукерке? — спросил Болди, заняв свое место у стойки бара. — Чероки. Разряжен в пух и прах, словно какой-нибудь султан турецкий, и швыряет деньгами направо и налево. Мы с ним погуляли на славу и отпробовали слабительной шипучки, и Чероки оплачивал все счета наложенным платежом. Карманы у него раздулись от денег, как бильярдные лузы, набитые шарами.

— Чероки, должно быть, напал на хорошую жилу, — сказал Эд-Калифорния. — Вот порядочный малый! Я глубоко признателен Чероки за то, что ему наконец повезло.

— Не мешало бы Чероки притопать теперь в Желтую Кирку, поведать старых друзей, — заметил кто-то с ноткой огорчения в голосе. — Ну, да так оно всегда бывает. Деньги — лучшее средство, чтоб отшибло память.

— Постойте, — возразил Болди, — я еще не все рассказал. Чероки застолбил трехфунтовую жилу там, в Марипозе, и с каждой тонны руды добывал столько золота, что хоть всякий раз кати в Европу. Эту свою жилу он продал одному синдикату и получил сто тысяч долларов чистоганом. После этого он купил себе шубу из новорожденных котиков, и красные сани, и... ну, угадайте, что еще он надумал?

— В карты режется, — высказал предположение Техасец, который не мыслил себе развлечений вне азарта.

— Ах, поцелуй меня скорей, моя красотка! — пропел Коротыш, носивший в кармане чью-то фотографию и не снимавший пунцового галстука даже во время работы на участке.

— Купил пивную, — решил Роджер-Выпивоха.

— Чероки повел меня к себе в комнату, — продолжал Болди, — и кое-что мне показал. У него там целый склад кукол, барабанов, попрыгунчиков, коньков, мешочков с леденцами, хлопушек, заводных барашков и прочей дребедени. И как вы думаете, что он собирается делать со всеми этими бесполезными побрякушками? Нипочем не угадаете. Ну так вот, Чероки мне сказал. Он задумал погрузить все это в свои красные сани и... стойте, стойте, подождите заказывать виски!.. прискакать сюда, в Желтую Кирку, и закатить здешней детворе — ну да, да, здешней детворе! — такую большую рождественскую елку и такой великий кутеж с раздачей Говорящих Кукол и Больших Столярных Наборов для Маленьких Умных Мальчиков, какие не снились еще ни одному сосунку к западу от мыса Гаттерас!

После этих слов минуты на две воцарилось гробовое молчание. Оно было нарушено барменом. Решив, что удобный момент для проявления радушия настал, он двинул по стойке свою батарею стаканов; следом за ними и не столь стремительно пошлыла бутылка виски.

— А ты сказал ему? — спросил старатель по кличке Тринидад.

— Да нет, — с запинкой отвечал Болди, — не сказал. Как-то к слову не пришлось. Ведь Чероки уже закупил всю эту муру и уплатил за нее сполна, и уж так-то был доволен собой и своей затеей... И мы с ним успели порядком нагрузиться этой самой шипучкой. Нет, я ничего ему не сказал.

— Признаться, я несколько изумлен, — молвил Судья, вешая свою тросточку с ручкой из слоновой кости на стойку бара. — Как мог наш друг Чероки составить себе столь превратное представление о своем, так сказать, родном городе?

— Ну, то ли еще бывает на свете, — возразил Болди. — Чероки уехал отсюда семь месяцев назад. Мало ли что могло случиться за это время. Откуда ему знать, что в городе совсем нет ребятишек и пока не ожидается.

— Да ведь если рассудить, — заметил Эд-Калифорния, — так это даже странно, что никаким ветром их к нам еще не

занесло. Может, это потому, что в городе покуда не налажено снабжение сосками и пеленками?

— А для лучшего эффекта, — сказал Болди, — Чероки решил сам нарядиться Дедом Морозом. Он раздобыл себе белый парик и бороду, в которых он как две капли воды похож на этого парня Лонгфелло, если судить по портрету в книжке. И потом еще красный, обшитый мехом, исподний балахон, чтобы надевать поверх всего, пару красных рукавиц и круглый красный стоячий колпак с отложным кончиком. Позор да и только, как подумаешь, что все это обмундирование пропадет зря, когда столько разных Энн и Вилли мечтают об эдаком чуде!

— А когда Чероки думает прибыть сюда со своим товаром? — спросил Тринидад.

— В сочельник утром, — сказал Болди. — И он хочет, чтобы вы, ребята, приготовили помещение, и поставили елку, и пригласили дам помочь наряжать ее. Но только таких, которые умеют держать язык за зубами, — чтоб полный был сюрприз для ребят.

Отмеченное собеседниками прискорбное состояние Желтой Кирки соответствовало действительности. Ни разу ребячий голосок не порадовал обитателей этого на скорую руку возведенного поселка. Ни разу топот резвых детских ножек не прозвучал на его единственной не мощеной улице между двумя рядами палаток и бревенчатых хижин. Все это пришло потом. Но в те дни Желтая Кирка была просто затерянным в горах старательским лагерем, и никто еще не видел там горящих ожиданием плутовских глаз, нетерпеливо встречающих зарю праздничного дня, или рук, жадно протянутых к таинственным дарам Деда Мороза, не слышал восторженных криков по поводу великой зимней радости — елки. Словом, не было в Желтой Кирке ничего, что могло бы послужить наградой добросердечному Чероки за тот ворох добра, который он туда вез.

Женщин в Желтой Кирке было всего пять. Из них три — жена пробирщика, хозяйка гостиницы “Счастливая наход-

ка” и прачка, намывавшая в своем корыте на унцию золотого песка в день, — составляли оседлую часть женского населения поселка. Остальные две были сестры Спэнглер — мисс Фаншон и мисс Ирма — из Передвижного драматического, который играл сейчас в импровизированном театре “Ампир”. Но детей в поселке не было. Иной раз мисс Фаншон исполняла не без огонька роль какого-нибудь бойкого подростка, но создаваемый ею образ был плачевно далек от того детского облика, который рисовался воображению как достойный объект праздничных щедрот Чероки.

Рождество приходилось на четверг. Во вторник утром Тринидад не пошел работать на участок, а направился к Судье в гостиницу “Счастливая находка”.

— Желтая Кирка опозорит себя навеки, — заявил Тринидад, — если мы не поддержим Чероки в этом его елочном загуле. Чероки, можно сказать, создал наш город. Я лично решил кое-что предпринять, чтобы Дед Мороз не оказался в дураках.

— Это начинание, — сказал Судья, — встретит всемерную поддержку с моей стороны. Я многим обязан Чероки. Однако я не вижу путей и средств... собственно говоря, отсутствие детей в нашем городе я до этой минуты склонен был рассматривать скорее как благодеяние... хотя при сложившихся обстоятельствах... тем не менее я все-таки не вижу путей и средств...

— Взгляните на меня, — сказал Тринидад, — и вы увидите. Пути и средства стоят перед вами и уже собрались в путь-дорогу. Я сейчас раздобуду упряжку и пригоню на представление нашего Деда Мороза целый фургон детворы... хотя бы пришлось совершить налет на сиротский приют.

— Эврика! — воскликнул Судья.

— Нет, врете! — решительно возразил Тринидад. — Это я первый нашел. Я когда-то тоже учил латынь в школе.

— Я буду вас сопровождать, — заявил Судья, размахивая тросточкой. — Тот небольшой дар речи и ораторские способности, которыми я обладаю, могут пригодиться нам, когда нужно будет убедить наших юных друзей предоставить

себя на некоторое время напрокат для осуществления наших планов.

Через час Желтая Кирка была оповещена о плане Тринидада и Судьи и единодушно его одобрила. Каждый, кому было известно, что где-нибудь в радиусе сорока миль от Желтой Кирки проживает семья с малолетними отпрысками, поспешил поделиться своими сведениями. Тринидад тщательно все записал и, не теряя времени, отправился на розыски лошадей и возка.

Первую остановку намечено было сделать у пятистенной бревенчатой хижины в двадцати милях от Желтой Кирки. Тринидад покричал у ворот, из хижины вышел хозяин и стал, облокотившись о распатанную калитку. На порог высыпала орава ребятишек, порядком оборванных, но пышущих здоровьем и снedaемых любопытством.

— Вот какое дело, — начал Тринидад. — Мы из Желтой Кирки. Приехали похитить у вас детишек на добровольных, так сказать, началах. Один из наших видных горожан одержим елочной манией и пожелал стать Дедом Морозом. Завтра он прикатит в город с целым возом разной чепухи, выкрашенной в красную краску и изготовленной в Германии. А у нас в Желтой Кирке самый младший из сорванцов обзавелся уже сорокапятикалиберным револьвером и безопасной бритвой. Так кто же будет кричать “Ох!” и “Ах!”, когда на елке зажгутся свечки? Словом, друг, если вы одолжите нам парочку ребят, мы обещаем возвратить их в полной сохранности. В первый день Рождества они будут доставлены обратно в лучшем виде и притащат с собой Робинзонов в красивых переплетах, рога изобилия, красные барабаны и прочие вещественные доказательства. Ну, как?

— Другими словами, — вмешался Судья, — мы впервые со дня основания нашего небольшого, но процветающего города обнаружили его несовершенство в смысле совершенного отсутствия в нем несовершеннолетних. И ввиду приближения того календарного срока, когда обычаем предусмотрено награждать, так сказать, нежных и юных различными бесполезными, но ходкими предметами...

— Понятно, — сказал хозяин, уминая большим пальцем табак в трубке. — Не стану задерживать вас, джентльмены. У нас со старухой, скажем прямо, семеро ребятишек. Так вот, я перебрал в уме всю кучу и что-то не вижу, кого из них мы могли бы уступить вам для вашей гулянки. Старуха уже нажарила кукурузных зерен, а в комодe у нее спрятаны тряпичные куклы, и мы сами думаем кутнуть на праздничках, хотя и по-домашнему, без затей. Словом, мне эта ваша выдумка не очень-то по душе, и я ни одного из своих ребят не уступлю. Премного вам благодарен, джентльмены.

Они покатали под гору, взобрались на другой холм и остановили возок у ранчо Уайли Уилсона. Тринидад изложил свою просьбу. Судья торжественно прогудел партию для второго голоса. Миссис Уайли спрятала двух розовощеких пострелят в складках своей юбки и не улыбнулась до тех пор, пока не увидела, что мистер Уайли смеется и отрицательно качает головой. Опять отказ!

Когда в низине меж холмами начали сгущаться сумерки, Тринидад и Судья уже исчерпали больше половины своего списка — и все впустую. Они заночевали в придорожной гостинице и на заре снова пустились в путь. В возке не прибавилось ни одного седока.

— Я, кажется, начинаю понимать, — сказал Тринидад, — что получить ребенка напрокат на праздники так же трудно, как украсть масло у человека, который собрался есть блины.

— Не подлежит никакому сомнению, — отозвался Судья, — что семейные узы приобретают в этот период года исключительную, так сказать, прочность.

В канун праздника они покрыли тридцать миль, сделали четыре бесплодных остановки и произнесли четыре не имевших успеха воззвания. Детвора везде была на вес золота.

Солнце уже клонилось к закату, когда жена старшего обходчика на какой-то глухой железнодорожной ветке, загордив собой еще одно, не подлежащее изытанию сокровище, сказала:

— На Гранитной Стрелке работает сейчас новая буфетчица. У нее, кажется, есть сынишка. Может, она и отпустит его с вами.

В пять часов вечера Тринидад пригнал своих мулов к станции Гранитная Стрелка. Поезд только что отошел, забрав с собой утоливших голод и умиротворенных пассажиров.

На ступеньках железнодорожного буфета они увидели тощего угрюмого мальчонку лет десяти, с папиросой в зубах. В буфете, где пассажиры с налету удовлетворили свой кочевой аппетит, царил хаос. Молодая, но искушенная заботами женщина в полном изнеможении сидела откинувшись на спинку стула. Лицо ее хранило следы своеобразной красоты — той, что никогда не исчезает бесследно, но которую нельзя и вернуть. Тринидад разъяснил ей цель их приезда.

— Да я буду рада, если вы хоть ненадолго заберете с собой Бобби, — устало сказала женщина. — Крутишься тут как заведенная с утра до ночи — некогда за ним присмотреть. А он набирается дурных примеров от взрослых. Какие уж тут елки — вот разве что у вас...

Мужчины вышли на крыльцо для переговоров с Бобби. Тринидад в живых красках описал ему роскошную елку с подарками.

— А потом, мой юный друг, — добавил Судья, — сам Дед Мороз явится к вам с дарами, как бы в ознаменование того, как некогда волхвы...

— А, бросьте заливать! Я не ребенок, — насмешливо прищурившись, прервал его Бобби. — Нет никаких Дед Морозов. Это вы, дяди, сами покупаете в лавке всякую дрянь и суете ребятам ночью под подушки. И пачкаете каминными щипцами пол — будто Дед Мороз приехал на санях.

— Ну, может, и так, — примирительно сказал Тринидад. — Но елки-то ведь всамделишные. А у нас будет знаешь какая! Как универсальный магазин в Альбукерке — все игрушки не дешевле десяти центов. И барабаны будут, и волчки, и Ноев ковчег, и...

— К черту! — холодно сказал Бобби. — Я с этим давно покончил. Хочу ружье. Не игрушечное, а настоящее, чтоб стрелять диких котов. Так у вас небось не найдется ружья на вашей дурацкой елке?

— Поручиться не могу, — сказал Тринидад дипломатично, — но кто его знает... Поедем с нами, а там видно будет.

Заронив этот слабый луч надежды в душу Бобби, вербовщики вынудили у него согласие пойти навстречу филантропическому порыву Чероки и пустились со своим единственным трофеем в обратный путь.

В Желтой Кирке тем временем помещение пустовавшего склада было превращено в праздничный зал, разукрашенный, как чертоги доброй аризонской феи. Дамы потрудились не зря. Елка, вся в свечах, серебряной мишуре и игрушках, которых хватило бы на добрых два десятка ребят, высилась в центре зала. Когда свечерело, все, сжигаемые нетерпением, стали выглядывать на улицу, не покажется ли возок с похитителями детей. Еще в полдень Чероки влетел в поселок на красных санях, заваленных свертками, кулками и коробками самой различной формы и размера. И так был он увлечен выполнением своего бескорыстного замысла, что даже не заметил отсутствия ребят в поселке, а открыть ему глаза на позорное состояние Желтой Кирки ни у кого не хватило духу; к тому же все твердо верили, что Тринидад и Судья сумеют восполнить этот ужасающий пробел.

Когда солнце село, Чероки хитро подмигнул собравшимся и с лукавой улыбкой на обветренном морщинистом лице удалился из зала, прихватив узелок со всем реквизитом Деда Мороза и еще один таинственный пакет с игрушками.

— Как только ребята соберутся, — наказывал он членам добровольного елочного комитета, — зажгите елку и поиграйте с ними в кошки-мышки. А когда у них пойдет дым коромыслом, вот тогда... тогда Дед Мороз потихоньку проскользнет в дверь. Подарков, думается мне, должно хватить.

Дамы порхали вокруг елки, в последний раз перевешивая какие-то украшения, чтобы тут же перевесить их заново. Сестры Спэнглер тоже были здесь: одна в костюме леди Вайолет де Вир, другая — служанки Мари, персонажей из новой пьесы “Невеста рудокопа”. Спектакли в театре начались только в девять часов, и актрисы с благосклонного разрешения комитета помогали наряжать елку. Кто-нибудь то и дело высказывал на крыльцо и прислушивался, не возвращается ли упряжка Тринидада. Тревога росла, ибо надвигалась ночь и пора было зажигать елку, да и Чероки в любую минуту мог, не спросившись, появиться на пороге в полном облачении рождественского Деда.

Но вот на улице заскрипел возок, и “похитители” подъехали к складу. Дамы всполошились и с восторженными восклицаниями бросились зажигать свечи. Мужчины беспokoйно прохаживались из угла в угол или стояли небольшими группами, смущенно переминаясь с ноги на ногу.

Тринидад и Судья, истомленные долгими странствиями, вступили в зал, ведя за руку щедедушного, озорного с виду мальчишку. Мальчишка презрительным взглядом исподлобья окинул пестро разряженную елку.

— А где же остальные дети? — спросила жена пробирщика, игравшая первую скрипку во всех светских начинаниях города.

— Сударыня, — со вздохом отвечал Тринидад, — отправляться на разведку за детьми перед праздником — все равно что искать серебро в известняках. Так называемые родительские чувства — сплошная для меня загадка. Похоже, что папашам и мамашам совершенно безразлично, если их потомство все триста шестьдесят четыре дня в году будет тонуть, объедаться ядовитыми дубовыми орешками, попадать в лапы диких котов или похитителей детей. Но в сочельник оно, вынь да положь, должно отравлять своим присутствием семейные сборища. Этот вот экземпляр, сударыня, — единственное, что нам удалось откопать в результате двухдневных разведок на местности.

— Ах, прелестное дитя! — проворковала мисс Ирма, волоча свой театральный шлейф к середине сцены.

— Отвяжитесь! — хмуро буркнул Бобби. — Кто это — “дитя”? Уж не вы ли?

— Дерзкий мальчишка! — ахнула мисс Ирма, не успев погасить эмалевой улыбки.

— Старались, как могли, — сказал Тринидад. — Обидно за Чероки, да что ж поделаешь.

Тут распахнулась дверь — и появился Чероки в традиционном костюме Деда Мороза. Белые космы парика и пышная белая борода закрывали почти все его лицо, видны были только темные, искривленные весельем глаза. За спиной он нес мешок.

Все замерли при его появлении. Даже сестры Спэнглер, забыв принять кокетливые позы, с любопытством уставились на высокую фигуру рождественского Деда. Бобби, насупившись, засунув руки в карманы, угрюмо рассматривал нелепое, обвешанное побрякушками дерево. Чероки опустил на пол свой мешок и с удивлением огляделся по сторонам. Быть может, у него мелькнула мысль, что нетерпеливую ватагу ребятишек загнали куда-нибудь в угол, чтобы выпустить оттуда, как только он войдет. Чероки направился к Бобби и протянул ему руку в красной рукавице.

— Поздравляю тебя с праздником, мальчуган, — сказал он. — Можешь брать с елки все, что тебе нравится, — мы сейчас достанем. Ну, давай руку, поздоровайся с Дедом Морозом.

— Нет никаких Дед Морозов, — шмыгнув носом, проворчал Бобби. — У тебя фальшивая борода. Из старых козлиных очесов. Я не ребенок. На черта мне эти куклы и оловянные лошадки? Кучер сказал, что дадут ружье. А у тебя его нет. Я хочу домой.

Тринидад пришел на помощь. Он схватил руку Чероки и горячо ее потряс.

— Ты уж прости, Чероки, — сказал он. — Нет у нас в Желтой Кирке никаких ребят, да и сроду не было. Мы надеялись пригнать их целый косяк на твое суарэ, да вот, кроме этой сардинки, ничего не удалось выловить. А он, понима-



ешь ли, атеист и не верит в рождественских Дедов. Нам очень совестно, что ты зря потратился. Да ведь мы с Судьей думали, что притащим сюда целую ораву мелюзги и все твои свистульки пойдут в ход.

— Ну и ладно, — спокойно сказал Чероки. — Подумаешь, какие траты, есть о чем говорить! Свалим все это барахло в старую шахту, да и дело с концом. Но надо же быть таким ослом — прямо из головы вон, что в Желтой Кирке нету ребятишек!

Гости меж тем с похвальным усердием, хотя и без особого успеха, делали вид, что веселятся вовсю.

Бобби отошел в угол и уселся на стул. Холодная скука была отчетливо написана на его лице. Чероки, еще не вполне отвыкнув от своей роли, подошел и сел рядом.

— Где ты живешь, мальчик? — вежливо осведомился он.

— На Гранитной Стрелке, — нехотя процедил Бобби.

В зале было жарко. Чероки снял свой колпак, парик и бороду.

— Эй! — несколько оживившись, произнес Бобби. — А ведь я тебя знаю.

— Разве мы с тобой встречались, малыш?

— Не помню. А вот карточку твою я видел. Сто раз.

— Где?

Бобби колебался.

— Дома. На комодке.

— Скажи, пожалуйста, мальчик, а как тебя зовут?

— Роберт Лэмсден. Это материна карточка. Она прячет ее ночью под подушку. Я раз видел даже, как она ее целовала. Вот уж нипочем бы не стал. Но женщины все на один лад.

Чероки встал и поманил к себе Тринидада.

— Посиди с мальчиком, я сейчас вернусь. Пойду сниму этот балахон и заложу сани. Надо отвезти мальчика домой.

— Ну, безбожник, — сказал Тринидад, занимая место Чероки. — Ты, брат, значит, настолько одряхлел и всем пресытился, что тебя уже не интересует разная ерунда вроде сластей и игрушек?

— Ты неприятный тип, — язвительно сказал Бобби. — Ты обещал, что будет ружье. А здесь человеку даже покурить нельзя. Я хочу домой.

Чероки пригнал сани к крыльцу, и Бобби водрузили на сиденье. Резвые лошадки бойко рванулись вперед по укатанной снежной дороге. На Чероки была его пятисотдолларовая шуба из новорожденных котиков. меховая полость приятно грела.

Бобби вытащил из кармана папиросу и принялся чиркать спичкой.

— Брось папиросу! — сказал Чероки спокойно, но каким-то новым голосом.

После некоторого колебания Бобби швырнул папиросу в снег.

— Брось всю коробку, — приказал новый голос.

Мальчик повиновался не сразу, но все же исполнил и этот приказ.

— Эй! — сказал вдруг Бобби. — А ты мне нравишься. Не пойму даже, почему. Попробовал бы кто-нибудь так надо мной командовать!

— Послушай, малыш, — сказал Чероки обыкновенным голосом. — А ты не врешь, что твоя мать целовала эту карточку? Ту, что на меня похожа?

— Не вру. Сам видел.

— Ты, кажется, что-то говорил насчет ружья?

— Ну да. А что? Есть у тебя?

— Завтра получишь. С серебряными нашлепками.

Чероки поглядел на часы.

— Половина десятого. Что ж, мы с тобой доберемся до Гранитной Стрелки как раз к празднику, минута в минуту. Тебе не холодно? Садись поближе, сынок.

Из сборника  
“ГОРЯЩИЙ СВЕТИЛЬНИК”  
1907

## ГОРЯЩИЙ СВЕТИЛЬНИК

Конечно, у этой проблемы есть две стороны. Рассмотрим вторую. Нередко приходится слышать о “продавщицах”. Но их не существует. Есть девушки, которые работают в магазинах. Это их профессия. Однако с какой стати название профессии превращать в определение человека? Будем справедливы. Ведь мы не именуем “невестами” всех девушек, живущих на Пятой авеню.

Лу и Нэнси были подругами. Они приехали в Нью-Йорк искать работы, потому что родители не могли их прокормить. Нэнси было девятнадцать лет, Лу — двадцать. Это были хорошенькие трудолюбивые девушки из провинции, не мечтавшие о сценической карьере.

Ангел-хранитель привел их в дешевый и приличный пансион. Обе нашли место и начали самостоятельную жизнь. Они остались подругами. Разрешите теперь, по прошествии шести месяцев, познакомить вас, Назойливый Читатель — мои добрые друзья мисс Нэнси и мисс Лу. Раскланяюсь, обратите внимание — только незаметно, — как они одеты. Но только незаметно! Они так же не любят, чтобы на них глазели, как дама в ложе на скачках.

Лу работает сдельно гладильщицей в ручной прачечной. Пурпурное платье плохо сидит на ней, перо на шляпе на четыре дюйма длиннее, чем следует, но ее горностаевая муфта и горжетка стоят двадцать пять долларов, а к концу сезо-

на собратья этих горностаев будут красоваться в витринах, снабженные ярлыками “7 долларов 98 центов”. У нее розовые щеки и блестящие голубые глаза. По всему видно, что она вполне довольна жизнью.

Нэнси вы назовете продавщицей — по привычке. Такого типа не существует. Но поскольку пресыщенное поколение повсюду ищет тип, ее можно назвать “типичной продавщицей”. У нее высокая прическа помпадур и корректнейшая английская блузка. Юбка ее безупречного покроя, хотя и из дешевой материи. Нэнси не кутается в меха от резкого весеннего ветра, но свой короткий суконный жакет она носит с таким шиком, как будто это каракулевое манто. Ее лицо, ее глаза, о безжалостный охотник за типами, хранят выражение, типичное для продавщицы: безмолвное, презрительное негодование попранной женственности, горькое обещание грядущей мести. Это выражение не исчезает, даже когда она весело смеется. То же выражение можно увидеть в глазах русских крестьян, и те из нас, кто доживет, узрят его на лице архангела Гавриила, когда он затрубит последний сбор. Это выражение должно было бы смутить и уничтожить мужчину, однако он чаще ухмыляется и преподносит букет... за которым тянется веревочка.

А теперь приподнимите шляпу и уходите, получив на прощанье веселое “до скорого!” Лу и насмешливую, нежную улыбку Нэнси, улыбку, которую вам почему-то не удастся поймать, и она, как белая ночная бабочка, трепеща, поднимается над крышами домов к звездам.

На углу девушки ждали Дэна. Дэн был верный поклонник Лу. Преданный? Он был бы при ней и тогда, когда Мэри пришлось бы разыскивать свою овечку<sup>1</sup> при помощи наименее сыщиков.

— Тебе не холодно, Нэнси? — заметила Лу. — Ну и дура ты! Торчишь в этой лавчонке за восемь долларов в неделю! На прошлой неделе я заработала восемнадцать пятьдесят. Конечно, гладить не так шикарно, как продавать кружева за

прилавком, зато плата хорошая. Никто из наших гладильщиц меньше десяти долларов не получает. И эта работа ничем не унижительнее твоей.

— Ну, и бери ее себе, — сказала Нэнси, вздернув нос, — а мне хватит моих восьми долларов и одной комнаты. Я люблю, чтобы вокруг были красивые вещи и шикарная публика. И потом, какие там возможности! У нас в отделе перчаток одна вышла за литейщика или как там его — кузнеца, из Питтсбурга. Он миллионер! И я могу подцепить не хуже. Я вовсе не хочу хвастать своей наружностью, но я по мелочам не играю. Ну, а в прачечной какие у девушки возможности?

— Там я познакомилась с Дэном! — победоносно заявила Лу. — Он зашел за своей воскресной рубашкой и воротничками, а я гладила на первой доске. У нас все хотят работать за первой доской. В этот день Элла Меджинниз заболела, и я заняла ее место. Он говорит, что сперва заметил мои руки — такие белые и круглые. У, меня были закатаны рукава. В прачечные заходят очень приличные люди. Их сразу видно: они белье приносят в чемоданчике и в дверях не болтаются.

— Как ты можешь носить такую блузку, Лу? — спросила Нэнси, бросив из-под тяжелых век томно-насмешливый взгляд на пестрый туалет подруги. — Ну и вкус же у тебя!

— А что? — вознегодовала Лу. — За эту блузку я шестнадцать долларов заплатила; а стоит она двадцать пять. Какая-то женщина сдала ее в стирку, да так и не забрала. Хозяин продал ее мне. Она вся в ручной вышивке! Ты лучше скажи, что это на тебе за серое безобразие?

— Это серое безобразие, — холодно сказала Нэнси, — точная копия того безобразия, которое носит миссис ван Олстин Фишер. Девушки говорят, что в прошлом году у нее в нашем магазине счет был двенадцать тысяч долларов. Мою юбку я сшила сама. Она обошлась мне в полтора доллара. За пять шагов ты их не различишь.

— Ладно, уж! — добродушно сказала Лу. — Если хочешь голодать и важничать — дело твое. А мне годится и моя рабо-

<sup>1</sup> Намек на детские английскую стишки про Мэри и ее овечку.

та, только бы платили хорошо; зато уж после работы я хочу носить самое нарядное, что мне по карману.

Тут появился Дэн, монтер (с заработком тридцать долларов в неделю), серьезный юноша в дешевом галстуке, избежавший печати развязности, которую город накладывает на молодежь. Он взирал на Лу печальными глазами Ромео, и ее вышитая блузка казалась ему паутиной, запутаться в которой сочтет за счастье любая муха.

— Мой друг мистер Оуэнс — представила Лу. — А это мисс Дэнфорс, познакомьтесь.

— Очень рад, мисс Дэнфорс, — сказал Дэн, протягивая руку. — Лу много говорила о вас.

— Благодарю, — сказала Нэнси и дотронулась до его ладони кончиками холодных пальцев. — Она упоминала о вас... изредка.

Лу хихикнула.

— Это рукопожатие ты подцепила у миссис ван Олстин Фишер? — спросила она.

— Тем более можешь быть уверена, что ему стоит научиться, — сказала Нэнси.

— А мне оно ни к чему. Очень уж тонко. Придуманно, чтобы щеголять брильянтовыми кольцами. Вот когда они у меня будут, я попробую.

— Сначала научись, — благо разумно заметила Нэнси, — тогда и кольца скорее появятся.

— Ну, чтобы покончить с этим спором, — вмешался Дэн, как всегда весело улыбаясь, — позвольте мне внести предложение. Поскольку я не могу пригласить вас обеих в ювелирный магазин, может быть отправимся в оперетку? У меня есть билеты. Давайте поглядим на театральные брильянты, раз уж настоящие камешки не про нас.

Верный рыцарь занял свое место у края тротуара, рядом шла Лу в пышном павлиньем наряде, а затем Нэнси, стройная, скромная, как воробышек, но с манерами подлинной миссис ван Олстин Фишер, — так они отправились на поиски своих нехитрых развлечений.

Немногие, я думаю, сочли бы большой универсальный магазин учебным заведением. Но для Нэнси ее магазин был самой настоящей школой. Ее окружали красивые вещи, дышавшие утонченным вкусом. Если вокруг вас роскошь, она принадлежит вам, кто бы за нее ни платил — вы или другие.

Большинство ее покупателей были женщины с высоким положением в обществе, законодательницы мод и манер. И с них Нэнси начала взимать дань — то, что ей больше всего нравилось в каждой.

У одной она копировала жест, у другой — красноречивое движение бровей, у третьей — походку, манеру держать сумочку, улыбаться, здороваться с друзьями, обращаться к “низшим”. А у своей излюбленной модели, миссис ван Олстин Фишер, она заимствовала нечто поистине замечательное — негромкий нежный голос, чистый, как серебро, музыкальный, как пение дрозда. Это пребывание в атмосфере высшей утонченности и хороших манер неизбежно должно было оказать на нее и более глубокое влияние. Говорят, что хорошие привычки лучше хороших принципов. Возможно, хорошие манеры лучше хороших привычек. Родительские поучения могут и не спасти от гибели вашу пуританскую совесть, но если вы выпрямитесь на стуле, не касаясь спинки, и сорок раз повторите слова “призмы, пилигримы”, сатана отыдет от вас. И когда Нэнси прибежала к ван-олстинфише-ровской интонации, ее охватывал гордый трепет *noblesse oblige*<sup>1</sup>.

В этой универсальной школе были и другие источники познания. Когда вам доведется увидеть, что несколько продавщиц собрались в тесный кружок и позвякивают дугами браслетами в такт, по-видимому, легкомысленной беседе, не думайте, что они обсуждают челку модницы Этель. Может быть, этому сборищу не хватает спокойного достоинства мужского законодательного собрания, но важность его равна важности первого совещания Евы и ее старшей дочери о том, как поставить Адама на место. Это — Жен-

<sup>1</sup> Положение обязывает (*фр.*).

ская Конференция Взаимопомощи и Обмена Стратегическими Теориями Нападения на и Защиты от Мира, Который есть Сцена, и от Зрителя-Мужчины, упорно Бросающего Букеты на Таковую. Женщина — самое беспомощное из земных созданий, грациозная, как лань, но без ее быстроты, прекрасная, как птица, но без ее крыльев, полная сладости, как медоносная пчела, но без ее... Лучше бросим метафору: среди нас могут оказаться ужаленные.

На этом военном совете обмениваются оружием и делятся опытом, накопленным в жизненных стычках.

— А я ему говорю: “Нахал! — говорит Сэди. — Как вы смеете говорить мне такие вещи? За кого вы меня принимаете?” А он мне отвечает...

Головы черные, каштановые, рыжие, белокурые и золотистые — сближаются. Сообщается ответ, и совместно решается, как в дальнейшем парировать подобный выпад на дуэли с общим врагом — мужчиной.

Так Нэнси училась искусству защиты, а для женщины успешная защита означает победу.

Учебная программа универсального магазина весьма обширна. И, пожалуй, ни один колледж не подготовил бы Нэнси так хорошо для осуществления ее заветного желания — выиграть в брачной лотерее.

Ее прилавок был расположен очень удачно. Рядом находился музыкальный отдел, и она познакомилась с произведениями крупнейших композиторов, по крайней мере настолько, насколько это требовалось, чтобы сойти за тонкую ценительницу в том неведомом “высшем свете”, куда она робко надеялась проникнуть. Она впитывала возвышающую атмосферу художественных безделушек, красивых дорогих материй и ювелирных изделий, которые для женщины почти заменяют культуру.

Честолюбивые стремления Нэнси недолго оставались тайной для ее подруг. “Смотри, вон твой миллионер, Нэнси!” — раздавалось кругом, когда к ее прилавку приближался покупатель подходящей внешности. Постепенно у мужчин, слонявшихся без дела по магазину, пока их дамы

занимались покупками, вошло в привычку останавливаться у прилавка с носовыми платками и не спеша перебирать батистовые квадратики. Их привлекали поддельный светский тон Нэнси и ее неподдельная изящная красота. Желающих полюбезничать с ней было много. Некоторые из них, возможно, были миллионерами, остальные прилагали все усилия, чтобы сойти за таковых. Нэнси научилась различать. Сбоку от ее прилавка было окно, за ним были видны ряды машин, ожидавших внизу покупателей. И Нэнси узнала, что автомобили, как и их владельцы, имеют свое лицо.

Однажды обворожительный джентльмен, ухаживая за ней с видом короля Кофетуа, купил четыре дюжины носовых платков.

Когда он ушел, одна из продавщиц спросила:

— В чем дело, Нэн? Почему ты его спровадила? По моему, товар что надо.

— Он-то? — сказала Нэнси с самой холодной, самой любезной, самой безразличной улыбкой из арсенала миссис ван Олстин Фишер. — Не для меня. Я видела, как он подъехал. Машина в двенадцать лошадиных сил, и шофер — ирландец. А ты заметила, какие платки он купил? Шелковые! И у него кольцо с печаткой. Нет, мне подделок не надо.

У двух самых “утонченных” дам магазина — заведующей отделом и кассирши — были “шикарные” кавалеры, которые иногда приглашали их в ресторан. Как-то они предложили Нэнси пойти с ними. Обед происходил в одном из тех модных кафе, где заказы на столики к Новому году принимаются за год вперед. “Шикарных” кавалеров было двое: один был лыс (его волосы развеял вихрь удовольствий — это нам достоверно известно), другой — молодой человек, который чрезвычайно убедительно доказывал свою значительность и пресыщенность жизнью: во-первых, он клялся, что вино никуда не годится, а во-вторых, носил брильянтовые запонки. Этот юноша узрел в Нэнси массу неотразимых достоинств. Он вообще был равнодушен к продавщицам, а в этой безыскусственной простоте ее класса соединялась с манерами его круга. И вот на следующий

день он явился в магазин и сделал ей формальное предложение руки и сердца над коробкой платочков из беленого ирландского полотна. Нэнси отказала. В течение всей их беседы каштановая прическа помпадур по соседству напрягала зрение и слух. Когда отвергнутый влюбленный удалился, на голову Нэнси полились ядовитые потоки упреков и негодования.

— Идиотка! Это же миллионер — племянник самого ван Скиттлза. И ведь он говорил всерьез. Нет, ты окончательно рехнулась, Нэн!

— Ты думаешь? — сказала Нэнси. — Ах, значит, надо было согласиться? Прежде всего, он не такой уж миллионер. Семья дает ему всего двадцать тысяч в год на расходы, лысый вчера над этим смеялся.

Каштановая прическа придвинулась и прищурила глаза.

— Что ты воображаешь? — спросила она хриплым голосом (от волнения она забыла сунуть в рот жевательную резинку). — Тебе что, мало? Может, ты в мормоны хочешь, чтобы повенчаться зараз с Рокфеллером, Гладстоном Дауи, королем испанским и прочей компанией? Тебе двадцати тысяч в год мало?

Нэнси слегка покраснела под упорным взглядом глупых черных глаз.

— Тут дело не только в деньгах, Кэрри, — объяснила она. — Его приятель вчера поймал его на вранье. Что-то о девушке, с которой он будто бы не ходил в театр. А я лжецов не выношу. Одним словом, он мне не нравится — вот и все. Меня дешево не купишь. Это правда — я хочу подцепить богача. Но мне нужно, чтобы это был человек, а не просто громяхающая копилка.

— Тебе место в психометрической больнице, — сказал каштановый помпадур, отворачиваясь.

И Нэнси продолжала питать также возвышенные идеи, чтобы не сказать — идеалы, на свои восемь долларов в неделю. Она шла по следу великой неведомой "добычи", поддерживая свои силы черствым хлебом и все туже затягивая пояс. На ее лице играла легкая, томная, мрачная боевая

улыбка прирожденной охотницы за мужчинами. Магазин был ее лесом; часто, когда дичь казалась крупной и красивой, она поднимала ружье, прицеливаясь, но каждый раз какой-то глубокий безошибочный инстинкт — охотницы, или, может быть, женщины — удерживал ее от выстрела, и она шла по новому следу.

А Лу процветала все в той же прачечной. Из своих семнадцати долларов пятидесяти центов в неделю она платила шесть долларов за комнату и стол. Остальное тратилось на одежду. По сравнению с Нэнси у нее было мало возможностей улучшить свой вкус и манеры. Весь день она гладила в душной прачечной, гладила и мечтала о том, как приятно проведет вечер. Под ее утюгом перебивало много дорогих пышных платьев, и, может быть, все растущий интерес к нарядам передавался ей по этому металлическому проводнику.

Когда она кончала работу, на улице уже дожидался Дэн, ее верная тень при любом освещении.

Иногда при взгляде на туалеты Лу, которые становились все более пестрыми и безвкусными, в его честных глазах появлялось беспокойство. Но он не осуждал ее — ему просто не нравилось, что она привлекает к себе внимание прохожих.

Лу была по-прежнему верна своей подруге. По нерушимо-му правилу Нэнси сопровождала их, куда бы они ни отправлялись, и Дэн весело и безропотно нес добавочные расходы. Этому трио искателей развлечений Лу, так сказать, придавала яркость, Нэнси — тон, а Дэн — вес. На этого молодого человека в приличном стандартном костюме, в стандартном галстук, всегда с добродушной стандартной шуткой наготове, можно было положиться. Он принадлежал к тем приятным людям, о которых легко забываешь, когда они рядом, но которых вспоминаешь часто, когда они уходят.

Для взыскательной Нэнси в этих стандартных развлечениях был иногда горьковатый привкус. Но она была молода, а молодость жадна и за неимением лучшего заменяет качество количеством.

— Дэн все настаивает, чтобы мы поженились, — однажды призналась Лу. — А к чему мне это? Я сама себе хозяйка и трачу свои деньги, как хочу. А он ни за что не позволит мне работать. Послушай, Нэн, что ты торчишь в своей лавчонке? Ни поесть, ни одеться как следует. Скажи только слово, и я устрою тебя в прачечную. Ты бы сбавила форсу, у нас зато можно заработать.

— Тут дело не в форсе, Лу, — сказала Нэнси. — Я предпочту остаться там даже на половинном пайке. Привычка, наверное. Мне нужен шанс. Я ведь не собираюсь провести за прилавком всю жизнь. Каждый день я узнаю что-нибудь новое. Я все время имею дело с богатыми и воспитанными людьми — хоть я их только обслуживаю, — и можешь быть уверена, что я ничего не пропускаю.

— Изловила своего миллионщика? — насмешливо фыркнула Лу.

— Пока еще нет, — ответила Нэнси. — Выбираю.

— Боже ты мой, выбирает! Смотри, Нэн, не упусти, если подвернется хоть один даже с неполным миллионом. Да ты шутишь — миллионеры и не думают о работницах вроде нас с тобой.

— Тем хуже для них, — сказала Нэнси рассудительно, — кое-кто из нас научил бы их обращаться с деньгами.

— Если какой-нибудь со мной заговорит, — хохотала Лу, — я просто в обморок хлопнусь!

— Это потому, что ты с ними не встречаешься. Разница только в том, что с этими щеголями надо держать ухо востро. Лу, а тебе не кажется, что подкладка из красного шелка чуть-чуть ярковата для такого пальто?

Лу оглядела простенький оливково-серый жакет подружки.

— По-моему, нет, разве что рядом с твоей линиялой тряпкой.

— Этот жакет, — удовлетворенно сказала Нэнси, — точно того же покроя, как у миссис ван Олстин Фишер. Материал обошелся мне в три девяносто восемь — долларов на сто дешевле, чем ей.

— Не знаю, — легкомысленно рассмеялась Лу, — клонет ли миллионер на такую приманку. Чего доброго, я раньше тебя изловлю золотую рыбку.

Поистине, только философ мог бы решить, кто из подруг прав. Лу, лишенная той гордости и щепетильности, которая заставляет десятки тысяч девушек трудиться за гроши в магазинах и конторах, весело громыхала утюгом в шумной и душной прачечной. Заработка хватало ей с избытком, пышность ее туалетов все возрастала, и Лу, уже начинала бросать косые взгляды на приличный, но такой незлегантный костюм Дэна — Дэна стойкого, постоянного, неизменного.

А Нэнси принадлежала к десяткам тысяч. Шелка и драгоценности, кружева и безделушки, духи и музыка, весь этот мир изысканного вкуса создан для женщины, это ее законный удел. Если этот мир нужен ей, если он для нее — жизнь, то пусть она живет в нем. И она не предает, как Исав, права, данные ей рождением<sup>1</sup>. Похлебка же ее нередко скудна.

Такова была Нэнси. Ей легко в атмосфере магазина и она со спокойной уверенностью съедала скромный ужин и обдумывала дешевые платья. Женщину она уже узнала, и теперь изучала свою дичь — мужчину, его обычаи и достоинства. Настанет день, когда она подстрелит желанную добычу, самую большую, самую лучшую, — обещала она себе.

Ее заправленный светильник не угасал, и она готова была принять жениха, когда бы он ни пришел<sup>2</sup>.

Но — может быть, бессознательно — она узнала еще кое-что. Мерка, с которой она подходила к жизни, незаметно менялась. Порою знак доллара тускнел перед ее внутренним взором и вместо него возникали слова: “искренность”, “честь”, а иногда и просто “доброта”. Прибегнем к сравнению. Бывает, что охотник за лосем в дремучем лесу вдруг выйдет на цветущую поляну, где ручей журчит о покое и отдыхе. В такие минуты сам Нимрод<sup>3</sup> опускает копье.

1 Исав, по библейской легенде, продал свое право первородства младшему брату за миску чечевичной похлебки.

2 В евангельской притче рассказано о мудрых девах, которые держали свои светильники зажженными в ожидании небесного жениха.

3 Нимрод — в библейской легенде — искусный охотник.



Иногда Нэнси думала — так ли уж нужен каракуль сердцам, которые он покрывает?

Как-то в четверг вечером Нэнси вышла из магазина и, перейдя Шестую авеню, направилась к прачечной. Лу и Дэн неделю назад пригласили ее на музыкальную комедию.

Когда она подходила к прачечной, оттуда вышел Дэн. Против обыкновения, лицо его было хмуро.

— Я зашел спросить, не слышали ли они чего-нибудь о ней, — сказал он.

— О ком? — спросила Нэнси. — Разве Лу не здесь?

— Я думал, вы знаете, — сказал Дэн. — С понедельника она не была ни тут, ни у себя. Она забрала вещи. Одной из здешних девушек она сказала, что собирается в Европу.

— И никто ее с тех пор не видел? — спросила Нэнси.

Дэн жестко посмотрел на нее. Его рот был угрюмо сжат, а серые глаза холодны, как сталь.

— В прачечной говорят, — неприязненно сказал он, — что ее видели вчера в автомобиле. Наверное, с одним из этих миллионеров, которыми вы с Лу вечно забивали себе голову.

В первый раз в жизни Нэнси растерялась перед мужчиной. Она положила дрогнувшую руку на рукав Дэна.

— Вы говорите так, как будто это моя вина, Дэн.

— Я не это имел в виду, — сказал Дэн, смягчаясь.

Он порылся в жилетном кармане.

— У меня билеты на сегодня, — начал он со стоической веселостью, — и если вы...

Нэнси умела ценить мужество.

— Я пойду с вами, Дэн, — сказала она.

Прошло три месяца, прежде чем Нэнси снова встретила с Лу. Однажды вечером продавщица торопливо шла домой. У ограды тихого сквера ее окликнули, и, повернувшись, она очутилась в объятиях Лу.

После первых поцелуев они чуть отодвинулись, как делают змеи, готовясь ужалить или зачаровать добычу, а на кончиках их языков дрожали тысячи вопросов. И тут Нэнси увидела, что на Лу снизошло богатство, воплощенное в ше-

деврах портновского искусства, в дорогих мехах и сверкающих драгоценностях.

— Ах ты, дурочка! — с шумной нежностью вскричала Лу. — Все еще работаешь в этом магазине, как я погляжу, и все такая же замухрышка. А как твоя знаменитая добыча? Еще не изловила?

И тут Лу заметила, что на ее подругу снизошло нечто лучшее, чем богатство. Глаза Нэнси сверкали ярче драгоценных камней, на щеках цвели розы, и губы с трудом удерживали радостные, признания.

— Да, я все еще в магазине, — сказала Нэнси, — до будущей недели. И я поймала лучшую добычу в мире. Тебе ведь теперь все равно, Лу, правда? Я выхожу замуж за Дэна — за Дэна! Он теперь мой, Дэн! Что ты, Лу? Лу!..

Из-за угла сквера показался один из тех молодых подтянутых блюстителей порядка нового набора, которые делают полицию более сносной — по крайней мере на вид. Он увидел, что у железной решетки сквера горько рыдает женщина в дорогих мехах, с бриллиантовыми кольцами на пальцах, а худенькая, просто одетая девушка обнимает ее, пытаясь утешить. Но, будучи гибсоновским<sup>1</sup> фараоном нового толка, он прошел мимо, притворяясь, что ничего не замечает. У него хватило ума понять, что полиция здесь бессильна помочь, даже если он будет стучать по решетке сквера до тех пор, пока стук его дубинки не донесется до самых отдаленных звезд.

## МАЯТНИК

— Восемьдесят первая улица... Кому выходить? — прокричал пастух в синем мундире.

Стадо баранов-обывателей выбралось из вагона, другое стадо взобралось на его место. Динг-динг! Телячьи вагоны

<sup>1</sup> Чарлз Дана Гибсон (1850–1896) — художник-иллюстратор, идеализированно изображавший молодых американок и американцев.

Манхэттенской надземной дороги с грохотом двинулись дальше, а Джон Перкинс спустился по лестнице на улицу вместе со всем выпущенным на волю стадом.

Джон медленно шел к своей квартире. Медленно, потому что в лексиконе его повседневной жизни не было слов “а вдруг?” Никакие сюрпризы не ожидают человека, который два года как женат и живет в дешевой квартире. По дороге Джон Перкинс с мрачным, унылым цинизмом рисовал себе неизбежный конец скучного дня.

Кэти встретит его у дверей поцелуем, пахнущим колыбельным и тянучками. Он снимет пальто, сядет на жесткую, как асфальт, кушетку и прочтет в вечерней газете о русских и японцах, убитых смертоносным линотипом. На обед будет тушеное мясо, салат, приправленный сапожным лаком, от которого (гарантия!) кожа не трескается и не портится, пареный ремень и клубничное желе, покрасневшее, когда к нему прилепили этикетку “Химически чистое”. После обеда Кэти покажет ему новый квадратик на своем лоскутном одеяле, который разносчик льда отрезал для нее от своего галстука. В половине восьмого они расстелят на диване и креслах газеты, чтобы достойно встретить куски шуткатушки, которые посыплются с потолка, когда толстяк из квартиры над ними начнет заниматься гимнастикой. Ровно в восемь Хайки и Муни — мюзик-холльная парочка (без ангажемента) в квартире напротив — поддадутся нежному влиянию *Delirium Tremens*<sup>1</sup> и начнут опрокидывать стулья, в уверенности, что антрепренер Гаммерштейн гонится за ними с контрактом на пятьсот долларов в неделю. Потом жилец из дома по ту сторону двора-колодца усядется у окна со своей флейтой; газ начнет весело утекать в неизвестном направлении; кухонный лифт сойдет с рельсов; швейцар еще раз оттеснит за реку Ялу<sup>2</sup> пятерых детей миссис Зеновицкой; дама в бледно-зеленых туфлях спустится вниз в сопровождении шотландского терьера и укрепит над своим

1 Белая горячка (лат.).

2 На реке Ялу происходили бои во время русско-японской войны.

звонком и почтовым ящиком карточку с фамилией, которую она носит по четвергам, — и вечерний порядок доходного дома Фрогмора вступит в свои права.

Джон Перкинс знал, что все будет именно так. И еще он знал, что в четверть девятого он соберется с духом и потянется за шляпой, а жена его произнесет раздраженным тоном следующие слова:

— Куда это вы, Джон Перкинс, хотела бы я знать?

— Думаю заглянуть к Макклоски, — ответит он, — сыграть партию-другую с приятелями.

За последнее время это вошло у него в привычку. В десять или в одиннадцать он возвращался домой. Иногда Кэти уже спала, иногда поджидала его, готовая растопить в тигле своего гнева еще немного позолоты со стальных цепей брака. За эти дела Купидону придется ответить, когда он предстанет перед страшным судом со своими жертвами из доходного дома Фрогмора.

В этот вечер Джон Перкинс, войдя к себе, обнаружил поразительное нарушение повседневной рутины. Кэти не встретила его в прихожей своим сердечным аптечным поцелуем. В квартире царил злоедающий беспорядок. Вещи Кэти были раскиданы повсюду. Туфли валялись посреди комнаты, щипцы для завивки, банты, халат, коробка с пудрой были брошены как попало на комод и на стульях. Это было совсем не свойственно Кэти. У Джона упало сердце, когда он увидел гребенку с кудрявым облачком ее каштановых волос в зубах. Кэти, очевидно, спешила и страшно волновалась, — обычно она старательно прятала эти волосы в голубую вазочку на камине, чтобы когда-нибудь создать из них мечту каждой женщины — накладку.

На видном месте, привязанная веревочкой к газовому рожку, висела сложенная бумажка. Джон схватил ее. Это была записка от Кэти:

“Дорогой Джон, только что получила телеграмму, что мама очень больна. Еду поездом четыре тридцать. Мой брат Сэм встретит меня на станции. В леднике есть холодная баранина.

Надеюсь, что это у нее не ангина. Заплати молочнику 50 центов. Прошлой весной у нее тоже был тяжелый приступ. Не забудь написать в Газовую компанию про счетчик, твои хорошие носки в верхнем ящике. Завтра напишу. Тороплюсь.

*Кэти*".

За два года супружеской жизни они еще не провели врозь ни одной ночи. Джон с озадаченным видом перечитал записку. Неизменный порядок его жизни был нарушен, и это ошеломило его.

На спинке стула висел, наводя грусть своей пустотой и бесформенностью, красный с черными крапинками фартук, который Кэти всегда надевала, когда подавала обед. Ее будничные платья были разбросаны впопыхах где попало. Бумажный пакетик с ее любимыми тянучками лежал еще не развязанный. Газета валялась на полу, зияя четырехугольным отверстием в том месте, где из нее вырезали расписание поездов. Все в комнате говорило об утрате, о том, что жизнь и душа отлетели от нее. Джон Перкинс стоял среди мертвых развалин, и странное, тоскливое чувство наполняло его сердце.

Он начал, как умел, наводить порядок в квартире. Когда он дотронулся до платьев Кэти, его охватил страх. Он никогда не задумывался о том, чем была бы его жизнь без Кэти. Она так растворилась в его существовании, что стала, как воздух, которым он дышал, необходимой, но почти незаметной. Теперь она внезапно ушла, скрылась, исчезла, будто ее никогда и не было. Конечно, это только на несколько дней, самое большее на неделю или две, но ему уже казалось, что сама смерть протянула перст к его прочному и спокойному убежищу.

Джон достал из ледника холодную баранину, сварил кофе и в одиночестве уселся за еду, лицом к лицу с наглым свидетельством о химической чистоте клубничного желе. В сияющем ореоле, среди утраченных благ, предстали перед ним призраки тушеного мяса и салата с сапожным ла-

ком. Его очаг разрушен. Заболевшая теща повергла в прах его ларов и пенатов. Пообедав в одиночестве, Джон сел у окна.

Курить ему не хотелось. За окном шумел город, звал его включиться в хоровод бездумного веселья. Ночь принадлежала ему. Он может уйти, ни у кого не спрашиваясь, и окунуться в море удовольствий, как любой свободный, веселый холостяк. Он может кутить хоть до зари, и гневная Кэти не будет поджидать его с чашей, содержащей осадок его радости. Он может, если захочет, играть на бильярде у Макклоски со своими шумными приятелями, пока Аврора не затмит своим светом электрические лампы. Цепи Гименея, которые всегда сдерживали его, даже если доходный дом Фрогмора становился ему невмоготу, теперь ослабли, — Кэти уехала.

Джон Перкинс не привык анализировать свои чувства. Но, сидя в покинутой Кэти гостиной (десять на двенадцать футов), он безошибочно угадал, почему ему так нехорошо. Он понял, что Кэти необходима для его счастья. Его чувство к ней, убаюканное монотонным бытом, разом пробудилось от сознания, что ее нет. Разве не внушают нам беспрепятственно при помощи поговорок, проповедей и басен, что мы только тогда начинаем ценить песню, когда упорхнет сладкоголосая птичка, или ту же мысль в других, не менее цветистых и правильных формулировках?

"Ну и дубина же я, — размышлял Джон Перкинс. — Как я обращаюсь с Кэти? Каждый вечер играю на бильярде и выпиваю с дружками, вместо того чтобы посидеть с ней дома. Бедная девочка всегда одна, без всяких развлечений, а я так себя веду! Джон Перкинс, ты последний из негодяев. Но я постараюсь, загладить свою вину. Я буду водить мою девочку в театр, развлекать ее. И немедленно покончу с Макклоски и всей этой шайкой".

А за окном город шумел, звал Джона Перкинса присоединиться к пляшущим в свите Момуса. А у Макклоски приятели лениво катали шары, практикуясь перед вечерней

схваткой. Но ни венки и хороводы, ни звяканье кия не действовали на покаянную душу осиротевшего Перкинса. У него отняли его собственность, которой он не дорожил, которую даже скорее презирал, и теперь ему недоставало ее. Охваченный раскаянием, Перкинс мог бы проследить свою родословную до некоего человека по имени Адам, которого херувимы вышибли из фруктового сада.

Справа от Джона Перкинса стоял стул. На спинке его висела голубая блузка Кэти. Она еще сохраняла подобие ее очертаний. На рукавах были тонкие, характерные морщинки — след движения ее рук, трудившихся для его удобства и удовольствия. Слабый, но настойчивый аромат колокольчиков исходил от нее. Джон взял ее за рукава и долго и серьезно смотрел на неотзывчивый маркизет. Кэти не была неотзывчивой. Слезы — да, слезы — выступили на глазах у Джона Перкинса. Когда она вернется, все пойдет иначе. Он вознаградит ее за свое невнимание. Зачем жить, когда ее нет?

Дверь отворилась. Кэти вошла в комнату с маленьким саквояжем в руке. Джон бессмысленно уставился на нее.

— Фу, как я рада, что вернулась, — сказала Кэти. — Мама, оказывается, не так уж больна. Сэм был на станции и сказал, что приступ был легкий и все прошло вскоре после того, как они послали телеграмму. Я и вернулась со следующим поездом. До смерти хочется кофе.

Никто не слышал скрипа и скрежета зубчатых колес, когда механизм третьего этажа доходного дома Фрогмора повернул обратно на прежний ход. Починили пружину, наладили передачу — лента двинулась, и колеса снова завертелись по-старому.

Джон Перкинс посмотрел на часы. Было четверть девятого. Он взял шляпу и пошел к двери.

— Куда это вы, Джон Перкинс, хотела бы я знать? — спросила Кэти раздраженным тоном.

— Думаю заглянуть к Макклоски, — ответил Джон, — сыграть партию — другую с приятелями.

## РУССКИЕ СОБОЛЯ

Когда синие, как ночь, глаза Молли Маккивер положили Мальша Брэди на обе лопатки, он вынужден был покинуть ряды банды "Дымовая труба". Такова власть нежных укров подружки и ее упрямого пристрастия к порядочности. Если эти строки прочтет мужчина, пожелаем ему испытать на себе столь же благотворное влияние завтра, не позднее двух часов пополудни, а если они попадутся на глаза женщине, пусть ее любимый шпиц, явившись к ней с утренним приветом, даст пощупать свой холодный нос — залог собачьего здоровья и душевного равновесия хозяйки.

Банда "Дымовая труба" заимствовала свое название от небольшого квартала, который представляет собой вытянутое в длину, как труба, естественное продолжение неизвестного городского района, именуемого Адовой кухней. Пролегая вдоль реки, параллельно Одиннадцатой и Двенадцатой авеню, Дымовая труба огибает своим прокопченным коленом маленький, унылый, неприятный Клинтон-парк. Вспомнив, что дымовая труба — предмет, без которого не обходится ни одна кухня, мы без труда уясним себе обстановку. Мастеров заваривать кашу в Адовой кухне сыщется немало, но высоким званием шеф-повара облечены только члены банды "Дымовая труба".

Представители этого никем не утвержденного, но пользующегося широкой известностью братства, разодетые в пух и прах, цветут, словно оранжерейные цветы, на углах улиц, посвящая, по-видимому, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и перочинных ножиц. Это безобидное занятие, являясь неоспоримой гарантией их благонадежности, позволяет им также, пользуясь скромным лексиконом в две сотни слов, вести между собой непринужденную беседу, которая покажется случайному прохожему столь же незначительной и невинной, как те разговоры, какие можно услышать в любом respectable клубе нескольких кварталах ближе к востоку.

Однако деятели “Дымовой трубы” не просто украшают собой уличные перекрестки, предаваясь хOLE ногтей и культивированию небрежных поз. У них есть и другое, более серьезное занятие — освободить обывателей от кошельков и прочих ценностей. Достигается это, как правило, путем различных оригинальных и малоизученных приемов, без шума и кровопролития. Но в тех случаях, когда ошастливленный их вниманием обыватель не выражает готовности облегчить себе карманы, ему предоставляется возможность излить свои жалобы в ближайшем полицейском участке или в приемном покое больницы.

Полицию банда “Дымовая труба” заставляет относиться к себе с уважением и быть всегда начеку. Подобно тому как булькающие трели соловья доносятся к нам из непроглядного мрака ветвей, так пронзительный полицейский свисток, призывающий фараонов на подмогу, прорезает глухой ночью тишину темных и узких закоулков Дымовой трубы. И люди в синих мундирах знают: если из Трубы потянуло дымком, значит, развели огонь в Адовой кухне.

Малыш Брэди обещал Молли стать пайнкой. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым франтоватым и самым удачливым из всех членов банды “Дымовая труба”. Понятно, что ребятам жаль было его терять.

Но, следя за его погружением в пучину добродетели, они не выражали протеста. Ибо, когда парень следует советам своей подружки, в Адовой кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски.

Можешь подставить ей фонарь под глазом, чтоб крепче любила, — это твое личное дело, но выполни то, о чем она просит.

— Закрой свой водоразборный кран, — сказал Малыш как-то вечером, когда Молли, заливаясь слезами, молила его покинуть стезю порока. — Я решил выйти из банды. Кроме тебя, Молли, мне ничего не нужно. Заживем с тобой тихо-скромно. Я устроюсь на работу, и через год мы с тобой поженимся. Я сделаю это для тебя. Снимем квартиру, заве-

дем канарейку, купим швейную машинку и фикус в кадке и попробуем жить честно.

— Ах, Малыш! — воскликнула Молли, смахивая платочком пудру с его плеча. — За эти твои слова я готова отдать весь Нью-Йорк со всем, что в нем есть! Да много ли нам нужно, чтобы быть счастливыми.

Малыш не без грусти поглядел на свои безукоризненные манжеты и ослепительные лакированные туфли.

— Труднее всего придется по части барахла, — заявил он. — Я ведь всегда питал слабость к хорошим вещам. Ты знаешь, Молли, как я ненавижу дешевку. Этот костюм обошелся мне в шестьдесят пять долларов. Насчет одежды я разборчив — все должно быть первого сорта, иначе это не для меня. Если я начну работать — тогда прощай маленький человечек с большими ножницами!

— Пустяки, дорогой! Ты будешь мне мил в синем свитере ничуть не меньше, чем в красном автомобиле.

На заре своей юности Малыш, пока еще не вошел в силу настолько, чтобы одолеть своего папашу, обучался палььному делу. К этой полезной и почтенной профессии он теперь и вернулся. Но ему пришлось стать помощником хозяина мастерской, а ведь это только хозяева мастерских — отнюдь не их помощники — носят брильянты величиной с горошину и позволяют себе смотреть свысока на мраморную колоннаду, украшающую особняк сенатора Кларка.

Восемь месяцев пролетели быстро, как между двумя актами пьесы. Малыш в поте лица зарабатывал свой хлеб, не обнаруживая никаких опасных склонностей к рецидиву, а банда “Дымовая труба” по-прежнему бесчинствовала “на большой дороге”, раскраивала черепа полицейским, задерживала запоздалых прохожих, изобретала новые способы мирного опустошения карманов, копировала покрой платья и тона галстуков Пятой авеню и жила по собственным законам, открыто попирая закон. Не Малыш крепко держался своего слова и своей Молли, хотя блеск и сошел с его давно не полированных ногтей и он теперь минут пятнадцат-

цать простаивал перед зеркалом, пытаясь повязать свой темно-красный шелковый галстук так, чтобы не видно было мест, где он протерся.

Однажды вечером он явился к Молли с каким-то таинственным свертком подмышкой.

— Ну-ка, Молли, разверни! — небрежно бросил он, широким жестом протягивая ей сверток. — Это тебе.

Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку. Молли громко вскрикнула, и в комнату ворвался целый выводок маленьких Маккиверов, а следом за ними — и мамаша Маккивер; как истая дочь Евы, она не позволила себе ни единой лишней секунды задержаться у лоханки с грязной посудой.

Снова вскрикнула Молли, и что-то темное, длинное и волнистое мелькнуло в воздухе и обвило ее плечи, словно боа-констриктор.

— Русские соболя! — горделиво изрек Малыш, любуясь круглой девичьей щекой, прильнувшей к податливому меху. — Первосортная вещица. Впрочем, перевороши хоть всю Россию — не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей Молли.

Молли сунула руки в муфту и бросилась к зеркалу, опрокинув по дороге кое-какую мелюзгу из рода Маккиверов. Вниманию редакторов отдела рекламы! Секрет красоты (сияющие глаза, разругавшиеся щеки, пленительная улыбка): Один Гарнитур из Русских Соболей. Обращайтесь за справками.

Оставшись с Малышом наедине, Молли почувствовала, как в бурный поток ее радости проникла льдинка холодного рассудка.

— Ты настоящее золото, Малыш, — сказала она благодарно. — Никогда в жизни я еще не носила мехов. Но ведь русские соболя, кажется, безумно дорогая штука? Помнится, мне кто-то говорил.

— А разве ты замечала, Молли, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи? — спокойно и с достоинством спросил Малыш. — Может, ты видела, что я

торчу у прилавков с остатками или глазю на витрины “любой предмет за десять центов”? Допусти, что это боа стоит двести пятьдесят долларов и муфта — сто семьдесят пять. Тогда ты будешь иметь некоторое представление о стоимости русских соболей. Хорошие вещи — моя слабость. Черт побери, этот мех тебе к лицу, Молли!

Молли, сияя от восторга, прижала муфту к груди. Но мало-помалу улыбка снова погасла, и Молли пытливым и грустным взором посмотрела Малышу в глаза.

Малыш уже давно научился понимать каждый ее взгляд; он рассмеялся, и щеки его порозовели.

— Выкинь это из головы, — пробормотал он с грубоватой лаской. — Я ведь сказал тебе, что с прежним покончено. Я купил этот мех и заплатил за него из своего кармана.

— Из своего заработка, Малыш? Из семидесяти пяти долларов в месяц?

— Ну да. Я откладывал.

— Откладывал? Постой, как же это... Четыреста двадцать пять долларов за восемь месяцев...

— А, да перестань ты высчитывать! — с излишней горячностью воскликнул Малыш. — У меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать. Ты думаешь, я снова с ними связался? Но я же сказал тебе, что покончил с этим. Я честно купил этот мех, понятно? Надень его, и пойдем прогуляемся.

Молли постаралась усыпить свои подозрения. Соболя хорошо убаюкивают. Горделиво, как королева, выступала она по улице под руку с Малышом. Здешиим жителям еще никогда не доводилось видеть подлинных русских соболей. Весть о них облетела квартал, и все окна и двери мгновенно обросли гроздьями голов. Каждому любопытно было взглянуть на шикарный соболий мех, в который Малыш Брэди обрядил свою милашку. По улицам разносились восторженные “ахи” и “охи”, и баснословная сумма, уплаченная за соболя, передаваясь из уст в уста, неуклонно росла. Малыш с видом владетельного принца шагал по правую руку Молли. Трудовая жизнь не излечила его от пристрастия к перво-

сортным и дорогим вещам, и он все так же любил пустить пыль в глаза. На углу, предаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банды "Дымовая труба" приподняли шляпы, приветствуя подружку Малыша, и возобновили свою непринужденную беседу.

На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик Рэнсом из Главного полицейского управления. Рэнсом считался единственным сыщиком, который мог безнаказанно прогуливаться в районе Дымовой трубы. Он был не трус, старался поступать по совести и, посещая упомянутые кварталы, исходил из предположения, что обитатели их такие же люди, как и все прочие. Многие относились к Рэнсому с симпатией и, случалось, подсказывали ему, куда он должен направить свои стопы.

— Что это за волнение там на углу? — спросил Рэнсом бледного юнца в красном свитере.

— Все вышли поглазеть на бизоньи шкуры, которые Малыш Брэди повесил на свою девчонку, — отвечал юнец. — Говорят, он отвалил за них девятьсот долларов. Шикарная покрывка, ничего не скажешь.

— Я слышал, что Брэди уже с год как занялся своим старым ремеслом, — сказал сыщик. — Он ведь больше не возжается с бандой?

— Ну да, он работает, — подтвердил красный свитер. — Послушайте, приятель, а что, меха — это не по вашей части? Пожалуй, таких зверей, как нацепила на себя его девчонка, не поймает в паяльной мастерской.

Рэнсом нагнал прогуливающуюся парочку на пустынной улице у реки. Он тронул Малыша за локоть.

— На два слова, Брэди, — сказал он спокойно. Взгляд его скользнул по длинному пушистому боа, элегантно спадающему с левого плеча Молли. При виде сыщика лицо Малыша потемнело от застарелой ненависти к полиции. Они отошли в сторону.

— Ты был вчера у миссис Хезкоут на Западной Семьдесят второй? Чинил водопровод?

— Был, — сказал Малыш. — А что?

— Гарнитур из русских собелей стоимостью в тысячу долларов исчез оттуда одновременно с тобой. По описанию, он очень похож на эти меха, которые укрывают твою девушку.

— Поди ты... поди ты к черту, — запальчиво сказал Малыш. — Ты знаешь, Рэнсом, что я покончил с этим. Я купил этот гарнитур вчера у...

Малыш внезапно умолк, не закончив фразы.

— Я знаю, ты честно работал последнее время, — сказал Рэнсом. — Я готов сделать для тебя все, что могу. Если ты действительно купил этот мех, пойдем вместе в магазин, и я наведу справки. Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что собелей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей. Так будет правильно, Брэди.

— Пошли, — сердито сказал Малыш. Потом вдруг остановился и с какой-то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное, испуганное личико Молли.

— Ни к чему все это, — сказал он угрюмо. — Это старухины соболя. Тебе придется вернуть их, Молли. Но если б даже цена им была миллион долларов, все равно они недостаточно хороши для тебя.

Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за рукав Малыша.

— О Малыш, Малыш, ты разбил мое сердце! — простонала она. — Я так гордилась тобой... А теперь они укутут тебя — и конец нашему счастью!

— Ступай домой! — вне себя крикнул Малыш. — Идем, Рэнсом, забирай меха. Пошли, чего ты стоишь! Нет, стой, ей-богу, я... К черту, пусть меня лучше повесят... Беги домой, Молли. Пошли, Рэнсом.

Из-за угла дровяного склада появилась фигура полицейского Кона, направляющегося в обход речного района. Сыщик поманил его к себе. Кон подошел, и Рэнсом объяснил ему положение вещей.

— Да, да, — сказал Кон. — Я слышал, что пропали соболя. Так ты их нашел?

## ЧЬЯ ВИНА?

Кон приподнял на ладони конец соболяго боа — бывшей собственности Молли Маккивер — и внимательно на него поглядел.

— Когда-то я торговал мехами на Шестой авеню, — сказал он. — Да, конечно, это соболя. С Аляски. Боа стоит двенадцать долларов, а муфта...

Бац! Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Кон покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на Малыша и с помощью Кона надел на него наручники.

— Это боа стоит двенадцать долларов, а муфта — девять, — упорствовал полицейский. — Что вы тут толкуете про русские соболя?

Малыш опустил на грудь бревен, и лицо его медленно залилось краской.

— Правильно, Всезнайка! — сказал он, с ненавистью глядя на полицейского. — Я заплатил двадцать один доллар пятьдесят центов за весь гарнитур. Я, Малыш, шикарный парень, презирающий дешевку! Мне легче было бы отсидеть шесть месяцев в тюрьме, чем признаться в этом. Да, Молли, я просто-напросто хвастун — русских соболей на мой заработок не купишь.

Молли кинулась ему на шею.

— Не нужно мне никаких денег и никаких соболей! — воскликнула она. — Ничего мне на свете не нужно, кроме моего Малыша! Ах ты, глупый, глупый, безмозглый, хвастливый индюк!

— Сними с него наручники, — сказал Кон сыщику. — На участок уже звонили, что эта особа нашла свои соболя — они висели у нее в шкафу. Молодой человек, на этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией.

Рэнсом протянул Молли ее меха. Не сводя сияющего взора с Малыша, она грациозным жестом, достойным герцогини, набросила на плечи боа, перекинув один конец за спину.

— Пара молодых идиотов, — сказал Кон сыщику. — Пойдем отсюда.

В качалке у окна сидел рыжий, небритый, неряшливый мужчина. Он только что закурил трубку и с удовольствием пускал синие клубы дыма. Он снял башмаки и надел выцветшие синие ночные туфли. Сложив пополам вечернюю газету, он с угрюмой жадностью запойного потребителя новостей глотал жирные черные заголовки, предвкушая, как будет запивать их более мелким шрифтом текста.

В соседней комнате женщина готовила ужин. Запахи жареной грудинки и кипящего кофе состязались с крепким духом трубочного табака.

Окно выходило на одну из тех густо населенных улиц Ист-Сайда, где с наступлением сумерек открывает свой вербовочный пункт Сатана. На улице плясало, бегало, играло множество ребятишек. Одни были в лохмотьях, другие — в чистых белых платьях и с ленточками в косах; одни — дикие и беспокойные, как ястребятя, другие — застенчивые и тихие; одни выкрикивали грубые, непристойные слова, другие слушали, замирая от ужаса, но скоро должны были к ним привыкнуть. Толпа детей резвилась в обители Порока. Над этой площадкою для игр всегда реяла большая птица. Юмористы утверждали, что это аист. Но жители Кристи-стрит лучше разбирались в орнитологии — они называли ее коршуном.

К мужчине, читавшему у окна, робко подошла двенадцатилетняя девочка и сказала:

— Папа, поиграй со мной в шашки, если ты не очень устал.

Рыжий, небритый, неряшливый мужчина, сидевший без сапог у окна, ответил, нахмурившись:

— В шашки? Вот еще! Целый день работаешь, так нет же, и дома не дают отдохнуть. Отчего ты не идешь на улицу, играть с другими детьми?

Женщина, которая стряпала ужин, подошла к дверям.

— Джон, — сказала она, — я не люблю, когда Лиззи играет на улице. Дети набираются там чего не следует. Она



весь день просидела в комнатах. Неужели ты не можешь уделить ей немножко времени и заняться с ней, когда ты дома?

— Если ей нужны развлечения, пусть идет на улицу и играет, как все дети, — сказал рыжий, небритый, неряшливый мужчина. — И оставьте меня в покое.

— Ах, так? — сказал Малыш Меллали. — Ставлю пятьдесят долларов против двадцати пяти, что Энни пойдет со мной на танцульку. Раскошеливайтесь.

Малыш был задет и уязвлен, черные глаза его сверкали. Он вытащил пачку денег и отсчитал на стойку бара пять десятков. Три или четыре молодых человека, которых он поймал на слове, тоже выложили свои ставки, хотя и не так поспешно. Бармен, он же третейский судья, собрал деньги, тщательно завернул их в бумагу, записал на ней условия пари огрызком карандаша и засунул пакет в уголок кассы.

— Ну и достанется тебе на орехи, — сказал один из зрителей, явно предвкушая удовольствие.

— Это уж моя забота, — сурово отрезал Малыш. — Наливай, Майк.

Когда все выпили, Бэрк — прихлебатель, секундант, друг и великий визирь Малыша вывел его на улицу, к ларьку чистильщика сапог на углу, где решались все важнейшие дела Клуба Полуночников. Пока Тони в пятый раз за этот день наводил глянец на желтые ботинки председателя и секретаря клуба, Бэрк пытался образумить своего начальника.

— Брось эту блондинку, Малыш, — советовал он, — навешь неприятностей. Тебе что же, твоя-то уже нехороша стала? Где ты найдешь другую, чтобы тряслась над тобой так, как Лиззи? Она стоит сотни этих Энни.

— Да мне Энни вовсе и не нравится, — сказал Малыш. Он стряхнул пепел от папиросы на сверкающий носок своего башмака и вытер его о плечо Тони. — Но я хочу проучить Лиззи. Она вообразила, что я — ее собственность. Бахвалится, будто я не смею и заговорить с другой девушкой. Лиззи вообще-то молодец. Только слишком много стала вы-

пивать в последнее время. И ругается она неподобающим образом.

— Ведь вы с ней вроде как жених и невеста? — спросил Бэрк.

— Ну да. На будущий год, может быть, поженимся.

— Я видел, как ты заставил ее в первый раз выпить стакан пива, — сказал Бэрк. — Это было два года назад, когда она, простоволосая, выходила после ужина на угол встречать тебя. Скромная она тогда была девчонка, слова не могла сказать, не покраснев.

— Теперь-то язык у нее — ого-го! — сказал Малыш. — Терпеть не могу ревности. Поэтому-то я и пойду на танцульку с Энни. Надо малость вправить Лиззи мозги.

— Ну смотри, будь поосторожнее, — сказал на прощанье Бэрк. — Если бы Лиззи была моя девушка и я вздумал бы тайком удрать от нее на танцульку с какой-то Энни, непременно поддел бы кольчугу под парадный пиджак.

Лиззи брела по владениям аиста-коршуна. Ее черные глаза сердито, но рассеянно искали кого-то в толпе прохожих. По временам она напевала отрывки глупых песенок, а в промежутках стискивала свои мелкие белые зубы и цедила грубые слова, привнесенные в язык обитателями Ист-Сайда.

На Лиззи была зеленая шелковая юбка. Блузка в крупную коричневую с розовым клетку ловко сидела на ней. На пальце поблескивало кольцо с огромными фальшивыми рубинами, а с шеи до самых колен свисал медальон на серебряной цепочке. Ее туфли со сбившимися на сторону высокими каблуками давно не видели щетки. Ее шляпа вряд ли влезла бы в бочку из-под муки.

Лиззи вошла в кафе “Синяя сойка” с заднего хода. Она села за столик и нажала кнопку с видом знатной леди, которая звонит, чтобы ей подали экипаж. Подошел слуга. Его широкая улыбка и тихий голос выражали почтительную фамильярность. Лиззи довольным жестом пригласила свою шелковую юбку. Она наслаждалась. Здесь она могла давать распоряжения и ей прислуживали. Это было

все, что предложила ей жизнь по части женских привилегий.

— Виски, Томми, — сказала она. Так ее сестры в богатых кварталах лепечут: “Шампанского, Джеймс”.

— Слушаю, мисс Лиззи. С чем прикажете?

— С сельтерской. Скажите, Томми, Малыш сегодня заходил?

— Нет, мисс Лиззи, я его сегодня не видел.

Слуга не скупился на “мисс Лиззи”: все знали, что Малыш не простит тому, кто уронит достоинство его невесты.

— Я ищущу его, — сказала Лиззи, глотнув из стакана. — До меня дошло, будто он говорил, что пойдет на танцульку с Энни Карлсон. Пусть только посмеет! Красноглазая белая крыса! Я его ищущу. Вы меня знаете, Томми. Мы с Малышом уже два года как обручились. Посмотрите, вот кольцо. Он сказал, что оно стоит пятьсот долларов. Пусть только посмеет пойти с ней на танцульку. Что я сделаю? Сердце вырежу у него из груди. Еще виски, Томми.

— Стоит ли обращать внимание на эти сплетни, мисс Лиззи, — сказал слуга, мягко выдавливая слова из щели над подбородком. — Не может Малыш Меллали бросить такую девушку, как вы. Еще сельтерской?

— Да, уже два года, — повторила Лиззи, понемногу смягчаясь под магическим действием алкоголя. — Я всегда играла по вечерам на улице, потому что дома делать было нечего. Сначала я только сидела на крыльце и все смотрела на огни и на прохожих. А потом как-то вечером прошел мимо Малыш и взглянул на меня, и я сразу в него вторилась. Когда он в первый раз напоил меня, я потом дома проплакала всю ночь и получила трепку за то, что не давала другим спать. А теперь... Скажите, Томми, вы когда-нибудь видели эту Энни Карлсон? Только и есть красоты, что перекусить. Да, я ищущу его. Вы скажите Малышу, если он зайдет. Что сделаю? Сердце вырежу у него из груди. Так и знайте. Еще виски, Томми.

Нетвердой походкой, но настороженно блестя глазами, Лиззи шла по улице. На пороге кирпичного дома дешевых

квартир сидела кудрявая девочка и задумчиво рассматривала спутанный моток веревки. Лиззи плюхнулась на порог рядом с ребенком. Кривая, неверная улыбка бродила по ее разгоряченному лицу, но глаза вдруг стали ясными и бесхитростными.

— Давай я тебе покажу, как играть в веревочку, — сказала она, пряча пыльные туфли под зеленой шелковой юбкой.

Пока они сидели там, в Клубе Полуночников зажглись огни для бала. Такой бал устраивался раз в два месяца, и члены клуба очень дорожили этим днем и старались, чтобы все было обставлено парадно и с шиком.

В девять часов в зале появился председатель. Малыш Меллали, под руку с дамой. Волосы у нее были золотые, как у Лорелеи. Она говорила с ирландским акцентом, но никто не принял бы ее “да” за отказ. Она пугалась в своей длинной юбке, краснела и улыбалась — улыбалась, глядя в глаза Малышу Меллали.

И когда они остановились посреди комнаты, на наваленном полу произошло то, для предотвращения чего много ламп горит по ночам во многих кабинетах и библиотеках.

Из круга зрителей выбежала Судьба в зеленой шелковой юбке, принявшая псевдоним “Лиззи”. Глаза у нее были жесткие и чернее агата. Она не кричала, не колебалась. Совсем не по-женски она бросила одно-единственное ругательство — любимое ругательство Малыша — таким же, как у него, грубым голосом.

А потом, к великому ужасу и смятению Клуба Полуночников, она исполнила хвастливое обещание, которое дала Томми, исполнила, насколько хватило длины ее ножа и силы ее руки.

Затем в ней проснулся инстинкт самосохранения... или инстинкт самоуничтожения, который общество привило к дереву природы.

Лиззи выбежала на улицу и помчалась по ней стрелою, как в сумерки вальдшнеп летит через молодой лесок.

И тут началось нечто — величайший позор большого города, его застарелая язва, его скверна и унижение, его темное пятно, его навечное бесчестье и преступление, поощряемое, ненаказуемое, унаследованное от времен самого глубокого варварства, — началась травля человека. Только в больших городах и сохранился еще этот страшный обычай, в больших городах, где в травле участвует то, что зовется утонченностью, гражданственностью и высокой культурой.

Они гнались за ней — волящая толпа отцов, матерей, любовников и девушек, они выли, визжали, свистели, звали на подмогу, требовали крови. Хорошо зная дорогу, с одной мыслью — скорее бы конец — Лиззи мчалась по знакомым улицам, пока не почувствовала под ногами подгнившие доски старой пристани. Еще несколько шагов — и добрая мать Восточная река приняла Лиззи в свои объятия, тинистые, но надежные, и в пять минут разрешила задачу, над которой бьются в тысячах пасторатов и колледжей, где горят по ночам огни.

Забавные иногда снятся сны. Поэты называют их видениями, но видение — это только сон белыми стихами. Мне приснился конец этой истории.

Мне приснилось, что я на том свете. Не знаю, как я туда попал. Вероятно, ехал поездом надземной железной дороги по Девятой авеню, или принял патентованное лекарство, или пытался потянуть за нос Джима Джеффриса<sup>1</sup>, или предпринял еще какой-нибудь неосмотрительный шаг. Как бы то ни было, я очутился там, среди большой толпы, у входа в зал суда, где шло заседание. И время от времени красивый, величественный ангел — судебный пристав — появлялся в дверях и вызывал: «Следующее дело!»

Пока я перебирал в уме свои земные прегрешения и раздумывал, не попытаться ли мне доказать свое алиби,

<sup>1</sup> Джим Джеффрис — известный американский боксер.

сославшись на то, что я жил в штате Нью-Джерси, судебный пристав в ангельском чине приоткрыл дверь и возгласил:

— Дело № 99852743.

Из толпы бодро вышел сыщик в штатском — их там была целая куча, одетых в черное, совсем как пасторы, и они расталкивали нас точь-в-точь так же, как, бывало, полисьмены на грешной земле, — и за руку он тащил... кого бы вы думали? Лиззи!

Судебный пристав увел ее в зал и затворил дверь. Я подошел к крылатому агенту и спросил его, что это за дело.

— Очень прискорбный случай, — ответил он, соединив вместе кончики пальцев с наманикюренными ногтями. — Совершенно неисправимая девица. Я специальный агент по земным делам, преподобный Джонс. Девушка убила своего жениха и лишила себя жизни. Оправданий у нее никаких. В докладе, который я представил суду, факты изложены во всех подробностях, и все они подкреплены надежными свидетелями. Возмездие за грех — смерть. Хвала создателю!

Из дверей зала вышел судебный пристав.

— Бедная девушка, — сказал специальный агент по земным делам, преподобный Джонс, смахивая слезу. — Это один из самых прискорбных случаев, какие мне попадались. Разумеется, она...

— Оправдана, — сказал судебный пристав. — Ну-ка, подойди сюда, Джонси. Смотри, как бы не перевели тебя в миссионерскую команду да не послали в Полинезию, что ты тогда запоешь? Чтобы не было больше этих неправых арестов, не то берегись. По этому делу тебе следует арестовать рыжего, небритого, неряшливого мужчину, который сидит в одних носках у окна и читает книгу, пока его дети играют на мостовой. Ну, живей, поворачивайся!

Глупый сон, правда?

## ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя раза два. Некому художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего восвояси, не получив ни единого цента по счету!

И вот люди искусства набрали на своеобразный квартал Гринич-Виллидж в поисках окон, выходящих на север, кровель XVIII столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. Затем они перевезли туда с Шестой авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали "колонию".

Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на Восьмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он шлепал нога за ногу.

Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной

железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.

— У нее один шанс... ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает?

— Ей... ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.

— Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать, например, мужчины?

— Мужчины? — переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Неужели мужчина стоит... Да нет, доктор, ничего подобного нет.

— Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти, вместо одного из десяти.

После того как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая рэгтайм.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула.

Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рас-

сказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу.

Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.

— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — одиннадцать, — а потом: — десять и девять, а потом: — восемь и семь — почти одновременно.

Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпавшиеся кирпичи.

— Что там такое, милая? — спросила Сью.

— Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают гораздо быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять.

— Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди.

— Листьев. На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?

— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сью. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь... позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбить его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя.

— Вина тебе покупать больше не надо, — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. — Вот и еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я.

— Джонси, милая, — сказала Сью, наклоняясь над ней, — обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы шторы.

— Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? — холодно спросила Джонси.

— Мне бы хотелось посидеть с тобой, — сказала Сью. — А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья.

— Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя, — потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых листьев.

— Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злощипый старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально представленного для охраны двух молодых художниц.

Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевельовыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу двадцать пять лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями.

— Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!

— Она очень больна и слаба, — сказала Сью, — и от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман, — если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик... противный старый болтунишка.

— Вот настоящая женщина! — закричал Берман. — Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем. Я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы.

— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом сказала Джонси.

Сью устало повиновалась.

И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща — последний! Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.

— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, тогда умру и я.

— Да бог с тобой! — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. — Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе! Что будет со мной?

Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми.

День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли.

Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору.

Лист плюща все еще оставался на месте. Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогрела для нее куриный бульон на газовой горелке.

— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом молока с портвейном... Хотя нет, принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.

Часом позже она сказала:

— Сюди, я надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.

Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.

— Шансы равные, — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. — При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее.

На другой день доктор сказал Сью:

— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.

В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой.

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.

Из сборника  
“ГОЛОС БОЛЬШОГО ГОРОДА”  
1908

## ГОЛОС БОЛЬШОГО ГОРОДА

Четверть века тому назад школьники имели обыкновение учить уроки нараспев. Их декламационная манера представляла собой нечто среднее между звучным речитативом епископального священника и зудением утомленной лесопильни. Я говорю это со всем уважением. Ведь доски и опилки — вещь весьма полезная и нужная.

Мне вспоминается прелестный и поучительный куплет, оглашавший наш класс на уроках анатомии. Особенно забываемой была строка: “Берцо-овая кость есть длинне-ейшая кость в челове-е-ческом те-еле”.

Как было бы чудесно, если бы вот так же мелодично и логично внедрялись в наши юные умы все относящиеся к человеку телесные и духовные факты! Но скуден был урожай, который мы собрали на ниве анатомии, музыки и философии.

На днях я зашел в тупик. И мне нужен был путеводный луч. В поисках его я обратился к своим школьным дням. Но среди всех хранящихся в моей памяти гнусавых песнопений, которые мы некогда возносили со своих жестких скамей, ни одно не трактовало о совокупном голосе человечества.

Иными словами — об объединенных устных излияниях людских конгломератов.



Иными словами — о Голосе Большого Города. В индивидуальных голосах недостатка не наблюдается. Мы понимаем песнь поэта, лепет ручейка, побуждение человека, который просит у нас пятерку до понедельника, надписи в гробницах фараонов, язык цветов, “поживей-поживей” кондуктора и увертюру молочных бидонов в четыре часа утра. А кое-какие большесухие утверждают даже, будто им вняты вибрации барабанных перепонок, возникающие под напором воздушных волн, которые производит мистер Г. Джеймс<sup>1</sup>. Но кто способен постигнуть Голос Большого Города?

И я отправился искать ответа на этот вопрос.

Начал я с Аврелии. На ней было легкое платье из белого муслина, все в трепетании лент, и шляпа с васильками.

— Как по-вашему, — спросил я, запинаясь, ибо собственного голоса у меня нет, — что говорит этот наш большой... э... огромный... э-э... ошеломительный город? Ведь должен же у него быть голос! Говорит ли он с вами? Как вы толкуете смысл его речей? Он колоссален, но и к нему должен быть ключ.

— Как у дорожного сундука? — осведомилась Аврелия.

— Нет, — сказал я. — Сундуки тут ни при чем. Мне пришло в голову, что у каждого города должен быть свой голос. Каждый из них что-то говорит тем, кто способен услышать. Так что же говорит вам Нью-Йорк?

— Все города, — вынесла свой приговор Аврелия, — говорят одно и то же. А когда они умолкают, доносится эхо из Филадельфии. И значит, они единодушны.

— Мы имеем тут, — сказал я наставительно, — четыре миллиона человек, втиснутых на островок, состоящий главным образом из простаков, омываемых волнами Уолл-стрита. Скопление столь Огромного числа простых элементов на столь малом пространстве не может не привести к возникновению некоей личности, а вернее — некоего однородного единства, устное самовыражение которого происходит через некий же общий рупор. Проводится, так ска-

зать, непрерывный референдум, и его результаты фиксируются во всеобъемлющей идее, которая открывается нам через посредство того, что можно назвать Голосом Большого Города. Так не могли бы вы сказать мне, что это, собственно, такое?

Аврелия улыбнулась своей неизъяснимой улыбкой. Она сидела на маленькой веранде. Веточка нахального плюша поглаживала ее правое ушко. Беспцеремонный лунный луч играл на ее носу. Но я был тверд, я был покрыт броней долга.

— Придется мне пойти и выяснить раз и навсегда, что же такое Голос нашего города, — заявил я. — Ведь у других городов голоса есть! Я должен выяснить, что тут и как. Поручение редактора. И пусть Нью-Йорк, — продолжал я воинственно, — не пробует совать мне сигару со словами: “Извините, старина, но я не даю интервью”. Другие города так не поступают. Чикаго говорит без колебаний: “Добьюсь!” Филадельфия говорит: “Надо бы”. Новый Орлеан говорит: “В мое время”. Луисвилл говорит: “Почему бы и нет”. Сент-Луис говорит: “Прошу прощения”. Питтсбург говорит: “Подымим?” А вот Нью-Йорк...

Аврелия улыбнулась.

— Ну, хорошо, — сказал я. — В таком случае мне придется пойти куда-нибудь еще.

Я зашел в питейный дворец — полы выложены мрамором, потолки сплошь в амурчиках, и с полицией полный ажур.

Поставив ногу на латунный барьер, я сказал Биллу Магнусу, лучшему бармену епархии:

— Билли, ты живешь в Нью-Йорке много лет, так какой же музыкой убаживает тебя старик? То есть я вот о чем: не замечаешь ли ты, что его гомон вроде как собирается в один комок, катится к тебе по стойке, словно объединенные чайные, и попадает в цель, точно эпитаграмма, крепленная горькой настойкой, и с ломтиком...

— Я сейчас, — сказал Билли. — Кто-то жмет на звонок у черного хода.

Он вышел, затем вернулся с пустым жестяным бидончиком, наполнил его, вновь скрылся, опять вернулся и сказал мне:

<sup>1</sup> Генри Джеймс (1843–1916) — американский писатель, часто выступал с публичными лекциями.

— Это Мэйми приходила. Она всегда звонит два раза. Любит хлебнуть за ужином пивка. И малыш тоже. Видели бы вы, как этот паршивец выпрямится на своем стульчике, возьмет кружечку с пивом и... Да, а вы-то чего спрашивали? Как услышу эти два звонка, так все начисто из головы вылетает. Вы бейсбольным счетом интересовались или вам джина с сельтерской?

— Лимонада, — уточнил я.

Я вышел на Бродвей. На углу стоял полицейский. Полицейские берут детей на руки, старушек под локоть, а мужчин на цугундер.

— Если я не слишком нарушаю тишину и порядок, — сказал я, — то мне хотелось бы задать вам вопрос. Вы наблюдаете Нью-Йорк в самые звучные его часы. Вы и ваши собраты по мундиру существуете, в частности, для того, чтобы оберегать его акустику. И, значит, имеется некий внятный вам городской глас. Вы, конечно, слышали его во время ночных обходов по пустым улицам. Какова же субстанция его шумного бурления и гвалта? Что говорит вам город?

— Друг, — сказал полицейский, поигрывая дубинкой, — стану я его слушать! Я ему не подчинен, у меня свое начальство есть. Знаете что, вы как будто человек надежный. Постойте тут минутку и последите, а то, не дай бог, сержант нагрянет.

Полицейский растворился во мраке переулка. Через десять минут он вернулся.

— Только во вторник поженились, — сказал он отрывисто. — Вы же знаете, какие они. Приходит туда на угол каждый вечер в девять часов поце... перекинуться словечком. А я уж как-нибудь да исхитрюсь быть там вовремя. Погодите-ка, о чем это вы меня спрашивали? Что нового в городе? Ну, вот только что в двенадцати кварталах отсюда открылись два сада на крышах.

Я пересек веер трамвайных путей и пошел вдоль тенисного парка. Поволоченная Диана на башенке<sup>1</sup>, гордая, лег-

1 Здание Мэдисон-сквер-гарден увенчано башенкой, на которой возвышается статуя древнегреческой богини плодородия — Дианы.

кая, покорная лишь ветру, сверкала в ярких лучах своей небесной тезки. И вдруг откуда ни возьмись передо мной возник знакомый поэт в новой шляпе на тщательно расчесанных волосах и устремился дальше, благоухая дактилями, спондеями и духами. Я вцепился в него.

— Билл! — сказал я (под стихами он подписывается “Клеон”). — Подбрось мыслишку! Мне поручено установить, что такое Голос Большого Города. Личное поручение редактора. При обычных обстоятельствах можно было бы обойтись компотом из взглядов Генри Клуса, Джона Л. Салливана, Эвина Маркхема, Мей Ирвин и Чарлза Суоба<sup>1</sup>. Но тут случай особый. Нам требуется широчайшая поэтическая, мистическая вокализация души города, его сути. Уж тебе-то здесь и карты в руки. Года три-четыре назад один человек побывал на Ниагарском водопаде и сообщил нам, какую ноту он выводит. Так она на два фута ниже самого нижнего “соль” у рояля. Ну, а у Нью-Йорка, сам знаешь, не столько ноты, сколько банкноты. Но как тебе кажется, что бы он сказал, если бы вдруг заговорил? Это, конечно, будет нечто колоссальное, оглушающее. Нам нужно взять грохочущие аккорды дневного уличного движения, смех и музыку ночи, торжественные модуляции преподобного доктора Паркхерста<sup>2</sup>, рэгтайм, рыдания, вкрадчивый шорох колес, крики газетчиков, журчание фонтанов в садах на крышах, зазывные вопли лоточников, а также обложек “Журнала для всех” и еще шепот влюбленных в парках — вот какие звуки требуются для искомого голоса, но их не надо сбивать, а только смешать, из смеси сделать эссенцию, а из эссенции — экстракт, воспринимаемый на слух экстракт, капля которого и будет тем, что нам требуется.

— Помнишь ту девочку из Калифорнии, с которой мы познакомились в студии Стайвера на прошлой неделе? — спросил поэт с блаженным смешком. — Я как раз иду к ней. Она

1 Здесь автор приводит имена финансиста, боксера, поэта, актрисы и сталепромышленника.

2 Чарльз Паркхерст — священник церкви, расположенной на Мэдисон-сквер.

читает наизусть мои стихи “Дань весны” без единой ошибки. Второй такой во всем городе не найдется. Как этот чертов галстук выглядит — ничего? Я четыре штуки измочалил, пока удалось завязать приличный узел.

— Ну, а что ты все-таки скажешь насчет Голоса? — настаивал я.

— Петь она не поет, — ответил Клеон. — Но слышал бы ты, как она декламирует моего “Ангела утреннего бриза”.

Я пошел дальше. И ухватил мальчишку-газетчика, а он взмахнул передо мной пророческими розовыми листьями, которые обгоняют самые свежие новости на два оборота самой длинной часовой стрелки.

— Сынок, — сказал я, делая вид, будто нащупываю в кармане мелкую монету, — а тебе порой не кажется, что Нью-Йорк умеет говорить? Знаешь, все эти ежедневные происшествия и загадочные события, удачи и крахи — что, по-твоему, он сказал бы, если бы был наделен даром речи?

— Хватит языком трепать, — буркнул мальчишка. — Какую газету берете? Мне с вами растабарывать некогда. У Мэги день рождения, и мне нужно тридцать центов ей на подарок.

Нет, и этот не годился в толмачи! Я купил газету и отправил ее незаклученные международные договоры, задуманные убийства и еще не состоявшиеся битвы в мусорную урну.

И вновь я удалился в парк, под лунную сень. Я сидел там и думал, думал и ломал голову над тем, почему никто так мне ничего дельного и не сказал.

И вдруг со скоростью света далекой звезды меня осенил ответ. Я вскочил и бросился бегом назад — назад по тому же кругу, подобно многим и многим любителям рассуждать. Я нашел отгадку, и бережно скрыл ее в сердце, и бежал во всю прыть, опасаясь, что меня остановят и отнимут мою тайну.

Аврелия все еще сидела на веранде. Луна поднялась выше, и тень плюща стала чернее. Я сел рядом с Аврелией, и мы вместе смотрели, как легкое облачко нацелилось в плы-

вущую луну и распалось надвое, совсем бледное и обескураженное.

И тут — о чудо из чудес, о блаженство из блаженств! — наши руки неведомо как соприкоснулись, наши пальцы сплелись и остались сплетенными.

Полчаса спустя Аврелия произнесла, улыбнувшись своей неизъяснимой улыбкой:

— А знаете, ведь вы с той минуты, как вернулись, ни одного слова не сказали.

— Это и есть, — сказал я, умудренно кивнув, — Голос Большого Города.

## ПЕРСИКИ

Медовый месяц был в разгаре. Квартирку украшал новый ковер самого яркого красного цвета, портьеры с фестонами и поддожины глиняных пивных кружек с оловянными крышками, расставленные в столовой на выступе деревянной панели. Молодым все еще казалось, что они парят в небесах. Ни он, ни она никогда не видали, “как примула желтеет в траве у ручейка”; но если бы подобное зрелище представилось их глазам в указанный период времени, они бесспорно усмотрели бы в нем — ну, все то, что, по мнению поэта, полагается усмотреть в цветущей примуле настоящему человеку.

Новобрачная сидела в качалке, а ее ноги опирались на земной шар. Она утопала в розовых мечтах и в шелку того же оттенка. Ее занимала мысль о том, что говорят по поводу ее свадьбы с Малышом Макгарри в Гренландии, Белуджистане и на острове Тасмания. Впрочем, особого значения это не имело. От Лондона до созвездия Южного Креста не нашлось бы боксера полусреднего веса, способного продержаться четыре часа — да что часа! четыре раунда — против Малыша Макгарри. И вот уже три недели, как он принадлежит ей; и достаточно прикосновения ее ми-

зинца, чтобы заставить покачнуться того, против кого бес-  
 сильны кулаки прославленных чемпионов ринга.

Когда любим мы сами, слово "любовь" — синоним само-  
 пожертвования и отречения. Когда любят соседи, живущие  
 за стеной, это слово означает самомнение и нахальство.

Новобрачная скрестила свои ножки в туфельках и задум-  
 чиво поглядела на потолок, расписанный купидонами.

— Милый, — произнесла она с видом Клеопатры, выска-  
 зывающей Антонию пожелание, чтобы Рим был поставлен  
 ей на дом в оригинальной упаковке. — Милый, я, пожалуй,  
 съела бы персик.

Малыш Макгарри встал и надел пальто и шляпу. Он был  
 серьезен, строен, сентиментален и сметлив.

— Ну что ж, — сказал он так хладнокровно, как будто речь  
 шла всего лишь о подписании условий матча с чемпионом  
 Англии. — Сейчас пойду принесу.

— Только ты недолго, — сказала новобрачная. — А то я со-  
 скучусь без своего гадкого мальчика. И смотри, выбери хо-  
 роший, спелый.

После длительного прощанья, не менее бурного, чем ес-  
 ли бы Малышу предстояло чреватое опасностями путеше-  
 ствие в дальние страны, он вышел на улицу.

Тут он призадумался, и не без оснований, так как дело  
 происходило ранней весной и казалось мало вероятным,  
 чтобы где-нибудь в промозглой сырости улиц и в холоде ла-  
 вок удалось обрести вожделенный сладостный дар золотис-  
 той зрелости лета.

Дойдя до угла, где помещалась палатка итальянца, торгу-  
 ющего фруктами, он остановился и окинул презрительным  
 взглядом горы завернутых в папиросную бумагу апельси-  
 нов, глянцевитых, румяных яблок и бледных, истосковав-  
 шихся по солнцу бананов.

— Персики есть? — обратился он к соотечественнику Дан-  
 те, влюбленнейшего из влюбленных.

— Нет персиков, синьор, — вздохнул торговец. — Будут  
 разве только через месяц. Сейчас не сезон. Вот апельсины  
 есть хорошие. Возьмете апельсины?

Малыш не удостоил его ответом и продолжал поиски.  
 Он направился к своему давнишнему другу и поклоннику,  
 Джастесу О'Кэллэхэну, держателю предприятия, кото-  
 рое соединяло в себе дешевый ресторанчик, ночное кафе и  
 кегельбан. О'Кэллэхэн оказался на месте. Он расхаживал  
 по ресторану и наводил порядок.

— Срочное дело, Кэл, — сказал ему Малыш. — Моей ста-  
 рушке взбрело на ум полакомиться персиком. Так что если  
 тебя есть хоть один персик, давай его скорей сюда. А если  
 они у тебя водятся во множественном числе, давай несколь-  
 ко — пригодятся.

— Весь мой дом к твоим услугам, — отвечал О'Кэллэхэн. —  
 Но только персиков ты в нем не найдешь. Сейчас не сезон.  
 Даже на Бродвее и то, пожалуй, недостать персиков в эту  
 пору года. Жаль мне тебя. Ведь если у женщины на что-ни-  
 будь разгорелся аппетит, так ей подавай именно это, а не  
 другое. Да и час поздний, все лучшие фруктовые магазины  
 уже закрыты. Но, может быть, твоя хозяйка помирится на  
 апельсине? Я как раз получил ящик отборных апельсинов,  
 так что если...

— Нет, Кэл, спасибо. По условиям матча требуются пер-  
 сики, и замена не допускается. Пойду искать дальше.

Время близилось к полуночи, когда Малыш вышел на од-  
 ну из западных авеню. Большинство магазинов уже закры-  
 лось, а в тех, которые еще были открыты, его чуть ли не на  
 смех поднимали, как только он заговаривал о персиках.

Но где-то там, за высокими стенами, сидела новобрачная  
 и доверчиво дожидалась заморского гостинца. Так неужели  
 же чемпион в полусреднем весе не раздобудет ей персика?  
 Неужели он не сумеет перешагнуть через преграды сезо-  
 нов, климатов и календарей, чтобы порадовать свою люби-  
 мую сочным желтым или розовым плодом?

Впереди показалась освещенная витрина, переливавшаяся  
 всеми красками земного изобилия. Но не успел Малыш  
 заприметить ее, как свет погас. Он помчался во весь дух и  
 настиг фруктовщика в ту минуту, когда тот запирает дверь  
 лавки.

— Персики есть? — спросил он решительно.

— Что вы, сэри! Недели через две-три, не раньше. Сейчас вы их во всем городе не найдете. Если где-нибудь и есть несколько штук, так только тепличные, и то не берусь сказать, где именно. Разве что в одном из самых дорогих отелей, где люди не знают, куда девать деньги. А вот, если угодно, могу предложить превосходные апельсины, только сегодня пароходом доставлена партия.

Дойдя до ближайшего угла, Малыш с минуту постоял в раздумье, потом решительно свернул в темный переулок и направился к дому с зелеными фонарями у крыльца.

— Что, капитан здесь? — спросил он у дежурного полицейского сержанта.

Но в это время сам капитан вынырнул из-за спины дежурного. Он был в штатском и имел вид чрезвычайно занятого человека.

— Здорово, Малыш! — приветствовал он боксера. — А я думал — вы совершаете свадебное путешествие.

— Вчера вернулся. Теперь я вполне оседлый гражданин города Нью-Йорка. Пожалуй, даже займусь муниципальной деятельностью. Скажите-ка мне, капитан, хотели бы вы сегодня ночью накрыть заведение Денвера Дика?

— Хватились! — сказал капитан, покручивая ус. — Денвера прихлопнули еще два месяца назад.

— Правильно, — согласился Малыш. — Два месяца назад Рафферти выкурил его с Сорок третьей улицы. А теперь он обосновался в вашем околотке, и игра у него идет крупней, чем когда-либо. У меня с Денвером свои счета. Хотите, проведу вас к нему?

— В моем околотке? — зарычал капитан. — Вы в этом уверены, Малыш? Если так, сочту за большую услугу с вашей стороны. А вам что, известен пароль? Как мы попадем туда?

— Взломав дверь, — сказал Малыш. — Ее еще не успели оковать железом. Возьмите с собой человек десять. Нет, мне туда вход закрыт. Денвер пытался меня прикончить. Он думает, что это я выдал его в прошлый раз. Но, между про-

чим, он ошибается. Однако поторопитесь, капитан. Мне нужно пораньше вернуться домой.

И десяти минут не прошло, как капитан и двенадцать его подчиненных, следуя за своим проводником, уже входили в подъезд темного и вполне благопристойного с виду здания, где в дневное время вершили свои дела с десятков солидных фирм.

— Третий этаж, в конце коридора, — негромко сказал Малыш. — Я пойду вперед.

Двое дюжих молодцов, вооруженных топорами, встали у двери, которую он им указал.

— Там как будто все тихо, — с сомнением в голосе произнес капитан. — Вы уверены, что не ошиблись, Малыш?

— Ломайте дверь, — вместо ответа скомандовал Малыш. — Если я ошибся, я отвечаю.

Топоры с треском врезались в незащищенную дверь. Через проломы хлынул яркий свет. Дверь рухнула — и участники облавы, с револьверами наготове, ворвались в помещение.

Просторная зала была обставлена с крикливой роскошью, отвечавшей вкусам хозяина, уроженца Запада. За несколькими столами шла игра. С полсотни завсегдатаев, находившихся в зале, бросились к выходу, желая любой ценой ускользнуть из рук полиции. Заработали полицейские дубинки. Однако большинству игроков удалось уйти.

Случилось так, что в эту ночь Денвер Дик удостоил притон своим личным присутствием. Он и кинулся первым на непрошенных гостей, рассчитывая, что численный перевес позволит сразу смять участников облавы. Но с той минуты, как он увидел среди них Малыша, он уже не думал больше ни о ком и ни о чем. Большой и грузный, как настоящий тяжеловес, он с восторгом навалился на своего более хрупкого врага, и оба, сцепившись, покатались по лестнице вниз. Только на площадке второго этажа, когда они, наконец, расцепились и встали на ноги, Малыш смог пустить в ход свое профессиональное мастерство, остававшееся без применения, пока его стискивал в яростном объятии

любитель сильных ощущений весом в двести фунтов, которому грозила потеря имущества стоимостью в двадцать тысяч долларов.

Уложив своего противника. Малыш бросился наверх и, пробежав через игорную залу, очутился в комнате поменьше, отделенной от залы аркой.

Здесь стоял длинный стол, уставленный ценным фарфором и серебром и ломившийся от дорогих и изысканных яств, к которым, как принято считать, питают пристрастие рыцари удачи. В убранстве стола тоже сказывался широкий размах и экзотические вкусы джентльмена, приходившегося тезкой столице одного из западных штатов<sup>1</sup>.

Из-под свисающей до полу белоснежной скатерти торчал лакированный штиблет сорок пятого размера. Малыш ухватился за него и извлек на свет божий негра-официанта во фраке и белом галстуке.

— Встань! — скомандовал Малыш. — Ты состоишь при этой кормушке?

— Да, сэр, я состоял. Неужели нас опять сцапали, сэр?

— Похоже на то. Теперь отвечай: есть у тебя тут персики? Если нет, то, значит, я получил нокаут.

— У меня было три дюжины персиков, сэр, когда началась игра, но боюсь, что джентльмены съели все до одного. Может быть, вам угодно скушать хороший, сочный апельсин, сэр?

— Переверни все вверх дном, — строго приказал Малыш, — но чтобы у меня были персики. И пошевеливайся, не то дело кончится плохо. Если еще кто-нибудь сегодня заговорит со мной об апельсинах, я из него дух вышибу.

Тщательный обыск на столе, отягощенном дорогостоящими щедротами Денвера Дика, помог обнаружить один-единственный персик, случайно пощаженный эпикурейскими челюстями любителей азарта. Он тут же был водворен в карман Малыша, и наш неутомимый фуражир пустился со своей добычей в обратный путь. Выйдя на улицу, он даже не взглянул в ту сторону, где люди капитана

вталкивали своих пленников в полицейский фургон, и быстро зашагал по направлению к дому.

Легко было теперь у него на душе. Так рыцари Круглого стола возвращались в Камелот, испытав много опасностей и совершив немало подвигов во славу своих прекрасных дам. Подобно им, Малыш получил приказание от своей дамы и сумел его выполнить. Правда, дело касалось всего только персика, но разве не подвигом было раздобыть среди ночи этот персик в городе, еще скованном февральскими снегами? Она попросила персик, она была его женой, и вот персик лежит у него в кармане, согретый ладонью, которую он придерживал его из страха, как бы не выронить и не потерять.

По дороге Малыш зашел в ночную аптеку и сказал хозяину, вопросительно уставившемуся на него сквозь очки:

— Послушайте, любезнейший, я хочу, чтобы вы проверили мои ребра, все ли они целы. У меня вышла маленькая размолвка с приятелем, и мне пришлось сосчитать ступени на одном или двух этажах.

Аптекарь внимательно осмотрел его.

— Ребра все целы, — гласило вынесенное им заключение. — Но вот здесь имеется кровоподтек, судя по которому можно предположить, что вы свалились с небоскреба "Утюг", и не один раз, а по меньшей мере дважды.

— Не имеет значения, — сказал Малыш. — Я только попрошу у вас платяную щетку.

В уютном свете лампы под розовым абажуром сидела новобрачная и ждала. Нет, не перевелись еще чудеса на белом свете. Ведь вот одно лишь словечко о том, что ей чего-то хочется, пусть это будет самый пустяк: цветочек, гранат или — ах да, персик, — и ее супруг отважно пускается в ночь, в широкий мир, который не в силах против него устоять, и ее желание исполняется.

И в самом деле — вот он склонился над ее креслом и вкладывает ей в руку персик.

— Гадкий мальчик! — влюбленно проворковала она. — Разве я просила персик? Я бы гораздо охотнее съела апельсин.

Благословенна будь, новобрачная!

<sup>1</sup> Денвер — столица штата Колорадо.

## СМЕРТЬ ДУРАКАМ

У нас, на Юге, когда кто-нибудь выкинет или скажет особенно монументальную глупость, люди говорят: “Поплите за Джесси Хомзом”.

Джесси Хомз — это Смерть Дуракам. Конечно, он — миф, так же как Санта-Клаус, или Дед Мороз, или Всеобщее Прорцветание — словом, как все эти конкретные представления, олицетворяющие идею, которую природа не удосужилась воплотить в жизнь. Даже мудрейшие из мудрецов Юга не скажут вам, откуда пошла эта поговорка, но немного найдется домов — и счастливы эти дома, — где никогда не проносили имени Джесси Хомза или не зывали к нему. Всегда с улыбкой, а порой и со слезами его призывают к исполнению его официальных обязанностей на всем пространстве от Роанока до Рио-Гранде. Очень занятой человек этот Джесси Хомз.

Я отлично помню его портрет, висевший на стене моего воображения в дни моего босоногого детства, когда встреча с ним частенько мне угрожала. Он представлялся мне страшным стариком в сером, с длинной косматой седой бородой и красными злющими глазами. Я опасался, что он вот-вот появится на дороге в облаке пыли, с белой дубовой палкой в руке, в башмаках, подвязанных ремешками. Возможно, что когда-нибудь я еще...

Но я пишу не эпилог, а рассказ.

Я не раз с сожалением отмечал, что почти во всех рассказах, которые вообще стоит читать, люди пьют. Напитки льются рекой — то это три наперстка виски, которым балуется Дик Аризона, то никчемный китайский чай, которым пытается придать себе храбрости Лайонель Монтрезор в “Дефективных диалогах”. В такую компанию не стыдно ввести и абсент — один стаканчик абсента, втянутого через серебряную трубочку, холодного, мутноватого, зеленоглазого, обманчивого.

Кернер был дураком. Кроме того, он был художником и моим добрым другом. Если есть на свете презренное суще-

ство, так это художник в глазах автора, которого он иллюстрирует. Вы попробуйте сами. Напишите рассказ из жизни золотоискателей в Айдахо. Продайте его. Истратьте полученный гонорар, а затем, через полгода, займите двадцать пять (или десять) центов и купите номер журнала, в котором этот рассказ напечатан. Перед вами иллюстрация на целую страницу — ваш герой, ковбой Черный Билл. Где-то в вашем рассказе встретилось слово “лошадь”. Художник сразу все понял. На Черном Билле штаны как на лорде, выехавшем травить лисицу. Через плечо у него плащ монтекристо, в глазу монокль. На заднем плане изображен кусок Сорок второй улицы во время ремонта газовых труб и Тадж-Махал, знаменитый мавзолей в Индии.

Довольно! Я ненавижу Кернера, но как-то мы познакомились и стали друзьями. Он был молод и великолепно меланхоличен, потому что пребывал в постоянном подъеме и столь много ждал от жизни. Да, он был, можно сказать, печален до буйства. Это все молодость. Когда человек начинает грустно веселиться, можно пари держать, что он красит волосы. У Кернера было много волос, притом старательно взлохмаченных, как и полагается гриве художника. Он курил папиросы и пил за обедом красное вино. Но главное — он был дураком. И я мудро завидовал ему и терпеливо выслушивал, как он поносит Веласкеса и Тинторетто. Однажды он сказал, что ему понравился мой рассказ, который попался в каком-то сборнике. Он пересказал мне содержание рассказа, и я пожалел, что мистер Фицджеральд О’Брайан<sup>1</sup> умер и не может услышать похвалу своему произведению. Но такие озарения редко посещали Кернера, он был дураком, упорным и постоянным.

Постараюсь выразиться яснее. Тут была девушка. Я считаю, что девушкам место либо в пансионе, либо в альбоме, но, чтобы не лишиться дружбы Кернера, допускал существование этого вида и в природе. Он показал мне ее портрет в медальоне, она была не то блондинка, не то брюнетка, уж

<sup>1</sup> Фицджеральд О’Брайан (1828–1862) — американский писатель, автор фантастических рассказов.

не помню. Она работала на фабрике за восемь долларов в неделю. Дабы фабрики не возгордились и не вздумали меня цитировать, добавлю, что девушка одолевала путь к этой роскошной плате пять лет, а начала с полутора долларов в неделю.

Отец Кернера стоил два миллиона. Поддерживать искусство он был согласен, но про фабричную работницу заявил, что это уж слишком. Тогда Кернер лишил отца наследника, переехал в дешевую мастерскую и стал питаться на завтрак колбасой, а на обед ходить к Фаррони. Фаррони, наделенный артистической душой, кормил в долг многих художников и поэтов. Иногда Кернеру удавалось продать картину. Тогда он покупал новый ковер, кольцо и дюжину галстуков, а также уплачивал Фаррони два доллара в счет долга.

Как-то вечером Кернер пригласил меня отобедать с его девушкой. Они решили пожениться, как только он научится извлекать из живописи доход. Что касается двух миллионов экс-отца — очень они ему нужны!

Девушка была прелесть. Миниатюрная, почти красивая, она держалась в этом дешевом кафе так же свободно, как если бы сидела в ресторане отеля "Палмер-Хаус" в Чикаго, и уже успела засунуть за корсаж на память серебряную ложку. Она была естественна. Особенно я оценил в ней две черточки: пряжка от пояса приходилась как раз посередине ее спины, и она рассказывала нам, что высокий мужчина с рубиновой булавкой в галстук шел за ней по пятам от самой Четырнадцатой улицы. Я подумал, а может быть, Кернер не такой уж дурак? А потом прикинул, сколько полосатых манжет и голубых стеклянных бус для язычников можно купить на два миллиона, и решил — нет, все-таки дурак. И тут Элиз — вот, даже имя ее вспомнил — весело рассказала нам, что коричневое пятно на ее блузке произошло оттого, что хозяйка постучала к ней как раз, когда она (Элиз, а не хозяйка) грела утюг на газовой горелке и ей пришлось спрятать утюг под одеяло, а там оказался кусочек жевательной резинки, он пристал к утюгу, и когда она начала снова гладить блузку... я только подивился, каким образом жева-

тельная резинка попала под одеяло, неужели они никогда не перестают ее жевать?

— Вскоре после этого — потерпите, сейчас будет и про абсент — мы с Кернером обедали вдвоем у Фаррони. Страдали гитара и мандолина; дым стелился по комнате красивыми, длинными, кудрявыми клубами, точь-в-точь как художники изображают на рождественских открытках пар от сливового пудинга; дама в голубом шелковом платье и вымытых бензином перчатках запела мелодию кэтскилской горянки.

— Кернер, — сказал я, — ты дурак.

— Разумеется, — сказал Кернер, — работать она больше не будет. Этого я не допущу. Какой смысл ждать? Она согласна. Вчера я продал ту акварель — вид на Палисады. Стряпать будем на газовой плите в две конфорки. Ты еще не знаешь, какое я умею готовить рагу. Да, поженимся на будущей неделе.

— Кернер, — сказал я, — ты дурак.

— Хочешь абсенту? — великодушно предложил Кернер. — Сегодня ты в гостях у искусства, которое при деньгах. Думаю, мы снимем квартиру с ванной.

— Я никогда не пробовал... я имею в виду абсент, — сказал я.

Официант отмерил нам по порции в стаканы со льдом и медленно долил стаканы водой.

— На вид совсем как вода в Миссисипи в большой излучине ниже Натчеса, — сказал я, с интересом разглядывая мутную жидкость.

— Можно найти такую квартиру за восемь долларов в неделю, — сказал Кернер.

— Ты дурак, — сказал я и стал потягивать абсент. — Знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно официальное вмешательство некоего Джесси Хомза.

Кернер, не будучи южанином, не понял. Он сидел размякший, мечтая о своей квартире, как истый делегата-художник, а я глядел в зеленые глаза всезнающего духа польни.

Случайно я заметил, что процессия вакханок на длинном панно под потолком сдвинулась с места и весело понеслась куда-то слева направо. Я не сообщил о своем открытии Кер-



неру. Художники парят слишком высоко, чтобы замечать такие отклонения от естественных законов искусства стеной живописи. Я потягивал абсент и насыщал свою душу пылью.

Один стакан абсента — это не бог весть что, но я опять сказал Кернеру, очень ласково:

— Ты дурак. — И прибавил наше южное: — Нет на тебя Джесси Хомза.

А потом я оглянулся и увидел Смерть Дуракам, каким он всегда мне представлялся, он сидел за соседним столиком и смотрел на нас своими грозными, красными, безжалостными глазами. Это был Джесси Хомз с головы до ног: длинная косматая седая борода, старомодный серый сюртук, взгляд палача и пыльные башмаки призрака, явившегося на зов откуда-то издалека. Взгляд его так и сверлил Кернера. Мне стало жутко при мысли, что это я оторвал его от неустанныго исполнения его обязанностей на Юге. Я подумал о бегстве, но вспомнил, что многие все же избегли его кары, когда уже казалось, что ничто не может их спасти, разве что назначение послом в Испанию. Я назвал брата своего Кернера дураком, и мне угрожала геенна огненная. Это бы еще ничего, но Кернера я постараюсь спасти от Джесси Хомза.

Смерть Дуракам встал и подошел к нашему столику. Он оперся на него рукой и, игнорируя меня, впился в Кернера своими горящими, мстительными глазами.

— Ты безнадежный дурак, — сказал он. — Не надоело еще тебе голодать? Предлагаю тебе еще раз: откажись от этой девушки и возвращайся к отцу. Не хочешь — пеняй на себя.

Лицо Смерти Дуракам было на расстоянии фута от лица его жертвы, но, к моему ужасу, Кернер ни словом, ни жестом не показал, что заметил его.

— Мы поженимся на будущей неделе, — пробормотал он рассеянно. — Кой-какая мебель у меня есть, прикупим несколько подержанных стульев и справимся.

— Ты сам решил свою судьбу, — сказал Смерть Дуракам тихим, но грозным голосом. — Считай себя все равно что мертвым. Больше предложений не жди.

— При лунном свете, — продолжал Кернер мечтательно, — мы будем сидеть на нашем чердаке с гитарой, будем петь и смеяться над ложными радостями гордости и богатства.

— Проклятье на твою голову! — прошипел Смерть Дуракам, и у меня волосы зашевелились на голове, когда я увидел, что Кернер по-прежнему не замечает присутствия Джесси Хомза. И я понял, что по каким-то неведомым причинам завеса поднялась только для меня одного и что мне суждено спасти моего друга от руки Смерти Дуракам. Объявивший меня ужас, смешанный с восторгом, видимо, отразился на моем лице.

— Прости меня, — сказал Кернер со своей бледной, тихой усмешкой. — Я разговаривал сам с собой? Кажется, это у меня входит в привычку.

Смерть Дуракам повернулся и вышел из ресторана.

— Подожди меня здесь, — сказал я, вставая. — Я должен поговорить с этим человеком. Почему ты ничего ему не ответил? Неужели, оттого, что ты дурак, ты должен издохнуть, как мышь, под его сапогом? Ты что, даже пискнуть не мог в свою защиту?

— Ты пьян, — отрезал Кернер. — Никто ко мне не обращался.

— Тот, кто лишил тебя разума, — сказал я, — только что стоял рядом с тобой и обрек тебя на гибель. Ты не слепой и не глухой.

— Ничего такого я не заметил, — сказал Кернер. — Я не видел за этим столом никого, кроме тебя. Сядь. Больше ты никогда не получишь абсенту.

— Жди меня здесь, — сказал я, взбешенный. — Раз тебе не дорога твоя жизнь, я сам тебя спасу.

Я выскочил на улицу и догнал старика в сером через несколько домов. Он был таким, каким я тысячу раз видел его в воображении, — свирепый, седой, грозный, опирался на белую дубовую палку, и, если бы улиц не поливали, пыль так и летела бы у него из-под ног.

Я схватил его за рукав и потащил в темный угол. Я знал, что он — миф, и не хотел, чтобы полисмен застал меня раз-

говаривающим с пустотой, не хватало еще очутиться в больнице Бельвю, разлученным со своей серебряной спичечницей и брильянтовым кольцом!

— Джесси Хомз, — оказал я, глядя ему в лицо и симулируя храбрость. — Я вас знаю. Я слышал о вас всю жизнь. Теперь я понял, каким наказанием божьим вы были для Юга. Вместо того чтобы истреблять дураков, вы убивали талант и молодость, столь необходимые для жизни народа и его величия. Вы сами дурак, Хомз. Вы начали убивать самых лучших, самых блестящих своих соотечественников три поколения назад, когда старые, обветшалые мерки общественных отношений, приличий и чести были узкими и лицемерными. Вы это знали, наложив печать смерти на моего друга Кернера, умнейшего парня, какого я когда-либо встречал.

Смерть Дуракам посмотрел на меня пристально и угрюмо.

— Странно на вас действует вино, — сказал он задумчиво. — Да-да, я вспомнил, кто вы такой. Вы сидели за столиком. Если я не ослышался, его вы тоже называли дураком.

— Называл, — сказал я. — И очень часто. Это от зависти. По всем общепризнанным меркам он — самый отъявленный, самый болтливый, самый грандиозный дурак на всем свете. Поэтому вы и хотите его убить.

— Не откажите в любезности, — сказал старик, — объясните, за кого или за что вы меня принимаете.

Я громко расхохотался, но тотчас умолк, сообщив, что мне несдобровать, если кто увидит, как я предаюсь шумному веселью в обществе кирпичной стены.

— Вы — Джесси Хомз, Смерть Дуракам, — сказал я серьезно, — и вы хотите убить моего друга Кернера. Не знаю, кто вас сюда позвал, но если вы его убьете, я добьюсь, чтобы вас арестовали. То есть, — добавил я, теряя апломб, — если мне удастся сделать так, чтобы полисмен вас увидел. Они и смертных-то неважно ловят, а уж для того, чтобы изловить убийцу, который миф, понадобится вся полиция Нью-Йорка.

— Ну, мне пора, — отрывисто произнес Смерть Дуракам. — Ступайте-ка лучше домой да проспите. Спокойной ночи.

Я опять испугался за Кернера и перешел на другой тон, более мягкий и смиренный. Припав к плечу старика, я стал его молить:

— Добрый мистер Смерть Дуракам, пожалуйста, не убивайте маленького Кернера! Возвращайтесь лучше к себе на Юг, убивайте там на здоровье конгрессменов и всякую гольтубу, а нас оставьте в покое! Или почему бы вам не пойти на Пятую авеню убивать миллионеров, которые держат свои деньги под замком и не позволяют молодым дуракам жениться, потому что невеста не из того квартала? Пойдем выпьем, Джесси, а потом уж займетесь своим делом.

— Вы знаете эту девушку, из-за которой ваш друг валяет дурака? — спросил Джесси Хомз.

— Я был ей представлен, — отвечал я, — потому и назвал его дураком. Он дурак потому, что давно на ней не женился. Он дурак потому, что все ждал и надеялся на согласие какого-то нелепого дурака с двумя миллионами — не то отца, не то дяди.

— Возможно, — сказал Смерть Дуракам, — возможно, мне следовало посмотреть на это иначе. Вы можете сходить в тот ресторан и привести сюда вашего друга Кернера?

— Что толку, Джесси? — зевнул я. — Он ведь вас не видит. Он даже не знает, что вы говорили с ним за столиком. Вы же вымышленное лицо, сами знаете.

— Может быть, теперь увидит. Приведите его, пожалуйста.

— Хорошо, — сказал я. — Но вы, мне кажется, не совсем трезвы, Джесси. Вы как-то расплываетесь, теряете очертания. Смотрите, не исчезните, пока я хожу.

Я вернулся в ресторан и сказал Кернеру:

— Там на улице дожидается один старик с невидимой магией человекоубийства. Он хочет тебя видеть. Кажется, он хочет также тебя убить. Пошли. Ты его все равно не увидишь, так что бояться нечего.

Кернер словно бы обеспокоился.

— Черт возьми, — сказал он, — вот не думал, что один стакан абсента может оказать такое действие. В дальнейшем ты лучше держись пива. Я провожу тебя домой.

Я привел его к Джесси Хомзу.

— Рудольф, — сказал Смерть Дуракам, — я сдаюсь. Приведи ее ко мне. Руку, мальчик.

— Спасибо, папа, — сказал Кернер, пожимая руку старику. — Вы об этом не пожалеете, когда узнаете ее ближе.

— Так ты его видел, когда он говорил с тобой за столом? — спросил я Кернера.

— Мы уже год как не разговаривали, — сказал Кернер. — Теперь-то все в порядке.

Я пошел прочь.

— Ты куда? — крикнул мне вдогонку Кернер.

— Иду отдаться в руки Джесси Хомзу, — ответил я сдержанно и с достоинством.

## В АРКАДИИ ПРОЕЗДОМ

На Бродвее есть отель, который еще не успели обнаружить любители летних курортов. Он обширен и прохладен. Номера его отделаны темным дубом, холодным даже в полуденный зной. Ветерки домашнего изготовления и темно-зеленые живые изгороди дарят ему все прелести Адирондакских гор без присущих им неудобств. Ни одному альпинисту не дано изведать той безмятежной радости, какую испытывает человек, когда взбирается по его широким лестницам или под бдительным оком опытного проводника, с грудью, усаженной медными пуговицами, мечтательно уносится ввысь в одном из лифтов, точно в кабинке фуникулера. Здешний повар готовит такую форель, какой вам не попробовать даже в Белых горах Невады, его омары и другие дары моря заставят позеленеть от зависти “Олд-Пойнт-Комфорт” (“Да будь я проклят, сэри!”), а оленина из штата Мэн могла бы смягчить и чиновниче сердце старшего лесничего.

Этот оазис в пустыне июльского Манхэттена известен лишь избранным. И в течение июля немногочисленные гости отеля блаженствуют в прохладном сумраке величественного обеденного зала и созерцают друг друга через бело-

снежные пространства незанятых столиков, безмолвно радуясь своему уединению.

Избыточный рой внимательных официантов на резиновом ходу спешит исполнить их малейшее желание еще до того, как оно будет высказано. Температура воздуха остается неизменно апрельской. На потолке в нежных акварельных тонах изображено летнее небо, и по нему плывут прелестные облачка, которые, в отличие от настоящих, не огорчают нас своим безвозвратным исчезновением.

Приятный отдаленный рев Бродвея в воображении счастливых гостей преобразуется в баюкающий рокот водопада под сенью леса. Они тревожно прислушиваются к незнакомым шагам, томясь опасением, что их приют обнаружен и сейчас в него вторгнутся те беспокойные искатели удовольствий, что без усталости выслеживают нетронутую природу в самых сокровенных ее убежищах.

Вот так каждый жаркий сезон горстка истинных знатоков ревниво прячется от посторонних глаз в опустевшем караван-сараяе, сполна наслаждаясь прелестями гор и морского побережья, которые сервируют им здесь искусство и усердие.

В июле нынешнего года отель одарила своим присутствием “мадам Элоиза д’Арси Бомон”, как значилось на карточке, которую она послала портье для регистрации.

Мадам Бомон отвечала самым строгим требованиям отеля “Лотос”. Ей был присущ тонкий аристократизм, смягченный и отгнененный истинной любезностью, которая тотчас превратила всех служащих отеля в ее рабов. Когда она звонила, коридорные дрались за честь явиться к ней в номер. Только законы, охраняющие частную собственность, мешали портье признать ее единовластной владелицей отеля и всего, что в нем находилось. Для гостей же в ней воплотился тот завершающий штрих женственности, избранности и красоты, которого только и не хватало отелю для полного совершенства.

Эта сверхидеальная гостья редко покидала отель. Ее привычки удивительно гармонировали с традициями взыс-

кательных клиентов “Лотоса”. Чтобы вполне насладиться благами этой изумительной гостиницы, необходимо игнорировать город, словно он находится от нее в десятках и десятках миль. Хороший тон разрешает краткое посещение соседнего увеселительного сада под покровом вечерней мглы. Но в дневную жару принято оставаться в тенистых пределах “Лотоса” — так форель неподвижно повисает под хрустальными сводами своей излюбленной заводи.

Мадам Бомон держалась в отеле “Лотос” особняком, но ее одиночество было одиночеством королевы — всего лишь прерогативой высокого сана. Она завтракала в десять — грациозное, томное, хрупкое создание, казалось, излучавшее в полутьме столового зала прохладный серебристый свет, словно цветок жасмина в сумерках.

Но особенно великолепно была мадам Бомон за обедом. Ее платье было чарующим и эфирным, как перламутровая дымка над горным ущельем, где низвергается невидимый водопад. Из чего было сшито это платье, автор сказать не берется. К его отделанному кружевом корсажу неизменно бывали приколоты бледно-красные розы. Такие платья метрдотель почтительно встречает у самых дверей. При взгляде на него вашему воображению невольно рисовался Париж, а может быть, таинственные графини, и уж во всяком случае — Версаль, шпаги, миссис Фиск и рулетка. В отеле “Лотос” неведомо как возник слух, что мадам Бомон принадлежит к космополитическим кругам и что ее тонкие белые пальцы дергают некие международные нити в пользу России. Так надо ли удивляться, что, привыкнув к самым ровным и гладким путям мира, эта его гражданка сумела по достоинству оценить утонченную элегантность отеля “Лотос”, лучшего места во всей Америке для спокойного отдыха в летнюю жару.

На третий день пребывания мадам Бомон в отеле туда явился и снял номер некий молодой человек. Его костюм (если перечислять достоинства вновь прибывшего в установленном порядке) был неброско модным, черты лица — красивыми и правильными, а их выражение — как раз таким, какое подобает человеку, привыкшему возвращаться в

высшем свете. Он сообщил портье, что намерен пробыть тут дня три-четыре, спросил расписание пароходов, отплывающих в Европу, и погрузился в сладостную нирвану несравненного отеля с удовлетворенным видом путешественника, который добрался до любимой придорожной харчевни.

Звали молодого человека — если не подвергать сомнению правдивость регистрационной книги — Гарольд Фаррингтон. Он вступил в медлительное струение жизни отеля “Лотос” столь тактично и бесшумно, что ни единый всплеск не потревожил слуха тех, кто, подобно ему, искал там тихого отдохновения. Он вкусил от творений шеф-повара и от цветка, который дал отелю его название, и, подобно остальным счастливым мореходам, предался баюкающей власти мирного покоя. Всего за день он обзавелся собственным столиком, собственным официантом и опасениями, что пыхтящие орды любителей отдыха, от которых обливается потом Бродвей, ринутся в этот географически столь близкий, хотя и укромный приют, неся ему погибель.

Мистер Фаррингтон жил в отеле второй день, когда мадам Бомон, выходя из зала после обеда, уронила носовой платок. Мистер Фаррингтон поднял платок и вручил его мадам Бомон без тех экспансивных излияний, которые сопровождают попытку завязать знакомство.

Быть может, избранников, собравшихся под кровом отеля “Лотос”, связывало некое мистическое сродство душ. А может быть, ощущение общности возникло из сознания, что фортуна равно улыбнулась им, приведя их в этот бродвейский курорт курортов. Мадам Бомон и мистер Фаррингтон обменялись словами, исполненными изысканной любезности и чуть заметного намека на возможность пренебречь сухими требованиями этикета. И как бы овеванное непринужденной атмосферой настоящего летнего курорта, знакомство это дало ростки, расцвело и принесло плоды в единый миг, точно апельсинное деревце при взмахе волшебной палочки в руках фокусника. Они вышли на балкон, которым завершался коридор, и несколько минут перебрасывались воланом светской беседы.

— Все эти старые курорты так надоедают, — сказала мадам Бомон со слабой, но прелестной улыбкой. — Какой смысл бежать в горы или на берег моря от шума и пыли, если люди, которые их поднимают, следуют за нами и туда?

— Даже океан уже больше не служит убежищем от плелебев, — печально изрек Фаррингтон. — Теперь даже самый фешенебельный пароход трудно отличить от парома. Да смилуется над нами небо, когда гиены летнего отдыха обнаружат, что “Лотос” находится куда дальше от Бродвея, чем Тысяча островов или Макинак<sup>1</sup>.

— Надеюсь, наша тайна останется неприкосновенной еще неделю, — заметила мадам Бомон со вздохом и улыбкой. — Право, не представляю, где я могла бы укрыться, если бы они наводнили милый “Лотос”. Мне известно лишь одно место, столь же восхитительное летом, — замок графа Палинского среди Уральских гор.

— Говорят, Баден-Баден и Канн в этом сезоне совсем обезлюдели, — сказал Фаррингтон. — Из года в год старые курорты все больше приходят в запустение. Быть может, не мы одни ищем тихие приюты, неизвестные толпе.

— Я могу предаваться этому восхитительному отдыху еще три дня, — сказала мадам Бомон. — “Седрик” отплывает в понедельник.

Глаза Гарольда Фаррингтона выразили всю глубину его сожаления.

— Я также должен отбыть в понедельник, — сказал он. — Но не за границу.

Мадам Бомон повела округлым плечом на иностранный манер.

— Скрываться здесь вечно, увы, нельзя, хоть это и восхитительно! Уже более месяца, как chateau<sup>2</sup> заново отделан и ждет меня. Устраивать загородные приемы — как это скучно! Но я никогда не забуду этой недели в отеле “Лотос”.

— И я никогда не забуду, — сказал Фаррингтон вполголоса, — как никогда не прошу “Седрику”.

1 Тысяча островов — острова на реке Святого Лаврентия, где находятся известные курорты. Макинак — курорт в штате Мичиган.

2 Замок (фр.).

Вечером в воскресенье, три дня спустя, они сидели за маленьким столиком на том же балконе. Вышколенный официант, поставив перед ними мороженое и два бокала с кроушоном, тактично удалился.

На мадам Бомон было то же чудесное вечернее платье, которое она ежедневно надевала к обеду. Лицо ее было задумчиво. На столике рядом с ней лежал изящный кошелек с цепочкой. Доев мороженое, она открыла кошелек и вынула бумажный доллар.

— Мистер Фаррингтон, — сказала она с той самой улыбкой, которая покорила отель “Лотос”, — мне надо вам кое-что рассказать. Утром я уйду еще до завтрака, потому что мне пора возвращаться на работу. Я работаю в универсальном магазине Кейси, в чулочном отделе, и мой отпуск кончается завтра в восемь. Этот доллар — все, что у меня осталось до следующей субботы. А получу я тогда восемь долларов. Вы — настоящий джентльмен и были со мной таким хорошим, что я решила на прощанье рассказать вам правду. Я целый год во всем себя урезывала, чтобы скопить деньги на этот отпуск. Мне хотелось хоть один раз недельку пожить как знатная леди. Чтоб вставать, когда я пожелаю, а не вскакивать с постели каждый божий день в семь утра. И чтоб все было самым лучшим, и чтоб меня обслуживали, а я бы только звонила в звонок, как богатые дамы. Ну, вот я и пожила так, и, наверное, такой счастливой недели у меня больше в жизни не будет. Теперь я вернусь на работу и в свою комнатку, но этой радости мне на год хватит. А вам я решила все сказать потому, мистер Фаррингтон, что я... что мне показалось, будто я вам нравлюсь, а вы... вы мне тоже нравитесь. Наверное, надо сразу было сказать вам все начистоту, только я ведь жила, точно в сказке. Ну, вот я и разговаривала про Европу и о том, о чем читала в книжках про разные страны, и делала перед вами вид, будто я графиня какая-нибудь. А это платье — другого приличного у меня и нет — я купила у О’Доуда и Левинского в рассрочку. Стоит оно семьдесят пять долларов и сшито по мерке. Я внесла наличными десять, а теперь буду отдавать им по доллару в

неделю, пока не расплачусь. Вот и все, мистер Фаррингтон, кроме того только, что зовут меня не мадам Бомон, а Мэйми Сайвитер, и позвольте поблагодарить вас за ваше внимание. Этот доллар пойдет завтра в первый взнос за платье. А теперь я, пожалуй, вернусь к себе в номер.

Гарольд Фаррингтон слушал исповедь лучшего украшения отеля "Лотос", но лицо его оставалось непроницаемым. Когда девушка умолкла, он вытащил из кармана небольшую книжку, похожую на чековую. Огрызком карандаша он что-то нацарапал на бланке, оторвал листок, придвинул его к своей собеседнице и взял доллар.

— Мне тоже с утра на работу, — сказал он, — так можно начать и сейчас. Вот квитанция за взнос в один доллар. Я четвертый год работаю у О'Доуда и Левинского сборщиком платежей. А интересно, что мы с вами одинаково придумали, как провести отпуск, верно? Я давно прицеливался пожить в шикарном отеле, ну и откладывал из своих двадцати процентов комиссионных. Послушайте, Мэйми, а не прокатиться ли нам вечером в субботу на Кони-Айленд? На пароходе?

Лицо лжемадам Элоизы д'Арси Бомон просияло.

— Ну конечно, мистер Фаррингтон! По субботам магазин закрывается в двенадцать. Кони-Айленд — это тоже ничего, хоть мы и прожили неделю со всякой знатью.

Под балконом в духоте июльского вечера рычал и гремел изнывающий город. Внутри отеля "Лотос" царил приятный прохладный сумрак, и услужливый официант неспешно прогуливался за стеклянной дверью, готовый по кивку выполнить любой заказ мадам Бомон и ее кавалера.

Фаррингтон распрощался с мадам Бомон у лифта, и она последний раз вознеслась в свой номер. Но еще раньше, когда они подходили к бесшумной кабине, он сказал:

— А про Гарольда Фаррингтона забудьте, ладно? Моя фамилия Макманус, Джеймс Макманус. Некоторые называют меня Джимми.

— Спокойной ночи, Джимми, — сказала мадам Бомон.

Из сборника  
"Благородный жулик"  
1908

## ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ

— Трест, имеет свое слабое место, — сказал Джефф Питерс.

— Это напоминает мне, — сказал я, — бессмысленные изречения вроде: “Почему существует на свете полисмен?”

— Ну нет, — сказал Джефф. — Между полисменом и трестом нет ничего общего. То, что я сказал, — это эпиграмма... ось... или, так сказать, квинтэссенция... А значит она, что трест и похож и не похож на яйцо. Когда хочешь расколоть яйцо, бьешь его снаружи. А трест можно разбить лишь изнутри. Сиди на нем и жди, когда птенчик разнесет всю скорлупу. Поглядите, какой выводок новоиспеченных колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране. Да, сэр, каждый трест носит в своей груди семена собственной гибели, как петух, который в штате Джорджия вздумает запеть слишком близко от соборща негров-методистов, или тот член республиканской партии, который выставляет свою кандидатуру в губернаторы Техаса...

Я шутя спросил Джеффа, не приводилось ли ему на протяжении его пестрой, полосатой, клетчатой и крапленой карьеры стоять во главе предприятия, которому можно было бы дать наименование “Треста”. К моему удивлению, он признал за собой этот грех.

— Один единственный раз, — сказал он. — И никогда печать штата Нью-Джерси не скрепляла документа, который

давал бы право на более солидный и верный образчик законного ограбления ближних. Все было к нашим услугам — вода, ветер, полиция, выдержка и безраздельная монополия на ценный продукт, чрезвычайно нужный потребителям. Ни один враг монополий и трестов не мог бы найти в нашем предприятии никакого изъяна. В сравнении с ним маленькая нефтяная афера Рокфеллера казалась жалкой керосинной лавчонкой. И все-таки мы прогорели.

— Возникли, вероятно, какие-нибудь неожиданные препятствия? — спросил я.

— Нет, сэр, все было именно так, как я сказал... Мы сами себя погубили. Это был случай самоликвидации. Лютня оказалась с трещинкой, как выразился Альфред Теннисон<sup>1</sup>.

Вы помните, я уже рассказывал вам, что мы работали несколько лет в компании с Энди Таккером. Этот Энди был гениальный мастак на всякие военные хитрости. Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу. Он был человек образованный, и к тому же полезных сведений у него была уйма. Он почерпнул из книг богатейший опыт и мог часами говорить на любую тему, насчет идей и всяких словопрений. Нет такого жульничества, которого бы он не испробовал, начиная с лекций о Палестине, которые он оживлял, показывая с помощью волшебного фонаря снимки ежегодного съезда закройщиков готового платья в Атлантик-Сити, и кончая ввозом в Коннектикут целого моря поддельного древесного спирта, добытого из мускатных орехов.

Как-то весной нам с Энди случилось на короткое время побывать в Мексике, где один капиталист из Филадельфии заплатил нам две тысячи пятьсот долларов за половину паев серебряного рудника в Чихуахуа. Да нет, такой рудник существовал. Все было в порядке. Другая половина паев стоила двести или триста тысяч долларов. Я часто думал потом: кому принадлежал этот рудник?

<sup>1</sup> "Трещинка в лютне" — известная фраза из поэмы Альфреда Теннисона "Мерлин".

Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы с Энди споткнулись об один городишко в Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко Птичий Город, но жили там вовсе не птицы. Там было две тысячи душ населения, все больше мужчины. На мой взгляд, возможность существовать им давали главным образом густые заросли чапарала, окружавшие город. Иные из жителей были скотопромышленники, иные — картежники, иные — лошадиные барышники, иные — и таких было много — работали по части контрабанды. Мы с Энди поселились в гостинице, которая представляла собой нечто среднее между книжным шкафом и садом на крыше. Чуть мы прибыли туда, пошел дождь. Как говорится, залез Ной на гору Арарат и отвернул краны небесные.

Надо сказать, что хотя мы с Энди и непьющие, но в городе было три кабака, и все жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами.

На третий день дождь чуть-чуть перестал, и мы с Энди отправились за город полюбоваться прегрязной природой. Птичий Город был построен между Рио-Гранде и широкой ложбиной, где прежде протекала река. Сейчас, когда река вздулась от дождей, дамба, отделявшая ее от старого русла, была размьгта и совсем сползала в воду. Энди долго смотрел на нее. Ум у этого человека никогда не дремал. Не сходя с места, он открыл мне идею, которая осенила его. Вот тогда-то мы и основали трест, а потом вернулись в город и пустили в ход свою идею.

Первым делом мы отправились в главный салун, который назывался "Голубая змея", и приобрели его в собственность. Это стоило нам тысячу двести долларов. А потом мы зашли на минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде и так, между делом, купили его за пятьсот. Третий нам охотно уступили за четыреста.

Проснувшись на следующее утро, Птичий Город увидел, что он превратился в остров. Река прорвала дамбу и хлынула в старое русло, весь город был окружен ревушими пото-



ками воды. Дождь лил не переставая; на северо-западе висели тяжелые тучи, предвещавшие на ближайшие две недели еще штук шесть среднегодовых осадков. Но главная беда была впереди.

Птичий Город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и поскакал за утренней выпивкой. И ах! Бар мексиканца закрыт, другой пункт спасения утопающих — тоже. Естественно, из всех глоток разом вырывается крик изумления и жажды, и жители скопом несутся в “Голубую змею”. И что же они видят в “Голубой змее”?

За одним концом стойки сидит Джефферсон Питерс, этакий восьминогий спрут-эксплуататор, справа у него колыт и слева у него колыт, и он готов дать сдачи либо долларами, либо пулей. В заведении — три бармена, а на стене вывеска в десять футов длины: “Каждая выпивка — доллар”. Энди сидит на несгораемой кассе, на нем шикарный синий костюм, в зубах первоклассная сигара, вид выжидательный. Тут же начальник полиции с двумя полисменами: трест обещал им бесплатную выпивку.

Да, сэр, не прошло и десяти минут, как Птичий Город понял, что дверца клетки захлопнулась. Мы ждали бунта, но все обошлось спокойно. Жители знали, что они в наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за тридцать миль, и можно было с уверенностью сказать, что вода в реке спадет не раньше, чем через две недели, а до той поры переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, а потом стали сыпать доллары к нам на прилавки так исправно, что звон стоял, как от попури на ксилофоне.

В Птичьем Городе было около полутора тысяч взрослых мужчин, достигших легкомысленного возраста; чтобы не умереть от тоски, большинству из них требовалось от трех до двадцати стаканов в день. Пока не схлынет вода, “Голубая змея” оставалась единственным местом, где они могли получить их. Это было и красиво и просто, как всякое подлинно великое жульничество.

К десяти часам утра серебряные доллары, сыпавшиеся на стойку, немного замедлили темп и стали вместо джиги наигрывать тустепы и марши. Но я глянул в окно и увидел, что сотни две наших клиентов вытянулись длинным хвостом перед городской сберегательной и ссудной кассой, и понял, что они хлопчут о новых долларах, которые выскочат у них наш осьминог своими мокрыми и скользкими щупальцами.

В полдень все ушли по домам обедать, как и подобает фешенебельным людям. Мы разрешили барменам воспользоваться этим кратким затишьем и тоже пойти закусить, а сами стали подсчитывать выручку. Мы заработали тысячу триста долларов. По нашему подсчету выходило, что, если Птичий Город останется островом еще две недели, у нашего треста будет достаточно средств, чтобы пожертвовать Чикагскому университету новое общежитие с обитыми войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок земли он купит за собственный счет.

Энди — того так и распирало от гордости, потому что ведь план первоначально зародился в его предпосылках. Он слез с несгораемой кассы и закурил самую большую сигару, какая только нашлась в салуне.

— Джефф, — говорит он, — я думаю, что во всем мире не найти пауков-эксплуататоров, столь изобретательных по части угнетения рабочего класса, как торговый дом “Питерс, Таккер и Сатана”. Мы нанесли мелкому потребителю чувствительнейший удар в область солнечного переплетения. Что, не так?

— Верно, — говорю я, — выходит, что ничего нам не останется, как заняться гастритом и гольфом или заказать себе шотландские юбочки и ехать охотиться на лисиц. Этот фокус с выпивкой, по-видимому, удался. И мне он по душе, — говорю я, — ибо худой жир лучше доброй чахотки.

Энди наливает себе стаканчик нашей лучшей ячменной и препровождает его по назначению. Это была его первая выпивка за все время, что я его знал.

— Вроде как излишние богам, — пояснил он.

Почтив таким образом языческих идолов, он осушил еще стаканчик — за преуспеяние нашего дела. А потом и пошло — он пил за всю промышленность, начиная от Северной тихоокеанской дороги и кончая всякой мелочью вроде заводов маргарина, синдиката учебников и федерации шотландских горняков.

— Энди, Энди, — говорю я ему, — это очень похвально с твоей стороны, что ты пьешь за здоровье наших братских монополий, но смотри, дружок, не увлекайся тостами. Ты ведь знаешь, что самые наши знаменитые и всеми ненавидимые архимиллиардеры не вкушают ничего, кроме жидкого чая с сухариками.

Энди ушел за перегородку и через несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было что-то возвышенное и смертоносное, этакий, я бы сказал, благородный и праведный вызов. Очень не понравился мне этот взгляд. Я всматривался в Энди с беспокойством: какую штуку выкинет с ним виски? В жизни бывают два случая, которые неизвестно чем кончаются: когда мужчина выпьет в первый раз и когда женщина выпьет в последний.

За какой-нибудь час “муха” у Энди выросла в целого скорпиона. Снаружи он был вполне благопристоен и умудрялся сохранять равновесие, но внутри он был весь начинен сюрпризами и экспромтами.

— Джефф, — говорит он, — ты знаешь, что я такое? Кра-тер, живой вулканический кратер.

— Эта гипотеза, — говорю я, — не нуждается ни в каких доказательствах.

— Да, я огнедышащий кратер. Из меня так и пышет пламя, а внутри клокочут слова и комбинации слов, которые требуют выхода. Миллионы синонимов и частей речи так и прут из меня на простор, и я не успокоюсь, пока не произнесу какую-нибудь этакую речь. Когда я выпью, — говорит Энди, — меня всегда влечет к ораторскому искусству.

— Нет ничего хуже, — говорю я.

— С самого раннего детства, — продолжает Энди, — алкоголь возбуждал во мне позывы к риторике и декламации. Да что, во время второй избирательной кампании Брайана<sup>1</sup> мне давали по три порции джина, и я, бывало, говорил о серебре на два часа дольше самого Билли. Но в конце концов мне дали возможность убедиться на собственном опыте, что золото лучше.

— Если тебе уж так приспичило освободиться от лишних слов, — говорю я, — ступай к реке и поговори, сколько нужно. Помнится, уже был один такой старый болтун, — звали его Кантарид, — который ходил на берег моря и там облегал свою глотку.

— Нет, — говорит Энди, — мне нужна аудитория, публика. Я чувствую, что дай мне сейчас волю — и сенатора Бэвриджа прозовут Юным Сфинксом Уобаша. Я должен собрать аудиторию, Джефф, и утихомирить свой ораторский зуд, иначе он пойдет внутрь и я буду чувствовать себя ходячим собранием сочинений миссис Саутворт в роскошном переплете с золотым обрезом.

— А на какую тему ты хотел бы поупражнять свои голосовые связки? — спрашиваю я. — Есть ли у тебя какие-нибудь теоремы и тезисы?

— Тема любая, — говорит Энди, — для меня безразлично. Я одинаково красноречив во всех областях. Могу поговорить о русской иммиграции, или о поэзии Китса, или о новом тарифе, или о кабийской словесности, или о водосточных трубах, и будь уверен: мои слушатели будут попеременно то плакать, то хныкать, то рыдать, то обливаться слезами.

— Ну что ж, Энди, — говорю я ему, — если уж тебе совсем невтерпеж, иди и вылей весь избыток своих словесных ресурсов на голову какому-нибудь здешнему жителю, который подобнее и повыносливее. Мы с нашими подручными и без

<sup>1</sup> Уильям Брайан (1860–1925) — несколько раз был кандидатом на пост президента; одним из пунктов его программы была неограниченная чеканка серебра и уравнивание его с золотом как платежного средства.

тебя тут управимся. В городе скоро кончат обедать, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. К полуночи у нас будет еще полторы тысячи долларов.

И вот Энди выходит из "Голубой змеи", и я вижу, как он останавливается на улице каких-то прохожих и вступает с ними в разговор. Не прошло и десяти минут, как вокруг него собралась небольшая кучка людей, а вскоре я увидел, что он стоит на углу, говорит что-то и машет руками, а перед ним уже порядочная толпа. Потом он повернулся и пошел, а толпа за ним, а он все говорит. И он повел их по главной улице Птичьего Города, и по дороге к ним приставали еще и еще прохожие. Это напомнило мне старый фокус, о котором я читал в книгах, как один дудочник все играл на дудке и до того доигрался, что увел с собой всех детей, какие только были в городе<sup>1</sup>.

Пробило час, потом два, потом три, а ни одна птица так и не залетела к нам выпить. На улицах было пусто, одни утки, да изредка женщина пройдет мимо в лавчонку. А между тем дождик почти перестал.

Какой-то мужчина остановился у нашей двери, чтобы соскрести грязь, налипшую на сапоги.

— Милый, — говорю я ему, — что случилось? Сегодня утром здесь царил лихорадочное веселье, а теперь весь город похож на развалины Тира и Сифона, где по стенам ползает одинокая ящерица.

— Весь город, — отвечает он, — собрался у Сперри, на складах шерсти, и слушает речь вашего друга-приятеля. Что и говорить, он умеет-таки извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй.

— Вот оно что, — говорю я. — Ну, надеюсь, что он сделает перерыв очень скоро, потому что от этого страдает торговля.

До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. В шесть часов два мексиканца привезли Энди в салун: он воз-

лежал на спине их осла. Мы уложили пьяного в постель, а он все еще бормотал, жестикулируя руками и ногами.

Я закрыл кассу и пошел разузнать, что случилось. Вскоре мне попался человек, который рассказал мне всю историю. Оказывается, Энди говорил два часа подряд. Он произнес самую великолепную речь, какую, по словам этого человека, когда-либо слышали не только в Техасе, но на всем земном шаре.

— О чем же он говорил? — спросил я

— О вреде пьянства, — ответил тот. — И когда он кончил, все жители Птичьего Города подписали бумагу, что в течение целого года в рот не возьмут спиртного.

## ДЖЕФФ ПИТЕРС КАК ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МАГНИТ

Джефф Питерс делал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для изготовления рисовых блюд у жителей Чарлстона, штат Южная Каролина.

Больше всего я люблю слушать его рассказы о днях его молодости, когда он торговал на улицах мазями и порошками от кашля, жил впроголодь, дружил со всем светом и на последние медяки играл в орлянку с судьбой.

— Попал я однажды в поселок Рыбачья Гора, в Арканзасе, — рассказывал он. — На мне был костюм из оленьей шкуры, мокасины, длинные волосы и перстень с тридцатикаратовым бриллиантом, который я получил от одного актера в Тексаркане. Не знаю, что он сделал с тем перочинным ножиком, который я дал ему в обмен на этот перстень.

В то время я был доктор Воф-Ху, знаменитый индейский целитель. В руках у меня не было ничего, кроме великолепного снадобья: "Настойки для Воскрешения Больных". Настойка состояла из живительных трав, случайно открытых красавицей Та-Ква-Ла, супругой вождя племени

<sup>1</sup> Питерс имеет в виду рассказанную поэтом Робертом Браунингом легенду про мстительного колдуна-крысолова из Гаммельна, который игрою на дудке заманил всех детей города в пещеру и там погубил.

чокто. Красавица собирала зелень для украшения национального блюда — вареной собаки, ежегодно подаваемой во время пляски на Празднестве Кукурузы, — и наткнулась на эту траву.

В городке, где я был перед этим, дела шли неважно: у меня оставалось всего пять долларов. Прибыв на Рыбачью Гору, я пошел в аптеку, и там мне дали займы шесть дюжин восьмиунцевых склянок с пробками. Этикетки и нужные припасы были у меня в чемодане. Жизнь снова показалась мне прекрасной, когда я достал себе в гостинице номер, где из крана текла вода, и бутылки с “Настойкой для Воскрешения Больных” дюжинами стали выстраиваться передо мной на столе.

Шарлатанство? Нет, сэр. В склянках была не только вода. К ней я примешал хинина на два доллара, да на десять центов анилиновой краски. Много лет спустя, когда я снова проезжал по тем местам, люди просили меня дать им еще порцию этого снадобья.

В тот же вечер я нанял тележку и открыл торговлю на Главной улице. Рыбачья Гора, хоть и называлась Горой, но была расположена в болотистой, малярийной местности; и я поставил диагноз, что населению как раз не хватает легочно-сердечной и противозолотушной микстуры. Настойка разбиралась так быстро, как мясные бутерброды на вегетарианском обеде. Я уже продал две дюжины склянок по пятидесяти центов за штуку, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня за фалды. Я знал, что это значит. Быстро спустившись с тележки, я сунул пять долларов в руку субьекту с немецкой серебряной звездой на груди.

— Констебль, — говорю я, — какой прекрасный вечер!

А он спрашивает:

— Имеется ли у вас городской патент на право продажи этой нелегальной бурды, которую вы из любезности зовете лекарством? Получили ли вы бумагу от города?

— Нет, не получал, — говорю я, — так как я не знал, что это город. Если мне удастся найти его завтра, я достану себе и патент.

— Ну, а до той поры я вынужден прикрыть вашу торговлю, — говорит полисмен.

Я перестал торговать и, вернувшись в гостиницу, рассказал хозяину все, что случилось.

— У нас, на Рыбачьей Горе, вам не дадут развернуться, — сказал он. — Ничего у вас не выйдет. Доктор Хоскинс — зять мэра, единственный доктор на весь город, и власти никогда не допустят, чтобы какой-то самозванный целитель отбивал у него практику.

— Да я не занимаюсь медициной, — говорю я. — У меня патент от управления штата на розничную торговлю, а когда с меня требуют особое свидетельство от города, я беру его, вот и все.

На следующее утро иду я в канцелярию мэра, но мне говорят, что он еще не приходил, а когда придет — неизвестно. Поэтому доктору Воф-Ху ничего не оставалось, как снова вернуться в гостиницу, грустно усесться в кресло, закурить сигару и ждать.

Немного погодя подсаживается ко мне молодой человек в синем галстуке и спрашивает, который час.

— Половина одиннадцатого, — говорю я, — а вы Энди Таккер. Я знаю некоторые ваши делишки. Ведь это вы создали в Южных штатах “Универсальную посылку Купидон”. Погодите-ка, что в ней было?.. Да, да, обручальный перстень с чилийским брильянтом, кольцо для венчания, машинка для растирания картофеля, склянка успокоительных капель и портрет дочери английского вельможи XVI века Дороти Верной — все за пятьдесят центов.

Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый уличный жулик, и, что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался тремястами процентов чистой прибыли. Он имел много предложений перейти на нелегальную торговлю наркотиками, но никому не удавалось совратить его с прямого пути.

Мне нужен был компаньон, мы переговорили друг с другом и согласились работать вместе. Я сообщил ему о положении вещей на Рыбачьей Горе, как трудны здесь финансо-

вые операции ввиду вторжения в политику касторки. Энди прибыл только что с утренним поездом. У него у самого дела была не блестящи, и он намеревался открыть в этом городе публичную подписку для сбора пожертвований на постройку нового броненосца в городе Эврика-Спрингс<sup>1</sup>. Было о чем потолковать, и мы вышли на крыльцо.

На следующее утро в одиннадцать, когда я сидел в номере один-одинешенек, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор пожаловал на квартиру к судье Бэнксу, который, как выяснилось, и был мэром, — он тяжело захворал.

— Я не доктор, — говорю я, — почему вы не позовете доктора?

— Ах, господин, — говорит дядя Том, — доктора Хоскинса уехала из города за двадцать миль... в деревню... его вызвали к больному... Он один врач на весь город, а судья Бэнкса очень плоха... Он послал меня. Пожалуйста, идите к нему. Он очень, очень просит.

— Как человек к человеку, я, пожалуй, пойду и осмотрю его, как человек человека, — говорю я, кладу к себе в карман флакон "Настойки для Воскрешения Больных" и направляюсь в гору к особняку мэра. Отличный дом, лучший в городе: мансарда, прекрасная крыша и две чугунные собаки на лужайке.

Мэр Бэнкс в постели; из-под одеяла торчат только бакенбарды да кончики ног. Он издает такие утробные звуки, что, будь это в Сан-Франциско, все подумали бы, что землетрясение, и кинулись бы спасаться в парки. У кровати стоит молодой человек и держит кружку воды.

— Доктор, — говорит мэр, — я ужасно болен. Помираю. Не можете ли вы мне помочь?

— Мистер мэр, — говорю я, — я не могу назвать себя подлинным учеником Эс. Ку. Лаппа. Я никогда не изучал в университете медицинских наук и пришел к вам просто, как человек к человеку, посмотреть, чем я могу помочь.

1 Эврика-Спрингс — городок в Арканзасе, вдали от моря.

— Я глубоко признателен вам, — отвечает больной. — Доктор Воф-Ху, это мой племянник, мистер Бидл. Он пытался облегчить мою боль, но безуспешно. О господи! Ой, ой, ой! — завопил он вдруг.

Я кланяюсь мистеру Бидлу, подсаживаюсь к кровати и щупаю пульс у больного.

— Позвольте посмотреть вашу печень, то есть язык, — говорю я. Затем поднимаю ему веки и долго вглядываюсь в зрачки. — Когда вы заболели? — спрашиваю я.

— Меня схватило... ой, ой... вчера вечером, — говорит мэр. — Дайте мне чего-нибудь, доктор, спасите, облегчите меня!

— Мистер Фидл, — говорю я, — приподнимите-ка штору.

— Не Фидл, а Бидл, — поправляет меня молодой человек. — А что, дядя Джеймс, — обращается он к судье, — не думаете ли вы, что вы могли бы скушать яичницу с ветчиной?

— Мистер мэр, — говорю я, приложив ухо к его правой лопатке и прислушиваясь, — вы схватили серьезное свертывание клавикулы клавикордиала.

— Господи боже мой, — застонал он, — нельзя ли что-нибудь втереть, или вправить, или вообще что-нибудь?

Я беру шляпу и направляюсь к двери.

— Куда вы? — кричит мэр. — Не покинете же вы меня одного умирать от этих сверхклавикордов?

— Уж из одного сострадания к ближнему, — говорит Бидл, — вы не должны покидать больного, доктор Хоа-Хо...

— Доктор Воф-Ху, — поправляю я и затем, возвратившись к больному, откидываю назад мои длинные волосы.

— Мистер мэр, — говорю я, — вам осталась лишь одна надежда. Медикаменты вам не помогут. Но существует другая сила, которая одна стоит всех ваших снадобий, хотя и они стоят недешево.

— Какая же это сила — спрашивает он.

— Прологомены науки, — говорю я. — Победа разума над сарсапариллой. Вера в то, что болезни и страдания существуют только в нашем организме, когда вы чувствуете, что

вам нездоровится. Признайте себя побежденным. Демонстрируйте!

— О каких это параферналиях вы говорите, доктор? — спрашивает мэр. — Уж не социалист ли вы?

— Я говорю о великой доктрине психического финансирования, о просвещенном методе подсознательного лечения абсурда и менингита внушением на расстоянии, об удивительном комнатном спорте, известном под названием персонального магнетизма.

— И вы можете это проделать, доктор? — спрашивает мэр.

— Я один из Единых Синедрионов и Явных Монголов Внутреннего Храма, — говорю я. — Хромые начинают говорить, а слепые ходить, как только я сделаю пассы. Я — медиум, колоратурный гипнотизер и спиртуозный контролер человеческих душ. На последних сеансах в Анн-Арборе покойный председатель Уксусно-Горького общества мог только при моем посредстве возвращаться на землю для бесед со своей сестрой Джейн. Правда, в настоящее время я, как вы знаете, продаю с тележки лекарства для бедных и не занимаюсь магнетической практикой, так как не хочу унижать свое искусство слишком низкой оплатой: много ли возьмешь с бедноты!

— Возьметесь ли вы вылечить гипнотизмом меня? — спрашивает мэр.

— Послушайте, — говорю я, — везде, где я бываю, я встречаю затруднения с медицинскими обществами. Я не занимаюсь практикой, но для спасения вашей жизни я, пожалуй, применю к вам психический метод, если вы, как мэр, посмотрите сквозь пальцы на отсутствие у меня разрешения.

— Разумеется, — говорит он. — Только начинайте скорее, доктор, а то я снова чувствую жестокие приступы боли.

— Мой гонорар двести пятьдесят долларов, — говорю я, — излечение гарантирую в два сеанса.

— Хорошо, — говорит мэр, — заплачу. Полагаю, что моя жизнь стоит этих денег.

Я присел у кровати и стал смотреть на него в упор.

— Теперь, — сказал я, — отвлеките ваше внимание от вашей болезни. Вы здоровы. У вас нет ни сердца, ни ключицы, ни лопатки, ни мозгов — ничего. Вы не испытываете боли. Признайтесь, что вы ошиблись, считая себя больным. Ну, а теперь вы, не правда ли, чувствуете, что боль, которой у вас никогда не бывало, постепенно уходит от вас.

— Да, доктор, черт возьми, мне и в самом деле стало как будто легче, — говорит мэр. — Пожалуйста, продолжайте врать, что я будто бы здоров и будто бы у меня нет этой опухоли в левом боку. Я уверен, что еще немного, и меня можно будет приподнять в постели и дать мне колбасы с гречишной булкой.

Я сделал еще несколько пассов.

— Ну, — говорю я, — теперь воспалительное состояние прошло. Правая лопасть перигелия уменьшилась. Вас клонит ко сну. Ваши глаза слипаются. Ход болезни временно прерван. Теперь вы спите.

Мэр медленно закрывает глаза и начинает похрапывать.

— Заметьте, мистер Тидл, — говорю я, — чудеса современной науки.

— Бидл, — говорит он. — Но когда же вы назначите второй сеанс для излечения дядюшки, доктор Пу-Пу?

— Воф-Ху, — говорю я. — Я буду у вас завтра в одиннадцать утра. Когда он проснется, дайте ему восемь капель скипидара и три фунта бифштекса. Всего хорошего.

На следующее утро я пришел в назначенное время.

— Ну, что, мистер Ридл, — сказал я, как только он ввел меня в спальню, — каково самочувствие вашего дядюшки.

— Кажется, ему гораздо лучше, — отвечает молодой человек.

Цвет лица и пульс у мэра были в полном порядке. Я сделал второй сеанс, и он заявил, что последние остатки боли у него улетучились.

— А теперь, — говорю я, — вам следует день-другой полежать в постели, и вы совсем поправитесь. Ваше счастье, что я очутился здесь, на вашей Рыбачьей Горе, мистер мэр,

так как никакие средства, известные в корнукопее и употребляемые официальной медициной, не могли бы вас спасти. Теперь же, когда медицинская ошибка обнаружена, когда доказано, что ваша боль самообман, поговорим о более веселых материях — например, о гонораре в двести пятьдесят долларов. Только, пожалуйста, без чеков. Я с такой же неохотой расписываюсь на обороте чека, как и на его лицевой стороне.

— Нет, нет, у меня наличные, — говорит мэр, доставая из-под подушки бумажник; он отсчитывает пять бумажек по пятидесяти долларов и держит их в руке.

— Бидл, — говорит он, — возьмите расписку.

Я пишу расписку, и мэр дает мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман.

— А теперь приступите к исполнению ваших обязанностей, сержант, — говорит мэр, ухмыляясь совсем как здоровый.

Мистер Бидл кладет руку мне на плечо.

— Вы арестованы, доктор Воф-Ху, или, вернее, Питерс, — говорит он, — за незаконные занятия медициной без разрешения властей штата.

— Кто вы такой? — спрашиваю я.

— Я вам скажу, кто он такой, — говорит мэр, приподнимаясь на кровати как ни в чем не бывало. — Он сыщик, состоящий на службе в Медицинском обществе штата. Он шел за вами по пятам, выслеживал вас в пяти округах и явился ко мне третьего дня, и мы вместе придумали план, чтобы вас изловить. Полагаю, что отныне ваша практика в наших местах кончена раз навсегда, господин шарлатан. Ха, ха, ха! Какую болезнь вы нашли у меня? Ха, ха, ха! Во всяком случае не размягчение мозга?

— Сыщик! — говорю я.

— Именно, — отвечает Бидл. — Мне придется сдать вас шерифу.

— Ну, это мы еще посмотрим! — говорю я, хватаю его за горло и чуть не выбрасываю из окна. Но он вынимает револьвер, сует мне его в подбородок, и я успокаиваюсь. За-

тем он надевает на меня наручники и вытаскивает из моего кармана только что полученные деньги.

— Я свидетельствую, — говорит он, — что это те самые банкноты, которые мы с вами отметили, судья Бэнкс. Я вручу их в полицейском участке шерифу, и он пришлет вам расписку. Им придется фигурировать в деле в качестве вещественного доказательства.

— Ладно, мистер Бидл, — говорит мэр, — А теперь, доктор Воф-Ху, — продолжает он, обращаясь ко мне, — почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом и не сбросите с себя кандалы?

— Пойдемте, сержант, — говорю я с достоинством. — Нечего делать, надо покориться судьбе. — А затем, оборачиваясь к старому Бэнксу и потрясая кандалами, говорю: — Мистер мэр, недалеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм огромная сила, которая сильнее вашей власти. Вы увидите, что победит она.

И она действительно победила.

Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику:

— А теперь, Энди, сними-ка с меня наручники, а то перед прохожими неловко...

Что? Ну да, конечно, это был Энди Таккер. Весь план был его изобретением: так-то мы и добыли денег для дальнейшего совместного бизнеса.

## РАЗВЛЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДЕРЕВНИ

Джефф Питерс нуждается в напоминаниях. Всякий раз, когда попросишь его рассказать какое-нибудь приключение, он уверяет, что жизнь его так же бедна событиями, как самый длинный из романов Троллопа<sup>1</sup>. Но если незаметно заманить его, он попадается. Поэтому я всегда бросаю не-

<sup>1</sup> Энтони Троллоп (1815-1882) — английский писатель, автор пространных бытовых романов.

сколько самых разнообразных наживок, прежде чем удостоверюсь, что он клюнул.

— По моим наблюдениям, — сказал я однажды, — среди фермеров Запада, при всей их зажиточности, снова заметно движение в пользу старых популистских<sup>1</sup> кумиров.

— Уж такой сезон, — сказал Джефф, — всюду заметно движение. Фермеры куда-то порываются, сельдь идет несметными косяками, из деревьев сочится смола, и на реке Конемо начался ледоход. Я немного разбираюсь в фермерах. Однажды я вообразил, что нашел фермера, который хоть немного отклонился от проторенной колеи своих собратьев. Но Энди Таккер доказал мне, что я ошибаюсь. «Фермером родился — простофилей умрешь», — сказал Энди. «Фермер — это человек, пробившийся в люди наперекор всем политическим баламутам, баллотировкам и балету, — сказал Энди, — и я не знаю, кого бы мы стали надувать, если б его не было на свете».

Как-то просыпаемся мы с Энди утром, а у нас всего капитала шестьдесят восемь центов. Было это в желтой сосновой гостинице, в Южной Индиане. Как мы накануне соскочили с поезда, я не могу вам сказать; об этом даже страшно подумать, потому что поезд шел мимо деревни так быстро, что из окна вагона нам казалось, будто мы видим салун, а когда мы соскочили, мы увидели, что это были две разные вещи, отстоявшие одна от другой на два квартала: аптекарский магазин и цистерна с водою.

Почему мы соскочили с поезда при первом же удобном случае? Тут были замешаны часики из фальшивого золота и партия брильянтов из Аляски, которые нам не удалось спустить по ту сторону кентуккийской границы.

Когда я проснулся, я услышал, что кричат петухи; пахло чем-то вроде азотно-соляной кислоты; что-то тяжелое хлопнулось об пол в нижнем этаже; какой-то мужчина ругнулся.

<sup>1</sup> Популисты — мелкобуржуазная фермерская партия, созданная в 1891г. и провозгласившая борьбу за некоторые реформы — передачу государству железных дорог и телеграфа, введение подоходного налога, ограничение земельной собственности и др.

— Энди, — говорю я, — смотри веселее! Мы ведь попали в деревню. Там внизу кто-то швырнул для пробы фальшивым слитком чистого золота. Пойдем и получим с фермера то, что нам причитается. Обмишулим его, а потом до свидания.

Фермеры всегда были для меня чем-то вроде запасного фонда. Всякий раз, бывало, чуть дела у меня пошатнутся, я иду на перекресток, зацепляю фермера крючком за подтяжку, выкладываю ему механическим голосом программу моей плутни, бегло проглядываю его имущество, отдаю назад ключ, оселок и бумаги, имеющие цену для него одного, и спокойно удаляюсь прочь, не задавая никаких вопросов. Конечно, фермеры были для нас слишком мелкая дичь, обычно мы с Энди занимались делами поважнее, но иногда, в редких случаях, и фермеры бывали нам полезны, как порой для воротил с Уолл-Стрита бывает полезен даже министр финансов.

Спустившись вниз, мы увидели, что находимся в замечательной земледельческой местности. За две мили на горке стоял среди купы деревьев большой белый дом, а кругом была сельскохозяйственная смесь из амбаров, пастбищ, полянок и флигелей.

— Чей это дом? — спросили мы у нашего хозяина.

— Это, — говорит он, — обиталище, а также лесные, земельные и садовые угодья фермера Эзры Планкетта, одного из самых передовых наших граждан.

После завтрака мы с Энди, оставшись при восьми центрах капитала, принялись составлять гороскоп этого земельного магната.

— Я пойду к нему один, — сказал я. — Мы вдвоем против одного фермера — это было бы слишком много. Это все равно, как если бы Рузвельт пошел на одного медведя с двумя кулаками.

— Ладно, — соглашается Энди. — Я тоже предпочитаю действовать по-джентльменски даже по отношению к такому огороднику. Но на какую приманку ты думаешь изловить эту Эзру?



— О, все равно, — говорю я. — Здесь годится всякая приманка, первое, что мне попадет, когда я суну руку в чемодан. Я, пожалуй, захвачу с собой квитанции в получении подоходного налога; и рецепт для приготовления клеверного меда из творога и яблочной кожуры; и бланки заказов на носилки Макгорни, которые потом оказываются косилкой Маккормика; и маленький карманный слиток золота; и жемчужное ожерелье, найденное мною в вагоне, и...

— Довольно, — говорит Энди. — Любая из этих приманок должна подействовать. Да смотри, Джефф, пусть этот кукурузник не дает тебе грязных кредиток, а только новые, чистенькие. Это просто позор для Департамента земледелия, для нашей бюрократии, для нашей пищевой промышленности — какими гнусными, дрянными бумажками расплачиваются с нами иные фермеры. Мне случалось получать от них доллары, что твоя культура бактерий, выловленных в карете “Скорой помощи”.

Хорошо. Иду я на конюшню и нанимаю двуколку, причем платы вперед с меня не требуют ввиду моей приличной наружности. Подъезжаю к ферме, привязываю лошадь. Вижу — на ступеньках крыльца сидит какой-то франтоватый субъект в белоснежном фланелевом костюме, в розовом галстуке, с бриллиантовым перстнем и в кепке для спорта. “Должно быть, дачник”, — думаю я про себя.

— Как бы мне увидеть фермера Эзру Планкетта? — спрашиваю я у субъекта.

— Он перед вами, — отвечает субъект. — А что вам надо?

Я ничего не ответил. Я стоял как вкопанный и повторял про себя веселую песенку о деревенском “человеке с мотыгой”<sup>1</sup>. Вот тебе и человек с мотыгой! Когда я всмотрелся в этого фермера, маленькие пустячки, которые я захватил с собой, чтобы выжать из него монету, показались мне такими безнадежными, как попытка разнести вдребезги Мясной трест при помощи игрушечного ружья.

<sup>1</sup> “Человек с мотыгой” (1899) — стихотворение американского поэта Эдвина Маркхема о фермере, замученном непосильным трудом.

Он смерил меня глазами и говорит:

— Ну, рассказывайте, чего вы хотите. Я вижу, что левый карман пиджака у вас чересчур оттопыривается. Там золотой слиток, не правда ли? Давайте-ка его сюда, мне как раз нужны кирпичи, — а басни о затерянных серебряных рудниках меня мало интересуют.

Я почувствовал, что я был безмозглый дурак, когда верил в законы дедукции, но все же вытащил из кармана свой маленький слиток, тщательно завернутый в платок. Он взвесил его на руке и говорит:

— Один доллар восемьдесят центов. Идет?

— Свинец, из которого сделано это золото, и тот стоит дороже, — сказал я с достоинством и положил мой слиток обратно в карман.

— Не хотите — не надо, я просто хотел купить его для коллекции, которую я стал составлять, — говорит фермер. — Не дальше как на прошлой неделе я купил один хороший экземпляр. Просили за него пять тысяч долларов, а уступили за два доллара и десять центов.

Тут в доме зазвонил телефон.

— Войдите, красавец, в комнату, — говорит фермер. — Поглядите, как я живу. Иногда мне скучно в одиночестве. Это, вероятно, звонят из Нью-Йорка.

Вошли мы в комнату. Мебель, как у бродвейского маклера, дубовые конторки, два телефона, кресла и кушетки, обитые испанским сафьяном, картины, писанные масляной краской, в позолоченных рамах, а рамы в ширину не меньше фута, а в уголке — телеграфный аппарат отстукивает новости.

— Алло, алло! — кричит фермер. — Это Риджент-театр? Да, да, с вами говорит Планкетт из имения “Центральная жимолость”. Оставьте мне четыре кресла в первом ряду — на пятницу, на вечерний спектакль. Мои всегдашние. Да. На пятницу. До свидания.

— Каждые две недели я езжу в Нью-Йорк освежиться, — объясняет мне фермер, вешая трубку. — Вскликаю в Индианаполисе в восемнадцатичасовой экспресс, провожу де-

сять часов среди белой ночи на Бродвее и возвращаюсь домой как раз к тому времени, как куры идут на насест, — через сорок восемь часов. Да, да, первобытный юный фермер пещерного периода, из тех, что описывал Хаббард<sup>1</sup>, немножко приоделся и обтесался за последнее время, а? Как вы находите?

— Я как будто замечаю, — говорю я, — некоторое нарушение аграрных традиций, которые до сих пор внушали мне такое доверие.

— Верно, красавец, — говорит он. — Недалеко то время, когда та примула, что “желтеет в траве у ручейка”, будет казаться нам, деревенщинам, роскошным изданием “Языка цветов” на веленовой бумаге с фронтисписом.

Но тут опять зазвонил телефон.

— Алло, алло! — говорит фермер. — А-а, это Перкинс, из Миллдэйла? Я уже сказал вам, что восемьсот долларов за этого жеребца — слишком большая цена. Что, этот конь при вас? Ладно, покажите его. Отойдите от аппарата. Пустите его рысью по круту. Быстрее, еще быстрее... Да, да, я слышу. Но еще быстрее... Довольно. Подведите его к телефону. Ближе. Придвиньте его морду к аппарату. Подождите минуту. Нет, мне не нужна эта лошадь. Что? Нет. Я ее и даром не возьму. Она хромая. Кроме того, она с запалом. Прощайте.

— Ну, красавец, — обращается он ко мне, — теперь вы видите, что деревенщина постриглась. Вы обломок далекого прошлого. Да что там, самому Тому Лоусону не пришлось бы в голову попытаться застать врасплох современного агрария. Нынче на фермах уже суббота, четырнадцатое<sup>2</sup>. Вот, посмотрите, как мы, деревенские люди, стараемся не отстать от событий.

Подводит он меня к столу, а на столе стоит машинка, а у машинки две такие штучки, чтобы вставить их в уши и слу-

1 Фрэнк Хаббард (1856–1915) — американский юморист и карикатурист.

2 Томас Лоусон (1857–1925) — американский финансист и писатель, разоблачавший коррупцию финансовых кругов в ряде статей, а также в романе “Пятница, тринадцатое” (1907).

шать. Вставляю и слушаю. Женский голос читает названия убийств, несчастных случаев и прочих пертурбаций политической жизни.

— То, что вы слышите, — объясняет мне фермер, — это сводка сегодняшних новостей из газет Нью-Йорка, Чикаго, Сент-Луиса и Сан-Франциско. Их сообщают по телеграфу в наше деревенское Бюро последних известий и подают в горячем виде подписчикам. Здесь, на этом столе, лучшие газеты и журналы Америки. А также отрывки из будущих журнальных статей.

Я взял один листок и прочитал: “Корректуры будущих статей. В июле 1909 года журнал “Сенчури” скажет...” — и так далее.

Фермер звонит кому-то, должно быть своему управляющему, и приказывает ему продать джерсийских баранов — пятнадцать голов — по шестьсот долларов; засеять пшеницей девятьсот акров земли и доставить на станцию еще двести бидонов молока для молочного троллейбуса. Потом он предлагает мне первого сорта сигару фабрики Генри Клея, потом достает из буфета бутылку зеленого шартреза, потом идет и глядит на ленту своего телеграфа.

— Газовые акции поднялись на два пункта, — говорит он. — Очень хорошо.

— А может быть, вас медь интересует? — спрашиваю я.

— Осади назад! — кричит он и поднимает руку. — А не то я позову собаку. Я уже сказал вам, чтобы вы не тратили времени зря. Меня не надуете.

Через несколько минут он говорит:

— Знаете что, красавец, не уйти ли вам из этого дома? Я, конечно, очень рад и все такое, но у меня спешное дело: я должен написать для одного журнала статью “Химера коммунизма”, а потом перед вечером побывать на собрании “Ассоциации для улучшения беговых дорожек”. Ведь вам уже ясно, что ни в какие ваши снадобья я все равно не поверю.

Что мне оставалось делать, сэр? Вскочил я в свою тележку, лошадь повернула и привезла меня в наш отель. Я оста-

вил ее у крыльца, сам побежал к Энди. Он у себя в номере, я рассказываю ему о моем свидании с фермером и слово за словом повторяю весь разговор. Я до того обалдел, что сижу и дергаю краешек скатерти, а мыслей у меня никаких.

— Не знаю, что и делать, — говорю я и, чтобы скрыть свой позор, напеваю печальную и глупую песенку.

Энди шагает по комнате взад и вперед и кусает конец своего левого уха, а это всегда означает, что он обмозговывает какой-нибудь план.

— Джефф, — говорит он, наконец. — Я тебе верю; все, что ты сказал мне об этой фильтрованной деревенщине, правда. Но ты меня не убедил. Не может быть, чтобы в нем не осталось ни одной крупинки первобытной дури, чтобы он изменил тем задачам, для которых его предназначило само провидение. Скажи, Джефф, ты никогда не замечал во мне особо сильных религиозных наклонностей?

— Как тебе сказать, — говорю я, чтобы не оскорбить его чувств, — я встречал также немало богомольных людей, у которых означенные наклонности изливались наружу в такой микроскопической дозе, что, если потереть их белоснежным платком, платок останется без единого пятнышка.

— Я всю жизнь занимался углубленным изучением природы, начиная с сотворения мира, — говорит Энди, — и свято верую, что каждое творение господне создано с какой-нибудь высшей целью. Фермеры тоже созданы богом не зря: предназначение фермеров заключается в том, чтобы кормить, одевать и поить таких джентльменов, как мы. Иначе зачем бы наделил нас господь мозгами? Я убежден, что манна, которой израильтяне сорок дней питались в пустыне, — не что иное, как фигуральное обозначение фермеров; так оно осталось по сей день. А теперь, — говорит Энди, — я проверю свою теорию: “Раз ты фермер, быть тебе в дураках”, несмотря на всю лакировку и другие орнаменты, которыми лжецивилизация наделила его.

— И тоже останешься с носом, — говорю я. — Этот фермер стянул с себя всякие путы овчарни. Он забаррикади-

ровался высшими достижениями электричества, образования, литературы и разума.

— Попробую, — говорит Энди. — Существуют законы природы, которых не может изменить даже Бесплатная Доставка на Дом в Сельских Местностях.

Тут Энди удаляется в чуланчик и выходит оттуда в клетчатом костюме; бурые клетки и желтые, и такие большие, как ваша ладонь. Блестящий цилиндр и ярко-красный жилет с синими крапинками. Усы у него были песочного цвета, а теперь, смотрю, они синие, как будто он окунул их в чернила.

— Великий Барнум!<sup>1</sup> — говорю я. — Что это ты так расфуфырился? Точно цирковой фокусник, хоть сейчас на арену.

— Ладно, — отвечает Энди. — Тележка еще у крыльца? Жди меня, я скоро вернусь.

Через два часа Энди входит в комнату и кладет на стол пачку долларов.

— Восемьсот шестьдесят, — говорит он. — Дело было так. Я застал его дома. Он посмотрел на меня и начал надо мною издеваться. Я не ответил ни слова, но достал скорлупки от грецких орехов и стал катать по столу маленький шарик. Потом, посвистев немного, я сказал старинную формулу:

— Ну, джентльмены, подходите поближе и смотрите на этот маленький шарик. Ведь за это с вас не требуют денег. Вот он здесь, а вот его нету. Отгадайте, где он теперь. Ловкость рук обманывает глаз.

Говорю, а сам смотрю на фермера. У того даже пот на лбу выступил. Он идет, закрывает парадную дверь и смотрит, не отрываясь, на шарик. А потом говорит:

— Ставлю двадцать долларов, что я знаю, под какой скорлупкой спрятана ваша горошина. Вот под этой...

— Дальше рассказывать нечего, — продолжал Энди. — Он имел при себе только восемьсот шестьдесят долларов наличными. Когда я уходил, он проводил меня до ворот. Он крепко пожал мне руку и со слезами на глазах сказал:

<sup>1</sup> Барнум — владелец известного в свое время американского цирка.

— Милый, спасибо тебе; много лет я не испытывал такого блаженства. Твоя игра в скорлупку напомнила мне те счастливые невозвратные годы, когда я еще был не аграрием, а просто-напросто фермером. Всего тебе хорошего.

Тут Джефф Питерс умолк, и я понял, что рассказ его окончен.

— Так вы думаете... — начал я.

— Да, — сказал Джефф, — в этом роде. Пускай себе фермеры идут по пути прогресса и развлекаются высшей политикой. Житье-то на ферме скучное, а в скорлупку им приходилось играть и прежде.

## КАФЕДРА ФИЛАНТРОМАТЕМАТИКИ

— Посмотрите-ка, — сказал я, — вот поистине царственный дар: на образовательные учреждения пожертвовано больше пятидесяти миллионов долларов.

Я просматривал хронику вечерней газеты, а Джефф Питерс набивал свою терновую трубку.

— По этому случаю, — сказал он, — не грех распечатать новую колоду и устроить вечер хоровой декламации силами студентов филантроматематики.

— Это намек? — спросил я.

— Намек, — сказал Джефф. — Разве я никогда не рассказывал вам, как мы с Энди Таккером занимались филантропией? Было это лет восемь назад в Аризоне. Мы разъезжали в двуконном фургоне по горным ущельям Хила — искали серебро. Нашли — и продали свою заявку в городе Таксоне за двадцать пять тысяч долларов. В банке заплатили нам серебряной монетой — по тысяче долларов в каждом мешке. Нагрузили мы эти мешки в фургон и помчались на восток как безумные. Разум вернулся к нам только тогда, когда мы отмахали миль сто. Двадцать пять тысяч долларов — это кажется сущей безделицей, когда читаешь ежегодный отчет

Пенсильванской железной дороги или слушаешь, как актер разлагольствует о своем гонораре; но если ты в любую минуту можешь приподнять парусину фургона и, ткнув сапогом мешок, услышать серебряный звон, ты чувствуешь, как будто ты круглосуточный банк в те часы, когда операции в полном разгаре.

На третий день приехали мы в городишко — самый чистенький и аккуратненький, какой когда-либо создавала природа или фирма “Рэнд и Макнэлли”<sup>1</sup>. Он был расположен у подошвы горы и украшен деревьями, цветами и двумя тысячами приветливых, полусонных жителей. Назывался он Флоресвилль или что-то вроде этого, и природа еще не осквернила его ни железными дорогами, ни блохами, ни туристами из Восточных штатов.

Внесли мы наши деньги на имя Питерса и Таккера в банк “Эсперанца” и остановились в гостинице “Небесный пейзаж”. После ужина сидим и покуриваем; вот тогда-то меня и осенило: почему бы не сделаться нам филантропами? Помоему, эта мысль, рано или поздно, приходит в голову каждому жулику.

Когда человек ограбил своих ближних на известную сумму, ему становится жутковато и хочется отдать часть награбленного. И если последить за ним внимательно, можно заметить, что он пытается компенсировать тех же людей, которых еще так недавно очистил до нитки. Возьмем гидростатический случай: предположим, некто А. нажил миллионы, продавая керосин неимущим ученым, которые изучают политическую экономию и методы управления трестами. Так вот, эти доллары, которые гнетут его совесть, он непременно пожертвует университетам и колледжам.

Что же касается Б., тот нажился на рабочих, у которых всего богатства — руки да инструмент. Как же ему перекачать некоторую долю своего покаянного фонда обратно в карманы их спецодежды?

<sup>1</sup> Американское издательство, выпускавшее путеводители и географические карты.

— Я, — восклицает Б., — сделаю это во имя науки. Я погрешил против рабочего человека, но говорит же старая половица, что милосердие искупает немало грехов.

И он строит библиотечные здания на восемьдесят миллионов долларов, и единственные, кому от этого польза, — маляры да каменщики, работающие у него на постройке.

— А где же книги? — спрашивают любители чтения.

— А я почему знаю! — отвечает Б. — Я обещал вам библиотеку — пожалуйста, вот, получите. Если б я вам дал подмоченные привилегированные акции стального треста, вы что же, потребовали бы и воду из них в хрустальных графинах? Идите себе с богом, проваливайтесь!

Но, как я уже сказал, я и сам из-за такого изобилия денег заболел филантропитом. В первый раз мы с Энди раздобыли такой капитал, что даже приостановились на время и стали размышлять, каким образом он очутился у нас.

— Энди, — говорю я, — люди мы с тобой богатые. Конечно, богатство у нас не громадное, но так как мы скромный народ, то выходит, что мы богатые, как крысы. И хочется мне подарить что-нибудь человечеству.

Энди отвечает:

— Я тоже не прочь. Чувства у нас с тобой одинаковые. Были мы мазуриками всю свою жизнь и как только не обегоривали несчастную публику. Продавали ей самовоспламеняющиеся воротнички из целлулоида, наводнили всю Джорджию пуговицами с портретами президента Гока Смита, а такого президента и не было. И я бы внес два-три пая в это предприятие по искушению грехов, но не желаю я бить в цимбалы в Армии спасения или преподавать соплякам Ветхий Завет по системе Бертильона<sup>1</sup>. Куда же нам истратить эти деньги? Устроить бесплатную обжорку для бедных или послать тыщонки две Джорджу Кортелью<sup>2</sup>?

1 Альфонс Бертильон (1853–1914) — французский криминалист, разработавший технику опознания преступников по совокупности особых примет.

2 Джордж Кортелью — министр финансов в правительстве Теодора Рузвельта.

— Ни то, ни другое, — говорю я. — У нас слишком много денег, и потому мы не вправе подавать милостыню; а для полного возмещения убытков все равно не хватит капиталов. Так что надо избрести средний путь.

На следующий день, шатаясь по Флоресвиллю, видим мы: на горке стоит какой-то красный домина, кирпичный и вроде как будто пустой. Спрашиваем у прохожих: что такое? И нам объясняют, что один шахтовладелец, лет пятнадцать назад, затеял построить себе на этом холме резиденцию. Строил, строил и выстроил, да заглянул в чековую книжку, а у него на покупку мебели осталось два доллара и восемьдесят центов. Вложил он этот капитал в бутылочку виски, взобрался на крышу и вниз головой на то самое место, где теперь почует в мире.

Посмотрели мы на кирпичное здание, и оба одновременно подумали: набьем-ка мы его электрическими лампочками, фланельками для вытирания перьев, профессорскими, поставим на лужайку чугунного пса, статуи Геркулеса и отца Иоанна и откроем лучшее в мире бесплатное учебное заведение.

Потолковали мы об этой идее с самыми именитыми флоресвильскими гражданами; им эта идея понравилась. Нам устраивают шикарный банкет в пожарном сарае — и вот впервые мы появляемся в роли благодетелей человечества, радеющих о просвещении и прогрессе. Энди даже речь говорил — полтора часа, никак не меньше — об орошении в Нижнем Египте, а потом завели граммофон, слушали благочестивую музыку и пили ананасный шербет.

Мы не теряли времени и пустились филантропствовать вовсю. Каждого, кто только мог отличить лестницу от молотка, мы завербовали в рабочие и принялись за ремонт. Оборудовали аудитории и классные комнаты, потом дали телеграмму в Сан-Франциско, чтобы нам прислали вагон школьных парт, мячей для футбола, учебников арифметики, перьев, словарей, профессорских кафедр, аспидных досок, скелетов, губок, двадцать семь непромокаемых мантий и шапочек для студентов старшего курса и вообще всего,

что полагается для университетов самого первого сорта. Еженедельные журналы, понятно, напечатали наши портреты, гравированные на меди; а мы тем временем послали телеграмму в Чикаго, чтобы нам выслали экстренным поездом и с оплаченной погрузкой шестерых профессоров — одного по английской словесности, одного по самым новейшим мертвым языкам, одного по химии, одного по политической экономии (желателен демократ), одного по логике и одного, который знал бы итальянский язык, музыку и был бы заодно живописцем. Банк “Эсперанца” гарантировал жалование — от восьмисот долларов до восьмисот долларов и пятидесяти центов.

В конце концов все сложилось у нас как следует. Над главным входом была высечена надпись: “Всемирный университет. Попечители и владельцы — Питерс и Таккер”. И к первому сентября стали слетаться со всех сторон наши гости. Сначала прибыли экспрессом из Таксона профессора. Были они почти все молодые, в очках, рыжие, обуреваемые двумя сентиментами: амбиция и голод. Мы с Энди расквартировали их у жителей Флоресвиля и стали поджидать студентов.

Они прибывали пачками. Мы напечатали публикации о нашем университете во всех газетах штата, и нам было приятно, что страна так быстро откликнулась на наш призыв. Двести девятнадцать желторотых юнцов в возрасте от семнадцати лет до густых волос на подбородке отозвались на трубный глас, зовущий их к бесплатному обучению. Они переделали весь этот город, как старый диван, содрали старую обшивку, разорвали ее по швам, перевернули наизнанку, набили новым волосом, и стал городок — прямо Гарвард<sup>1</sup>.

Маршировали по улицам, носили университетские знамена — цвет ультрамариновый и синий; очень, очень оживился Флоресвиль. Энди сказал им речь с балкона гостиницы “Небесный пейзаж”; весь город ликовал и веселился.

<sup>1</sup> Старейший из американских университетов, основан в 1636 г.

Понемногу — недели в две — профессорам удалось разоружить молодежь и загнать ее в классы. Приятно быть филантропом — ей-богу, нет на всем свете занятия приятнее. Мы с Энди купили себе цилиндры и стали делать вид, будто избегаем двух интервьюеров “Флоресвильской газеты”. У этой газеты был фоторепортер, который снимал нас всякий раз, как мы появлялись на улице, так что наши портреты печатались каждую неделю в том отделе газеты, который озаглавлен “Народное просвещение”. Энди дважды в неделю читал в университете лекции, а потом, бывало, встану я и расскажу какую-нибудь смешную историю. Один раз газета поместила мой портрет между изображениями Авраама Линкольна и Маршела П. Уайлдера.

Энди был так же увлечен филантропией, как и я. Случалось, проснемся, бывало, ночью и давай сообщать друг другу свои новые планы — что бы нам еще предпринять для университета.

— Энди, — говорю я ему однажды, — мы упустили очень важную вещь. Надо бы устроить для наших мальчуганов дромадеры<sup>1</sup>.

— А что это такое? — спрашивает Энди.

— А это то, в чем спят, — говорю я. — Есть во всех университетах.

— Понимаю, ты хочешь сказать — пижамы, — говорит Энди.

— Нет, — говорю я, — дромадеры.

Но он так и не понял, что я хотел сказать, и мы не устроили никаких дромадеров. А я имел в виду такие длинные спальни в учебных заведениях, где студенты спят аккуратно, рядами.

Да, сэр, университет имел огромный успех. Флоресвиль процветал: ведь у нас были студенты из пяти штатов. Открылся новый тир, открылась новая ссудная касса, открылась парочка новых пивных. Студенты сочинили университетскую песню:

<sup>1</sup> Дромадер — одногорбый верблюд; Джефф имеет в виду “dormitory” — общая спальня.

Ро, ро, ро, цы, цы, цы,  
 Питерс, Таккер — молодцы.  
 Ба, ба, ба, ра, ра, ра,  
 Университету — гип, ура!

Славный был народ эти студенты, мы с Энди гордились ими, как родными детьми.

Но вот в конце октября приходит ко мне Энди и спрашивает, известно ли мне, сколько капитала осталось у нас в банке. Я сказал, что, по-моему, тысяча шестнадцать. Но Энди говорит:

— Весь наш баланс восемьсот двадцать один доллар, шестьдесят два цента.

— Как? — реву я. — Неужели ты хочешь сказать, что эти проклятые сыны конокрадов, эти толстоголовые олухи, эти заячьи уши, эти собачьи морды, эти гусиные мозги высосали из нас столько денег?

— Да, — отвечает Энди. — Именно так.

— Тогда к чертям всякую филантропию, — говорю я.

— Зачем же непременно к чертям? — спрашивает Энди. — Если поставить филантропию на коммерческую ногу, она дает очень хороший барыш. Я подумаю об этом на досуге, и авось наше дело поправится.

Проходит еще неделя. Беру я как-то университетскую ведомость для уплаты жалования нашим профессорам и вижу в ней новое имя — профессор Джеймс Дарили Маккоркл, по кафедре математики, жалование сто долларов в неделю. Конечно, я заревел таким голосом, что Энди как вихрь влетел ко мне в комнату.

— Что это такое! — кричу я. — Профессор математики за пять тысяч долларов в год? Как это могло произойти? Или он, как вор, влез в окошко и назначил себя сам на эту кафедру?

— Нет, — отвечает Энди, — я вызвал его по телеграфу из Сан-Франциско неделю назад. При открытии университета мы совсем упустили из виду кафедру математики.

— И хорошо сделали! — кричу я. — У нас только и хватит капитала уплатить ему за две недели, а потом нашей филан-

тропии будет такая же цена, как девятой лунке на поле для гольфа.

— Нечего каркать, увидим, — отвечает Энди. — Дела еще могут поправиться. Мы предприняли такое благородное дело, что теперь нельзя его бросить. Кроме того, повторяю, мне кажется, что, если перевести его на хозяйственный расчет, получится другая картина; нужно хорошенько подумать об этом. Недаром все филантроны, которых я знаю, всегда обладали большим капиталом. Мне бы давно следовало подумать об этом и выяснить, где здесь причина и где следствие.

Я знал, что Энди дока в финансовых вопросах, и оставил все это дело на его попечении. Университет процветал, цилиндры наши лоснились по-прежнему, и Флоресвиль оказывал нам такой великий почет, как будто мы миллионеры, а не жалкие прогоревшие филантропишки.

Студенты по-прежнему оживляли весь городок и способствовали его процветанию. Приехал какой-то человек из соседнего города и открыл игорный домик — над конюшней — и каждый вечер загребал кучу денег. Мы с Энди тоже побывали в его заведении и, чтобы показать, что мы не чуждаемся общества, тоже поставили на карту один-два доллара. Там, в заведении, было около пятидесяти наших студентов, они пили пунш и передвигали по столу целые горки синих и красных фишек всякий раз, как банкнет открывал карту.

— Черт возьми, — сказал я, — эти дятлы, эти безмозглые головы, охочие до бесплатной учености, щеголяют в шелковых носочках и имеют такие деньги, каких мы с тобой никогда не имели. Посмотри, какие толстые пачки достают они из своих пистолетных карманов.

— Да, — отвечает Энди. — Многие из них — сыновья богатых шахтовладельцев и фермеров. Очень жаль, что они тратят и капиталы и время на такое недостойное занятие.

На рождественские каникулы все студенты разъехались по домам. В университете состоялась прощальная вечерин-

ка. Энди прочел лекцию "Современная музыка и доисторическая литература на островах Архипелага". Все профессора говорили нам приветственные речи и сравнивали меня и Энди с Рокфеллером и с императором Марком Автоликом. Я ударил кулаком по столу и позвал профессора Маккоркла; но его на вечеринке не оказалось. А мне хотелось взглянуть на человека, который, по мнению Энди, мог зарабатывать сто долларов в неделю на филантропии, да еще на такой захудалой, как наша.

Студенты уехали вечерним поездом; город опустел. Стало тихо, как в глухую полночь в школе заочного обучения. Я вошел в гостиницу, увидел, что в номере у Энди горит свет, открыл дверь и вошел.

Энди сидел за столом. Тут же сидел и содержатель игорного дома. Они делили между собой кучу денег, фута в два вышиной. Куча состояла из пачек, а каждая пачка из бумажек по тысяче долларов.

— Правильно! — говорит Энди. — По тридцати одной тысяче в каждой пачке. А, это ты, Джефф. Подходи, подходи. — Вот наша доля от выручки за первый семестр во Всемирном университете, основанном с филантропической целью. Теперь ты видишь, что филантропия, если ее поставить на коммерческую ногу, есть такое искусство, которое оказывает благоденствие не только берущему, но и дающему.

— Чудесно, — говорю я. — Ты на этот счет прямо доктор наук!

— Утренним поездом надо нам уезжать, — говорит Энди. — Поди собери воротнички, манжеты и газетные вырезки.

— Чудесно, — говорю я. — Мне недолго собраться... А все же, Энди, я хотел бы познакомиться с этим профессором Джеймсом Дарили Маккорклом. Любопытно бы взглянуть на него перед нашим отъездом.

— Это нетрудно, — говорит Энди и обращается к содержателю игорного дома.

— Джим, — говорит он, — познакомься, пожалуйста, с мистером Питерсом.

## РУКА, КОТОРАЯ ТЕРЗАЕТ ВЕСЬ МИР

— Многие из наших великих людей, — сказал я (по поводу целого ряда явлений), — признавали, что своими успехами они обязаны участию и помощи какой-нибудь блистательной женщины.

— Да, — сказал Джефф Питерс. — Мне случилось читать и в истории и в мифологии о Жанне д'Арк, о мадам Иэл, о миссис Кодл<sup>1</sup>, о Еве и других замечательных женщинах прошлого. Но женщины нашего времени, по-моему, почти бесполезны и в бизнесе и в политической жизни. Куда годится современная женщина? Ведь мужчины в настоящее время и лучше стряпают, и лучше стирают и гладят. Лучшие сиделки, слуги, парикмахеры, стенографы, клерки — все это мужчины. Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это Исполнение женских ролей в водевиле.

— А я думал, что женская чуткость и женская хитрость оказывали вам бесценные услуги в вашей... как бы это сказать? — специальности...

— Да, — сказал Джефф и энергично кивнул головой, — так может показаться. А на поверку женщина — самый ненадежный товарищ во всяком благородном мошенничестве. Вдруг, ни с того ни с сего, когда вы больше всего на нее надеетесь, она становится честной и проваливает все дело. Однажды я испытал этих дамочек на собственной шкуре.

Билл Хамбл, мой старый приятель, с которым я сдружился на Территории<sup>2</sup>, вбил себе в голову, что ему хочется, чтобы правительство Соединенных Штатов назначило его шерифом. В ту пору мы с Энди занимались делом чистым и законным — продавали трости с набалдашниками. Если вам вздумается отвинтить набалдашник и приложить его к гу-

1 Миссис Кодл — сварливая жена, персонаж американской юмористики.

2 Так назывались области, фактически входившие в США, но еще не получившие статус штата.



бам, вам прямо в рот потечет полпинты хорошего пшеничного виски, которое приятно прополочет вам горло в награду за вашу догадливость. Полиция изредка докучала нам, и, когда Билл сообщил мне, что хотел бы сделаться шерифом, я сразу смекнул, что в этой должности он был бы очень полезен торговому дому "Питерс и Таккер".

— Джефф, — говорит мне Билл, — ты человек ученый, образованный, да к тому же обладаешь всякими знаниями и сведениями касательно не одних только начальных основ, но также фактов и выводов.

— Правильно, — говорю я, — и в этом я никогда не раскисался. Я не из тех, говорю, кто видит в образовании дешевый товар и ратует за бесплатное обучение. Скажи мне, — говорю я, — что имеет больше цены для человечества — литература или конские скачки?

— Э-э... гм... ну, разумеется, хорошие лошади... то есть я хотел сказать поэты и всякие там великие писатели, — те, конечно, идут впереди, — говорит Билл.

— Вот именно, — говорю я. — А если так, то почему же наши финансовые и гуманитарные гении берут с нас два доллара за вход на ипподром, а в библиотеки пускают бесплатно? Можно ли, — говорю я, — назвать это внедрением в массы правильного понятия об относительной ценности двух вышеупомянутых способов самообразования и разорения?

— Не угнаться мне за твоей риторикой и логикой, — говорит Билл. — Мне от тебя нужно одно: чтобы ты съездил в Вашингтон и выхлопотал мне место шерифа. У меня, понимаешь ли, нет способностей к интригам и высокому тону. Я — простой обыватель и хочу получить это место. Вот и все. Я убил на войне семерых, а детей у меня девять душ. Я член республиканской партии с первого мая. Я не умею ни читать, ни писать и не вижу никаких оснований, почему я не гожусь для этой должности. Мне сдается, что и твой компаньон, мистер Таккер, тоже человек мозговитый и может оказать тебе содействие. Я выдам вам авансом тысячу долларов на выпивку, взятки и трамвайные билеты в Вашинг-

тоне. Если вы устроите мне это дело, я дам вам еще тысячу наличными, кроме того — у вас будет возможность целый год безнаказанно продавать наши контрабандные спиртуозные трости. Надеюсь, что ты добрый патриот и поможешь мне провести это дело через Белый Вигвам Великого Отца на самой восточной станции Пенсильванской железной дороги<sup>1</sup>.

Рассказал я про это дело Энди, и оно ему страшно понравилось. Энди был сложная натура. Ему было мало шататься по деревням и продавать доверчивым фермерам комбинацию из валька для отбивания бифштексов, рожка для ботинок, щипцов для завивки, пилки для ногтей, машинки для растирания картофеля, коловорота и камертона. У Энди была душа художника, и ее нельзя было мерить чисто коммерческой меркой, как душу проповедника или учителя нравственности. Так что мы приняли предложение Билла, сели в поезд и помчались в Вашингтон.

Приехали мы, остановились в гостинице на Южно-Дакотской авеню, и я говорю Энди:

— Вот, Энди, первый раз в нашей жизни мы готовимся совершить истинно бесчестный поступок. Подкупать сенаторов нам еще никогда не случалось, но что делать, ради Билла придется пойти и на это. В делах благородных и честных можно допустить немного жульничества, но в этом грязном, отвратительном деле лучше всего — прямота. Здесь карты на стол, и никакого лукавства. Предлагаю тебе вот что: давай вручим пятьсот долларов председателю комитета избирательной кампании, получим квитанцию, положим квитанцию на стол президенту и расскажем ему про Билла. Я убежден, что президент сумеет оценить кандидата, который стремится получить должность таким прямолинейным путем, а не убивает все свое время на политические интриги.

<sup>1</sup> Великий Отец — на языке Билла — президент республики; Белый Вигвам — Белый дом, где живет президент. Самая восточная станция Пенсильванской железной дороги — Вашингтон, столица США.

Энди согласился со мной, но, обсудив эту идею с одним из служащих нашего отеля, мы отказались от нее. Служащий объяснил нам, что в Вашингтоне существует только один способ достать место: надо действовать через женщину, имеющую связи в сенате. Он дал нам адрес одной такой дамы, к которой и рекомендовал обратиться; звали ее миссис Эвери; он утверждал, что она очень важная птица в дипломатических кругах и высших сферах.

На следующее утро мы с Энди явились в ее особняк и были введены в приемную.

Эта миссис Эвери была бальзам и утешение для глаз. Волосы у нее были такого же цвета, как оборотная сторона двадцатидолларовой золотой облигации, глаза голубые, и вообще вся система красоты была у нее такая, что девицы, которых изображают на обложках июльских журналов, рядом с ней показались бы кухарками с угольной баржи, плывущей по реке Мононгахеле.

Платье у нее было открытое, усыпанное серебряными блестками, в ушах висюльки, на пальцах брильянты. Руки были голые, одной рукой она говорила по телефону, а другой пила чай.

Прошло немного времени, она говорит:

— Ну, мои милые, что же вам надо?

Я в самых кратких словах объяснил ей, зачем мы пришли и сколько мы можем заплатить.

— Это дело нетрудное, — отвечает она. — На Западе легко назначать кого хочешь. Посмотрим, кто может нам пригодиться. С депутатами от Территории связываться нечего. По-моему, нам нужен сенатор Снайпер: он и сам оттуда, из Западных штатов. Посмотрим, каким знаком отмечен он в моем маленьком приватном меню.

Тут она вынимает какие-то бумаги из ящичка, обозначенного буквой "С".

— Да, говорит, у меня он отмечен звездочкой; это значит: готов к услугам. Погодите, дайте взглянуть. "Пятидесяти пяти лет от роду; состоит во втором браке; вероисповедания пресвитерианского; любит блондинок, Льва Толстого,

покер и черепашие жаркое; становится сентиментален после третьей бутылки". Да, да, я уверена, что мне удастся назначить вашего приятеля мистера Баммера посланником в Бразилию.

— Не Баммера, а Хамбла, — говорю я. — Шерифом Соединенных Штатов.

— Ах да, — говорит миссис Эвери. — У меня столько подобных дел, что иногда нетрудно перепутать. Дайте все меморандумы вашего дела, мистер Питерс, и приходите через четыре дня. Думаю, что к тому времени все будет сделано.

Вернулись мы с Энди в гостиницу. Сидим и ждем. Энди шагает по комнате и жует конец своего левого уха.

— Женщина высокого ума и при этом красавица — очень редкое явление, Джефф, — говорит он.

— Такое же редкое, — говорю я, — как омлет, приготовленный из яиц той сказочной птицы, которую зовут Эпидермис.

— Такая женщина, — говорит Энди, — может обеспечить мужчине роскошную жизнь и славу.

— Едва ли, — возражаю я. — Самое большое, чем женщина может помочь мужчине получить должность, это быстро приготовить ему пищу или распусть слух о жене другого кандидата, будто та была в прежнее время магазинной воровкой. Вмешиваться в дела и политику, — говорю я, — женщинам идет так же, как Альджернону Чарльзу Суинберну<sup>1</sup> быть распорядителем на ежегодном балу союза швейников. Мне известно, — говорю я Энди, — что иногда женщина как будто и правда выступает на авансцену в качестве импрессарио политических затей своего мужа. Но чем это кончается? Предположим, живет себе человек спокойно, у него хорошее место — либо иностранного консула в Афганистане, либо сторожа при шлюзе на канале Делавэр-Раритан. В один прекрасный день этот человек замечает, что

<sup>1</sup> Алджернон Чарльз Суинберн (1837–1909) — известный английский поэт.

его жена надевает калоши и кладет в клетку канарейке трехмесячный запас корма. “На курорт?” — спрашивает он, и в глазах у него загорается надежда. “Нет, Артур, — говорит она, — в Вашингтон. Мы здесь зря пропадаем. Ты бы должен быть Чрезвычайным Лизоблюдом при дворе Сент-Бриджет или Главным Портье острова Порто-Рико. Подожди, я выхлопочу тебе это место”.

— И вот эта леди, — говорю я Энди, — вступает в единоборство со всеми вашингтонскими властями, имея в качестве оружия пять десятков писем, которые писал ей неразборчивым почерком один из членов кабинета, когда ей было пятнадцать лет; рекомендательное письмо от бельгийского короля Леопольда Смитсоновскому научному институту и шелковое розовое платье в крапинку канареечно-го цвета.

— И что же дальше? — продолжаю я. — Она помещает письма в вечерних газетах, таких же желто-розовых, как ее туалет, она читает лекции на званом обеде, устроенном в пальмовом салоне вокзала железной дороги Балтимор-Огайо, а затем идет к президенту. Девятый помощник министра торговли и труда, первый адъютант Синей комнаты и некий цветной человек (личность установить не удалось) уже ждут ее, и когда она появляется, хватают ее за руки... и за ноги. Они выносят ее на Юго-Западную улицу Б.<sup>1</sup> и кладут на люк угольного подвала. Тем и кончается. Следующее, что мы узнаем о ней, это, что она пишет открытки китайскому посланнику — просит его устроить Артуру местечко приказчика в чайном магазине.

— Значит, — говорит Энди, — ты не думаешь, что эта мисс Эвери достанет место шерифа для нашего Билла?

— Нет, не думаю, — отвечаю я. — Я не хочу быть скептиком, но мне кажется, что она может сделать не больше, чем ты или я.

— Ну, это ты врешь, — говорит Энди, — я готов побиться с тобой об заклад, что она устроит все как следует. С гордо-

<sup>1</sup> В Вашингтоне некоторые улицы называются буквами алфавита.

стью заявляю тебе, что у меня более высокое мнение о талантах и дипломатических способностях дам.

В назначенное время мы явились в особняк миссис Эвери. Внешность у нее была шикарная, такая внешность, что всякий мужчина, с радостью позволил бы ей ведать всеми назначениями в стране. Но я не слишком доверяю внешности и поэтому был весьма изумлен, когда она представила нам документ, украшенный большой печатью Соединенных Штатов, а на обороте написано прекрасным почерком крупными буквами: “Уильям Генри Хамбл”.

— Вы могли получить эту бумагу еще три дня тому назад, мои миленькие, — сказала она улыбаясь. — Достать ее было очень легко, я только заикнулась, и все было моментально устроено... А теперь до свиданья. Я рада была бы поговорить с вами дольше, но я страшно занята и надеюсь, что вы простите меня. Одного я должна сегодня устроить послом, двоих — консулами, а еще человек десять на более мелкие должности. У меня нет времени даже для сна. Пожалуйста, по приезде домой кланяйтесь мистеру Хамблу.

Вручили мы ей пятьсот долларов. Она сунула их в ящик письменного стола не считая. Я положил в карман бумагу с назначением Билла, и мы откланялись.

Выехали мы домой в тот же день. Мы послали Биллу телеграмму: “Все устроено, готовь бокалы” — и чувствовали себя превосходно.

Энди всю дорогу пилил меня, что я так мало знаю женщин.

— Ладно, — говорю я. — Охотно признаю, что эта женщина меня удивила. Первый раз вижу женщину, которая выполнила то, что обещала, в назначенный срок и ничего не перепутала.

Подъезжая к Арканзасу, вынимаю я полученную нами бумагу, рассматриваю ее и молча подаю Энди — для прочтения. Энди прочел ее и не нарушил моего молчания ни словом.

В бумаге было все как следует, бумага была не фальшивая и выдана на имя Билла Хамбла, но назначали его почтмейстером в Мертвый город во Флориде.

На станции Литтл-Рок соскочили мы оба с поезда и послали Биллу его бумагу по почте. А сами двинулись на северо-восток, по направлению к Верхнему озеру.

С тех пор я уже никогда не встречал Билла Хамбла.

## СУПРУЖЕСТВО КАК ТОЧНАЯ НАУКА

— Вы уже слышали от меня, — сказал Джефф Питерс, — что женское коварство никогда не внушало мне слишком большого доверия. Даже в самом невинном жульничестве невозможно полагаться на женщин как на соучастников и компаньонов.

— Комплимент заслуженный, — сказал я. — По-моему, у них есть все права называться честнейшим полом.

— А чего им и не быть честными, — сказал Джефф, — на то и мужчины, чтобы жульничать для них либо работать на них сверхурочно. Лишь до тех пор они годятся для бизнеса, покуда и чувства и волосы у них еще не слишком далеки от натуральных. А потом подавай им дублера — тяжеловоза мужчину с одышкой и рыжими баками, с пятью ребятами, заложенным и перезаложенным домом. Взять, к примеру, хоть эту вдову, которую мы с Энди Таккером попросили оказать нам содействие, чтобы провести небольшую матриониальную затею в городишке Каире.

Когда у вас достаточно денег на рекламу — скажем, рачка толщиной с тонкий конец фургонного дышла, — открывайте брачную контору. У нас было около шести тысяч долларов, и мы рассчитывали удвоить эту сумму в два месяца, — дольше такими делами заниматься нельзя, не имея на то официального разрешения от штата Нью-Джерси.

Мы составили объявление такого примерно сорта:

“Симпатичная вдова, прекрасной наружности, тридцати двух лет, с капиталом в три тысячи долларов, обладающая обшир-

ным поместьем, желала бы вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь не богатого, но нежного сердцем, так как, по ее убеждению, солидные добродетели чаще встречаются среди бедняков. Ничего не имеет против старого или некрасивого мужа, если будет ей верен и сумеет распорядиться ее капиталом.

Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную контору Питерса и Таккера, Каир, штат Иллинойс, на имя

*Одинокой*”.

— До сих пор все идет хорошо, — сказал я, когда мы состряпали это литературное произведение. — А теперь — где же мы возьмем эту женщину?

Энди смотрит на меня с холодным раздражением.

— Джефф, — говорит он, — я и не знал, что ты такой реалист в искусстве. Ну на что тебе женщина? При чем здесь женщина? Когда ты продаешь подмоченные акции на бирже, разве ты хлопчешь о том, чтобы с них и вправду канала вода? Что общего между брачным объявлением и какой-то женщиной?

— Слушай, — говорю я, — и запомни раз навсегда. Во всех моих незаконных отклонениях от легальной буквы закона я всегда держался того правила, чтобы продаваемый товар был налицо, чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю. Только таким способом, а также путем тщательного изучения городского устава и расписания поездов мне удавалось избежать столкновения с полицией, даже когда бумажки в пять долларов и сигары оказывались недостаточно. Так вот, чтобы не провалить нашу затею, мы должны обзавестись симпатичной вдовой — или другим эквивалентным товаром для предъявления клиентам — красивой или безобразной, с наличием или без наличия статей, перечисленных в нашем каталоге. Иначе — камера мирового судьи.

Энди задумывается и отменяет свое первоначальное мнение.

— Ладно, — говорит он, — может быть, и в самом деле тут необходима вдова, на случай, если почтовое или судеб-

ное ведомство вздумает сделать ревизию нашей конторы. Но где же мы сыщем такую вдову, что согласится тратить время на брачные шашни, которые заведомо не кончатся браком?

Я ответил ему, что у меня есть на примете именно такая вдова. Старый мой приятель Зики Троттер, — который торговал содовой водой и дергал зубы в палатке на ярмарках, около года назад сделал из своей жены вдову, хлебнув какого-то снадобья от несварения желудка вместо того зелья, которым он имел обыкновение наклюкиваться. Я часто бывал у них в доме, и мне казалось, что нам удастся завербовать эту женщину.

До городишка, где она жила, было всего шестьдесят миль, и я сейчас же покати туда поездом и нашел ее на прежнем месте, в том же домике, с теми же подсолнечниками в саду и цыплятами на опрокинутом корыте. Миссис Троттер вполне подходила под наше объявление, если, конечно, не считать пустяков: она была значительно старше, причем не имела ни денег, ни красивой наружности. Но ее можно было легко обработать, вид у нее был не противный, и я был рад, что могу почтить память покойного друга, дав его вдове личный заработок.

— Благородное ли дело вы затеяли, мистер Питерс? — спросила она, когда я рассказал ей мои планы.

— Миссис Троттер! — воскликнул я. — Мы с Энди Таккером высчитали, что по крайней мере три тысячи мужчин, обитающих в этой безнравственной и обширной стране, попытаются, прочтя объявление в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней и ваши несуществующие деньги и воображаемое ваше поместье. Из этого числа не меньше трех тысяч таких, которые могут предложить вам взамен лишь свое полумертвое тело и ленивые, жадные руки, — презренные прохвосты, неудачники, лодыри, польстившиеся на ваше богатство.

— Мы с Энди, — говорю я, — намерены дать этим социальным паразитам хороший урок. С большим трудом, — говорю я, — мы с Энди отказались от мысли основать корпо-

рацию под названием Великое Моральное и Милосердное Матримониальное Агентство. Ну, теперь вы видите, какая у нас высокая и благородная цель?

— Да, да, — отвечает она, — мне давно бы следовало знать, что вы, мистер Питерс, ни на что худое не способны. Но в чем будут заключаться мои обязанности? Неужели мне придется отказывать каждому из этих трех тысяч мерзавцев в отдельности, или мне будет предоставлено право отвергать их гуртом — десятками, дюжинами?

— Ваша должность, миссис Троттер, — говорю я, — будет простой, синекурой. Мы поселим вас в номере тихой гостиницы, и никаких забот у вас не будет. Всю переписку с клиентами и вообще все дела по брачному бюро мы с Энди берем на себя. Но, конечно, — говорю я, — может случиться, что какой-нибудь пылкий вздыхатель, у которого хватит капитала на железнодорожный билет, приедет в Каир, чтобы лично завоевать ваше сердце... В таком случае вам придется потрудиться самой: собственноручно указать ему на дверь. Платить мы вам будем двадцать пять долларов в неделю, и оплата гостиницы за наш счет.

Услышав это, миссис Троттер сказала:

— Через пять минут я готова. Я только возьму пудреницу и оставлю у соседки ключ от парадной двери. Можете считать, что я уже на службе: жалование должно мне идти с этой минуты.

И вот я везу миссис Троттер в Каир. Привез, поместил ее в тихом семейном отеле, подальше от нашей квартиры, чтобы не было никаких подозрений. Потом пошел и рассказал обо всем Энди Таккеру.

— Отлично, — говорит Энди Таккер. — Теперь, когда твоя совесть спокойна, когда у тебя есть и крючок и приманка, давай-ка примемся за рыбную ловлю.

Мы пустили наше объявление по всей этой местности. Одного объявления вполне хватило. Сделай мы рекламу пошире, нам пришлось бы нанять столько клерков и девиц с завивкой перманент, что хруст жевательной резины дошел бы до самого директора почт и телеграфов. Мы поло-

жили на имя миссис Троттер две тысячи долларов в банк и чековую книжку дали ей на руки, чтобы она могла показывать ее сомневающимся. Я знал, что она женщина честная, и не боялся доверить ей деньги.

Одно это объявление доставило нам уйму работы, по двенадцать часов в сутки мы отвечали на полученные письма. Поступало их штук сто в день.

Я и не подозревал никогда, что на свете есть столько любящих, но бедных мужчин, которые хотели бы жениться на симпатичной вдове и взвалить на себя бремя забот о ее капитале.

Большинство из них сообщало, что они сидят без гроша, не имеют определенных занятий и что их никто не понимает, и все же, по их словам, у них остались такие большие запасы любви и прочих мужских достоинств, что вдовушка будет счастливейшей женщиной, черпая из этих запасов.

Каждый клиент получал ответ от конторы Питерса и Таккера. Каждому сообщали, что его искреннее, интересное письмо произвело на вдову глубокое впечатление и что она просит написать ей подробнее и приложить, если возможно, фотографию. Питерс и Таккер присовокупляли к сему, что их гонорар за передачу второго письма в прекрасные ручки вдовы выражается в сумме два доллара, каковые деньги и следует приложить к письму.

Теперь вы видите, как прост и красив был наш план. Около девяноста процентов этих благороднейших искателей вдовьей руки раздобыли каким-то манером по два доллара и прислали их нам. Вот и все. Никаких хлопот. Конечно, нам пришлось поработать; мы с Энди даже поворчали немного: легко ли целый день вскрывать конверты и вынимать оттуда доллар за долларом!

Были и такие клиенты, которые являлись лично. Их мы направляли к миссис Троттер, и она разговаривала с ними сама; только трое или четверо вернулись в контору, чтобы попросить у нас денег на обратный путь. Когда начали прибывать письма из наиболее отдаленных районов, мы с Энди стали вынимать из конвертов по двести долларов в день.

Как-то после обеда, когда наша работа была в полном разгаре и я складывал деньги в сигарные ящики: в один ящик по два доллара, в другой — по одному, а Энди насвистывал: “Не для нее венчальный звон”, — входит к нам вдруг какой-то маленький шустрый субъект и так шарит глазами по стенам, будто он напал на след пропавшей из музея картины Гейнсборо. Чуть я увидел его, я почувствовал гордость, потому что наше дело правильное и придрататься к нему невозможно.

— У вас сегодня что-то очень много писем, — говорит человек.

— Идем, — говорю я и беру шляпу. — Мы вас уже давно ожидаем. Я покажу вам наш товар. В добром ли здоровье был Тедди<sup>1</sup>, когда вы уезжали из Вашингтона?

Я повел его в гостиницу “Ривервью” я познакомил с миссис Троттер. Потом показал ему банковую книжку, где значились две тысячи долларов, положенных на ее имя.

— Как будто все в порядке, — говорит сыщик.

— Да, — говорю я, — и если вы холостой человек, я позволю вам поговорить с этой дамой. С вас — мы не потребуем двух долларов.

— Спасибо, — отвечал он. — Если бы я был холостой, я бы, пожалуй... Счастливо оставаться, мистер Питерс.

К концу трех месяцев у нас набралось что-то около пяти тысяч долларов, и мы решили, что пора остановиться: отовсюду на нас сыпались жалобы, да и миссис Троттер устала, — ее одолели поклонники, приходившие лично взглянуть на нее, и, кажется, ей это не очень-то нравилось.

И вот, когда мы взялись за ликвидацию дела, я пошел к миссис Троттер, чтобы уплатить ей жалованье за последнюю неделю, попрощаться с ней и взять у нее чековую книжку на две тысячи долларов, которую мы дали ей на временное хранение.

<sup>1</sup> Тедди — Теодор Рузвельт — президент Соединенных Штатов в 1901–1909 гг. Говоря о Рузвельте, Питерс хочет показать, что ему известна профессия посетителя: это сыщик, прибывший из столицы по поручению властей.

Вхожу к ней в номер. Вижу: она сидит и плачет, как девочка, которая не хочет идти в школу.

— Ну, ну, — говорю я, — о чем вы плачете? Кто-нибудь обидел вас или вы соскучились по дому?

— Нет, мистер Питерс, — отвечает она. — Я скажу вам всю правду. Вы всегда были другом Зики, и я не скрою от вас ничего. Мистер Питерс, я влюблена. Я влюблена в одного человека, влюблена так сильно, что не могу жить без него. В нем воплотился весь мой идеал, который я лелеяла всю жизнь.

— Так в чем же дело? — говорю я. — Берите его себе на здоровье. Конечно, если ваша любовь взаимная. Испытывает ли он по отношению к вам те особые болезненные чувства, какие вы испытываете по отношению к нему?

— Да, — отвечает она. — Он один из тех джентльменов, которые приходили ко мне по вашему объявлению, и потому он не хочет жениться, если я не дам ему двух тысяч. Его имя Уильям Уилкинсон.

Тут она снова в истерику.

— Миссис Троттер, — говорю я ей — нет человека, который более меня уважал бы сердечные чувства женщины. Кроме того, вы были когда-то спутницей жизни одного из моих лучших друзей. Если бы это зависело только от меня, я сказал бы: берите себе эти две тысячи и будьте счастливы с избранником вашего сердца. Мы легко можем отдать вам эти деньги, так как из ваших поклонников мы выкачали больше пяти тысяч. Но, — прибавил я, — я должен посоветоваться с Энди Таккером. Он добрый человек, но делец. Мы пайщики в равной доле. Я поговорю с ним и посмотрю, что мы можем сделать для вас.

Я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось.

— Так я и знал, — говорит Энди. — Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде. Нельзя полагаться на женщину в таком предприятии, где затрагиваются сердечные струны.

— Но, Энди, — говорю я, — горько думать, что по нашей вине сердце женщины будет разбито.

— О, конечно, — говорит Энди. — И потому я скажу тебе, Джефф, что я намерен сделать. У тебя всегда был мягкий и нежный характер, я же прозаичен, суховат, подозрителен. Но я готов пойти тебе навстречу. Ступай к миссис Троттер и скажи ей: пусть возьмет из банка эти две тысячи долларов, даст их своему избраннику и будет счастлива.

Я вскакиваю и целых пять минут пожимаю Энди руку, а потом бегу назад к миссис Троттер и сообщаю ей наше решение, и она плачет от радости так же бурно, как только что плакала от горя.

А через два дня мы упаковали свои вещи и приготовились к отъезду из города.

— Не думаешь ли ты, что тебе следовало бы перед отъездом нанести визит миссис Троттер? — спрашиваю я у него. — Она была бы очень рада познакомиться с тобой и выразить тебе свою благодарность.

— Боюсь, что это невозможно, — отвечает Энди. — Как бы нам на поезд не опоздать.

Я в это время как раз надевал на себя наши доллары, упакованные в особый кушак, — мы всегда перевозили деньги таким способом, как вдруг Энди вынимает из кармана целую пачку крупных банкнот и просит приобщить их к остальным капиталам.

— Что это такое? — спрашиваю я.

— Это две тысячи от миссис Троттер.

— Как же они попали к тебе?

— Сама мне дала, — отвечает Энди. — Я целый месяц бывал у нее вечерами... по три раза в неделю...

— Так ты и есть Уильям Уилкинсон? — спрашиваю я.

— Был до вчерашнего дня, — отвечает Энди.

## ЛЕТНИЙ МАСКАРАД

— Нелегко служить у Сатаны, — сказал Джефф Питерс. — Когда все отдыхают, тут-то он как раз и навалит на тебя кучу

работы. Как говорил не то старик доктор Уоттс<sup>1</sup>, не то святой Павел, а может, еще какой-то диагност — “Для праздных рук всегда найдет он дело”.

Помню, однажды летом я и мой компаньон Энди Таккер решили немножко отдохнуть, но всегда получается так, что наши дела увязываются за нами, куда бы мы ни двинулись.

То ли дело проповедник — он может бросить все свои обязанности и предаться радостям жизни. 31 мая он закрывает свою кафедру фольгой и москитной сеткой, хватается клюшку для гольфа, тревник и удочку и отправляется бродяжничать вокруг озера Комо или по Атлантик-Сити, в зависимости от того, насколько громкозвучно взывает к нему его паства. И вот, сэр, на целых три месяца он может забыть про свой бизнес — знай себе выискивай во Второзаконии, Книге притчей Соломоновых или в Послании к Тимофею цитаты, чтоб искупить свои мелкие летние грешки вроде того, что проиграл в рулетку два-три золотых или давал уроки плавания вдове пресвитерианина.

Однако я хотел описать вам наш с Энди летний отпуск, который оказался совсем не отпуском.

Нам надоели финансы и все прочие отрасли еретического плутовства. Даже Энди Таккер, чей мозг работает почти без передышки, начал скрипеть, как пресс для теннисной ракетки.

— Эх-ма! — говорит Энди. — Я устал. Дай пару! Полный ход вперед! Покатим на Ривьеру! Где моя яхта “Корсар”<sup>2</sup>? Хочу слоняться празднично и душу ублажать, как заявил Уолт Уитьер<sup>3</sup>. Хочу сыграть в пинокль с кардиналом Мерри дель Валем, или задать порку арендаторам в моих территаунских поместьях, или, нарядившись в шотландскую юбку, произносить речи на летнем сборе учителей в Шатокве<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> Исаак Уоттс (1674–1748) — английский священник, автор церковных гимнов и назидательных стихов для детей.

<sup>2</sup> “Корсар” — яхта крупного финансиста Моргана.

<sup>3</sup> Строка, которую, перевирая, цитирует Энди, принадлежит не Джону Гринлифу Уитьеру, а Уолту Уитмену.

<sup>4</sup> Территаун — поселок в штате Нью-Йорк, где родились миллионеры Джей Гульд и Джон Рокфеллер; Шатоква — местечко на озере Шатоква в штате Нью-Йорк, где ежегодно происходили летние собрания учителей.

или делать еще что-нибудь этакое необычное, летнее, солнечное, непохожее на вульгарную кражу со взломом.

— Терпение, — говорю я. — Прежде чем насладиться лаврами, венчающими ноги великих капитанов промышленности, тебе придется подняться на ступень выше в твоей собственной профессии. Что касается меня, Энди, то мне нужен летний отдых в горной деревушке вдали от сцен воровства, труда и концентрации капитала. Я тоже устал, и недельки три-четыре безгрешности позволят нам войти в хорошую форму, а осенью мы снова примемся облегчать бремя белого человека.

Энди одобрил идею лечения отдыхом. Мы обратились к агентам бюро путешествий при всех железных дорогах с просьбой прислать нам литературу о курортах и целую неделю потратили на изучение вопроса, куда нам ехать. Я всегда считал, что первым в мире агентом бюро путешествий был этот субъект по фамилии Генезис<sup>1</sup>. Однако в его время не было никакой конкуренции, и, когда он сказал: “Господь сотворил землю за шесть дней и увидел, что это хорошо весьма”, — ему и в голову не приходило, до какой степени пресс-агенты летних гостиниц будут впоследствии изошряться в плагиатах с его писаний.

Досконально изучив эти проспекты, мы ясно поняли, что вся Америка — от Пассадамкега, что в штате Мэн, до Эль-Пасо и от Скагуэя до Ки-Уэста — не что иное, как рай, переполненный горными вершинами, кристально чистыми озерами, яйцами прямо из-под кур, гольфом, девицами, гаражами, прохладительными бризами, пикниками, клозетами под сенью струй, теннисом — и все это не более чем в двух часах езды.

Ну вот, значит, мы с Энди выбрасываем эти книжонки на помойку, складываем чемодан, покупаем билеты на шестичасовой поезд “Летающая черепаха” и едем до станции Вироний Бугор — забытое богом местечко в горах на линии Теннесси — Северная Каролина.

<sup>1</sup> Генезис (или Бытие) — первая книга Библии.



Нам рекомендовали гостиницу под названием “Лесной сурок”, и туда-то мы с Энди и направили свои стопы (и чуть было их не обломали о тамошние пни и камни). Гостиница стояла в стороне от дороги в большой роще, и ее широкие затененные веранды, на которых сидели в качалках женщины в белых платьях, являли весьма приятное зрелище. Остальная часть Вороньего Бугра состояла из почтовой конторы и скудного пейзажа под углом 45° к небосводу.

И кто, по-вашему, встречает нас у калитки, сэр? Не кто иной, как старик Выкури-Вон Смизерс, бывший продавец электрических грелок для больной печени и лучший на всем Юго-Западе уличный дантист (лечение и удаление зубов без боли). Старик Выкури-Вон наряжен на клерикально-пейзанский манер и имеет вид не то землевладельца, не то захватчика чужих земельных участков. Каковое впечатление он подкрепляет рассказом о том, что он — хозяин и сотворитель “Лесного сурка”. Я представляю ему Энди, и мы непринужденно болтаем о том о сем, как это бывает на собраниях совета директоров или на встречах старых приятелей вроде нашей троицы. Старик Выкури-Вон ведет нас в беседку во дворе у самых ворот, а потом берет арфу жизни и ударяет по струнам мощной правой дланью.

— Счастлив вас видеть, джентльмены, — говорит он. — Хорошо, если бы вы помогли мне выпутаться из истории, в которую я попал. Я уже слишком стар, чтобы гоняться за Фортуной по улицам, и потому арендовал эту собачью конуру в надежде, что Фортуна придет ко мне сама. За две недели до открытия сезона я получил одно письмо за подписью лейтенанта Пири, а другое — от герцога Мальборо<sup>1</sup>. Оба просили сдать им на лето комнаты с пансионом.

Мне ли объяснять вам, джентльмены, как важно для заштатного деревенского заведения заполучить в качестве гостей двух джентльменов, чьи имена прославлены благода-

<sup>1</sup> Лейтенант Пири (1856–1920) — американский полярный исследователь, в 1909 г. достиг Северного полюса. Герцог Мальборо — потомок герцогов Мальборо, лорд Рэндольф Черчилль (отец Уинстона Черчилля), был женат на богатой американке.

ря их продолжительной связи с айсбергами и Кобургами. Я немедленно заказываю объявление о том, что “Лесной сурок” приютит на лето сих выдающихся лиц, и рассылаю его по всем городам и местечкам от Ноксвилла и Шарлотты до Рыбьей Запруды и Медвежьего Угла.

А теперь взгляните на веранду, джентльмены, где в ожидании герцога и лейтенанта сидят безутешные образчики прекрасного пола. Весь дом от чердака до погреба битком набит жрицами культа героев.

Среди них — четыре учительницы нормальных школ и две ненормальных, три выпускницы средних школ в возрасте от 37 до 42 лет, две литературные старые девы и одна не пишущая, парочка дам из общества и одна дама с берегов реки Хо. Две чтицы-декламаторши ночуют в ларе для кукурузы, а на сеновал я втиснул две складные койки для кухарки и редакторши отдела светской хроники чатанугской газеты “Бинокль”. Видите, какова притягательная сила имен, джентльмены? — говорит Выкури-Вон.

— Так чего ж ты теперь показываешь кукиш своей Фортуне? Это на тебя совсем не похоже, — говорю я ему.

— Я еще не кончил, — отвечает старик. — Вчера был день, назначенный для приезда прославленных лиц. Я отправился на станцию их встречать. Смотрю: сходят с поезда два явно одушевленных предмета. У обоих в руках сумки, набитые крокетными молотками, и волшебные фонари — ну, знаете, которые с кнопками. Сравниваю я эти величины с их автографами, джентльмены, и вижу, что ошибка произошла по причине моего слабого зрения. Оказалось, что это вовсе не лейтенант Пири, а некий Леви Т. Пиви, продавец содовой воды из Эшвилла, а герцог Мальборо — не кто иной, как Тео Дрейк Мерффрисборо, приказчик в бакалейной лавке. Что я сделал? Я погрузил их обратно в вагон и постоял на платформе, пока эти низкие твари не отбыли обратно в свои низины.

— Теперь вам ясно, джентльмены, в какую переделку я попал? — продолжает Выкури-Вон Смизерс. — Я известил дам, что именитые гости задержались в дороге вследствие

непредвиденных обстоятельств, намекнув на подвижку льдов и богатую наследницу, и что дня через два они придут. Когда дамы поймут, что их обманули, то все эти многочисленные ярды клетчатой кисеи и накладных локонов соберут свои пожитки и уедут. Жуткое дело, — говорит Выкури-Вон.

— Дружище! — восклицает Энди, ткнув старика пальцем в пищевод. — К чему вся эта иеремиада, когда Северный полюс и порталы замка Бленхейм<sup>1</sup> вступили в заговор с целью вручить вам золотые горы на серебряном блюде высшей пробы? К вам прибыли мы.

Лицо старика Выкури-Вон просветлело.

— Вы можете это сделать, джентльмены? — спрашивает он. — Вы могли бы это сделать? Вы могли бы изобразить полярного исследователя и коротышку-герцога для этих милых дам? Вы это сделаете?

Я вижу, что Энди уже обуяла его старая перорально-полиглотическая система плутовства. Этот человек владел словарем тысяч в десять слов и синонимов, которые, едва успев слететь с его языка, тут же выстраивались в мудреные притчи и софизмы.

— Послушайте, — говорит Энди старику Выкури-Вон. — Вы спрашиваете, можем ли мы это сделать? Мистер Смизерс, перед вами — два человека, лучше всех на свете экипированные для обольщения неимущих классов, будь то посредством оборотов речи, ловкости рук или резвости ног. Герцоги приходят и уходят, полярные исследователи уходят и без вести пропадают во льдах, а мы с Джеффом Питерсом пребываем вовеки. Если таково ваше желание, мы и есть та пара знаменитых постояльцев, которых вы ожидали. И вы убедитесь, что мы придадим настоящий местный колорит всем главным ролям — от северного сияния до герцогских фризов и карнизов.

Старик Выкури-Вон приходит в восторг. Он ведет нас с Энди под ручки в гостиницу и всю дорогу клянется, что

<sup>1</sup> Замок Бленхейм — родовое поместье герцогов Мальборо в Англии.

роскошнейшие консервированные фрукты и другие деликатесы прямо со скорых товарных поездов будут бесплатно предоставлены нам на все то время, пока мы у него живем.

Подойдя к веранде, Выкури-Вон говорит:

— Уважаемые дамы, имею честь представить вам его экселенцию герцога Мальборо и прославленного изобретателя Северного полюса лейтенанта Пири.

Под шелест многочисленных юбок и скрип качалок мы с Энди отвешиваем поклоны и идем записываться в книгу для приезжающих. Затем мы умываемся, переворачиваем свои манжеты, а хозяин, проводив нас в отведенные нам комнаты, достает четвертную бутылку настоящей "Горной росы" из Северной Каролины.

Когда Энди стал пить, я сразу понял, что это плохо кончится. Он подвержен артистическому психозу: будучи трезвым, он наполовину пьян, а стоит ему чуть-чуть пригубить, как он уже начинает смотреть сверху вниз на аэропланы.

Просидев некоторое время за бутылкой, мы с Энди вышли на веранду, где дамы сразу же начали зарабатывать нам на пропитание. Мы уселись в наши кресла, а учительницы и литераторши окружили нас тесным кольцом своих качалок.

Одна дама обращается ко мне с вопросом:

— Как прошло ваше последнее предприятие, сэръ?

При этих словах я вспоминаю, что начисто забыл сговориться с Энди насчет того, кто я — герцог или лейтенант. А из вопроса этой дамы никак нельзя было понять, интересуют ли ее экспедиции арктические или матримониальные. Поэтому я дал ответ, подходящий для обоих случаев.

— Ах, сударыня, — говорю я ей, — я получил ледяной душ, изрядный ледяной душ, сударыня.

Тут Энди открывает шлюзы своего красноречия, и мне сразу становится ясно, которую из двух мнимых знаменитостей я в этом спектакле играю. Ни ту и ни другую. Обоих играет Энди. Более того, он, очевидно, задался целью стать рупором всей британской знати и всех исследователей Арктики, начиная с сэра Джона Франклина и до наших дней.

Это был союз кукурузной водки с солидной беллетристической формой, которую столь высоко ценит мистер У. Д. Хоулетт<sup>1</sup>.

— Уважаемые дамы, я весьма счастлив посетить Америку, — говорит Энди, улыбаясь всему полукругу качалок. — Я считаю, что Великая хартия вольностей, воздушные шары и лыжи отнюдь не наносят ущерба красоте и очарованию американских женщин и небоскребов, а также архитектуре ваших айсбергов. В следующий раз, когда я поеду за Северным полюсом, все гренландские Вандербильты, вместе взятые, не осмелятся оказать мне холодный прием, то есть, вернее, задать мне жару.

— Опишите нам какое-нибудь из ваших путешествий, лейтенант, — просит одна нормальная.

— Извольте, — решительно отвечает Энди, икая. — Прошлой весной я доплыл на “Замке Бленхейм” до 87-го градуса широты по Фаренгейту и побил рекорд. Милые дамы, — продолжает он, — это было поистине печальное зрелище — в краю полугодовой ночи пропал без вести герцог, связанный с одним из лучших ваших семейств узами гражданской и литургической ипотеки. Когда разбились четыре склянки, в поле зрения показалось Вестминстерское аббатство, но у нас не было ни капли еды. В полдень мы выбросили за борт пять мешков с песком, и корабль поднялся на пятнадцать узлов выше. В полночь все рестораны закрылись. Сидя на ледяной лепешке, мы съели семь горячих сосисок. Вокруг простирался снег и лед. За ночь боцман вставал шесть раз: он отрывал листки от календаря, чтобы нам не отстать от барометра. В полдень, — с болью в голосе произнес Энди, — три огромных белых медведя выпрыгнули через люк в каюту, и тогда...

— Что тогда, лейтенант? — замирая от волнения, спрашивает одна из учительниц.

Энди громко всхлипывает.

— Герцогиня толкнула меня в бок! — восклицает он, сползает с кресла и разражается рыданиями на полу.

1 Питерс искажает фамилию американского писателя У. Д. Хоуэлса.

Ну, тут, разумеется, наша афера с треском лопнула. Наутро все постоялицы уехали. Хозяин целых два дня не желал с нами разговаривать, но, убедившись, что мы способны заплатить за стол и квартиру, сменил гнев на милость.

В итоге мы с Энди безмятежно провели лето, а покидая Вороний Бугор, еще увезли с собой 100 долларов, которые старик Выкури-Вон проиграл нам в семерку.

## ПРОСТАКИ С БРОДВЕЯ

— В один прекрасный день я надеюсь уйти на покой, — сказал Джефф Питерс, — и, когда это случится, никто не сможет сказать, что я взял у человека хоть один доллар, не дав ему взамен *quid pro rata*<sup>1</sup>. Закончив сделку, я всегда ухитрялся оставить клиенту на память какую-нибудь безделицу, которую можно вклеить в альбом для газетных вырезок или засунуть в щель между стеной и часами работы Сета Томаса.

Правда, однажды я чуть было не нарушил это свое правило, совершив гнусное непохвальное деяние, но от этого меня спасли законы и статуты нашего великого доходного государства.

Как-то летом мы с моим компаньоном Энди Таккером отправились в Нью-Йорк, чтобы пополнить наш ежегодный ассортимент костюмов и мужской галантереи. Мы всегда одевались по последней моде, справедливо полагая, что импозантная внешность — один из первейших атрибутов нашего ремесла, уступающий разве что знакомству с расписанием поездов и фотографии президента с его автографом, которую подарил нам Леб<sup>2</sup>, — скорей всего по ошибке. Энди однажды написал ему письмо о природе, в котором между прочим упомянул, что в детстве мать не разрешала ему ловить раков пятерней. Леб, наверное, понял

1 Справедливое вознаграждение за услугу (*искаж. лат.*).

2 Жак Леб (1859–1924) — немецкий физиолог и естествоиспытатель, живший в США.

это место так, что она “разрешилась пятерней”, и прислал нам портрет. Как бы там ни было, мы с успехом показывали его в подтверждение своей благонамеренности.

Мы с Энди всегда избегали делать бизнес в Нью-Йорке. Уж очень это смахивает там на браконьерство. Ловить ротозеев в этом городе все равно что глушить окуней динамитом в техасских озерах. Для этого достаточно встать на углу в любой точке между Северной и Восточной рекой<sup>1</sup> и держать в руках мешок с надписью: “Пачки банкнот опускать сюда. Чеки и отдельные бумажки не принимаются”. Рядом должен находиться полисмен, чтоб отгонять дубинкой разную шуштуру, которая норовит подсунуть почтовые переводы или канадские деньги. И это все, что может сделать в Нью-Йорке охотник, влюбленный в свое ремесло. Потому-то мы с Энди в этом городишке обычно превращались в естествоиспытателей. Вооружившись полевыми биноклями, мы наблюдали, как олухи, шатающиеся по бродвейским болотам, накладывают гипс на свои сломанные конечности, а после потихоньку смывались, не сделав ни единого выстрела.

Как-то раз мы с Энди, гуляя по переулку в десятке дюймов от Бродвея, забрели в некое злачное место, где под сенью пальм из папье-маше клиентам подсыпают в пиво снотворное, и тут на нашу голову навязался какой-то нью-йоркский житель. Мы пили с ним за одним столиком пиво, как вдруг выяснилось, что у нас есть общий знакомый по фамилии Хелсмит, коммивояжер фирмы по производству печей в Дудлуте. Это дало нам повод заметить, что мир тесен, после чего этот нью-йоркский житель срывает с себя веревку, сбрасывает упаковку из фольги и стружек и излагает нам свое жизнеописание, начиная с времен, когда он продавал индейцам шнуры для ботинок на том самом месте, где нынче стоит Тэмени-холл.

Этот житель Нью-Йорка был владельцем сигарной лавки на Бикмен-стрит и уже лет десять ни разу не заходил на

<sup>1</sup> Северная река (Гудзон) и Восточная река с двух сторон омывают остров Манхэттен.

север дальше Четырнадцатой улицы. Более того, у него была борода, между тем как давно уже прошло то время, когда уважающий себя жулик мог обидеть бородача. Теперь ни у одного афериста не хватит духу околпачить человека, который предал забвению бритву. На такое может пойти только вдова или мальчишка, вербующий подписчиков на иллюстрированный еженедельник с целью получить в награду духовое ружье. Этот бородач был типичный провинциал — бьюсь об заклад, что за последние четверть века он ни разу не удалялся за пределы видимости небоскреба.

Итак, вскоре эта столичная деревенщина достает пачку банкнот, туго стянутую синей нарукавной резинкой, и через стол протягивает ее мне.

— Мистер Питерс, — говорит он, — тут пять тысяч долларов, скопленных мною за пятнадцать лет коммерческой деятельности. Положите их в карман и сохраните их для меня, мистер Питерс. Я рад, что встретил вас, джентльменов с Запада. Я могу хлебнуть лишнего и поэтому прошу вас сбереечь для меня эти деньги. А теперь давайте выпьем еще по кружке пива.

— Держали б вы их лучше при себе, — отвечаю я ему. — Вы нас совсем не знаете. Нельзя доверять первому встречному. Положите свою пачку обратно в карман да отправляйтесь восвояси, покуда какой-нибудь батрак из долины реки Хо не явился сюда и не продал вам медный рудник.

— Ерунда, — говорит бородач. — Полагаю, что старина Нью-Йорк как-нибудь сам за себя постоит. Я честного человека сразу вижу. Я всегда считал, что на Западе живут хорошие люди. Прошу вас, мистер Питерс, сделайте одолжение — спрячьте эту пачку к себе в карман. Я джентльмена сразу отличаю. Давайте лучше выпьем еще пивка.

Не прошло и десяти минут, как этот дождь из манны небесной откинулся на спинку стула и захрапел. Энди смотрит на меня и говорит:

— Я, пожалуй, побуду с ним минут пять, на случай, если вдруг придет официант.

Я вышел в боковую дверь, прогулялся по улице, вернулся и снова сел за стол.

— Энди, — говорю я. — Не могу. Это слишком похоже на дачу ложных показаний в налоговом управлении. Я не могу уйти с его деньгами, не сделав никакой попытки их заработать — ну, хотя бы воспользоваться законом о банкротствах или сунуть ему в карман пузырек с примочкой от экземы, чтоб это хотя бы отдаленно напоминало честную сделку.

— Да, — согласился Энди, — сбежать с достоянием бородач-клиента, особенно после того, как он в благодушной наивности урбанистического легкомыслия сам назначил тебя стражем своей кубышки, — это, конечно, недостойно профессионала. Давай попробуем сочинить какой-нибудь коммерческий софизм, в силу которого он мог бы снабдить нас и деньгами, и оправданием.

Мы будим бородача. Он потягивается, зеваает и высказывает гипотезу, что, очевидно, на минутку задремал. Потом он говорит, что, пожалуй, не имел бы ничего против маленькой джентльменской партии в покер. Когда он ходил в школу в Бруклине, он частенько баловался картишками, а уж коль скоро он решил кутнуть, так почему бы... и так далее.

Энди повеселел, усмотрев в этом возможный выход из наших финансовых затруднений. И вот мы все трое отправляемся по Бродвею к нам в гостиницу и велим принести в номер Энди карты и фишки. Я еще раз пытаюсь всучить этому невинному младенцу его пять тысяч. Но не тут-то было.

— Сделайте одолжение, мистер Питерс, — говорит он. — Поддержите эту пачку пока у себя. Я ведь не где-нибудь, а среди друзей. Поверьте, что человек, который двадцать лет делал бизнес на Бикмен-стрит, в самом сердце этого хитрейшего на свете городишка, прекрасно знает, что к чему. Я уж как-нибудь отличу джентльмена от мазурика и проходимца. У меня в карманах еще осталась кой-какая мелочь — для начала хватит.

Он роется в карманах, и на стол сыплется столько золотых монет по двадцать долларов, что это начинает напоми-

нать картину Тернера “Осенний день в лимонной роще”, которую на выставке оценили в 10 000. Энди чуть не улыбнулся.

В первом же раунде этот пижон кладет на стол свои карты и, даже не пытаясь блефовать, сообщает нам, что у него на руках каре валетов и десятка бубен, после чего сгребает весь банк.

Энди всю жизнь гордился своим искусством играть в покер. Он встал из-за стола и принялся грустно смотреть в окно на трамваи.

— Джентльмены, — говорит бородач. — Я не сержусь на вас за то, что вы не хотите со мной играть. Я так давно не занимался этим делом, что наверняка перезабыл все тонкости. Скажите, джентльмены, вы еще долго пробудете в городе?

Я говорю, что примерно неделю. Он отвечает, что ему это как нельзя более кстати. Сегодня вечером из Бруклина приедет его двоюродный брат, и они пойдут осматривать нью-йоркские достопримечательности. Его двоюродный брат торгует протезами и свинцовыми гробами. Он уже лет десять не переезжал через мост. Они решили повеселиться напропалую. В заключение он просит меня поддержать его деньги до завтра. Я снова попытался их отдать, но он счел это за личное оскорбление.

— Мне хватит мелочи, которая у меня осталась, — говорит он. — А пачка пусть полежит у вас. Завтра часов в шесть или семь вечера я к вам загляну, и мы с вами и с мистером Таккером пообедаем. Будьте пайныками.

После ухода бородача Энди посмотрел на меня с любопытством и сомнением.

— Джефф, — сказал он, — похоже, что вороны так стараются нас накормить, словно мы с тобой — два Ильи-пророка<sup>1</sup>. И если мы их отринем, то как бы на нас не напустилось Общество защиты пернатых имени Одубона<sup>2</sup>. Нельзя слишком

<sup>1</sup> По библейской легенде, Илья-пророк в пустыне кормил вороны.

<sup>2</sup> Джон Джеймс Одубон (1783–1861) — американский путешественник, художник, писатель, больше всего известный своей книгой “Птицы Америки”, которую сам иллюстрировал.

часто отказываться от короны. Разумеется, все это сильно смахивает на отеческое попечение, но не кажется ли тебе, что Удача уже достаточно долго стучится к нам в двери?

Я положил ноги на стол и засунул руки в карманы — поза, отнюдь не располагающая к фривольным мыслям.

— Энди, — отвечаю я. — Этот волосатый бородач поставил нас в весьма затруднительное положение. Мы связаны по рукам и ногам и не смеем даже пальчиком тронуть его деньги. Мы заключили джентльменское соглашение с Фортунной и никак не можем его нарушить. На Западе, где мы делаем бизнес, он больше похож на честную игру. Там люди, которых мы хотим обчистить, пытаются обчистить нас — даже фермеры или нищие эмигранты, которых редакции журналов посылают рекламировать золотые прииски. Но в Нью-Йорке с удочкой, ружьем и спиннингом не разгуляешься. Здесь ходят на охоту либо с рогаткой, либо с рекомендательным письмом. В здешних водах столько сазанов, что вся мелкая рыбешка давно ушла. Ты думаешь, что если закинуть здесь сеть, то в нее попадет законная добыча, которую сам бог велел ловить, — наглые всезнайки, хлыщ-шулера, уличные зеваки и деревенские проныры? Нет, сэр. Здесь жулики пробавляются за счет вдов и сирот или за счет иностранцев, которые скопили мешок денег и готовы выложить его на первую попавшуюся стойку, да еще за счет фабричных работниц и мелких лавочников, которые никогда не выходят за пределы своего квартала. Вот кто здесь попадает на удочку — консервированные сардины, для которых не требуется никакой наживки, кроме карманного ножа и соленого печенья.

Этот сигарочник как раз и есть один из подобных типов. Он прожил двадцать лет на одной улице и знает ровно столько, сколько ты узнаешь от немого цирюльника, пока он бреет тебя в каком-нибудь канзасском захолустье. Но зато он — житель Нью-Йорка, и он будет похвастаться этим все то время, когда не гоняется за последними новостями, не оказывается перед трамваем, не стоит под сейфом, который втаскивают лебедкой на последний этаж небоскре-

ба, или не отдает свои деньги перехватчику биржевых телеграмм. Уж если житель Нью-Йорка решил дать себе волю, так это напоминает ледоход на реке Аллегейни — отходи подальше, не то тебя собьет с ног холодной водой и льдинами.

— Нам здорово повезло, Энди, — продолжаю я, — что этот представитель сигарных интересов с гарниром из петрушки облек нас своим младенческим доверием и альтруизмом. Ибо эти его пять тысяч подрывают мои нравственные устои и этические нормы. Мы не можем их взять, Энди, ты сам прекрасно знаешь, что не можем, ведь мы не имеем на них ни малейшего, ну просто ни малейшего права. Будь у нас хотя бы тень основания на них посягнуть, я бы с удовольствием предоставил ему возможность поработать еще двадцать лет, чтобы накопить еще пять тысяч, но увы — мы ему ничего не продавали, ни в какие сделки с ним не вступали и никаких коммерческих соглашений с ним не подписывали. Он оказал нам дружеское доверие, — говорю я, — и со слепым прекраснодушием идиота вложил свое добро нам в руки. Нам придется отдать ему эти деньги, как только он того пожелает.

— Твои аргументы выше всякой критики и разума, — отвечает мне Энди. — Конечно, мы не можем уйти с его деньгами — при теперешнем положении вещей. Я восхищаюсь твоей добросовестностью в бизнесе и не позволю себе никаких предложений, которые не соответствовали бы твоим теориям личной инициативы и морали. Однако на сегодня и завтра я вынужден тебя покинуть. Мне надо заняться кой-какими делами, — говорит он. — Когда этот меценат придет сюда завтра вечером, удержи его до моего возвращения. Ведь мы приглашены на обед.

И вот, сэр, назавтра часов около пяти появляется наш сигарочник. Глаза у него наполовину запылились.

— Мы изумительно провели время, мистер Питерс, — говорит он. — Обошли все достопримечательности. Да, доложу я вам, Нью-Йорк — это первый класс, прима. Сейчас, если вы не возражаете, я прилягу на эту софу и сосну минут

этак девять — до прихода мистера Таккера. Я не привык всю ночь не спать. А завтра, мистер Питерс, если вы ничего не имеете против, я хотел бы взять у вас эти пять тысяч. Вчера вечером я познакомился с одним человеком, который совершенно точно знает, кто победит на завтрашних скачках. Простите мою неучтивость, мистер Питерс, но я сегодня не выспался.

И вот этот обитатель второго города в мире ложится и начинает храпеть, а я сижу рядом, размышляю о разных вещах и мечтаю поскорее вернуться на Запад, где клиент всегда будет драться за свои деньги с упорством, вполне достаточным для того, чтобы твоя совесть позволила тебе их у него отобрать.

В половине шестого в комнату входит Энди и видит спящее тело.

— Я ездил в Трентон, — говорит он, вынимая из кармана какую-то бумагу. — Мне кажется, я отлично уладил это дело, Джефф. Вот, посмотри.

Я разворачиваю бумагу и вижу, что это патент на право учреждения корпорации, выданный штатом Нью-Джерси “Объединенной Акционерной Компании Развития Воздушных Путьей “Питерс и Таккер”.

— Это дает преимущественное право на беспрепятственное пользование воздушными коридорами, — поясняет Энди. — Законодательное собрание штата сегодня не заседало, но я разыскал в кулуарах владельца газетного киоска, который на всякий случай держит у себя запас патентных бланков. Всего имеется в наличии сто тысяч акций, которые, как ожидают, должны достичь номинальной стоимости в один доллар каждая. Я заказал в типографии бланк свидетельства на долю участия в акционерном капитале компании.

С этими словами Энди вынимает бланк, берет вечную ручку и начинает его заполнять.

— Весь этот капитал наш друг из царства грез получит оттом за пять тысяч долларов. Ты узнал, как его фамилия?

— Пиши на предъявителя, — отвечаю я.

Мы вложили свидетельство в руку сигарочника и принялись укладывать чемоданы.

На пароме Энди говорит:

— Ну как, Джефф, теперь твоя совесть спокойна?

— Разумеется, спокойна, — отвечаю я. — Чем мы лучше любой другой акционерной компании?

## СТИХШИЙ ВЕТЕР

Вид Бакингема Скиннера впервые нарушил покой моих зрительных нервов в Канзас-Сити. Стоя на углу против одного конторского здания, я увидел, как Б. Скиннер высунул свою рыжую голову из окна третьего этажа и во всю глотку заорал: “Тпру! Тпру!” — как бы пытаясь остановить сбежавших мулов.

Я оглянулся по сторонам, но не обнаружил в поле зрения ни единого представителя животного царства, если не считать двух привязанных к столбу фургонов да полисмена, которому чистили башмаки. Спустя минуту этот самый Бакингом Скиннер скатился с лестницы, выскочил из дверей, добежал до угла, остановился и окинул взором улицу, по которой клубилась воображаемая пыль, поднятая несуществующими подковами мифической упряжки химерических четвероногих. Затем Б. Скиннер вернулся на третий этаж в контору, и я увидел над окнами вывеску “Акционерное Общество Взаимного Кредита “Друг Фермера”.

Через некоторое время Рыжий снова появился внизу, тогда я перешел через улицу ему навстречу, ибо у меня возникли кой-какие идеи. Да, сэр, подойдя поближе, я сразу увидел, в чем он переигрывал. Он, конечно, выглядел типичным деревенским увальнем, пока дело касалось синих штанов и сапог из воловьей кожи, но у него были холеные руки актера, а сдвинутая на ухо соломенная шляпа была явно позаимствована из театрального реквизита труппы, играющей “Старую ферму”. Меня одолело любопытство, и я решил узнать, чем он промышляет.

— Скажите, это ваши мулы только что отвязались и сбежали? — вежливо спрашиваю я. — Я пытался их остановить, но где там! Они наверняка уже на полдороге к ферме.

— Черт бы побрал этих проклятых мулов! — отвечает Рыжий с таким правдоподобным прононсом, что я чуть было не рассыпался в извинениях. — Вечно они сбегают.

С этими словами он пристально на меня взглянул, снял свою дурацкую шляпу и совсем другим голосом сказал:

— Я хотел бы позвать руку мистеру Парле-Ву Пикенсу, величайшему уличному шарлатану на всем Западе, за исключением одного только Монтегью Силвера, чего вы, разумеется, отрицать не станете.

Я разрешил ему позвать мне руку.

— Я учился у Силвера и готов уступить ему пальму первенства, — говорю я. — Но скажи, сынок, чем ты тут промышляешь? Должен признаться, что фиктивное бегство апокрифических животных, по адресу коих ты произнес замечание “тпру”, несколько меня озадачило. В чем суть этого трюка?

Бакингом Скиннер покраснел.

— Карманные деньги, только и всего, — отвечал он. — Мои финансы временно пришли в упадок. В городе такого размера сюжет со шляпой из сенной трухи дает сорок долларов. Как я это делаю? Прежде всего я напяливаю отвратительное одеяние деревенского недотепы. Набальзамированный таким образом, я превращаюсь в Джонаса Брюквингема — имя, лучше которого едва ли можно придумать. Затем я с грохотом вваливаюсь в какую-нибудь кредитную контору, удобно расположенную на третьем этаже окнами на улицу. Положив на пол шляпу и нитяные перчатки, я обращаюсь с просьбой выдать мне под залог моей фермы ссуду в две тысячи долларов, которая необходима для завершения музыкального образования моей сестры в Европе. В кредитных конторах обожают ссуды подобного сорта. Ставлю десять против одного, что, когда настанет срок оплаты векселя, лишение права выкупа закладной на целых два корпуса опередит самое резвое стаккато.

И вот, сэр, в ту самую минуту, когда я сую руку в карман, чтобы извлечь из него документ на право владения фермой, я вдруг слышу, что моя упряжка сорвалась с привязи и удирает. Подбежав к окну, я издаю вышеупомянутый звук — или, если угодно, восклицание “тпру!”. Затем я скатываюсь вниз, выбегаю на улицу, бросаюсь вдогонку и вскоре возвращаюсь назад.

“Проклятые мулы, — говорю я, — опять они сбежали, да на этот раз еще сломали дышло и разорвали две постромки. Теперь я должен топтать домой на своих на двоих, потому что не взял с собою денег. Пожалуй, придется нам отложить разговор о ссуде до другого раза, джентльмены”.

Вслед за тем я возвожу очи горе и, подобно сынам израилевым, жду, когда на меня упадет манна небесная.

“Что вы, мистер Брюквингем, — говорит мне красный как рак субъект в очках и в пикейном жилете, — сделайте одолжение, возьмите у нас до завтра десять долларов. Почините сбрую и приходите в десять часов утра. Мы будем очень рады помочь вам с этой ссудой”.

— Все это проще простого, — скромно замечает Бакингом Скиннер, — но, как я уже говорил, годится лишь как временная мера и лишь для мелких сумм.

— В случае стихийного бедствия все средства хороши, — говорю я, щадя его чувства. — Конечно, это безделица по сравнению с организацией треста или с партией в бридж, но ведь и Чикагский университет тоже с малого начинался.

— А вы каким бизнесом сейчас занимаетесь? — спрашивает меня Бакингом Скиннер.

— Законным, — отвечаю я. — Продаю горный хрусталь и Электрическую батарею от Головной Боли доктора Касторкини, Швейцарский Манок для Певчих Птичек, модные башмаки и туфли, а также Золотой Мешок, в котором хранится позолоченное кольцо для обручения и свадьбы, шесть луковиц египетской каллы, комбинированная вилка для соленых огурцов, она же ножницы для ногтей и, наконец, полсотни гравированных визитных карточек — ни од-



на фамилия не повторяется дважды — и все за тридцать восемь центов.

— Два месяца назад я был в Техасе, — рассказывает Бакингом Скиннер, — и неплохо зарабатывал там на патентованных мгновеннодействующих бензиновых зажигалках из прессованной древесной золы. Я продавал их сотнями в городах, где любят сжигать негров быстро, не теряя времени на просьбу дать огонька. И вот, в то самое время, когда мои дела шли как по маслу, там ни с того ни с сего находят нефть и вытесняют меня с рынка. “Твоя машинка слишком медленно действует, сосед, — говорят они мне. — Пока твой старый трут и огниво нагреет негра до такой температуры, что он начнет молиться за упокой своей души, глядишь, наш керосин уже отправил его прямехонько в ад!” Пришлось мне, значит, бросить свои зажигалки и переехать в Канзас-Сити. Этот маленький дивертисмент с легендарной фермой и гипотетической упряжкой, который я исполнил на ваших глазах, совсем не по моей части, и мне очень стыдно, что вы видели меня в этой роли, мистер Пикенс.

— Никто не должен стыдиться, что наложил на кредитную контору контрибуцию, будь она всего лишь в десять долларов, — мягко замечаю я. — Хотя, разумеется, это нельзя назвать безусловно честным поступком. Это почти то же, что брать деньги в долг без отдачи.

Бакингом Скиннер мне сразу понравился. Вскоре мы стали с ним друзьями, и я посвятил его в свой новый план и предложил войти в долю.

— Я рад и счастлив принять участие в чем угодно, кроме явно нечестных деяний, — ответил мне Бак. — Давайте извлечем квинтэссенцию из вашей пропозиции. Я чувствую себя униженным, когда ради ничтожной суммы в десять долларов мне приходится принимать буколический облик и носить в волосах бутафорскую солому. Откровенно говоря, мистер Пикенс, я при этом чувствую себя как Офелия на сцене Великой Оксидентальной Театральной Конгрегации.

Мой новый план как нельзя более соответствовал моим наклонностям. От природы я несколько сентиментален и

потому отношусь с симпатией к умиротворяющим элементам бытия. Я склонен проявлять снисходительность к наукам и искусствам и всегда нахожу время для восторгов перед такими гуманистическими явлениями природы, как романтика, атмосфера, трава, поэзия и четыре времени года. Когда я чищу жирного сазана, я не упускаю случая полюбоваться красотой его призматической чешуи. Продавая какую-нибудь золотоносную безделушку человеку с мотыгой, я никогда не игнорирую гармонического сочетания зеленого и желтого цветов. Потому-то мне и полюбился этот план — он был так полон свежего воздуха, пейзажей и бешеных денег.

Для осуществления задуманной махинации нам требовалась молоденькая ассистентка, и я спросил Бака, нет ли у него на примете какой-нибудь девицы.

— Хладнокровной и сугубо деловой, начиная от прически “помпадур” и кончая полуботинками “Оксфорд”. Никакие экс-хористки, жевательницы резинки или зазывалы клиентов для уличных художников нам не годятся.

Бак сказал, что знает одну подходящую фемину по имени мисс Сара Мэллой, и тут же повел меня к ней.

Мисс Мэллой пленила меня с первого взгляда. Это был товар точно по заказу. Ни малейшего намека на три “П” — пероксид, папильотки и пачули. Двадцать два года, темные волосы, приятные манеры — словом, женщина что надо.

Мисс Мэллой с ходу берет быка за рога.

— Попрошу план махинации, — говорит она.

— Ах, мадемуазель, наша маленькая афера настолько прелестна, изящна и романтична, что по сравнению с ней сцена на балконе из “Ромео и Джульетты” может показаться грубой кражей со взломом на втором этаже.

Мы все обсудили, и мисс Мэллой согласилась принять участие в нашем предприятии. Она сказала, что рада возможности отказаться от места секретаря-стенографистки в конторе по продаже пригородных участков и заняться чем-нибудь более respectableм.

Наш план состоял в следующем. Во-первых, я разработал его по поговорке. Лучшие плутни в мире основаны на прописных истинах, псалмах, пословицах и баснях Исава, в которых скупыми словами характеризуется какое-либо свойство человеческой природы. Наша невинная маленькая комбинация была построена на старинной поговорке: "Все племя жуликов любит влюбленных"<sup>1</sup>.

В один прекрасный вечер Бак и мисс Мэллой с быстротою молнии подкатывают на повозке к дверям какой-нибудь фермы. Бледная, но бархатистая и нежная, как персик, она прильнула к его плечу — томно прильнула к его плечу. Они рассказывают, что убежали от жестоких родителей, которые противятся их свадьбе. Они спрашивают, где можно найти священника. Фермер отвечает: "Ах ты господи, тут поблизости нет ни одного священника, кроме преподобного Авелса, да и тот живет на Кэни-Крик, отсюда миля четыре". Фермерша вытирает руки фартуком и протирает очки.

Вдруг откуда ни возьмись по дороге тарыхтит таратайка, а на ней восседает Парле-Ву Пикенс — весь в черном, с белым галстуком и длинной физиономией. Он шмыгает носом, издавая противоестественные звуки, напоминающие молитву.

"Ах ты господи, — восклицает фермер, — провалиться мне на этом месте, если это не священник!"

Выясняется, что я — преподобный Обадиа Грин и держу путь в Малый Вифлеем с целью прочитать проповедь в тамошней воскресной школе.

Молодые люди утверждают, что им необходимо немедленно обвенчаться, потому что папаша выпряг из плуга мулов, запряг их в телегу и гонится за ними по пятам. И вот его преподобие Грин, после недолгого колебания, совершает свадебный обряд у фермера в гостиной. Фермер ухмыляется, выносит бутылку сидра и говорит: "Ах ты господи!"

<sup>1</sup> Так запомнилась рассказчику фраза из очерка "О любви" американского поэта и философа Эмерсона "Все человечество любит влюбленных".

Фермерша всхлипывает и гладит новобрачную по плечу. А лжепреподобие Парле-Ву Пикенс выписывает брачное удостоверение, на котором в качестве свидетелей расписываются фермер с фермершей. После чего участники первой, второй и третьей части усаживаются в свои экипажи и уезжают. О, это была идиллическая махинация! Верная любовь, мычание коров и красные амбары в лучах заходящего солнца. Все доселе известные плутни ей и в подметки не годились!

Кажется, я успел обвенчать Бака и мисс Мэллой не меньше чем на двадцати фермах. Меня все время мучила мысль о том, как померкнет вся эта романтика, когда банки, в которых мы дисконтировали эти брачные свидетельства, потребуют с фермеров уплаты от 300 до 500 долларов за каждый подписанный ими вексель.

15 мая мы разделили на троих около шести тысяч долларов. Мисс Мэллой чуть не расплакалась от радости. Не часто можно встретить девицу столь мягкосердечную или добродетельную.

— Мальчики, — сказала она, вытирая глаза шелковым платочком, — эта сумма пришлась мне как нельзя более кстати — даже больше, чем корсет толстухе перед балом. Она дает мне возможность исправиться. Когда вы появились на моем горизонте, я пыталась оставить бизнес, связанный с продажей недвижимости. И если б вы не пригласили меня принять участие в этой небольшой экспедиции по снятию эпидермиса с брюквоядов, я наверняка пошла бы по дурному пути. Я уже готова была наняться на один из этих Женских Благотворительных Базаров, где под названием Завтрак Бизнесмена продают за 75 центов ложку куриного салата и булочку с кремом, чтобы на вырученные деньги построить дом для приходского священника.

А теперь я могу заняться честным благородным делом и предать забвению все эти сомнительные операции. Я поеду в Цинциннати и открою там кабинет хиромантии и ясновидения египетской волшебницы мадам Сарамалой, где каждый всего лишь за доллар сможет получить полную

порцию своего будущего. До свидания, мальчики. Послушайте моего совета — займитесь какими-нибудь приличными плутнями. Вступите в союз с полицией и прессой, и все будет в порядке.

Итак, мы пожали друг другу руки, и мисс Мэллой нас покинула. Мы с Баком тоже собрали свои пожитки и отъехали на пару сотен миль: нам не особенно хотелось дожидаться срока оплаты брачных свидетельств.

С четырьмя тысячами долларов на двоих мы отправились к берегам Нью-Джерси в один нахальный городишко, известный под названием Нью-Йорк.

Если есть на свете птичник, сверху донизу набитый гусями и гусынями, так это именно Олухвиль-на-Гудзоне. Его называют городом космополитов. Что верно, то верно. Такова же полоска липучки для мух. Прислушайтесь к тому, что они жужжат, пытаясь выпростать свои лапки из клея. «Старина Нью-Йорк — городок что надо», — хором выводят они.

Той деревенщины, что проходит по Бродвею за единственным час, вполне достаточно для закупики всей недельной продукции расположенной в Огасте (штат Мэн) фабрики Новомодных Новинок, вроде дутых золотых колец и тупых шпилек для запускания друзьям.

Может, вы думали, что в Нью-Йорке живут одни умники? Ничего подобного. Там ни у кого нет ни малейшего шанса хоть чему-нибудь научиться. Там такая теснота, что даже простак — и те ходят косяками. Да и в самом деле — чего хорошего можно ожидать от города, который отделен от мира с одной стороны океаном, а с другой — штатом Нью-Джерси?

Нью-Йорк не место для честного жулика с небольшим капиталом. Мошенничество облагается там слишком высоким протекционным тарифом. Когда Джованни продает квартиру вареных макарон и шелухи от каштанов, даже он должен поднести пинту всеядному фараону. А хозяин гостиницы требует двойную плату за все, что внесено в счет, который он посылает с полицейским в храм божий, где герцог готовится вступить в брак с богатой наследницей.

Правда, старый Дрянбург-близ-Кони-Айленда — идеальное местечко для утонченного разбоя, но и то лишь если вы способны уплатить пошлину за мошенничество. Импортные плутни обходятся здесь очень дорого. Таможенники, приставленные за этим следить, вооружены дубинками, и очень трудно проташить контрабандой даже какую-нибудь игрушку для завоевания Бруклина, если только у вас нет денег на пошлину. Но теперь мы с Баком, обзаведясь капиталом, снизились на Нью-Йорк с целью всучить столичным дикарям несколько стеклянных бусин в обмен на недвижимость — точь-в-точь как это делали голландцы лет эдак сто или двести назад.

В одной ист-сайдской гостинице мы свели знакомство с неким Ромулусом Дж. Этербери, человеком, обладавшим самой способной к финансам головой на всем белом свете. Она была вся блестящая и лысая, не считая седых бакенбардов. Стоит вам увидеть такую голову за конторским барьером, и вы в мгновение ока выложите миллион, даже не попросив квитанции. Этот Ромулус Дж. Этербери был щегольски одет, хотя ел он очень редко, и рядом с резюме его речей сладкогласные напевы сирены звучали бы как брань ломового извозчика. Он утверждал, что когда-то состоял членом фондовой биржи, но некоторые крупные капиталисты так сильно ему завидовали, что составили заговор и вынудили его продать свое место.

Мы с Баком очень понравились этому Этербери, и он специально для нас принялся набрасывать на полотно кое-какие из тех планов, которые послужили причиной эвакуации его шевелюры. Один из этих планов, насчет того, как учредить национальный банк, имея всего сорок пять долларов в кармане, мог бы превратиться в твердый стеклянный шарик даже Миссисипский Мильный Пузырь<sup>1</sup>. Он рассказывал нам об этом трое суток подряд, и только когда у него

<sup>1</sup> Грандиозная финансовая афера (1717–1720), связанная с монополией французской акционерной компании на торговлю в долине Миссисипи и в Луизиане. Предприятие это лопнуло, что повлекло за собой разорение множества акционеров.

заболело горло, мы смогли вставить словечко о наших финансах. Этербери взял у нас займы четвертак, вышел на улицу, купил таблетки от кашля и начал все сначала. На этот раз он выдвинул более солидные идеи и заставил нас посмотреть на них его глазами. Задуманное им дело казалось весьма верным, и он уговорил нас вложить в него весь наш капитал. Сам он намерен вложить полированный купол своей мысли. Это была довольно деликатная афера — всего-навсего каких-нибудь полтора дюйма вне пределов досягаемости полиции, но зато прибыльная, как монетный двор, именно то, что требовалось мне и Баку, — регулярный бизнес на перманентной основе.

И вот не прошло и шести недель, как по соседству с Уолл-стритом появилась шикарно обставленная контора с выведенной золотыми буквами вывеской “Инвестиционный Банк “Голконда””. Сквозь открытую дверь кабинета вы могли лицезреть одетого с иголки секретаря и казначея, мистера Бакингема Скиннера, возле которого красовался его цилиндр. На всякий случай Бак всегда держит под рукой какую-нибудь шляпу.

В центральном зале восседал президент и главный управляющий, мистер Р. Дж. Этербери, со своим бесценным полированным кумполом. Он диктовал письма королеве стенографисток, увенчанной прической “помпадур”, помпезность коей уже сама по себе составляла надежную гарантию сохранности вкладов. Фирма располагала также бухгалтером и счетоводом, помимо общей атмосферы внешнего блеска и внутреннего криминала.

Наконец усталый взгляд посетителя мог отдохнуть, наслаждаясь зрелищем одетого кое-как, простого человека в сдвинутой набекрень грязной шапчонке, который, положив ноги на стол, поглощал яблоки. Это был не кто иной, как полковник Текумсе (бывший Парле-Ву) Пикенс, вице-президент компании.

— Никаких живописных лохмотьев мне не надо, — заявил я Ромулусу Этербери, когда мы готовили мизансцену для грабежа. — Я — человек простой и не признаю ни фран-

цузского языка, ни пижам, ни ручных гранат в форме щетки для волос. Либо вы даете мне роль неотшлифованного алмаза, либо я подаю в отставку. Если вы можете использовать меня в моей естественной, хотя и неприглядной форме, я к вашим услугам.

— Наряжать вас? — восклицает Этербери. — Ни в коем случае! В том виде, в каком вы есть, от вас будет гораздо больше проку, чем от целой кучи предметов, которым вдевают в петлицы хризантемы. Вам надлежит сыграть роль солидного, хотя и неумытого капиталиста с Дальнего Запада. Вы презираете условности. У вас так много акций, что вам не до абстракций. Консервативный, невзрачный, неотесанный, хитрый и бережливый — такова ваша поза. В Нью-Йорке это действует безотказно. Положите ноги на стол и ешьте яблоки. Кто бы ни вошел — ешьте яблоки. Пусть все видят, как вы засовываете яблочную кожуру в ящик своего стола. Старайтесь выглядеть как можно более экономным, богатым и грубым.

Я выполнил все указания Этербери. Я играл роль этакого простака-капиталиста со Скалистых Гор, без воротничка и манжет. Когда в конторе появлялся клиент, я вносил яблочную кожуру на свой текущий счет в ящик стола с таким видом, что рядом со мной показалась бы немислимой транжирой сама Хетти Грин<sup>1</sup>. Я слышал, как Этербери говорил очередной жертве, снисходительно и благоговейно улыбаясь в мою сторону:

— Это наш вице-президент, полковник Пикенс... колоссальное состояние на Западе... очаровательно простые манеры... зато в любую минуту может подписать чек на полмиллиона... простодушен, как дитя... светлая голова... консервативен и осторожен до невероятности.

Руководил предприятием Этербери. Мы с Баком так до конца и не смогли полностью во всем разобраться, хотя он нам все подробно объяснил. Похоже на то, что компания была как бы кооперативной и каждый, кто покупал акции,

<sup>1</sup> Хетти Грин — американская капиталистка.

имел право на долю прибыли. Сначала мы, служащие фирмы, приобрели контрольный пакет акций (нам полагалось им владеть), заплатив по 50 центов за сотню, то есть ровно столько, сколько взял за них типограф, а остальные акции были проданы публике по доллару штука. Компания гарантировала акционерам ежемесячную прибыль в размере десяти процентов, каковая подлежала выплате в последний день каждого месяца.

Когда взнос акционера достигал ста долларов, Компания вручала ему Золотую Облигацию, и он становился облигационером. Я однажды спросил Этербери, какие выгоды и преимущества дают вкладчику эти Золотые Облигации сверх тех льгот и привилегий, которыми пользуется рядовой простофиля, владеющий одними только акциями. Взяв в руки одну из Золотых Облигаций, разукрашенную золотым тиснением, завитушками и большой красной печатью на голубой ленте с бантиком, Этербери посмотрел на меня с таким видом, словно я смертельно его обидел.

— Дражайший полковник Пикенс, — сказал он, — в вас слабо развит инстинкт художника. Подумайте о тысячах семейств, осчастливленных этими великолепными жемчужинами литографского искусства! Представьте себе, какая радость царит в доме, где одна из наших Золотых Облигаций, перевязанная розовым шнурком, висит на этажерке для безделушек, а вторую облизывает своим розовым язычком младенец, с веселым лепетом ползающий на полу! Ах, полковник! Я вижу влагу в ваших глазах. Вы глубоко тронуты, правда?

— Ничуть, — отвечаю я. — Влага, которую вы видите в моих глазах, — всего только яблочный сок. Вы не можете требовать от одного человека, чтобы он одновременно исполнял роль пресса для сидра и знатока изящных искусств.

Этербери уделял неусыпное внимание всем деталям, связанным с деятельностью нашего концерна. Насколько я понимаю, они были весьма просты: вкладчики вкладывали деньги, и, если я не ошибаюсь, к этому сводились все их обязанности. Компания эти деньги получала, и, честно го-

воря, больше ничего я не припомню. Мы с Баком понимали в операциях Уолл-стрита меньше, чем в продаже мозольной мази, но и нам было ясно, как “Инвестиционный Банк “Толконда” делает деньги. Если вы принимаете вклад, а потом выплачиваете десять процентов, то совершенно очевидно, что вы получаете законную чистую прибыль в размере 90% за вычетом издержек — до тех пор, покуда рыбка клюет.

Этербери, кроме президента, хотел быть еще и казначеем, но Бак подмигнул ему и сказал:

— Вы вложили в дело свои мозги. По-вашему, прием денег — образец работы для мозга? Советую вам хорошенько поразмыслить. Сим я назначаю себя казначеем *ad valorem, sine die*<sup>1</sup> и без голосования. Это небольшое количество мозговой деятельности я жертвую безвозмездно. Мы с Пиком вложили в дело свой капитал, и мы намерены распоряжаться его незаработанным приростом, по мере того как он будет прирастать.

Пятьсот долларов ушло на аренду помещения и на первый взнос за мебель, полторы тысячи — на типографские расходы и рекламу. Этербери свое дело знал.

— Мы продержимся ровно три месяца, минута в минуту, — объявил он. — Одним днем больше — и мы либо сядем на мель, либо сядем в кутузку. К этому времени мы должны заработать шестьдесят тысяч. После чего мне потребуется пояс, чтоб зашить в него купюры, и нижняя полка в вагоне, а бульварные писаки и владельцы мебельного магазина пускай себе подводят итог.

Наши объявления возымели действие.

— Разумеется, мы поместим объявления в сельские еженедельники и в вашингтонские листки, которые печатаются на ручном печатном станке, — сказал я, когда мы собирались заключать контракты.

— Друг мой, — говорит мне Этербери, — в качестве агента по рекламе вы способны в разгар жаркого лета скрыть

<sup>1</sup> Латинские термины, означающие “согласно стоимости” и “на неопределенный срок”.

от людского носа производство лимбургского сыра. Дичь, на которую мы охотимся, водится здесь, в читальнях Нью-Йорка, Гарлема и Бруклина. Это люди, для которых изобретены буфера на трамваях, "Ответы читателям" в газетах и объявления о розыске карманных воров. Наша реклама должна печататься в самых больших нью-йоркских газетах, в верхней части первой полосы, рядом с передовицами об открытии радия и с изображениями девицы, делающей гимнастику для поправления здоровья.

Очень скоро деньги потекли к нам рекой. Баку не пришлось притворяться, будто он очень занят, — его стол был завален денежными переводами, чеками и ассигнациями. Люди ежедневно приходили в контору покупать акции.

Акции большей частью были на незначительные суммы — в 10, 25 и 50 долларов, а многие даже всего на два или три доллара. И вот несокрушимый лысый череп президента Этербери сияет энтузиазмом и сомнительной репутацией, тогда как полковник Текумсе Пикенс, неотесанный, но достойный всяческого уважения Крез с Дальнего Запада, поглощает такое количество яблок, что из мусорного ящика красного дерева, который он называет своим столом, до пола свисает кожа.

Как и предсказывал Этербери, почти целых три месяца никто нас не беспокоил. Бак без проволочек превращал в наличные все поступавшие в контору кредитные билеты и держал деньги в сейфе неподалеку от конторы. Он никогда не питал особого доверия к банкам. Мы регулярно выплачивали проценты на проданные акции, так что ни у кого не было ни малейшего повода для жалоб. У нас накопилось уже около пятидесяти тысяч наличными, и мы все трое вели роскошную жизнь — ни дать ни взять боксеры на отдыхе.

В одно прекрасное утро, когда мы с Баком, гладкие и лоснящиеся после плотного завтрака, неторопливо входили в контору, навстречу нам выскочил какой-то развязный востроглазый субъект с трубкой в зубах. Этербери мы нашли в таком виде, словно он упал под проливной дождь в двух милях от дома.

— Вы знаете этого человека? — спрашивает он.

Мы отвечаем, что не знаем.

— Я его тоже не знаю, — говорит Этербери, вытирая пот со лба. — Но я готов поставить столько Золотых Облигаций, сколько надо для оклейки камеры в Гробнице<sup>1</sup>, что он — репортер.

— Что ему тут понадобилось? — спрашивает Бак.

— Информация, — отвечает наш президент. — Сказал, что хочет купить акции. Задал мне девятьсот девяносто девять вопросов, из которых каждый попал прямехонько в самое больное место. Я уверен, что он из газеты. Меня не проведешь. Оборванец, глаз как бурав, курит жевательный табак, на воротнике перхоть, знает больше, чем Джон Пирпонт Морган и Шекспир, вместе взятые. Провалиться мне на этом месте, если он не репортер. На детективов и почтовых инспекторов мне наплевать — я беседую с ними семь минут, после чего продаю им акции, но эти репортеры способны высосать весь крахмал из моего воротничка. Ребята, я предлагаю объявить дивиденд и скрыться. На то указывают знаки зодиака.

Мы с Баком кое-как успокоили Этербери, и он перестал потеть и суетиться. Нам казалось, что этот субъект несколько не похож на репортера. Встретив вас, репортер тотчас вытаскивает блокнот и огрызок карандаша, расскажет вам старый анекдот и начнет клянчить на выпивку. Однако Этербери весь день нервничал и дрожал.

На следующее утро мы с Баком вышли из гостиницы примерно в половине одиннадцатого. По дороге мы купили газеты, и первое, что мы увидели, была целая колонка о нашей скромной афере. Этот репортеришка честил нас самым бессовестным образом. Он рассказывал о нашей комбинации так, как он ее понял, богатым, сочным языком, с юмором, способным позабавить кого угодно, но только не акционера. Да, Этербери был прав: щеголеватому казначею, башковитому президенту и неотесанному вице-прези-

<sup>1</sup> Название тюрьмы в Нью-Йорке.

денту надлежало безотлагательно удалиться, дабы продлились их дни на земле.

Мы с Бакком спешим в контору. На лестнице и в прихожей мы находим огромную толпу, которая пытается протиснуться в центральный зал, а он и без того уже набит битком. Почти у всех в руках акции "Толконды" и Золотые Облигации. Мы с Бакком заключаем, что все эти люди тоже читают газеты.

Остановившись у дверей, мы с некоторым удивлением воззрились на наших акционеров. Мы представляли их себе несколько иначе. Все они казались бедняками: среди них было много старух и молодых девушек, судя по всему, работниц с фабрик и заводов. Попадались также старики, с виду похожие на ветеранов войны, некоторые даже на костылях. Были и совсем еще мальчишки — чистильщики сапог, газетчики, рассыльные. Были рабочие в комбинезонах с засученными рукавами. Никто из всей этой компании ничем не напоминал акционера какого-либо предприятия — разве что лотка с земляными орехами. Но у всех были в руках акции "Толконды", и все имели такой убитый вид, что дальше некуда.

Когда Бак оглядел эту толпу, он побледнел, и на лице его появилось какое-то странное выражение. Подойдя к одной изможденной женщине, он спросил:

— Сударья, у вас тоже есть эти акции?

— Да, на сто долларов, — еле слышно ответила женщина. — Это все, что я скопила за год. У меня при смерти ребенок, и во всем доме нет ни цента. Я пришла узнать, нельзя ли хоть что-нибудь получить. В проспектах сказано, что можно в любое время получить свои деньги обратно. Но теперь говорят, что я все потеряла.

В толпе был один смысленный мальчишка — наверное, газетчик.

— Я вложил двадцать пять, мистер, — сказал он, с надеждой глядя на щегольской костюм и шелковый цилиндр Бака. — Каждый месяц мне выплачивали два пятьдесят. Тут один человек говорит, что они не могли это делать, если все

было честно. Как вы думаете, можно мне взять назад свои двадцать пять?

Некоторые старухи плакали. Фабричные работницы были в полном отчаянии. Они лишились всех своих сбережений, а теперь у них еще вычтут из жалованья за то время, которое они сегодня потеряли.

Одна хорошенькая девушка в красной шали сидела в углу и рыдала так горько, словно ее сердце вот-вот разорвется. Бак подошел и спросил, в чем дело.

— Понимаете, мистер, я даже не из-за денег, хотя я их целых два года копила, — отвечает она, дрожа всем телом. — Я из-за того, что Джеки теперь на мне не женится. Он возьмет Розу Стейнфилд. Я... я Джеки знаю. У нее четыреста долларов в сберегательной кассе. Ай-ай-ай! — рыдает она.

Бак все с тем же странным выражением огляделся по сторонам. И тут мы увидели этого самого репортера. Он стоял, прислонившись к стене, попыхивал трубкой и смотрел на нас своим острым глазом. Мы с Бакком подошли к нему.

— Вы очень интересный писатель, — говорит Бак. — Что вы еще собираетесь написать? Что у вас теперь на уме?

— О, я просто жду, не подвернется ли еще что-нибудь занятное, — отвечает он и знай попыхивает в свое удовольствие. — Теперь все зависит от ваших акционеров. Кое-кто может подать жалобу. Что я слышу? Это случайно не полицейский фургон? — продолжает он, прислушиваясь к стуку колес за окном. — Нет, это всего лишь катафалк для банкротов. Пора бы уж мне научиться узнавать его колокол. Да, иной раз и мне случалось написать кое-что интересное.

— Подождите немножко, — говорит ему Бак. — Я сейчас подкину вам еще порцию новостей.

С этими словами Бак сует руку в карман, извлекает оттуда ключ и протягивает его мне. Он еще и слова не успел сказать, как я уже понял, что у него на уме. Ах ты, старый разбойник! Я сразу понял, что у него на уме. Таких, как Бак, теперь не делают.

— Пик, — пристально глядя на меня, говорит он, — не жетса ли тебе, что эта махинация не совсем по нашей час-

ти? Разве мы хотим, чтобы Джеки женился на Розе Стейнфилд?

— Ни в коем случае, — говорю я. — Через десять минут все будет здесь.

Сказав это, я иду в камеру, где находится наш сейф, и вскоре возвращаюсь с большим мешком денег. Затем мы с Баком через боковую дверь вводим репортера в один из кабинетов.

— А теперь, мой литературный друг, садитесь в это кресло и сидите тихо, а я буду давать вам интервью, — говорит Бак. — Вы видите перед собой двух жуликов из Жуликсбурга, что в округе Жулико, штат Арканзас. Мы с Пиком торговали драгоценностями из латуни, средством для ращения волос, песенниками, краплеными картами, патентованными снадобьями, персидскими коврами коннектикутской выделки, политурой для мебели и альбомами для стихов во всех городах и селениях от Олд-Пойнт-Комфорт до Золотых Ворот. Мы добывали нечестным путем каждый доллар, который, по нашему мнению, отягощал карман своего владельца. Но мы никогда не гнались за монетой, спрятанной в чулке, засунутом под кирпич в углу кухонного очага. Быть может, вы слышали старинную поговорку *fussily decency averni*<sup>1</sup>, что в переводе означает: “легок путь от лотка уличного галантерейщика до конторы на Уолл-стрите”. Мы проделали этот путь, но мы не знали, куда он нас приведет. Вам полагается быть умным человеком, но ваш ум принадлежит к нью-йоркской разновидности, то есть вы склонны судить о человеке по внешнему виду его одежды. Так нельзя. Надо смотреть на подкладку, на швы и петли. Пока мы ждем полицию, вы можете вооружиться своим тупым карандашом и набросать заметки для будущего фельетона.

После этого Бак поворачивается ко мне и говорит:

— Мне наплевать, что подумает Этербери. В конце концов, он вложил в дело всего лишь свои мозги и пусть ра-

дуются, что они останутся при нем. А ты что скажешь, Пик?

— Я? Пора бы тебе знать, что я за птица, Бак, — отвечаю я ему. — Я понятия не имел, кто покупает акции.

— Отлично, — говорит Бак.

Он проходит из кабинета в главный зал и смотрит на толпу, которая пытается протиснуться за барьер. Ни Этербери, ни его шляпы нигде не видно. И Бак обращается к толпе с краткой речью:

— Эй, вы, овечки, занимайте очередь. Сейчас вы получите обратно свою шерсть. Не толкайтесь, становитесь в очередь — в очередь, а не в кучу. Сударыня, будьте так любезны, перестаньте блеять. Ваши деньги вас ждут. Послушай, сынок, не надо лезть через барьер, все твои медяки в целости и сохранности. Не плачьте, сестрица, вы не потеряли ни единого цента. Говорю вам, становитесь в очередь. Пик, поди сюда и наведи тут порядок. Впускай их по одному и выпускай через другую дверь.

Он снимает пиджак, сдвигает на затылок свой шелковый цилиндр и закуривает “королеву Викторину”. Затем садится за стол и кладет перед собой весь нечестно добытый капитал, сложенный в аккуратные пачки. Я выстраиваю акционеров в цепочку, по одному выпускаю из главного зала в кабинет к Баку, а репортер через другую дверь выпускает их обратно в зал. Бак принимает акции и Золотые Облигации и выплачивает каждому наличными — доллар за доллар — ровно столько, сколько тот внес. Акционеры “Инвестиционного Банка “Толконда” не верят собственным глазам. Они буквально вырывают деньги у Бака из рук. Некоторые женщины все еще плачут, ибо таково уж свойство женского пола — плакать от горя, плакать от радости и проливать слезы в отсутствие того и другого.

У старух дрожат руки, когда они засовывают доллары за пазуху или в карманы своих вылинявших платьев. Фабричные работницы нагибаются, торопливо задирают свою мауфактуру, и вы слышите, как щелкает резинка, пропуская

<sup>1</sup> Рассказчик произносит фразу, по звукам напоминающую строку из Вергилия — *facilis descensus Averni* — “легок спуск Авернский”, то есть нисхождение в ад, путь к злу.



валюту в дамское отделение “Верного Домашнего Банка “Фильдекос”.

Кое-кого из акционеров, которые громче всех причитали за дверь, теперь опять обуяло доверие, и они решили не изымать своих вкладов.

— Суньте эту мелочь в свои лохмотья и убирайтесь отсюда подобру-поздорову, — говорит им Бак. — Чего ради вам вздумалось вкладывать деньги в облигации? Старый дырявый чайник да трещина в стене — вот наилучшееместилище для ваших медяков.

Когда к Баку подходит со своими акциями та хорошенькая девушка в красной шали, он вручает ей дополнительно двадцать долларов.

— Свадебный подарок от “Банка “Голконда”, — говорит наш казначей. — И запомните: если Джеки вздумает сунуть свой нос даже в самые отдаленные окрестности дома, где живет Роза Стейнфилд, настоящим мы уполномочиваем вас укоротить оный нос на парочку дюймов.

Когда все забрали свои капиталы и ушли, Бак призвал репортера и вручил ему остаток денег.

— Вы эту кашу заварили, вы ее и расхлебывайте, — сказал он. — Вон там лежат книги, в которых записаны все акции и облигации. Вот деньги на покрытие убытков — за вычетом того, что мы истратили на жизнь. Назначаю вас ликвидатором имущества несостоятельного должника. Надеюсь, вы, как представитель прессы, будете вести дело честно. Мы считаем, что это наилучший способ все уладить. А мы с нашим солидным, но переутомленным яблоками вице-президентом намерены последовать примеру нашего высокочтимого президента и незамедлительно смыться. Полагаю, что на сегодня вам материала хватит. Или вы хотите взять у нас интервью по части этикета, а также по вопросу о том, как лучше всего переделать старую шелковую юбку?

— Нечего сказать, материалец! По-вашему, я мог бы его использовать? — возмутился репортер. — Я не хочу лишиться работы. Допустим, я являюсь в редакцию и рассказываю, как было дело. Что говорит редактор? Он отправляет меня в желтый дом и велит не возвращаться, пока меня там не вы-

лечат. Я мог бы дать ему репортаж о том, как по Бродвею проползает кобра, но на такую ахиною у меня смелости не хватит. Шайка прожженных аферистов — прошу прощения — возвращает свою добычу! Нет уж, увольте. Я не сотрудник отдела юмора.

— Вам, разумеется, этого не понять, — говорит ему Бак, держась за ручку двери. — Мы с Пиком не похожи на известных вам дельцов с Уолл-стрита. Мы никогда не позволяем себе обирать больных старух и фабричных работниц или выманивать медяки у ребятишек. Это не по нашей части. Мы отнимаем деньги у тех, кого сам господь бог велел околпачивать, — у игроков, пьяниц, бездельников и хлыщей, которые всегда имеют при себе несколько лишних монет, да еще у фермеров, которые не мыслят себе счастья без того, чтобы какой-нибудь жулик не объегорил их при продаже урожая. Мы еще ни разу не унизились до того, чтобы ловить рыбешку, которая клюет в нью-йоркских водах. Нет, сэр, мы слишком уважаем свою профессию и самих себя. До свидания, мистер Ликвидатор.

— Пойдите минутку, — говорит нам журналист. — Тут этаким выше есть один биржевой маклер. Подождите, пока я суну это барахло к нему в сейф. Я хотел бы угостить вас на прощание.

— Вы? — с изумлением вопрошает Бак. — Уж не воображаете ли вы, что в редакции поверят этой басне? Покорнейше благодарим. К сожалению, нам некогда. Всего.

Мы с Баком выскользнули из дверей, и таким образом “Компания “Голконда” недобровольно растворилась в эфире.

Если бы вы захотели повидать нас с Баком на следующий вечер, вам пришлось бы отправиться в грошовую гостиницу близ паромной переправы в Вест-Сайде. Мы сидели в маленькой комнатке окнами на задний двор, и я наполнял двенадцать дюжин аптечных пузырьков водой из крана, которую мы подкрасили анилином и сдобрили ванилином. Бак, у которого на голове вместо цилиндра красовался скромный коричневый котелок, курил с видом человека, совершенно довольного жизнью. Загоняя пробки в пузырьки с водой, Бак сказал:

— Как хорошо, что Брэди согласился одолжить нам на неделю свой фургон и лошадь. За это время мы сумеем сколотить небольшой капиталец. В Нью-Джерси наше средство для укрепления волос наверняка будет пользоваться спросом. По причине большого количества комаров лысины там не в моде.

Тут я как раз вытащил свой чемодан, чтобы достать этикетки.

— Этикетки на средство для укрепления волос кончаются. Осталось всего штук десять, — говорю я.

— Закупим еще партию, — отвечает Бак.

Мы исследовали свои карманы и убедились, что денег у нас осталось ровно столько, сколько потребуется завтра утром для оплаты счета в гостинице и для покупки билетов на паром.

— Тут целая куча этикеток “Стряси трясушку от простуды”, — говорю я, изучив содержимое чемодана.

— Так чего ж тебе еще надо? — спрашивает Бак. — Давай прилепим их. В низине Хэкенсека как раз открывается простудный сезон. На что человеку волосы, если он все равно обречен их стрясти?

Мы еще с полчаса приклеивали этикетки, после чего Бак произнес:

— Зарабатывать на жизнь честным путем куда лучше, чем промышлять на Уолл-стрите. Правда, Пик?

— Еще бы! — отвечал я.

## ЗАЛОЖНИКИ МОМУСА

### I

Я никогда не забирался в область законных разновидностей жульничества, за исключением одного-единственного раза. Но однажды, как я уже сказал, я аннулировал решения пересмотренных статутов и предпринял одно дельце, за

которое мне наверняка придется просить прощения даже по антитрестовским законам штата Нью-Джерси.

Я и Калигула Поук из Мускоги, что на индейской территории племени крик, промышляли перипатетической лотереей и карточной игрой “монти” в мексиканском штате Тамаулипас. А надо вам сказать, что в Мексике продажа лотерейных билетов — жульничество, которое является прерогативой местного правительства, точно так же, как прерогатива нашего — продажа за сорок девять центов почтовых марок достоинством в сорок восемь. Поэтому дядушка Порфирио<sup>1</sup> напустил на нас руралов. Кто такие руралы? Это нечто вроде сельской полиции, но не вздумайте мысленно набрасывать цветными мелками портрет почтенного констебля с оловянной звездой и козлиной бородкой. Руралы — это... ну, если посадить членов нашего Верховного Суда на мустангов, вооружить их винчестерами и послать в погоню за истцом и ответчиком по имени Икс и Игрек, то получится нечто похожее.

Когда руралы пустились в погоню за нами, мы пустились в дорогу по направлению к Штатам. Они преследовали нас до самого Матамораса. Мы спрятались на кирпичном заводе, а ночью переплыли Рио-Гранде, причем Калигула по рассеянности держал в каждой руке по кирпичу, которые он тут же бросил на землю Техаса.

Затем мы эмигрировали в Сан-Антонио, а оттуда в Новый Орлеан, где решили немного передохнуть. И в этом городе, переполненном тюками хлопка и другими приложениями к женской красоте, мы познакомились с напитками, которые креолы изобрели еще во времена Людовика Пятнадцатого и которые по сей день подают на заднем крыльце в кружках пятнадцатого века. Об этом городе я запомнил только то, что я, Калигула и француз по фамилии Маккарти — постойте минутку, Адольф Маккарти — пытались заставить Французский квартал вернуть недоимку, подлежащую выплате по купонам, оставшимся от приобре-

<sup>1</sup> Порфирио Дим — президент Мексики в 1877–1880-м и 1884–1911 гг.

тения штата Луизиана в 1803 году, как вдруг кто-то заорал: “Джон-дармы!” Еще у меня сохранилось смутное воспоминание о том, как я покупаю в окошке два желтых билета, а потом я вроде бы вижу человека, который размахивает фонарем и кричит: “Посадка окончена!” Дальше я уже не помню ничего, кроме того, что железнодорожный разносчик укрывает нас сухими фруктами и сочинениями Августы Эванс<sup>1</sup>.

В пересмотренном издании было обнаружено, что мы наскочили на штат Джорджия в пункте, доселе никак не предусмотренном в расписании поездов, если не считать звездочки, которая означает, что они останавливаются там каждый второй четверг по сигналу, подаваемому вырванным из полотна рельсом. Мы пробудились в желтой сосновой гостинице от шума цветов и запаха птиц. Да, сэр, так оно и было, потому что ветер колотил в стену подсолнухами величиной с колесо от двуколки, а прямо под нашими окнами находился курятник. Мы с Калигулой оделись и сошли вниз. Хозяин лущил горох на веранде. Желтый, как выходец из Гонконга, он представлял собой шесть футов малярии, но в остальном как будто вполне отвечал за управление всех своих чувств и иных признаков.

Калигула — от природы оратор и коротышка, и, хотя он человек рыжий и нетерпимый ко всякого рода болезненности, он тут же произносит речь.

— Сосед, — говорит он, — доброе вам утро и проклятье на вашу голову. Окажите любезность разъяснить нам, в какое мы прибыли почему? Мы знаем причину, куда мы находимся, но не можем точно установить, вследствие какой местности.

— Джентльмены, — отвечает хозяин, — я так и знал, что вы с утра начнете наводить справки. Вчера в девять тридцать вечера вы сошли с поезда, и вы были под сильным шофе. Да, вы употребили много спиртного. Могу вам ска-

<sup>1</sup> Августа Джейн Эванс (1835–1909) — американская писательница, южанка, автор сентиментальных романов.

зать, что в настоящее время вы пребываете в городе Горная Долина, штат Джорджия.

— Вы еще скажите, что тут нечего есть, — говорит Калигула.

— Присядьте, джентльмены, — отвечает хозяин, — и через двадцать минут я угощу вас завтраком, лучше которого вы во всем городе не сыщете.

Завтрак состоял из жареной ветчины и желтоватого сооружения, которое оказалось чем-то средним между плампудингом и эластичным песчаником. Хозяин называл это кукурузной лепешкой. Затем он подал на стол миску гипертрофированного продукта, обычно употребляемого здесь за завтраком и известного под названием мамалыга. Так мы с Калигулой познакомились с этим знаменитым блюдом, благодаря которому во время Гражданской войны каждый солдат армии южан четыре года подряд мог побивать по одному и две трети янки.

— Будь я на месте ребят дядюшки Роберта Ли, — говорит Калигула, — я бы от этой папалыги до того озлился, что загнал бы команду Гранта и Шермана<sup>1</sup> прямехонько в Гудзонов залив. Не пойму, как они могут все время жрать такую дрянь.

— Свинина с кукурузой — главный продукт питания в здешних местах, — объясняю я ему.

— В таком случае пусть здешние жители сами его и едят. Я думал, что это гостиница, а не свинарник. Вот если б мы с тобой посетили Дом Святого Люцифера в Маскоги, я бы тебе показал, что едят на завтрак порядочные люди. Для начала — бифштекс из антилопы и жареную печенку, потом оленьи отбивные под *chili con carne*<sup>2</sup>, пончики с ананасом, сардины в маринаде, а на закуску — банку желтых персиков и бутылку пива. У вас в восточных штатах про такое меню ни в одном ресторане никто и слыхом не слыхал.

— Слишком жирно, — отвечаю я. — Настоящего завтрака человек не увидит до тех пор, пока он не отрастит себе та-

<sup>1</sup> Роберт Ли — главнокомандующий армии южан в Гражданской войне; Грант Шерман — генералы армии северян.

<sup>2</sup> Перец с мясом (*исп.*).

кие длинные руки, чтоб дотянуться до Нового Орлеана и взять там чашку кофе, потом раздобыть булочки в Норфолке, выгашить кусок мяса из погребца в штате Вермонт, а под конец повернуться к улью возле лужайки, поросшей белым клевером в штате Индиана. Вот тогда он сможет сказать, что отведал нечто вроде амбразуры, которой питаются боги на горе Олимпия.

— Слишком эфемерно, — возражает Калигула. — Лично мне для аппетита требуется яичница с ветчиной или рагу из кролика. А на обед ты какие воспитательные блюда предпочитаешь?

— Я, бывало, упивался затейливыми разветвлениями провианта, как-то: черепахи, омары, рисовая стрепатка или брезентовая утка. Но что я больше всего люблю, так это бифштекс под грибным соусом — на балконе под звон бродвейского трамвая, звуки шарманки и выкрики газетчиков, продающих экстренный выпуск с репортажем о последнем самоубийстве. Что же касается вина, то я готов удовольствоваться скромным шампанским. И тогда, кроме *demi-tasse*<sup>1</sup>, мне больше ничего не надо.

— Да, в Нью-Йорке человек должен быть гастрономом, а когда ты шатаешься взад-вперед со своей *demi-tasse*, тебе, натурально, приходится покупать эту стильную жратву.

— Нью-Йорк — город жрецов Эпикура, — говорю я. — Если б ты там поселился, ты бы очень скоро перенял все их повадки.

— Наверяд ли, — возразил мне Калигула. — Я уж как-нибудь проживу и без маникюра.

## II

После завтрака мы вышли на веранду, закурили две хозяйские сигары “перфекте” и принялись рассматривать штат Джорджия. Представившаяся нашему взору порция пейза-

<sup>1</sup> Полчашечки (фр.).

жа являла собою зрелище более чем жалкое. Кругом, сколько видел глаз, простирались рыжие холмы, изрытые промоинами и кое-где поросшие сосняком. Заборы из деревянных жердей не рушились только благодаря кустам ежевики, которые поддерживали их в вертикальном положении. Милях в пятнадцати к северу виднелась небольшая гряда лесистых гор.

Поселок Горная Долина своих функций не выполнял. По улицам слонялось человек десять прохожих, но преобладали там бочки для сбора дождевой воды, петухи да еще мальчишки, которые усердно раскапывали палками кучи золы, оставшиеся от сожженных декораций к пьесе “Хижина дяди Тома”.

Через некоторое время на противоположной стороне улицы показался высокий человек в длинном черном сюртуке и касторовой шляпе. Все прохожие стали кланяться, а некоторые даже перешли через улицу, чтобы пожать ему руку. Народ выходил из домов и лавок, чтоб с ним поздороваться; женщины высовывались из окон и улыбались; ребята перестали играть, чтоб на него посмотреть. Наш хозяин вышел на веранду, согнулся в три погибели — ни дать ни взять складная плотницкая линейка, а когда тот отошел уже ярдов на десять, громко произнес: “Доброе утро, полковник!”

— Это Александр, папаша? — спросил хозяина Калигула. — И почему его называют великим?

— Джентльмены, — отвечает хозяин, — это не кто иной, как сам полковник Джексон Т. Рокингом, президент железнодорожной ветки “Восход — Парадиз”, мэр Горной Долины и председатель совета по иммиграции и общественному благоустройству округа Перри.

— Он что, долго был в отъезде? — поинтересовался я.

— Нет, сэр, полковник Рокингом идет за своей почтой в почтовую контору. Сograждане приветствуют его так восторженно каждое утро. Полковник — самый именитый гражданин нашего города. Кроме контрольного пакета акций железнодорожной ветки “Восход — Парадиз”, он владеет зе-

мельными угодами в тысячу акров на том берегу ручья. Горная Долина счастлива выказать свое почтение гражданину, обладающему столь высокими достоинствами и столь исключительной преданностью общественному благу.

В этот день Калигула целый час просидел на веранде, изучая газету, — времяпрепровождение, необычное для человека, презирающего печатное слово. Прочитав ее от первой до последней строки, он отвел меня в конец веранды, где в солнечных лучах сушились посудные полотенца. Я сразу понял, что Калигула изобрел новую плутню, ибо в таких случаях у него была привычка жевать кончики усов и двигать вверх и вниз пряжку от подтяжек.

— Ну, что у тебя теперь на уме? — спросил я его. — Я готов обсудить любой проект, лишь бы ты не предложил мне размещать акции горных рудников или играть в пенсильванские прятки.

— Играть в пенсильванские прятки? Ах да, это способ добычи денег, принятый у пенсильванцев. Они поджигают пятки старухам, чтобы заставить их признаться, где они прячут свои капиталы.

Калигуловы рассуждения о бизнесе всегда горьки и лаконичны.

— Ты видишь эти горы, — говорит он, указывая пальцем, — и ты видел этого субъекта в чине полковника, который владеет железными дорогами и который, еще не успев дойти до почтовой конторы, добился большего, нежели Рузвельт, который эти конторы обчистил. Что нам надо сделать, так это похитить полковника, отвезти в горы и потребовать выкуп в десять тысяч долларов.

— Криминальное действие, — говорю я, качая головой.

— Я так и знал, что ты это скажешь, — говорит Калигула. — На первый взгляд и в самом деле может показаться, что оно нарушает мир и приличие. Но ничего подобного в нем нет. Я взял эту идею из газеты. Разве ты станешь изрыгать хулу на законную аферу, которую сами Соединенные Штаты утвердили, амнистировали и одобрили?

— Похищение людей, — говорю я, — есть безнравственный поступок, который значится в реестре противозаконных деяний. Если Соединенные Штаты его поощряют, то это, должно быть, новая статья этики, недавно внесенная в статуты вместе с “расовым самоубийством” и “бесплатной доставкой почтовых отправок в сельскую местность”.

— Слушай внимательно, и я разъясню тебе дело, о котором пишут в газетах, — говорит Калигула. — Один греческий подданный по имени Бердик Гаррис был схвачен африканцами. В ответ на это Соединенные Штаты посылают в Танжер две канонерки и заставляют короля Марокко отдать африканцу Райсули семьдесят тысяч долларов.

— Не торопись, — останавливаю его я. — Это звучит так международно, что сразу не уразумеешь, кто дал, кому и за что?

— Это я прочел депеши из Константинополя, — продолжает Калигула. — Подожди полгода, и сам увидишь. Их подтверждают ежемесячные журналы, а потом ты сможешь найти их в любом популярном еженедельнике — из тех, что читают, сидя в кресле у цирюльника, — рядом с фотографиями, снятыми с фотографий извержения вулкана Мон Пеле. Все в порядке, Пик, можешь не беспокоиться. Этот африканец Райсули прячет Бердика Гарриса в горах и назначает свою цену правительствам разных стран. Надеюсь, ты ни на минуту не усомнился, что Джон Хэй<sup>1</sup> нипочем не стал бы содействовать этой махинации, не будь в ней все честно и благородно.

— Разумеется, нет, — отвечаю я. — Я всегда одобрял политику Брайана, да и сейчас не скажу худого слова про администрацию республиканцев. Но если этот Гаррис грек, то непонятно, на основании какой системы международных протоколов Хэй мог вмешаться?

— Об этом в газетах точно не сказано, — отвечает мне Калигула. — Я думаю, тут скорее всего дело в чувствах. Ты же знаешь, что Хэй сочинил стихотворение “Штанишки”, а

<sup>1</sup> Джон Хэй (1838–1905) — государственный секретарь в правительствах Маккинли и Теодора Рузвельта в 1898–1905 гг., известен также как писатель.

эти греки ходят либо в коротких штанах, либо вовсе без штанов. В общем, Джон Хэй посылает туда "Бруклин" и "Олимпию", и они держат всю Африку под прицелом тридцатидюймовых пушек. Потом Хэй по телеграфу спрашивается о здоровье *persona grata*. "Как они себя чувствуют нынче утром? — телеграфирует он. — Жив ли еще Бердик Гаррис и помер ли уже мистер Райсули?" И тогда король Марокко шлет семьдесят тысяч долларов, и Гарриса выпускают на свободу. И это мелкое похищение вызывает вдвое меньше международных трений, чем мирный конгресс. А Бердик Гаррис говорит репортерам на греческом языке, что он много слышал о Соединенных Штатах и обожает Рузвельта, но еще больше он обожает Райсули, ибо это один из самых белых и самых благородных похитителей, с какими ему когда-либо приходилось работать. Теперь ты видишь, Пик, что международное право на нашей стороне, — заключает свою речь Калигула. — Мы отделим этого полковника от стада, загоним его в эти горки и выманит у его наследников и правопреемников десять тысяч долларов.

— Ах ты, уникальный рыжий территориальный террорист! — восклицаю я. — Нет, брат, дядюшку Текумсе Пикенса ты не проведешь! Я согласен стать твоим компаньоном в этой махинации. Однако, Калиг, я сомневаюсь, что ты проник в истинную сущность дела Бердика Гарриса, и если в одно прекрасное утро мы получим от государственного секретаря телеграфный запрос о состоянии здоровья нашего заговора, то я предлагаю незамедлительно приобрести наиболее близлежащего и резвого мула во всей округе и дипломатично отгалопировать на соседнюю мирную территорию Алабама.

### III

В течение трех дней мы с Калигулой обследовали небольшую кучку гор, в которые мы предполагали отвезти похищенного полковника Джексона Т. Рокингема. В конце кон-

цов мы выбрали вертикальный ломоть топографии, заросший деревьями и кустами, до которого можно было добраться лишь в обход, по тропинке, которую мы же сами и прорубили. Единственный путь к этой горе лежал вдоль излучины речки, которая вилась среди холмов.

Затем я взял на себя важное подразделение всей процедуры. Я поехал поездом в Алабаму и закупил там на двести пятьдесят долларов самого изысканного и питательного провианта. Я всегда был поклонником яств в их наиболее паллиативных и пересмотренных стадиях. Свинина с мамалыгой не только производит антихудожественное действие на мой желудок, но и вызывает несварение моего нравственного чувства. Я думал о полковнике Джеконе Т. Рокингема, президенте железнодорожной ветки "Восход — Парадиз", и о том, как он будет страдать от отсутствия роскошной домашней кухни, столь почитаемой среди богатых южан. Я вложил добрую половину наших с Калигулой капиталов в такой элегантный набор свежих и консервированных продуктов, какой едва ли приходилось когда-либо видеть в лагере Бердику Гаррису или любой другой профессиональной жертве похищения.

Еще на сотню я купил два ящика бордо, две квартиры коньяку, две сотни гаванских сигар с золотыми ободками, а также переносную печку, складные стулья и походные кровати. Я хотел окружить полковника всевозможным комфортом — в надежде, что, отдав десять тысяч долларов, он отдаст должное мне и Калигуле как джентльменам и щедрым хозяевам подобно тому, как это сделал Бердик Гаррис по отношению к своему другу, который принудил Соединенные Штаты взыскать с Африки суммы по выданным им векселям.

Когда из Атланты прибыли наши покупки, мы наняли фургон, доставили их на горку и разбили лагерь. После этого мы засели в засаду на полковника.

Мы изловили его однажды утром в двух милях от Горной Долины, когда он отправился проведать одно из своих темно-бурых сельскохозяйственных владений. Это был эле-

гантный старый джентльмен, длинный и тонкий, как удочка для форели, с обтрепанными манжетами и пенсне на черном шнурке. Мы сжато и непринужденно объяснили ему, что нам от него надо, а Калигула небрежно показал ему рукоятку пистолета 45-го калибра, спрятанного под полкой пиджака.

— Что? — удивился полковник Рокингем. — Бандиты в округе Перри, штат Джорджия? Я немедленно сообщу об этом в совет по иммиграции и общественному благоустройству.

— Не упрямытесь и садитесь в эту двуколку, — сказал ему Калигула, — во исполнение приказа совета по перфорации и общественному неустройству. Это деловое заседание, и мы намерены объявить перерыв *sine qua non*<sup>1</sup>.

Мы провезли полковника Рокингема через горный перевал и вверх по склону до того места, куда могла добраться двуколка, затем привязали лошадь и отвели нашего пленника пешком в лагерь.

— А теперь, полковник, — говорю ему я, — я и мой партнер будем ждать выкупа. Мы не причиним вам никакого вреда, если король Маро... если ваши друзья пришлют монету. А до тех пор вы сможете убедиться, что мы джентльмены не хуже вас. Если вы обещаете не предпринимать попыток к бегству, мы предоставим вам полную свободу передвижения по лагерю.

— Обещаю, — говорит полковник.

— Отлично, — продолжаю я. — Сейчас одиннадцать часов — самое время нам с мистером Поуком приступить к изготовлению кое-каких пустяков по части жратвы.

— Благодарю вас, — говорит полковник. — Я, пожалуй, с удовольствием съел бы ломтик ветчины и тарелку мамалыги.

— Чего нет, того нет, — категорически заявляю я. — Во всяком случае, у нас в лагере. Мы привыкли витать в сферах более возвышенных, нежели те, в которых обычно располагается ваше столь же прославленное, сколь и отвратительное блюдо.

<sup>1</sup> Без которого нельзя, необходимый (*лат.*).

Пока полковник читал газету, мы с Калигулой сняли пиджаки, засучили рукава и принялись готовить небольшой *lench de luxe* — просто так, чтоб показать ему, на что мы способны. Калигула — превосходный повар западного толка. Он может зажарить буйвола и сделать фрикасе из быка с такой же легкостью, с какой хозяйка заваривает чай. Он наделен счастливым даром состряпать на скорую руку обильную трапезу, требующую значительных затрат мускульной энергии. К западу от реки Арканзас он побил рекорд в искусстве одновременно левой рукой печь оладьи, правой жарить отбивные из оленины, а зубами свежевать кролика. Что до меня, то я мастер готовить блюда *en casserole* и *a la creole*<sup>1</sup>, ласково и нежно заправляя их маслом и соусом *табаско*, как настоящий французский повар.

И вот к двенадцати часам у нас был готов горячий завтрак, напоминавший банкет на пароходе, плывущем по Миссисипи. Мы сервировали его на трех больших ящиках, откупили две кварты красного вина, поставили возле прибора полковника салат из маслин и консервированных устриц и готовый мартини, а затем пригласили его к столу.

Полковник Рокингем пододвинул свой складной стул, протер пенсне и взглянул на выставку блюд. Мне послышалось, будто он выругался, и я почувствовал себя последним негодяем, оттого что не постарался сготовить что-нибудь повкуснее. Но нет — оказывается, он всего лишь прочел молитву. Мы с Калигулой опустили головы, и я заметил, как полковник уронил в салат большую слезу.

Я еще в жизни не видывал, чтоб человек ел с такой серьезностью и усердием — не наспех, как студенты или подрядчики на строительстве канала, а с чувством, как анаконда или истинный *vive bonjour*<sup>2</sup>.

Через полтора часа полковник откинулся на спинку стула. Я подал ему стопку бренди и чашку черного кофе и поставил на стол коробку гаванских сигар.

<sup>1</sup> Тушенные и по-креольски (*фр.*).

<sup>2</sup> Рассказчик имеет в виду *bon vivant* (*фр.*) — любителя сытой, веселой жизни.

— Джентльмены, — проговорил он, выдыхая дым и пытаясь вдохнуть его обратно, — когда мы, взирая на эти вечные холмы и на улыбающийся благодатный ландшафт, размышляем о милосердии Создателя, который...

— Прошу прощения, полковник, пора перейти к делу, — объявил я, протягивая ему бумагу и чернильницу с пером. — К кому вы желаете послать за деньгами?

— Пожалуй, к вице-президенту нашей железной дороги, — подумав, отвечает он, — в главную контору компании в Парадизе.

— А далеко ли отсюда до Парадиза? — спрашиваю я.

— Приблизительно десять миль.

Затем полковник пишет под мою диктовку следующие строки: "Два отчаянных головореза похитили меня и держат в таком месте, которое бесполезно искать. Они требуют выкуп в десять тысяч долларов. Необходимо тотчас достать эту сумму и действовать согласно нижеследующей инструкции. Принесите деньги к Каменному Ручью, который вытекает из подножия Черной Горы. Следуйте вдоль русла ручья до тех пор, пока не увидите на левом берегу большой плоский камень, на котором красным мелом начертан крест. Встаньте на камень и взмахните белым флагом. К вам явится провожатый, который отведет вас туда, где меня держат в плену. Не теряйте времени".

Окончив письмо, полковник попросил разрешения присовокупить к нему постскриптум насчет того, как благородно с ним обращаются, чтобы при мысли о его страданиях у железной дороги не щемило сердце. Мы дали свое согласие. Он написал, что только что сидел за завтраком в обществе двух отъявленных бандитов, после чего полностью привел все меню от салатов до кофе. В заключение он заметил, что к шести часам будет готов обед, по всей вероятности, еще более обильный и неумеренный, чем завтрак.

Повара падки на лесть, и потому мы с Калигулой решили ничего не вычеркивать, хотя на переводном векселе все это выглядело неуместно.

Я взял письмо, вышел на дорогу, ведущую в Горную Долину, и стал высматривать посыльного. Вскоре показался чернокожий всадник, направлявшийся верхом в Парадиз. Я дал ему доллар, велел доставить письмо в контору железной дороги и возвратился в лагерь.

## IV

Около четырех часов пополудни Калигула, исполнявший обязанности впередсмотрящего, закричал:

— Докладываю, сэр! По правому борту с носа сигналист белая рубашка!

Я спустился с горы и привел в лагерь рыжего толстяка, у которого был альпаковый пиджак, а воротничка не было.

— Джентльмены, разрешите представить вам моего брата, капитана Дюваля С. Рокингема, вице-президента железнодорожной ветки "Восход — Парадиз", — говорит полковник.

— Он же — король Марокко, — уточняю я. — Надеюсь, вы не возражаете, если я пересчитаю выкуп — так сказать, для проформы.

— Н-н-нет, нет, пожалуйста, пересчитывайте, — неуверенно отвечает толстяк. — То есть я хочу сказать, когда его доставят сюда. Я поручил это дело нашему второму вице-президенту. Полагаю, что он скоро прибудет. Сам я был очень обеспокоен безопасностью брата Джексона. Скажи, братец Джексон, как тебе понравился салат из омаров, о котором ты упомянул в своем письме?

— Мистер вице-президент, — обращаюсь к нему я. — Не откажите в любезности остаться здесь до прибытия второго вице-президента. Это неофициальная репетиция, и мы предпочли бы, чтоб никто не торговал билетами у входа.

Через полчаса Калигула снова крикнул:

— Вижу парус! Вроде фартука на швабре!

Я снова скатился с утеса и эскортировал наверх человека шести футов трех дюймов в длину, с рыжей бородой и,



сколько я мог судить, без всех остальных измерений. Ну, подумал я, если он держит эти десять тысяч при себе, то не иначе как одной бумажкой и к тому же сложенной вдоль.

— Мистер Паттерсон Дж. Кобл, наш второй вице-президент, — объявляет полковник.

— Рад познакомиться с вами, джентльмены, — говорит Кобл. — Я пришел распространить известие, что майор Таллахасси Таккер, начальник отдела пассажирских перевозок, в настоящее время ведет переговоры с банком округа Перри о предоставлении займа под залог корзины для персиков, наполненной акциями нашей железной дороги. Уважаемый полковник Рокингом, мы с проводником пятьдесят шестого поспорили: в том меню, которое вы приводите в своем письме, значилось консьоме с гренками или фрикасе с грибами?

— Опять паруса на утесах! — возглашает Калигула. — Если я увижу еще хотя бы один, то открою огонь, а потом присягну, что это были канонерки!

Провожатый снова спускается вниз и конвоирует в логово человека в синем комбинезоне, обремененного фонарем и хроническим алкоголизмом. Я настолько уверен, что это майор Таккер, что даже не задаю ему никаких вопросов, но наверху выясняется, что это дядюшка Тимоти, стрелочник из Парадиза, высланный вперед с целью подорвать наше взаимопонимание слухами о том, будто судья Пендергаст, юрист железной дороги, находится в процессе получения займа под заклад сельскохозяйственных угодий полковника Рокингема.

Пока он это рассказывает, из-под кустов в лагерь вползают еще двое, и Калигула, не видя белого флага, который мог бы воспрепятствовать выполнению его прямого долга, грозит им пистолетом. Но тут снова вступает полковник Рокингом, он представляет нам мистера Джонса и мистера Бэттса, машиниста и кочегара поезда номер сорок два.

— Простите, — говорит Бэттс. — Мы с Джимом охотились на белок в здешних горах, и белый флаг нам ни к чему.

Скажите, полковник, неужто тут и в самом деле был плам-пудинг, ананасы и настоящие покушные сигары?

— Полотенце на удилице в море! — орет Калигула. — Может, это выходит на линию огня взвод проводников товарных вагонов под командованием тормозного кондуктора?

— Это мой последний спуск, — говорю я, вытирая пот со лба. — Если ветка “Восход — Парадиз” желает устроить экскурсию, чтоб осмотреть место, где находится ее похищенный президент, — милости просим. Мы вывесим вывеску “Кафе Похитителя и Приют Кочегаров”.

На этот раз пришелец сам начал с признания, что он — майор Таккер, и мне сразу стало легче. Однако на всякий случай я пригласил его в ручей, чтоб, если он окажется путевым обходчиком или диспетчером, можно было тут же его утопить. Всю дорогу наверх он нес окоlesiцу насчет гренок со спаржей — предмета, составлявшего досадный пробел в его гастрономическом опыте.

Наверху я с трудом изолировал его мозг от провианта и спросил, принес ли он выкуп.

— Милостивый государь, — ответил он, — под заклад акций нашей железной дороги на сумму в тридцать тысяч долларов мне удалось получить заем и...

— Не беспокойтесь, майор, — перебил я его, — сейчас это не к спеху. После обеда мы все уладим. Джентльмены, — продолжал я, обращаясь ко всей команде, — вы приглашены на обед. Мы облекли друг друга взаимным доверием, и над всем происходящим должен реять белый флаг.

— Очень разумная идея, — подтвердил Калигула, который в эту минуту стоял рядом со мной. — Пока ты ходил вниз, с дерева свалились два носильщика и один кассир. А этот твой майор принес деньги?

— Он говорит, что ему удалось получить заем, — отвечаю я.

Если какие-либо два повара когда-либо заработали десять тысяч долларов за один-единственный день, то это были мы с Калигулой. В шесть часов вечера мы сервировали на вершине горы такой роскошный обед, какой навряд ли

когда-либо доводилось поглощать персоналу какой-либо железной дороги. Мы раскупорили все вино, состряпали первое, второе и небольшое аппетитное третье — словом, организовали такую жратву, какую редко удается извлечь из бутылок и консервных банок, содержащих гастрономические товары. Вся железная дорога собралась вокруг, и все бражничали и веселились напрапалую.

После пира мы с Калигулой переходим к делу. Отведя майора Таккера в сторонку, мы требуем выкуп. Майор доставляет агломерацию валюты на сумму, составляющую примерно стоимость городского участка в предместьях Кроликбурга, что в штате Аризона, и издает следующий крик отчаяния:

— Джентльмены! Акции железнодорожной ветки “Восход — Парадиз” несколько обесценились. Заем, который я смог получить под залог акций на сумму в тридцать тысяч долларов, составил всего лишь восемьдесят долларов пятьдесят центов. Выправив девятую по счету закладную на сельскохозяйственные угодья полковника Рокингема, судья Пендергаст получил еще пятьдесят долларов. Благоволите пересчитать всю сумму — сто тридцать семь пятьдесят.

— Президент железной дороги, владелец тысячи акров земли и, несмотря на это... — говорю я, глядя прямо в глаза этому Таккеру.

— Джентльмены, — поясняет Таккер, — протяженность железной дороги составляет десять миль. Ни один поезд не может по ней пройти, до тех пор пока поездная бригада, сделав остановку в сосновом лесу, не наберет достаточно шишек, чтобы развести пары. В доброе старое время, когда дела шли хорошо, чистый доход составлял восемнадцать долларов в неделю. Земли полковника Рокингема тринадцать раз были проданы в уплату налогов. Последние два года в этой части Джорджии был неурожай персиков. Дождливая весна стубила все дыни. Ни у кого во всей округе нет денег для покупки удобрений, а земля такая плохая, что кукуруза не уродилась и не хватает даже травы на про-

корм кроликам. Уже больше года никто не ел здесь ничего, кроме свинины с мамалыгой и...

— Пик, — говорит Калигула, взъерошив свою рыжую шевелюру, — что ты намерен делать с этой мелочью?

Я возвращаю деньги майору Таккеру, подхожу к полковнику Рокингему, хлопаю его по плечу и говорю:

— Полковник, надеюсь, вам понравилась наша маленькая шутка. Однако мы не хотим заходить слишком далеко. Это мы-то похитители? Умора да и только! Меня зовут Райнгелдер, и я племянник Чоси Депью<sup>1</sup>. Мой друг — внучатый кузен редактора юмористического журнала “Пак”. Полагаю, что теперь вам все ясно. Мы приехали на Юг немножко поразвлечься. Осталось еще две квартиры коньяку, и на этом, пожалуй, можно поставить точку.

Стоит ли вдаваться в подробности? Приведу лишь два три примера. Мне запомнилось, как майор Таллахасси Таккер играл на варгане, а Калигула танцевал вальс с долговязым носильщиком, прижавшись головой к его желудку. Не знаю, уместно ли будет упомянуть о кекуоке, который исполнили мы втроем с мистером Паттерсоном Дж. Коблом и полковником Джексонем Т. Рокингемом.

А на следующее утро — хотите верьте, хотите нет — мы с Калигулой все же несколько утешились. Нам стало ясно, что сам Райсули и вполтину так не убоготворил Бердика Гarrisа, как мы убоготворили железнодорожную ветку “Восход — Парадиз”.

## Поросячья этика

Войдя в курительный вагон экспресса Сан-Франциско — Нью-Йорк, я застал там Джефферсона Питерса. Из всех людей, проживающих западнее реки Уобаш, он единственный наделен настоящей смекалкой. Он способен ис-

<sup>1</sup> Чоси Депью (1834–1928) — видный американский адвокат, оратор и политический деятель.

пользовать сразу оба полушария мозга, да еще мозжечок в придачу.

Профессия Джеффа — небеззаконное жульничество. Вдовам и сиротам не следует бояться его: он изымает только излишки. Больше всего он любит сравнивать себя с той мишенью в виде маленькой птички, в которую любой рачитель или опрометчивый вкладчик может стрелкнуть двумя-тремя завалящими долларами. На его разговорные способности хорошо влияет табак; зная это, я с помощью двух толстых и легко воспламеняемых сигар “Брэва” узнал историю его последнего приключения.

— Самое трудное в нашем деле, — сказал Джефф, — это найти добросовестного, надежного, безусловно честного партнера, с которым можно было бы мошенничать без всякой опаски. Лучшие мастера, с какими мне случалось работать по части присвоения чужого имущества, и те оказывались иногда надувателями.

Поэтому прошлым летом решил я отправиться куда-нибудь в захолустную местность, куда не проник еще змей-искуситель, и посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь подходящего малого, одаренного талантом к преступлению, но еще не развращенного успехом.

Попался мне один городишко, на вид как раз то, что нужно. Жители еще ничего не слыхали о конфискации Адамовых угодий и блаженствовали, как в райском саду, давая имена скотам и птицам и убивая гадюк. Городок назывался Маунт-Нэбо и расположен был примерно в том месте, где сходятся штаты Кентукки, Западная Виржиния и Северная Каролина. Что, эти штаты не граничат друг с другом? Ну, в общем был расположен где-то там, поблизости.

Потратив неделю на то, чтобы жители удостоверились, что я не сборщик налогов, я как-то зашел в лавочку, где собирались все сливки местного общества, и начал нащупывать почву.

— Джентльмены, — говорю я (после того, как мы уже достаточно потерялись носами и собрались вокруг бочонка с сушеными яблоками), — джентльмены, мне кажется, что вы

самое безгрешное племя на всей земле: вы так далеки от всякого плутовства и порока. Все женщины у вас благосклонны и храбры, все мужчины честны и настойчивы, и потому жизнь здесь прямо-таки идеальная.

— Да, мистер Питерс, — говорит хозяин лавчонки, — правильно вы говорите: мы благородные, неподвижные, заплесневелые люди, лучше нас во всей этой местности нет, но вы не знаете Руфа Тейтама.

— Вот, вот, — подхватывает городской констебль, — он не знает Руфа Тейтама. Впрочем, где бы они могли познакомиться? Это самый отчаянный из всех негодяев, когда-либо убежавших от виселицы. Кстати, я только что вспомнил, что мне еще третьего дня следовало выпустить его из тюрьмы, когда кончился месячный срок, к которому он был приговорен за убийство Янса Гудлоу. Но ничего, лишние два-три дня ему не повредят.

— Что вы говорите! — воскликнул я. — Да не может этого быть! Неужели у вас в Маунт-Нэбо, есть такой дурной человек? Кто бы мог подумать: убийца!

— Хуже! — говорит хозяин лавки. — Он ворует свиней.

Я решил разыскать этого мистера Тейтама. Через два-три дня после того как констебль выпустил его из-за решетки, я свел с ним знакомство и пригласил его на окраину города. Мы сели на какое-то бревно и завели деловой разговор.

Мне нужен был компаньон деревенской наружности для одноактной проделки, которую я намеревался поставить в провинции, и Руф Тейтам был прямо-таки рожден для той роли, которая была намечена мной для него.

Рост у него был гигантский, глаза синие и лицемерные, как у фарфоровой собаки на камине, с которой играла тетя Гарриет, когда была маленькой девочкой. Волосы волнистые, как у дискобола в Ватикане, а цвет волос напоминал вам картину “Закат солнца в Великом Каньоне”, написанную американским художником и повешенную в американской гостиной для прикрытия дыры на обоях. Это было воплощение Деревенского Простофили, это было совершенство.

Я рассказал ему все мое дело и увидел, что он готов хоть сейчас.

— Оставим в стороне смертоубийство, — сказал я. — Это дело пустяковое и мелкое. Сделали ли вы что-нибудь более ценное в области плутовства и разбоя, на что вы могли бы указать — с гордостью или без гордости, — дабы я знал, что вы подходящий для меня компаньон?

— Как? — говорит он и растягивает по-южному каждое слово. — Разве вам никто не говорил обо мне? Во всем Синегорье нет ни одного человека, ни белого, ни чернокожего, который мог бы с такой ловкостью украсть поросенка без всякого шума, не видно, не слышно, и при этом ускользнуть от погони. Я могу выкрасть свинью из хлева, из-под навеса, из-за корыта, из леса, днем и ночью, как угодно, откуда угодно и ручаюсь, что никто не услышит ни визга, ни хрюканья. Вся штука в том, как ухватить свинью и как нести ее. Я надеюсь, — продолжает этот благородный опустошитель свинарников, — что близко то время, когда я буду признан мировым чемпионом свинокрадства.

— Честолюбие похвальная черта, — говорю я, — и здесь, в глуши, свинокрадство — почтенная профессия, но там, в большом свете, за границами этого узкого круга, ваша специальность, мистер Тейтам, покажется провинциально вульгарной. Впрочем, она свидетельствует о вашем таланте. Я беру вас себе в компаньоны. Капитала у меня тысяча долларов, и, пользуясь вашей простецкой деревенской наружностью, мы, я надеюсь, заработаем на денежном рынке несколько привилегированных акций "Прости навек".

И вот я ангажировал Руфа, и мы покинули Маунт-Нэбо и спустились с гор на равнину, и всю дорогу я натаскивал его для той роли, которую он должен играть в задуманных мною незаконных делах. Перед тем я два месяца проболтался без дела на Флоридском побережье, чувствовал себя превосходно, и в голове у меня было тесно от всяких затей и проектов.

Я предполагал, собственно, проложить борозду шириною в девять миль через весь фермерский район Среднего

Запада, куда мы и держали путь. Но доехав до Лексингтона, мы застали там цирк братьев Бинкли. По этой причине в город со всей округи собралась деревенщина и попирала са모델ными сапожищами бельгийские торцы мостовой. Я никогда не пропускаю цирка без того, чтобы не закинуть удочку в чужие карманы и не разжиться кое-какой мелочишкой. Поэтому мы сняли две комнаты со столом неподалеку от цирка у одной благородной вдовы, которую звали миссис Пиви. Затем я повел Руфа в магазин готового платья и одел его с ног до головы джентльменом. Как я и предвидел, он стал весьма авантажен, когда мы со старым Мисфицким облекли его в новый наряд. Да, это был великолепный наряд: сукно голубенькое, в зеленую клетку, жилет — цвета дубленой кожи, галстук — пунцовый, а сапоги — самые желтые во всем городе.

Это был первый костюм, надетый Руфом за всю его жизнь. До сих пор он носил просто нанковую рубашку и дотканые штаны своего родного края. Ну уж и гордился он этим новым костюмом — как дикий игорром новым кольцом в носу.

В тот же вечер я направился к цирку и открыл поблизости игру "в скорлупки". Руф должен был изображать постороннего и играть против меня. Я дал ему горсть фальшивой монеты для ставок и оставил себе такую же горсть в специальном кармане, чтобы выплачивать его выигрыш. Нет, не то чтобы я не доверял ему: просто я не могу направлять шарик на проигрыш, когда вижу, что ставят настоящие деньги. Рука не поднимается, пальцы бастуют.

Я поставил столик и стал показывать, как легко угадать, под какой скорлупкой горошина. Неграмотные олухи собрались полукругом и стали подталкивать друг дружку локтями и подзадоривать друг дружку к игре. Тут-то и должен был выступить Руф: рискнуть какой-нибудь мелкой монетой и таким образом втянуть остальных. Но где же он? Его нет. Раз или два он мелькнул где-то вдали, я видел — стоит и пялит глаза на афиши, а рот у него набит леденцами. Но близко он так и не подошел.

Кое-кто из зрителей рискнул поставить монету, но играть в скорлупки без помощника — это все равно, что удить без наживки. Я закрыл игру, получив всего сорок два доллара прибыли, а рассчитывал я взять у этих мужланов по крайней мере двести. К одиннадцати часам я вернулся домой и пошел спать. Я говорил себе, что, должно быть, цирк оказался слишком сильной приманкой для Руфа, что музыка и прочие соблазны так поразили его, что он забыл обо всем остальном. И я решил наутро прочесть ему хорошую нотацию о принципах нашего дела.

Едва только Морфей приковал мои плечи к жесткому матрацу, как вдруг я слышу неприличные дикие крики, вроде тех, какие издает ребенок, объевшийся зелеными яблоками. Я вскакиваю, открываю дверь, зову благородную вдову и, когда она высовывает голову, говорю:

— Миссис Пиви, мадам, будьте любезны, заткните глотку вашему младенцу, чтобы порядочные люди могли спокойно спать.

— Сэр, — отвечает она. — Это не мой младенец. Это визжит свинья, которую часа два назад принес к себе в комнату ваш друг мистер Тейтам. И если вы приходите к ней дядей или двоюродным братом, я была бы чрезвычайно польщена, если бы вы, уважаемый сэр, сами заткнули ей глотку.

Я накинул кое-какую одежду, необходимую в порядочном обществе, и пошел к Руфу в его комнату. Он был на ногах, у него горела лампа, он наливал в жестяную сковородку молока для бурой, среднего возраста, визжащей хавроньи.

— Что же это, Руф? — говорю я. — Вы манкировали своими обязанностями и сорвали мне всю игру. И откуда у вас свинья? Почему свинья? Вы, кажется, опять взяли за старое?

— Не сердитесь, пожалуйста, Джефф, — говорят он. — Имейте снисхождение к моей слабости. Вы знаете, как я люблю свинокрадство. Это вошло мне в кровь. А сегодня, как нарочно, представился такой замечательный случай, что я никак не мог удержаться.

— Ну что ж! — говорю я. — Может быть, вы и вправду больны клеptosвинией. И кто знает, может быть, когда мы выберемся из полосы, где разводят свиней, ваша душа обратится к каким-нибудь более высоким и более прибыльным нарушениям закона. Я просто понять не могу, какая вам охота пятнать свою душу таким пакостным, слабоумным, зловредным, визгливым животным?

— Все дело в том, — говорит он, — что вы, Джефф, не чувствуете симпатии к свиньям. Вы не понимаете их, а я понимаю. По-моему, вот эта обладает необыкновенной талантливостью и очень большим интеллектом: только что она прошлась по комнате на задних ногах.

— Ладно, — говорю я. — Я иду спать. Если ваша милая свинья действительно такая премудрая, внушите ей, сделайте милость, чтобы она вела себя тише.

— Она была голодна, — говорит Руф. — Теперь она заснет, и больше вы ее не услышите.

Я всегда перед завтраком читаю газеты, если только нахожусь в таком месте, где поблизости есть типографская машина или хотя бы ручной печатный станок. На следующий день я встал рано и нашел у парадной двери "Лексингтонский листок", только что принесенный почтальоном. Первое, что я увидел, было объявление в два столбца:

#### Пять тысяч долларов награды

Указанная сумма будет уплачена без всяких расспросов тому, кто доставит обратно — живой и невредимой — знаменитую ученую свинью по имени Бешпо, пропавшую или украденную вчера вечером из цирка братьев Бинкли.

*Дж. Б. Тэлли, управляющий цирком.*

Я аккуратно сложил газету, сунул ее во внутренний карман и пошел к Руфу. Он был почти одет и кормил свинью остатками молока и яблочной кожурой.

— Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро вам всем! — сказал я задушевно и ласково. — Так мы уже встали? И свинка завтракает? Что вы думаете с ней делать, мой друг?

— Я упакую ее в корзинку, — говорит Руф, — и пошлю к маме в Маунт-Нэбо. Пусть развлекает ее, пока я не вернусь.

— Славная свинка! — говорю я и щекочу ей спину.

— А вчера вы ругали ее самыми скверными словами, — говорит Руф.

— Да, — говорю я, — но сегодня, при утреннем свете, она гораздо красивее. Я, видите ли, вырос на ферме и очень люблю свиней. Но я всегда ложился спать с заходом солнца и не видал ни одной свиньи при свете лампы. Вот что я сделаю, Руф, я дам вам за эту свинью десять долларов.

— Я не хотел бы продавать эту свинку! — говорит он. — Другую я, пожалуй, и продал бы, но эту — нет.

— Почему же не эту? — спрашиваю я и начинаю пугаться, что он уже догадался, в чем дело.

— Потому, — говорит он, — что это было замечательнейшим подвигом всей моей жизни. Никто другой не мог бы совершить такой подвиг. Если когда-нибудь у меня будут дети, если у меня будет семейный очаг, я сяду у очага и стану рассказывать им, как их папаша похитил свинью из переполненного публичкой цирка. А может быть, и внукам расскажу. То-то они будут гордиться. Дело было так: там стоят две палатки, соединенные между собою. Свинья лежала на помосте, привязанная маленькой цепочкой. В другой палатке я видел великана и даму, сплошь покрытую кудлатыми седыми волосьями. Я взял свинью и выбрался ползком из-под холста. Она была тише мышонка: хоть бы взвизгнула. Я сунул ее под пиджак и прошел мимо целой сотни людей, покуда не вышел на темную улицу. Вряд ли я продам эту свинью, Джефф. Я хочу, чтобы мама сохранила ее, тогда у меня будет свидетель моего знаменитого дела.

— Свинья не проживет столько лет, — говорю я, — она околеет раньше, чем вы начнете свою старческую болтовню у камина. Вашим внукам придется поверить вам на слово. Я даю вам за нее сто долларов.

Руф с изумлением взглянул на меня.

— Свинья не может иметь для вас такую большую ценность, — сказал он. — Зачем она вам?

— Видите ли, — сказал я с тонкой улыбкой, — с первого взгляда трудно предположить во мне темперамент художника, а между тем у меня есть художественная жилка. Я собираю коллекцию. Коллекцию всевозможных свиней. Я исколесил весь мир в поисках выдающихся и редких свиней. В долине Уобаши у меня есть специальное свиное ранчо, где собраны представители самых ценных пород — от мериносов до польско-китайских. Эта свинья кажется мне очень породистой, Руф. Я думаю, это настоящий беркшир. Вот почему я приобретаю ее.

— Я, конечно, рад оказать вам услугу, но у меня тоже есть художественная жилка, — отвечает Руф. — По-моему, если человек может похитить свинью лучше всякого другого человека, — он художник. Свиньи — мое вдохновение. Особенно эта свинья. Давайте мне за нее хоть двести пятьдесят, я и то не продам.

— Нет, послушайте, — говорю я, вытирая пот со лба. — Тут дело не в деньгах, тут дело в искусстве; и даже не столько в искусстве, сколько в любви к человечеству. Как знаток и любитель свиней, я обязан приобрести эту беркширскую свинку. Это мой долг по отношению к ближним. Иначе меня замучит совесть. Сама-то свинка этих денег не стоит, но с точки зрения высшей справедливости по отношению к свиньям, как лучшим слугам и друзьям человечества, я предлагаю вам за нее пятьсот долларов.

— Джефф, — отвечает этот поросячий эстет, — для меня дело не в деньгах, а в чувстве.

— Семьсот, — говорю я.

— Давайте восемьсот, — говорит он, — и я вырву из сердца чувство.

Я достал из своего потайного пояса деньги и отсчитал сорок бумажек по двадцать долларов.

— Я возьму ее к себе в комнату и запрю, — говорю я, — пусть посидит, пока мы будем завтракать.

Я взял ее за заднюю ногу. Она завизжала, как паровой орган в цирке.

— Дайте-ка мне, — сказал Руф, взял хавронью подмышку, придержал рукой ее рыло и понес в мою комнату, как спящего младенца.

С той минуты, как я нарядил Руфа в такой шикарный костюм, его охватила страсть к разным туалетным безделицам. После завтрака он заявил, что пойдет к Мисфицкому купить себе лиловые носки. Чуть он ушел, я засуетился, как однорукий человек в крапивной лихорадке, когда он клеит обои. Я нанял старого негра с тележкой, мы сунули свинью в мешок, завязали его бечевкой и поехали в цирк.

Я разыскал Джорджа Б. Тэпли в небольшой палатке, у открытого отверстия вроде окна. Это был толстенький человечек с пронзительным взглядом, в красной фуфайке и черной ермолке. Фуфайка была заколота у него на груди брильянтовой булавкой в четыре карата.

— Вы Джордж Б. Тэпли? — спрашиваю я,

— Готов присягнуть, что я, — отвечает он.

— Ну, так я могу вам сказать, что я достал и привез.

— Выразайтесь точнее, — говорит он. — Что вы привезли? Морских свинок для азиатского удава или люцерну для священного буйвола?

— Да нет же, — говорю я. — Я привез вам Беппо, ученую свинку; она у меня в мешке, тут в тележке. Сегодня утром я нашел ее в садике у моих парадных дверей. Она подрывала цветы. Если вам все равно, я хотел бы получить мои пять тысяч долларов не мелкими, а крупными билетами.

Джордж Б. Тэпли вылетает из палатки и просит меня следовать за ним. Мы идем в один из боковых шалашей. Там на сене лежит черная, как сажа, свинья с розовой ленточкой на шее и кушает морковь, которой кормит ее какой-то мужчина.

— Эй, Мак! — кричит Тэпли. — Сегодня утром ничего не случилось с нашей всемирно известной?

— С ней? Нет! — отвечает мужчина. — У нее отличный аппетит, как у хористки в час ночи.

— С чего же вы взяли такую нелепицу? — спрашивает Тэпли, обращаясь ко мне. — Скушали на ночь слишком много свиных котлет?

Я вынимаю газету и показываю ему объявление.

— Фальшивка! — говорит он. — Ничего об этом не знаю. Вы своими глазами видели замечательное всемирно известное чудо четвероногого царства, вы видели, с какой сверхъестественной мудростью оно вкушает свой утренний завтрак; вы своими глазами могли убедиться, что оно не украдено и не заблудилось. До свиданья. Будьте здоровы.

Я начал понимать, в чем дело, и, усевшись в тележку, велел дяде Нэду ехать к ближайшей аллее. Там я вынул мою свинью из мешка, тщательно установил ее, долго прицеливался и дал ей такого пинка, что она вылетела из другого конца аллеи — на двадцать футов впереди своего визга.

Потом я заплатил дяде Нэду его пятьдесят центов и пошел в редакцию газеты. Я хотел, услышать своими ушами — коротко и ясно — обо всем происшествии. Я вызвал к окошечку агента по приему объявлений.

— Я держал пари, и мне нужны кое-какие подробности, — говорю я. — Не был тот человек, который сдал вам объявление о свинье, толстенький, с длинными черными усами, со скрюченной левой ногой?

— Нет, — отвечает агент. — Он очень высокий и тощий, волосы у него кукурузного цвета, а расфуфырен, как оранжевый цветок.

К обеду я вернулся к миссис Пиви.

— Не оставить ли на огне немного супу для мистера Тейтама? — спрашивает она.

— Долго вам придется его ждать, — говорю я. — Сохраняя для него горячий суп, вы истощите на топливо все угольные копи и все леса обоих полушарий.

— Итак, вы видите, — заключил свою повесть Джефф Питерс, — как трудно найти надежного и честного партнера.

— Но, — начал я, считая, что долгое знакомство дает мне право на такой вопрос, — правило-то ваше обоюдоострое. Предложи вы ему поделить пополам обещанную в газете награду, вы не потеряли бы...

Джефф остановил меня взглядом, полным благородной укоризны.

— Совершенно разные вещи, и смешивать их нельзя, — сказал он. — То, что я пытался проделать, есть самая простая спекуляция, нравственная, разрешенная всеми законами. Дешево купить и дорого продать — чем, как не этим держится Уолл-Стрит? Там быки и медведи<sup>1</sup>, а тут была свинья. Какая же разница? Свиная щетина — разве она не под стать рогам и звериной шкуре?

Из сборника  
“ДОРОГИ СУДЬБЫ”  
1909

<sup>1</sup> Быками на американском биржевом жаргоне называют спекулянтов, играющих на повышение курса акций, медведями — играющих на понижение.



## ВОЛШЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ

Калифов женского пола немного. По праву рождения, по склонности, инстинкту и устройству своих голосовых связей все женщины — Шахразады. Каждый день сотни тысяч Шахразад рассказывают тысячу и одну сказку своим султанам. Но тем из них, которые не остерегутся, достанется в конце концов шелковый шнурок.

Мне, однако, довелось услышать сказку об одной такой султанше. Сказка эта не вполне арабская, потому что в нее введена Золушка, которая орудовала кухонным полотенцем совсем в другую эпоху и в другой стране. Итак, если вы не против смешения времен (что, как нам кажется, придает повествованию восточный колорит), то мы приступим к делу.

В Нью-Йорке есть одна старая-престарая гостиница. Гравюры с нее вы видели в журналах. Ее построили — позвольте-ка — еще в то время, когда выше Четырнадцатой улицы не было ровно ничего, кроме индейской тропы на Бостон да конторы Гаммерштейна<sup>1</sup>. Скоро старую гостиницу снесут. И в то время, когда начнут ломать массивные стены и с грохотом посыплется кирпичи по желобам, на соседних углах соберутся толпы жителей, оплакивая разрушение дорогого им памятника старины. Гражданские чувства силь-

<sup>1</sup> Оскар Гаммерштейн — известный антрепренер и владелец оперных театров в Нью-Йорке.

ны в Новом Багдаде; а पुще всех будет лить слезы и громче всех будет поносить иконоборцев тот гражданин (родом из Терри-Хот), который умиленно хранит единственное воспоминание о гостинице — как в 1873 году его там вытолкали в шею, с трудом оторвав от стойки с бесплатной закуской.

В этом отеле всегда останавливалась миссис Мэгги Браун. Миссис Браун была костлявая женщина лет шестидесяти, в порыжелом черном платье и с сумочкой из кожи того допотопного животного, которое Адам решил назвать аллигатором. Она всегда занимала в гостинице маленькую приемную и спальню на самом верху, ценою два доллара в день. И все время, пока она жила там, к ней толпами бегали просители, остроносые, с тревожным взглядом, вечно куда-то спешившие. Ибо Мэгги Браун занимала третье место среди капиталисток всего мира, а эти беспокойные господа были всего-навсего городские маклеры и дельцы, стремившиеся сделать небольшой заем миллионов этак в десять у старухи с доисторической сумочкой.

Стенографисткой и машинисткой в отеле “Акрополь” (ну вот, я и проговорился!) была мисс Ида Бэйтс. Она казалась слепком с греческих классиков. Ее красота была совершенна. Кто-то из галантных стариков, желая выразить свое уважение даме, сказал так: “Любовь к ней равнялась гуманитарному образованию”<sup>1</sup>. Так вот, один только взгляд на прическу и аккуратную белую блузку мисс Бэйтс равнялся полному курсу заочного обучения по любому предмету. Иногда она кое-что переписывала для меня, и поскольку она отказывалась брать деньги вперед, то привыкла считать меня чем-то вроде друга и протеже. Она была неизменно ласкова и добродушна, и даже комми по сбыту свинцовых белил или торговец мехами не посмел бы в ее присутствии выйти из границ благопристойности. Весь штат “Акрополя” мгновено встал бы на ее защиту, начиная

<sup>1</sup> Часто цитируемая фраза из очерка английского писателя XVIII века Ричарда Стиля.

с хозяина, жившего в Вене, и кончая старшим портье, вот уже шестнадцать лет прикованным к постели.

Как-то днем, проходя мимо машинописного святилища мисс Бэйтс, я увидел на ее месте черноволосое существо — без сомнения, одушевленное, — стукавшее указательными пальцами по клавишам. Размышляя о превратности всего земного, я прошел мимо. На следующий день я уехал отдыхать и пробыл в отъезде две недели. По возвращении я заглянул в вестибюль “Акрополя” и не без сердечного трепета увидел, что мисс Бэйтс, по прежнему классическая, безупречная и благожелательная, накрывает чехлом свою машинку. Рабочий день кончился, но она пригласила меня присесть на минутку на стул для клиентов. Мисс Бэйтс объяснила свое отсутствие, а также и возвращение в отель “Акрополь” следующим или приблизительно таким образом:

— Ну, дорогой мой, каково пишется?

— Ничего себе, — ответил я. — Почти так же, как печатается.

— Сочувствую вам, — сказала она. — Хорошая машинка — это в рассказе главная вещь. Вы меня вспоминали ведь, верно?

— Я не знаю никого, — ответил я, — кто умел бы лучше вас поставить на место запятые и постояльцев в гостинице. Но вы ведь тоже уезжали. Я видел за вашим ремингтоном какую-то пачку жевательной резинки.

— Я и собиралась вам про это рассказать, да вы меня прервали, — сказала мисс Бэйтс. — Вы, конечно, слышали про Мэгги Браун, которая здесь останавливается. Так вот, она стоит сорок миллионов долларов. Живет она в Джерси в десятидолларовой квартирке. У нее всегда больше наличных, чем у десяти кандидатов в вице-президенты. Не знаю, где она держит деньги, может быть в чулке, знаю только, что она очень популярна в той части города, где поклоняются золотому тельцу.

Так вот, недели две тому назад миссис Браун останавливается в дверях и глазееет на меня минут десять. Я сижу к ней боком и переписываю под копирку проспект медных

разработок для одного симпатичного старичка из Тонопы. Но я всегда вижу, что делается кругом. Когда у меня срочная работа, мне все видно сквозь боковые гребенки, а не то я оставляю незастегнутой одну пуговицу на спине и тогда вижу, кто стоит сзади. Я даже не оглянулась, потому что зарабатываю долларов восемнадцать-двадцать в неделю и ничего другого мне не нужно.

В тот вечер она к концу работы присылает за мной и просит зайти к ней в номер. Я было думала, что придется перепечатывать страниц двадцать долговых расписок, залоговых квитанций и договоров и получить центов десять чаевых, но все-таки пошла. Ну, дорогой мой, и удивилась же я. Мэгги Браун вдруг заговорила по-человечески.

— Детка, — говорит она, — красивее вас я никого за всю свою жизнь не видала. Я хочу, чтоб вы бросили работу и перешли жить ко мне. У меня нет никого на свете, — говорит, — кроме мужа да одного-двух сыновей, и я ни с кем из них не поддерживаю отношений. Они своим транжирством только обременяют трудящуюся женщину. Я хочу взять вас в дочку. Говорят, будто бы я скупая и корыстная, а в газетах печатают враки, будто бы я сама на себя готовлю и стираю. Это вранье, — продолжает она. — Я всю стирку отдаю на сторону, кроме разве носовых платков, чулок да нижних юбок и воротничков и разной мелочи в этом роде. У меня сорок миллионов долларов наличными деньгами, в бумагах и облигациях, таких же верных, как привилегированные "Стандард-Ойл" на церковной ярмарке. Я одинокая старая женщина и нуждаюсь в близком человеке. Вы самое красивое создание, какое я в жизни видала, — говорит она. — Хотите вы перебраться ко мне? Вот увидят тогда, умею я тратить деньги или нет, — говорит она.

Ну, милый мой, что же мне было делать? Конечно, я не устояла. Да и сказать вам по правде, я тоже начала привязываться к миссис Браун. Вовсе не из-за сорока миллионов и не ради того, что она могла для меня сделать. Я ведь тоже была совсем одна на свете. Всякому хочется иметь кого-нибудь, кому можно было бы рассказать про боли в левом пле-

че и про то, как быстро изнашиваются лакированные туфли, когда на них появятся трещинки. А ведь не станешь про это говорить с мужчинами, которых встречаешь в гостиницах, — они только того и дожидаются.

И вот я бросила работу в гостинице и переехала к миссис Браун. Не знаю уж, чем я ей так понравилась. Она глядела на меня по полчаса, когда я сидела и читала что-нибудь или просматривала журналы.

Как-то я и говорю ей:

— Может, я вам напоминаю покойную родственницу или подругу детства, миссис Браун? Я заметила, что иногда вы так и едите меня глазами

— Лицо у вас, — говорит она, — точь-в-точь такое, как у моего дорогого друга, лучшего друга, какой у меня был. Но я вас люблю и ради вас самой, деточка, — говорит она.

— И как вы думаете, мой милый, что она сделала? Расшиблась в прах, как волна на пляже Кони-Айленда. Она отвезла меня к модной портнихе и велела одеть меня с ног до головы а la carte — за деньгами дело не станет. Заказ был срочный, и мадам заперла парадную дверь и усадила весь свой штат за работу.

Потом мы переехали — куда бы вы думали? Нет, отгадайте. Вот это верно — в отель "Бонтон". Мы заняли номер в шесть комнат, и это стоило нам сто долларов в день. Я сама видала счет. Тут я и начала привязываться к старушке.

А потом, когда мне стали привозить платье за платьем — о! вам я про них рассказывать не стану, вы все равно ничего не поймете. А я начала звать ее тетей Мэгги. Вы, конечно, читали про Золушку. Так вот, радость Золушки в ту минуту, когда принц надевал ей на ногу туфельку тридцать первый номер, даже и сравниться не может с тем, что я тогда чувствовала. Передо мной она была просто неудачница.

Потом тетя Мэгги сказала, что хочет закатить для моего первого выезда банкет в отеле "Бонтон" — такой, чтобы съехались все старые голландские фамилии с Пятой авеню.

— Я ведь выезжала и раньше, тетя Мэгги, — говорю я. — Но можно начать снова. Только знаете ли, — говорю, — ведь

это самый шикарный отель в городе. И знаете ли, вы уж меня извините, но очень трудно собрать всю эту аристократию вместе, если вы раньше не пробовали.

— Не беспокойтесь, деточка, — говорит тетя Мэгги. — Я не рассылаю приглашений, а отдаю приказ. У меня будет пятьдесят человек гостей, которых не заманишь вместе ни на какой прием, разве только к королю Эдуарду или к Уильяму Треверсу Джерому<sup>1</sup>. Это, конечно, мужчины, и все они мне должны или собираются занять. Жены приедут не все, но очень многие явятся.

Да, хотелось бы мне, чтоб и вы присутствовали на этом банкете. Обеденный сервиз был весь из золота и хрусталя. Собралось человек сорок мужчин и восемь дам, кроме нас с тетей Мэгги. Вы бы не узнали третьей капиталистки во всем мире. На ней было новое черное шелковое платье с таким множеством бисера, что он стучал, словно град по крыше — мне это пришлось слышать, когда я ночевала в грозу у одной подруги в студии на самом верхнем этаже.

А мое платье! — слушайте, мой милый, я для вас даром тратить слова не намерена. Оно было все сплошь из кружев ручной работы — там, где вообще что-нибудь было, — и обошлось в триста долларов. Я сама видела счет. Мужчины были все лысые или с седыми баками и все время перебрасывались остроумными репликами насчет трехпроцентных бумаг, Брайана и видов на урожай хлопка.

Слева от меня сидел какой-то банкир, или что-нибудь вроде, судя по разговору, а справа — молодой человек, который сказал, что он газетный художник. Он был единственный... вот про это я и хотела вам рассказать.

После обеда мы с миссис Браун пошли к себе наверх. Нам пришлось протискиваться сквозь толпу репортеров, заполонивших вестибюль и коридоры. Вот что деньги для вас могут сделать. Скажите, вы не знаете случайно одного газетного художника по фамилии Латроп — такой высокий,

красивые глаза, интересный в разговоре. Нет, не помню, в какой газете он работает. Ну, ладно.

Пришли мы наверх, и миссис Браун позвонила, чтоб ей немедленно подали счет. Счет прислали — он был на шестьсот долларов. Я сама видела. Тетя Мэгги упала в обморок. Я уложила ее на софу и расстегнула бисерный панцирь.

— Деточка, — говорит она, возвратившись к жизни, — что это было? Повысили квартирную плату или ввели подоходный налог?

— Так, небольшой обед, — говорю я. — Не о чем беспокоиться, это же капля в денежном море. Сядьте и придите в себя — можно и выехать, если ничего другого не остается.

И как вы думаете, мой милый, что случилось с тетей Мэгги? Она струсила. Скорей увезла меня из этого отеля Бонтон, едва дождавшись девяти часов утра. Мы переехали в меблирашки в нижнем конце Вест-Сайда. Она сняла одну комнату, где вода была этажом ниже, а свет — этажом выше. После того как мы переехали, у нас в комнате только и было что модных платьев на полторы тысячи долларов да газовая плита с одной конфоркой. Тетя Мэгги переживала острый приступ скупости. Я думаю, каждому случается разойтись вовсю хоть один раз в жизни. Мужчина швыряет деньги на выпивку, а женщина сходит с ума из-за тряпок. Но при сорока миллионах, знаете ли! Хотела бы я видеть такую картину — кстати, говоря о картинах, не встречали ли вы газетного художника по фамилии Латроп, такой высокий — ах да, я уже спрашивала у вас, правда? Он был очень внимателен ко мне за обедом. У него такой голос! Мне нравится. Он, должно быть, подумал, что тетя Мэгги завещает мне сколько-нибудь из своих миллионов.

Так вот, мой милый, через три дня это облегченное домашнее хозяйство надоело мне до смерти. Тетя Мэгги была все так же ласкова. Она просто глаз с меня не спускала. Но позвольте мне сказать вам, это была такая скряга, просто скряга из скряг, всем скрягам скряга. Она твердо решила не тратить больше семидесяти пяти центов в день. Мы готовили себе обед в комнате. И вот я, имея на тысячу долларов

<sup>1</sup> У. Т. Джером — американский юрист, известный своей борьбой против политической коррупции в Нью-Йорке. Одно время был окружным прокурором США.

самых модных платьев, выделявала всякие фокусы на газовой плите с одной конфоркой.

Повторяю, на третий день я сбежала. У меня в голове не вязалось, как это можно готовить на пятнадцать центов тушеных почек в стопятидесятидолларовом домашнем платье со вставкой из валансьенских кружев. И вот я иду за шкаф и переодеваюсь в самое дешевое платье из тех, что миссис Браун мне купила, — вот это самое, что на мне, — не так плохо за семьдесят пять долларов, правда? А свои платья я оставила на квартире у сестры, в Бруклине.

— Миссис Браун, бывшая тетя Мэгги, — говорю я ей, — сейчас я начну переставлять одну ногу за другой попеременно так, чтобы как можно скорей уйти подальше от этой квартиры. Я не поклонница денег, — говорю я, — но есть вещи, которых я не терплю. Еще туда-сюда сказочное чудовище, о котором мне приходилось читать, будто оно одним дыханием может напустить и холод и жару. Но я не терплю, когда дело бросают на полдороге. Говорят, будто вы скопили сорок миллионов — ну, так у вас никогда меньше не будет. А ведь я к вам привязалась.

Тут бывшая тетя Мэгги ударяется в слезы. Обещает переехать в шикарную комнату с водой и двумя газовыми конфорками. «Я потратила уйму денег, деточка, — говорит она. — На время нам надо будет сократиться. Вы самое красивое создание, какое я только видела, говорит, и мне не хочется, чтобы вы от меня уходили».

Ну, вы меня понимаете, не правда ли? Я пошла прямо в «Акрополь», попросилась на старую работу, и меня взяли. Так как же, вы говорили, у вас с рассказами? Я знаю, вы много потеряли оттого, что не я их переписывала. А рисунки к ним вы когда-нибудь заказываете? Да, кстати, не знакомы ли вы с одним газетным художником... ах, что это я! Ведь я вас уже спрашивала. Хотела бы я знать, в какой газете он работает. Странно, только мне все думается, что он и не думал о деньгах, которые, как я думала, может мне завещать старуха Браун. Если б я знала кого-нибудь из газетных редакторов, я бы...

За дверью слышались легкие шаги. Мисс Бэйтс увидела, кто это, сквозь заднюю гребенку в прическе. Она вдруг порозовела, эта мраморная статуя, — чудо, которое видели только я да Пигмалион.

— Ведь вы извините меня? — сказала она мне, превращаясь в очаровательную просительницу. — Это... это мистер Латроп. Может быть, он и в самом деле не из-за денег, может быть, он и правда...

Разумеется, меня пригласили на свадьбу. После церемонии я отвел Латропа в сторону.

— Вы художник, — сказал я. — Неужели вы до сих пор не поняли, почему Мэгги Браун так сильно полюбила мисс Бэйтс, то есть бывшую мисс Бэйтс? Позвольте, я вам покажу.

На новобрачной было простое белое платье, падавшее красивыми складками, наподобие одежды древних греков. Я сорвал несколько листьев с гирлянды, украшавшей маленькую гостиную, сделал из них венок и, возложив его на блестящие каштановые косы урожденной Бэйтс, заставил ее повернуться в профиль к мужу.

— Клянусь честью! — воскликнул он. — Ведь Ида — вылитая женская головка на серебряном долларе!

## ГНУСНЫЙ ОБМАНЩИК

Началась беда в Ларедо. Всему виной был Малыш Льяно: свою привычку убивать людей ему следовало бы ограничить мексиканцами. Но Малышу было за двадцать лет, а на границе по Рио-Гранде в двадцать лет неприлично числить за собой одних мексиканцев.

Произошло это в игорном доме старого Хусто Вальдо. Играли в покер, и не все играющие были между собой друзьями, как это часто случается в местах, куда люди приезжают издалека ловить на лету счастье. Спор разгорелся из-за такого пустяка, как две дамы; и когда дым рассеялся, выяснилось, что Малыш совершил неделикатный поступок, а

его противник допустил промах. Мало того, что незадачливый дуэлянт не был мексиканцем, — он происходил из знатной семьи, владевшей несколькими ранчо, был приблизительно одних лет с Малышом и имел друзей и защитников. Оттого, что он дал промах — его пуля пролетела всего лишь в одной шестнадцатой дюйма от правого уха Малыша, — поступок более меткого стрелка не стал деликатнее.

Малыш, у которого, по причине его репутации, несколько сомнительной даже для границы, не было ни свиты, ни друзей, ни приспешников, решил, что вполне совместимо с его неоспоримой храбростью произвести благоразумный маневр, известный под названием “дать стрелача”.

Мстители быстро собрались и пустились в погоню. Трое из них настигли его в нескольких шагах от станции железной дороги. Малыш оглянулся, зубы его обнажились в сверкающей, но невеселой улыбке, которая обычно предшествовала его наглым и жестоким поступкам, и преследователи отступили, прежде чем он успел хотя бы потянуться за револьвером.

Впрочем, в последней схватке Малыш не ощутил той мрачной жажды убийства, которая так часто побуждала его к бою. Это была чисто случайная ссора, вызванная картами и двумя-тремя не приемлемыми для джентльмена эпитетами, которыми обменялись противники. Малышу скорее даже нравился стройный, гордый, смуглый юноша, которого его пуля сразила в цвете лет. И теперь ему больше не хотелось крови. Ему хотелось уйти подальше и выспаться где-нибудь на солнце, лежа в траве и закрыв лицо носовым платком. Даже мексиканец мог безнаказанно попасться ему на глаза, пока он был в таком настроении.

Малыш, не скрываясь, сел в пассажирский поезд и пять минут спустя уже ехал на север. Но в Уэббе, в нескольких милях дальше, где поезд остановился, чтобы принять пассажира, он решил отказаться от подобного способа бегства. Впереди были станции с телеграфом, а Малыш недолюбливал электричество и пар. Он предпочитал седло и шпоры.

Убитый им человек был ему незнаком. Но Малыш знал, что он был из лагеря Коралитос на ранчо Хидальго; он также знал, что ковбой с этого ранчо, если обидишь одного из них, мстят более свирепо, чем кровные враги в штате Кентукки. Поэтому с мудростью, свойственной многим великим воителям, Малыш решил отделить себя от возмездия лагеря Коралитос зарослями чапарала и кактусов возможно большей протяженности.

Около станции была лавка, а около лавки, среди вязов и мескитовых кустов, стояли верховые лошади покупателей. Лошади большей частью лениво дремали, опустив головы. Только одна из них, длинноногая, караковая, с лебединой шеей, храпела и рыла землю копытом. Малыш вскочил на нее, сжал ее коленями и слегка тронул хозяйской плеткой.

Если убийство дерзкого партнера несколько омрачило репутацию Малыша как благонадежного гражданина, то этот последний его поступок покрыл его мрачным плащом бесчестия. На границе по Рио-Гранде, если вы отнимаете у человека жизнь, вы иногда отнимаете ерунду; но когда вы отнимаете у него лошадь, то это потеря, от которой он действительно становится беднее и которая вас не обогатит... если вы будете пойманы. Теперь для Малыша возврата не было.

Сидя на горячем караковом коне, он был относительно спокоен. Он проскакал галопом пять миль, потом перешел на ровную рысь — любимый аллюр равнинных жителей — и повернул на северо-восток, по направлению к реке Нуэсес. Он хорошо знал эту местность, извилистые глухие тропы в бесконечных зарослях колючего кустарника и кактусов, лагеря и одинокие ранчо, где можно найти безопасный приют. Малыш все время держал путь на восток; он никогда не видел океана, и ему пришла в голову мысль потрепать по гриве Мексиканский залив — шаловливого жеребенка великой водной шири.

Таким образом, через три дня он стоял на берегу в Корпус-Кристи и смотрел на легкую зыбь спокойного моря.

Капитан Бун со шхуны "Непоседа" стоял у своей шлюпки, качавшейся у самого берега под охраной матроса. Он уже совсем собрался отчалить, как вдруг обнаружил, что забыл захватить необходимую принадлежность своего обихода — прессованный табак. Одного из матросов послали за этим забытым грузом. Капитан в ожидании его расхаживал по песку, дожидывая остатки своего карманного запаса.

К воде спустился стройный, мускулистый юноша в сапогах с высокими каблуками. Лицо его было лицом юноши, но преждевременная суровость свидетельствовала об опытности мужчины. Цвет лица, смуглый от природы, стал от загара и ветра кофейно-коричневым. Волосы у него были черные и прямые, как у индейца; его лицо еще не знало унижения бритвы, глаза были холодные, синие. Левый локоть его был неплотно прижат к телу, потому что блюстители порядка в городе хмурятся на сорок пятого калибра револьверы с перламутровыми ручками, а для того, чтобы держать их подмышкой за левой проймой жилета, они немало велики. Он смотрел сквозь капитана Буна на залив с бесстрастным, непроницаемым спокойствием китайского императора.

— Что, собираетесь купить залив, приятель? — спросил капитан. Приключение с табаком, который он чуть-чуть не забыл, настроило его на саркастический лад.

— Ну, зачем же, — мягко ответил Малыш, — вряд ли. Я его никогда раньше не видел. Я просто смотрю на него. А вы не собираетесь ли его продать?

— Только не в этот рейс, — сказал капитан. — Я вышлю его вам наложенным платежом, когда вернусь в Буэнос-Тьеррас... Вон он идет, точно на лебедке тянется, этот лентяй со жвачкой. Я уже час как должен был сняться с якоря.

— Это ваш корабль? — спросил Малыш.

— Мой, — ответил капитан, — если вам угодно называть шхуну кораблем, а мне угодно врать. Только правильнее было бы сказать, что это шхуна Миллера и Гонсалеса, а перед вами просто-напросто старый Сэмюэль Бун — шкипер.

— Куда вы направляетесь? — спросил беглец.

— В Буэнос-Тьеррас, на берегу Южной Америки. Я забыл, как называлась эта страна, когда я был там в последний раз. Груз — строевой лес, листовое железо и ножи для сахарного тростника.

— Что это за страна? — спросил Малыш. — Жаркая или холодная?

— Тепловатая, любезный, — ответил капитан, — но настоящий потерянный рай в рассуждении пейзажа и красот и вообще географии. Каждое утро вас будит нежное пение красных птиц с семью лиловыми хвостами и шелест ветерка в цветах и розах. Жители этой страны никогда не работают: там можно не вставая с кровати протянуть руку и набрать целую корзину отборных тепличных фруктов. Там нет воскресений, нет счетов за лед, нет квартирной платы, нет беспокойства, нет смысла — вообще ничего нет. Это великая страна для человека, который хочет лечь спать и подождать, пока ему что-нибудь подвернется. Бананы, апельсины, ураганы и ананасы, которые вы едите, — все идет оттуда.

— Это мне нравится, — сказал Малыш, выказывая, наконец, какой-то интерес к разговору. — Сколько шкур вы с меня сдерете, чтобы отвезти меня туда?

— Двадцать четыре доллара, — отвечал капитан Бун, — еда и доставка. Каюта второго класса. Первого класса нет.

— Я еду с вами, — сказал Малыш, вытаскивая кошелек оленьей кожи.

Когда он выехал в Ларедо проветриться, у него было с собой триста долларов. Дуэль у Вальдо прервала его увеселительный сезон, но сберегла ему почти двести долларов для бегства, к которому она же его и вынудила.

— Ладно, любезный, — сказал капитан. — Надеюсь, что ваша маменька не осудит меня за эти ваши проделки.

Он жестом подозвал одного из своих матросов.

— Санчес перенесет вас в лодку, не то промочите ноги.

Тэкер, консул Соединенных Штатов в Буэнос-Тьеррас, еще не был пьян. Было только одиннадцать часов, а желанного

блаженства — того состояния, в котором он начинал петь слезливые арии из старых опереток и швырять в своего визжащего попугая банановой кожурой, — он обычно достигал лишь часам к трем-четырем. Поэтому, когда он, услышав легкое покашливание, выглянул из гамака и увидел Мальша, стоящего в дверях консульского дома, он еще смог проявить гостеприимство и вежливость, подходящие представителю великой державы.

— Не беспокойтесь, — любезно сказал Мальш. — Я на минутку. Мне сказали, что здесь принято заглядывать к вам, прежде чем пускаться гулять по городу. Я только что прибыл паромом из Техаса.

— Рад вас видеть, мистер... — сказал консул.

Мальш засмеялся.

— Спрэг Дальтон, — сказал он, — это для меня самого смешно звучит. На Рио-Гранде меня звали Мальш Льяно.

— Я Тэкер, — сказал консул. — Садитесь вот на тот тростниковый стул. Если вы приехали с целью помещения капитала, то вам нужен человек, который мог бы дать вам хороший совет. Этих черномазых нужно знать, не то они выжмут из вас все, вплоть до золотых пломб. Хотите сигару?

— Благодарю вас, — сказал Мальш. — Я не могу прожить и минуты без маисовой соломы и моего кисета. — Он вынул свои курительные принадлежности и свернул себе папиросу.

— Здесь говорят по-испански, — сказал консул. — Вам необходим переводчик. Если я могу чем-нибудь быть вам полезен, я к вашим услугам. Если вы покупаете фруктовые плантации или хотите получить какую-нибудь концессию, вам понадобится человек, знающий здесь все ходы и выходы.

— Я говорю по-испански, — сказал Мальш, — раз в девять лучше, чем по-английски. Там, откуда я приехал, все говорят по-испански. А покупать я ничего не собираюсь.

— Вы говорите по-испански? — задумчиво сказал Тэкер. Он внимательно осмотрел Мальша. — Вы и похожи на испанца, — продолжал он, — и вы из Техаса. И вам не больше

двадцати лет, от силы двадцать один. Интересно, храбрый вы парень или нет?

— У вас есть в виду какое-нибудь дело? — с неожиданной пронизательностью спросил техасец.

— А вы примете предложение? — спросил Тэкер.

— Не стану отрицать, — отвечал Мальш, — я влип в маленькую неприятность... мы повздорили там, в Ларедо, и я прикончил белого: ни одного мексиканца под рукой не оказалось. Я приехал в вашу попугайно-обезьянью страну, только чтобы понюхать цветочки. Теперь поняли?

Тэкер встал и закрыл дверь.

— Покажите мне вашу руку, — сказал он.

Он взял левую руку Мальша и тщательно осмотрел ее с тыльной стороны.

— Выйдет, — взволнованно сказал он. — Кожа у вас крепкая, как дерево, и здоровая, как у младенца. Заживет в одну неделю.

— Если вы хотите использовать меня для кулачного боя, — сказал Мальш, — не торопитесь ставить на меня. Вот пострелять — это я согласен. Но драться голыми руками, как кумушки за чаем, — это не для меня.

— Дело гораздо проще, — сказал Тэкер. — Подойдите сюда, пожалуйста.

Он указал через окно на двухэтажный белый дом с широкими галереями, выделявшийся среди темно-зеленой тропической листвы на лесистом холме, отлого поднимавшемся от берега моря.

— В этом доме, — сказал Тэкер, — знатный кастильский джентльмен и его супруга жаждут заключить вас в объятия и наполнить ваши карманы деньгами. Там живет старый Сантос Урикэ. Ему принадлежит половина золотых приисков во всей стране.

— Вы случайно не объелись белены? — спросил Мальш.

— Присядьте, — сказал Тэкер, — я вам объясню. Двенадцать лет назад они потеряли ребенка. Нет, он не умер, хотя большая часть детей здесь умирает — пьют сырую воду. Ему было всего восемь лет, но это был настоящий чертенок. Здесь все это знают. Какие-то американцы, приехавшие сю-



да искать золото, имели письма к сеньору Урикэ, и они очень много возились с мальчиком. Они забили ему голову рассказами о Штатах, и приблизительно через месяц после их отъезда малыш исчез. Предполагали, что он забрался в трюм на корабле, груженном бананами, и удрал в Новый Орлеан. Рассказывали, что его потом будто бы видели раз в Техасе, но больше никто о нем ничего не слышал. Старый Урикэ истратил тысячи долларов на его розыски. Больше всего убивалась мать. Мальчик был для нее всем. Она до сих пор носит траур. Но она, говорят, все еще верит, что он когда-нибудь к ней вернется. На левой руке у мальчика был вытатуирован летящий орел, несущий в когтях копье. Это герб старого Урикэ или что-то в этом роде, что он унаследовал из Испании.

Малыш медленно поднял свою левую руку и с любопытством посмотрел на нее.

— Вот именно, — сказал Тэкер, вытаскивая из-за письменного стола бутылку контрабандного виски. — Вы довольно догадливы. Я могу это сделать. Недаром я был консулом в Сандакане. Через неделю этот орел с палкой так вьестся в вашу руку, как будто вы с ним и родились. Я привез с собой набор иголок и тушь; я был уверен, что вы когда-нибудь поживитесь у меня, мистер Дальтон.

— Ах черт, — перебил его Малыш, — ведь я, кажется, сообщил вам, как меня зовут.

— Ну, ладно, пусть будет Малыш. Все равно ненадолго. А как вам нравится сеньорите Урикэ, а? Недурно звучит для разнообразия?

— Не помню, чтобы я когда-нибудь играл роль сына, — сказал Малыш. — Если у меня и были родители, то они отравились на тот свет примерно тогда же, когда я в первый раз запищал. В чем же состоит ваш план?

Тэкер, прислонясь к стене, поднял свой стакан и посмотрел его на свет.

— Теперь, — сказал он, — мы дошли до вопроса о том, желаете ли вы принять участие в этом дельце и как далеко вы согласны зайти.

— Я объяснил вам, как я попал сюда, — просто ответил Малыш.

— Ответ хороший, — сказал консул. — Но на этот раз вам не придется заходить так далеко. План мой заключается в следующем. После того как я вытатуирую на вашей руке эту торговую марку, я уведомя старому Урикэ. А пока что расскажу вам все, что мне удалось узнать из их семейной хроники, чтобы вам подготовить себе темы для разговора. Натурность у вас подходящая, вы говорите по-испански, вам известны все факты, вы можете рассказать о Техасе, татуировка на месте. Когда я извещу их, что законный наследник вернулся и хочет знать, будет ли он принят и прощен, что может произойти? Они примчатся сюда и бросятся вам на шею. Занавес опускается, зрители идут закусить и прогуляться по фойе.

— Вы договаривайте, — сказал Малыш. — Я только недавно расседлал своего коня в вашем лагере, приятель, и раньше встречать вас мне не приходилось. Но если вы предполагаете закончить это дело одним родительским благословением, я, видно, здорово в вас ошибся.

— Благодарю вас, — сказал консул. — Я давно не встречал человека, который так хорошо следил бы за ходом моей мысли. Все остальное очень просто. Если они примут вас даже ненадолго, этого будет вполне достаточно. Не давайте им только времени разыскивать родимое пятно на вашем левом плече. Старый Урикэ всегда держит у себя в доме от пятидесяти до ста тысяч долларов в маленьком сейфе, который легко можно открыть с помощью крючка для ботинок. Достаньте эти деньги. Половина пойдет мне — за татуировку. Мы поделим добычу, сядем на какой-нибудь бродячий пароход и укатим в Рио-де-Жанейро. А Соединенные Штаты пусть провалятся в тартарары, если они не могут обойтись без моих услуг. *Que dice, Señor?*<sup>1</sup>

— Это мне нравится, — сказал Малыш, кивнув головой. — Я согласен.

<sup>1</sup> Что скажете, сеньор? (исп.).

— Значит, по рукам, — сказал Тэкер. — Вам придется посидеть взаперти, пока я буду наводить на вас орла. Вы можете жить здесь, в задней комнате. Я сам себе готовлю, и я обещаю вам всеми удобствами, какие разрешает мне мое скаредное правительство.

Тэкер назначил срок в одну неделю, но прошло две недели, — прежде чем рисунок, который он терпеливо накалывал на руке Малыша, удовлетворил его. Тогда Тэкер позвал мальчишку и отправил своей намеченной жертве следующее письмо:

El Señor Don Santos Urique,  
La Casa Blanca.

Дорогой сэр!

Разрешите мне сообщить вам, что в моем доме находится, в качестве гостя, молодой человек, прибывший несколько дней тому назад в Буэнос-Тьеррас из Соединенных Штатов. Не желая возбуждать надежд, которые могут не оправдаться, я все же имею некоторые основания предполагать, что это ваш давно потерянный сын. Может быть, вам следовало бы приехать повидать его. Если это действительно ваш сын, то мне кажется, что он намеревался вернуться домой, но, когда он прибыл сюда, у него не хватило на это смелости, поскольку он не знал, как он будет принят.

Ваш покорный слуга *Томсон Тэкер*.

Через полчаса, что для Буэнос-Тьеррас очень скоро, старинное ландо сеньора Урикэ подъехало к дому консула. Боногий кучер громко подгонял и настегивал пару жирных, неуклюжих лошадей.

Высокий мужчина с седыми усами вышел из экипажа и помог сойти даме, одетой в глубокий траур.

Оба поспешно вошли в дом, где Тэкер встретил их самым изысканным дипломатическим поклоном. У письменного стола стоял стройный молодой человек с правильными чертами загорелого лица и гладко зачесанными черными волосами.

Сеньора Урикэ порывистым движением откинула свою густую вуаль. Она была уже не молода, и ее волосы начинали серебриться, но полная, представительная фигура и свежая еще кожа с оливковым отливом сохраняли следы красоты, свойственной женщинам провинции басков. Когда же вам удавалось посмотреть в ее глаза и прочесть безнадежную грусть, затаившуюся в их глубоких тенях, вам становилось ясно, что эта женщина живет только воспоминаниями.

Она посмотрела на молодого человека долгим взглядом, полным мучительного вопроса. Затем она отвела свои большие темные глаза от его лица, и взор ее остановился на его левой руке. И тут с глухим рыданьем, которое словно потрясло всю комнату, она воскликнула: «Сын мой!» — и прижала Малыша Льяно к сердцу.

Месяц спустя Малыш, по вызову Тэкера, пришел в консульство. Он стал настоящим испанским caballero. Костюм его был явно американского производства, и ювелиры недаром потратили на Малыша свои труды. Более чем солидный бриллиант сверкал на его пальце, когда он скручивал себе папиросу.

— Как дела? — спросил Тэкер.

— Да никак, — спокойно ответил Малыш. — Сегодня я в первый раз ел жаркое из игуаны. Это такие большие ящерицы, sabe?<sup>1</sup> Но я нахожу, что мексиканские бобы со свиной немногим хуже. Вы любите жаркое из игуаны, Тэкер?

— Нет, и других гадов тоже не люблю, — сказал Тэкер.

Было три часа дня, и через час ему предстояло достигнуть высшей точки блаженства.

— Пора бы вам заняться делом, сынок, — продолжал он, и выражение его покрасневшего лица не сулило ничего хорошего. — Вы нечестно со мной поступаете. Вы уже четвертую неделю играете в блудного сына и могли бы, если бы только пожелали, каждый день получать жирного тельца на золотом блюде. Что же, мистер Малыш, по-вашему бла-

<sup>1</sup> Знаете? (*исп.*).

городно оставлять меня так долго на диете из рожков? В чем дело? Разве вашим сыновним глазам не попадалось в Casa Blanca ничего похожего на деньги? Не говорите мне, что вы их не видели. Все знают, где старый Урикэ держит свои деньги, и притом в американских долларах; никаких других он не признает. Ну, так как же? Только не вздумайте опять ответить: "Никак".

— Ну, конечно, — сказал Малыш, любуясь своим брильянтом. — Денег там много. Хотя я и не особенно силен в арифметике, но могу смело сказать, что в этой жестяной коробке, которую мой приемный отец называет своим сейфом, не меньше пятидесяти тысяч долларов. Притом он иногда дает мне ключ от нее, чтобы доказать, что он верит, что я его настоящий маленький Франциско, некогда отбившийся от стада.

— Так чего же вы ждете? — сердито воскликнул Тэкер. — Не забывайте, что я могу в любой день разоблачить вас — стоит только слово сказать. Если старый Урикэ узнает, что вы самозванец, что с вами будет, как вы думаете? О, вы еще не знаете этой страны, мистер Малыш из Техаса. Здешние законы — что твои горчичники. Вас распластают, как лягушку, и всыплют вам по пятидесяти ударов на каждом углу площади, да так, чтобы измочалить об вас все палки. То, что от вас после этого останется, бросят аллигаторам.

— Могу, пожалуй, сообщить вам, приятель, — сказал Малыш, поудобнее расголагаясь в шезлонге, — что никаких перемен не предвидится. Мне и так неплохо.

— То есть как это? — спросил Тэкер, стукнув стаканом по столу.

— Ваша затея отменяется, — сказал Малыш. — И когда бы вы ни имели удовольствие разговаривать со мной, называйте меня, пожалуйста, дон Франциско Урикэ. Обещаю вам, что на это обращение я отвечу. Деньги полковника Урикэ мы не тронем. Его маленький жестяной сейф в такой же безопасности, как сейф с часовым механизмом в Первом Национальном банке в Ларедо.

— Так вы решили меня обойти? — сказал консул.

— Совершенно верно, — весело отвечал Малыш. — Решил обойти вас. А теперь я объясню вам почему. В первый же вечер, который я провел в доме полковника, меня отвели в спальную. Никаких одеял на полу — настоящая комната с настоящей кроватью и прочими фокусами. И не успел еще я заснуть, как входит моя мнимая мать и поправляет на мне одеяло "Панчито, — говорит она, — мой маленький потерянный мальчик, богу угодно было вернуть тебя мне. Я вечно буду благословлять его имя. Так она сказала, или какую-то еще чепуху в этом духе. И мне на нос падает капля дождя. Я этого не могу забыть, мистер Тэкер. И так с тех пор продолжается. И так оно и должно остаться. Не думайте, что я так говорю потому, что это мне выгодно. Если у вас есть такие мысли, оставьте их при себе. Я маловато имел дела с женщинами, да и матерей у меня было не так уж много, но эту даму мы должны дурачить до конца. Один раз она это пережила, второй раз ей не вынести. Я большой негодай, и, может быть, дьявол, а не бог послал меня на эту дорогу, но я пойду по ней до конца. И не забудьте, пожалуйста, когда будете упоминать обо мне, что я дон Франциско Урикэ.

— Я сегодня же открою всю правду, я всем скажу, кто ты такой, ты, гнусный предатель, — задыхаясь, сказал Тэкер.

Малыш встал, спокойно взял Тэкера за горло своей стальной рукой и медленно задвинул его в угол. Потом он вытащил из-под левой руки сорок пятого калибра револьвер с перламутровой ручкой и приставил холодное дуло ко рту консула.

— Я рассказал вам, как попал сюда, — сказал он со своей прежней леденящей улыбкой. — Если я уеду отсюда, причиной тому будете вы. Не забывайте об этом, приятель. Ну, как меня зовут?

— Э-э-э... дон Франциско Урикэ, — с трудом выговорил Тэкер.

За окном послышался стук колес, крики и резкий звук ударов деревянным кнутовищем по спинам жирных лошадей.

Малыш спрятал револьвер и пошел к двери; но он вернулся, снова подошел к дрожащему Тэкеру и протянул к нему свою левую руку.

— Есть еще одна причина, — медленно произнес он, — почему все должно остаться как есть. У малого, которого я убил в Ларедо, на левой руке был такой же рисунок.

Старинное ландо дона Сантоса Урикэ с грохотом подкатило к дому. Кучер перестал орать. Сеньора Урикэ в пышном нарядном платье из белых кружев с развевающимися лентами высунулась из экипажа, и ее большие и ласковые глаза сияли счастьем.

— Ты здесь, сынок? — окликнула она певучим кастильским голосом.

— Madre mía, yo vengo, — ответил молодой Франциско Урикэ.

## ПРЕВРАЩЕНИЕ ДЖИММИ ВАЛЕНТАЙНА

Надзиратель вошел в сапожную мастерскую, где Джимми Валентайн усердно тачал заготовки, и повел его в тюремную канцелярию. Там смотритель тюрьмы вручил Джимми помилование, подписанное губернатором в это утро. Джимми взял его с утомленным видом. Он отбыл почти десять месяцев из четырехлетнего срока, хотя рассчитывал просидеть не больше трех месяцев. Когда у арестованного столько друзей на воле, сколько у Джимми Валентайна, едва ли стоит даже брить ему голову.

— Ну, Валентайн, — сказал смотритель, — завтра утром вы выходите на свободу. Возьмите себя в руки, будьте человеком. В душе вы парень неплохой. Бросьте взламывать сейфы, живите честно.

— Это вы мне? — удивленно спросил Джимми. — Да я в жизни не взломал ни одного сейфа.

— Ну да, — улыбнулся смотритель, — разумеется. Посмотрим все-таки. Как же это вышло, что вас посадили за кражу

в Спрингфилде? Может, вы не захотели доказывать свое алиби из боязни скомпрометировать какую-нибудь даму из высшего общества? А может, присяжные подвели вас по злобе? Ведь с вами, невинными жертвами, иначе не бывает.

— Это вы мне? — снова спросил Джимми в добродетельном недоумении. — Да что вы! Я и в Спрингфилде никогда не бывал!

— Отведите его обратно, Кронин, — улыбнулся смотритель, — и оденьте как полагается. Завтра в семь утра вы его выпустите и приведете сюда. А вы лучше обдумайте мой совет, Валентайн.

На следующее утро, в четверть восьмого, Джимми стоял в тюремной канцелярии. На нем был готовый костюм отворотительного покроя и желтые скрипучие сапоги, какими государство снабжает всех своих подневольных гостей, расставаясь с ними.

Письмоводитель вручил ему железнодорожный билет и бумажку в пять долларов, которые, как полагал закон, должны были вернуть Джимми права гражданства и благосостояние. Смотритель пожал ему руку и угостил его сигарой. Валентайн, № 9762, был занесен в книгу под рубрикой "Помилован губернатором", и на солнечный свет вышел мистер Джеймс Валентайн.

Не обращая внимания на пение птиц, волнующуюся листву деревьев и запах цветов, Джимми направился прямо в ресторан. Здесь он вкусил первых радостей свободы в виде жаренного цыпленка и бутылки белого вина. За ними последовала сигара сортом выше той, которую он получил от смотрителя. Оттуда он, не торопясь, проследовал на станцию железной дороги. Бросив четверть доллара слепому, сидевшему у дверей вокзала, он сел на поезд. Через три часа Джимми высадился в маленьком городке, недалеко от границы штата. Войдя в кафе некоего Майка Долана, он пожал руку хозяину, в одиночестве дежурившему за стойкой.

— Извини, что мы не могли сделать этого раньше, Джимми, сынок, сказал Долан. — Но из Спрингфилда поступил

протест, и губернатор было заартачился. Как ты себя чувствуешь?

— Отлично, — сказал Джимми. — Мой ключ у тебя?

Он взял ключ и, поднявшись наверх, отпер дверь комнаты в глубине дома. Все было так, как он оставил уходя. На полу еще валялась запонка от воротничка Бена Прайса, сорванная с рубашки знаменитого сыщика в ту минуту, когда полиция набросилась на Джимми и арестовала его.

Оттащив от стены складную кровать, Джимми сдвинул в сторону одну филенку и достал запыленный чемоданчик. Он открыл его и любовно окинул взглядом лучший набор отмычек в восточных штатах. Это был полный набор, сделанный из стали особого закала: последнего образца сверла, резцы, перки, отмычки, клещи, буравчики и еще двести новинок, изобретенные самим Джимми, которыми он очень гордился. Больше девятисот долларов стоило ему изготовить этот набор в... словом, там, где фабрикуются такие вещи для людей его профессии.

Через полчаса Джимми спустился вниз и прошел через кафе. Теперь он был одет со вкусом, в отлично сшитый костюм, и нес в руке вычищенный чемоданчик.

— Что-нибудь наклеивается? — весело спросил Майк Долан.

— У меня? — удивленно переспросил Джимми. — Не понимаю. Я представитель Объединенной Нью-Йоркской компании рассыпчатых сухарей и дробленой пшеницы.

Это заявление привело Майка в такой восторг, что Джимми непременно должен был выпить стакан содовой с молоком. Он в рот не брал спиртных напитков.

Через неделю после того, как выпустили заключенного Валентайна, № 9762, было совершено чрезвычайно ловкое ограбление сейфа в Ричмонде, штат Индиана, причем виновник не оставил после себя никаких улик. Украли всего навсего каких-то восемьсот долларов. Через две недели был без труда очищен патентованный, усовершенствованный, застрахованный от взлома сейф в Логанспорте на сумму в полторы тысячи долларов звонкой монетой; ценные бума-

ги и серебро остались нетронутыми. Тогда делом начали интересоваться ищейки. После этого произошло вулканическое извержение старого банковского сейфа в Джефферсон-Сити, причем из кратера вылетело пять тысяч долларов бумажками. Убытки теперь были настолько велики, что дело оказалось достойным Бена Прайса. Путем сравнения было установлено поразительное сходство методов во всех этих случаях. Бен Прайс, побывав на местах преступления, объявил во всеулышание:

— Это почерк Франта — Джимми Валентайна. Опять взялся за свое. Посмотрите на этот секретный замок — выдернут легко, как редиска в сырую погоду. Только у него есть такие клещи, которыми можно это сделать. А взгляните, как чисто пробиты задвижки! Джимми никогда не сверлит больше одного отверстия. Да, конечно, это мистер Валентайн. На этот раз он отсидит сколько полагается, без всяких досрочных освобождений и помилований. Дурака валять нечего!

Бену Прайсу были известны привычки Джимми. Он изучил их, расследуя спрингфилдское дело. Дальние переезды, быстрые исчезновения, отсутствие сообщников и вкус к хорошему обществу — все это помогало Джимми Валентайну ускользать от возмездия. Разнесся слух, что по следам неуловимого взломщика пустился Бен Прайс, и остальные владельцы сейфов, застрахованных от взлома, вздохнули свободнее.

В один прекрасный день Джимми Валентайн со своим чемоданчиком вышел из почтовой кареты в Элморе, маленьком городке в пяти милях от железной дороги, в глубине штата Арканзас, среди зарослей карликового дуба. Джимми, похожий на студента-спортсмена, приехавшего домой на каникулы, шел по дощатому тротуару, направляясь к гостинице.

Молодая девушка пересекла улицу, обогнала Джимми на углу и вошла в дверь, над которой висела вывеска: "Городской банк". Джимми Валентайн заглянул ей в глаза, забыл, кто он такой, и стал другим человеком. Девушка опустила

глаза и слегка покраснела. В Элморе не часто встречались молодые люди с манерами и внешностью Джимми.

Джимми схватил за шиворот мальчишку, который слонялся у подъезда банка, словно акционер, и начал расспрашивать о городе, время от времени скармливая ему десятицентовые монетки. Вскоре молодая девушка опять появилась в дверях банка и пошла по своим делам, намеренно игнорируя существование молодого человека с чемоданчиком.

— Это, кажется, мисс Полли Симпсон? — спросил Джимми, явно хитря.

— Да нет, — ответил мальчишка, — это Аннабел Адамс. Ее папа банкир. А вы зачем приехали в Элмор? Это у вас золотая цепочка? Мне скоро подарят бульдога. А еще десять центов у вас есть?

Джимми пошел в “Отель плантаторов”, записался там под именем Ральфа Д. Спенсера и взял номер. Облокотившись на конторку, он сообщил регистратору о своих намерениях. Он приехал в Элмор на жительство, хочет заняться коммерцией. Как теперь у них в городе с обувью? Он подумывает насчет обувной торговли. Есть какие-нибудь шансы?

Костюм и манеры Джимми произвели впечатление на конторщика. Он сам был законодателем мод для не густо позолоченной молодежи Элмора, но теперь понял, чего ему не хватает. Стараясь сообразить, как именно Джимми завязывает свой галстук, он почтительно давал ему информацию.

Да, по обувной части шансы должны быть. В городе нет магазина обуви. Ею торгуют универсальные и мануфактурные магазины. Нужно надеяться, что мистер Спенсер решит поселиться в Элморе. Он сам увидит, что у них в городе жить приятно, народ здесь очень общительный.

Мистер Спенсер решил остановиться в городе на несколько дней и осмотреться для начала. Нет, звать мальчишка не нужно. Чемодан довольно тяжелый, он донесет его сам.

Мистер Ральф Спенсер — феникс, возникший из пепла Джимми Валентайна, охваченного огнем внезапно вспыхнувшей и преобразившей его любви — остался в Элморе и преуспел. Он открыл магазин обуви и обзавелся клиентурой.

В обществе он тоже имел успех и приобрел много знакомых. И того, к чему стремилось его сердце, он сумел добиться. Он познакомился с мисс Аннабел Адамс и с каждым днем все больше пленялся ею.

К концу года положение мистера Ральфа Спенсера было таково: он приобрел уважение общества, его торговля обувью процветала, через две недели он должен был жениться на мисс Аннабел Адамс. Мистер Адамс, типичный провинциальный банкир, благоволил к Спенсеру. Аннабел гордилась им не меньше, чем любила его. В доме у мистера Адамса и у замужней сестры Аннабел он стал своим человеком, как будто уже вошел в семью.

И вот однажды Джимми заперся в своей комнате и написал следующее письмо, которое потом было послано по надежному адресу — одному из его старых друзей в Сент-Луисе:

“Дорогой друг!

Мне надо, чтобы в будущую среду к девяти часам вечера ты был у Салливана в Литл-Рок. Я хочу, чтобы ты ликвидировал для меня кое-какие дела. Кроме того, я хочу подарить тебе мой набор инструментов. Я знаю, ты ему обрадуешься — другого такого не достать и за тысячу долларов. Знаешь, Билли, я бросил старое вот уже год. Я открыл магазин. Честно зарабатываю на жизнь, через две недели женюсь: моя невеста — самая лучшая девушка на свете. Только так и можно жить, Билли, — честно. Ни одного доллара чужих денег я теперь и за миллион не возьму. После свадьбы продам магазин и уеду на Запад — там меньше опасности, что всплывут старые счета. Говорю тебе, Билли, она ангел. Она в меня верит, и я ни за что на свете не стал бы теперь мошенничать. Так смотри же, приходи к Салли, мне надо тебя видеть. Набор я захвачу с собой.

Твой старый приятель *Джимми*”.

В понедельник вечером, после того как Джимми написал это письмо, Бен Прайс, никем не замеченный, въехал в Элмор в наемном кабриолете. Он не спеша прогулялся по городу и разузнал все, что ему нужно было знать. Из окна аптеки напротив обувной лавки он как следует рассмотрел Ральфа Д. Спенсера.

— Хотите жениться на дочке банкира, Джимми? — тихонько сказал Бен. — Не знаю, не знаю, право!

На следующее утро Джимми завтракал у Адамсов. В этот день он собирался поехать в Литл-Рок, чтобы заказать себе костюм к свадьбе и купить что-нибудь в подарок Аннабел. Это в первый раз он уезжал из города, с тех пор как поселился в нем. Прошло уже больше года после того, как он бросил свою "профессию", и ему казалось, что теперь можно уехать, ничем не рискуя.

После завтрака все вместе, по-семейному, отправились в центр города — мистер Адамс, Аннабел, Джимми и замужняя сестра Аннабел с двумя девочками пяти и девяти лет. Когда они проходили мимо гостиницы, где до сих пор жил Джимми, он поднялся к себе в номер и вынес оттуда чемоданчик. Потом пошли дальше, к банку. Там Джимми Валентайна дожидались запряженный экипаж и Долф Гибсон, который должен был отвезти его на станцию железной дороги.

Все вошли в помещение банка, за высокие перила резного дуба, и Джимми со всеми вместе, так как будущему зятю мистера Адамса были рады везде. Конторщикам льстило, что им кланяется любезный молодой человек, который собирается жениться на мисс Аннабел. Джимми поставил свой чемоданчик на пол. Аннабел, сердце которой было переполнено счастьем и буйным весельем молодости, надела шляпу Джимми и взялась рукой за чемоданчик.

— Хороший из меня выйдет вояжер? — спросила Аннабел. — Господи, Ральф, как тяжело! Точно он набит золотыми слитками.

— Тут никелированные рожки для обуви, — спокойно отвечал Джимми, — я их собираюсь вернуть. Чтобы не было

лишних расходов, думаю отвезти их сам. Я становлюсь ужасно экономен.

В элморском банке только что оборудовали новую кладовую с сейфом. Мистер Адамс очень гордился ею и всех и каждого заставлял осматривать ее. Кладовая была маленькая, но с новой патентованной дверью. Ее замыкали три тяжелых стальных засова, которые запирались сразу одним поворотом ручки и отпирались при помощи часового механизма. Мистер Адамс, сияя улыбкой, объяснил действие механизма мистеру Спенсеру, который слушал вежливо, но, видимо, не понимал сути дела. Обе девочки, Мэй и Агата, были в восторге от сверкающего металла, забавных часов и кнопок.

Пока все были этим заняты, в банк вошел небрежной походкой Бен Прайс и стал, облокотившись на перила и как бы нечаянно заглядывая внутрь. Кассиру он сказал, что ему ничего не нужно, он только хочет подождать одного знакомого.

Вдруг кто-то из женщин вскрикнул, и поднялась суматоха. Незаметно для взрослых девятилетняя Мэй, разыгравшись, заперла Агату в кладовой. Она задвинула засовы и повернула ручку комбинированного замка, как только что сделал у нее на глазах мистер Адамс.

Старый банкир бросился к ручке двери и начал ее дергать.

— Дверь нельзя открыть, — простонал он. — Часы не были заведены и соединительный механизм не установлен.

Мать Агаты опять истерически вскрикнула.

— Тише! — произнес мистер Адамс, поднимая дрожащую руку. — Помолчите минуту. Агата! — позвал он как можно громче. — Слушай меня!

В наступившей тишине до них едва донеслись крики девочки, обезумевшей от страха в темной кладовой.

— Деточка моя дорогая! — вопила мать. — Она умрет от страха! Откройте дверь! Ах, взломайте ее! Неужели вы, мужчины, ничего не можете сделать?

— Только в Литл-Роке есть человек, который может открыть эту дверь, ближе никого не найдется, — произнес мистер Адамс нетвердым голосом. — Боже мой! Спенсер, что нам делать? Девочка... ей не выдержать долго. Там не хватит воздуха, а кроме того, с ней сделаются судороги от испуга.

Мать Агаты, теряя рассудок, колотила в дверь кулаками. Кто-то необдуманно предложил пустить в ход динамит. Аннабел повернулась к Джимми, в ее больших глазах вспыхнула тревога, но она еще не отчаивалась. Женщине всегда кажется, что нет ничего невозможного или непосильного для мужчины, которого она боготворит.

— Не можете ли вы что-нибудь сделать, Ральф? Ну, попробуйте!

Он взглянул на нее, и странная, мягкая улыбка скользнула по его губам и засветилась в глазах.

— Аннабел, — сказал он, — подарите мне эту розу.

Едва веря своим ушам, она отколола розовый бутон на груди и протянула ему. Джимми воткнул розу в жилетный карман, сбросил пиджак и засучил рукава. После этого Ральф Д. Спенсер перестал существовать, и Джимми Валентайн занял его место.

— Отойдите подальше от дверей, все отойдите! — кратко скомандовал он.

Джимми поставил свой чемоданчик на стол и раскрыл его. С этой минуты он перестал сознавать чье бы то ни было присутствие. Он быстро и аккуратно разложил странные блестящие инструменты, тихо насвистывая про себя, как всегда делал за работой. Все остальные смотрели на него, словно заколдованные, в глубоком молчании, не двигаясь с места.

Уже через минуту любимое сверло Джимми плавно вгрызлось в сталь. Через десять минут, побив собственные рекорды, он отодвинул засовы и открыл дверь.

Агату, почти в обмороке, но живую и невредимую, подхватила на руки мать.

Джимми Валентайн надел пиджак и, выйдя из-за перил, направился к дверям. Ему показалось, что далекий, когда-

то знакомый голос слабо позвал его: "Ральф!" Но он не остановился.

В дверях какой-то крупный мужчина почти загородил ему дорогу.

— Здравствуй, Бен! — сказал Джимми все с той же необыкновенной улыбкой. — Добрался-таки до меня! Ну что ж, пойдём. Теперь, пожалуй, уже все равно.

И тут Бен Прайс повел себя довольно странно.

— Вы, наверное, ошиблись, мистер Спенсер, — сказал он. — По-моему, мы с вами незнакомы. Вас там, кажется, дожидается экипаж.

И Бен Прайс повернулся и зашагал по улице.

## ДРУЗЬЯ ИЗ САН-РОЗАРИО

Западный экспресс остановился в Сан-Розарио точно по расписанию, в 8.20 утра. Из одного вагона вышел мужчина с объемистым черным кожаным портфелем подмышкой и быстро зашагал по главной улице городка. Сошли с поезда и другие пассажиры, но они тут же разбрелись — кто в железнодорожный буфет, кто в салун "Серебряный доллар", а кто просто примкнул к кучке зевак, околачивающихся на станции.

Все движения человека с портфелем говорили о том, что ему чужда нерешительность. Это был невысокий коренастый блондин с коротко подстриженными волосами и гладким, энергичным лицом; нос его воинственно оседлал золотые очки. Он был одет в хороший костюм, покроя, принятого в Восточных штатах. В нем чувствовалась если не властность, то во всяком случае твердое, хотя и сдержанное, сознание собственной силы.

Пройдя три квартала, приезжий очутился в центре деловой части городка. Здесь улицу, по которой он шел, пересекала другая, не менее оживленная, и место их скрещения представляло собой главный узел всей финансовой и ком-



мерческой жизни Сан-Розарио. На одном углу стояло здание почты, другой был занят магазином готового платья Рубенского. На остальных двух углах, наискосок друг от друга, помещались оба городских банка — Первый национальный и Национальный скотопромышленный. В Первый национальный банк и направился приезжий, ни на минуту не замедляя своих шагов, пока они не привели его к окошечку в загородке перед столом главного бухгалтера. Банк открывался только в десять часов, но все служащие уже были на местах и готовились к началу операций. Главный бухгалтер, занятый просмотром утренней почты, не сразу заметил посетителя, остановившегося перед его окошком.

— Мы начинаем с девяти, — сказал он коротко, но без раздражения в голосе. С тех пор как банки Сан-Розарио перешли на принятые в больших городах часы работы, ему часто приходилось давать подобные разъяснения всяким ранним пташкам.

— Мне это известно, — холодно отчеканил посетитель. — Разрешите вручить вам мою карточку.

Главный бухгалтер взял протянутый в окошечко прямоугольник снежно-белого картона и прочел:

Дж. Ф. Ч. НЕТТЛВИК

*Ревизор Национальных Банков*

— Э-э... пожалуйста, пройдите сюда, мистер... э-э... Неттлвик. Вы у нас в первый раз... мы, разумеется, не знали. Вот сюда, пожалуйста.

Не мешкая, ревизор вступил в святая святых банка, и мистер Эдлинджер, главный бухгалтер, почтенный джентльмен средних лет, все делавший обстоятельно, осмотрительно и методично, не без торжественности представил ему по очереди весь персонал.

— Я, признаться, ожидал Сэма Тэрнера, как обычно, — сказал мистер Эдлинджер. — Вот уже скоро четыре года, как нас ревизует Сэм. Но надеюсь, что и вам не в чем будет нас упрекнуть, учитывая общий застой в делах. Большой налич-

ностью похвастать не можем, но бурю выдержим, сэр, бурю выдержим.

— Мистер Тэрнер и я получили от Главного контролера предписание поменяться районами, — сказал ревизор все тем же сухим, официальным тоном. — Он теперь ревизует мои прежние объекты в Южном Иллинойсе и Индиане. Если позволите, я начну с кассы.

Перри Дорси, кассир, уже раскладывал на мраморном прилавке наличность кассы для обозрения ревизора. Он знал, что все у него в порядке, до единого цента, и опасаться ему решительно нечего, но все-таки нервничал и волновался. И все в банке нервничали и волновались. Таким холодом и бездушием веяло от нового ревизора, что-то в нем было такое целеустремленное и непреклонное, что, казалось, одно его присутствие уже служило обвинительным актом. Он производил впечатление человека, который никогда не ошибается сам и не простит ошибки другому.

Мистер Неттлвик прежде всего ринулся на наличность кассы и с быстротой и ловкостью фокусника пересчитал все пачки кредиток. Затем он пододвинул к себе мокрую губку и проверил каждую пачку. Его тонкие белые пальцы мелькали, как пальцы пианиста-виртуоза над клавишами рояля. Он с размаху вытряхнул на прилавок все содержимое мешка с золотом, и монеты жалобно звенели, разлетаясь по мраморной доске под его проворными руками. А когда дело дошло до мелочи, никелевые монетки так и запорхали в воздухе. Он сосчитал все до последнего цента. Он распорядился принести весы и взвесил каждый мешок серебра в кладовой. Он подробно допрашивал Дорси по поводу каждого кассового документа — чеков, расписок и т. д., оставшихся со вчерашнего дня; все это безукоризненно вежливо, но в то же время с такой таинственной многозначительностью и таким ледяным тоном, что у бедного кассира горели щеки и заплетался язык.

Этот новый ревизор был совсем непохож на Сэма Тэрнера. Сэм входил в банк с веселым шумом, одевая всех сигарами и принимался рассказывать анекдоты, услышанные в

дороге. С Дорси он обычно здоровался так: “А, Перри! Ты еще не сбежал со всей кассой?” Процедура проверки наличности тоже носила несколько иной характер. Тэрнер со скучающим видом перебирал пальцами пачки кредиток, потом спускался в кладовую, наудачу поддевал ногой несколько мешков с серебром, и на том дело кончалось. До мелочи Сэм Тэрнер не унижался никогда. “Что я, курица, что ли, чтобы по зернышку клевать?” — говорил он, когда перед ним выкладывали кучки никелевых монеток. — Сельское хозяйство — это не по моей части”. Но ведь Тэрнер сам был коренным техасцем, издавна водил дружбу с президентом банка, а кассира Дорси знал чуть не с пеленок.

В то время, когда ревизор был занят подсчетом наличности, у бокового подъезда банка остановился кабриолет, запряженный старой муругой кобылой, и оттуда вышел майор Томас Б. Кингмен, в просторечии именуемый майор Том, — президент Первого национального. Войдя в банк и увидя ревизора, считающего деньги, он прошел прямо в свой “загончик”, как он называл отгороженный барьером угол, где стоял его письменный стол, и принялся просматривать полученные письма.

Незадолго до этого произошел маленький инцидент, ускользнувший даже от бдительного взгляда мистера Неттлвика. Как только ревизор уселся подсчитывать кассу, мистер Эдлинджер многозначительно подмигнул Рою Уилсону, пареньку, служившему в банке рассыльным, и едва заметно наклонил голову в сторону парадной двери. Рой сразу понял, надел шляпу и не торопясь пошел к двери с разносной книгой подмышкой. Выйдя из банка, он прямым сообщением отправился через улицу, в Национальный скотопромышленный. Там тоже готовились к началу занятий. Но один посетитель пока не показывался.

— Эй вы, публика! — закричал Рой с фамильярностью мальчишки и старого знакомого. — Пошевеливайтесь-ка побыстрей. Приехал новый ревизор, да такой, что ему пальца в рот не клади. Он сейчас сидит у нас, у Перри все пятаки пересчитывает. Наши все не знают, куда деваться

со страху, а мистер Эдлинджер мигнул мне, чтобы я предупредил вас.

Мистер Бакли, президент Национального скотопромышленного, пожилой тучный мужчина, похожий на приодевшегося к празднику фермера, услышал слова Роя и окликнул его из своего кабинета в глубине помещения.

— Что, майор Кингмен уже в банке? — спросил он мальчика.

— Да, сэр. Он как раз подъехал, когда я вышел, чтобы идти к вам.

— Мне нужно, чтоб ты передал записку майору. Вручишь ему лично и сразу же, как только вернешься.

Мистер Бакли уселся за стол и принялся писать.

Вернувшись в Первый национальный, Рой отдал майору Кингмену конверт с запиской. Майор прочел, сложил листок и спрятал его в карман жилета. Несколько минут он сосредоточенно раздумывал, откинувшись на спинку кресла, потом встал и пошел в банковскую кладовую. Вернулся он оттуда, держа в руках старомодную толстую кожаную папку с надписью золотыми буквами: “Учтенные векселя”. В этой папке лежали долговые обязательства клиентов банка вместе с ценными бумагами, представленными в обеспечение ссуд. Майор довольно бесцеремонно вытряхнул все бумаги на свой стол и принялся разбирать их.

Между тем Неттлвик покончил с проверкой кассы. Его карандаш ласточкой летал по листу бумаги, на котором он делал свои заметки. Он раскрыл свой черный портфель, достал оттуда записную книжку, быстро занес в нее несколько цифр, затем повернулся к Дорси и навел на него свои блестящие очки. Казалось, его взгляд говорил: “На этот раз вы благополучно отделались, но...”

— Касса в порядке, — отрывисто бросил ревизор и тут же атаковал бухгалтера, ведавшего лицевыми счетами. В течение нескольких минут только и слышно было, как шелестят страницы гроссбуха и взвиваются в воздух листы балансовых ведомостей.

— Как часто вы составляете баланс по лицевым счетам? — спросил вдруг ревизор.

— Э-э... раз в месяц, — пролепетал бухгалтер, думая о том, сколько лет ему могут дать за это.

— Правильно, — сказал ревизор, устремляясь к старшему бухгалтеру, который уже поджидал его, держа наготове отчеты по операциям с зарубежными банками. Здесь тоже все оказалось в полном порядке. Затем квитанционные, книжки на депонированные ценности. Шуршат перелистываемые корешки — раз-раз-раз — так! В порядке. Список лиц, превысивших свой кредит, пожалуйста. Благодарю вас. Гм, гм. Неподписанные векселя банка? Хорошо.

Настала очередь главного бухгалтера, и добродушный мистер Эдлинджер от волнения то и дело снимал очки и тер вспотевшую переносицу под ураганным огнем вопросов, касавшихся количества акций, обращения, нераспределенных прибылей, недвижимой собственности, принадлежащей банку, и акционерного капитала.

Вдруг Неттлвик почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной, и, оглянувшись, увидел старика лет шестидесяти, высокого и кряжистого, с пышной седой гривой, жесткой бородой и пронзительными голубыми глазами, которые, не мигнув, выдержали устрашающий блеск ревизорских очков.

— Э-э... мистер Кингмен, наш президент... мистер Неттлвик, — представил главный бухгалтер.

Они обменялись рукопожатиями. Трудно было представить себе двух человек, более непохожих, чем эти двое. Один был законченным продуктом мира прямых линий, стандартных взглядов и официальных отношений. В другом чувствовалось что-то более вольное, широкое, близкое к природе. Том Кингмен не был скроен по определенному образцу. Он успел побывать погонщиком мулов, ковбоем, объездчиком, солдатом, шерифом, золотоискателем и скотоводом. И теперь, когда он стал президентом банка, старые товарищи по прериям, вместе с ним проводившие дни в седле и ночи в палатке, не находили в нем особых перемен. Он составил себе состояние, когда цены на техасский скот взлетели вверх, и тогда основал Первый националь-

ный банк Сан-Розарио. Несмотря на его природное великодушие и подчас неосмотрительную щедрость по отношению к старым друзьям, дела банка шли хорошо, потому что майор Том Кингмен умел разбираться не только в скотине, но и в людях. Последние годы были неблагоприятными для скотоводов, и банк майора оказался одним из немногих, которые не понесли больших потерь.

— Ну-с, так, — сказал ревизор, вытаскивая из кармана часы. — Осталось только проверить ссуды. Если не возражаете, мы сейчас этим и займемся.

Он провел ревизию Первого национального с почти рекордной быстротой, но в то же время с дотошностью, которая была ему свойственна во всем. Правда, дела банка находились в идеальном порядке, и это облегчило задачу. Он знал, что в городе есть еще один только банк. Правительство платило ему двадцать пять долларов за каждую ревизию. Вероятно, проверка выданных ссуд и учтенных векселей займет у него здесь не больше получаса. После этого можно будет немедленно перейти к ревизии второго банка и поспеть на поезд 11.45. Больше поездов в нужном ему направлении в этот день не было, и если он на него не поспеет, придется ночевать и провести завтрашний, воскресный, день в этом скучном западном городишке. Вот почему мистер Неттлвик так спешил.

— Прошу вас к моему столу, сэр, — сказал майор Кингмен своим густым низким голосом, в котором ритмическая напевность речи южанина сочеталась с чуть гнусавым акцентом жителя Запада. — Я вам помогу в этом. Никто у нас в банке не знает каждый вексель так, как знаю я. Есть там молодняк, который не совсем твердо стоит на ногах, а у иных не хватает, пожалуй, лишнего клейма на спине, но когда подойдет срок, все окажется в полном порядке.

Оба уселись за стол президента банка. Для начала ревизор с быстротой молнии просмотрел все векселя, затем подытожил цифры и убедился, что общий итог сходится с суммой, значащейся в книге ежедневного баланса. После этого он перешел к более крупным ссудам, обстоятельно

вникая в каждую передаточную надпись, каждый документ, представленный в обеспечение. Казалось, новый ревизор рыщет, петляет, неожиданно бросается из стороны в сторону, точно ищейка, вынюхивающая след. Наконец, он отодвинул в сторону все бумаги, за исключением пяти или шести, которые аккуратной стопочкой сложил перед собою, и обратился к майору Кингмену с небольшой, сухо официальной речью:

— Я считаю, сэр, что дела вашего банка находятся в отменном состоянии, учитывая неурожайный год и неблагоприятную конъюнктуру в скотопромышленности по вашему штату. Счета и книги ведутся аккуратно и точно. Просроченных платежей немного, и убыток по ним предвидится сравнительно небольшой. Я бы рекомендовал вам потребовать возврата наиболее крупных ссуд, а в дальнейшем, впредь до нового оживления в делах, ограничиваться предоставлением лишь краткосрочных займов на два, на три месяца или же онкольных ссуд. Теперь еще только одно дело, и я буду считать ревизию законченной. Вот здесь передо мной шесть документов, всего на сумму около сорока тысяч долларов. В обеспечение этой суммы, согласно описи, представлены различные акции, облигации и другие бумаги общей ценностью на семьдесят тысяч долларов. Однако здесь, в делах, указанные бумаги отсутствуют. По всей вероятности, они у вас хранятся в сейфе или в кладовых банка. Я хотел бы с ними ознакомиться.

Майор Том смело устремил свои голубые глаза на ревизора.

— Нет, сэр, — сказал он тихим, но твердым голосом, — ни в сейфе, ни в кладовых этих ценностей нет. Я взял их. Можете считать меня лично ответственным за их отсутствие.

Дрожь волнения прохватила Неттлвика. Этого он никак не ожидал. Под самый конец охоты вдруг напасть на след — и на какой след!

— Вот как, — сказал ревизор. Затем, выждав немного, спросил: — Может быть, вы объясните несколько подробнее?

— Ценности взял я, — повторил майор. — Взял не для себя лично, но чтобы выручить старого друга, который, попал в беду. Пройдемте в кабинет, сэр, там нам будет удобнее беседовать на эту тему.

Он повел ревизора в кабинет, находившийся в глубине помещения, и, войдя, затворил за собой дверь. В комнате стояли: письменный стол, еще один стол обыкновенный и несколько кожаных кресел. На стене висела голова техасского быка с размахом рогов в добрых пять футов. Напротив красовалась старая кавалерийская сабля майора, служившая ему в сражениях при Шило и Форт-Пиллоу.

Майор пододвинул кресло Неттлвику, а сам уселся у окна, откуда ему видно было здание почты и украшенный лепкой известняковый фасад Национального скотопромышленного банка. Он не спешил начинать разговор, и Неттлвик решил, что, пожалуй, легче всего будет проломить лед с помощью чего-то почти столь же холодного — официального предупреждения.

— Вам, разумеется, известно, — сказал он, — что ваше заявление, если только вы не найдете возможным от него отказаться, чревато крайне серьезными последствиями. Вам также известно, что я обязан предпринять, получив такое заявление. Я должен буду обратиться к комиссару Соединенных Штатов и сделать...

— Знаю, все знаю, — перебил майор Том, останавливая его движением руки. — Неужели вы думаете, что президент банка может быть не осведомлен в вопросах финансового законодательства! Исполняйте свой долг. Я не прошу никакого снисхождения. Но раз я уже упомянул о своем друге, я хотел бы рассказать вам про Боба.

Неттлвик поудобнее устроился в кресле. Теперь уже не могло быть и речи о том, чтобы сегодня же уехать из Сан-Розарио.

Придется немедленно телеграфировать главному контролеру, придется испросить у комиссара Соединенных Штатов ордер на арест майора Кингмена; возможно, за этим последует распоряжение закрыть банк ввиду исчезно-

вения ценных бумаг, представленных в обеспечение ссуды. Это было не первое преступление, раскрытое ревизором Неттлвиком. Раз или два в жизни ему случилось вызвать своими разоблачениями такую бурю человеческих страстей, что под ее напором едва не поколебался невозмутимый покой его чиновничьей души. Бывало, что солидные банковские дельцы валялись у него в ногах и рыдали, точно женщины, моля о пощаде — об отсрочке, о снисхождении к одной-единственной допущенной ими ошибке. Один главный бухгалтер застрелился за своим столом у него на глазах. И ни разу он не встречал человека, который в критическую минуту держал бы себя с таким хладнокровным достоинством, как этот суровый старик из западного городка. Неттлвик почувствовал, что такой человек имеет право на то, чтобы его хотя бы выслушали со вниманием. Облокотясь на ручку кресла и подперев свой квадратный подбородок пальцами правой руки, ревизор приготовился слушать исповедь президента Первого национального банка Сан-Розарио.

— Если у вас есть друг, — начал майор Том несколько правоучительным тоном, — испытанный друг, с которым за сорок лет вы прошли огонь, и воду, и медные трубы, и чертвы зубы, вы не можете отказать этому другу, когда он вас просит о маленькой услуге.

(“Например, присвоить для него на семьдесят тысяч долларов ценных бумаг”, — мысленно заметил ревизор.)

— Мы с Бобом вместе были ковбоями в молодости, — продолжал майор. Он говорил медленно, с расстановкой, задумчиво, словно мысли его были гораздо больше заняты прошлым, чем теми серьезными осложнениями, которыми ему грозило настоящее. — И вместе искали золото и серебро в Аризоне, Нью-Мексико и во многих районах Калифорнии. Мы оба участвовали в войне шестьдесят первого года, хотя служили в разных частях. Плечом к плечу мы дрались с индейцами и конокрадами; больше месяца голодали в горах Аризоны, в хижине, погребенной под снежными сугробами в двадцать футов вышиной; носились по пре-

рии, объезжая стада, когда ветер дул с такой силой, что молнию относил в сторону, — да, всякие мы с Бобом знавали времена, после того как впервые повстречались на ранчо “Якорь”, в загоне, где клеймили скот. И не раз с тех пор нам приходилось выручать друг друга в трудную минуту. Тогда считалось в порядке вещей поддержать товарища, и никто себе этого не ставил в особую заслугу. Ведь назавтра этот товарищ мог точно так же понадобиться вам — чтобы помочь отбиться от целого отряда апашей или туго перевязать вам ногу после укуса гремучей змеи и мчаться на лошади за бутылкой виски. Так что в конце концов это вышло всегда услуга за услугу, и если вы не по совести поступали с другом, что ж, вы рисковали, что в нужный момент не на кого будет опереться самому. Но Боб был выше таких житейских расчетов. Он никогда не останавливался на полдороге.

Двадцать лет назад я был шерифом этого округа, а Боба я взял к себе на должность главного помощника. Это было еще до бума в скотопромышленности, ввремя которого мы оба составили себе состояние. Я совмещал в своем лице шерифа и сборщика налогов, что для меня в ту пору являлось большой удачей. Я уже был женат, и у меня было двое детей, мальчик и девочка, четырех и шести лет. Жили мы в хорошеньком домике возле управления округа, платить за квартиру не приходилось, так что у меня даже завелись кое-какие сбережения. Большую часть канцелярской работы делал Боб. Оба мы успели побывать во всяких передрыгах, знавали и лишения и опасности, и вы даже представить себе не можете, до чего хорошо было сидеть вечерами в тепле и уюте, под надежным кровом, слушать, как дождь или град барабанит по окнам, и знать, что утром, встав с постели, можно побриться и люди, обращаясь к тебе, будут называть тебя “мистер”. Жена у меня была редкая женщина, ребятишки — просто прелесть, а кроме того, старый друг находился тут же и делил со мной первые радости зажиточной жизни и крахмальных сорочек — чего же мне было еще желать? Да, могу сказать, что я тогда был по-настоящему счастлив.

Майор вздохнул и мельком поглядел в окно. Ревизор переменил позу в кресле и подпер подбородок другой рукой.

— Как-то зимою, — продолжал свой рассказ майор, — налоги вдруг стали поступать со всех сторон сразу, и я целую неделю не мог выбрать время отнести деньги в банк. Я складывал чеки в коробку из-под сигар, а монеты ссыпал в мешок и запирали то и другое в большой сейф, стоявший в моей канцелярии.

Я сбился с ног за эту неделю, да и вообще со здоровьем у меня тогда было неладно. Нервы распались, сон стал беспокойный. Доктор определил у меня болезнь с каким-то мудреным медицинским названием и даже прописал мне лекарство. А тут еще ко всему я ложился спать с постоянной мыслью об этих деньгах. Правда, тревожиться у меня не было оснований — сейф был надежный, и, кроме меня и Боба, никто не знал секрета замка. В пятницу вечером, когда я запирали мешок в сейф, в нем было около шести с половиной тысяч долларов звонкой монетой.

Утром в субботу я, как всегда, отправился в канцелярию. Сейф был заперт, Боб сидел за своим столом и что-то писал. Я отпер сейф и увидел, что мешок с деньгами исчез. Я позвал Боба, поднял тревогу, спеша сообщить всем о грабеже. Меня поразило, что Боб отнесся к происшествию довольно спокойно — ведь он не мог не знать, насколько это серьезно и для меня и для него.

Прошло два дня, а мы все еще не напали на след преступников. Это не могли быть обыкновенные грабители, потому что замок сейфа не был поврежден. Кругом, должно быть, уже пошли разговоры, потому что на третий день вдруг бегают в комнату Алиса, моя жена, а с ней оба мальчика; глаза у нее горят, и она как топнет ногой, как закричит: "Негодня, как они смеют! Том, Том!" — и без чувств повалилась мне на руки, а когда нам, наконец, удалось привести ее в себя, она уронила голову на грудь и заплакала горькими слезами — в первый раз с того дня, как она согласилась принять имя Тома Кингмена и разделить его судьбу. А Джек и Зилла, ребяташки, они, бывало, если только им разрешат зайти в канце-

лярию, кидаются на Боба, точно тигрята, не оторвешь — а тут стоят и жмутся друг к другу, как пара перепуганных куропаток, только с ноги на ногу переминаются. Для них это было первое знакомство с теневой стороной жизни. Смотрю, Боб оставил свою работу, встал и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. В те дни у нас как раз шла сессия совета присяжных, и вот на следующее утро Боб явился к ним и признался в краже денег из сейфа. Он сказал, что проиграл их в покер. Через четверть часа состоялось решение о передаче дела в суд, и я получил приказ арестовать человека, который мне много лет был роднее, чем тысяча братьев.

Я взял ордер на арест, предъявил его Бобу и говорю:

— Вот мой дом, а вот моя канцелярия, а вон там — Мэн, а в той стороне — Калифорния, а вот за этими горами — Флорида, и куда хочешь, туда и отправляйся вплоть до дня суда. Я за тебя отвечаю, и я ответственности не боюсь. В назначенный день будь здесь — и все.

— Спасибо, Том, — говорит он, так это даже небрежно. — Я, собственно, и надеялся, что ты меня не будешь сажать под замок. Суд состоится в будущий понедельник, так, если ты не возражаешь, я пока побуду здесь, в канцелярии. Вот только одна просьба у меня к тебе есть. Если можно, пусть ребята разок-другой выйдут во двор, мне бы хотелось с ними поиграть.

— О чем же тут просить? — возразил я. — И они пусть выходят, и ты выходи. И ко мне домой приходи во всякое время, как и раньше.

Видите ли, мистер Неттлвик, вора в друзья не возьмешь, но и друга так сразу в воры не разжалуешь.

Ревизор ничего не ответил. В эту самую минуту послышался резкий свисток паровоза. Это прибывал на станцию поезд узкоколейки, подходивший к Сан-Розарио с юга. Майор наклонил голову и с минуту прислушивался, потом взглянул на часы. Было 10.35. Поезд пришел вовремя. Майор продолжал свой рассказ.

— Итак, значит, Боб все время оставался в канцелярии, читал газеты, курил. Его работу я поручил другому помощ-

нику, и мало-помалу волнение, вызванное всей этой историей, улеглось.

Как-то раз, когда мы с Бобом были в канцелярии одни, он вдруг подошел к столу, за которым я сидел. Вид у него был хмурый и вроде усталый — так он, бывало, выглядел после того, как целую ночь стоял на страже в ожидании индейцев или объезжал стада.

— Том, — сказал он, — это куда тяжелее, чем одному драться с целой толпой краснокожих, тяжелее, чем лежать в пустыне, где на сорок миль кругом нет ни капли воды, но ничего, я выдержу до конца. Ты же меня знаешь. Но если б ты мне подал хоть какой-нибудь знак, хоть сказал бы: “Боб, я все понимаю”, — мне было бы куда легче.

Я удивился.

— О чем это ты говоришь, Боб? — спросил я. — Ты сам знаешь, что я бы с радостью горы перевернул, чтобы помочь тебе. Но убей меня, если я понимаю.

— Ну, ладно, Том, — только и сказал он в ответ, отошел от меня и снова взялся за свою газету и сигару.

И только в ночь перед судом я понял, что означали его слова. Вечером, ложась в постель, я почувствовал, что у меня опять начинается уже знакомое неприятное состояние — нервная дрожь и какой-то туман в голове. Заснул я около полуночи. А проснувшись, увидел, что стою полуодетый в одном из коридоров управления. Боб держит меня за одну руку, доктор, лечивший всю нашу семью, — за другую, а Алиса трясет меня за плечи и плачет. Оказалось, что она еще вечером, потихоньку от меня, послала за доктором, а когда он пришел, меня не нашли в постели и бросились искать повсюду.

— Лунатизм, — сказал доктор.

Мы все вернулись домой, и доктор стал рассказывать нам о том, какие удивительные вещи проделывают иногда люди, подверженные лунатизму. Меня стало познабливать после моей ночной прогулки, и так как жена в это время зачем-то вышла, я полез в большой старый шкаф за стеганым одеялом, которое я там как-то заметил. Когда я вытащил

одеяло, из него выпал мешок с деньгами — тот самый мешок, за кражу которого Боба должны были наутро судить и приговорить к наказанию.

— Тысяча гремучих змей и одна ящерица! Как он сюда попал? — заорал я, и, наверно, всем было ясно, что я в самом деле вне себя от удивления.

Тут Боба осенило.

— Ах ты, соня несчастный! — сказал он, сразу становясь прежним Бобом. — Да ведь это ты его сюда положил. Я видел, как ты отпер сейф и вынул мешок, а потом я пошел за тобою следом. И вот в это окно увидал, как ты прятал мешок в шкаф.

— Так какого же дьявола ты, баранья твоя голова, дубина стоеросовая, сказал, будто это ты украл деньги?

— Ведь я же не знал, что ты все это делал во сне, — просто ответил Боб.

Я поймал его взгляд, устремленный на дверь той комнаты, где спали Зилла и Джек, и мне стало ясно, что понимал Боб под словом “дружба”.

Майор Том замолчал и снова посмотрел в окно. Напротив, на широком зеркальном окне, украшавшем фасад Национального скотопромышленного банка, кто-то вдруг спустил желтую штору, хотя солнце еще не так высоко поднялось, чтобы нужно было принимать столь энергичные меры в защиту от его лучей.

Неттлвик выпрямился в кресле. Он слушал рассказ майора терпеливо, но без особого интереса. Рассказ этот явно не относился к делу и уж, конечно, никак не мог повлиять на дальнейший ход событий. Все эти жители Запада, думал ревизор, страдают избытком чувствительности. Настоящие деловые люди из них не получаются. Их просто нужно защищать от их друзей. По-видимому, майору больше скакать нечего. А то, что он сказал, не меняет дела.

— Я хотел бы знать, — сказал ревизор, — имеете ли вы добавить еще что-нибудь, непосредственно касающееся вопроса о похищенных ценностях?

— Похищенных ценностях, сэр? — Майор Том круто повернулся в своем кресле, и его голубые глаза сверкнули прямо в лицо ревизору. — Что вы этим хотите сказать, сэр?

Он вытащил из кармана перетянутую резинкой пачку аккуратно сложенных бумаг, бросил ее Неттлвику и поднялся на ноги.

— Все ценности здесь, сэр, все до последней акции и облигации. Я вынул их из папки с векселями в то время, как вы подсчитывали наличность. Прошу вас, проверьте и убедитесь сами.

Майор распахнул дверь и вышел в операционный зал банка. Неттлвик, ошеломленный, недоумевающий, злой и сбитый с толку, пошел следом. Он чувствовал, что над ним не то чтобы подшутили, но скорей использовали его в качестве пешки в какой-то сложной и непонятной для него игре. И при этом, пожалуй, довольно непочтительно отнеслись к его официальному положению. Но ему не за что было ухватиться. Официальный отчет о том, что произошло, выглядел бы нелепо. И какое-то внутреннее чувство подсказывало ревизору, что никогда он не узнает об этом деле больше, чем знает сейчас.

Неттлвик безучастно, машинально проверил переданные ему майором бумаги, убедился, что все в точности соответствует описи, взял свой черный портфель и стал прощаться.

— Должен все же заметить, — сказал он, негодуя сверкнув очками на майора Кингмена, — что ваш поступок, ваша попытка ввести меня в заблуждение, которую вы так и не пожелали объяснить, мне представляется не вполне уместной ни как шаг делового человека, ни как шутка. Я лично таких вещей не понимаю.

Майор Том посмотрел на него ясным и почти ласковым взглядом.

— Сынок, — сказал он, — в прериях и каньонах, среди зарослей чапаралия, есть много такого, чего вам не понять. Но во всяком случае позвольте поблагодарить вас за то, что вы так терпеливо слушали скучные рассказы болтливому

старика. Нас, старых техасцев, хлебом не корми, дай только поговорить о старине, о друзьях и приключениях молодости. Здесь у нас это каждый знает, и потому стоит только начать: “Когда я был молодым...” — как все уже разбегаются в разные стороны. Вот мы и рады рассказывать свои сказки свежему человеку.

Майор улыбнулся, но ревизора это не тронуло, и он, холодно откланявшись, поспешил покинуть банк. Видно было, как он твердым шагом наискосок перешел улицу и скрылся в подъезде Национального скотопромышленного банка.

Усевшись за свой стол, майор Том достал из жилетного кармана записку, которую ему принес Рой. Тогда он только наскоро проглядел ее содержание, а теперь, не торопясь, перечитал еще раз, и в глазах у него при этом прыгали лукавые искорки. Вот что он прочел:

“Дорогой Том!

Мне сейчас сообщили, что у тебя там хозяйничает одна из ищек дяди Сэма, а это значит, что через час-другой доберутся и до нас. Так вот, хочу попросить тебя об одной услуге. У нас сейчас в кассе всего 2200 долларов наличными, а должно быть по закону 20 000. Вчера вечером я дал 18 000 Россу и Фишеру на покупку партии скота у старика Гибсона. Они на этом деле зарабатывают через месяц не меньше 40 000, но от этого моя касса сегодня не покажется ревизору полнее. А документов я ему показать не могу, потому что выдал эти деньги не под векселя, а под простые расписки без всякого обеспечения — мы-то с тобой знаем, что Пинк Росс и Джим Фишер ребята золотые и не подведут. Помнишь Джима Фишера: это он тогда застрелил банкомета в Эль-Пасо. Я уже телеграфировал Сэму Брэдшо, чтоб он мне прислал 20 000 из своего банка, но их привезут только с поездом, который приходит по узкоколейке в 10.35. Если ревизор обнаружит в кассе только 2200 долларов, он закроет банк, а этого допускать нельзя. Том, ты должен задержать этого ревизора. Что хочешь делай, а удержи, хотя бы тебе для этого пришлось связать его веревкой и сесть ему на



О. ГЕНРИ

голову. После прихода поезда следи за нашим окном; если ты увидишь, что на нем опустили штору, значит, деньги уже в кассе. А до того ты ревизора не выпускай. Я на тебя рассчитываю, Том.

Твой старый товарищ *Боб Бакли*  
Президент Национального скотопромышленного банка”.

Дочитав до конца, майор неторопливо порвал записку на мелкие клочки и бросил в корзину. При этом он усмехнулся с довольным видом.

— Ах ты, старый ветрогон, ковбойская твоя душа! — весело пробормотал он себе под нос. — Вот теперь я хоть немножко сквитался с тобой за ту услугу, которую ты хотел оказать мне в бытность мою шерифом, двадцать лет тому назад.

Из сборника  
“НА ВЫБОР”  
1909

### ТРЕТИЙ ИНГРЕДИЕНТ

Так называемый “Меблированный дом Валламброза” не настоящий меблированный дом. Он состоит из двух старинных буро-каменных особняков, слитых воедино. Нижний этаж с одной стороны оживляют шляпки и шарфы в витрине модистки, с другой — омрачают устрашающая выставка и вероломные обещания дантиста: “Лечение без боли”. В “Валламброзе” можно снять комнату за два доллара в неделю, а можно и за двадцать. Население ее составляют стенографистки, музыканты, биржевые маклеры, продавщицы, репортеры, начинающие художники, процветающие жулики и прочие лица, свешивающиеся через перила лестницы всякий раз, как у парадной двери раздастся звонок.

Мы поведем речь только о двух обитателях “Валламброзы” при всем нашем уважении к их многочисленным соседям.

Когда однажды в шесть часов вечера Хетти Пеппер возвращалась в свою комнату в “Валламброзе” (третий этаж, окно во двор, три доллара пятьдесят центов в неделю), нос и подбородок ее были заострены больше обычного. Утонченные черты лица — типичный признак человека, получившего расчет в универсальном магазине, где он проработал четыре года, и оставшегося с пятнадцатью центами в кармане.

Пока Хетти поднимается на третий этаж, мы успеем вкратце рассказать ее биографию.

Четыре года назад Хетти вошла в “Лучший универсальный магазин” вместе с семьюдесятью пятью другими девушками, желавшими получить место в отделении дамских блузок. Фаланга претенденток являла собой ошеломляющую выставку красавиц, с общим количеством белокурых волос, которых хватило бы не на одну леди Годиву, а на целую сотню.

Деловитый, хладнокровный, безличный, плешивый молодой человек, который должен был отобрать шесть девушек из этой толпы чающих, почувствовал, что захлебывается в море дешевых духов, под пышными белыми облаками с ручной вышивкой. И вдруг на горизонте показался парус. Хетти Пеппер, некрасивая, с презрительным взглядом маленьких зеленых глаз, с шоколадными волосами, в скромном полотняном костюме и вполне разумной шляпке, предстала перед ним, не скрывая от мира ни одного из своих двадцати девяти лет.

“Вы приняты!” — крикнул плешивый молодой человек, и это было его спасением. Вот так и случилось, что Хетти начала работать в “Лучшем магазине”. Рассказ о том, как она стала, наконец, получать восемь долларов в неделю, был бы компиляцией из биографий Геркулеса, Жанны д’Арк, Уны, Иова и Красной Шапочки. Сколько ей платили вначале — этого вы от меня не узнаете. Сейчас вокруг этих вопросов разгораются страсти, и я вовсе не хочу, чтобы какой-нибудь миллионер, владелец подобного магазина, взобрался по пожарной лестнице к окну моего чердачного будуара и начал швырять в меня камни.

История увольнения Хетти из “Лучшего магазина” так похожа на историю ее поступления туда, что я боюсь показаться однообразным.

В каждом отделении магазина имеется заведующий — вездесущий, всезнающий и всеядный человек в красном галстуке и с записной книжкой. Судьбы всех девушек данного отделения, живущих на (см. данные Бюро торговой статистики) долларов в неделю, целиком в его руках.

В отделении, где работала Хетти, заведующим был деловитый, хладнокровный, безличный, плешивый молодой человек. Когда он ходил по своим владениям, ему казалось, что он плывет по морю дешевых духов, среди пышных белых облаков с машинной вышивкой. Обилие сладкого ведет к пресыщению. Некрасивое лицо Хетти Пеппер, ее изумрудные глаза и шоколадные волосы казались ему желанным зеленым оазисом в пустыне приторной красоты. В укромном углу за прилавком он нежно ущипнул ее руку на три дюйма выше локтя, но тут же отлетел на три фута, отброшенный ее мускулистой и не слишком лилейной ручкой. Теперь вы знаете, почему тридцать минут спустя Хетти Пеппер пришлось покинуть “Лучший магазин” с тремя медяками в кармане.

Сегодня утром фунт говяжьей грудинки стоит шесть центов. Но в тот день, когда Хетти Пеппер была освобождена от работы в универсальном магазине, он стоил семь с половиной центов. Только благодаря этому и стал возможен наш рассказ. Иначе на оставшиеся четыре цента можно было бы...

Но сюжет почти всех хороших рассказов в мире построен на неустранимых препятствиях, поэтому не придирайтесь, пожалуйста.

Купив говяжьей грудинки, Хетти поднималась в свою комнату (окно во двор, три доллара пятьдесят центов в неделю). Порция вкусного, горячего тушеного мяса на ужин, крепкий сон — и утром она будет готова снова искать подвигов Геркулеса, Жанны д’Арк, Уны, Иова и Красной Шапочки.

В своей комнате она достала из крошечного шкафчика глиняный сотейник и стала шарить во всех кульках и паке-тах в поисках картошки и лука. В результате этих поисков нос и подбородок ее заострились еще больше.

Ни картошки, ни лука! Но разве можно приготовить тушеное мясо из одного мяса? Можно приготовить устричный суп без устриц, черепаший суп без черепах, кофейный торт без кофе, но приготовить тушеное мясо без картофеля и лука совершенно невозможно.

Правда, в крайнем случае и одна говяжья грудинка может спасти от голодной смерти. Положить соли, перцу и столовую ложку муки, предварительно размешав ее в небольшом количестве холодной воды, и сойдет. Будет не так вкусно, как омары по-ньюбургски, и не так роскошно, как праздничный пирог, но — сойдет.

Хетти взяла сотейник и отправилась в конец коридора. Согласно рекламе “Валламбозы”, там находился водопровод, но, между нами говоря, он проводил воду не всегда и лишь скудными каплями; впрочем, техническим подробностям здесь не место. Там же была раковина, около которой часто встречались валламбозки, приходившие сюда выплеснуть кофейную гущу и поглазеть на чужие кимоно.

У этой раковины Хетти увидела девушку с густыми темно-золотистыми волосами и жалобным выражением глаз, которая мыла под краном две большие ирландские картофелины. Мало кто знал “Валламбозу” так хорошо, как Хетти. Кимоно были ее энциклопедией, ее справочником, ее агентурным бюро, где она черпала сведения о всех прибывающих и выбывающих. От одного розового кимоно с зеленой каймой она давно узнала, что девушка с двумя картофелинами — художница, рисует миниатюры, а живет под самой крышей в мансарде, или, как принято выражаться, в студии. Хетти не очень точно знала, что такое миниатюра, но была уверена, что это не дом, потому что маляры, хоть и носят забрызганные краской комбинезоны и на улице всегда норовят заехать своей лестницей вам в лицо, у себя дома, как известно, поглощают огромное количество пищи.

Картофельная девушка была тоненькая и маленькая и обращалась со своими картофелинами, как старый холостяк с младенцем, у которого режутся зубки. В правой руке она держала тупой сапожный нож, которым и начала чистить одну из картофелин.

Хетти заговорила с ней самым официальным тоном, но было ясно, что уже со второй фразы она готова сменить его на веселый и дружеский.

— Простите, что я вмешиваюсь не в свое дело, — сказала она, — но если так чистить картошку, очень много пропадает. Это молодая картошка, ее надо скоблить. Дайте, я покажу.

Она взяла картофелину и нож и начала показывать.

— О, благодарю вас, — пролепетала художница. — Я не знала. Мне и самой было жалко так много срезать. Но я думала, что картофель всегда нужно чистить. Ведь знаете, когда сидишь на одной картошке, очистки тоже имеют значение.

— Послушайте, дорогая, — сказала Хетти, и нож ее замер в воздухе, — вам что, тоже не сладко приходится?

Миниатюрная художница улыбнулась голодной улыбкой.

— Да, пожалуй. Спрос на искусство, во всяком случае на то, которым я занимаюсь, что-то не очень велик. У меня на обед только вот этот картофель. Но это не так уж плохо, если есть его горячим, с солью и немножко масла.

— Дитя мое, — сказала Хетти, и мимолетная улыбка смягчила ее суровые черты, — сама судьба свела нас. Я тоже оказалась на бобах. Но дома у меня есть кусок мяса, величиной с комнатную собачку. А картошку я пыталась достать всеми способами, разве только богу не молилась. Давайте объединим наши интендантские склады и сделаем жаркое. Готовить будем у меня. Теперь бы еще луку достать! Как вы думаете, милая, не завалилось ли у вас с прошлой зимы немного мелочи за подкладку котикового манто? Я бы сбегала за луком на угол к старику Джузеппе. Жаркое без лука хуже, чем званый чай без сладостей.

— Зовите меня Сесилия, — сказала художница. — Нет, я уже три дня как истратила последний цент.

— Значит, лук придется отставить, — сказала Хетти. — Я бы заняла луковицу у сторожихи, да не хочется мне, чтобы они сразу догадались, что я без работы. А хорошо бы нам иметь луковку!

В комнате продавщицы они занялись приготовлением ужина. Роль Сесилии сводилась к тому, что она беспомощно сидела на кушетке и воркующим голоском просила, чтобы ей разрешили хоть чем-нибудь помочь.

Хетти залила мясо холодной соленой водой и поставила на единственную горелку газовой плитки.

— Хорошо бы иметь луковку! — сказала она и принялась скоблить картофель.

На стене напротив кушетки был приколот яркий, кричащий плакат, рекламирующий новый паром железнодорожной линии, построенный с целью сократить путь между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком на одну восьмую минуты.

Оглянувшись посреди своего монолога, Хетти увидела, что по щекам ее гости струятся слезы, а глаза устремлены на идеализированное изображение несущегося по пенистым волнам парохода.

— В чем дело, Сесилия, милая? — сказала Хетти, прерывая работу. — Очень уж скверная картинка? Я плохой критик, но мне казалось, что она немножко оживляет комнату. Конечно, художница-маникюристка сразу может сказать, что это гадость. Если хотите, я ее сниму... Ах, боже мой, если б у нас был лук!

Но миниатюрная миниатюристка отвернулась и зарыдала, уткнувшись носиком в жесткий валик кушетки.

Здесь таилось что-то более глубокое, чем чувство художника, оскорбленного видом скверной литографии.

Хетти поняла. Она уже давно примирилась со своей ролью. Как мало у нас слов для описания свойств человека! Чем ближе к природе слова, которые слетают с наших губ, тем лучше мы понимаем друг друга. Выражаясь фигурально, можно сказать, что среди людей есть Головы, есть Руки, есть Ноги, есть Мускулы, есть Спины, несущие тяжелую ношу.

Хетти была Плечом. Плечо у нее было костлявое, острое, но всю ее жизнь люди склоняли на это плечо свои головы (как метафорически, так и буквально) и оставляли на нем все свои горести или половину их. Подходя к жизни с анатомической точки зрения, которая не хуже всякой другой, можно сказать, что Хетти на роду было написано стать Плечом. Едва ли были у кого-нибудь более располагающие к доверию ключицы.

Хетти было только тридцать три года, и она еще не перестала ощущать легкую боль всякий раз, как юная хорошенькая головка склонялась к ней в поисках утешения. Но один взгляд в зеркало неизменно помогал ей, как лучшее болеутоляющее средство. Так и теперь она строго глянула в потрескавшееся старое зеркало над газовой плиткой, немного убавила огонь под булькающим в сотейнике мясом с картошкой и, подойдя к кушетке, прижала головку Сесилии к своему плечу-исповедальне.

— Ну, моя хорошая, — сказала она, — выкладывайте все, как было. Я теперь вижу, это вас не искусство расстроило. Вы познакомились с ним на пароме, так ведь? Да, успокойтесь же, Сесилия, милая, и расскажите все своей... своей тете Хетти.

Но молодость и печаль должны сначала излить избыток вздохов и слез, что подгоняют барку романтики к желанным островам. Вскоре, однако, прильнув к жилистой решетке исповедальни, кающаяся грешница — или благословенная причастница священного огня? — просто и безыскусно повела свой рассказ.

— Это было всего три дня назад. Я возвращалась на пароме из Джерси-Сити. Старый мистер Шрум, торговец картинками, сказал мне, что один богач в Ньюарке хочет заказать миниатюру, портрет своей дочери. Я поехала к нему, показала кое-какие свои работы. Когда я сказала, что миниатюра будет стоить пятьдесят долларов, он расхохотался, как гиена. Сказал, что портрет углем, в двадцать раз больше моей миниатюры, обойдется ему всего в восемь долларов.

У меня оставалось денег только на обратный билет в Нью-Йорк. Настроение было такое, что не хотелось больше жить. Вероятно, это видно было по моему лицу, потому что, когда я заметила, что он сидит напротив и смотрит на меня, мне показалось, что он все понимает. Он был красивый, но самое главное — у него было доброе лицо. Когда чувствуешь себя усталой, или несчастной, или во всем разувшись, доброта важнее всего.

Когда мне стало так тяжело, что не было уже сил бороться, я встала и медленно вышла через заднюю дверь каюты. На палубе никого не было. Я быстро перелезла через поручни и бросилась в воду. Ах, друг мой Хетти, вода была такая холодная!

На одно мгновение мне захотелось вернуться в нашу "Валламброзу" и снова голодать и надеяться. А потом я вся онемела и мне стало все равно. А потом я почувствовала, что в воде рядом со мной кто-то есть и поддерживает меня. Он, оказывается, вышел следом за мной и прыгнул в воду, чтобы спасти меня.

Нам бросили какую-то штуку вроде большой белой баранки, и он заставил меня продеть в нее руки. Потом паром дал задний ход, и нас втащили на палубу. Ах, Хетти, мне было так стыдно, ведь топиться грешно, да к тому же у меня волосы намокли и растрепались и выглядела я как пугало.

К нам подошло несколько мужчин в синем, и он дал им свою карточку, и я слышала, как он объяснил им, что я уронила сумочку у самого края парома и, перегнувшись за ней через поручни, упала в воду. И тут я вспомнила, что читала в газетах, что самоубийц сажают в тюрьму вместе с убийцами, и мне стало очень страшно.

Потом какие-то женщины увели меня в кочегарку, помогли мне обсушиться и причесали меня. Когда мы причалили, он подошел и посадил меня в кеб. Он сам промок до нитки, но смеялся, словно считал все это веселой шуткой. Он просил меня сказать ему мое имя и адрес, но я не сказала: уж очень мне было стыдно.

— Вы поступили глупо, дорогая, — ласково сказала Хетти. — Подождите, я чутьочку прибавлю огня. Эх, если бы у нас была хоть одна луковица!

— Тогда он приподнял шляпу, — продолжала Сесилия, — и сказал: "Очень хорошо, но я вас все-таки найду. Я намерен получить награду за спасение утопающих". И он дал кебмену денег и велел отвезти меня, куда я скажу, и ушел. И вот прошло уже три дня, — простонала миниатюристка, — а он еще не нашел меня!

— Потерпите, — сказала Хетти. — Ведь Нью-Йорк — большой город. Подумайте, сколько ему нужно пересмотреть вымокших, растрепанных девушек, прежде чем он сможет вас узнать. Мясо наше отлично тушится, но вот луку, луку бы в него! На худой конец я бы даже чесноку положила.

Мясо с картофелем весело булькало, распространяя соблазнительный аромат, в котором, однако, явно не хватало чего-то очень нужного, и это вызывало смутную тоску, неотвязное желание раздобыть недостающий ингредиент.

— Я чуть не утонула в этой ужасной реке, — сказала Сесилия вздрогнув.

— Воды маловато, — сказала Хетти. — В жарком, то есть. Сейчас схожу принесу.

— А как хорошо пахнет! — сказала художница.

— Это Северная-то река хорошо пахнет? — возразила Хетти. — От нее всегда воняет мыловаренным заводом и мокрыми сеттерами... Ах, вы про жаркое? Да, все бы хорошо, вот только бы еще луку! А как вам показалось, деньги у него есть?

— Главное, мне показалось, что он добрый, — сказала Сесилия. — Я уверена, что он богат, но это совсем не важно. Когда он платил кебмену, я заметила, что у него в бумажнике были сотни, тысячи долларов. А когда я высунулась из кеба, то увидела, что он сел в автомобиль и шофер дал ему свою медвежью доху, потому что он весь промок. И это было только три дня назад!..

— Какая глупость! — коротко отрезала Хетти.

— Но ведь шофер не промок, — пролепетала Сесилия. — И он очень хорошо повел машину.

— Я говорю, вы сделали глупость, — сказала Хетти, — что не дали ему адреса.

— Я никогда не даю свой адрес шоферам, — надменно сказала Сесилия.

— А как он нам нужен! — удрученно произнесла Хетти.

— Зачем?

— Да в жаркое, конечно. Это я все насчет лука.

Хетти взяла кувшин и отправилась к крану в конце коридора. Когда она подошла к лестнице, с верхнего этажа как раз спускался какой-то молодой человек. Одет он был прилично, но казался больным и измученным. В его мутных глазах читалось страдание — физическое или душевное. В руке он держал луковицу, розовую, гладкую, крепкую, блестящую луковицу величиною с девяносто восьмицентовый будильник.

Хетти остановилась. Молодой человек тоже. Во взгляде и позе продавщицы было что-то от Жанны д'Арк, от Геркулеса, от Уны — роли Иова и Красной Шапочки сейчас не годились. Молодой человек остановился на последней ступеньке и отчаянно закашлялся. Сам не зная почему, он почувствовал, что его загнали в ловушку, атаковали, взяли штурмом, обложили данью, ограбили, оштрафовали, запугали, уговорили. Всею виною были глаза Хетти. Глянув в них, он увидел, как взвился на верхушку мачты черный пиратский флаг и ражий матрос с ножом в зубах взобрался с быстротой обезьяны по вантам и укрепил его там. Но молодой человек еще не знал, что причиной, почему он едва не бил пущен ко дну, и даже без переговоров, был его драгоценный груз.

— Прошу прощения, — сказала Хетти настолько сладко, насколько позволял ее кислый голос. — Не нашли ли вы эту луковицу здесь, на лестнице? У меня разорвался пакет с покупками, я как раз вышла поискать ее.

Молодой человек кашлял, не смолкая, добрых полминуты. За это время он, очевидно, набрался мужества, чтобы отстаивать свою собственность. Крепко зажав в руке свое слезоточивое сокровище, он дал решительный отпор свирепому грабителю, покушавшемуся на него.

— Нет, — сказал он в нос, — я не нашел ее на лестнице. Мне дал ее Джек Бивенс, который живет на верхнем этаже. Если не верите, подите спросите его. Я подожду здесь.

— Я знаю Джека Бивенса, — нелюбезно сказала Хетти. — Он пишет книга и вообще всякую чепуху для тряпичников. Весь дом слышит, как его ругает почтальон, когда прино-

сит ему обратно толстые конверты. Скажите, вы тоже живете в "Валламброзе"?

— Нет, — ответил молодой человек, — я иногда захожу к Бивенсу. Мы с ним друзья. Я живу в двух кварталах отсюда.

— Простите, а что вы собираетесь делать с этой луковицей?

— Собираюсь ее съесть.

— Сырую?

— Да, как только приду домой.

— У вас там что же, больше нет никакой еды?

Молодой человек на минуту задумался.

— Да, — признался он. — У меня дома нет больше ни крошки. У старика Джека тоже, кажется, неважно с припасами. Ему ужасно не хотелось расставаться с этой луковицей, но я так пристал к нему, что он сдался.

— Приятель, — сказала Хетти, не сводя с него умудренного жизнью взгляда и положив костлявый, но выразительный палец ему на рукав, — у вас, видно, тоже неприятности, да?

— Сколько угодно, — быстро ответил владелец лука. — Но эта луковица моя собственность и досталась мне честным путем. Простите, пожалуйста, но я спешу.

— Знаете что? — сказала Хетти, слегка побледнев от волнения. — Сырой лук — это совсем невкусно. И тушеное мясо без лука — тоже. Раз вы друг Джека Бивенса, вы, наверно, порядочный человек. У меня в комнате, в том конце коридора, сидит одна девушка, моя подруга. Нам обеим не повезло, и у нас на двоих — только кусок мяса и немного картошки. Все это уже тушится, но в нем нет души. Чего-то не хватает. В жизни есть некоторые вещи, которые непременно должны существовать вместе. Ну, например, розовый муслин и зеленые розы, или грудинка и яйца, или ирландцы и беспорядки. И еще тушеное мясо с картошкой и лук. И еще люди, которым приходится туго, и другие люди в таком же положении.

Молодой человек опять раскашлялся, и надолго. Одной рукой он прижимал к груди свою луковицу.

— Разумеется, разумеется, — проговорил он, наконец. — Но я уже сказал вам, что спешу...

Хетти крепко вцепилась в его рукав.

— Не ешьте сырой лук, дорогой мой. Внесите свою долю в обед, и вы отведаете такого жаркого, какое вам не часто доводилось пробовать. Неужели две женщины должны свалить с ног молодого джентльмена и затащить его в комнату силой, чтобы он оказал им честь пообедать с ними? Ничего вам плохого не сделают. Решайтесь, и пошли.

Бледное лицо молодого человека осветилось улыбкой.

— Ну что же, — сказал он оживляясь. — Если луковица может служить рекомендацией, я с удовольствием приму приглашение.

— Может, может, — сказала Хетти. — И рекомендацией и приправой. Вы только постоите минутку за дверью, я спрошу мою подругу, согласна ли она. И, пожалуйста, не удирайте никуда со своим рекомендательным письмом.

Хетти вошла в свою комнату и закрыла дверь. Молодой человек остался в коридоре.

— Сесилия, дорогая, — сказала продавщица, смазав, как умела, свой скрипучий голос, — там, за дверью, есть лук. И при нем молодой человек. Я пригласила его обедать. Вы как, не против?

— Ах, боже мой! — сказала Сесилия, поднимаясь и поправляя прическу. Глаза ее с грустью обратились на плакат с паромом.

— Нет, нет, — сказала Хетти, — это не он. На этот раз все очень просто. Вы, кажется, сказали, что у вашего героя имеются деньги и автомобили? А этот — голодранец, у него только и еды, что одна луковица. Но разговор у него приятный, и он не нахал. Скорее всего он был джентльменом, а теперь оказался на мели. А ведь лук-то нам нужен! Ну как, привести его? Я ручаюсь за его поведение.

— Хетти, милая, — вздохнула Сесилия, — я так голодна! Не все ли равно, принц он или бродяга? Давайте его сюда, если у него есть что-нибудь съестное.

Хетти вышла в коридор. Луковый человек исчез. У Хетти замерло сердце, и серая тень покрыла ее лицо, кроме скул и кончика носа. А потом жизнь снова вернулась к ней: она увидела, что он стоит в дальнем конце коридора, высунувшись из окна, выходящего на улицу. Она поспешила туда. Он кричал, обращаясь к кому-то внизу. Уличный шум заглушил ее шаги. Она заглянула через его плечо и увидела, к кому он обращается, и расслышала его слова. Он обернулся и увидел ее.

Глаза Хетти вонзились в него, как стальные буравчики.

— Не лгите, — сказала она спокойно. — Что вы собирались делать с этим луком?

Молодой человек подавил приступ кашля и смело посмотрел ей в лицо. Было ясно, что он не намерен терпеть дальнейшие издевательства.

— Я собирался его съесть, — сказал он громко и раздельно, — как уже и сообщил вам раньше.

— И у вас дома больше нечего есть?

— Ни крошки.

— А чем вы вообще занимаетесь?

— Сейчас ничем особенным.

— Так почему же, — сказала Хетти на самых резких нотах, — почему вы высовываетесь из окон и отдаете распоряжения шоферам в зеленых автомобилях?

Молодой человек вспыхнул, и его мутные глаза засверкали.

— Потому, сударыня, — заговорил он, все ускоряя темп, — что я плачу жалованье этому шоферу и автомобиль этот принадлежит мне, так же как и этот лук, да, так же как этот лук!

Он помахал своей луковицей перед самым носом у Хетти. Продавщица не двинулась с места.

— Так почему же вы едите лук, — спросила она убийственно презрительным тоном, — и ничего больше?

— Я этого не говорил, — горячо возразил молодой человек. — Я сказал, что у меня дома нет больше ничего съестного. Я не держу гастрономического магазина.



— Так почему же, — неумолимо продолжала Хетти, — вы собирались есть сырой лук?

— Моя мать, — сказал молодой человек, — всегда давала мне сырой лук против простуды. Простите, что упоминаю о физическом недомогании, но вы могли заметить, что я очень, очень сильно простужен. Я собирался съесть эту луковицу и лечь в постель. И не понимаю, чего ради я стою здесь и оправдываюсь перед вами.

— Где это вы простудились? — подозрительно спросила Хетти.

Молодой человек, казалось, достиг высшей точки раздражения. Спуститься с нее он мог двумя путями: дать волю своему гневу или признать комичность ситуации. Он выбрал правильный путь, и пустой коридор огласился его хриплым смехом.

— Нет, вы просто прелесть, — сказал он. — И я не осуждаю вас за такую осторожность. Так и быть, объясню вам. Я промок. На днях я переезжал на пароме Северную реку, и какая-то девушка бросилась в воду. Я, конечно...

Хетти перебила его, протянув руку.

— Отдайте лук, — сказала она.

Молодой человек стиснул зубы.

— Отдайте лук, — повторила она.

Он улыбнулся и положил луковицу ей на ладонь.

Тогда на лице Хетти появилась редко озарявшая его меланхолическая улыбка. Она взяла молодого человека под руку, а другой рукой указала на дверь своей комнаты.

— Дорогой мой, — сказала она, — идите туда. Маленькая дурочка, которую вы выудили из реки, ждет вас. Идите, идите. Даю вам три минуты, а потом приду сама. Картошка там и ждет. Входи, Лук.

Когда он, постучав, вошел в дверь, Хетти очистила луковицу и стала мыть ее под краном. Она бросила хмурый взгляд на хмурые крыши за окном, и улыбка медленно сползла с ее лица.

— А все-таки, — мрачно сказала она самой себе, — все-таки мясо-то достали мы.

## КАК СКРЫВАЛСЯ ЧЕРНЫЙ БИЛЛ

Худой, жилистый, краснолицый человек с крючковатым носом и маленькими горящими глазками, блеск которых несколько смягчали белесые ресницы, сидел на краю железнодорожной платформы на станции Лос-Пиньос, болтая ногами. Рядом с ним сидел другой человек — толстый, обтрепанный, унылый, — должно быть, его приятель. У обоих был такой вид, словно грубые швы изнанки жизни давно уже натерли им мозоли по всему телу.

— Года четыре не видались, верно. Огарок? — сказал обтрепанный. — Где тебя носило?

— В Техасе, — сказал краснолицый. — На Аляске слишком холодно — это не для меня. А в Техасе тепло, как выяснилось. Один раз было даже довольно жарко. Сейчас расскажу.

Как-то утром я соскочил с экспресса, когда он остановился у водокачки, и разрешил ему следовать дальше без меня. Оказалось, что я попал в страну ранчо. Домов там еще больше, чем в Нью-Йорке, только их строят не в двух дюймах, а в двадцати милях друг от друга, так что нельзя учуять носом, что у соседей на обед.

Дороги я не нашел и потащился напрямик, куда глаза глядят. Трава там по колено, а мескитовые рощи издали совсем как персиковые сады, так и кажется, что забрел в чужую усадьбу и сейчас налетят на тебя бульдоги и начнут хватать за пятки. Однако я отмахал миль двадцать, прежде чем набрел на усадьбу. Небольшой такой домик — величиной с платформу надземной железной дороги.

Невысокий человек в белой рубашке и коричневом комбинезоне, с розовым платком вокруг шеи скручивал сигаретки под деревом у входа в дом.

— Привет, — говорю я ему, — может ли в некотором роде чужестранец прохладиться, подкрепиться, найти приют или даже какую-нибудь работенку в вашем доме?

— Заходите, — говорит он самым любезным тоном. — Присядьте, пожалуйста, на этот табурет. Я и не слышал, как вы подбехали.

— Я еще не подъехал, — говорю я. — Я пока подошел. Неприятно затруднять вас, но если бы вы раздобыли ведра два воды...

— Да, вы изрядно запылились, — говорит он, — только наши купальные приспособления...

— Я хочу напиться, — говорю я. — Пыль, которая у меня снаружи, не имеет особого значения.

Он налил мне ковш воды из большого красного кувшина и спрашивает:

— Так вам нужна работа?

— Временно, — говорю я. — Здесь, кажется, довольно тихое местечко?

— Вы не ошиблись, — говорит он. — Порой неделями ни одной живой души не увидишь. Так я слышал. Сам я всего месяц, как обосновался здесь. Купил это ранчо у одного старожилы, который решил перебраться дальше на Запад.

— Мне это подходит, — говорю я. — Человеку иной раз полезно пожить в таком тихом углу. Но мне нужна работа. Я умею сбивать коктейли, шельмовать с рудой, читать лекции, выпускать акции, немного играю на пианино и боксирую в среднем весе.

— Так... — говорит этот недоросток. — А не можете ли вы пасти овец?

— Не могу ли я спасти овец? — удивился я.

— Да нет, не спасти, а пасти, — говорит он. — Ну, стеречь стадо.

— А, — говорю я, — понимаю! Сгонять их в кучу, как овчарка, и лаять, чтоб не разбежались! Что ж, могу. Мне, по правде сказать, еще не приходилось пастушествовать, но я не раз наблюдал из окна вагона, как овечки жуют на лугу ромашки, и вид у них был не особенно кровожадный.

— Мне нужен пастух, — говорит овцевод. — А на мексиканцев я не очень-то полагаюсь. У меня два стада. Можете хоть завтра с утра выгнать на пастбище моих баранов — их всего восемьсот штук. Жалованье — двенадцать долларов в месяц, харчи мои. Жить будете там же на выгоне, в палат-

ке. Стряпать вам придется самому, а дрова и воду будут доставлять. Работа не тяжелая.

— По рукам, — говорю я. — Берусь за эту работу, если даже придется украсить голову венком, облачиться в балахон, взять в руки жезл и наигрывать на дудочке, как делают это пастухи на картинках.

И вот на следующее утро хозяин ранчо помогает мне выгнать из корраля стадо баранов и доставить их на пастбище в прерии, мили за две от усадьбы, где они принимаются мирно пощипывать травку на склоне холма. Хозяин дает мне пропасть всяких наставлений: следить, чтобы отдельные скопления баранов не отбивались от главного стада, и в полдень гнать их всех на водопой.

— Вечером я привезу вашу палатку, все оборудование и провиант, — говорит он мне.

— Роскошно, — говорю я. — И не забудьте захватить провиант. Да заодно и оборудование. А главное, не упустите из виду палатку. Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Золиккоффер?

— Меня зовут, — говорит он, — Генри Огден.

— Чудесно, мистер Огден, — говорю я. — А меня — мистер Персиваль Сент-Клэр.

Пять дней я пас овец на ранчо Чиквито, а потом почувствовал, что сам начинаю обрастать шерстью, как овца. Это обращение к природе явно обращалось против меня. Я был одинок, как коза Робинзона Крузо. Ей-богу, я встречал на своем веку более интересных собеседников, чем вверенные моему попечению бараны. Соберешь их вечером, запрешь в загон, а потом напечешь кукурузных лепешек, нажаришь баранины, свариишь кофе и лежишь в своей палатке величиной с салфетку да слушаешь, как воют койоты и кричат козодои.

На пятый день к вечеру, загнав моих драгоценных, но малообщительных баранов, я отправился в усадьбу, отворил дверь в дом и шагнул за порог.

— Мистер Огден, — говорю я. — Нам с вами необходимо начать общаться. Овцы, конечно, хорошая штука — они

оживляют пейзаж, и опять же с них можно настричь шерсти на некоторое количество восьмидолларовых мужских костюмов, но что касается застойной беседы или чтобы скоротать вечерок у камелька, так с ними помрешь с тоски, как на великосветском файв-о-клоке. Если у вас есть колода карт, или литературное лото, или трик-трак, тащите их сюда, и мы с вами займемся умственной деятельностью. Я сейчас готов взяться за любую мозговую работу — вплоть до вышибания кому-нибудь мозгов.

Этот Генри Огден был овцевод особого сорта. Он носил кольца и большие золотые часы и тщательно завязывал галстук. И физиономия у него всегда была спокойная, а очки на носу так и блестили. Я видел в Мэскоги, как повесили бандита за убийство шестерых людей. Так мой хозяин был похож на него как две капли воды. Однако я знал еще одного священника, в Арканзасе, которого можно было бы принять за его родного брата. Но мне-то в общем было наплевать. Я жаждал общения — с праведником ли, с грешником — все одно, лишь бы он говорил, а не блял.

— Я понимаю, Сент-Клэр, — отвечает Огден, откладывая в сторону книгу. — Вам, конечно, скучновато там одному с непривычки. Моя жизнь, признаться, тоже довольно однообразна. Хорошо ли вы заперли овец? Вы уверены, что они не разбегутся?

— Они заперты так же прочно, — говорю я, — как присяжные, удалившиеся на совещание по делу об убийстве миллионера. И я буду на месте раньше, чем у них возникнет потребность в услугах сиделки.

Тут Огден извлек откуда-то колоду карт, и мы с ним сразились в казино. После пяти дней и пяти ночей заточения в овечьем лагере я почувствовал себя, как гуляка на Бродвее. Когда мне шла карта, я радовался так, словно заработал миллион на бирже, а когда Огден разошелся и рассказал анекдот про даму в спальном вагоне, я хохотал добрых пять минут.

Все в жизни относительно — вот что я скажу. Человек может столько насмотреться всякой всячины, что уже не по-

вернет головы, чтобы поглядеть, как горит трехмиллионный особняк, или возвращается с гастролей Джо Вебер, или волнуется Адриатическое море. Но дайте ему только попасть немножко овец и он будет кататься со смеху, едва кто-нибудь запоет: “Могильный звон, могильный звон!” — и получать искреннее удовольствие от игры в карты с дамами.

Словом, дальше — больше. Огден вытаскивает бутылку бурбонского, и мы окончательно предаем забвению наших овец.

— Вы помните, — говорит Огден, — примерно месяц назад в газетах писали о нападении на Канзас-Техас? Было похищено пятнадцать тысяч долларов кредитными билетами, а проводник почтового вагона ранен в плечо. И говорят, все это дело рук одного человека.

— Что-то припоминаю, — говорю я. — Но такие вещи случаются настолько часто, что мозг рядового техасца не в состоянии удержать их в памяти. И что ж, преступник был застигнут на месте преступления? Или изловлен, схвачен, предан в руки правосудия?

— Он удрал, — говорит Огден. — А сегодня я прочел в газете, что полиция напала на его след где-то в наших краях. Все похищенные банкноты были, оказывается, одной серии — первого выпуска Второго национального банка города Эспинозы. Проследили, где грабитель менял эти банкноты, и след привел сюда.

Огден наливает себе еще бурбонского и пододвигает бутылку мне.

— Что ж, — говорю я, отхлебнув глоточек этого царского напитка, — для железнодорожного налетчика не так уж глупо придумано — укрыться на время в здешней глуши. Овечья ферма, пожалуй, самое подходящее для этого место. Кому придет в голову искать такого отпетого бандита среди певчих птичек, барашков и полевых цветочков? А что, — говорю я, скосив глаза на Огдена и как бы приглядываясь к нему, — в газетах не было дано примет этого едиборца? Что-нибудь насчет объема, веса, линейных измерений, кроля жилета или количества запломбированных зубов?

— Нет, — говорит Огден. — Он был в маске, и никто не мог его хорошенько рассмотреть. Но установлено, что это известный железнодорожный бандит по кличке Черный Билл, потому что тот всегда работает один и, кроме того, в почтовом вагоне нашли платок с его меткой.

— Я одобряю Черного Билла, — говорю я. — Он правильно сделал, что спрятался на овечьем ранчо. Думаю, им его не найти.

— Объявили награду в тысячу долларов за его поимку, — говорит Огден.

— На черта мне эти деньги, — говорю я, глядя мистеру овцеводу прямо в глаза. — Хватит с меня и двенадцати долларов в месяц, которые я у вас получаю. Я нуждаюсь в отдыхе. Мне бы только наскрести деньжат, чтоб оплатить билет до Тексарканы, где проживает моя вдовствующая матушка. Если Черный Билл, — говорю я, многозначительно глядя на Огдена, — этак месяц назад подался в эти края... и купил себе небольшое овчье ранчо и...

— Стойте, — говорит Огден и с довольно-таки свирепой рожей подымается со стула, — это что за намеки?

— Никаких намеков, — говорю я. — Я беру чисто гипототический случай. Если бы, — говорю я, — Черный Билл забрел сюда и купил себе овчье ранчо и нанял бы меня нянчить его овец и играть им на дудочке, да поступал бы при этом со мной честно и по-товарищески, вот как вы, — ему бы не пришлось меня опасаться. Человек для меня всегда человек, какие бы ни случались у него осложнения с железнодорожными поездами или с овцами. Теперь вы знаете, чего от меня ждать.

Лицо у Огдена стало черней кофейной гущи. Секунд девять он молчал, а потом рассмеялся.

— Вот вы какой, Сент-Клэр, — говорит он — Что ж, будь я Черным Биллом, я бы не побоялся довериться вам. А теперь давайте перекинемся в картишки... если, конечно, вам не претит играть с налетчиком.

— Я уже выразил вам свои чувства в словесной форме, — говорю я, — и притом без всякой задней мысли.

Тасуя карты после первой сдачи, я, как бы невзначай, спрашиваю Огдена, откуда он.

— О, — говорит Огден, — я с Миссисипи.

— Хорошенькое местечко, — говорю я. — Мне не раз приходилось там останавливаться. Только простыни немного сыроваты и насчет жратвы не густо. Верно, да? А я вот, — говорю я ему, — с побережья Тихого океана. Может, бывали когда?

— Сплошные сквозняки, — говорит Огден. — Но если вам случится попасть на Средний Запад, сошлитесь на меня, и вам нальют кофе через ситечко и положат грелку в постель.

— Ладно, — говорю я. — Я ведь не хотел выведать у вас номер вашего личного телефона или девичью фамилию вашей тетушки, которая умыкнула пресвитерианского священника из Кэмберленда. Мне-то что. Я стараюсь только втолковать вам, что в руках у вашего овчара вы в полной безопасности. Ну, бросьте нервничать, червы пиками не кроют.

— Втемяшится же человеку, — говорит Огден и опять смеется. — А не кажется ли вам, что, будь я Черный Билл и явись у меня мысль, что вы меня подозреваете, я давно угостил бы вас пулей из винчестера и тем успокоил бы свои нервы, если бы они у меня расшалились?

— Не кажется, — говорю я. — Тот, у кого хватило духу в одиночку ограбить поезд, никогда такой штуки не выкинет. Я не зря поштался по свету, знаю, что у них там насчет дружбы крепко. Не то чтобы я, мистер Огден, — говорю я ему, — состоя при вас овечьим пастухом, набивался вам в друзья. Но при менее малоблагоприятных обстоятельствах мы, может, и сошлись бы поближе.

— Забудьте на время овец, прошу вас, — говорит Огден, — и снимите — мне сдавать.

Дня четыре спустя, когда мои барашки мирно поддичали у речки, а я был погружен в превратности приготовления кофе, передо мной появилась некая загадочная личность, стремившаяся изобразить из себя то, что ей хотелось изобразить. Она неслышно подкралась по траве, верхом на лошади. По одеянию это было нечто среднее между сыщиком из

Канзаса, собачником из Батон-Ружа и небезызвестным вам разведчиком Буффало Биллом. Глаза и подбородок этого субъекта не свидетельствовали о боевом опыте, и я смекнул, что это всего-навсего ищейка.

— Пасешь овец? — спрашивает он меня.

— Увы, — говорю я, — перед лицом такой несокрушимой проницательности, как ваша, у меня не хватает нахальства утверждать, что я тут реставрирую старинную бронзу или смазываю велосипедные колеса.

— Что-то ты, сдастся мне, не похож на пастуха: и одет не так, и говоришь не так.

— А вы зато говорите так, что очень похожи на то, что мне сдастся.

Тут он спросил меня, у кого я работаю, и я показал ему на ранчо Чикито в тени небольшого холма, милях в двух от моего выгона. После этого он сообщил мне, что я разговариваю с помощником шерифа.

— Где-то в этих краях скрывается железнодорожный бандит по кличке Черный Билл, — рапортует мне эта ищейка. — Его уже проследили до Сан-Антонио, а может, и дальше. Ты здесь не видал ли каких пришлых людей за истекший месяц, или, может, слышал, что появился кто?

— Нет, — отвечаю я, — если не считать того, который появился, говорят, в мексиканском поселке на ранчо Люмис, на Фрио.

— Что тебе известно про него? — спрашивает шериф.

— Ему три дня от роду, — говорю я.

— А каков с виду человек, у которого ты работаешь? — допытывается он. — Старик Джордж Рэми все еще хозяйничает на своем ранчо? Он тут уже лет десять разводит овец, да что-то ему никогда не везло.

— Старик продал ранчо и подался на Запад, — сообщил я. — Другой любитель овец купил у него это хозяйство с месяц назад.

— А каков он с виду? — снова спрашивает тот.

— О, — говорю я, — он-то? Такой здоровенный, толстенный датчанин с усищами и в синих очках. Не поручусь, что

он сумеет отличить овцу от суслика. Похоже, что старина Джордж крепко обставил его на этом деле.

Подкрепившись еще целой кучей столь же ценных сведений и львиной долей моего обеда, шериф отъехал прочь.

В тот же вечер я докладываю об этом посещении Огдену.

— Они оплетают Черного Билла цепкими щупальцами спрута, — говорю я. И рассказываю ему о шерифе и о том, как я расписал его этому шерифу и что тот сказал.

— Э, что нам до Черного Билла, — говорит Огден. — У нас и своих забот довольно. Достаньте-ка из шкафа бутылочку, и выпьем за его здоровье. Если, — добавляет он со смешком, — вы не слишком прудубеждены против железнодорожных налетчиков.

— Я готов выпить, — говорю я, — за всякого, кто умеет постоять за друга. А Черный Билл, — говорю я, — как раз, мне кажется, из таких. Итак, за Черного Билла и за удачу.

И мы выпили.

А недельки через две подошло время стрижки овец. Мне надо было пригнать их в усадьбу, где кучка кудлатых мексиканцев должна была наброситься на них с садовыми ножницами и остричь их наголо. И вот вечером, накануне прибытия парикмахеров, я погнал своих недожаренных баранов по зеленому лужку, по крутому бережку и доставил прямо в усадьбу. Там я запер их в корраль и пожелал им спокойной ночи.

После этого я направился к дому. Г. Огден, эсквайр, спал, растянувшись на своей узенькой походной койке. Как видно, его свалила с ног антибессонница или одолело противодействие или еще какой-нибудь недуг, возникающий от тесного соприкосновения с овцами. Рот у него был разинут, жилет расстегнут, и он сопел, как старый велосипедный насос. Вид его навлек на меня некоторые размышления.

“Великий Цезарь, — подумалось мне, — спи, захлопнув рот, и ветер внутрь тебя не попадет. Тобой кто-нибудь замажет щели, чтоб червяки чего-нибудь не съели”.

Спящий мужчина — это зрелище, от которого могут прослезиться ангелы. Что стоят сейчас его мозги, бицепсы,

чековая книжка, апломб, протекции и семейные связи? Он — игрушка в руках врага, а тем паче друга. И так же привлекателен, как наемная кляча, когда она стоит, привалясь к стене оперного театра в половине первого ночи и грезит просторами аравийских пустынь. Вот спящая женщина — совсем другое дело. Плевать нам на то, как она выглядит, лишь бы подольше находилась в этом состоянии.

Ну, выпил я две порции бурбонского — свою и Огдена — и расположился с приятностью провести время, пока он поживает. На столе у него нашлись кое-какие книжицы на разные местные темы — о Японии, об осушке болот, о физическом воспитании — и немного табаку, что было особенно кстати.

Покурив и насытив свой слух вулканическим храпом Генри Огдена, я невзначай глянул в окно в направлении загона для стрижки овец, где что-то вроде тропки ответвлялось от чего-то вроде дороги, пересекавшей вдали что-то вроде ручья.

Вижу — пять всадников направляются к дому. У каждого — поперек седла ружье. Один из них — тот самый шериф, который тогда навел на меня выгон.

Они приближаются с опаской, расчлененным строем, в полной боевой готовности. Присматриваюсь и определяю, который из них атаман этой кавалерийской шайки блюстителей закона и порядка.

— Добрый вечер, джентльмены, — говорю я. — Не угодно ли вам спешиться и привязать ваших коней?

Атаман подъезжает ко мне вплотную и вращает стволом своего ружья так, словно хочет поймать на мушку сразу весь мой фасад.

— Замри на месте, — говорит он, — и пальцем не шевельни, пока я не удовлетворю своего желания некоторым образом с тобой побеседовать.

— Замру, — говорю я, — слава богу, я не глухонемой — зачем мне шевелить пальцами и оказывать неповиновение вашим предписаниям?

— Мы ищем, — сообщает он мне, — Черного Билла, который в мае месяце задержал экспресс на Канзас-Техас и ограбил его на пятнадцать тысяч долларов. Сейчас мы обыскиваем всех подряд на всех ранчо. Как тебя зовут и что ты здесь делаешь?

— Капитан, — говорю я, — моя профессия — Персиваль Сен-Клэр, а зовусь я овчаром. Сегодня я загнал в этот корраль своих телят... то бишь овчат. Ищей... то есть брадобреи, придут завтра, чтобы причесать их, в смысле обкорнать.

— Где хозяин ранчо? — спрашивает атаман шайки.

— Обождите минутку, — говорю я. — Не было ли назначено какой-то награды за поимку этого закоренелого преступника, о котором вы изволили упомянуть, в вашем предисловии?

— За поимку и изобличение преступника назначена награда в тысячу долларов, — говорит тот. — За сообщение сведений о нем никакого вознаграждения никак не предусмотрено.

— Похоже не сегодня-завтра соберется дождик, — говорю я, глядя со скучающим видом в лазурно-голубое небо.

— Если тебе известно тайное убежище, дисклокация или псевдонимы Черного Билла, — говорит он на самом свирепом полицейском жаргоне, — ты ответишь перед законом за недонесение и укрывательство.

— Слышал я от одного прохожего, — говорю я скороговоркой нудным голосом, — что в одной лавчонке в Нуэсесе один мексиканец говорил одному ковбою, которого зовут Джек, что двоюродный брат одного овцевода недели две тому назад видел Черного Билла в Матаморасе.

— Слушай ты, мистер Язык-на-Привязи! — говорит капитан, оглядывая меня с головы до пят и прикидывая, сколько можно выторговать. — Если ты подскажешь нам, где захватить Черного Билла, я заплачу тебе сто долларов из моего собственного... из наших собственных карманов. Ты видишь, я щедр, — говорит он. — Тебе ведь ровно ничего не причитается. Ну, как?

— Деньги на бочку? — спрашиваю я.

Капитан посоветался со своими молодчиками. Они вывернули карманы для проверки содержимого. Совместными усилиями наскребли сумму в сто два доллара тридцать центов и кучку жевательного табаку на тридцать один доллар.

— Приблизься, о мой капитан, — сказал я, — и внемли!

Он так и сделал.

— Я очень беден, и общественное положение мое более чем скромно, — начал я. — За двенадцать долларов в месяц я тружусь в поте лица, стараясь держать вместе кучу животных, единственное стремление которых разбежаться во все стороны. И хотя я еще и не в таком упадке, как штат Южная Дакота, тем не менее, это занятие — страшное падение для человека, который до сей поры сталкивался с овцами только в форме бараньих отбивных. Я скатился так низко по воле необузданного честолюбия, рома и особого сорта коктейля, который подают на всех вокзалах Пенсильванской железной дороги от Скрэнтона до Цинциннати: немного джина и французского вермута, один лимон плюс хорошая порция апельсиновой горькой. Попадете в те края — не упустите случая испробовать на себе. И все же, — продолжал я, — мне еще не приходилось предавать друга. Когда мои друзья купались в золоте, я стоял за них горой и никогда не покидал их, если меня постигала беда.

— Но, — продолжал я, — какая тут к черту дружба? Двенадцать долларов в месяц — это же в лучшем случае шапочное знакомство. Разве истинная дружба может питаться красными бобами и кукурузным хлебом? Я бедный человек, у меня вдовствующая мама в Тексаркане. Вы найдете Черного Билла, — говорю им я, — в этом доме. Он дрыхнет на своей койке в первой комнате направо. Это именно тот человек, который вам нужен. Я смекнул это из разных его слов и разговоров. Пожалуй, отчасти он все же был мне другом, и будь я тот человек, каким я был когда-то, все сокровища рудников Голдонды не заставили бы меня предать его. Но, — говорю я, — бобы всегда были наполовину червивые и к концу недели я вечно сидел без топлива.

— Входите осторожнее, джентльмены, — предупреждаю их я. — Он временами бывает очень несдержан, и, принимая во внимание его прежнюю профессию, как бы вам не нарваться на какую-нибудь грубость с его стороны, если вы захватите его врасплох.

Тут все ополчение спешивается, привязывает лошадей, снимает с передков орудия и всю прочую амуницию и на цыпочках вступает в дом. А я крадусь за ними, как Далила, когда она вела Вилли Стимлена к Самсону.

Начальник отряда трясет Огдена за плечо, и тот просыпается. Он вскакивает, и еще два охотника за наградами наваливаются на него. Огден хоть мал и худ, а парень крепкий и так лихо отбивается, несмотря на их численный перевес, что я только глазами хлопаю.

— Что это значит? — спрашивает он, когда им, наконец удается одолеть его.

— Вы попались, мистер Черный Билл, — говорит капитан, — только и всего.

— Это грубое насилие, — говорит Огден, окончательно взбесившись.

— Конечно, это было насилие, — говорит поборник мира и добра. — Поезд-то шел себе и шел, ничем вам не мешал, а вы позволили себе запрещенные законом шалости с казенными пакетами.

И он садится Генри Огдену на солнечное сплетение и начинает аккуратно и симптоматически обшаривать его карманы.

— Вы у меня попотеете за это, — говорит Огден, изрядно вспотев сам. — Я ведь могу доказать, кто я такой.

— Это я и сам могу, — говорит капитан и вытаскивает у него из кармана пачку новеньких банкнот выпуска Второго Национального банка города Эспинозы. — Едва ли ваша визитная карточка перекричит эти денежные знаки, когда станут устанавливать идентичность вашей личности. Ну, пошли! Поедете с нами замаливать свои грехи.

Огден подымается и повязывает галстук. После того, как у него нашли эти банкноты, он уже молчит, как воды в рот набрал.

— А ведь ловко придумано! — с восхищением отмечает капитан. — Забрался сюда, в такую глушь, где, как говорится, ни одна душа живой ногой не ступала, и купил себе овечье ранчо! Хитро укрылся, я такого еще сроду не видывал, — говорит он.

Один из его молодчиков направляется в корраль и выгоняет оттуда второго пастуха — мексиканца, по прозвищу Джон-Смешки. Тот седлает лошадь Огдена, и вся шерифская шайка с ружьями на изготовку окружает своего пленника, чтобы доставить его в город.

Огден, прежде чем тронуться в путь, поручает свое ранчо Джону-Смешки и отдает всякие распоряжения насчет стрижки и пасения овец, словно рассчитывает вскорости вернуться обратно. А часа через два некто Персиваль Сент-Клер, бывший овчар с ранчо Чикито, отбывает в южном направлении на другой лошади, уведенной с того же ранчо, и в кармане у него лежит сто девять долларов — цена крови и остаток жалованья.

Краснолицый человек умолк и прислушался. Где-то вдали, за пологими холмами, раздался свисток приближающегося товарного поезда.

Толстый, унылый человек, сидевший рядом, сердито засопел и медленно, осуждающе покачал нечесаной головой.

— В чем дело, Окурок? — спросил краснолицый. — Опять хандришь?

— Нет, не хандрю, — сказал унылый и снова засопел. — А только этот твой рассказ мне что-то не нравится. Мы с тобой были приятелями пятнадцать лет с разнообразными промежутками, но я еще не видал и не слышал, чтобы ты выдал кого-нибудь полиции, — нет, этого за тобой не водилось. А с этим парнем ты делил его хлеб насущный и играл с ним в карты — если казино можно назвать игрой, — а потом взял и выдал его полиции. Да еще деньги за это получил. Нет, никогда я от тебя такого не ожидал.

— Этот Генри Огден, — сказал краснолицый, — очень быстро оправдался, как я слышал, с помощью адвоката, алиби и прочих юридических уловок. Ничего ему не ста-

лось. Он оказал мне немало одолжений, и я совсем не рад был выдавать его полиции.

— А как же эти деньги, что нашли у него в кармане? — спросил унылый.

— Это я их туда положил, — сказал краснолицый, — пока он спал. Как только увидел, что они едут. Черный Билл — это был я. Смотри, Окурок, товарный! Мы заберемся на буфера, пока он будет стоять у водокачки.

## СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заведение Финна — 9 футов на 12, Третья авеню, — обещает «чистку шляп электричеством в присутствии заказчика». Если вам случилось попасть ему в лапы, вы его клиент навеки. Мне неведомы производственные тайны Финча, но отныне вам придется чистить шляпу каждые четыре дня.

Финчу, жилистому, нерасторопному субъекту с испитым лицом, можно дать от двадцати до сорока. Поглядеть на него — кажется, он с младых ногтей только тем и занимался, что чистил шляпы. Когда у него нет посетителей, он охотно болтает со мной, и я чищу шляпу чаще, чем требуется, в надежде, что Финч приподнимет завесу над тайнами местных потогонных мастерских.

Как-то я заглянул к Финчу и застал его одного. Он тут же принялся умащать мой головной убор панамского производства своим загадочным составом, притягивающим пыль и грязь как магнит.

— Говорят, индейцы плетут шляпы под водой, — сказал я для затравки.

— Ерунда, — сказал Финч. — Так долго под водой не пробыть ни индейцу, ни белому. Послушайте, вы интересуетесь политикой? Я на днях прочел в газете, что приняли один закон, его еще называют закон спроса и предложения.

Я, как мог, постарался ему втолковать, что речь идет не о законодательном акте, а о законе политической экономии.



— Вот оно как, — сказал Финч. — Я об этом законе много чего слышал года два тому назад, но все больше с одного боку.

— Верно, — подтвердил я. — У ораторов этот закон не сходит с языка. Похоже, они жить без него не могут. Вам, наверное, доводилось слышать, как наши разбойники с большой платформы разглагольствуют о нем тут, в Ист-Сайде.

— Лично мне, — сказал Финч, — об этом законе рассказал король, белый король, он правил индейским племенем в Южной Америке.

Сообщение Финча меня заинтриговало, но не удивило. Большой город — это своего рода материнские колени для тех, кто забрел далеко от дома и нашел, что выбранный путь слишком тернист для их неокрепших ног. В сумерках они возвращаются домой и садятся у порога. Я знаком с пианистом из третьеразрядного кафе, который охотился на львов в Африке, с посыльным, сражавшимся в рядах британской армии против зулусов, с извозчиком, чью левую руку пагагонские людоеды уже готовились сунуть в похлебку, предварительно раздробив ее, как клешню краба, в ту самую минуту, когда на горизонте замаячило судно, несшее страдальцу избавление. Поэтому сообщение о том, что у чистильщика шляп числится в друзьях король, не потрясло меня.

— Ленту новую? — спросил Финч, и губы его раздвинула унылая, безжизненная улыбка.

— Да, — сказал я. — И на полдюйма шире.

Я менял ленту всего пять дней назад.

— Встречаю я как-то одного человечка, — начал Финч свой рассказ, — коричневый такой, все равно что табак, из всех карманов деньги торчат, заправляется свинными клецками у Шлагеля. Было это два года тому назад, я еще тогда брандспойт возил при 98-й части. И заводит он речь о золоте. Говорит, в одной, значит, южной стране, Хватималой называется, в горах золота полным-полно. Индейцы, говорит, намывают его в многочисленных количествах из ручьев.

— Скажешь тоже, — говорю, — Джеронимо<sup>1</sup>, индейцы! Нет на юге никаких индейцев, кроме “лосей” из деловых клубов и закушников мануфактуры... Индейцев всех загнали в резервации, но, надо сказать, допуск к ним есть.

— И рассказ мой тоже будет с допуском, — говорит он. — Только это не те индейцы, что при Буффало Билле, эти на собственных землях противозаконно живут, и они будут породовитее. Называются они финки и ацтеки, они там стародавние жители, они в Хватимале в те времена еще жили, когда Мексикой Толстосума правил. Они намывают золото из горных ручьев, говорит коричневый человечек, сыплют его в гусиные перья, из перьев — в красные кувшины, ну, а как насыплют кувшины доверху, пакуют золото в кожаные мешки, в каждый мешок по арробе, и в арробе той целых двадцать пять фунтов, а там уж тащат мешки в каменный дом, и над дверью того дома картинка высечена — идол с завитыми волосами играет на флейте.

— И куда ж они девают эту небывалую прибыль? — спрашиваю.

— А никуда, — говорит человечек. — Это, знаете, тот самый случай, когда “зло двигается по земле, и скорости его не вынести. Где золота невпроворот, там не ищите справедливости”<sup>2</sup>.

Выдоил я коричневого человечка досуха, пожал ему руку и сказал, мол, извините, только веры к вам у меня нет. А ровнехонько через месяц я высадился на хватимальский берег и при себе имел 1300 долларов, за пять лет скопленных. Индейские вкусы, думалось, мне известны, так что товару я набрал самого что ни есть подходящего. Четырех мулов навьючил красными шерстяными одеялами, железными ведрами, цветными гребнями для дам, стеклянными ожерельями и безопасными лезвиями. Нанял черномазого погонщика, сговорились, что он и мулов будет нахлестывать, и индейцев понимать. Ну, мулов-то он понимал вполне, а вот

<sup>1</sup> Джеронимо — вождь апачей, был взят в плен и погиб в 1909 г.

<sup>2</sup> Пародийный пересказ известных строк из стихотворения О. Гюльсми-та “Покинутая деревня”.

английский нахлестывал уж больно люто. Имечко его лязгало, как ключ, когда его не той стороной в замок сунешь, но я его Макклинтоком кликал, выходило похоже. Так вот, золотая эта деревушка ютилась в горах, и было до нее миль сорок ходу, мы ее проискали девять дней. А на десятый Макклинток перегнал всех мулов, и меня в том числе, по сыромятной кожи мосту через пропасть глубиной тысяч этак в пять футов. Копыта моих мулов барабанили по мосту точь-в-точь как барабанчики в театре перед тем, как Джордж М. Коэн на сцену выходит. Дома в той деревушке были слеплены из камня и грязи, а улиц и вовсе не предвиделось. Из дверей миглом повысовывались какие-то желто-бурые типчики, глаза таращат — ни дать ни взять эскулапы в томатном соусе. И тут из самого большого дома, с галерейкой на все стороны, выходит белый, крупный такой мужчина, цветом в свеклу, в шикарнх дубленых одеждах из оленьей кожи, на шее золотая цепка, во рту сигара. Мне встречались сенаторы такого обличья и стати, а еще метрдотели и полицейские.

И вот подходит он и приглядывается к нам, пока Макклинток разгрузкой занимается, а потом закуривает и, пока курит, делает перевод головному мулу.

— Привет, Непрошенский! — говорит мне этот шикарнй мужчина. — Ты чего встрял в мою игру? Что-то я не заметил, чтоб ты покупал фишки. И кто это тебе вручил ключи от города?

— Я всего лишь бедный путешественник, — говорю, — да еще на муломочном транспорте. Так что вы уж извините меня великодушно. А вы тут кайлом работаете или песок промываете?

— Обособляйся-ка ты от своего мнимоходца, — говорит он, — и входи в дом.

Он поднимает палец, и к нему опрометью кидается индеец.

— Вот этот малый позаботится о твоей экспедиции, — говорит он, — а я позабочусь о тебе.

И ведет меня в тот самый большой дом, выставляет стулья и выпивку молочного такого колера. Шикарней комна-

ты я не видывал. Каменные стены сплошняком занавешены шелковыми шальями, на полу желтые и красные дорожки, красные кувшины, шкуры ангорских коз, а уж бамбуковой мебелью, что там находилась, можно было б заставить полдюжины приморских домишек и еще б осталось.

— Прежде всего, — говорит он, — тебе, очевидно, желательно узнать, кто я такой. Я — единоличный арендатор и владелец здешнего индейского племени. Индейцы меня прозвали Великий Акула, что значит Король, или Набольшой. У меня тут больше силы, чем у пресс-атташе, гидравлического пресса и прстидижитатора, вместе взятых. Я для них Палка-Погонялка, и сучков-узлов на мне не меньше, чем выдает в рекордный пробег машина “Лузитания”. Да, да, и мы газеты почитываем, — говорит он. — А теперь предъяви ты свои полномочия, — продолжает, — и мы откроем заседание.

— Ладно, — говорю. — Я известен под именем У. Д. Финч. Занятие — капиталист. Адрес — 541, Восточная Тридцать вторая...

— Нью-Йорк, — прерывает меня Набольшой. — Так, так, — говорит он ухмыляясь, — вижу — Фортуна не впервой оборачивается к тебе задом. Сужу по тому, как ты щедр на рекламу. А теперь объясни, что означает “капиталист”?

Я ему как на духу выложил, для чего я сюда пришел и каким манером дошел до того, что пришел.

— Золотой песок? — говорит он, и такой у него вид удивленный, ну, чисто как у младенца, которому на перемазанный патокой палец налипло перышко. — Уморил ты меня! Ведь тут золотых приисков сроду не было. И ты вложил весь свой капитал в чужие рассказы? Ну и ну! Здешние людишки — они из вымершего племени пече — наивны, как дети. Им ничего не известно о покупательной способности золота. Похоже, тебя надули, — говорит он.

— Возможно, — говорю, — только сдается мне, что человек тот не врал.

— У. Д., — говорит вдруг король, — мне не хочется крикнуть душой. Не часто доводится поговорить с белым чело-

веком, так что за твои деньги я тебе устрою наглядную демонстрацию. Может статься, что у моих избирателей и припрятан гран-другой песку под одежкой. Доставай-ка завтра свои товары и погляди сам, как у тебя пойдет торговля. А теперь хочу представиться тебе неофициально. Меня зовут Шейн, Патрик Шейн. И владею я этими индейскими людишками по праву победителя, а победу над ними я одержал благодаря моей отваге и единоличному превосходству. Я сюда забрел четыре года назад и одолел их своими габаритами, цветом лица и нахрапом. Язык их я изучил за шесть недель, проще ничего нет: произносишь столько согласных, сколько хватает дыхания, а потом тычешь пальцем в то, что тебе требуется. Подавил я их своей импозантностью, а добил, — продолжает король Шейн, — при помощи экономической политики, ловкости рук, ну и, конечно, нашей новоанглийской морали и сквальжества. Каждое воскресенье или, во всяком случае, когда, по моим расчетам, должно быть воскресенье, я читаю им проповедь в доме совета (а советы там даю я один) о законе спроса и предложения. Я превозношу предложение и поношу спрос. И всегда придерживаюсь одного текста. Ведь ты бы никогда не подумал, У. Д., — говорит Шейн, — что во мне так сильна поэтическая жилка?

— Не знаю, — говорю, — как-то язык не поворачивается назвать эту жилку поэтической.

— Свое поэтическое евангелие я заимствовал у Теннисона. Я его считаю всем поэтам поэтом. Вот, значит, как этот текст звучит:

“Нет, не ради восторгов люди явились на свет. Так же как не затем, чтоб гулять как султаны в пряных садах”<sup>1</sup>.

Понимаешь, я учу их урезать спрос, учу ставить предложение выше спроса. Учю не желать ничего, кроме самого необходимого. Чуток баранины, чуток кофе, чуток фруктов — их привозят с побережья — вот и все, что им нужно для счастья. Я их вымуштровал — лучше не надо. Одежду свою и шляпы они плетут из соломы и живут припеваючи.

<sup>1</sup> Цитата, не имеющая отношения к Теннисону.

Великое дело, — заключает Шейн, — осчастливить народ таким простым и здоровым прижимом.

Так вот, назавтра я, с королевского разрешения, велел Макклинтоку разбросать два мешка товара по площади. Тут же к нашему прилавку понабежало видимо-невидимо индейцев. Я размахивал перед ними красными одеялами, сверкал сережками и кольцами, нацеплял на дам жемчужные ожерелья и гребешки, на мужчин — красные подштанники. Все без толку. Они лупились, как оголодавшие идола, и равным счетом ничего не покупали. Я справился у Макклинтока, в чем дело. Мак несколько раз зевнул, скрутил папиросу, поделился кое-какими сокровенными соображениями с мулом, потом снизошел до меня и сообщил, что у индейцев просто нет денег.

А тут на площадь является сам король Шейн, грузный, багровый и царственный, как всегда, на груди золотая цепка, во рту сигара.

— Как торгуется, У. Д.? — спрашивает.

— Надо бл лучше, да нельзя, — говорю. — Товар рвут из рук. Но у меня тут еще один товарец припасен, я решил его выбросить перед самым закрытием, хочу посмотреть, как они отнесутся к безопасным лезвиям. Я прихватил с собой два гросса, купил по случаю на распродаже подпорченного пожарами товара.

Шейн тут как захохочет, так зашелся, чуть не упал, спасибо, этот его не то мамлюк, не то секретарь подхватить успел.

— Ах ты, чертополох тебя подери, — говорит, — можно подумать, ты только что на свет родился, а, У. Д.? Ты что, не знаешь, что индейцы не бреются? Они свою растительность по волоску выдирают.

— Подумаешь, — говорю, — и бритвы мои то же самое делают, так что они особой разницы и не заметили б.

Шейн ушел, и его хохот было бы слышно за квартал, будь в этой деревушке кварталы.

— Передай им, — говорю я Макклинтоку, — мне деньги не нужны, передай им — я принимаю золотой песок. Передай —

я дам по шестнадцать долларов за унцию песка, ясное дело, товарами. Я только за песком сюда и явился.

Мак переводит, и толпа кидается врассыпную, будто на них спустили отряд полиции. И двух минут не прошло, а уж всех дядькиных племянников и теткинх племянниц как ветром сдуло.

В тот же вечер в королевском дворце мы с королем по-толковали по душам.

— У них наверняка припрятано золотишко, — говорю я, — а иначе с чего б они пустились наутек?

— Ничего у них нет, — говорит Шейн. — И далось тебе это золото. Ты что, начитался Эдварда Аллана По? Нету у них никакого золота.

— Они его сыплют в перья, — говорю я, — из перьев в кувшины, а из кувшинов в мешки, в каждом мешке двадцать пять фунтов весу. Мне точно сказали.

— У. Д., — хохочет, заливаясь Шейн и жует сигару, — не часто мне случается видеть белого человека, так что я, пожалуй, введу тебя в курс дела. Сдается мне, тебе отсюда живьем не выбраться. Так что я тебе выложу все начистоту. Поди-ка сюда.

Он приподнимает занавес шелкового волокна, и я вижу в углу груды мешков оленьей кожи.

— Здесь сорок мешков, — говорит Шейн, — в каждом по арробе золотого песку, круглым числом 220 тысяч долларов. И все это золото мое. Оно принадлежит Великому Акуле. Индейцы сдают весь золотой песок мне. 220 тысяч долларов, — говорит Шейн, — тебе небось такие деньги и во сне не снились, лоточник ты несчастный. И все они мои.

— И много тебе от них толку? — говорю я издевательски и злопыхательски. — Выходит, ты государственная казна для этой шайки нищих деньгопроизводителей. И даже процентов не платишь, так что никто из твоих вкладчиков не может купить себе хотя бы технический алмаз огастовского (штат Мэн) производства ценой в 200 долларов за 4 доллара 85 центов?

— Послушай, — говорит Шейн, и на лбу у него выступает испарина. — Я тебе открыл душу, потому что ты завоевал мое расположение. Тебе случалось держать золотой песок не в тройском весе, а в весе эвердьюпойс, самом что ни на есть весомом весе, который насчитывает не двенадцать, а целых шестнадцать фунтов?

— Никогда, — говорю. — Не имею такой скверной привычки.

Тут Шейн падает на колени и заключает мешки с золотом в объятия.

— Обожаю золото, — говорит он. — Я бы, — говорит, — круглые сутки его не выпускал из рук. Нет у меня в жизни большей радости. Стоит мне войти в эту комнату, и я — король и богач разом. Через год я буду миллионером. Богатство мое растет с каждым днем. Все индейцы как один по моему приказу намывают песок в ущелье. Счастливее меня, У. Д., нет человека на свете. Я же хочу только, чтоб золото мое было у меня под боком, чтоб богатство мое росло с каждым днем, а больше я от жизни ничего не прошу. Теперь, — говорит, — ты понимаешь, почему мои индейцы не покупают твои товары. Им не на что их покупать. Золотой песок они без остатка выдают мне. Я их король. Я обучил их ничего не желать и ни о чем не мечтать. Так что прикрывай-ка ты свою лавочку.

— Нет, теперь я тебе скажу, кто ты такой, — говорю я. — Ты самый что ни на есть бесстыжий жмот. Ты проповедуешь предложение и знать ничего не хочешь о спросе. А предложение, — продолжаю я, — оно и есть предложение. Только и всего. Ну, а со спросом дело другое, это силлогизм и понятие выше классом. Спрос учитывает права наших жен и детей, благотворительность и дружбу и даже уличных попрошаек. И понятия эти должны друг друга уравновешивать. И я тебя честно предупреждаю — мне есть еще чем тебя ошарашить по коммерческой линии, так что гляди в оба, как бы я не порушил твои косные мыслишки относительно политики и экономии.

Назавтра я с утра пораньше дал указание Макклинтоку прыгнуть на площадь еще одну мулосилу с товарами. Народу опять набежало видимо-невидимо.

Я, ясное дело, достаю самые наилучшие ожерелья, браслеты, гребешки, сережки и велю дамам их примерить. Потом иду с козыря.

Вынимаю из последнего мешка полгросса ручных зеркал в прочных оловянных оправках и распределяю их между дамами. Так я познакомил племя пече с зеркалами.

Смотрю: по площади шествует Шейн.

— Ну, как торговля, не сыграла еще в ящик? — спрашивает он и утробно хохочет.

— Не только не сыграла в ящик, а как бы еще несколько ящиков товару выписать не пришлось, — говорю.

Тут по толпе прошел ропот. Женщины заглянули в магический кристалл, увидели, какие они красотки, и поделились этим открытием с мужчинами. Мужчины, ясное дело, давай ссылаться на нехватку денег и временные трудности перед выборами, но дамы и слушать ничего не хотели.

И тут настал мой час. Я прервал оживленный разговор Макклинтока с мулами и наказал ему заняться переводом.

— Переведи им, — говорю, — что на золотой песок они могут купить эти украшения, достойные королей и королев земли. Передай им, что за желтый песок, который они намывают из ручья для Его Преподобия Акулея и Марципана вашего племени можно приобрести все эти драгоценности и амулеты, которые их украсят, а также замаринуют и сохранят от злых духов. Передай им, что питтсбургские банки платят четыре процента по вкладам, деньги по желанию клиента высылаются почтой, а от этого богачей-не-зевай хранителя народного достояния — и спасибо не дождешься. И еще передай им, Мак, не ленись, повтори, да не раз, чтоб они не мешкая пустили песок в оборот. Говори с ними так, будто ты сроду терпеть не можешь Брайана.

Макклинток благосклонно машет рукой одному из своих мулов и швыряет в толпу одну-другую верстатку петита.

Тогда какой-то гуттаперчевый индеец залезает вместе со своей дамой на большой камень, а вокруг шеи у нее в три ряда намотана моя облезлая бижутерия и бусы поддельного мрамора, и произносит речь — на слух смахивает, будто игральные кости в стакане трясут.

— Он говорит, — переводит Макклинток, — людишки не понимают, что золотой песок ваши вещички покупать. Женщины беситься. Великий Акула говорит — золотой песок он хранить злых духов отогнать.

— Злых духов от денег нипочем не отгонишь, — говорю я.

— Они говорят, — продолжает Макклинток, — Акула их дурачить. Они много-много ругаться.

— Ладно, ладно, — говорю. — Пусть гонят золотой песок или монету — и я отдам им весь товар. Песок взвешивается на ваших глазах и принимается по шестнадцать долларов за унцию, больше здесь, на хватимальском берегу, никто им не даст.

В этом месте индейцы вдруг кидаются врассыпную, а я не могу понять, какая муха их укусила. Мы с Маком пакуем ручные зеркала и ожерелья, что они покидали, и отводим мулов в тот корраль, который нам отвели под гараж.

Сначала в наш корраль доносится шум и гам, потом через площадь на всех парах мчится Патрик Шейн, одежда на нем изорвана в клочья, а лицо так исцарапано, будто очень живучая кошка дралась с ним за свою жизнь.

— Они грабят сокровищницу, У. Д.! — вопит он. — Они хотят убить меня и тебя в придачу. Живо приведи мулов в боевую готовность. Надо сматываться, нельзя терять ни минуты.

— Выходит, они раскусили, — говорю я, — что такое закон спроса и предложения.

— Это все женский пол виноват, — говорит король. — А ведь как они мной восторгались, бывало.

— Тогда они еще не знали зеркал, — говорю я.

— Они схватились за топоры, — говорит Шейн. — Потопрапливайся.

— Бери себе чалого мула, — говорю я. — В печенках ты у меня сидишь со своим законом спроса и предложения. А себе я возьму мышастого, он порезвее будет, у него скорость на два узла больше. Чалый, он шпатит, но может статься, что тебе и на нем удастся удрать, — говорю. — Вот если б ты предусмотрел справедливость в своей политической платформе, я, может, дал бы тебе мышастого.

Взгромоздились мы на наших мулов и не успели пересечь сыромятный мост, как на другой стороне показались индейцы и ну бросать в нас камни и ножи. Но мы мигом обрубали ремни со своего края и двинули к побережью.

Тут в заведение Финча вошел грузный верзила в полицейской форме и облокотился о витрину. Финч дружески кивнул ему.

— У Кейси говорили, — сказал полицейский сиплым рокочущим басом, — что Союз чистильщиков шляп в воскресенье устраивает пикник в Берген-Бич? Верно?

— Ага, — сказал Финч. — Гулянье будет первый сорт.

— Дай пять билетов, — сказал полицейский и швырнул на прилавок пять долларов.

— Ишь ты, — сказал Финч, — что-то ты больно...

— Иди ты знаешь куда, — сказал полицейский. — Тебе надо их продать, так ведь? А раз так, значит, кому-то надо их купить. Жаль, что я не смогу туда выбраться.

Меня обрадовало, что Финч пользуется таким авторитетом в своем квартале.

Нас прервала девчушка лет семи с грязной рожицей и чистыми глазами, одетая в перепачканное кургузое платье.

— Мамка велела, — загараторила она, — чтоб ты дал семьдесят центов для бакалейщика, девятнадцать для молочника и пять центов мне на мороженое, только про мороженое она не говорила, — заключила девчушка, заискивающе, но правдиво улыбаясь.

Финч достал деньги, пересчитал их дважды, и я заметил, что девчушке был выдан доллар и четыре цента.

— Закон спроса и предложения, — заметил Финч, — справедливый закон, — и точно рассчитанным движением надо-

рвал шов на ленте моей шляпы, сильно сократив тем самым срок ее службы. — Только друг без друга они существовать не могут. Я знаю, — продолжал он, уныло улыбаясь, — что она спустит эти деньги на жвачку, она ее страсть как любит. Но что случилось бы с предложением, спрашиваю я вас, если б на него не было спроса?

— А как сложилась дальнейшая судьба короля? — полюбопытствовал я.

— Совсем забыл сказать, — ответил Финч. — Этот вот, что сейчас билеты у меня купил, он самый Шейн и есть. Он вместе со мной сюда вернулся и подался в полицейские.

## НЕГОДНОЕ ПРАВИЛО

Я всегда был убежден, и время от времени заявлял вслух, что женщина — вовсе не загадка, что мужчина способен понять, истолковать, перевести, предсказать и укротить ее. Представление о женщине как о некоем загадочном существе внушили доверчивому человечеству сами женщины. Прав я или нет — увидим. Как писал в былые времена журнал "Харперс", "ниже следует интересный рассказ про мисс... м-ра... м-ра... и м-ра...". "Епископа X" и "его преподобие Y" придется опустить, потому что они к делу не относятся.

В те дни Паломы была новым городом на Южной Тихоокеанской железной дороге. Репортер сказал бы, что она "выросла, как гриб", но это было бы неточно: Паломы, несомненно, следует отнести к разновидности поганок.

Поезд останавливался здесь в полдень, ровно на столько времени, чтобы паровоз успел напиться, а пассажиры — и напиться и пообедать. В городе была новенькая бревенчатая гостиница, склад шерсти и десятка три жилых домов; а еще — палатки, лошади, черная липкая грязь и мескитовые деревья. Городскую стену заменял горизонт. Паломе в сущности еще только предстояло стать городом. Дома ее были

верой, палатки — надеждой, а поезд, два раза в день предоставлявший вам возможность уехать отсюда, с успехом выполнял функции милосердия.

Ресторан “Париж” был расположен в самом грязном месте города, когда шел дождь, и в самом жарком, когда светило солнце. Владельцем, заведующим и главным виновником его был некий гражданин, известный под именем “старика Хинкла”, который прибыл из Индианы, чтобы нажить себе богатство в этом краю сгущенного молока и сорго.

Семья Хинкл занимала некрашенный тесовый дом в четырех комнаты. К кухне был пристроен навес на столбах, крытый ветками чапарала. Под навесом помещался стол и две скамьи, каждая в двадцать футов длиной, изготовленные местными плотниками. Здесь вам подавали жареную баранину, печеные яблоки, вареные бобы, бисквиты на соде, пуддинг-или-пирог и горячий кофе, составлявшие все парижское меню.

У плиты орудовали мама Хинкл и ее помощница, которую все знали на слух как Бетти, но никто никогда не видел. Папа Хинкл, наделенный огнеупорными пальцами, сам подавал дымящиеся яства. В часы пик ему помогал обслуживать посетителей молодой мексиканец, успевавший между двумя блюдами свернуть и выкурить папиросу. Следуя порядку, установленному на парижских банкетах, я ставлю сладкое в самом конце моего словесного меню.

Айлин Хинкл!

Орфография верна, я сам видел, как она писала свое имя. Без всякого сомнения, оно было выбрано из фонетических соображений; но и нелепое написание его она сносила с таким великолепным мужеством, что и самому строгому грамматисту не к чему было бы придраться.

Айлин была дочерью старика Хинкла и первой красавицей, проникнувшей на территорию к югу от линии, проведенной с востока на запад через Галвестон и Дель-Рио. Она восседала на высоком табурете, на трибуне из сосновых досок — не в храме ли, впрочем? — под навесом, у самой двери на кухню. Перед Айлин была загородка из колючей прово-

локи, с небольшим полукруглым отверстием, куда посетители просовывали деньги. Одному богу известно, зачем понадобилась эта колючая проволока; ведь каждый, кто питался парижскими обедами, готов был умереть ради Айлин. Обязанности ее не отличались сложностью: обед стоил доллар, этот доллар клался под дужку, а она брала его.

Я начал свой рассказ с намерением описать вам Айлин Хинкл. Но вместо этого мне придется отослать вас к философскому трактату Эдмунда Бэрка под заглавием “Происхождение наших идей о возвышенном и прекрасном”. Этот трактат вполне исчерпывает вопрос; сначала Бэрк касается древнейших представлений о красоте; если не ошибаюсь, он связывает их с впечатлениями, получаемыми от всего круглого и гладкого. Это хорошо сказано. Закругленность форм — бесспорно, привлекательное качество; что же касается гладкости, то чем больше морщин приобретает женщина, тем больше сглаживаются неровности ее характера.

Айлин была чисто растительным продуктом, запатентованным в год грехопадения Адама, согласно закону против фальсификации бальзама и амброзии. Она напоминала целый фруктовый ларек: клубнику, персики, вишни и т. д. Блондинка с широко посаженными глазами, она обладала спокойствием, предшествующим буре, которая так и не разражается. Но мне кажется, что не стоит тратить слов (сколько бы ни платили за слово) в тщетной попытке изобразить прекрасное. Красота, как известно, рождается в глазах. Есть три рода красоты... мне, видно, было на роду написано стать проповедником: никак не могу держаться в рамках рассказа.

Первый — это веснушчатая, курносая девица, к которой вы равнодушны, второй — это Мод Адамс<sup>1</sup>, третий — это женщины на картинах Бутеро<sup>2</sup>. Айлин принадлежала к чет-

1 Американская актриса.

2 Французский художник.

вертому. Она была безупречно красива. Не одно, а тысячу золотых яблок присудил бы ей Парис.

Ресторан “Париж” имел свой радиус. Но даже из-за пределов описанной им окружности приезжали в Палому мужчины в надежде получить улыбку от Айлин. И они получали ее. Один обед — одна улыбка — один доллар. Впрочем, несмотря на все внешнее беспристрастие, Айлин как будто отличала среди всех своих поклонников трех джентльменов. Подчиняясь правилам вежливости, я упомяну о себе под конец.

Первым ее обожателем был чисто искусственный продукт, известный под именем Брайана Джекса, явно присвоенным. Джекса породили вымощенные камнем города. Это был маленький человечек, сфабрикованный из какой-то субстанции, напоминающей мягкий песчаник. Волосы у него были цвета того кирпича, из которого строятся молитвенные дома квакеров, глаза его напоминали две кляквы, рот был похож на щель почтового ящика.

Он изучил все города от Бангора до Сан-Франциско, а оттуда к северу — до Портленда, а оттуда на юго-восток — вплоть до данного пункта во Флориде. Он знал все искусства, все промыслы, все игры, все коммерческие дела, все профессии и виды спорта, какие только есть на земле; он присутствовал лично на всех сенсационных, печатаемых под большими заголовками, событиях, которые произошли между двумя океанами с тех пор, как ему минуло пять лет, а если не присутствовал на них, так, значит, спешил к месту происшествия. Можно было открыть атлас, ткнуть пальцем наугад в любой город, и, до того как вы успевали захлопнуть атлас, Джекс уже называл вам уменьшительные имена трех известных граждан этого города. Он свысока, и даже довольно непочтительно, отзывался о Бродвее, Бикон-Хилле, Мичигане, Эвклиде, Пятой авеню и здании суда в Сент-Луисе. По сравнению с ним даже такой космополит, как Агасфер, показался бы отшельником. Он научился всему, что только мог преподать ему свет, и всегда готов был поделиться своими познаниями.

Я не люблю, когда мне напоминают про поэму Поллока “Течение времени”, но при виде Джекса мне всякий раз приходит на память то, что этот поэт сказал про другого поэта по имени Дж. Г. Байрон: “Он рано начал пить, он много пил, миллионы жажду утолить могли бы тем, что выпил он; а выпив все, от жажды бедный умер”<sup>1</sup>.

То же можно сказать про Джекса, только он не умер, а приехал в Палому, что, впрочем, почти одно и то же. Он служил телеграфистом и начальником станции за семьдесят пять долларов в месяц. Каким образом молодой человек, знавший все и умевший все делать, довольствовался такой скромной должностью — этого я никогда не мог понять, хотя он как-то раз намекнул, что делает это в виде личного одолжения президенту и акционерам железнодорожной компании.

Прибавлю к моему описанию еще одну строчку, а затем передам Джекса в ваше распоряжение. Он носил ярко-синий костюм, желтые башмаки и галстук бантом из одинаковой материи с рубашкой.

Вторым моим соперником был Бэд Кэннингем. Одно ранчо близ Паломы пользовалось его услугами, чтобы удерживать непокорный скот в границах порядка и приличий. Из всех ковбоев, которых я когда-либо видел в натуре, один только Бэд был похож на театрального ковбоя. Он носил классическое сомбреро, кожаные гетры выше колен и платок на шее, завязанный сзади.

Два раза в неделю Бэд покидал ранчо Валь-Верде и приезжал поужинать в ресторане “Париж”. Он ездил на тугоуздой кентуккийской лошадке, которая мчалась необычайно скорым аллюром; Бэд любил останавливать ее под большим мескитовым деревом у навеса с такой внезапностью, что копыта ее оставляли в жирной глине глубокие борозды в несколько ярдов длиной.

<sup>1</sup> Шотландский поэт Роберт Поллок (1789–1827) посвятил Байрону восторженные строки, ничего общего не имеющие с виршами, которые цитирует Генри.



Мы с Джексом были, разумеется, постоянными посетителями ресторана.

Во всей стране вязкой черной грязи вы не нашли бы более уютной гостиной, чем в домике у Хинклов. Она была полна плетеных качалок, вязаных салфеточек собственной работы, альбомов и расположенных в ряд раковин. А в углу стояло маленькое пианино.

В этой комнате Джекс, Бэд и я — а порой один или двое из нас, смотря по удаче, — сиживали по вечерам. Когда деловая жизнь замирала, мы приходили сюда “с визитом” к мисс Хинкл.

Айлин была девушкой со взглядами. Судьба предназначала ее для чего-то высшего, если вообще может быть призвание более высокое, чем целый день принимать доллары через отверстие в загородке из колочей проволоки. Она читала, прислушивалась ко всему и размышляла. С ее красотой менее честолюбивая девушка на одной наружности сделала бы карьеру, но Айлин метила выше: ей хотелось устроить у себя нечто вроде салона — единственного во всей Паломе.

— Не правда ли, Шекспир был великий писатель? — спрашивала она, и ее хорошенькие бровки так мило поднимались, что если бы их увидел сам покойный Донелли, ему едва ли удалось бы спасти своего Бэкона<sup>1</sup>.

Айлин была также того мнения, что Бостон — более культурный город, чем Чикаго; что Роза Бонер была одной из величайших художниц в мире; что на Западе люди отличаются большей откровенностью и сердечностью, чем на Востоке; что в Лондоне, по-видимому, часто бывают туманы и что в Калифорнии, должно быть, очень хорошо весной. У нее было и еще множество взглядов, доказывавших, что она следит за всеми выдающимися течениями современной мысли.

<sup>1</sup> Игнатий Донелли (1831–1901) — американский писатель, один из сторонников “Бэкониианской теории”, согласно которой пьесы Шекспира были написаны Фрэнсисом Бэконом.

Впрочем, все эти мнения она приобрела понаслышке и с чужих слов. Но у Айлин были и собственные теории. В особенности одну из них она постоянно нам внушала. Она ненавидела лесть. Искренность и прямота в речах и поступках, уверяла она, — вот лучшие украшения как для женщины, так и для мужчины. Если она когда-нибудь полюбит, то лишь человека, обладающего этими качествами.

— Мне ужасно надоело, — сказала она как-то вечером, когда мы, три мушкетера мескитного дерева, сидели в маленькой гостиной, — мне ужасно надоело выслушивать комплименты насчет моей наружности. Я знаю, что я вовсе не красива...

(Бэд Кэннингем, мне впоследствии говорил, что он едва удержался, чтобы не крикнуть ей: “Врете!”)

— Я просто обыкновенная девушка со Среднего Запада, — продолжала Айлин, — мне хочется одного: всегда быть просто, но аккуратно одетой и помогать отцу зарабатывать себе на хлеб.

(Старик Хинкл каждый месяц откладывал в банк в Сан-Антонио по тысяче долларов чистого барыша.)

Бэд заерзал на своем стуле и пригнул поля своей шляпы, с которой его никак нельзя было уговорить расстаться. Он не знал, чего она хочет: того, что говорит, будто хочет, или же того, что, как ей было отлично известно, она заслуживает. Немало умных людей становилось в тупик перед таким вопросом. Бэд, наконец, решил:

— Видите ли, мисс Айлин, э-э... красота, можно сказать, еще не все. Я не хочу этим сказать, что у вас ее нет, но меня лично всегда особенно восхищало в вас ваше отношение к папаше и мамаше. А когда девушка так внимательна к своим родителям и любит семейную жизнь, то она и не нуждается в какой-нибудь особенной красоте.

Айлин подарила ему одну из своих нежнейших улыбок.

— Благодарю вас, мистер Кэннингем, — сказала она. — Давно уж я не слышала лучшего комплимента. Это мне куда приятнее, чем выслушивать, как восхищаются моими глаза

ми или волосами. Я рада, что вы мне верите, когда я говорю, что не люблю лесты.

Теперь мы поняли, как надо было действовать. Бэд ловко угадал. Джекс вступил следующим.

— Это что и говорить, мисс Айлин, — сказал он. — Не всегда побеждают красавицы. Вот вы — разумеется, вас никто не назовет некрасивой, но это не существенно. А я знал в Дюбюке одну девушку: лицо у нее было, что твой кокосовый орех, но она умела два раза подряд сделать на турнике “солнце”, не, перехватывая рук. А другая, глядишь, ни за что этого не сделает, хотя бы у нее на цвет лица пошел весь урожай персиков в Калифорнии. Я видел девушек, которые... э-э... хуже выглядели, чем вы, мисс Айлин, но что мне нравится в вас, так это ваша деловитость. Вы всегда поступаете умно, никогда не теряетесь — далеко пойдете. Мистер Хинкл на днях говорил мне, что вы ни разу не приняли фальшивого доллара, с тех пор как сидите в кассе. По-моему, вот такой и следует быть девушке, вот что мне по вкусу.

Джекс тоже получил улыбку.

— Благодарю, вас, мистер Джекс, — сказала Айлин. — Если бы вы только знали, как я ценю, когда со мной искренни и когда мне не льстят. Мне так надоело, что меня называют хорошенькой. Так приятно, по-моему, иметь друзей, которые говорят тебе правду.

Тут Айлин посмотрела на меня, и мне показалось по ее взгляду, что она и от меня чего-то ждет. Мною овладело страстное желание бросить вызов судьбе и сказать ей, что из всех прекрасных творений великого мастера самое прекрасное — она; что она — бесценная жемчужина, сверкающая в оправе из черной грязи и изумрудных прерий; что... что она девушка первый сорт. Мне захотелось уверить ее, что мне все равно, будь она безжалостна к своим родителям, как жало змеи, или не умеет она отличить фальшивого доллара от седельной пряжки; что мне хочется лишь одного: петь, воспевать, восхвалять, прославлять и обожать ее — за ее несравненную, необычайную красоту.

Но я воздержался. Я убоился той участи, что грозила льстецам. Ведь я видел, как ее обрадовали хитрые и ловкие речи Бэда и Джекса. Нет. Мисс Хинкл не из тех, кого могут покорить медовые речи льстеца. И потому я решил примкнуть к прямым и откровенным. Я сразу впал в лживый дидактический тон.

— Во все века, мисс Хинкл, — сказал я, — несмотря на то, что у каждого из них была своя поэзия, своя романтика, люди всегда преклонялись перед умом женщины больше, чем перед ее красотой. Даже если взять Клеопатру, то мы увидим, что мужчины находили больше очарования в ее государственном уме, чем в ее наружности.

— Еще бы, — сказала Айлин. — Я видела ее изображение — ну и ничего особенного, у нее был ужасно длинный нос.

— Разрешите мне сказать вам, мисс Айлин, — продолжал я, — что вы напоминаете мне Клеопатру.

— Ну, что вы, у меня нос вовсе не такой длинный, — сказала она, широко раскрыв глаза, и изящно коснулась своего точеного носика пухленьким пальчиком.

— То есть, я... я имел в виду, — сказал я, — ее умственное превосходство.

— Ах, вот что! — сказала она, и затем я тоже получил свою улыбку, как Бэд и Джекс.

— Благодарю вас всех, — сказала она очень, очень нежным тоном, — благодарю вас за то, что вы со мной говорите так искренно и честно. И пусть так будет всегда. Говорите мне просто и откровенно, что вы думаете, и мы все будем наилучшими друзьями. А теперь, за то, что вы так хорошо со мной поступаете, за то, что вы поняли, как я ненавижу людей, от которых слышу одни комплименты, — за все это я вам спою и поиграю.

Разумеется, мы выразили ей нашу радость и признательность; но все же мы предпочли бы, чтобы Айлин осталась сидеть в своей низкой качалке и позволила нам любоваться собой. Ибо она далеко не была Аделиной Патти, даже во время самого прощального из прощальных турне этой прославленной певицы. У Айлин был маленький воркующий

голосок вроде голубинового; он почти заполнял гостиную, когда окна и двери были закрыты и Бетти не очень сильно гремела конфорками на кухне. Диапазон ее равнялся, по моему подсчету, дюймам восьми клавиатуры; а когда вы слушали ее рулады и трели, вам казалось, что это булькает белье, которое кипятится в чутунном котле у вашей бабушки. Подумайте, как красива она была, если эти звуки казались нам музыкой!

Музыкальные вкусы Айлин отличались ортодоксальностью. Она норовила пропеть насквозь всю кипу нот лежавшую на левом углу пианино: зарезав какой-нибудь романс, она перекладывала его направо. На следующий день она пела справа налево. Ее любимыми композиторами были Мендельсон, а также Муди и Сэнки<sup>1</sup>. По особому желанию публики она заканчивала программу песенками “Душистые фиалки” и “Когда листья желтеют”.

Когда мы уходили от Хинклов — часов в десять вечера, — мы обыкновенно отправлялись к Джексу на маленькую, всю из дерева выстроенную станцию. Там мы усаживались на платформе и болтали ногами, а сами старались выведать друг у друга, в какую сторону больше склоняется сердце мисс Айлин. Таков уж обычай соперников: они вовсе не избегают друг друга и не обмениваются злобными взглядами — нет, они сходятся, сближаются и сговариваются; они пускают в ход дипломатическое искусство, чтобы оценить силы неприятеля.

Как-то раз в Паломе появилась темная лошадка — некий молодой адвокат; он сразу же завел себе огромную вывеску и начал чваниться. Звали его Винсент С. Вэзи. Стоило только взглянуть на него — и становилось ясно, что он недавно окончил юридический факультет где-нибудь на Юго-Востоке. Его длинный сюртук, светлые полосатые брюки, черная мягкая шляпа и узкий белый галстук кричали об этом громче всякого аттестата. Вэзи был смесью из Дэниеля Вебстера, лорда Честерфилда, Красавца Брюммеля и Джека Хор-

<sup>1</sup> Американские проповедники и сочинители популярных песен на религиозные темы.

нера — того мальчика из детской песенки, который ловко доставал лакомые кусочки. Появление его вызвало в Паломе бум. На другой день после его приезда большая площадь земли, прилегающая к городу, была обмерена и разделена на участки.

Разумеется, Вэзи нужно было, ради карьеры, сойтись с паломскими гражданами и с окрестными жителями. Ему нужно было снискать популярность не только среди зажиточных людей, но и — среди местной золотой молодежи. Благодаря этому имели честь с ним познакомиться и мы с Джексом и Бэдом.

Учение о предопределении оказалось бы совершенно дискредитированным, если бы Вэзи не встретился с Айлин Хинкл и не стал четвертым участником турнира. Он важно столовался в отеле из сосновых бревен, а не в ресторане “Париж”, но он стал угрожающе часто посещать хинклскую гостиную. Конкуренция эта вдохновила Бэда на потоки изысканной ругани, а Джекса — на жаргон самого фантастического свойства, который звучал ужаснее самых отборных проклятий Бэда и вогнал меня в мрачную, немую тоску.

Ибо Вэзи обладал красноречием. Слова били у него из уст, как нефть из фонтана. Гиперболы, комплименты, восхваления, одобрения, вкрадчивые любезности, лестные намеки, явные панегирики — всем этим так и кишели его речи. Надежды на то, чтобы Айлин устояла против его ораторского искусства и длинного сюртука, у нас было весьма немного.

Но настал день, который придал нам мужества.

Как-то раз в сумерки я сидел на маленькой террасе перед гостиной Хинклов и ждал Айлин. Вдруг я услышал голоса в комнате. Айлин вошла туда вместе с отцом, и у них начался разговор. Я уже раньше замечал, что старик Хинкл был человек неглупый и не лишенный известного философского взгляда на вещи.

— Айлин, — сказал он, — я заметил, что за последнее время тебя постоянно навещают три-четыре молодых человека. Кто из них тебе больше нравится?

— Да знаешь, папа, — ответила она, — они мне все очень нравятся. По-моему, мистер Кэннингем и мистер Джекс и мистер Гаррис очень симпатичные. Они всегда так прямо и искренно говорят со мной. Мистера Вэзи я знаю недавно, но, по-моему, он очень симпатичный, он всегда так прямо и искренно говорит со мной.

— Вот я как раз насчет этого и хочу с тобой потолковать, — сказал старик Хинкл. — Ты всегда уверяла, что тебе нравятся люди, которые говорят правду и не стараются тебя одурачить всякими комплиментами да враньем. Так вот попробуй-ка, устрой испытание — увидишь, кто из них окажется искреннее всех.

— А как это сделать, папа?

— Это я тебе сейчас объясню. Ты ведь немножко поешь — почти два года училась музыке в Логанспорте. Это не так уж много, но больше мы тогда не могли себе позволить. И притом, твоя учительница говорила, что голоса у тебя нет и что не стоит больше тратить деньги на уроки. Так вот ты и спроси каждого из твоих кавалеров, какого они мнения о твоём голосе; увидишь, что они тебе ответят. Тот, который решится сказать тебе правду в глаза, тот — я скажу — молодец, и с ним не страшно связать жизнь. Как тебе нравится моя выдумка?

— Прекрасно, папа, — сказала Айлин. — Это, по-моему, хорошая мысль, я попробую.

Айлин и мистер Хинкл ушли в другую комнату. Я ускользнул незамеченный и поспешил на станцию. Джекс сидел в телеграфной конторе и ждал, чтобы пробило восемь. В этот вечер и Бэд должен был приехать в город; когда он явился, я передал обоим слышанный мной разговор. Я честно поступил с моими соперниками, так всегда следует действовать всем истинным обожателям всех Айлин.

Всех нас одновременно посетила радостная мысль. Без сомнения, Вэзи после этой проверки должен выбыть из состязания. Мы хорошо помнили, как Айлин любит искренность и прямоту, как высоко ценит она правдивость и от-

кровенность — выше всяких пустых комплиментов и ухищрений.

Мы схватились за руки и исполняли на платформе комический танец, распевая во всю глотку: "Мельдун был умный человек".

В этот вечер оказались занятыми четыре плетеные качалки, не считая той, которой выпало счастье служить опорой для изящной фигурки мисс Хинкл. Трое из нас с затаенным трепетом ждали начала испытания. Первым на очереди оказался Бэд.

— Мистер Кэннингем, — сказала Айлин со своей ослепительной улыбкой, закончив "Когда листья желтеют", — мистер Кэннингем, скажите искренно, что вы думаете о моем голосе? Честно и откровенно, — вы ведь знаете, что я всегда этого хочу.

Бэд заерзал на стуле от радости, что может выказать всю искренность, которая, как он знал, от него требовалась.

— Правду говоря, мисс Айлин, голосу-то у вас не больше, чем у зайца, — писк один. Понятно, мы все с удовольствием слушаем вас: все-таки оно как-то приятно, и успокоительно действует, да к тому же и вид у вас, когда вы сидите за роялем, такой же приятный, как и с лица. Но насчет того, чтобы петь, — нет, это не пение...

Я внимательно смотрел на Айлин, опасаясь, не хватил ли Бэд через край; но ее довольная улыбка и мило высказанная благодарность убедили меня, что мы на верном пути.

— А вы что думаете, мистер Джекс? — спросила она затем.

— Мое мнение, — сказал Джекс, — что вы — не первоклассная примадонна. Я слушал их во всех городах Соединенных Штатов и знаю, как они щебечут; и я вам скажу, что голос у вас не того. В остальном вы можете сто очков вперед дать всем певицам столичной оперы вместе взятым — в смысле наружности, конечно. Эти колоратурные пискуньи обыкновенно похожи на расфранченных кухарок. Но в рассужде-

нии того, чтобы полоскать горло фиоритурами, — это у вас не выходит. Голос-то у вас прихрамывает.

Выслушав критику Джекса, Айлин весело рассмеялась и перевела взгляд на меня.

Признаюсь, я слегка струхнул. Ведь искренность тоже хороша до известного предела. Быть может, я даже немного слукавил, произнося свой приговор; но все-таки я остался в лагере критиков.

— Я не большой знаток научной музыки, — сказал я, — но, откровенно говоря, не могу особенно похвалить голос, который вам дала природа. Про хорошую певицу обыкновенно говорят, что она поет, как птица. Но птицы бывают разные. Я сказал бы, что ваш голос напоминает мне голос дрозда: он горловой и не сильный, не отличается ни разнообразием, ни большим диапазоном; но все-таки он у вас... э-э... в своем роде очень... э-э... приятный и...

— Благодарю вас, мистер Гаррис, — перебила меня мисс Хинкл, — я знала, что могу положиться на вашу искренность и прямоту.

И тут Винсент С. Вэзи поправил одну из своих белоснежных манжет и разразился не потоком, а целым водопадом красноречия.

Память изменяет мне, поэтому я не могу подробно воспроизвести мастерской панегирик, который он посвятил этому бесценному сокровищу, дарованному небесами, — голосу мисс Хинкл. Вэзи восхвалял его в таких выражениях, что, будь они обращены к утренним звездам, когда те вместе затягивают свою песнь, этот звездный хор, восплавав от гордости, разразился бы дождем метеоров.

Вэзи сосчитал по своим белым пальцам всех выдающихся оперных певиц обоих континентов, начиная с Дженни Линд и кончая Эммой Эббот, и доказал как дважды два, что все они бездарны. Он говорил о голосовых связках, о грудном звуке, о фразировке, арпеджио и прочих необычайных принадлежностях вокального искусства. Он согласился, точно нехотя, что у Дженни Линд есть нотки две-три в ее верхнем регистре, которых еще не успела приобре-

сти мисс Хинкл, но... ведь это достигается учением и практикой!

А в заключение он торжественно предсказал блестящую артистическую карьеру для "будущей звезды Юго-Запада, звезды, которой еще будет гордиться наш родной Техас", ибо ей не найти равной во всех анналах истории музыки.

Когда мы в десять часов стали прощаться, Айлин, как обычно, тепло и сердечно пожала всем нам руку, обольстительно улыбнулась и пригласила заходить. Незаметно было, чтобы она отдавала кому-нибудь предпочтение, но трое из нас знали кое-что, знали и помалкивали.

Мы знали, что искренность и прямота одержали верх и что соперников уже не четверо, а трое.

Когда мы добрались до станции, Джекс вытащил бутылку живительной влаги, и мы отпраздновали падение наглого пришельца.

Прошло четыре дня, за которые не случилось ничего, о чем стоило бы упомянуть.

На пятый день мы с Джексом вошли под навес, собираясь поужинать. Вместо божества в белоснежной блузке и синей юбке за колючей проволокой сидел, принимая доллары, молодой мексиканец.

Мы ринулись в кухню и чуть не сбили с ног папашу Хинкла, выходявшего оттуда с двумя чашками горячего кофе.

— Где Айлин? — спросили мы речитативом.

Папаша Хинкл был человеком добрым.

— Видите ли, джентльмены, — сказал он, — эта фантазия пришла ей в голову неожиданно, но деньги у меня есть — и я отпустил ее. Она уехала в Бостон, в коре... в консерваторию, на четыре года, учиться пению. А теперь разрешите мне пройти — кофе-то горячий, а пальцы у меня нежные.

В этот вечер мы уже не втроем, а четвером сидели на платформе, болтая ногами. Одним из четырех был Винсент С. Вэзи. Мы беседовали, а собаки лаяли на луну, которая всходила над чапаралем, напоминая размерами не то пятицентовую монету, не то бочонок с мукой.

А беседовали мы о том, что лучше — говорить женщине правду или лгать ей?

Но мы все тогда были еще молоды, и потому не пришли ни к какому заключению.

## КЛАД

Дураки бывают разные. Нет, попрошу не вставать с места, пока вас не вызвали.

Я бывал дураком всех разновидностей, кроме одной. Я расстроил свои дела патримониальные, подстроил матримониальные, играл в покер, в теннис и на скачках — избавлялся от денег всеми известными способами. Но одну из ролей, для которых требуется колпак с бубенчиками, я не играл никогда: я никогда не был Искателем Клада. Мало кого охватывает это сладостное безумие. А между тем из всех, кто идет по следам копыт царя Мидаса, именно кладоискателям выпадает на долю больше всего приятных надежд.

Должен признаться — я отклоняюсь от темы, как всегда бывает с горе-писателями, — что я был дураком сентиментального оттенка. Я увидел Мэй Марту Мангэм — и пал к ее ногам. Ей было восемнадцать лет; кожа у нее была цвета белых клавиш у новенького рояля; она была прекрасна и обладала чарующей серьезностью и трогательным обаянием ангела, обреченного прожить свою жизнь в скучном городишке в сердце техасских прерий. В ней был огонь, в ней была прелесть — она смело могла бы срывать, точно малину, бесценные рубины с короны короля бельгийского или другого столь же легкомысленного венценосца; но она этого не знала, а я предпочитал не рисовать ей подобных картин.

Дело в том, что я хотел получить Мэй Марту Мангэм в полную собственность. Я хотел, чтобы она жила под моим кровом и прятала каждый день мою трубку и туфли в такие места, где их вечером никак не найдешь.

Отец Мэй Марты Мангэм скрывал свое лицо под густой бородой и очками. Этот человек жил исключительно ради жуков, бабочек и всяких насекомых — летающих, ползающих, жужжащих или забирающихся вам за шиворот и в масленку. Он был этимолог или что-то в этом роде. Все время он проводил в том, что ловил летучих рыбок из семейства июньских жуков, а затем втыкал в них булавки и называл их по-всякому.

Он и Мэй Марта составляли всю семью. Он высоко ценил ее как отличный экземпляр *homo sapiens*; она заботилась о том, чтобы он хоть изредка ел, и не надевал жилета задом наперед, и чтобы в его склянках всегда был спирт. Люди науки, говорят, отличаются рассеянностью.

Был еще один человек, кроме меня, который считал Мэй Марту привлекательным существом. Это был некий Гудло Банкс — юноша, только что окончивший колледж. Он знал все, что есть в книгах: латынь, греческий, философию и в особенности высшую математику и самую высшую логику.

Если бы не его привычка засыпать своими познаниями и ученостью любого собеседника, он бы мне очень нравился. Но даже и так вы решили бы, что мы с ним друзья.

Мы бывали вместе, когда только могли: каждому из нас хотелось выведать у другого, что, по его наблюдениям, показывает флюгер относительно того, в какую сторону дует ветер от сердца Мэй Марты... метафора довольно тяжело-весная. Гудло Банкс ничем не написал бы такой штуки. На то он и был моим соперником.

Гудло отличался по части книг, манер, культуры, гребли, интеллекта и костюмов. Мои же духовные запросы ограничивались бейсболом и диспутами в местном клубе, впрочем, я еще хорошо ездил верхом.

Но ни во время наших бесед вдвоем, ни во время наших посещений Мэй Марты или разговоров с ней мы не могли догадаться, кого же из нас она предпочитает. Видно, у Мэй Марты было природное, с колыбели, умение не выдавать себя.

Как я уже говорил, старик Мангэм отличался рассеянностью. Лишь через долгое время он открыл — верно, какая-нибудь бабочка ему насплетничала, — что двое молодых людей пытаются накрыть сеткой молодую особу, кажется, его дочь, в общем-то техническое усовершенствование, которое заботится о его удобствах.

Я никогда не воображал, что человек науки может оказаться при подобных обстоятельствах на высоте. Старик Мангэм без труда устно определил нас с Гудло и наклеил на нас этикетку, из которой явствовало, что мы принадлежим к самому низшему отряду позвоночных; и притом еще он проделал это по-английски, не прибегая к более сложной латыни, чем *Orgetorig, Rex Helvetii*<sup>1</sup>, дальше этого я и сам не дошел в школе. Он еще добавил, что если когда-нибудь поймает нас вблизи своего дома, то присоединит нас к своей коллекции.

Мы с Гудло Банксом не показывались пять дней, в ожидании, что буря к тому времени утихнет. Когда же мы, наконец, решились зайти, то оказалось, что Мэй Марта и отец ее уехали. Уехали! Дом, который они снимали, был заперт. Вся их несложная обстановка, все вещи их также исчезли.

И ни словечка на прощание от Мэй Марты! На ветвях боярышника не виднелось белой записочки; на столбе калитки ничего не было начертано мелом, на почте не оказалось открытки — ничего, что могло бы дать ключ к разгадке.

Два месяца Гудло Банкс и я — порознь — всячески пробовали найти беглецов. Мы использовали нашу дружбу с касиром на станции, со всеми, кто отпускал напрокат лошадей и экипажи, с кондукторами на железной дороге, с нашим единственным полицейским, мы пустили в ход все наше влияние на них — и все напрасно.

После этого мы стали еще более близкими друзьями и заклятыми врагами, чем раньше. Каждый вечер, окончив работу, мы сходились в задней комнате в трактире у Снайдера,

<sup>1</sup> Буквально: Оргеторикс, царь гельветов.

играли в домино и подстраивали один другому ловушки, чтобы выведать, не узнал ли чего-нибудь кто-либо из нас. На то мы и были соперниками.

У Гудло Банкса была какая-то ироническая манера выставлять напоказ свою ученость, а меня засаживать в класс, где учат “Дженни плачет, бедняжка, умерла ее пташка”. Ну, Гудло мне скорее нравился, а его высшее образование я ни во что не ставил; вдобавок я всегда считался человеком добродушным, и потому я сдерживался. Кроме того, я ведь хотел выведать, не известно ли ему что-нибудь про Мэй Марту, и ради этого терпел его общество.

Как-то раз, когда мы с ним обсуждали положение, он мне говорит:

— Даже если бы вы и нашли ее, Джим, какая вам от этого польза? Мисс Мангэм умная девушка. Быть может, ум ее не получил еще надлежащего развития, но ей предназначен более высокий удел, чем та жизнь, которую вы можете дать ей. Никогда еще мне не случалось беседовать ни с кем, кто лучше ее умел бы оценить прелесть древних поэтов и писателей и современных литературных течений, которые впитали их жизненную философию и распространили ее. Не кажется ли вам, что вы только теряете время, стараясь отыскать ее?

— А я представляю себе домашний очаг, — сказал я, — в виде дома в восемь комнат, в дубовой роще, у пруда, среди те-хасских прерий. В гостиной, — продолжал я, — будет рояль с пианолой, в загородке — для начала — три тысячи голов скота, запряженный тарантас всегда наготове для “хозяйки”. А Мэй Марта тратит по своему усмотрению весь доход с ранчо и каждый день убирает мою трубку и туфли в такие места, где мне их никак нельзя будет найти вечером. Вот как оно будет. А на все ваши познания, течения и философию мне очень даже наплевать.

— Ей предназначен более высокий удел, — повторил Гудло Банкс.

— Что бы ей там ни было предназначено, — ответил я, — дело сейчас в том, что она была, да вся вышла. Но я собира-

юсь вскорости отыскать ее, и притом без помощи греческих философов и американских университетов.

— Игра закрыта, — сказал Гудло, выкладывая на стол костяшку домино. И мы стали пить пиво.

Вскоре после этого в город приехал один мой знакомый, молодой фермер, и принес мне сложенный вчетверо лист синей бумаги. Он рассказал мне, что только что умер его дед. Я проглотил слезы, и он продолжал. Оказывается, старик ревниво берег эту бумажку в течение двадцати лет. Он завещал ее своим родным в числе прочего своего имущества, состоявшего из двух мулов и гипотенузы не пригодной для обработки земли.

Бумага была старая, синяя, такую употребляли во время восстания аболиционистов против сепаратистов. На ней стояло число — 14 июня 1863 года, и в ней описывалось место, где был спрятан клад: десять выюков золотых и серебряных монет ценностью в триста тысяч долларов. Старик Рэндлу — деду своего внука Сэма — эти сведения сообщил некий священник-испанец, который присутствовал при сокрытии клада и который умер за много лет... то есть, конечно, спустя много лет, в доме у старика Рэнди. Старик все записал под его диктовку.

— Отчего же ваш отец не занялся этим кладом? — спросил я молодого Рэнди.

— Он не успел и ослеп, — ответил тот.

— А почему вы сами до сих пор не отправились его искать?

— Да видите ли, я про эту бумажку всего десять лет, как узнал. А мне нужно было то пахать, то лес рубить, то корм скотине запасать, а потом, глядишь, и зима наступила. И так из года в год.

Все это показалось мне правдоподобным, и потому я сразу же вошел с Рэндлом в соглашение.

Инструкции в записке не отличались сложностью. Караван, нагруженный сокровищами, вышел в путь из старинного испанского миссионерского поселка в округе Долорес. Он направился по компасу прямо на юг и продвигался впе-

ред, пока не дошел до реки Аламито. Перейдя ее вброд, владельцы сокровищ зарыли их на вершине небольшой горы, формой напоминавшей выючное седло и расположенной между двумя другими, более высокими вершинами. Место, где был зарыт клад, отметили кучей камней. Все присутствовавшие при этом деле, за исключением священника, были убиты индейцами несколько дней спустя. Тайна являлась монополией. Это мне понравилось.

Рэндл выразил мнение, что нам нужно приобрести все принадлежности для жизни на открытом воздухе, нанять землемера, который прочертит бы нам правильную линию от бывшей испанской миссии, а затем прокутить все триста тысяч долларов в Форт-Уэрте. Но я, хотя и не был уж так образован, однако знал способ, как сократить и время и расходы.

Мы отправились в Земельное управление штата и заказали так называемый рабочий план со съемками всех участков от старой миссии до реки Аламито. На этом плане я провел линию прямо на юг, до реки. Длина границ каждого участка была точно указана. Это помогло нам найти нужную точку на реке, и нам ее «связали» с четко обозначенным углом большого уголья Лос-Анимос — дарованного еще королем Филиппом Испанским — на пятимильной карте.

Таким образом, нам не пришлось обращаться к услугам землемера, что сберегло нам много времени и денег.

И вот мы с Рэндлом достали фургон и пару лошадей, погрузили в него все необходимое и, проехав сто сорок девять миль, остановились в Чико, ближайшем городе от того места, куда мы направлялись. Там мы захватили с собой помощника местного землемера. Он отыскал нам угол уголья Лос-Анимос, отмерил пять тысяч семьсот двадцать варас на запад, согласно нашему плану, положил на этом месте камень, закурил с нами кофе и копченой грудинкой и сел на обратный дилижанс в Чико.

Я был почти уверен, что мы найдем эти триста тысяч долларов. Рэндл должен был получить только третью часть, так как все расходы взял на себя я. А я знал, что с этими-то дву-



мястами тысяч долларов я сумею хоть из-под земли вырыть Мэй Марту Мангэм. Да, с такими деньгами у меня запорхают все бабочки на голубятне у старика Мангэма. Только бы мне найти этот клад!

Мы с Рэндлом расположились лагерем у реки. По ту сторону ее виднелся десяток невысоких гор, густо заросших кедровником, но ни одна из них не имела формы выючного седла. Это нас не смутило. Внешность часто бывает обманчива. Может быть, седло, как и красота, существует лишь в воображении того, кто на него смотрит.

Мы с внуком клада осмотрели эти покрытые кедровником холмы с такой тщательностью, с какой дама ищет у себя блоху. Мы обследовали каждый склон, каждую вершину, окружность, впадину, всякий пригорок, угол, уступ на каждом из них на протяжении двух миль вверх и вниз по реке. На это у нас ушло четыре дня. После этого мы запрягли гнедого и саврасого и повезли остатки кофе и копченой грудинки обратно за сто сорок девять миль — домой, в Кончосити.

На обратном пути Рэндл, не переставая, жевал табак. Я же все время погонял лошадей: я очень спешил.

В один из ближайших дней после нашего возвращения из безрезультатной поездки мы с Гудло опять сошлись в задней комнате у Снайдера, засели за домино и начали выуживать друг у друга новости. Я рассказал Гудло про свою экспедицию за кладом.

— Если бы мне только удалось найти эти триста тысяч долларов, — сказал я ему, — я уж обыскал бы весь свет и открыл бы, где находится Мэй Марта Мангэм.

— Ей предназначен более высокий удел, — сказал Гудло. — Я сам отыщу ее. Но расскажите, как это вы искали место, где кто-то так неосторожно закопал столько доходов.

Я рассказал ему все до мельчайших подробностей. Я показал ему план, на котором ясно были отмечены расстояния.

Он всмотрелся в него взглядом знатока и вдруг откинулся на спинку стула и разразился по моему адресу иро-

ническим, покровительственным, высокообразованным хохотом.

— Ну, и дурак же вы, Джим, — сказал он, наконец, когда к нему вернулся дар речи.

— Ваш ход, — терпеливо сказал я, сжимая в руке двойную шестерку.

— Двадцать, — сказал Гудло и начертил мелом два крестика на столе.

— Почему же я дурак? — спросил я. — Мало ли где находили зарытые клады.

— Потому что, — сказал он, — когда вы вычисляли точку, где ваша линия должна пересечь реку, вы не приняли в расчет отклонения стрелки. А это отклонение должно равняться приблизительно девяти градусам к западу. Дайте-ка мне карандаш.

Гудло Банкс быстро подсчитал что-то на старом конверте.

— Расстояние с севера на юг, от испанской миссии до реки Аламито, двадцать две мили. По вашим словам, эта линия была проведена с помощью карманного компаса. Если принять во внимание отклонение, то окажется, что пункт на реке Аламито, откуда вам следовало начать поиски, находится ровно на шесть миль и девятьсот сорок пять вараск к западу от того места, где вы остановились. Ох и дурак же вы, Джим!

— Про какое это отклонение вы говорите? — сказал я. — Я думал, что числа никогда не врут.

— Отклонение магнитной стрелки, — сказал Гудло, — от истинного меридиана.

Он улыбнулся с выражением превосходства, которое так меня бесило, а затем я вдруг увидел у него на лице ту странную, горячую, всепоглощающую жадность, что охватывает искателей кладов.

— Иногда, — проговорил он тоном оракула, — эти старинные легенды о зарытых сокровищах не лишены основания. Не дадите ли вы мне просмотреть эту бумажку, в которой описано местонахождение вашего клада. Может быть, мы вместе...

В результате мы с Гудлю Банксом, оставаясь соперниками в любви, стали товарищами по этому предприятию. Мы отправились в Чико на дилижансе из Хантерсберга, ближайшей к нему железнодорожной станции. В Чико мы наняли пару лошадей и крытый фургон на рессорах, достали и все принадлежности для лагерной жизни. Тот же самый землемер отмерил нам нужное расстояние, но уже с поправкой на Гудлю и его отклонение.

После этого мы распростились с землемером и отправили его домой.

Когда мы приехали, была уже ночь. Я накормил лошадей, разложил костер на берегу реки и сварил ужин. Гудлю готов был мне помочь, да его воспитание не подготовило его к таким чисто практическим занятиям.

Впрочем, пока я работал, он развлекал меня изложением великих мыслей, завещанных нам древними мудрецами. Он приводил длиннейшие цитаты из греческих писателей.

— Анакреон, — объяснил он. — Это было одно из любимых мест мисс Мангэм, когда я декламировал его.

— Ей предназначен более высокий удел, — сказал я, повторяя его фразу.

— Что может быть выше, — сказал Гудлю, — чем жизнь в обществе классиков, в атмосфере учености и культуры? Вы часто издевались над образованностью. А сколько усилий пропало у вас даром из-за незнания элементарной математики! Когда бы вы еще нашли свой клад, если бы мои знания не осветили вам вашей ошибки?

— Сначала посмотрим, что нам скажут горки на том берегу, — отвечал я. — Я все-таки еще не вполне уверовал в ваши отклонения. Меня с детства приучили к мысли, что стрелка смотрит прямо на полюс.

Июньское утро выдалось ясное. Мы встали рано и позавтракали. Гудлю был в восторге. Пока я поджаривал грудинку, он декламировал что-то из Китса и Келли, кажется, или Шелли. Мы собирались переправиться через реку, которая

здесь была лишь мелким ручейком, чтобы осмотреть многочисленные заросшие кедром холмы с острыми вершинами на противоположном берегу.

— Любезный мой Улисс, — сказал Гудлю, подходя ко мне, пока я мыл оловянные тарелки, и хлопая меня по плечу, — дайте-ка мне еще раз взглянуть на волшебный свиток. Если я не ошибаюсь, там есть указания, как добраться до вершины того холма, который напоминает формой выючное седло. На что оно похоже, Джим? Я никогда не видал выючного седла.

— Вот вам и ваше образование, — сказал я. — Я-то узнаю его, когда увижу.

Гудлю стал рассматривать документ, оставленный стариком Рэндлом, и вдруг у него вырвалось отнюдь не университетское ругательное словцо.

— Подойдите сюда, — сказал он, держа бумагу на свет. — Смотрите, — добавил он, ткнув в нее пальцем.

На синей бумаге — до тех пор я этого не замечал — выступили белые буквы и цифры: “Молверн, 1898”.

— Ну, так что же? — спросил я.

— Это водяной знак, — сказал Гудлю. — Бумага эта была сделана в 1898 году. На документе же стоит 1863 год. Это несомненная подделка.

— Ну не думаю, — сказал я. — Рэндлы люди простые, необразованные, деревенские, на них можно положиться. Может быть, это бумажный фабрикант подстроил какое-нибудь жульничество.

Тут Гудлю Банкс вышел из себя, насколько, разумеется, ему позволяла его образованность. Пенсне его слетело с носа, и он яростно воззрился на меня.

— Я вам часто говорил, что вы дурак, — сказал он. — Вы дали себя обмануть какой-то грубой скотине. И меня в обман ввели.

— Каким же это образом я ввел вас в обман?

— Своим невежеством, — сказал он. — Я два раза отметил в ваших планах грубые ошибки, которых вы, несомненно,

избегли бы, поучись вы хоть в средней школе. К тому же, — продолжал он, — я понес из-за этого мошеннического предприятия расходы, которые мне не по карману. Но теперь я с ним покончил.

Я выпрямился и ткнул в него большой разливательной ложкой, только что вынутой из грязной воды.

— Гудло Банкс, — сказал я, — мне на ваше образование в высокой степени наплевать. Я и в других-то его еле выношу, а вашу ученость прямо презираю. Что она вам дала? Для вас это — проклятие, а на всех ваших знакомых она только тоску нагоняет. Прочь, — сказал я, — убирайтесь вы вон со всеми вашими водяными знаками да отклонениями. Мне от них ни холодно, ни жарко. Я от своего намерения все равно не отступлюсь.

Я указал ложкой за реку, на холм, имевший форму выючного седла.

— Я осмотрю эту горку, — продолжал я, — поищу, нет ли там клада. Решайте сейчас, пойдете вы со мной или нет. Если вас может обескуражить какое-то отклонение или водяной знак, вы не настоящий искатель приключений. Решайте.

Вдали, на дороге, тянувшейся по берегу реки, показалось белое облако пыли. Это шел почтовый фургон из Гесперуса в Чико. Гудло замахал платком.

— Я бросаю это мошенническое дело, — кислым тоном сказал он. — Теперь только дурак может обращать внимание на эту бумажку. Впрочем, вы, Джим, всегда и были дураком. Предоставляю вас вашей судьбе.

Он собрал свои пожитки, влез в фургон, нервным жестом поправил пенсне и исчез в облаке пыли.

Вымыв посуду и привязав лошадей на новом месте, я переправился через обмелевшую реку и начал медленно пробираться сквозь кедровые заросли на вершину горы, имевшей форму выючного седла.

Стоял роскошный июньский день. Никогда еще я не видал такого количества птиц, такого множества бабо-

чек, стрекоз, кузнечиков и всяких крылатых и жалящих тварей.

Я обследовал гору, имевшую форму выючного седла, от вершины до подошвы. На ней оказалось полное отсутствие каких-либо признаков клада. Не было ни кучи камней, ни давнишней зарубки на дереве — ничего, что указывало бы на местонахождение трехсот тысяч долларов, о которых упоминалось в документе старика Рэндла.

Под вечер, когда спала жара, я спустился с холма. И вдруг, выйдя из кедровой рощи, я очутился в прелестной зеленой долине, по которой струилась небольшая речка, приток Аламито.

С глубоким изумлением я увидел здесь человека. Я его сначала принял за какого-то дикаря. У него была всклокоченная борода и лохматые волосы, и он гнался за гигантской бабочкой с блестящими крыльями.

“Может быть, это сумасшедший, сбежавший из желтого дома”, — подумал я. Меня только удивляло, что он забрел сюда, так далеко от всяких центров науки и цивилизации.

Потом я сделал еще несколько шагов и увидел на берегу речки весь заросший виноградом домик. А на полянке с зеленой травой я увидел Мэй Марту Мангэм, она рвала полевые цветы.

Она выпрямилась и взглянула на меня. В первый раз, с тех пор как я познакомился с ней, я увидел, как порозовело ее лицо цвета белых клавиш у новенького рояля. Я молча направился к ней. Собранные ею цветы тихо посыпались у нее из рук на траву.

— Я знала, что вы придете, Джим, — звонким голосом проговорила она. — Отец не позволял мне писать, но я знала, что вы придете.

Что произошло потом — это я предоставляю вам угадать, ведь там, на другом берегу реки, стоял мой фургон с парой лошадей.

Я часто задумывался над тем, какая польза человеку от чрезмерной образованности, если он не может употребить

О. ГЕНРИ

ее для собственной пользы. Если от нее выигрывают только другие, то какой же в ней смысл?

Ибо Мэй Марта Мангэм живет под моим кровом. Посреди дубовой рощи стоит дом из восьми комнат, есть и рояль с пианолой, а в загородке имеется некоторое количество телок, которое со временем вырастет в стадо из трех тысяч голов.

А когда я вечером приезжаю домой, то оказывается, что моя трубка и туфли так засунуты куда-то, что нет никакой возможности их отыскать. Но разве это так уж важно?

Из сборника  
“КОЛОВРАЩЕНИЕ”  
1910

## ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколлом на Юге, в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, “нашло временное помрачение ума”, — только мы-то об этом догадались много позже.

Есть там один городишко, плоский, как блин, и, конечно, называется “Вершины”. Живет в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина, какой в пору только плясать вокруг майского шеста.

У нас с Биллом было в то время долларов шестьсот объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно две тысячи на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. Чадолубие, говорили мы, сильно развито в полудеревенских общинах; а поэтому, а также и по другим причинам план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов. Мы знали, “что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, да каких-нибудь сентиментальных ищеек, да двух-трех обличительных заметок в “Еженедельном бюджете фермера”. Как будто получалось недурно.

Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан, по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет десяти, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка две тысячи долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу.

Милях в двух от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию.

Однажды вечером, после захода солнца, мы проехали в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе.

— Эй, мальчик! — говорил Билл. — Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?

Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича.

— Это обойдется старику в лишних пятьсот долларов, — сказал Билл, перелезая через колесо.

Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса, но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в трех от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл клеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с двумя ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит:

— А, проклятый бледнолицый, как ты смеешь являться в лагерь Вождя Краснокожих, грозы равнин?

— Сейчас он еще ничего, — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голених. — Мы играем в индейцев. Цирк по сравнению с нами — просто виды Палестины в волшебном фонаре. Я старый охотник Хенк, пленник Вождя Краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же лягаться этот мальчишка!

Да, сэр, мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось, он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил Змеиным Глазом и Соглядатаем и объявил, что, когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце.

Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде:

— Мне тут здорово нравится. Я никогда еще не жил в лесу; зато у меня был один раз ручной опоссум, а в прошлый день рождения мне исполнилось девять лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали шестнадцать штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер отчего дует? Оттого, что деревья качаются? У нас было пять штук щенят. Хенк, отчего у тебя нос такой красный? У моего отца денег видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я два раза отлупил Эда Уокера. Не люблю девчонок! Жабу не очень-то поймал, разве только на веревочку. Быки режут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Меррей — шестипалый. Попугай умеет говорить, а обезьяна и рыба нет. Дюжина — это сколько будет?

Каждые пять минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую он называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он выпускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хенка, Билла этот мальчишка запугал с самого начала.

— Вождь Краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?

— А ну их, чего я там не видал? — говорит он. — Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой. Змеиный Глаз?

— Пока не собираюсь, — говорю я. — Мы еще поживем тут в пещере.

— Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело.

Мы легли спать часов в одиннадцать. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла, посередине уложили Вождя Краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбегит, мы не боялись. Часа три он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье; при каждом треске сучка и шорохе листьев, его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников, и он верещал на ухо то мне, то Биллу: “Тише, приятель!” Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами.

На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или воли, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины, — нет, прямо-таки неприличный, ужасающий, унижительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит без умолку толстый, сильный, отчаянной храбрости мужчина.

Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь Краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером.

Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз

за все то время, что мальчик был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что Вождь Краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел, закурил трубку и прислонился к скале.

— Чего ты поднялся в такую рань, Сэм? — спросил меня Билл.

— Я? — говорю. — Что-то плечо ломит. Думаю, может легче станет, если посидеть немного.

— Врешь ты, — говорит Билл. — Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает. И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?

— Думаю, — говорю я. — Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с Вождем Краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку.

Я взшел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров, с косами и вилами рыскающих в поисках подлых похитителей. А вместо того я увидел мирный пейзаж, и оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки; всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами.

— Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненок из загона. Помоги, боже, волкам! — И я спустился с горы завтракать.

Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.

— Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, — объяснил Билл, — и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм?

Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение.

— Я тебе покажу! — говорит мальчишка Биллу. — Еще ни один человек не ударил Вождя Краснокожих, не заплатившись за это. Так что ты берегись!

После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.

— Что это он теперь затеял? — тревожно спрашивает Билл. — Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?

— Не бойся, — говорю я. — Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал, а может быть, еще не пронохали насчет похищения. Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем две тысячи долларов выкупа.

И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой, должно быть, испустил Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, Вождь Краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой.

Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головою в костер, прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой.

Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит:

— Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в библии?

— Ты погоди, — говорю я. — Мало-помалу придешь в чувство.

— Царь Ирод, — говорит он. — Ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного?

Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что веснушки застучали друг о друга.

— Если ты не будешь вести себя как следует, — говорю я, — я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?

— Я ведь только пошутил, — сказал он надувшись. — Я не хотел обижать старика Хенка. А он зачем меня ударил? Я буду слушаться. Змеиный Глаз, только ты не отправляй меня домой и позволь мне сегодня играть в разведчиков.

— Я этой игры не знаю, — сказал я. — Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай помирись с ним да попроси прощения за то, что ты его ушиб, а не то сейчас же отправишься домой.

Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку Поплар-Ков, в трех милях от пещеры, и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить.

— Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и воду, не моргнув глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм?

— Я вернусь к вечеру, что-нибудь около этого, — говорю я. — Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету.

Мы с Билом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо, а Вождь Краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в полторы тысячи долларов вместо двух.

— Я вовсе не пытаюсь унижить прославленную, с моральной точки зрения, родительскую любовь, но ведь мы име-



ем дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить две тысячи долларов за эту веснушчатую дикую кошку! Я согласен рискнуть: пускай будет полторы тысячи долларов. Разницу можешь отнести на мой счет.

Чтобы утешить Билла, я согласился, и мы с ним вместе состряпали такое письмо:

“Эбenezеру Дорсету, эсквайру.

Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие: мы требуем за его возвращение полторы тысячи долларов; деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ, — где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к половине девятого. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева на расстоянии ста ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля, с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив третьего дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку.

Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город.

Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына.

Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение трех часов. Эти условия окончательны, и, если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны.

*Два злодея”.*

Я надписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:

— Змеиный Глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет.

— Играй, конечно, — говорю я. — Вот мистер Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая?

— Я разведчик, — говорит Вождь Краснокожих, — и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком.

— Ну, ладно, — говорю я. — По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей.

— А что мне надо делать? — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.

— Ты будешь конь, — говорит разведчик. — Становись на четвереньки. А то как же я доскачу до заставы без коня?

— Ты уж лучше займи его, — сказал я, — пока наш план не будет приведен в действие. Порезвись немножко.

Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.

— Далеко ли до заставы, малыш? — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.

— Девяносто миль, — отвечает разведчик. — И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя. Ну, пошел!

Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.

— Ради бога, — говорит Билл, — возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп, надо бы не больше тысячи. Слушай, ты перестань меня лгать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует!

Я отправился в Поплар-Ков, заглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что у Эбenezера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер

сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и забрет городскую почту.

Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры, отважился раза два аукнуть, но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий.

Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился футах в восьми позади него.

— Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные, однако бывают случаи, когда все идет прахом — и самомнение и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.

— Что такое случилось, Билл? — спрашиваю я.

— Я проскакал все девяносто миль до заставы, ни дюйма меньше, — отвечает Билл. — Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны и отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня лягает, все ноги от колен книзу у меня в синяках, два-три укуса в руку и в большой палец мне придется прижечь. Зато он ушел, — продолжает Билл, — ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на восемь вперед. Жалко,

что выкуп мы теряем, ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.

Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство.

— Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?

— Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?

— Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной.

Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чуточку полегче.

Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной, и мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги; вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон — большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издали на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчики! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный.

Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город.

Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался

вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами, очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем:

“Двум злодеям.

Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне двести пятьдесят долларов наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой.

С совершенным почтением

*Эбенезер Дорсет.*

— Великие пираты! — говорю я! — Да ведь этакой наглости...

Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных.

— Сэм, — говорит он, — что такое двести пятьдесят долларов в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свезти в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен, он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?

— Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на нервы! Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше.

В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили-наплекли, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины и будто бы завтра мы с ним поедим охотиться на медведя.

Было ровно двенадцать часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать полторы тысячи долларов из коробки под деревом, Билл отсчитывал двести пятьдесят долларов в руку Дорсету.

Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и впелелся в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирает его от ноги, как липкий пластырь.

— Сколько времени вы сможете его держать? — спрашивает Билл.

— Силы у меня уж не те, что прежде, — говорит старик Дорсет, — но думаю, что за десять минут могу вам ручаться.

— Этого довольно, — говорит Билл. — В десять минут я пересечу центральные, южные и среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы.

Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города.

## ФОРМАЛЬНАЯ ОШИБКА

Я всегда недолюбливал вендетты. По-моему, этот продукт нашей страны переоценивают еще более чем грейпфрут, коктейль и медовый месяц. Однако, с вашего разрешения, я хотел бы рассказать об одной вендетте на индейской территории, вендетте, в которой я играл роль репортера, адъютанта и несоучастника.

Я гостил на ранчо Сэма Дорки и развлекался вовсю: падал с ненаманикюренных лошадей и грозил кулаком волкам, когда они были за две мили. Сэм, закаленный субъект лет двадцати пяти, пользовался репутацией человека, который спокойно возвращается домой в темноте, хотя нередко он продельвал это с большой неохотой.

Неподалеку, в Крик-Нейшн, проживало семейство Тэтемов. Мне сообщили, что Дорки и Тэтемы враждуют много

лет. По несколько человек с каждой стороны уже ткнулось носом в траву, и ожидалось, что число Навуходоносоров<sup>1</sup> этим не ограничится. Подростало молодое поколение, и трава росла вместе с ним. Но, насколько я понял, война велась честно и никто не залегал в кукурузном поле, целясь в скрещении подтяжек на спине врага, — отчасти, возможно, потому, что не было кукурузных полей и никто не носил более одной подтяжки; также не причинялось вреда детям и женщинам враждебного рода. В те дни, как, впрочем, и теперь, их женщинам не грозила опасность.

У Сэма Дорки была девушка (если бы я собирался продать этот рассказ в беллетристический журнал, я написал бы: «Мистер Дорки имел счастье быть помолвленным»). Ее звали Элла Бэйнс. Казалось они питали друг к другу безграничную любовь и доверие; впрочем, это впечатление производят любые помолвленные, даже такие, между которыми нет ни любви, ни доверия. Мисс Бэйнс была недурна, особенно ее красили густые каштановые волосы. Сэм представил ей меня, но это никак не отразилось на ее расположении к нему, из чего я заключил, что они поистине созданы друг для друга.

Мисс Бэйнс жила в Кингфишере, в двадцати милях от ранчо. Сэм жил в седле между Кингфишером и ранчо.

Однажды в Кингфишере появился бойкий молодой человек, невысокого роста, с правильными чертами лица и гладкой кожей. Он настойчиво наводил справки о городских делах и поименно о горожанах. Он говорил, что приехал из Маскоги, и, судя по его желтым ботинкам и вязаному галстуку, это было правдой. Я познакомился с ним, когда приехал за почтой. Он назвался Беверли Трэйверзом, что прозвучало как-то неубедительно.

На ранчо в то время была горячая пора, и Сэм не мог часто ездить в город. Мне, бесполезному гостю, ничего не смыслившему в хозяйстве, выпала обязанность снабжать ранчо

1 По библейской легенде, вавилонский царь Навуходоносор в наказание за гордость «отлучен был от людей, ел траву, как вол».

всякими мелочами, как-то: открытками, мешками муки, дрожжами, табаком и письмами от Эллы.

И вот раз, будучи послан за полугроссом пачек курительной бумаги и двумя фургонными шинами, я увидел пролетку с желтыми колесами, а в ней вышепоименованного Беверли Трэйверза, нагло катающего Эллу Бэйнс по городу со всем шиком, какой допускала черная липкая грязь на улицах. Я знал, что сообщение об этом факте не прольется целительным бальзамом в душу Сэма, и по возвращении, отчитываясь в городских новостях, воздержался от упоминания о нем. Но на следующий день на ранчо прискакал долговязый экс-ковбой по имени Симмонс, старинный приятель Сэма, владелец фуражного склада в Кингфишере. Прежде чем заговорить, он свернул и выкурил немало папирос. Когда же он, наконец, раскрыл рот, слова его были таковы:

— Имей в виду, Сэм, что в Кингфишере в последние две недели портил пейзаж один болван, обзывавший себя Выверни Трензель. Знаешь, кто он? Самый что ни на есть Бен Тэтем, сын старика Гофера Тэтема, которого твой дядя Ньют застрелил в феврале. Знаешь, что он сделал сегодня утром? Убил твоего брата Лестера — застрелил его во дворе суда.

Мне показалось, что Сэм не расслышал. Он отломил веточку с мескитового куста, задумчиво дожевывая ее и сказал:

— Да? Убил Лестера?

— Его самого, — ответил Симмонс. — И еще того больше — он убежал с твоей девушкой, этой самой, так сказать, мисс Эллой Бэйнс. Я подумал, что тебе надо бы узнать об этом, вот и приехал сообщить.

— Весьма обязан, Джим, — сказал Сэм, вынимая изо рта изжеванную веточку. — Я рад, что ты приехал. Очень рад.

— Ну, я, пожалуй, поеду. У меня на складе остался только мальчишка, а этот дуралей сено с овсом путает. Он выстрелил Лестеру в спину.

— Выстрелил в спину?

— Да, когда он привязывал лошадь.

- Весьма обязан, Джим.
- Я подумал, что ты, может быть, захочешь узнать об этом поскорее.
- Вышей кофе на дорогу, Джим?
- Да нет, пожалуй. Мне пора на склад.
- И ты говоришь...
- Да, Сэм. Все видели, как они уехали вместе, а к тележке был привязан большой узел, вроде как с одеждой. А в упряжке — пара, которую он привел из Маскоги. Их сразу не догнать.
- А по какой...
- Я как раз собирался сказать тебе. Поехали они по дороге в Гатри, а куда свернут, сам понимаешь, неизвестно.
- Ладно, Джим, весьма обязан.
- Не за что, Сэм.
- Симмонс свернул папиросу и прищипорил лошадь. Отъехав ярдов на двадцать, он задержался и крикнул:
- Тебе не нужно... содействия, так сказать?
- Спасибо, обойдусь.
- Я так и думал. Ну, будь здоров.

Сэм вытащил карманный нож с костяной ручкой, открыл его и счистил с левого сапога присохшую грязь. Я было подумал, что он собирается поклясться на лезвии в вечной мести или продекларировать "Проклятие цыганки". Те немногие вендетты, которые мне довелось видеть или о которых я читал, начинались именно так. Эта как будто велась на новый манер. В театре публика наверняка освистала бы ее и потребовала бы взамен одну из душераздирающих мелодрам Беласко.

— Интересно, — вдумчиво сказал Сэм, — остались ли на кухне холодные бобы!

Он позвал Уоша, повара-негра, и, узнав, что бобы остались, приказал разогреть их и сварить крепкого кофе. Потом мы пошли в комнату Сэма, где он спал и держал оружие, собак и седла любимых лошадей. Он вынул из книжного шкафа три или четыре кольца и начал осматривать их, рас-

сеянно насвистывая "Жалобу ковбоя". Затем он приказал оседлать и привязать у дома двух лучших лошадей ранчо.

Я замечал, что по всей нашей стране вендетты в одном отношении неуклонно подчиняются строгому этикету. В присутствии заинтересованного лица о вендетте не говорят и даже не упоминают самого слова. Это так же предсудительно, как упоминание о бородавке на носу богатой тетушки. Позднее я обнаружил, что существует еще одно неписаное правило, но, насколько я понимаю, оно принадлежит исключительно Западу.

До ужина оставалось еще два часа, однако уже через двадцать минут мы с Сэмом глубоко погрузились в разогретье бобы, горячий кофе и холодную говядину.

— Перед большим перегоном надо закусить получше, — сказал Сэм. — Ешь плотнее.

У меня возникло неожиданное подозрение.

— Почему ты велел оседлать двух лошадей? — спросил я.

— Один да один — два, — сказал Сэм. — Ты считать умеешь?

От его математических выкладок у меня по спине пробежала холодная дрожь, но они послужили мне уроком. Ему и в голову не приходило, что мне может прийти в голову бросить его одного на багряной дороге мести и правосудия. Это была высшая математика. Я был обречен и положил себе еще бобов.

Час спустя мы ровным галопом неслись на восток. Наши кентуккийские лошади недаром набирались сил на мескитной траве Запада. Лошади Бена Тэтема были, возможно, быстрее, и он намного опередил нас, но если бы он услышал ритмический стук копыт наших скакунов, рожденных в самом сердце страны вендетт, он почувствовал бы, что возмездие приближается по следам его резвых коней.

Я знал, что Бен Тэтем делает ставку на бегство и не остановится до тех пор, пока не окажется в сравнительной безопасности среди своих друзей и приверженцев. Он, без сомнения, понимал, что его враг будет следовать за ним повсюду и до конца.

Пока мы ехали, Сэм говорил о погоде, о ценах на мясо и о пианолах. Казалось, у него никогда не было ни брата, ни возлюбленной, ни врага. Есть темы, для которых не найти слов даже в самом полном словаре. Я знал требования кодекса вендетт, но, не имея опыта, несколько перегнул палку и рассказал пару забавных анекдотов. Там, где следовало, Сэм смеялся — смеялся ртом. Увидев его рот, я пожалел, что у меня не хватило такта воздержаться от этих анекдотов.

Мы догнали их в Гатри. Измученные, голодные, пропыленные насквозь, мы ввалились в маленькую гостиницу и уселись за столик. В дальнем углу комнаты сидели беглецы. Они жадно ели и по временам боязливо оглядывались.

На девушке было коричневое шелковое платье с кружевным воротничком и манжетами и с плиссированной — так, кажется, они называются — юбкой. Ее лицо наполовину закрывала густая коричневая вуаль, на голове была соломенная шляпа с широкими полями, украшенная перьями. Мужчина был одет в простой темный костюм, волосы его были коротко подстрижены. В толпе его внешность не привлекла бы внимания.

За одним столом сидели они — убийца и женщина, которую он похитил, за другим — мы: законный (согласно обычаю) мститель и сверхштатный свидетель, пишущий эти строки.

И тут в сердце сверхштатного проснулась жажда крови. На мгновение он присоединился к сражающимся — словесно.

— Чего ты ждешь, Сэм? — прошептал я. — Стреляй!

Сэм тоскливо вздохнул.

— Ты не понимаешь, — сказал он. — А он понимает. Он знает. В здешних местах, Мистер из Города, у порядочных людей есть правило: в присутствии женщины в мужчину не стреляют. Я ни разу не слышал, чтобы его нарушили. Так не делают. Его надо поймать, когда он в мужской компании или один. Вот оно как. Он это тоже знает. Мы все знаем. Так вот, значит, каков этот красавчик, мистер Бен Тэтем! Я его заарканю прежде, чем они отсюда уедут, и закрою ему счет.

После ужина парочка быстро исчезла. Хотя Сэм до рассвета бродил по лестницам, буфету и коридорам, беглецам каким-то таинственным образом удалось ускользнуть, и на следующее утро не было ни дамы под вуалью, в коричневом платье с плиссированной юбкой, ни худощавого невысокого молодого человека с коротко подстриженными волосами, ни тележки с резвыми лошадьми.

История этой погони слишком монотонна, и я буду краток. Мы нагнали их в пути. Когда мы приблизились к тележке на пятьдесят ярдов, беглецы оглянулись и даже не хлестнули лошадей. Торопиться им больше было незачем. Бен Тэтем знал. Знал, что теперь спасти его может только кодекс. Без сомнения, будь Бен один, дело быстро закончилось бы обычным путем. Но присутствие его спутницы заставляло обоих врагов удерживать пальцы на спусковых крючках. Судя по всему, Бен не был трусом.

Таким образом, как вы видите, женщина иногда мешает столкновению между мужчинами, а не вызывает его. Но не сознательно и не по доброй воле. Кодексов для нее не существует.

Через пять миль мы добрались до Чендлера, одного из грядущих городов Запада. Лошади и преследователей и преследуемых были голодны и измучены. Только одна гостиница грозила людям и манила скотину — мы все четверо встретились в столовой по зову громадного колокола, чей гудящий звон давно уже расколол небесный свод. Комната была меньше, чем в Гатри.

Когда мы принялись за яблочный пирог, — как переплетаются бурлеск и трагедия! — я заметил, что Сэм напряженно вглядывается в нашу добычу, сидящую в углу напротив. На девушке было то же коричневое платье с кружевным воротничком и манжетами; вуаль по-прежнему закрывала ее лицо. Мужчина низко склонил над тарелкой коротко остриженную голову.

Я услышал, как Сэм пробормотал не то мне, не то самому себе:

— Есть правило, что нельзя убивать мужчину в присутствии женщины. Но, черт побери, нигде не сказано, что нельзя убить женщину в присутствии мужчины!

И, прежде чем я успел понять, к чему ведет это рассуждение, он выхватил кольт и всадил все шесть пуль в коричневое платье с кружевным воротничком и манжетами и с плиссированной юбкой. Уронив на руки голову, лишенную былой красоты и гордости, за столом сидела девушка, чья жизнь теперь была навеки погублена. А сбежавшиеся люди поднимали с пола труп Бена Тэтема в женском платье, которое дало возможность Сэму формально обойти требования кодекса.

## ЖЕРТВА НЕВПОПАД

У редактора журнала “Домашний очаг” особая система отбора рукописей для печати. Свою теорию он не держит в секрете, напротив — охотно развивает ее перед вами, сидя за столом красного дерева, благосклонно улыбаясь и легонько постукивая себя по коленке очками в золотой оправе.

— Наш журнал не нуждается в штатных рецензентах, — говорит он. — Мы получаем отзывы о поступающих к нам рукописях непосредственно от наших читателей, принадлежащих к самым различным кругам.

Такова теория нашего редактора, а вот как он осуществляет ее на практике.

Получив очередную папку рукописей, он рассказывает их по карманам и за день на ходу раздает. Служащие в редакции, дворник, швейцар, лифтер, мальчишки-рассыльные, официанты в кафе, где наш редактор закусывает среди дня, продавец в киоске, где он покупает вечернюю газету, бакалейщик и хозяин молочной, кондуктор надземки, которая в 5.30 утра везет его в город, и контролер на станции Шестьдесят такой-то улицы, кухарка и горничная у него дома — вот рецензенты, на чей суд он отдает рукописи, присланные в жур-

нал. А если к тому времени, когда он возвращается в лоно семьи, карманы его не совсем опустели, остатки вручаются жене, чтобы прочла, когда малыш уснет. Через несколько дней редактор, совершая обычный свой путь, собирает рукописи и знакомится с приговором своих разномастных рецензентов.

Этот способ отбора материала оказался весьма успешным, и число подписчиков, судя по притоку объявлений, растет с неслыханной быстротой.

Издательство “Домашний очаг” выпускает также и книги, и его марка стоит на нескольких произведениях, пользующихся большим успехом, причем все они, по словам редактора, были одобрены армией добровольных рецензентов. Бывали, правда, случаи (если верить иным разговорчивым служащим), когда издательство, доверяясь мнению этих разношерстных рецензентов, упустило рукописи, а потом они выходили в других издательствах и имели шумный успех.

Так, например (уверяют сплетники), роман “Взлет и падение Сайласа Лэтама” не был одобрен лифтером; рассыльные единодушно отвергли “Хозяина”; кондуктор трамвая пренебрежительно отозвался о “Карете епископа”; “Избавление” забраковал служащий отдела подписки, в доме которого на ближайšie два месяца поселилась его теща; дворник, возвращая “Причуды королевы”, сказал: “Ну и учудил!”

И однако “Домашний очаг” остается верен своей теории и своей системе, и у него никогда не будет недостатка в добровольных рецензентах, ибо все они — от юной стенографистки в редакции до истопника в подвале (его неодобрительный отзыв лишил издательство “Домашний очаг” рукописи “Ада кромешного”), — надеются рано или поздно занять пост главного редактора.

Порядки “Домашнего очага” были хорошо известны Аллену Слейтону, когда он писал свою повесть “Любовь превыше всего”. Слейтон постоянно околачивался в редакциях всех журналов, сколько их было в Нью-Йорке, и досконально изучил их внутреннюю механику.

Он знал не только о том, что редактор “Домашнего очага” раздает рукописи на отзыв самым разным людям, он знал также, что чувствительно-романтические истории попадают в руки стенографистки мисс Пафкин. У редактора был еще один своеобразный прием: он неизменно скрывал от рецензентов имена авторов, чтобы какое-нибудь громкое имя не помешало беспристрастно оценить рукопись.

Повесть “Любовь превыше всего” была любимым детищем Слейтона. Полгода он трудился над нею, вложил в нее лучшие силы ума и сердца. Вся она от первого до последнего слова была посвящена любви — чистой, возвышенной, романтической, пылкой; поистине поэма в прозе, которая превозносила божественный дар любви (цитирую по рукописи) превыше всех земных благ и почестей и отводила ей место среди прекраснейших наград, какие могут ниспослать человеку небеса. Авторское тщеславие Слейтона не знало границ. Он готов был пожертвовать всем на свете, лишь бы прославиться на избранном поприще. Кажется, он дал бы отрубить себе правую руку или отдался бы во власть коллекционера аппендиксов, лишь бы сбылась его заветная мечта — увидеть хоть одно свое детище напечатанным на страницах “Домашнего очага”.

Слейтон закончил повесть “Любовь превыше всего” и самолично отнес ее в “Домашний очаг”. Редакция журнала помещалась в числе многих других контор и учреждений в большом доме, где высшая власть находилась в самом низу, в руках дворника.

Едва Слейтон переступил порог и направился к лифту, через вестибюль пролетела мясорубка, сбила с писателя шляпу и угодила в стеклянную дверь, так что брызнули осколки. Вслед за этим предметом кухонной утвари влетел дворник — нескладный и неприглядный увалень, встрепанный, без подтяжек, перепутанный и запыхавшийся. Далее за метательным снарядом последовала неряшливая толстуха с развевающимися волосами. Дворник поскользнулся на кафельном полу и с воплем отчаяния рухнул. Женщина на-

бросилась на него и вцепилась ему в волосы. Он истошно взвыл.

Отведя немного душу, разъяренная фурия выпрямилась и, торжествуя, точно Минерва, прошествовала куда-то в таинственные недра семейного гнездышка. Дворник, пытая от перенесенной встряски и унижения, поднялся на ноги.

— Вот вам и женатая жизнь, — с горькой усмешкой сказал он Слейтону. — А я когда-то ночей не спал, все про нее думал. Не взыщите, сэр, шляпе вашей досталось. Вы уж не рассказывайте тут никому, ладно? Неохота мне место терять.

Слейтон прошагал к лифту и поднялся в редакцию “Домашнего очага”. Он отдал рукопись редактору, и тот обещал через неделю ответить, пригодна ли “Любовь превыше всего” к печати.

Спускаясь в лифте, Слейтон составил план военных действий. То было мгновенное озарение, и он не мог не возгордиться тем, что у него родилась такая гениальная мысль. В тот же вечер он приступил к исполнению своего грандиозного плана.

Мисс Пафкин, стенографистка журнала “Домашний очаг”, жила в тех же меблированных комнатах, что и наш писатель. Это была сухопарая, замкнутая, вялая и сентиментальная стареющая дева; незадолго перед тем Слейтона с нею познакомили.

Вот в чем заключался дерзкий и самоотверженный замысел писателя: он знал, что редактор “Домашнего очага” всецело полагается на суждение мисс Пафкин о рукописях на темы чувствительно-романтические. Ее вкус в точности соответствовал вкусам великого множества самых заурядных женщин, которые жадно поглощают романы и рассказы такого сорта. Смысл и суть повести Слейтона составляла любовь с первого взгляда — упоительное, неодолимое, потрясающее чувство, которое заставляет мужчину или женщину узнать избранницу или избранника мгновенно, едва сердце отзовется сердцу.



Что, если он сам попробует внушить мисс Пафкин эту божественную истину? Уж, наверно, она, проникшись новыми для нее восхитительными ощущениями, горячо порекомендует редактору напечатать повесть “Любовь превыше всего”?

Так думал Слейтон. И в тот же вечер повел мисс Пафкин в театр. На другой вечер в полутемной гостиной меблированных комнат он пылко объяснился ей в любви. Он так и сыпал цитатами из своей повести, и под конец голова мисс Пафкин склонилась ему на плечо, у него же в голове носились видения писательских лавров.

Но Слейтон не ограничился объяснениями в любви. Это решающая минута в его жизни, сказал он себе и, как истинный спортсмен, “всем пожертвовал ради победы”. В четверг они с мисс Пафкин обвенчались.

Отважный Слейтон! Шатобриан кончил свои дни на чердаке, Байрон ухаживал за вдовой, Китс умер с голоду, Эдгар По слишком много пил, Де Квинси курил опиум, Эйд поселился в Чикаго, Джеймс гнул свою линию, Диккенс носил белые носки, а Мопассан — смирительную рубашку, Том Уотсон стал популистом, пророк Иеремия плакал, и все это ради литературы, но ты превзошел их всех: дабы пробиться на Олимп, ты взял себе жену!

В пятницу утром миссис Слейтон собралась в редакцию: ей надо возвратить рукописи, которые редактор дал ей на отзыв, сказала она, и отказаться от места стенографистки.

— Есть там... э-э... среди рассказов, которые ты возвращаешь... что-нибудь такое, что тебе особенно понравилось? — с бьющимся сердцем спросил Слейтон.

— Да, одна повесть... она мне очень по душе, — отвечала жена. — Я уже сколько лет ничего подобного не читала, это так мило и правдиво, просто сама жизнь.

Среди дня Слейтон помчался в редакцию “Домашнего очага”. Он чувствовал, что желанная награда уже у него в руках. Если его повесть напечатают в “Домашнем очаге”, на завтра его ждет слава.

У барьера в приемной его остановил рассыльный. Неудачливым авторам весьма редко доводится беседовать с самим главным редактором.

Втайне ликуя, Слейтон лелеял в душе сладостную надежду: сейчас его блестящий успех сокрушит этого мальчишку!

Он осведомился о своей повести. Рассыльный вошел в святотлище и вынес оттуда большой пухлый конверт, словно набитый тысячью чеков.

— Хозяин велел сказать, что сожалеет, а только для нашего журнала ваша рукопись неподходящая.

Слейтон был ошеломлен.

— Скажите, — заикаясь вымолвил он, — что, мисс Паф... то есть моя... мисс Пафкин... вернула сегодня повесть, которую ей давали читать?

— А как же, — отвечал всезнающий рассыльный. — Я сам слышал, старик сказал, мисс Пафкин говорит — повесть первый сорт. Называется “Богатый жених, или Торжество скромной труженицы”... Послушайте, — доверительно продолжал рассыльный, — вас звать Слейтон, верно? Похоже, я тут вам ненароком напутал. Хозяин мне давеча велел раздать рукописи, а я спутал, которые для мисс Пафкин, а которые для дворника. Но, я так думаю, это не беда.

Тут Слейтон присмотрелся и на обложке своей рукописи, под заголовком “Любовь превыше всего”, увидел нацарапанный куском угля приговор дворника: “Ври больше!”

## ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

В двадцати милях к западу от Таксона “Вечерний экспресс” остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что, не столь для него полезное.

В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбол, Акула Додсон и индеец-метис из племени криков, по прозвищу

Джон Большая Собака, влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании: "Да что вы! Быть не может!" По короткой команде Акулы Додсона, который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После этого Джон Большая Собака, забравшись на кучу угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвести паровоз на пятьдесят ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений.

Акула Додсон и Боб Тидбол не стали пропускать сквозь грохот такую бедную золотом породу, как пассажиры, а направились напрямик к богатым россыпям почтового вагона. Проводника они застали врасплох — он был в полной уверенности, что "Вечерний экспресс" не набирает ничего вреднее и опаснее чистой воды. Пока Боб Тидбол выбивал это пагубное заблуждение из его головы ручкой шестизарядного кольта, Акула Додсон, не теряя времени, закладывал динамитный патрон под сейф почтового вагона.

Сейф взорвался, дав тридцать тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там, то здесь высовывались из окон поглядеть, где это гремит гром. Старший кондуктор дернул за веревку от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Додсон и Боб Тидбол, побросав добычу в крепкий брезентовый мешок, прыгнули наземь и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу.

Машинист, угрюмо, но благоразумно повинувшись их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза, выскочил на насыпь с винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углем, сделал неверный ход, подставив себя под выстрел, и проводник прихлопнул его козырным

тузом. Рыцарь большой дороги скатился наземь с пулей между лопаток, и таким образом доля добычи каждого из его партнеров увеличилась на одну шестую.

В двух милях от водокачки машинисту было приказано остановиться. Бандиты вызывающе помахали ему на прощанье ручкой и, скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в густых зарослях, окаймлявших путь. Через пять минут, с треском проломившись сквозь кусты чапаралия, они очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дожидалась Джона Большую Собаку, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади седло и уздечку, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами, взвалив мешок на лук седла, и поскакали быстро, но озираясь по сторонам, сначала через лес, затем по дикому, пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Тидбола поскользнулась на мшистом валуне и сломала переднюю ногу. Бандиты тут же пристрелили ее и уселись держать совет. Продолав такой длинный и извилистый путь, они пока были в безопасности — время еще терпело. Много миль и часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь Акулы Додсона, волоча уздечку по земле и поводья боками, благодарно щипала траву на берегу ручья. Боб Тидбол развязал мешок и, смеясь, как ребенок, выгреб из него аккуратно заклеенные пачки новеньких кредиток и единственный мешочек с золотом.

— Послушай-ка, старый разбойник, — весело обратился он к Додсону, — а ведь ты оказался прав, дело-то выгорело. Ну и голова у тебя, прямо министр финансов. Кому угодно в Аризоне можешь дать сто очков вперед.

— Как же нам быть с лошадей, Боб? Засиживаться здесь нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню.

— Ну, твой Боливар выдержит пока что и двоих, — ответил жизнерадостный Боб. — Заберем первую же лошадь, какая нам подвернется. Черт возьми, хорош улов, а? Тут тридцать тысяч, если верить тому, что на бумажках напечатано, — по пятнадцати тысяч на брата.

— Я думал будет больше, — сказал Акула Додсон, слегка подталкивая пачки с деньгами носком сапога. И он окинул задумчивым взглядом мокрые бока своего замороженного коня.

— Старик Боливар почти выдохся, — сказал он с расстановкой. — Жалко, что твоя гнедая сломала ногу.

— Еще бы не жалко, — простодушно ответил Боб, — да ведь с этим ничего не поделаешь. Боливар у тебя двужильный — он нас довезет, куда надо, а там мы сменим лошадей. А ведь, прах побери, смешно, что ты с Востока, чужак здесь, а мы на Западе, у себя дома, и все-таки в подметки тебе не годимся. Из какого ты штата?

— Из штата Нью-Йорк, — ответил Акула Додсон, садясь на валун и пожевывая веточку. — Я родился на ферме в округе Олстер. Семнадцати лет я убежал из дому. И на Запад-то я попал случайно. Шел я по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчаса я раздумывал, как мне быть, потом повернул налево. К вечеру я нагнал циркачей-ковбоев и с ними двинулся на Запад. Я часто думаю, что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу.

— По-моему, было бы то же самое, — философски ответил Боб Тидбол. — Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.

Акула Додсон встал и прислонился к дереву.

— Очень мне жалко, что твоя гнедая сломала ногу, Боб, — повторил он с чувством.

— И мне тоже, — согласился Боб, — хорошая была лошадка. Ну, да Боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора и двигаться, Акула. Сейчас я все это уложу обратно, и в путь; рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Боб Тидбол уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревкой. Подняв глаза, он увидел дуло сорокакапятикалиберного кольта, из которого целился в него бестрепетной рукой Акула Додсон.

— Брось ты эти шуточки, — ухмыляясь, сказал Боб. — Пора двигаться.

— Сиди, как сидишь! — сказал Акула. — Ты отсюда не двинешься Боб. Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся, и двоих ему не снести.

— Мы с тобой были товарищами целых три года, Акула Додсон, — спокойно ответил Боб. — Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью. Я всегда был с тобой честен, думал, что ты человек. Слышал я о тебе кое-что неладное, будто бы ты убил двоих ни за что ни про что, да не поверил. Если ты пошутил, Акула, убери кольт и бежим скорее. А если хочешь стрелять — стреляй, черная душа, стреляй, тарантул!

Лицо Акулы Додсона выразило глубокую печаль.

— Ты не поверишь, Боб, — вздохнул он, — как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу.

И его лицо мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

В самом деле, Бобу не суждено было двинуться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхом ответили ему каменные стены ущелья. А невольный сообщник злодея — Боливар — быстро унес прочь последнего из шайки, ограбившей “Вечерний экспресс”, — коню не пришлось нести двойной груз.

Но когда Акула Додсон скакал по лесу, деревья перед ним словно застлало туманом, револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла, обивка седла была какая-то странная, и, открыв глаза, он увидел, что ноги его упираются не в стремена, а в письменный стол мореного дуба.

Так вот я и говорю, что Додсон, глава маклерской конторы “Додсон и Деккер”, Уолл-стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колеса, усыпительно жужжал электрический вентилятор.

— Кхм! Пибоди, — моргая, сказал Додсон. — Я, кажется, уснул. Видел любопытнейший сон. В чем дело, Пибоди?

— Мистер Уильямс от “Трэси и Уильямс” ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за Икс, Игрек, Зет. Он попался с ними, сэр, если припомните.

— Да, помню. А какая на них расценка сегодня?

— Один восемьдесят пять, сэр.

— Ну вот и рассчитайтесь с ним по этой цене.

— Простите, сэр, — сказал Пибоди, волнуясь, — я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Додсон, а ведь вы скупили все Икс, Игрек, Зет. Мне кажется, вы могли бы, то есть... Может быть, вы не помните, что он продал их вам по девяносто восемь. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом.

Лицо Додсона мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

— Пусть платит один восемьдесят пять, — сказал Додсон. — Боливару не снести двоих.

## ГРОМИЛА И ТОММИ

В десять часов вечера горничная Фелисия ушла с черного хода вместе с полисменом покупать малиновое мороженое на углу. Она терпеть не могла полисмена и очень возражала против такого плана. Она говорила, и не без основания, что лучше бы ей позволили уснуть над романом Сент-Джорджа Ратбона в комнате третьего этажа, но с ней не согласились. Для чего-нибудь существует на свете малина и полицейские.

Громила попал в дом без особого труда: в рассказе на две тысячи слов требуется побольше действия и поменьше описаний. В столовой он приподнял щиток потайного фонаря

и, достав коловорот и перку, начал сверлить замок шкафа, где лежало серебро.

Вдруг послышалось щелканье. Комнату залило электрическим светом. Темные бархатные портьеры раздвинулись — и в комнату вошел белокурый мальчик лет восьми в розовой пижаме, держа в руке бутылку с прованским маслом.

— Вы громила? — спросил он тоненьким детским голоском.

— Послушайте-ка его! — хрипло воскликнул гость. — Громила я или нет? А для чего же, по-твоему, я три дня отращивал щетину на подбородке, для чего надел кепку с наушниками? Давай живей масло, я смажу сверло, чтоб не разбудить твою мамашу, у которой заболела голова и она легла, оставив тебя на попечение Фелисии, не оправдавшей такого доверия.

— Ах ты, боже мой, — со вздохом сказал Томми. — Не думал я, что вы так отстали от времени. Это масло пойдет для салата, когда я принесу вам поесть из кладовой. А мама с папой уехали в оперу слушать де Решке.

Я тут ни при чем. Это только доказывает, сколько времени рассказ провалялся в редакции. Будь автор поумней, он бы в гранках исправил фамилию на Карузо.

— Замолчи, — прошипел громила. — Попробуй только поднять тревогу, и я сверну тебе шею, как кролику.

— Как цыпленку, — поправил Томми. — Это вы ошиблись. Кроликам шею не свертывают.

— Неужели ты меня не боишься? — спросил громила.

— Сами знаете, что не боюсь, — ответил Томми. — Неужели вы думаете, что я не отличу правду от вымысла? Если бы это было не в рассказе, я бы завопил, как дикий индеец, а вы скатились бы по лестнице и на тротуаре вас бы зачепила полиция.

— Вижу, ты свое дело знаешь, — сказал громила. — Валяй дальше.

Томми уселся в кресло и поджал под себя ноги.

— Почему вы грабите чужих людей, господин громила? Разве у вас нет знакомых?

— Вижу, к чему ты клонишь, — злобно нахмурившись, сказал громила. — Стара штука. Твоя младенческая невинность и беззаботность должны вернуть меня к честной жизни. Каждый раз, как залезешь в дом, где имеется младенец, получается одна и та же история.

— Может быть, вы посмотрите жадными глазами на тарелку с холодной говядиной, которую буфетчик забыл на столе? — сказал Томми. — А то времени у нас мало.

Громила согласился.

— Бедненький, — сказал Томми. — Вы, должно быть, проголодались. Пойдите, пожалуйста, в нерешительной позе, а я вам принесу чего-нибудь поесть.

Мальчик принес из кладовой жареную курицу, банку с вареньем и бутылку вина. Громила недовольно взялся за нож с вилкой.

— И часу не прошло, как я ел омаров и пил пиво на Бродвее, — проворчал он. — Хоть бы эти писаки позволили человеку принять таблетку пепсина перед едой.

— Мой папа тоже пишет книжки, — заметил Томми.

Громила поспешно вскочил с места.

— А ты говорил, будто он уехал в оперу, — прошипел он хриплым голосом, подозрительно глядя на мальчика.

— Я забыл сказать, — объяснил Томми. — Билеты он получил бесплатно.

Громила снова уселся на место и стал обглаживать куриную косточку.

— Зачем вы грабите квартиры? — задумчиво спросил мальчик.

— Затем, — ответил громила, вдруг залившись слезами. — Помилуй господи моего темноволосого мальчика Бесси, который остался дома.

— Ах нет, — сказал Томми, сморщив нос. — Это вы не так говорите. Прежде чем пустить слезу, вы должны рассказать, отчего вам не повезло.

— Да, да, я и забыл, — сказал громила. — Ну вот, раньше я жил в Мильвоки...

— Берите серебро, — сказал Томми, слезая с кресла.

— Погоди, — сказал громила. — Но я уехал оттуда. Другой работы я найти не мог. Некоторое время я поддерживал жену и ребенка, сбывая ассигнации Южного правительства, но увы! пришлось бросить и это, потому что они не имели хождения. Я махнул на все рукой и с горя сделался громилой.

— А вы когда-нибудь попадались в руки полиции? — спросил Томми.

— Я сказал “громилой”, а не нищим, — ответил грабитель.

— Как же мы кончим рассказ, когда вы доедите курицу и у вас, как полагается, начнется приступ раскаяния?

— Предположим, — задумчиво начал громила, — что Тони Пастор кончит сегодня раньше обыкновенного, и твой отец придет с “Парсифаля” в половине одиннадцатого. Я окончательно раскаялся, потому что ты напомнил мне моего сыночка Бесси...

— Послушайте, — сказал Томми, — а вы не ошиблись?

— Нет, клянусь пастелями Б. Кори Килверта, — сказал громила. — Всегда у меня дома остается Бесси и бесхитростно болтает с бледнолицей женой громилы. Так вот я и говорю, твой отец откроет парадную дверь как раз в ту минуту, когда я буду уходить, нагруженный увещаниями и бутербродами, которые ты завернул для меня в бумажку. Узнав во мне старого товарища по Гарвардскому университету, он отшатывается...

— Не в изумлении, надеюсь? — прервал его Томми, глядя на него круглыми глазами.

— Он отшатывается назад, — продолжал громила и вдруг, поднявшись на ноги, начал выкрикивать: — Ра, ра, ра! Ура, ура, ура!

— Ну-ну, — сказал удивленно Томми. — Первый раз слышу от громилы на работе университетский клич, хотя бы и в рассказе.

— Не все тебе знать, — засмеялся громила. — Это я подпустил сценичности. Если такую штуку сыграть в театре, только этот намек на университетскую жизнь и может обеспечить ей успех.

Томми взглядом выразил свое восхищение.

— Вы в этом здорово разбираетесь, — сказал он.

— И вот еще в чем ты проврался, — заметил громила. — Тебе давно надо бы пойти и принести золотой, который мама подарила тебе в день рождения, чтобы я передал его Бесси.

— Но она не для того дарила мне золотой, чтоб вы передали его Бесси, — надувшись, отвечал Томми.

— Ну, ну! — строго сказал громила. — Нехорошо пользоваться тем, что в рассказе попала неясная по смыслу фраза. Ты понимаешь, что я хотел сказать. Что я там получу от этой литературной стряпни? Я теряю всю выручку да еще каждый раз обязан каяться; а достаются мне разные пустячки и сувениры от вас, ребят. Как же, в одном рассказе я получил в награду всего-навсего поцелуй маленькой девочки, которая застала меня врасплох, когда я вскрывал сейф. Да еще вся она была липкая от патоки. Вот возьму эту скатерть, накину тебе на голову, да и залезу в шкаф с серебром.

— Ничего подобного, — сказал Томми, обхватив колени руками. — Потому что после этого ни один журнал не примет рассказа. Вы же знаете, что вам следует соблюдать единство.

— И тебе тоже, — угрюмо возразил громила. — Вместо того чтобы сидеть здесь, болтать глупости и отнимать хлеб у бедного человека, тебе бы следовало залезть под кровать и вопить благим матом.

— Ваша правда, дружище, — согласился Томми. — Удивляюсь, к чему нас заставляют это делать. По-моему, Совет по охране детства должен был бы вмешаться. Для ребенка моих лет и неестественно и неприятно соваться под ноги взрослому гроmile, когда он занят делом, и предлагать ему красные санки и коньки, лишь бы он не разбудил больную маму. А посмотрите, что они заставляют вытворять громилу! Кажется, редактор должен бы знать... э, да что толку!

Громила вытер руки о скатерть и, зевнув, поднялся с места.

— Ну, давай кончать, — сказал он. — Благослови тебя боже, мой мальчик, ты нынче не дал человеку совершить преступление. Бесси станет молиться за тебя, когда я попаду домой и распорядюсь на этот счет. Больше я не ограблю ни одной квартиры — по крайней мере до тех пор, пока не выйдут июньские журналы. Тогда придет черед твоей сестренки — она застанет меня, когда я буду извлекать из чайника четырехпроцентные облигации США, и попытается подкупить меня коралловыми бусами и слюнявым поцелуем.

— Напрасно вы жалуетесь, не вам одному плохо, — вздохнул Томми, сползая с кресла. — Подумайте, ведь я никогда не высыпаюсь. Нам обоим достается, старик. Я бы хотел, чтоб вам удалось вылезти из рассказа и в самом деле ограбить кого-нибудь. Может быть, вам повезет, если мы попадем в инсценировку.

— Вряд ли, — мрачно сказал громила. — Я, должно быть, всегда буду сидеть на мели, если юные дарования вроде тебя будут пробуждать во мне стремление к добру, а журналы — платить по выходе из печати.

— Очень жаль, — сочувственно сказал Томми. — Только я тоже ничем помочь не могу. Это уж такое правило семейной беллетристики, что гроmile никогда не везет. Ему мешает или младенец вроде меня, или юная героиня, или в самую последнюю минуту его сообщник, Рыжий Майк, напоминает, что служил в этом доме кучером. Во всяком рассказе вам достается самая плохая роль.

— Ну, мне, пожалуй, пора смыываться, — сказал громила, подхватывая фонарь и коловорот.

— Вы должны взять с собой остаток курицы и вино для Бесси и ее мамы, — спокойно заметил Томми.

— Да провались ты, ничего им не надо! — с досадой воскликнул громилам. — У меня дома пять ящиков Шато де Бейхсвелль разлива тысяча восемьсот пятьдесят третьего года. — А ваш кларет пахнет пробкой. А на курицу они и глядеть не станут, если ее не протушить в шампанском. Когда я выхожу из рассказа, мне так стесняться не приходится. Кое-что зарабатываю иной раз.

— Да, но вы все-таки возьмите, — настаивал Томми, нагружая громилу свертками.

— Спасибо, молодой хозяин, — послушно произнес громилла. — Саул — гроза вторых этажей — никогда тебя не забудет. А теперь выпусти меня поживей, малец. Наши две тысячи слов подходят к концу.

Томми проводил его через холл к парадной двери. Вдруг громилла остановился и тихонько окликнул мальчика:

— А это не фараон там перед домом стоит и любезничает с девушкой?

— Да, — ответил Томми, — ну и что же из этого?

— Боюсь, как бы он меня не забрал, — сказал громилла. — Не забывай, что это беллетристика.

— Батюшки мои! — воскликнул Томми, поворачиваясь. — Идемте, я выпущу вас черным ходом.

## СДЕЛКА

Непристойнее всего в адвокатской конторе Янси Гори был сам Гори, развалившийся в своем скрипучем старом кресле. Маленькая убогая контора, выстроенная из красного кирпича, выходила прямо на улицу, главную улицу города Бэтела.

Бэтел приютился у подножия Синего хребта. Над городом горы громоздились до самого неба. Далеко внизу мутная желтая Катоба поблескивала на дне унылой долины.

Был самый душный час июньского дня. Бэтел дремал в тени, не дающей прохлады. Торговля замерла. Было так тихо, что Гори, полулежа в кресле, отчетливо слышал стук фишек в зале суда, где “шайка судейских” играла в покер. От настезь открытой задней двери конторы утоптанная тропинка извивалась по травке к зданию суда. Прогулки по этой тропинке стоили Гори всего, что у него было за душой, — сначала наследства в несколько тысяч долларов, потом старинной родовой усадьбы и, наконец, последних ос-

татков самоуважения и человеческого достоинства. Судейские обобрали его до нитки. Незадачливый игрок стал пьяницей и паразитом; он дожил до того дня, когда люди, ограбившие его, отказали ему в месте за карточным столом. Его “слово” больше не принималось. Ежедневная партия в покер составлялась без него; ему же предоставили жалкую роль зрителя. Шериф, секретарь округа, разбитной помощник шерифа, веселый прокурор и человек с бескровным лицом, явившийся “из долины”, сидели вокруг стола, а остриженной овце давался молчаливый совет — постараться снова обрасти шерстью.

Этот остракизм скоро наскучил Гори, и он отправился восвояси, нетвердо ступая по злосчастной тропинке и что-то бормоча себе под нос. Глотнув маисовой водки из полштофа, стоявшего под столом, он бросился в кресло и в какой-то пьяной апатии стал глядеть на горы, тонувшие в летнем тумане. Маленькое белое пятно вдали, на склоне Черного Джека, была Лорел, деревня, близ которой он родился и вырос. Здесь также родилась кровная вражда между Гори и Колтренами. Теперь не осталось в живых ни одного прямого потомка рода Гори, кроме этой ощипанной и опаленной птицы печали. В роде Колтренов тоже остался всего один представитель мужского пола: полковник Эбнер Колтрен, человек с весом и положением, член законодательного собрания штата, сверстник отца Гори. Вендетта была обычного в этой местности типа; она оставила за собой кровавый след ненависти, обид и убийств.

Но Янси Гори думал не о вендеттах. Его отуманенный мозг безнадежно бился над проблемой — как существовать дальше, не отказываясь от привычных пороков. Последнее время старые друзья его семьи заботились о том, чтобы у него было что есть и где спать, но покупать ему виски они не желали, а ему необходимо было виски. Его адвокатская практика заглохла; уже два года ему не поручали ни одного дела. Он погряз в долгах, стал нахлебником, и если не упал еще ниже, то только потому, что не подвернулся удобный случай. Сыграть бы еще один раз, говорил он себе, один

только раз — и он наверняка отыграется; но ему нечего было продать, а кредит его давно истощился.

Он не мог не улыбнуться даже сейчас при воспоминании о человеке, которому он полгода назад продал старую усадьбу семьи Гори. “Оттуда”, с гор, прибыли два необычайно странных существа — некто Пайк Гарви и его супруга. Словом “там”, сопровождаемым жестом руки по направлению к лесистым вершинам, горцы привыкли обозначать самые недоступные дебри, неисследованные ущелья, места, где укрываются бродяги, где волчьи норы и медвежьи берлоги. Странная пара, посетившая Янси Гори, прожила двадцать лет в самой глухой части этого безлюдного края, в одинокой хижине, высоко на склоне Черного Джека. У них не было ни детей, ни собак, которые нарушали бы тяжелое молчание гор. Пайка Гарви мало знали в поселках, но все, кто хоть когда-либо имел с ним дело, единогласно заявляли, что он “спятил”.

Его единственной официальной деятельностью была охота на белок, но ему случалось, для разнообразия, заниматься и контрабандой. Однажды сборщики налогов вытащили его из его норы; он сопротивлялся молча и яростно, как терьер, и угодил на два года в тюрьму. Когда его выпустили, он снова забился в свою нору, как рассерженный хорек.

Капризная фортуна, обойдя многих трепетных искателей, вспорхнула на вершину Черного Джека, чтобы наградить своей улыбкой Пайка и его верную подругу.

Однажды компания совершенно нелепых изыскателей в коротких брюках и очках вторглась в горы по соседству с хижинкой Гарви. Пайк снял с крюка свое охотничье ружье и выстрелил издали в пришельцев — ведь они могли оказаться сборщиками налогов. К счастью, он промахнулся, и агенты фортуны приблизились и обнаружили свою полную непричастность к закону и правосудию. Впоследствии они предложили чете Гарви целую кучу зеленых хрустящих наличных долларов за его клочок расчищенной земли в тридцать акров и в оправдание такого сумасбродства при-

вели какую-то невероятную ерунду относительно того, что под этим участком находится пласт слюды.

Когда Гарви с женой стали обладателями такого количества долларов, что они сбивались, пересчитывая их, все неудобства существования на Черном Джеке стали для них очевидны.

Пайк начал поговаривать о новых башмаках, о ящике табаку, который хорошо бы поставить в угол, о новом курке для своего ружья; он повел Мартеллу в одно место на склоне горы и объяснил ей, как здесь можно было бы установить небольшую пушку, — она несомненно, оказалась бы им по средствам, — чтобы простреливать и защищать единственную тропинку к хижине и раз навсегда отвадить сборщиков налогов и назойливых незнакомцев.

Но Адам упустил из виду свою Еву. Для него табак, пушка и новый курок были достаточно полным воплощением богатства, но в его темной хижине дремало честолюбие, парившее много выше его примитивных потребностей. В груди миссис Гарви все еще жила крупница вечно женственного, не убитая двадцатилетним пребыванием на Черном Джеке. Она так привыкла слышать днем лишь шуршанье коры, падающей с больных деревьев, а ночью завывание волков, что это как будто вытравило из нее все тщеславие. Она стала толстой, грустной, желтой и скучной. Но когда появились средства, в ней снова вспыхнуло желание воспользоваться привилегиями своего пола: сидеть за чайным столом, покупать ненужные вещи, припудрить уродливую правду жизни условностями и церемониями. Поэтому она холодно отвергла систему укреплений, предложенную Пайком, и заявила, что они теперь спустятся в мир и будут вращаться в обществе.

На этом в конце концов они порешили, и план был приведен в исполнение. Деревушка Лорел явилась компромиссом между предпочтением, которое миссис Гарви оказывала большим городам, и тягой Пайка к первобытным пустыням. Лорел сулила кое-какой выбор светских развлечений, соответствующих честолюбивым стремлениям миссис Гарви, и



не была лишена некоторых удобств для Пайка, — ее близость к горам обеспечивала ему возможность быстрого отступления, в случае если он не поладит с фешенебельным обществом.

Их переезд в Лорел совпал с лихорадочным желанием Янси Гори обратить в звонкую монету свою недвижимость, и они купили старую усадьбу Гори, отсчитав в дрожащие руки мота четыре тысячи долларов наличными.

Вот как случилось, что в то время, когда недостойный отпрыск рода Гори, опустившийся, изгнанный и отвергнутый обобрававшими его друзьями, валялся в своей непристойной конторе, чужие жили в доме его предков.

Облако пыли медленно катилось по раскаленной улице и что-то двигалось внутри него. Легкий ветерок отнес пыль в сторону, и показался новый, ярко раскрашенный шарабан, который тащила ленивая серая лошадь. Приблизившись к конторе адвоката, экипаж свернул с середины улицы и остановился у канавки, прямо против двери.

На передней скамейке восседал высокий, тощий мужчина в черном суконном костюме; его руки были втиснуты в желтые кожаные перчатки. На задней скамейке сидела женщина, торжествовавшая над июньской жарой. Ее полная фигура была закована в облегающее шелковое платье цвета "шанжан", то есть всех цветов радуги. Она сидела прямо, обмахиваясь разукрашенным веером и устремив неподвижный взгляд на конец улицы. Как ни согрето было сердце Мартеллы Гарви радостями новой жизни, Черный Джек наложил, на ее внешность свою неизгладимую печать. Он придал ее чертам пустое, бессмысленное выражение, наделил ее резкостью своих углов и замкнутостью своих молчаливых ушей. Что бы ее ни окружало, она, казалось, всегда слышала шуршанье коры, падающей с больных деревьев. Она всегда слышала страшное молчание Черного Джека, звенящее среди самой беззвучной ночи.

Гори апатично наблюдал, как пышный экипаж подъехал и остановился у его двери; но когда сухопарый возница замотал вожжи вокруг кнута, неуклюже слез и вошел в конто-

ру, он поднялся, шатаясь, ему навстречу: он узнал Пайка Гарви, нового, преображенного, только что причастившегося цивилизации.

Горец сел на стул, предложенный ему адвокатом. Те, кто подвергал сомнению здравый ум и твердую память Гарви, могли привести в доказательство его внешность. Лицо у него было слишком длинное, тускло-шафранного цвета и неподвижное, как у статуи. Бледно-голубые, немигающие круглые глаза без ресниц еще подчеркивали странность этого жуткого лица.

Гори тщетно пытался найти объяснение его визиту.

— Все в порядке в Лореле, мистер Гарви? — спросил он.

— Все в порядке, сэр, и мы с миссис Гарви чрезвычайно довольны именем. Миссис Гарви нравится ваша усадьба, и соседи ей нравятся. Она говорила, что нуждается в обществе, а здесь его достаточно. Роджерсы, Хэнгуды, Прэтты и Тройсы — все сделали визиты миссис Гарви, и она почти у всех у них обедала. Ее в лучшие дома приглашают. Не могу сказать, мистер Гори, чтобы такие вещи были мне по душе... мне подавайте вот это, — огромная рука Пайка Гарви в желтой перчатке указала по направлению к горам. — Мое место там, среди диких пчел и медведей. Но я не для того приехал, чтоб болтать об этом. Мы с миссис Гарви хотим купить у вас одну вещь.

— Купить? — повторил Гори. — У меня? — Он горько засмеялся. — Полагаю, что это ошибка. Да, конечно, ошибка. Я продал вам, как вы сами выразились, все до последнего гвоздя. Шляпки от гвоздя и той не найдется для продажи.

— У вас есть что продать, и нам это нужно. "Возьми деньги, — так сказала миссис Гарви, — и купи, честно и благородно".

Гори покачал головой.

— Ничего у меня нет, — сказал он.

— Вы не думайте, у нас куча денег, — продолжал горец, не уклоняясь от своей темы, — целая куча. Были мы бедны, как крысы, верно, а теперь могли бы приглашать каждый день гостей к обеду. Нас признало лучшее общество — это мис-

сис Гарви так говорит. Но нам нужна еще одна вещь. Миссис Гарви говорит, что это следовало бы включить в купчую крепость, когда мы покупали у вас имение. Но там этого нет. “Ну так возьми деньги, говорит, и купи, честно и благородно”.

— Валяйте скорей, — сказал Гори; его расшатанные нервы не выдерживали ожидания.

Гарви бросил на стол свою широкополую шляпу и наклонился вперед, глядя в глаза Гори немигающими глазами.

— Есть старая распря, — сказал он отчетливо и медленно, — между вами и Колтренами.

Гори угрожающе нахмурился: говорить о вендетте с заинтересованным лицом считается серьезным нарушением этикета родовой мести. Человек “оттуда” знал это так же хорошо, как и адвокат.

— Не в обиду вам будь сказано... — продолжал он, — я с деловой точки зрения. Миссис Гарви изучила все про эти самые распри. Почти у всех родовитых людей в горах есть кровники. Сеттли и Гофорты, Рэнкинсы и Бойды, Сайлеры и Гэллоуэи поддерживали родовую месть от двадцати до ста лет. Последний раз угробили человека, когда ваш дядя, судья Пэйсли Гори, объявил, что заседание суда откладывается, и застрелил Лена Колтрена с судейского кресла. Мы с миссис Гарви вышли из низов. Никто не затеет с нами распри, все равно как с древесными лягушками. Миссис Гарви говорит, что у всех родовитых людей есть распри. Мы-то не родовитые, но деньги есть, вот и обзаводимся чем можем. “Так возьми деньги, — сказала миссис Гарви, — и купи распрю мистера Гори, честно и благородно”.

Охотник на белок вытянул одну ногу почти до середины комнаты, вытащил из кармана пачку банкнот и бросил ее на стол.

— Здесь двести долларов, мистер Гори. Согласитесь, что за такую запущенную распрю цена хорошая. С вашей стороны только вы и остались, а убивать вы, наверно, не мастер. Вот вы и развяжетесь с этим делом, а мы с миссис Гарви войдем в родовитое общество. Берите деньги.

Свернутые бумажки медленно развернулись, корчась и подпрыгивая на столе. В молчании, наступившем за последними словами Гарви, ясно слышался стук игральные фишек в здании суда. Гори знал, что шериф только что выиграл хороший куш, — через двор на волнах знойного воздуха донеслось сдержанное гиканье, которым он всегда приветствовал победу. Капли пота выступили у Гори на лбу. Он нагнулся, вытащил из-под стола полуштоф в плетенке и наполнил из него стаканчик.

— Вышейте, мистер Гарви! Вы, конечно, изволили пошутить... по поводу того, что сейчас сказали? Вводится новый вид торговых операций. Вендетты первого сорта — от двухсот пятидесяти до трехсот долларов. Вендетты, слегка подпорченные, — двести... кажется, вы сказали двести, мистер Гарви?

Гори деланно рассмеялся. Горьц взял предложенный стакан и осушил его, не моргнув неподвижными глазами. Адвокат оценил этот подвиг завистливым и восхищенным взглядом, он налил и себе и начал пить, как истый пьяница, медленными глотками, вздрагивая от запаха и вкуса водки.

— Двести, — повторил Гарви, — вот деньги.

Внезапная ярость вспыхнула у Гори в мозгу. Он стукнул по столу кулаком. Одна из кредиток подскочила и коснулась его руки. Он вздрогнул, как будто что-то ужалило его.

— Вы серьезно пришли ко мне, — закричал он, — с таким нелепым, оскорбительным, сумасбродным предложением?

— Я хотел честно и благородно, — сказал охотник на белок; он протянул руку, словно для того, чтобы взять деньги обратно, и тогда Гори понял, что его вспышка гнева объяснялась не гордостью и обидой, но раздражением против самого себя, так как он чувствовал себя способным опуститься еще ниже, в яму, которая перед ним открылась. В мгновение он превратился из оскорбленного джентльмена в торгаша, расхваливающего свой товар.

— Не торопитесь, Гарви, — сказал Гори; он побагровел, и язык у него заплетался. — Я принимаю ваше пре... пре... предложение, хотя двести долларов — безобразно низкая

цена. С... сделка есть сделка, если продавец и покупатель оба удо... удовлетворены... Завернуть вам покупку, мистер Гарви?

Гарви встал и отряхнулся.

— Миссис Гарви будет довольна. Вы вышли из этого дела, и теперь оно будет считаться Колтрен против Гарви. Пожалуйста расписочку, мистер Гори, недаром вы адвокат, — чтобы закрепить сделку.

Гори схватил лист бумаги и перо. Деньги он крепко зажал во влажной руке. Все остальное вдруг стало пустячным и легким.

— Запродажную запись. Непременно. “Право на владение и проценты...” Только придется пропустить “защищаемое законами штата”, — сказал Гори с громким смехом. — Вам придется самому защищать это право.

Горец взял необычайную расписку, сложил ее с величайшими предосторожностями и аккуратно спрятал в карман. Гори стоял у окна.

— Подойдите сюда, — сказал он, поднимая палец. — Я покажу вам вашего только что купленного кровного врага. Вон он идет, по той стороне улицы.

Горец согнул свою длинную фигуру, чтобы посмотреть в окно туда, куда указывал адвокат. Полковник Эбнер Колтрен, прямой, осанистый джентльмен лет пятидесяти, в цилиндре и неизбежном двубортном скюртуке члена южного законодательного собрания, проходил по противоположному тротуару. Пока Гарви смотрел, Гори взглянул ему в лицо. Если существуют на свете желтые волки, то здесь находился один из них. Гарви зарычал, следя нечеловечьими глазами за проходящей фигурой, и оскалил длинные, янтарного цвета клыки.

— Это он... Да ведь это — человек, который упрятал меня когда-то в тюрьму.

— Он был прокурором, — сказал небрежно Гори, — и, между прочим, он первоклассный стрелок.

— Я могу прострелить белке глаз на расстоянии ста ярдов, — сказал Гарви. — Так это Колтрен? Я сделал лучшую по-

купку, чем ожидал. Я позабочусь об этой распре получше вашего, мистер Гори.

Он направился к дверям, но остановился на пороге в легком замешательстве.

— Еще что-нибудь угодно? — спросил Гори с сарказмом безнадежности. — Семейные традиции? Духи предков? Позорные тайны? Пожалуйста! Цены самые доступные.

— Есть еще одна вещь, — невозмутимо протянул охотник на белок, — миссис Гарви тоже говорила. Это не совсем по моей части, но она особенно хотела, чтобы я спросил вас и, если вы согласны, купил бы, честно и благородно. Есть там ваше семейное кладбище, как вам известно, мистер Гори, за вашей старой усадьбой, под кедром. Там похоронены ваши предки, те, что убиты Колтренами. На памятниках их имена. Миссис Гарви говорит, что у всех родовитых людей есть семейные кладбища. Она говорит, что, если мы купим распрю, к ней надо добавить и кладбище. На памятниках везде “Гори”, но это можно вытравить и заменить нашей...

— Вон! вон! — закричал Гори вспыхнув. Он протянул к горцу обе руки со скрюченными, дрожащими пальцами. — Убирайтесь, негодяй. Даже ки... китаец защищает мо... могилы своих предков. Вон!

Охотник на белок побрел к своему шарабану. Пока он влезал в него, Гори с лихорадочной быстротой подбирал деньги, выпавшие у него из рук. Не успел экипаж завернуть за угол, как овца, вновь обросшая шерстью, понеслась с неприличной поспешностью по тропинке к зданию суда.

В три часа ночи судейские приволокли его обратно в контору, остриженного и в бессознательном состоянии. Шериф, разбитной помощник шерифа, секретарь и веселый прокурор несли его, а бледнолицый субъект “из долины” замыкал шествие.

— На стол, — сказал один из них, и они положили его на стол среди груды его бесполезных книг и бумаг.

— У Янси прямо пристрастие к двойкам, когда он наклоняется, — задумчиво вздохнул шериф.

— Это уж чересчур, — сказал веселый прокурор. — Человеку, который напивается, нечего играть в покер. Интересно, сколько он просадил сегодня.

— Около двухсот. Удивляюсь, где он их взял. У него уже больше месяца не было ни цента.

— Может быть, клиента подцепил. Ну, ладно, пойдемте по домам, пока не рассвело. Он отойдет, когда проспится, только в голове будет гудеть, как в улье.

“Шайка” растаяла в утренних сумерках. Следующим глазом, посмотревшим на несчастного Гори, было око утра. Оно заглянуло в незавешенное окно и сначала залило спящего потоком бледного золота, а потом окатило его горящее лицо обжигающим белым летним зноем. Гори, не просыпаясь, зашевелился среди хлама на столе и отвернулся от окна. При этом он задел тяжелый Свод законов, и книга с грохотом упала на пол. Гори открыл глаза и увидел, что над ним склонился человек в длинном черном сюртуке. Слегка закинув голову, он обнаружил старый цилиндр, а под ним доброе, гладко выбритое лицо полковника Эбнера Колтрена.

Не уверенный в радушном приеме, полковник ждал, когда Гори его узнает. Вот уже двадцать лет, как представители мужской части этих двух семейств не встречались в мирной обстановке. Веки у Гори дрогнули, и он, напрягая помутившееся зрение, взглянул на гостя и безмятежно улыбнулся.

— А вы привели Стеллу и Люси поиграть со мной? — спросил он спокойно.

— Вы узнаете меня, Янси? — спросил Колтрэн.

— Конечно. Вы подарили мне кнутик со свистком.

Так оно и было, — двадцать четыре года тому назад, когда отец Янси был его лучшим другом.

Глаза Гори забегали по комнате. Полковник понял.

— Лежите спокойно, я вам сейчас принесу, — сказал он.

Во дворе был колодец, и Гори, закрыв глаза, с восторгом прислушивался к звяканью его рычага и плеску воды. Колтрэн принес кувшин холодной воды и подал его Гори. Гори вскочил — вид у него был жалкий, летний полотняный кос-

тюм запачкался и смялся, взлохмаченная голова тряслась. Он попытался помахать рукой полковнику.

— Извините... все это, пожалуйста, — сказал он. — Я, должно быть, вчера вечером выпил слишком много виски и улегся спать на столе.

Его брови сдвинулись в недоумении.

— Покутили с приятелями? — добродушно спросил полковник.

— Нет, я нигде не был. У меня уже два месяца как нет ни доллара. Просто выпил лишнего, как всегда.

Полковник Колтрэн дотронулся до его плеча.

— Несколько минут назад, Янси, — начал он, — вы спросили меня, привел ли я к вам поиграть Люси и Стеллу. Вы тогда еще не совсем проснулись, и вам, верно, снилось, что вы опять маленький мальчик. Теперь вы проснулись, и я прошу вас выслушать меня. Я пришел от Стеллы и Люси к их старому товарищу и к сыну моего старого друга. Они знают, что я хочу привезти вас с собой, и они будут так же рады вам, как в старые времена. Я хочу, чтобы вы пожили у нас, пока не придете в себя — и еще дольше... сколько захотите. Мы слышали, что вам в жизни не повезло, что вы окружены соблазнами, и мы все решили опять пригласить вас к нам поиграть. Поедете, мой мальчик? Хотите забыть все семейные ссоры и, поехать со мной?

— Ссоры? — сказал Гори, широко раскрыв глаза. — Между нами не было никаких ссор, насколько я знаю. Мы всегда были лучшими друзьями. Но, боже мой, полковник, как я могу явиться к вам в дом таким, каким я стал? Жалкий пьяница, несчастный, опозоренный, мот, игрок...

Он слез со стола, забрался в кресло и заплакал пьяными слезами, мешая их с искренними каплями раскаяния и стыда. Колтрэн говорил с ним настойчиво и серьезно: он напомнил простые удовольствия жизни в горах, которые Гори когда-то так любил, и подчеркивал искренность своего приглашения.

В конце концов он убедил Гори, сказав ему, что рассчитывает на его помощь для руководства переброской повален-

ного леса с высокого склона горы к сплаву. Он помнил, что Гори когда-то изобрел для этой цели особую систему скатов и желобов и по праву гордился ею. В одну минуту бедняга, в восторге от мысли, что он может быть кому-нибудь полезен, развернул на столе лист бумаги и стал набрасывать на нем быстрые, но безнадежно кривые линии чертежа.

Блудному сыну сразу опротивела жизнь среди свиней; сердце его снова обратилось к горам. Голова его еще плохо работала, мысли и воспоминания возвращались в мозг одно за другим, как почтовые голуби над бурным морем. Но Колтрэн был доволен достигнутым успехом.

Бэтел в этот день был поражен как никогда — весь город видел, как по улицам дружелюбно проехали рядом Колтрэн и Гори. Они ехали верхом: пыльные улицы и глазающие горожане остались позади; всадники спустились к мосту через ручей и стали подниматься в горы. Блудный сын почистился, умылся и причесался; вид у него стал более приличный, но он еще не твердо держался в седле и, казалось, был занят решением какой-то пуганой задачи. Колтрэн не трогал его, надеясь, что душевное равновесие восстановится у него само собой от перемены обстановки.

Один раз Гори стал трясти озноб, и он чуть не лишился сознания. Ему пришлось спешиться и отдохнуть на краю дороги. Полковник, предугадав такую возможность, запасся на дорогу небольшой фляжкой виски, но, когда он предложил ее Гори, тот отказался чуть ли не грубо и заявил, что никогда больше не прикаснется к спиртному. Мало-помалу он оправился и спокойно проехал одну-две мили. Затем внезапно остановил свою лошадь и сказал:

— Я проиграл вчера вечером двести долларов в покер. Где же я взял эти деньги?

— Не беспокойтесь об этом, Янси. На горном воздухе все забудется. Прежде всего мы отправимся удить рыбу к Пинакл-Фоллс. Форели там прыгают, как лягушки. Мы возьмем с собой Стеллу и Люси и устроим пикник на Орлиной скале. Вы помните, Янси, какими вкусными кажутся голодному рыбакову сэндвичи с ветчиной у костра?

Очевидно, полковник не поверил этой истории о пропавших деньгах, и Гори снова впал в сосредоточенное молчание.

К концу дня они проехали десять миль из двенадцати, отделявших Бэтел от Лорели. Не доезжая полмили до Лорели находилась старая усадьба Гори; в двух милях за деревней жил Колтрэн. Дорога была теперь крутая и тяжелая, но зато многое вознаграждало путников. Заросшие лесом склоны изобиловали птицами и цветами. Живительный воздух бодрил лучше всяких лекарств. Просеки хмурились мшистой тенью, мерцали робкими ручейками, бегущими среди папоротника и лавров. По левую руку, в рамке придорожных деревьев, то и дело открывались просветы — восхитительные виды далекой равнины, утопавшей в опаловой дымке.

Колтрэн радовался, видя, что его спутник поддается очарованию гор и лесов. Теперь им оставалось объехать вокруг основания Скалы Художников, пересечь Элдербранч и подняться на холм, и Гори увидит ушедшее из его рук наследство предков.

Каждый утес, мимо которого он проезжал, каждое дерево, каждый кусочек дороги были ему знакомы. Хотя он и забыл о лесах, они волновали его теперь, как мелодия старой колыбельной песни.

Они объехали скалу, спустились к Элдербранчу и остановились там, чтобы напоить лошадей и выкупать их в быстрой воде. Направо была железная ограда, которая образовала здесь угол и тянулась потом вдоль реки и дороги. Она окружала старый фруктовый сад усадьбы Гори; дом был еще закрыт гребнем крутого холма. За оградой высоко и густо росли бузина, сумах и лавровые деревья. Услышав шорох в ветвях, Гори и Колтрэн подняли глаза и увидели длинное, желтое волчье лицо, смотревшее на них поверх решетки светлыми, неподвижными глазами. Голова быстро исчезла; ветки кустов закачались, и неуклюжая фигура побежала, виляя между деревьями, через сад вверх, к дому.

— Это Гарви, — сказал Колтрен, — человек, которому вы продали усадьбу. Он, несомненно, помешанный. Я несколько лет назад засадил его за незаконную торговлю спиртным, хотя и считал его невменяемым... Что с вами, Янси?

Гори вытирал себе лоб, и лицо его помертвело.

— Я тоже вам кажусь странным? — спросил он, пытаясь улыбнуться! — Я, только что припомнил еще кое-что. — Алкоголь почти испарился у него из головы. — Теперь я вспомнил, где достал эти двести долларов.

— Бросьте думать об этом, — весело сказал полковник. — Мы потом вместе подсчитаем ваши капиталы.

Они отъехали от ручья, но когда добрались до подножия холма, Гори снова остановился.

— Вы когда-нибудь подозревали, полковник, что я в сущности очень тщеславный человек? — спросил он. — До глупости тщеславный во всем, что относится к моей внешности.

Полковник нарочно отвел глаза от грязного обвисшего полотняного костюма и потертой шляпы Гори.

— Мне кажется, — ответил он, недоумевая, но стараясь говорить ему в тон, — что я действительно помню одного молодого человека, лет двадцати, в самом модном костюме, с самыми приглаженными волосами и на самой шикарной верховой лошади в округе.

— Совершенно верно, — подхватил Гори, — и это сохранилось у меня до сих пор, хотя оно и незаметно. О, я тщеславен, как индюк, и горд, как Люцифер. Я хочу попросить вас снизить к этой моей слабости... не отказать мне в одном пустяке.

— Говорите без стеснения, Янси. Если хотите, мы объявим вас герцогом Лорели и бароном Синего хребта; и мы вырвем перо из хвоста у павлина Стеллы, чтобы украсить вашу шляпу.

— Я говорю серьезно. Через несколько минут мы проедем мимо дома на холме, где я родился и где мои предки жили почти сто лет. Теперь в нем живут чужие и... посмотрите на меня. Я должен показаться им в лохмотьях, удру-

ченный бедностью, бродяга, нищий. Полковник Колтрен, я стыжусь этого. Прошу вас, позвольте мне надеть ваш сюртук и шляпу и ехать в них, пока мы не минувем усадьбы. Я знаю, вы считаете это глупым тщеславием, но я хочу выглядеть прилично, когда буду проезжать мимо родового гнезда.

“Что бы это могло значить?” — сказал себе Колтрен, составляя нормальный вид и спокойное поведение своего спутника с этой странной просьбой. Но он уже расстегивал сюртук, не желая показать, что видит во всем этом что-либо необычное.

Сюртук и шляпа пришлись Гори впору. Он застегнулся с довольным и гордым видом. Он был почти одного роста с Колтреном, высокий, статный, и держался прямо. Двадцать пять лет разницы было между ними, но по виду их можно было принять за братьев. Гори выглядел старше своих лет; на его отеком лице видны были ранние морщины; у полковника лицо было гладкое, свежее — признак умеренной жизни. Он надел непристойный полотняный пиджак Гори и его потертую широкополую шляпу.

— Ну вот, — сказал Гори и взялся за поводья. — Теперь все в порядке. Я попрошу вас, полковник, держаться шагов на десять позади меня, когда мы будем проезжать мимо дома, чтобы они могли хорошенько рассмотреть меня. Пусть видят, что я еще не вышел в тираж, далеко нет. Я уверен, что на этот раз я во всяком случае покажу им себя с хорошей стороны. Ну, едемте.

Он стал подниматься в гору быстрой рысью; полковник, потакая его просьбе, ехал сзади.

Гори сидел в седле выпрямившись, с высоко поднятой головой, но глаза его смотрели вправо, внимательно исследуя каждый куст и потаенный уголок на дворе старой усадьбы; он даже раз пробормотал про себя: “Неужели этот сумасшедший болван попытается... Или мне все это наполовину приснилось?”

Только поравнявшись с маленьким семейным кладбищем, он увидел, что искал: струю белого дыма, вылетев-

шью из густой кедровой чащи в углу сада. Он так медленно повалился налево, что Колтрэн успел подъехать и подхватить его одной рукой.

Охотник на белок не зря назвал себя метким стрелком. Он, как и предвидел Гори, всадил пулю туда, куда хотел, — в грудь длинного черного сюртука полковника Эбнера Колтрэна. Гори навалился всей своей тяжестью на полковника, но не упал. Лошади шли в ногу, рядом, и рука полковника крепко поддерживала Гори. Белые домики Лорели светились сквозь деревья на расстоянии полумили. Гори с трудом протянул руку и шарил ею по воздуху, пока она не остановилась на пальцах Колтрэна, державших поводья его лошади.

— Добрый друг, — сказал он, и это было все.

Так Янси Гори, проезжая мимо своего старого дома, показал себя с самой лучшей стороны, насколько это было в его силах при данных обстоятельствах.

## МАДАМ БО-ПИП НА РАНЧО

*У крошки Бо-Пип голосок охрип —  
Разбежались ее овечки.  
Не надо их звать: все вернется опять,  
Хвосты завернув в колечки.*

“Сказка Матери-Гусыни”.

— Тетя Эллен, — весело сказала Октавия, метко швырнув черными лайковыми перчатками в важного персидского кота на подоконнике. — Я — нищая.

— Ты так любишь преувеличивать, дорогая Октавия, — мягко заметила тетя Эллен, опуская газету. — Если у тебя сейчас нет мелочи на конфеты, поищи мой кошелек в ящичке письменного стола.

Октавия Бопри сняла шляпу и, обняв руками колени, уселась на низенькой скамеечке рядом с креслом своей тет-

ки. Но и в этом неудобном положении ее тонкая, гибкая фигура, облаченная в модный траурный костюм, не потеряла своей грациозности. Октавия тщетно пыталась придать требуемую обстоятельствами серьезность своему юному, оживленному лицу и сверкающим, жизнерадостным глазам.

— Тетя, милая, дело не в конфетах. Это самая настоящая, ничем не прикрытая скучная нищета: меня ждут платья в рассрочку, чищенные бензином перчатки и, может быть, обеды в час дня. Я только что от моего поверенного, тетя, и: “Подайте, сударыня, бедной обездоленной! Цветы, мадам? Бутоньерку, сударь? Карандаши, сэр, три штуки пять центов — помогите бедной вдове!” Хорошо у меня получается, тетечка? Или я напрасно брала уроки декламации и мое ораторское искусство не поможет мне снискать хлеб насущный?

— Постарайся хоть минуту быть серьезной, дорогая, — сказала тетя Эллен, роняя газету на пол, — и объясни мне, что это значит. Состояние полковника Бопри...

— Состояние полковника Бопри, — прервала Октавия, сопровождая свои слова надлежащим драматическим жестом, — солидно, как воздушный замок. Недвижимость полковника Бопри — ветер, акции полковника Бопри — вода, прибыли полковника Бопри — выбьли. Данной речи не хватает юридических терминов, которые мне только что пришлось выслушивать в течение часа, но в переводе они означают именно это.

— Октавия! — Было заметно, что тетя Эллен обеспокоена. — Я не могу поверить. Он производил впечатление миллионера. И ведь его представили сами де Пейстеры!

Октавия рассмеялась, затем обрела надлежащую серьезность.

— De mortuis nil<sup>1</sup>, тетя, даже и конца поговорки. Милейший полковник — какой подделкой он оказался! Свои обязательства я выполнила честно — вот я вся здесь. Статьи:

<sup>1</sup> “О мертвых ничего...” — начало латинской поговорки “О мертвых ничего, кроме хорошего”.

глаза, пальцы, ногти, молодость, старинный род, завидные светские связи, — что и требовалось по контракту. Никаких дутых акций. — Октавия подняла с полу газету. — Но я не собираюсь “хныкать” — так, кажется, называются жалобы на судьбу, когда игра проиграна? — Она спокойно переворачивала страницы газеты. — “Курс акций” — не нужно. “Светские новости” — с этим кончено. Вот моя страница: “Спрос и предложение труда”. Посмотрим “предложение”. Разве Ван-Дрессеры могут “просить”? Горничные, кухарки, продавщицы, стенографистки...

— Дорогая, — голос тети Эллен дрогнул, — не говори так, прошу тебя. Даже если твои дела в столь плачевном состоянии, остаются мои три тысячи...

Октавия вскочила и запечатлела звонкий поцелуй на нежной восковой щеке чопорной старой девы.

— Тетя, душечка, ваших трех тысяч хватает только на ваш любимый китайский чай и на стерилизованные сливки для кота. Я знаю, что вы будете рады помочь мне, но я предпочту пасть с горних высот, подобно Вельзевулу, а не бродить, как Пери, у черного хода, пытаюсь услышать музыку. Я буду работать. Другого выхода нет. Я... Ах, я совсем забыла. Кое-что уцелело в катастрофе. Корраль, нет, ранчо в... ах да, в Техасе. Актив, как выразился милейший Бэннистер. Как он был доволен, что может хоть про что-то сказать “свободно от обязательств”. Где-то в этих глухих бумагах, которые он заставил меня взять с собой, есть описание ранчо. Я сейчас поищу.

Октавия нашла свою сумку и извлекла из нее длинный конверт с отпечатанными на машинке документами.

— Ранчо в Техасе, — вздохнула тетя Эллен, — по-моему, больше похоже на пассив, чем на актив. Ведь там водятся сколопендры, ковбой и фанданго<sup>1</sup>.

“Ранчо Де Лас Сомбрас, — читала Октавия ядовито-лиловые строчки, — расположено в ста десяти милях к юго-востоку от Сан-Антонио и в тридцати восьми милях от Нопалья,

1 Испанский танец.

ближайшей железнодорожной станции. Ранчо включает семь тысяч шестьсот восемьдесят акров орошаемых земель, право собственности на которые утверждено патентом штата, и двадцать две квадратных мили, или четырнадцать тысяч восемьдесят акров, частично арендованных на условии ежегодного возобновления аренды, частично купленных на основании акта о двадцатилетней рассрочке. На ранчо восемь тысяч породистых овец-мериносов, необходимое количество лошадей, повозок и прочего оборудования; дом из кирпича, шесть комнат, удобно меблированных согласно с требованиями климата. Все обнесено крепкой изгородью из колючей проволоки.

Теперешний управляющий производит впечатление человека умелого и надежного. В его руках дело, которое сильно пострадало от небрежности и дурного управления, начинает приносить доход.

Эта собственность приобретена полковником Бопри у одного из западных оросительных синдикатов. Право на владение представляется несомненным. При правильном управлении и учитывая естественное возрастание стоимости участка, ранчо Де Лас Сомбрас может стать для своего владельца надежным источником приличного дохода”.

Когда Октавия кончила, тетя Эллен издала нечто, настолько напоминавшее презрительное фырканье, насколько это допускается хорошим тоном.

— В этом описании, — заявила она с непреклонной подозрительностью столичной жительницы, — не упоминается ни о сколопендрах, ни об индейцах. И ведь ты никогда не любила баранины, Октавия. Не понимаю, какую пользу ты собираешься извлечь из этой... э... пустыни.

Но Октавия не слышала. Ее глаза смотрели в беспредельную даль, губы полуоткрылись, лицо осветилось священным безумием исследователя, беспокойным стремлением искателя приключений. Вдруг она ликующе захлопала в ладоши.

— Проблема разрешается сама собой, тетечка, — вскричала она. — Я поеду на это ранчо. Я буду там жить. Я научусь



любить баранину и попробую отыскать положительные стороны в характере сколопендр — на почтительном расстоянии, разумеется. Это как раз то, что мне нужно. Новая жизнь на смену старой, которая кончается сегодня. Это выход, тетя, а не тушик. Подумайте только — скачка по просторам прерий, ветер, треплющий волосы; возвращение к земле, снова сказки растущей травы и диких цветов без названия! Это будет дивно. Как, по-вашему, стать ли мне пастушкой Вагто в соломенной шляпе, с посохом, чтобы отгонять гадких волков от овец, или типичной стриженной девушкой с ранчо на Западе — помните иллюстрации в воскресных газетах? Пожалуй, я предпочту второе, и мое изображение тоже появится в газете — я верхом на лошади, а с седла свисают пумы, сраженные моей рукой. И будет подпись: “С Пятой авеню в прерии Техаса”, — а рядом напечатают фотографии старого особняка Ван-Дрессеров и церкви, где я венчалась. В редакциях нет моего портрета, но его закажут художнику. Я буду дикая, косматая и буду продавать свою шерсть.

— Октавия! — Все возражения, для которых тетя Эллен не находила слов, слились в этом возгласе.

— Ни слова, тетя. Я еду. Я увижу ночное небо, опрокинутое над землей, как крышка огромной масленки. Я опять подружусь со звездами — ведь я не болтала с ними с тех пор, как была совсем крошкой. Я хочу уехать. Мне все надоело. Я рада, что у меня нет денег. Я готова благословить полковника Бопри за это ранчо и простить все его мыльные пузыри. Пусть жизнь там будет трудной и одинокой. Я... Так мне и надо! Мое сердце было закрыто для всего, кроме жалкого тщеславия. Я... Ах, я хочу уехать отсюда и забыть — забыть!

Октавия неожиданно соскользнула на пол, спрятала разгоревшееся лицо в коленях тетки и зарыдала. Тетя Эллен склонилась над ней и погладила каштановые волосы.

— Я не знала, — сказала она мягко. — Этого я не знала. Кто это был, дорогая?

Когда миссис Октавия Бопри, урожденная Ван-Дрессер, сошла с поезда в Нопале, она на мгновение утратила ту свет-

скую уверенность, которая отличала каждое ее движение. Город возник совсем недавно и, казалось, был сооружен наспех из неотесанных бревен и хлопающего брезента. И хотя в поведении личностей, слонявшихся по станции, не было ничего вызывающего, чувствовалось, что каждый из граждан города всегда равно готов к нападению и к отпору.

Октавия стояла на платформе у входа на телеграф и пыталась угадать в этой прогуливающейся вразвалку толпе управляющего ранчо Де Лас Сомбрас, которому мистер Бэннистер поручил встретить ее на станции. Пожалуй, вот этот серьезный пожилой человек в синей фланелевой рубаше с белым галстуком. Но нет, он прошел мимо, и когда их взгляды встретились, поспешил отвести глаза, как делают южане при встрече с незнакомой дамой. Управляющий должен был бы сразу найти ее, подумала она, сердясь, что ей придется ждать. Не так уж много в Нопале молодых женщин, одетых в самые модные серые дорожные костюмы.

И вот, пока Октавия выискивала в толпе возможных управляющих, она, вздрогнув от удивления, осознала, что по платформе к поезду спешит Тэдди Уэстлейк, или по крайней мере его загорелый призрак, в шевиотовом костюме, высоких сапогах и в шляпе с кожаной лентой — Теодор Уэстлейк Младший, почти чемпион любительского поло, легкомысленный мотылек и небокопнитель, но возмужавший, уверенный в себе Тэдди, более определенный и законченный, чем тот, которого она помнила со времени их последней встречи год тому назад.

Он заметил Октавию почти в тот же момент, круто повернул и с былой непосредственностью направился прямо к ней. Нечто вроде священного трепета охватило Октавию, когда она рассмотрела вблизи его странную метаморфозу. Густой красно-коричневый загар особенно подчеркивал желтые, как солома, усики и серые, как сталь, глаза. Он казался повзрослевшим и почему-то далеким. Но когда он заговорил, это был прежний мальчишка Тэдди. Они были друзьями детства.

— Тэви?! — Его недоумение отказывалось укладываться в связную речь. — Как — что — когда — откуда?

— Поездом, — ответила Октавия, — необходимость — десять минут назад — из дому. Ты испортил себе цвет лица, Тэдди. Ну, как — что — когда — откуда?

— Я работаю неподалеку, — сказал Тэдди, искоса оглядывая платформу, как человек, пытающийся соединить вежливость и долг. — Не заметила ли ты в поезде старую даму с седыми буклями и пуделем, занявшую два места своими свертками и скандалившую с проводником?

— Кажется, нет, — ответила Октавия размышляя. — А ты случайно не заметил высокого человека с седыми усами, одетого в синюю рубаху и кольты, у которого в волосах торчал клочок овечьей шерсти?

— Да сколько угодно, — сказал Тэдди, подавляя симптомы безумия. — А тебе знаком подобный индивид?

— Нет, описание продиктовано воображением. А почему тебя интересует седовласая дама? Твоя знакомая?

— Никогда ее не видел. Портрет создан фантазией. Это владелица ранчо, где я зарабатываю себе на хлеб с маслом — ранчо Де Лас Сомбрас. Я приехал встретить ее по телеграмме поверенного.

Октавия прислонилась к стенке телеграфа. Возможно ли это? И неужели он не знает?

— Ты управляющий этого ранчо? — спросила она растерянно.

— Да, — гордо ответил Тэдди.

— Я миссис Бопри, — сказала Октавия тихо, — только мои волосы никак не завиваются и я была вежлива с проводником.

На мгновение Тэдди стал опять взрослым, чужим и бесконечно далеким.

— Надеюсь, вы извините меня, — сказал он неловко. — Видите ли, я год прожил в прерии. Я не слыхал. Будьте добры, дайте мне ваши квитанции, и я погружу багаж в фургон. Его отвезет Хосе, а мы поедем вперед на двуколке.

Сидя рядом с Тэдди в легкой двуколке, запряженной белоснежной парой диких испанских лошадей, Октавия забыла о прошлом и будущем, замороженная настоящим. Гордок остался позади, и они неслась по ровной дороге на юг. Потом дорога исчезла, двуколка помчалась по бескрайному ковру кудрявой мескитной травы. Стука колес не было слышно. Неутомимые лошади шли ровным галопом. Ветер, напоенный ароматом тысяч акров синих и желтых степных цветов, упоительно свистел в ушах. Возникало пьянящее чувство полета и безграничной свободы. Октавия молчала, охваченная чисто физическим ощущением блаженства. Тэдди, казалось, решал какую-то проблему.

— Я буду называть вас мадам, — сообщил он результат своих размышлений. — Так вас будут называть мексиканцы — на ранчо работают почти одни мексиканцы. Мне кажется, так будет правильно.

— Превосходно, мистер Уэстлейк, — чопорно сказала Октавия.

— Нет, послушайте, — сказал Тэдди в некотором замешательстве, — это уж слишком, вы не находите?

— Не приставайте ко мне с вашим противным этикетом. Я только-только начала жить. Не напоминайте мне ни о чем искусственном. Почему этот воздух нельзя разливать по бутылкам! Уже ради него одного стоило приехать. Ой, посмотрите, олень!

— Заяц, — сказал Тэдди, не повернув головы.

— Разрешите. Можно, я буду править? — спросила раскрасневшаяся Октавия, глядя на него умоляющими, как у ребенка, глазами.

— С одним условием. Разрешите... Можно, я буду курить?

— Когда угодно! — воскликнула Октавия, торжественно беря вожжи. — А куда мне править?

— Курс — юго-юго-восток, на всех парусах. Видите эту черную точку на горизонте, пониже тех облаков с Мексиканского залива? Это — дубовая роща и ориентир. Курс — посреди-не между рощей и холмиком слева. Сейчас я продекламирую

вам правила управления лошадьми в прериях Техаса: не распускать вожжи и почаще ругаться.

— Я слишком счастлива, чтобы ругаться, Тэд. Зачем только люди покупают яхты и ездят в салон-вагонах, когда двуколка, пара одров и вот такое весеннее утро могут удовлетворить все земные желания?

— Я попрошу вас, — запротестовал Тэдди, тщетно чиркая спичкой о крыло двуколки, — не называть одрами этих обитателей воздуха. Они способны отмахать сто миль за день.

Наконец, ему удалось прикурить сигару от огонька, спрятанного в ладонях.

— Простор! — убежденно заявила Октавия. — Вот откуда это чувство. Теперь я знаю, чего мне не хватало, — простора, пространства, места!

— Для курения, — прозаически заметил Тэдди. — Я люблю курить в двуколке. Ветер вдувает и выдувает дым из легких, и экономится энергия на затыжку.

Они так естественно перешли на старый товарищеский тон, что только постепенно начинали осознавать всю странность своего нового положения.

— Мадам, — спросил удивленно Тэдди, — почему вам пришло в голову покинуть общество и явиться сюда? Или среди высших классов теперь модно проводить сезон на овечьем ранчо вместо Ньюпорта?

— Я разорилась, Тэдди, — беззаботно объяснила Октавия, интересовавшаяся в этот момент только тем, как без ущерба проскочить между грозными штыками "испанского меча" и зарослями чапарала. — У меня, кроме этого ранчо, не осталось ничего, даже дурного дома.

— Послушайте, — сказал Тэдди обеспокоено, но недоверчиво, — вы шутите?

— Когда мой муж, — сказала Октавия, смущенно комкая последнее слово, — скончался три месяца назад, я считала, что обладаю достаточным количеством земных благ. Его поверенный вдребезги разнес эту теорию в шестидесятиминутной лекции, проиллюстрированной соответствующими

документами. А вы ничего не слышали об очередной прихоти золотой молодежи Манхэттена — бросать поло и окна клубов, чтобы стать управляющими на овечьих ранчо в Техасе?

— Что касается меня, это объяснить нетрудно, — не задумываясь, ответил Тэдди. — Мне пришлось взяться за работу. В Нью-Йорке для меня работы не было. Поэтому я покружился возле старика Сэндфорда — он был членом синдиката, которому принадлежало ранчо до того, как полковник Бопри его купил, — и получил тут место. Сначала я не был управляющим. Я целые дни мотался в седле, изучая дело в подробностях, пока во всем не разобрался. Я понял причины убытков и сообразил, как можно их избежать. И тогда Сэндфорд вручил мне бразды правления. Я получаю сто долларов в месяц и могу сказать — не даром.

— Бедный Тэдди! — улыбнулась Октавия.

— О нет, мне нравится. Я откладываю половину моего жалования и крепок, как втулка от бочки. Это лучше поло.

— А хватит тут на хлеб, чай и варенье другому изгою цивилизации?

— Весенняя стрижка, — сказал управляющий, — как раз покрыла прошлогодний дефицит. Прежде бессмысленные расходы и небрежность были здесь правилом. Осенняя стрижка даст небольшой положительный баланс. В следующем году будет варенье.

Когда в четыре часа дня лошади обогнули пологий холм, поросший кустарником, и обрушились двойным белоснежным вихрем на ранчо Де Лас Сомбрас. Октавия вскрикнула от восторга. Величественная дубовая роца бросала густую прохладную тень, которой ранчо было обязано своим именем Де Лас Сомбрас — ранчо Теней. Под деревьями стоял одноэтажный дом из красного кирпича. Высокий сводчатый проход, живописно украшенный цветущими кактусами и висячими терракотовыми вазами, делил его пополам. Дом окружала низкая, широкая веранда, увитая зеленью, а вокруг тянулись садовый газон и живая изгородь. Позади дома поблескивал на солнце длинный узкий пруд. Дальше

виднелись хижины мексиканских батраков, загоны для овец, склады шерсти, станки для стрижки. Справа простирались невысокие холмы с темными пятнами зарослей чапаралья, слева — безграничная зеленая прерия сливалась с голубыми небесами.

— Какая прелесть, Тэдди, — прошептала Октавия. — Я... Я приехала домой.

— Не так уж плохо для овечьего ранчо, — согласился Тэдди с извинительной гордостью. — Я здесь кое-что подштопал в свободное время.

Откуда-то из травы выскочил мексиканский юноша и занялся лошадьми. Хозяйка и управляющий вошли в дом.

— Это миссис Макинтайр, — сказал Тэдди, когда навстречу им на веранду вышла добродушная, аккуратная старушка. — Миссис Мак, это наша хозяйка. С дороги ей, наверное, не повредит тарелка бобов и кусок бекона.

Подобные наветы на продовольственные ресурсы ранчо вызвали у миссис Макинтайр, экономки и такой же неотъемлемой принадлежности усадьбы, как пруд или дубы, вполне понятное негодование, которое она как раз собиралась излить, когда Октавия заговорила.

— О миссис Макинтайр, не извиняйтесь за Тэдди. Да, я зову его Тэдди. Так его зовут все, кто знает, что его нельзя принимать всерьез. Мы с ним играли в бирюльки и вырезали бумажные кораблики еще в незапамятные времена. Никто не обращает внимания на его слова.

— Да, — сказал Тэдди, — никто не обращает внимания на его слова при условии, что он их больше повторять не будет.

Октавия бросила на него быстрый лукавый взгляд из-под опущенных ресниц, взгляд, который Тэдди когда-то называл ударом в челюсть. Но загорелое обветренное лицо хранило простодушное выражение, и нельзя было предположить, что Тэдди на что-то намекает. Несомненно, думала Октавия, он забыл.

— Мистер Уэстлейк любит пошутить, — заметила миссис Макинтайр, сопровождая Октавию в комнаты. — Но, — прибавила она лояльно, — здешние обитатели всегда при-

нимают к сведению его слова, когда он говорит серьезно. Не могу представить, во что превратилось бы это место без него.

Для хозяйки ранчо были приготовлены две комнаты в восточном крыле дома. Когда она вошла, ее охватило уныние: такими пустыми и голыми они показались ей, но она быстро сообразила, что климат здесь субтропический, и оценила продуманность мебелировки. Большие окна были распахнуты, и белые занавески бились в морском бризе, лившемся через широкие жалюзи. Прохладные циновки устлали пол, глубокие плетеные кресла манили отдохнуть, стены были оклеены веселыми светло-зелеными обоями. Целую стену гостиной закрывали книги на некрашеных сосновых полках. Октавия сразу кинулась к ним. Перед ней была хорошо подобранная библиотека. Ей бросились в глаза заголовки романов и путешествий, совсем недавно вышедших из печати.

Сообразив, что подобная роскошь как-то не вяжется с глушью, где царят баранина, сколопендры и лишения, она с интуитивной женской подозрительностью начала просматривать титульные листы книг. На каждом томе широким росчерком было написано имя Теодора Уэстлейка-младшего.

Октавия, утомленная дорогой, в этот вечер легла спать рано. Она блаженно отдыхала в белой прохладной постели, но сон долго не приходил. Она прислушивалась к незнакомым звукам, мешавшим ей своей новизной: к отрывистому тявканью койотов, к неумолчной симфонии ветра, к далекому кваканью лягушек у пруда, к жалобе концертино в мексиканском поселке. Ее сердце теснили противоречивые чувства — благодарность и протест, успокоенность и смятение, одиночество и ощущение дружеской заботы, счастье и старая щемящая боль.

И она, как всякая другая женщина на ее месте, искала и нашла облегчение в беспричинном потоке сладких слез, а последние слова, которые она пробормотала засыпая, были: "Он забыл".

Управляющий ранчо Де Лас Сомбрас не был дилетантом. Он был “работягой”. Дом еще спал, а он уже отправлялся в утренний выезд стад и лагерей. Это было, собственно говоря, обязанностью главного объездчика, старика мексиканца с внешностью и манерами владетельного князя, но Тэдди, судя по всему, предпочитал полагаться на собственные глаза. Если не было спешной работы, он обычно возвращался к восьми часам и завтракал с Октавией и миссис Макинтайр за маленьким столом, накрытым на центральной веранде. Он приносил с собой веселье, живительную свежесть и запах прерий.

Через несколько дней после приезда он заставил Октавию достать амазонку и укоротить ее, насколько это требовалось из-за колючих зарослей.

С некоторой опаской Октавия надела амазонку и кожаные гетры, также предписанные Тэдди, и на горячей лошадке отправилась с ним обозреть свои владения. Он показал ей все: стада овец и баранов, пасущихся ягнят, чаны для замачивания шерсти, станки для стрижки, отборных мериносов на особом пастбище, водоемы, приготовленные к летней засухе, — и отчитывался в своем управлении с неугасающим мальчишеским энтузиазмом.

Куда девался прежний Тэдди, которого она так хорошо знала? Эту черту мальчишества она всегда любила в нем. Но теперь, кроме этой черты, как будто ничего и не осталось. Куда исчезли его сентиментальность, его прежнее изменчивое настроение то бурной влюбленности, то изысканной рыцарской преданности, то душераздирающего отчаяния, его нелепая нежность и надменное безразличие, вечно сменявшие друг друга? Он был тонкой, почти артистической натурой. Она знала, что этому великосветскому спортсмену-щеголю свойственны более высокие стремления. Он писал стихи, он немного занимался живописью, он разбирался в искусстве, и когда-то делился с ней всеми мыслями и надеждами. Но теперь — ей пришлось это признать — Тэдди забарикадировал от нее свой внутренний мир, и она видела только управляющего ранчо Де Лас Сомбрас и веселого

товарища, который простил и забыл. Почему-то ей вспомнилось описание ранчо, составленное мистером Бэннистером: “Все обнесено крепкой изгородью из колючей проволоки”.

“Тэдди тоже огорожен”, — сказала себе Октавия.

Ей было нетрудно догадаться, почему он воздвиг свои укрепления. Все началось на балу у Хэммерсмитов. Незадолго до этого она решила принять полковника Бопри и его миллионы — цену совсем не высокую при ее наружности и связях в самых недоступных сферах. Тэдди сделал ей предложение со всей свойственной ему стремительностью и пылкостью, а она поглядела ему прямо в глаза и сказала неумолимо и холодно: “Прошу никогда больше не говорить мне подобной чепухи”. — “Хорошо”, — сказал Тэдди с новым, чужим выражением — и теперь Тэдди был обнесен крепкой изгородью из колючей проволоки.

Во время первой поездки по ранчо на Тэдди снизошло вдохновение, и он окрестил Октавию “Мадам Бо-Пип” по имени девочки из “Сказок Матери-Гусыни”. Прозвище, под сказанное сходством имен и занятий, показалось ему необычайно удачным, и он называл ее так постоянно. Мексиканцы на ранчо подхватили это имя, прибавив лишний слог, так как не могли произнести конечного “п”, и вполне серьезно величали Октавию “ла мадама Бо-Пиши”. Постепенно это прозвище привилось в округе, а название “ранчо Бо-Пип” употреблялось не реже, чем “ранчо Де Лас Сомбрас”.

Наступил долгий период жары между маем и сентябрем, когда на ранчо работы мало. Октавия проводила дни, вкушая лотос. Книжки, гамак, переписка с немногими близкими подругами, новый интерес к старой коробке акварельных красок и мольберту помогали коротать душные дневные часы. А сумерки всегда приносили радость. Лучше всего была захватывающая скачка с Тэдди в лунном свете по овечьим ветрам просторам, когда их общество составляли только парящий лунь или испуганная сова. Часто из поселка приходили мексиканцы с гитарами и пели заунывные, надрывающие душу песни. Иногда — долгая уютная болтовня на

прохладной веранде, бесконечное состязание в остроумии между Тэдди и миссис Макинтайр, чье шотландское лукавство нередко одерживало верх над веселой шутливостью Тэдди.

Вечера сменяли друг друга, складываясь в недели и месяцы, — тихие, томные, ароматные вечера, которые привели бы Стрефона к Хлое<sup>1</sup> через любые колючие изгороди, вечера, когда, возможно, сам Амур бродил, крутя лассо, по этим зачарованным пастбищам, но ограда Тэдди оставалась крепкой.

Как-то июньским вечером мадам Бо-Пип и ее управляющий сидели на восточной веранде. Тэдди долго строил научные прогнозы относительно продажи осеннего настрига по двадцать четыре цента и, истощив все возможные предположения, окутался анестезирующим дымом гаванской сигары. Только такой непросвещенный наблюдатель, как женщина, мог столько времени не замечать, что по крайней мере треть жалования Тэдди улетучивается с дымом этих импортных регалий.

— Тэдди, — неожиданно и довольно резко сказала Октавия, — что вам дает работа на ранчо?

— Сто в месяц, — без запинки ответил Тэдди, — и полное содержание.

— Я думаю, мне следует вас уволить.

— Не выйдет, — ухмыльнулся Тэдди.

— Почему это? — запальчиво осведомилась Октавия.

— Контракт. По условиям продажи вы не имеете права расторгать ранее заключенные контракты. Мой истекает в двенадцать часов ночи тридцать первого декабря. В ночь на первое января вы можете встать и уволить меня. А если вы попытаетесь сделать это раньше, у меня будут все законные основания для предъявления иска.

Октавия, видимо, взвешивала последствия такого шага.

— Но, — весело продолжал Тэдди, — я сам подумываю об отставке.

Качалка его собеседницы замерла. Октавия ясно почувствовала, что кругом повсюду сколопендры, и индейцы, и громадная, безжизненная, унылая пустыня. А за ними — изгородь из колючей проволоки. Кроме ван-дрессеровской гордости, существовало и ван-дрессеровское сердце. Она должна узнать, забыл он или нет.

— Конечно, Тэдди, — заметила она, разыгрывая вежливый интерес, — здесь очень одиноко и вас влечет прежняя жизнь — поло, омары, театры, балы.

— Никогда не любил балов, — добродетельно возразил Тэдди.

— Вы стареете, Тэдди. Ваша память слабеет. Никто не видел, чтобы вы пропустили хоть один бал, разве что вы танцевали в это время на другом. И вы пренебрегали правилами хорошего тона, слишком часто приглашая одну и ту же даму. Как звали эту Форбс — ту, пучеглазую? Мэйбл?

— Нет, Адель. Мэйбл — это та, у которой острые локти. И Адель совсем не пучеглазая — это ее душа рвется наружу. Мы беседовали о сонетах и Верлене. Я тогда как раз пытался пристроить желобок к Кастальскому ключу.

— Вы танцевали с ней, — упорствовала Октавия, — пять раз у Хэммерсмитов.

— Где у Хэммерсмитов? — рассеянно спросил Тэдди.

— На балу, — ядовито сказала Октавия. — О чем мы говорили?

— Насколько я помню, о глазах, — ответил Тэдди после некоторого размышления. — И о локтях.

— У этих Хэммерсмитов, — продолжала Октавия милую светскую болтовню, подавив отчаянное желание выдрать клоч выгоревших золотистых волос из головы, уютно покоившейся на спинке шезлонга, — у этих Хэммерсмитов было слишком много денег. Рудники, кажется? Во всяком случае что-то, приносившее сколько-то с тонны. В их доме было невозможно получить стакан простой воды — вам непременно предлагали шампанское. На этом балу всего было сверх меры.

— Да, — сказал Тэдди.

1 Герои пастушеской поэмы Филиппа Сиднея "Аркадия".

— А сколько народу! — продолжала Октавия, сознавая, что выпадает в восторженную скороговорку школьницы, описывающей свое первое появление в свете. — На балконах было жарче, чем в комнатах. Я... что-то потеряла на этом балу.

Тон последней фразы был рассчитан на то, чтобы обезвредить целые мили колючей проволоки.

— Я тоже, — признался Тэдди, понизив голос.

— Перчатку, — сказала Октавия, отступая, как только враг приблизился к ее траншеям.

— Касту, — сказал Тэдди, отводя свой авангард без малейших потерь. — Я весь вечер общался с одним из хэммерсмитовских рудокопов. Парень не вынимал рук из карманов и, как архангел, вещал о циановых заводах, штреках, горизонтах и желобах.

— Серую перчатку, почти совсем новую, — горестно вздохнула Октавия.

— Стоящий парень этот Макардл, — продолжал Тэдди одобрительным тоном. — Человек, который ненавидит анчоусы и лифты, который грызет горы, как сухарики, и строит воздушные туннели, который никогда в жизни не болтал чепухи. Вы подписали заявление о возобновлении аренды, мадама? К тридцать первому оно должно быть в земельном управлении.

Тэдди лениво повернул голову. Кресло Октавии было пусто.

Некая сколопендра, проползая путем, начертанным судьбой, разрешила ситуацию. Случилось это рано утром, когда Октавия и миссис Макинтайр подрезали жимолость на западной веранде. Тэдди, получив известие, что ночная гроза разогнала стадо овец, исчез еще до рассвета.

Сколопендра, ведомая роком, появилась на полу веранды и затем, когда визг женщин подсказал ей дальнейшие действия, со всех своих желтых ног бросилась в открытую дверь крайней комнаты — комнаты Тэдди. За нею, вооружившись домашней утварью, отобранной по принципу длины, и теряя драгоценное время в попытках занять арьергардную

позицию, последовали Октавия и миссис Макинтайр, бояливо подбирая юбки.

В комнате сколопендры не было видно, и ее грядущие убийцы принялись за тщательные, хотя и осторожные поиски своей жертвы.

Но и в разгаре опасного и захватывающего приключения Октавия, очутившись в святилище Тэдди, испытывала трепетное любопытство. В этой комнате сидел он наедине со своими мыслями, которыми он теперь ни с кем не делился, и мечтами, которые он теперь никому не поверял.

Это была комната спартанца или солдата. Один угол занимала широкая брезентовая койка, другой — небольшой книжный шкаф, третий — грозная стойка с винчестерами и дробовиками. У стены стоял огромный письменный стол, заваленный корреспонденцией, справочниками и документами.

Сколопендра проявила гениальные способности, ухитрившись спрятаться в этой полупустой комнате. Миссис Макинтайр тыкала ручкой метлы под книжный шкаф. Октавия подошла к постели. Тэдди второпях оставил комнату в полном беспорядке. Горничная-мексиканка не успела ее убрать. Большая подушка еще хранила отпечаток его головы. Октавию осенила мысль, что отвратительное создание могло забраться на постель и спрятаться там, чтобы укусить Тэдди, ибо сколопендры жестоко мстят управляющим, где только могут.

Октавия осторожно перевернула подушку и чуть было не позвала на помощь — там лежало что-то длинное, тонкое, темное. Но она вовремя удержалась и схватила перчатку — серую перчатку, безнадежно измятую — надо полагать, за те бесчисленные ночи, которые она пролежала под подушкой человека, забывшего бал у Хэммерсмитов. Тэдди, должно быть, так торопился утром, что на этот раз забыл скрыть ее в дневном тайнике. Даже управляющие, люди, как известно, хитрые и изворотливые, иногда попадают.

Октавия спрятала серую перчатку за корсаж утреннего летнего платья. Это была ее перчатка. Люди, которые окру-

жают себя крепкой изгородью и помнят бал у Хэммерсмитов только по разговору с рудокопом о штреках, не имеют права владеть подобными предметами.

Но все-таки какой рай эти прерии! Как они цветут и благоухают, когда находится то, что давно считалось потерянным! Как упоителен бьющий в окна свежий утренний ветерок, напоенный дыханием желтых цветов ратамы! И разве нельзя постоять минутку с сияющими, устремленными вдаль глазами, мечтая о том, что ошибку можно исправить?

Почему миссис Макинтайр так нелепо тычет повсюду метлой?

— Нашла, — сказала миссис Макинтайр, хлопая дверью. — Вот она.

— Вы что-нибудь потеряли? — спросила Октавия с вежливым равнодушием.

— Гадина! — яростно воскликнула миссис Макинтайр. — Разве вы о ней забыли?

Вдвоем они уничтожили сколопендру. Такова была ее награда за то, что с ее помощью вновь отыскалось все потерянное на балу у Хэммерсмитов.

Очевидно, Тэдди не забыл о перчатке и, вернувшись на закате, предпринял тщательные, хотя и тайные поиски. Но нашел он ее только поздно вечером, на залитой лунным светом восточной веранде. Перчатка была на руке, которую он считал навеки для себя потерянной, и поэтому он решился повторить некую чепуху, повторять которую ему когда-то строго запретили. Ограда Тэдди рухнула.

На этот раз тщеславие не стояло на пути, и любовный дуэт прозвучал так естественно и успешно, как и должно быть между пылким пастухом и нежной пастушкой.

Прерии превратились в сад, ранчо Де Лас Сомбрас стало ранчо Света.

Через несколько дней Октавия получила от мистера Бэннистера ответ на письмо, в котором она просила его выяснить некоторые вопросы, связанные с ранчо. Вот часть этого письма:

“Я не совсем понял ваше упоминание об овечьем ранчо. Через два месяца после вашего отъезда было установлено, что означенное ранчо не являлось собственностью полковника Бопри, поскольку документально было доказано, что перед смертью оно было им продано. Об этом мы сообщили вашему управляющему мистеру Уэстлейку, который незамедлительно перекупил таковое. Не представляю себе, каким образом этот факт мог остаться неизвестным вам. Прошу вас незамедлительно обратиться к вышеупомянутому джентльмену, который по крайней мере подтвердит мое сообщение”.

Когда Октавия разыскала Тэдди, она была настроена очень воинственно.

— Что вам дает работа на ранчо? — повторила она свой прежний вопрос.

— Сто... — начал было Тэдди, но увидел по ее лицу, что ей все известно. В ее руке было письмо мистера Бэннистера, и он понял, что игра кончена.

— Это мое ранчо, — признался он, как уличенный школьник. — Чего стоит управляющий, который со временем не вытеснит своего хозяина?

— Почему ты здесь работаешь? — упорствовала Октавия, тщетно пытаясь подобрать ключ к загадке Тэдди.

— Говоря начистоту, Тэви, — сказал Тэдди с невозмутимой откровенностью, — не ради жалованья. Его только-только хватало на табак и на крем от загара. На юг меня послали доктора. Правое легкое что-то захандрило из-за переутомления от гимнастики и поло. Мне требовался климат, озон, отдых и тому подобное.

Мгновенно Октавия очутилась в непосредственной близости от пораженного органа. Письмо мистера Бэннистера соскользнуло на пол.

— Теперь... теперь оно здорово, Тэдди?

— Как мескитный пень. Я обманул тебя в одном. Я заплатил пятьдесят тысяч за твое ранчо, как только узнал, что твое право владения не действительно. Примерно такая сумма накопилась на моем счету в банке, пока я тут пас



овец, и практически ранчо досталось мне даром. Тем временем там еще выросли проценты, Тэви. Я подумываю о свадебном путешествии на яхте с белыми лентами по мачтам в Средиземное море, потом к Гебридам, а оттуда в Норвегию и до Зюдерзее.

— А я думала, — шепнула Октавия, — о свадебном галопе с моим управляющим среди овечьих стад и о свадебном завтраке с миссис Макинтайр на веранде и, может быть, с веточкой флер-д'оранжа в красной вазе над столом.

Тэдди рассмеялся и запел:

У крошки Бо-Пип голосок охрип —  
Разбежались ее овечки  
Не надо их звать: все вернутся опять...

Октавия притянула его к себе и что-то шепнула. Но говорила она совсем о других колечках.

Из сборника  
“ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”  
1910

## ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Вы, конечно, сами все знаете про театры и про актеров. Вы задевали живых актеров локтями на улицах, а они задевали вас за живое на сцене. Вы читали критику на них в газетах и видели в журналах остроумные шутки насчет хористок и длинногривых трагиков. Если свести воедино ваши представления о таинственной закулисной стране, то получится примерно следующее.

Премьерши имеют по пять мужей и массу драгоценностей, фальшивых, конечно. А сложение у них ничуть не хуже вашего, мадам, просто они пользуются накладками. Хористки — это сплошь пергидроль, поклонники и “паккарды”. С гастролей все актеры возвращаются по шпалам на своих двоих. Добродетельные актрисы в Нью-Йорке требуют, чтобы на роли комических старух брали их мамаш, а на гастролях — хотя бы двоюродных тетушек. Настоящее имя Белью — Бойл О’Келли. Джон Маккуллок свои разоблачения, что записаны на фонограф, попросту украл у Эллиен Терри, перекупив по дешевке ее мемуары. Джо Уэббер куда смешнее, чем И. Г. Содери; а Генри Миллер явно стареет и уже не тот, что был раньше. Ночью после спектакля все, кто работает в театре, пьют шампанское и заедают омарами, и так до утра или даже до полудня. Да чего там, все равно кинематограф сделал из них всех котлету.

Но в действительности мало кто из нас знает истинную жизнь служителей Мельпомены. Знали бы, так, наверно, валили бы в актеры еще гуще, чем валят сейчас. Мы поглядываем на них скептически и свысока, хотя потом приходим домой и у себя перед зеркалом пробуем разные жесты и позы.

В последнее время появилась новая точка зрения на актеров. Что будто бы в театрах работают не гастролирующие вакханки и охотники за брильянтами, а самые что ни на есть обычные деловые люди, ученые и аскеты, обремененные семьями и собственными библиотеками, что они владеют недвижимостью и ведут дела так же здраво и осмотрительно, как любой из нас, благонамеренных граждан, пожизненно привязанных к колесу квартирной платы, растущих цен на уголь, газ и лед и муниципальных сборов.

Которая из этих двух теорий верна, здесь не место гадать. Я просто предлагаю вашему вниманию небольшой рассказ о двух членах эстрадной труппы, а в подтверждение его правдивости могу провести вас через актерский подъезд в старый театр Китора и показать на двери темное пятно от бесчисленных толчков ладонью, когда недосуд поворачивать чугунную витую ручку, — у той двери я последний раз видел Черри, она ласточкой впорхнула к себе в уборную, как всегда рассчитав время до минуты.

Эстрадный дуэт “Харт и Черри” был счастливой находкой. До этого Боб Харт четыре года разъезжал по восточным и западным штатам со своей смешанной программой, в нее входил монолог, три жанровые песенки с молниеносным переодеванием, две пародии на знаменитых пародистов и один характерный танец, не раз удостоенный<sup>1</sup> одобрительного взгляда контрабасиста в оркестре, — для настоящего актера нет выше похвалы.

Дело в том, что актеру приятнее всего на свете видеть, как кто-нибудь из его собратьев позорит жалкими ужимками актерское звание. Чтобы доставить себе такое удовольствие, он может покинуть теплое местечко на Бродвее и отправиться за тридевять земель — присутствовать при заклинании

какого-нибудь своего менее даровитого коллеги. Но случается — хотя и очень редко, — что тот, кто приходит, чтобы поглумиться, остается смотреть и даже потрудит свои руки звучным соприкосновением ладоней.

Однажды вечером Боб Харт всунул свое серьезное и всем в театральном мире известное лицо в окошечко кассы конкурирующей труппы и получил контрамарку в партер.

Вспыхивали и гасли названия номеров программы, одно за другим погружаясь в небытие и все глубже погружая Харта в мрачное уныние. Другие зрители сипли и корчились от смеха, свистели и хлопали — Боб Харт, “Бездна Обаяния и На Все Руки Мастер”, сидел с постной физиономией и далеко держал ладонь от ладони, словно мальчик, помогающий бабушке смотать шерсть в клубок.

Но вот начался восьмой номер программы, и “Бездна Обаяния” встрепенулся. Счастливая восьмерка возвещала появление Виноны Черри, “Исполнительницы Характерных Песенок с Переодеваниями”. Вся-то Черри была — дунь и нет ее, но свой номер она умела подать честь по чести. Сначала перед вами появлялась восхитительно юная деревенская простушечка в ситцевом передничке и с корзинкой бутафорских ромашек и пела о том, что у них в старой бревенчатой школе можно научиться не одним только столбикам и глаголам, но и кое-чему другому, особенно “когда учитель в наказание на вечер в классе оставял”. Потом, взмахнув ситцевыми оборками, она исчезала и быстрее, чем в мгновение ока, появлялась снова — уже задорной парижанкой. Ибо Искусству ничего не стоит сблизить нашу добрую красную мельницу и парижскую Moulin Rouge<sup>1</sup>. И тогда...

Но дальше вы все сами знаете. И Боб Харт знал. Просто он увидел и нечто другое. В лице Черри он увидел единственную актрису, в точности подходящую, по его мнению, для роли Эллиен Граймс в скетче, который он написал и хранил под крышечкой своего чемодана. У Боба Харта, как у вся-

<sup>1</sup> Мулен Руж — “красная мельница” (фр.) — знаменитый театр-кабаре.

кого нормального актера, бакалейщика, газетчика, профессора, маклера или фермера, была припрятана пьеса собственного сочинения. Их хранят под крышкой чемодана или в дупле дерева, в письменном столе или в стоге сена, на книжной полке или во внутреннем кармане, в сейфах, шкапулках и ящиках для угля, пока не появится какой-нибудь новый мистер Фроман<sup>1</sup>.

Но скетч Боба Харта был не из тех, которым суждено заплесневеть без применения. Назывался он "Кот издох — мышам раздолье". Боб написал его и спрятал до того времени, когда ему подвернется партнерша на роль Эллен Граймс, полностью отвечающая его авторскому замыслу. И вот теперь он увидел живую Эллен: у нее была и юность, и бойкость, и наивность, и огонек, и самая безупречная актерская техника — даже на его придиричивый вкус.

После ее выступления Харт разыскал в кассе директора и получил у него адрес Черри. На завтра в пять часов вечера он вошел в старый дом в западном конце одной из Сорковых улиц и послал на верхний этаж свою карточку.

При дневном освещении, в мирской блузке с длинным рукавом и простой шерстяной юбке, с подобранными волосами и скромным выражением лица, она хоть сейчас могла бы выступить на сцене в роли Пруденс Уайз, дочка проповедника и героини великой (еще не написанной и не озаглавленной) драмы из истории Новой Англии.

— Я знакома с вашей работой, мистер Харт, — сказала мисс Черри Вишенка, внимательно изучив его карточку. — По какому поводу вы хотели меня видеть?

— Я смотрел вас вчера на сцене, — ответил Харт. — У меня есть один скетч, я его написал и пока придерживаю. Там две роли, и мне кажется, вторая вам в самый раз подходит. Вот я и решил потолковать с вами об этом деле.

— Заходите в гостиную, — сказала мисс Черри. — Это меня интересует. Хотелось бы попробовать играть, а не выступать с номерами.

<sup>1</sup> Чарльз и Дэниел Фроманы — известные в конце XIX века американские антрепренеры и режиссеры.

Боб Харт вытащил из кармана своих "Мышей" и прочитал ей.

— Пожалуйста, прочтите еще раз, — попросила мисс Черри.

Потом она предложила несколько поправок: ввести в пьесу вестника взамен разговора по телефону, оборвать диалог перед развязкой, когда героини борются за револьвер, и совершенно изменить все реплики Эллен в том месте, где ее одолевает ревность. Харт без возражений все принял. Она сразу увидела слабые места в его скетче. Ничего не скажешь, женская интуиция, именно этого ему и не хватало. К концу разговора Харт готов уже был ручаться всеми своими навыками, знаниями и накоплениями за четыре эстрадных года, что "Мыши" расцветут пышным круглогодичным цветом в саду гастрольных возможностей. Мисс Черри была не столь поспешна в выводах. Поморщив свой гладкий юный лоб, постучав карандашиком по своим ровным белым зубкам, она, наконец, изрекла последнее слово.

— Мистер Харт, — сказала она. — По-моему, ваш скетч должен иметь успех. Роль этой Граймс подходит мне, будто специально для меня писана. У меня бы она заиграла, как духовой оркестр сорок четвертого кавалерийского полка на смотру. И вас я видела, знаю, как вы прекрасно управитесь со второй ролью. Но дело есть дело. Сколько вы получаете в неделю за ваше теперешнее выступление?

— Двести, — ответил Харт.

— А я сто, — сказала Черри. — Обычная скидка для женщины. Но я на эту сумму живу и еще каждую неделю откладываю по несколько зелененьких про черный день. Работа в театре мне нравится, я ее люблю, но еще больше я люблю другое — деревенский домик, который я куплю себе когда-нибудь, а во дворе чтобы бегали рябые курочки-несушки и шесть уток. И позвольте вам сказать, мистер Харт, что у меня сугубо деловой подход. Если вы хотите, чтобы я сыграла роль в вашем скетче, я сыграю. И, по-моему, дело у нас пойдет. Но только я должна вас предупредить: никакой дури я не допущу. Ни о чем таком не может быть и речи. Я работаю

в театре ради заработка, как другие девушки работают в конторах и магазинах. Хочу накопить денег на то время, когда мне уже не под силу окажутся теперешние трюки. В “Доме Старых Дам” или в “Убежище для Непредусмотрительных Актрис” я жизнь кончать не намерена. Хотите, чтобы мы с вами стали компаньонами, мистер Харт, и при этом совершенно безо всяких глупостей, — я согласна. Какие в театре бывают компаньоны, мне известно, но только мы с вами должны во всем от них отличаться. Помните, я выхожу на сцену для того, чтобы побольше принести домой в конверте с желтым табачным пятном на том месте, где лизнул кассир. Считайте, что у меня такое хобби — накопить, пока лето, побольше теплых вещей на зиму. Вы должны знать, что я за человек. Ночных ресторанов я в глаза не видела, пью только некрепкий чай, в жизни не разговаривала с мужчиной у актерского подъезда и имею вклады в пяти сберегательных кассах.

— Мисс Черри, — проговорил Боб Харт своим красивым, серьезным голосом, — ваши условия мне подходят. Я и сам человек сугубо деловой. Во сне я всегда вижу домик из пяти комнат на северном берегу Лонг-Айленда, на кухне повара-японец стряпает устричный суп и утку по-токийски, а я на веранде качаюсь в гамаке и читаю “В дебрях Африки” Стэнли. И ни живой души вокруг. Вы никогда не интересовались Африкой, мисс Черри?

— Я — нет, — ответила Черри. — Свои деньги я намерена класть в банки. Там начисляют до четырех процентов на вклад. Я рассчитала, что даже при теперешнем жалованье смогу через десять лет получать пятьдесят долларов в месяц одних процентов. А может, вложу часть капитала в какое-нибудь дело — дамскую парикмахерскую или шляпную мастерскую, — и тогда мой доход увеличится.

— Ну что ж, — сказал Харт. — Во всяком случае, взгляд у вас верный. Если бы все у нас откладывали деньги, вместо того чтобы пускать по ветру, каждый мало-мальски стоящий актер мог бы без опаски смотреть в будущее. Я рад, что у вас такой правильный подход, мисс Черри. Я его разде-

ляю, и мне кажется, что этот скетч, когда мы его как следует отделаем, увеличит и ваши, и мои доходы вдвое против теперешнего.

Дальнейшая судьба скетча “Кот издох — мышам раздолье” ничем не отличалась от судьбы всякого удачного драматургического произведения. Его сокращали, разбивали на сцены, переделывали, урезывали, переставляли реплики, снова делали как было, дописывали, вычеркивали, меняли название, восстанавливали прежнее, заменяли револьвер кинжалом, а потом опять кинжал револьвером — словом, подвергали всем существующим видам ужатия и доработки.

Репетировали в пустой гостиной пансиона, где жила Черри, отрабатывая действие строго по минутам, пока не добились, чтобы шипение старинных часов перед боем всегда раздавалось ровно на полсекунды раньше, чем щелчок незаряженного револьвера, который Эллиен Граймс держала в руке, прогоняя захватывающую кульминационную сцену.

Да, это была захватывающая пьеса, и поставлена она была замечательно.

На сцене звучал настоящий выстрел из настоящего заряженного тридцатидвухкалиберного револьвера. Эллиен Граймс, девушка с Дальнего Запада, в ловкости и отваге не уступающая Буффало Биллу, пламенно любит Джека Валентайна, личного секретаря и будущего доверенного зятя своего отца. Арапахо Граймс, полумиллионер и король скотоводов, живет на собственном ранчо, которое расположено, судя по деталям пейзажа, где-то не то в штате Невада, не то на Лонг-Айленде. Валентайн (в частной жизни мистер Боб Харт) носит краги и охотничье галифе и местом своего жительства называет город Нью-Йорк, так что непонятно, что же он делает в Неваде или там на Лонг-Айленде, и остается только догадываться, зачем королю скотоводов понадобились на ранчо кожаные краги, да еще и секретарь в них.

Словом, вы сами знаете не хуже меня, что такие пьесы, как ни прикидывайся, всем нам по душе — этакая смесь “Сына Синей Бороды” с “Цимбелином” в русской постановке.

В “Мышах” было всего две с половиной роли. Харт и Черри, разумеется, исполняли первую и вторую; а половинка всегда доставалась рабочему сцены, который вбегал в смокинге и в панике и кричал, что дом окружили индейцы, а заодно, по приказанию директора, незаметно прикручивал газ в бутфорском камине.

Еще была в этом скетче вторая женская роль — столичной светской красавицы, которая приезжала погостить на ранчо, успев околдовать Джека Валентайна, еще когда он не разорился и был состоятельным клубменом в Нью-Йорке. Эта девица фигурировала на сцене только в виде фотографии — Джек держал ее портрет на каминной полке в их лонг-айлендской... то бишь невадской гостиной. И Элен, понятно, мучилась ревностью.

А дальше начинались захватывающие события. Старый Арапахо Граймс в одночасье умирает от грудной жабы — об этом нам театральным шепотом, так, что слышно в последнем ряду, сообщает осиротевшая Элен, — и при его кончине присутствует только один человек, его секретарь. А известно, что в день смерти у него в библиотеке (это на ранчо!) оставалось 647 тысяч долларов, вырученных от продажи на Восток партии рогатого скота (вот откуда у нас такие цены на бифштексы!). Деньги исчезли. Джек Валентайн был единственным человеком, который находился при старом скотоводе, когда тот предположительно отдал концы.

— “Видит бог, я его люблю, но если это его рук дело...” — ну, вы понимаете. И дальше в достаточно нелестных тонах говорится о нью-йоркской красавице, которая, кстати сказать, так и не появляется на сцене, — и можно ее понять, когда Театральное объединение замораживает цены на билеты и дело дошло уже до того, что платье вам на спине застегивает помощник режиссера, на костюмершу просто не хватает средств.

Однако погодите. Приближается развязка. Элен Граймс, не в силах дольше владеть своим ковбойским темпераментом, совершенно теряет голову от ревности. Она

убедилась, что ее Джек Валентайн не только коварен, но еще и расчетлив. Одним махом лишиться 647 тысяч долларов и возлюбленного в охотничьих галифе с галунами зигзагом, как температурная кривая у тифозного больного, — это какую хочешь благородную леди выведет из себя. Трепещите же.

Он и она стоят в библиотеке (на ранчо), где над книжными шкапами висят лосиные рога (ведь когда-то, если не ошибаюсь, на Лонг-Айленде в первобытных лесах водились лоси?). Это — начало конца. Я не знаю более интересного места в спектакле, разве что конец начала.

Элен думает, что деньги взял Джек. Больше-то ведь некому было: директор все представление просидел у окошечка кассы, оркестранты со своих мест не вставали, а через актерский подъезд старый Джимми не пропустит ни живой души — до тех пор, пока ему не предъявят в качестве гарантий благонадежности скайтерьера или автомобиль.

Окончательно, как мы сказали, потеряв голову, Элен говорит Джеку Валентайну: “Трагител и вор — и хуже того, похититель доверчивых сердец! Ты заслужил смерть!”

При этом она, сами понимаете, выхватывает свой верный револьвер.

“Но я буду милосердна, — продолжает Элен. — Ты останешься в живых, и это послужит тебе наказанием. Сейчас ты увидишь, с какой легкостью я могла бы обречь тебя смерти, которой ты заслуживаешь. Вот на камине ее портрет. Пулю, что должна была пробить твоё подлое сердце, я всажу в ее прекрасное лицо”.

Сказано — сделано. И никаких там холостых патронов, никаких погремучек за сценой. Элен стреляет. Пуля — настоящая пуля — пробивает фотографию, попадает в скрытую пружину — и панель тайника в стене отодвигается, а там — взгляните-ка! — те самые 647 тысяч, лежат как миленькие, ассигнации пачками, золото в мешках. С ума сойти. Ну, вы понимаете. Черри два месяца практиковалась с мишенью на крыше своего пансиона. Тут нужна большая меткость. В спектакле ей надо было попадать в медный кру-

жочек диаметром всего три дюйма, да еще заклеенный обоями; надо было каждый раз остановиться точно на том же месте, и фотография должна была стоять точно в том же положении, и стрелять надо было каждый раз недрогнувшей, твердой рукой.

Конечно же, старый Арапахо просто припрятал денежки в укромном месте, и, конечно, Джек не взял себе ничего, кроме собственного жалования (за что ему, конечно, можно было бы пришить "присвоение денег при отягчающих обстоятельствах", но это уже другой вопрос), и, конечно же, нью-йоркская красавица на самом деле обручена с владельцем строительной конторы в Бронксе, так что, естественно, Джек и Эллиен оказываются под занавес в двойном нельсоне — и все кончается ко всеобщему счастью.

Доведя скетч до совершенства, Харт и Черри дали пробный спектакль. Успех был сногшибательный. Они одержали одну из тех редких побед в искусстве, которые буквально затопляют зрительный зал сверху донизу. Галерка рыдала, оголенный партер плавал в волнах слез.

Театральные агенты ходили по пятам за Хартом и Черри и совали им на подпись бланки контрактов с не проставленными суммами. И вылилось это все в пятьсот долларов еженедельно.

После спектакля, проводив Черри до порога ее пансиона, Харт снял шляпу и пожелал ей спокойной ночи.

— Мистер Харт, — сказала она серьезно, — не зайдете ли на минутку в гостиную? Перед нами открылась возможность заработать приличные деньги. И наша задача теперь — как можно больше сократить расходы, чтобы не тратить сверх нужды и цента.

— Согласен, — ответил Боб. — Дело есть дело. Вы свои деньги распахиваете по банкам, а мне каждую ночь снится мой домик с поваром-японцем, и чтоб там больше ни живой души. Всякое соображение насчет того, как увеличить чистый доход, представляет для меня интерес.

— Зайдите же на минуту в гостиную, — еще серьезнее повторила Черри. — У меня к вам есть деловое предложение,

как сократить расходы и помочь вам в осуществлении вашей мечты, а мне — моей. Сугубо деловое предложение.

Скетч "Кот издох — мышам раздолье" шел в Нью-Йорке с огромным успехом целых десять недель — для эстрадных театров срок немалый, — а потом уехал в провинцию. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что он служил нашему дуэту верным и неисчерпаемым источником дохода, за два года нисколько не утратив своей шумной популярности.

Сэм Паккард, директор одного из нью-йоркских эстрадных театров, так говорил о Харте и Черри:

— Самая лучшая и самая порядочная эстрадная пара. Одно удовольствие — читать их имена в афишке. Спокойные, трудолюбивые, никаких истерик и сердечных страданий, на работу являются минута в минуту, после выступления — сразу домой, и оба такие джентльмены, ну прямо настоящие леди. Никогда еще актеры не причиняли мне меньше неприятностей и не внушали мне больше уважения к своей профессии.

И здесь, ободрав, наконец, всю шелуху, мы подобрались к зерну нашего рассказа.

В конце второго сезона "Мыши" вернулись в Нью-Йорк для второго прогона в летних театрах и на открытых эстрадах. Их с готовностью и на самых выгодных условиях включали в любую эстрадную программу. У Боба Харта домик его мечты был уже, можно сказать, в кармане, а Черри накопила столько банковских книжек, что пришлось ей покупать для них в рассрочку книжные полки.

Говоря это, я просто хочу убедить вас в том, что и среди актеров очень часто встречаются люди, которые живут во имя избранной цели, как, скажем, человек, мечтающий стать президентом, или бакалейщик, задумавший обзавестись собственным загородным домом, или благородная дама, собравшаяся сменить графский хрен на княжескую редьку. И при этом, да будет мне позволено заметить, не для печати, что, идя к своей цели, они поистине способны порой свершать чудеса.

Слушайте же.

Во время представления "Мышей" в новом здании театра "Вестфалия" в Нью-Йорке Винона Черри почему-то нервничала. И, стреляя в фотографию на камине, она, вместо того чтобы попасть в лицо красотке и в медный кружочек, пустила пулю в шею Бобу Харту над левой ключицей. От неожиданности Харт упал замертво, а Черри картинно грохнулась в обморок.

Публика, полагая, что ей показали комедию, а не трагедию с женитьбой и примирением, радостно аплодировала. Единственный человек, не потерявший присутствия духа (один такой всегда найдется на месте подобных происшествий), дал знак опустить занавес, и две бригады рабочих сцены уволокли в разные стороны два распростертых тела. Объявили следующий номер программы, и веселье продолжалось.

У актерского подъезда был выловлен молодой медик, ожидавшийся своей пациентки с букетом алых роз наготове. Он внимательно осмотрел Харта и посмеялся от души.

— В газетах о вас не напишут, старина! — таков был его диагноз. — На два дюйма левее — и была бы повреждена сонная артерия. А так — пусть бугафор оторвет у какой-нибудь хористочки от подола полоску валансьенских кружев и наложит вам повязку, потом поезжайте домой, там вас перевяжет районный доктор — и все пройдет. А теперь прошу меня простить, меня ждет тяжелобольная.

Боб Харт воспрянул духом и почувствовал себя гораздо лучше. Тут в помещение, где он лежал, пришел Винченче — Великий Фокусник, подлинный артист своего дела. Винченче, он же в быту Сэм Григгз из Брэтлборо, штат Вермонт, был серьезный человек, из каждого города посылавший игрушки и сласти двум маленьким дочкам. Он вместе с Хартом и Черри ездил по провинции и состоял с ними в дружбе.

— Боб, — озабоченно сказал Великий Фокусник, — слава богу, что рана не опасна. Девочка вне себя.

— Кто? — не понял Харт.

— Да Черри. Мы не знали, в каком ты состоянии, и не пускали ее к тебе. Директор и три девушки держат ее там из последних сил.

— Но я же понимаю, это несчастный случай, — сказал Харт. — Я на Черри не в обиде. Просто она не совсем хорошо себя чувствовала. Пусть не угрызается. Она человек деловой. Через три дня, доктор говорит, я снова смогу выступать. Так что незачем ей беспокоиться.

— Парень, — свирепо проговорил Сэм Григгз, нахмурав свой старый, обветренный, складчатый лоб. — Ты что, автомат или мужчина? Черри все глаза по тебе выплакала, все кричит: "Боб! Боб!" — и к тебе рвется, а ее держат за руки, за ноги, сюда не пускают.

— Чего это она? — недоуменно спросил Харт. — Через три дня возобновим выступления. Доктор говорит, рана неопасная. Она не потеряет на этом и половины недельного заработка. Несчастный случай, я понимаю. Чего это она?

— Да ты-то чего, слепой или дурак? — ответил ему Винченче. — Она тебя любит и чуть с ума не сошла оттого, что ты ранен. Что с тобой? Или она для тебя ничего не значит? Слышал бы ты, как она тебя зовет!

— Она... меня... любит? — повторил Боб Харт, приподнимаясь на груди размалеванных задников. — Черри меня любит? Да этого быть не может!

— Ты бы на нее посмотрел да сам послушал.

— Но говорю тебе, — сказал Боб садясь, — этого быть не может. Мне никогда ничего подобного и в голову не приходило.

— Тут двух мнений быть не может, — произнес Великий Фокусник. — Она голову потеряла от любви к тебе. Как ты мог быть таким слепцом?

— Но господи ты боже мой! — Боб вскочил на ноги. — Ведь теперь уже поздно. Поздно, говорю тебе, Сэм. Понимаешь? Поздно! Не может этого быть. Ты, наверно, ошибся. Не может быть. Тут что-то не так.



— Она плачет по тебе, — сказал Великий Фокусник. — Из любви к тебе она одна борется против троих и так громко зовет тебя, что дирекция не решается поднять занавес. Проснись и протри глаза.

— Из любви ко мне? — растерянно повторил Боб Харт. — Да говорю я тебе: поздно! Слышишь? Поздно. Мы же с ней уже два года женаты.

## МЛАДЕНЦЫ В ДЖУНГЛЯХ

Как-то раз в Литл-Роке говорит мне Монтегью Силвер, первый на всем Западе ловкач и пройдоха:

— Если ты когда-нибудь выживешь из ума, Билли, или почувствуешь, что ты уже слишком стар, чтобы по-честному заниматься надутельством взрослых людей, поезжай в Нью-Йорк. На Западе каждую минуту рождается на свет один простака, но в Нью-Йорке их просто мечут, как икру, так что и не сосчитать.

Прошло два года, и вот замечаю я, что имена русских адмиралов стали выскакивать у меня из памяти, а над левым ухом появилось несколько седых волосков; тут я понял, что пришло время воспользоваться советом Силвера.

Я вкатился в Нью-Йорк в один прекрасный день около полудня и сразу же пошел прогуляться по Бродвею. Вдруг вижу — Силвер собственной персоной, наверчено на нем разной шикарной галантереи, и он стоит, прислонясь к стене какого-то отеля, и полирует себе лунки на ногтях шелковым платочком.

— Склероз мозга или преждевременная старость? — спрашиваю я его.

— А, Билли! — говорит Силвер. — Рад тебя видеть. Да, у нас на Западе, знаешь ли, все что-то очень поумнели. А Нью-Йорк я себе давно уже приберегал на сладкое. Конечно, не очень это красиво — обирать таких людей, как нью-йоркские жители. Ведь они считать умеют только до трех,

танцевать только от печки, а думают раз в год по обещанию. Не хотел бы я, чтобы моя мать знала, что я обчищаю таких несмышленишей. Она меня не для того воспитывала.

— А что, у дверей, где написано: “Принимают в чистку”, уже толпится очередь? — спрашиваю я.

— Да нет, — говорит Силвер. — В наши дни и без рекламы можно обойтись. Я ведь здесь только месяц. Но я готов приступить; и все учащиеся воскресной школы Вилли Манхэттена, изъявившие желание сделать свой вклад в это благородное предприятие, благоволят послать свои фотографии для помещения в “Ивнинг дэйли”.

— Я тут знакомился с городом, — говорит дальше Силвер, — читал каждый день газеты и могу сказать, изучил его так, как кошка в ратуше изучила повадки полисменов-ирландцев. Люди здесь такие, что, если ты не торопишься вынуть у них деньги из кармана, они просто кидаются на пол, визжат и дрыгают ногами. Пойдем ко мне, Билли, я тебе порасскажу, как и что. По старой дружбе я готов заняться этим городом с тобой на пару.

Повел меня Силвер в свой номер в отеле. Там у него валяется масса всякой всячины.

— Есть много способов выкачивать деньги из этих столичных олухов, — говорит Силвер, — больше даже, чем способов варить рис в Чарлстоне, Южная Каролина. Они клюют на любую приманку. У большинства из них мозги устроены с переключателем. Чем они умнее и учнее, тем меньше у них здравого смысла. Вот только недавно один человек продал Дж. П. Моргану писанный маслом портрет Рокфеллера-младшего, выдав его за знаменитую картину Андреа дель Сарто “Иоанн Креститель в молодости”.

Видишь там, в уголке, кипу печатных брошюрок? Так вот, имей в виду, что это золотые россыпи. Я тут на днях стал было распродавать их, но через два часа должен был прекратить торговлю. Почему? Меня арестовали за то, что я застопорил уличное движение. Люди дрались из-за каждого экземпляра. По дороге в участок я успел продать деся-

ток полисмену, который меня вел. Но после этого я их изъял из обращения. Не могу, понимаешь, просто так брать у людей деньги. Хочу, чтобы они хоть немножко подумали, прежде чем отдавать их мне, иначе это ранит мое самолюбие. Пусть хотя бы попробуют угадать, какой буквы не хватает в слове “Чик-го”, или прикупить к паре девяток, прежде чем доставать кошелек из кармана.

А то вот еще было одно дело, которое далось мне так легко, что пришлось от него отказаться. Видишь на столе бутылку синих чернил? Я изобразил у себя на руке татуировку в виде якоря, пошел в один банк и представился там как племянник адмирала Дьюи. Мне тут же предложили выдать тысячу долларов под вексель с переводом на дядю, да на беду я не знал его инициалов. Но по этому примеру ты можешь судить, до чего легко работать в этом городе. Грабители, например, так те просто не войдут в дом, если там не приготовлен горячий ужин и нет достаточного штата прислуги с высшим образованием. В любом районе бандиты дырявят граждан без всякого затруднения, и это рассматривается как простой случай оскорбления действием.

— Монти, — говорю я, как только Силвер затормозил, — может, ты и правильно разделал Манхэттен в своем резюме, но что-то мне не верится. Я здесь всего два часа, но у меня нет такого впечатления, что этот городишко уже выложен для нас на тарелочку и даже ложка рядом. На мой вкус, ему не хватает *gus in urbe*<sup>1</sup>. Меня бы, прямо скажу, больше устроило, если бы у здешних граждан порой торчали соломинки в волосах и они питали пристрастие к бархатным жилетам и брелокам с гирию величиной. Боюсь, что не так уж они просты.

— Все понятно, Билли, — говорит Силвер. — Ты заболел эмигрантской болезнью. Само собой, Нью-Йорк чуть побольше, чем Литл-Рок или Европа, и приезжему человеку с непривычки страшновато. Но ничего, это у тебя пройдет. Я же тебе говорю, мне иной раз хочется отшлепать

здешних жителей за то, что они не присылают мне все свои деньги уложенными в корзины для белья и обрызганными жидкостью от насекомых. А то еще тащись за ними на улицу! Знаешь, кто в этом городе ходит в брильянтах? Жены мазуриков и невесты шулеров. Облапошить нью-оркца легче, чем вышить голубую розу на салфеточке. Меня только одна вещь беспокоит — как бы мои сигары не поломались, когда у меня все карманы будут набиты двадцатками.

— Что ж, дай бог, чтоб ты оказался прав, Монти, — говорю я, — только лучше бы мне все-таки сидеть в Литл-Роке и не гнаться за большими доходами. Даже в неурожайный год там всегда наберется десяток-другой фермеров, готовых поставить свое имя на подписном листе в пользу постройки нового здания для почты, который можно учесть в местном банке сотни за две долларов. А у здешних людей, сдается мне, чересчур развит инстинкт самосохранения и сохранения своего кошелька. Боюсь, что у нас с тобой для такой игры тренировки маловато.

— Напрасные опасения, — говорит Силвер. — Я знаю настоящую цену этому Кретинтауну близ Разиньвилля, и это так же верно, как то, что Северная река — это Гудзон, а Восточная река — вообще не река<sup>1</sup>. Да тут в четырех кварталах от Бродвея живут люди, которые в жизни не видели никаких домов, кроме небоскребов. Живой, деятельный, энергичный житель Запада за каких-нибудь три месяца должен сделаться здесь достаточно заметной фигурой, чтобы заслужить либо снисхождение Джерома, либо осуждение Лоусона.

— Оставим гиперболы, — говорю я, — и скажи, можешь ли ты предложить конкретный способ облегчить здешнее общество на доллар-другой, не обращаясь к Армии спасения и не падая в обморок на крыльце особняка мисс Эллен Гудд?

<sup>1</sup> Сельский элемент в городе (*лат.*).

<sup>1</sup> Северной рекой называется Гудзон в его нижнем течении. Восточная река — пролив между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

— Могу предложить хоть двадцать способов, — говорит Силвер. — Сколько у тебя капитала, Билли?

— Тысяча, — отвечаю.

— А у меня тысяча двести, — говорит он. — Составим компанию и будем делать большие дела. Есть столько возможностей нажить миллион, что я просто не знаю, с какой начать.

На следующее утро Силвер встречает меня в вестибюле отеля, и я вижу, что он так и пыжится от удовольствия.

— Сегодня мы познакомимся с Дж. П. Морганом, — говорит он. — Тут у меня есть один знакомый в отеле, который хочет нас ему представить. Он его близкий приятель. Говорит, что тот очень любит приезжих с Запада.

— Вот это уже похоже на дело! — говорю я. — Очень буду рад познакомиться с мистером Морганом.

— Да, — говорит Силвер, — нам, пожалуй, не помешает завести знакомства среди финансовых воротил. Мне нравится, что в Нью-Йорке так радушно встречают приезжих.

Фамилия знакомого Силвера была Клейн. В три часа Клейн явился к Силверу в номер вместе со своим приятелем с Уолл-стрита. Мистер Морган был немного похож на свои портреты; левая нога у него была обернута мохнатым полотенцем, и он ходил, опираясь на палку.

— Это мистер Силвер, а это мистер Пескад, — говорит Клейн. — Я думаю, нет нужды, — говорит он, — называть имя великого финансового...

— Ну, ну, ладно, Клейн, — говорит мистер Морган. — Рад познакомиться с вами, джентльмены, меня очень интересует Запад. Клейн сказал мне, что вы из Литл-Рока. У меня как будто имеется парочка железных дорог в тех краях. Может, кому из вас, ребята, охота перекинуться в покер, так я...

— Пирпонт, Пирпонт, — перебивает Клейн. — Вы что, забыли?

— Ах, извините, джентльмены! — говорит Морган. — С тех пор как у меня сделалась подагра, я иногда играю в картишки со знакомыми, которые навещают меня в моем

особняке. Скажите, никому из вас не приходилось там, на Западе, встречать Одноглазого Питера? Он жил в Сиэтле, Нью-Мексико.

Не дожидаясь нашего ответа, мистер Морган вдруг сердито застучал палкой об пол и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, браня кого-то громким голосом.

— Что, Пирпонт, наверное, на Уолл-стрите опять стараются сбить курс ваших акций? — спрашивает Клейн с усмешкой.

— Какие там еще акции! — грозно рычит мистер Морган. — Это я расстраиваюсь из-за той картины, за которой специально посылал человека в Европу. Только сегодня получил от него телеграмму, что он ищет ее по всей Италии и не может найти. Я бы завтра же заплатил за эту картину пятьдесят тысяч долларов. Да что пятьдесят! Семьдесят пять тысяч заплатил бы. Я дал своему человеку a la carte: покупать за любую цену. Просто не понимаю, почему картинные галереи терпят, что настоящий да Винчи...

— Как, мистер Морган? — говорит Клейн. — Разве не все картины да Винчи находятся в вашей коллекции?

— А что это за картина, мистер Морган? — спрашивает Силвер. — Наверное, она величиной с боковую стену небо-скреба "Утюг"?

— Вы, я вижу, не очень разбираетесь в искусстве, мистер Силвер, — говорит Морган. — Это картинка размером двадцать семь дюймов на сорок два, и называется она "Досуг любви". Нарисовано на ней несколько барышень-манекенш, которые танцуют тустеп на берегу лиловой речки. В телеграмме говорится, что, скорей всего, эта картинка уже вывезена в Америку. А без нее моя коллекция неполна. Ну, мне пора, джентльмены. Наш брат, финансист, должен, знаете, соблюдать режим.

Мистер Морган уехал от нас в кебе вместе с Клейном. После их ухода мы с Силвером долго говорили о том, как простодушны и доверчивы великие люди; Силвер сказал, что обмануть такого человека, как мистер Морган, было бы

просто бессовестно, а я сказал, что, на мой взгляд, это было бы неосторожно.

После обеда Клейн предложил пройтись по городу, и мы втроем, я, он и Силвер, отправились на Седьмую авеню посмотреть, какие там есть достопримечательности. В витрине у закладчика Клейн вдруг увидел запонки, которые ему ужасно понравились. Он вошел в лавку, чтобы купить их, а мы вошли вместе с ним.

Когда мы вернулись в отель и Клейн ушел к себе, Силвер вдруг кидается ко мне и начинает размахивать руками.

— Видал? — говорит он. — Ты ее видал, Билли?

— Кого ее? — спрашиваю.

— Да ту самую картинку, за которой охотится Морган. Она висит у закладчика, прямо над его конторкой. Я только не хотел ничего говорить при Клейне. Будь уверен, это та самая. Барышни прямо как живые, из таких, что носят платья сорок шестого размера, но там-то они обходятся без платьев. И все так меланхолично выбрыкивают ногами, и речка тут же, и берег. Сколько, мистер Морган сказал, он бы отдал за эту картину? Ну, неужели не понимаешь? Ведь хозяин лавки наверняка не знает, что у него там за сокровище.

На следующее утро лавка еще не успела открыться, а мы с Силвером уже были тут как тут, словно двое забуддыг, которым не терпится раздобыть денег на выпивку под заклад воскресного костюма. Входим мы в лавку и начинаем рассматривать цепочки для часов.

— Это что за мазня у вас там висит над конторкой? — говорит Силвер хозяину как бы между прочим. — Вообще говоря, никудышная картинка, но мне на ней приглянулась вон та рыженькая, с острыми лопатками. Я бы вам предложил за нее два доллара с четвертью, да боюсь, как бы вы не разбились какие-нибудь хрупкие предметы, когда броситесь поскорее снимать ее с гвоздя.

Хозяин усмехается и продолжает раскладывать перед нами часовые цепочки накладного золота.

— Эту картину, — говорит он, — принес мне в заклад один итальянец год тому назад. Я ему дал под нее пятьсот долла-

ров. Это “Досуг любви” Леонардо да Винчи. Как раз два дня тому назад истек законный срок, так что сейчас она уже поступила в продажу как не выкупленный заклад. Вот, рекомендую эту цепочку, очень модный фасон.

— Полчаса спустя мы с Силвером вышли из лавки с картиной под мышкой, заплатив за нее ростовщику две тысячи наличными. Силвер сразу же сел в кеб и покатил к Моргану в банк. Я вернулся в отель, сижу и дожидаюсь. Через два часа является Силвер.

— Ну как, застал мистера Моргана? — спрашиваю я. — Сколько он заплатил за картину?

Силвер садится и начинает перебирать бахрому скатерти.

— Мистера Моргана мне застать не удалось, — говорит он, — потому что мистер Морган уже второй месяц путешествует по Европе. Но вот чего я не могу понять, Билли, — эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой три доллара сорок восемь центов. А за рамку отдельно просят три доллара пятьдесят центов — как же это получается, хотел бы я знать?

## ТЕАТР — ЭТО МИР

Моему приятелю-репортеру перепала как-то пара контрамарок — так мне удалось попасть несколько дней назад в один из любимых нашей публикой эстрадных театров.

Среди прочих номеров в программе значилось и соло на скрипке, исполнял его поразительной наружности мужчина — слегка за сорок, но с совершенно седой копной волос. Не страдая пристрастием к музыке, я разглядывал скрипача, пропуская мимо ушей систему производимых им звуков.

— С этим скрипачом месяца два тому назад случилась интересная история, — сказал репортер. — Меня послали к нему. Я получил задание написать колонку, выдержанную в самом что ни на есть веселом и смешном духе. Шефу вроде

нравится мой шуточный подход к местным происшествиям. Да, ты не ошибся, я сейчас пишу фарс. Ну, я съездил к скрипачу, разузнал у него все в подробностях, а задание провалил. Вернулся восвояси и развез как мог юмористический отчет об одних похоронах в Ист-Сайде. Почему? Хоть убей, не вижу в этой истории ничего смешного. Вот разве тебе удастся сделать из нее одноактную трагедию для пролога. Факты я тебе все предоставлю.

После спектакля мой друг репортер поведал мне эту историю за кружкой пива.

— Я тебя не понимаю, — сказал я, когда он поставил точку. — Тут есть готовый сюжет для прекрасного юмористического рассказа. Эти трое не могли бы вести себя глупее и нелепее, будь они всамделишными актерами во всамделишном театре. Я сильно подозреваю, что театр — это мир, а все актеры в нем — мужчины и женщины, так я цитирую Шекспира<sup>1</sup>.

— Возьми и напиши его сам, — сказал репортер.

— И напишу, — сказал я и слово свое сдержал, хотя бы для того, чтобы показать моему приятелю, какой материал для фельетона он прошляпил.

Неподалеку от Абингдон-сквера стоит дом. В нижнем этаже его уже четверть века помещается лавочка, где торгуют игрушками, галантереей и писчебумажными товарами.

Два десятка лет тому назад в комнатах над лавочкой играли свадьбу. Домом и лавкой владела вдова Майо. В тот вечер вдова выдавала свою дочь Элен за Фрэнка Барри. Шафером жениха был Джон Дилэни. Элен шел девятнадцатый год, и ее портрет красовался в утренней газете по соседству с заметкой, озаглавленной “Дама убивает оптом” (судебная хроника гор. Бьютт, шт. Монт.). Но, отвергнув умом и глазами связь между заголовком и портретом, выхватили лупу и разбирали подпись, в которой Элен имено-

<sup>1</sup> В комедии Шекспира “Как это вам понравится” один из персонажей говорит: “Мир — это театр, а все мужчины и женщины — актеры” (акт II, сц. 7).

валась представительницей блистательной плеяды красавиц нижнего Вест-Сайда. Фрэнк Барри и Джон Дилэни были не менее блистательными кавалерами того же района и закадычными друзьями, из тех, что в любой пьесе так и норовят сделать друг другу пакость. Во всяком случае те, кто покупает билеты в партер и беллетристику, только того и ждут. Пока что это было первое смешное место в рассказе. Друзья участвовали в состязании, призом в котором служило сердце Элен. Когда победу одержал Фрэнк, Джон пожал ему руку и честь по чести поздравил — ей-ей, поздравил.

После брачной церемонии Элен побежала к себе надеть шляпку. Она выходила замуж в дорожном платье. Новобрачные собирались на неделю уехать в Олд-Пойнт-Комфорт. Внизу их поджидала обычная толпа галдящих дикарей, державших наготове охапки старых башмаков и пакеты с дробленой кукурузой.

Вдруг Элен услышала грохот — это с пожарной лестницы к ней в окно прыгнул обезумевший от страсти Джон Дилэни. Взмокший хохол прилип к его лбу, и он с ходу приступил к осаде утраченной им возлюбленной: осыпав ее бурными попреками, он молил ее скрыться или смыться с ним на Ривьеру, в Бронкс или любую другую местность, где имеются итальянские небеса и *doice far niente*<sup>1</sup>.

Сам Блейни содрогнулся бы, увидев, как Элен дает отпор Джону. Глаза ее пылали гневом, а своим вопросом, за кого он ее принимает, она буквально испепелила его.

Джон готов был удалиться. Мужество покинуло его. Он отвесил Элен низкий поклон и залепетал что-то насчет того, что “он над собой не властен”, а также “навек сохранит в своем сердце память о...”, в ответ на что она велела ему, не теряя времени попусту, седлать пожарную лестницу и мчаться вниз во весь опор.

— Я устранюсь, — сказал Джон Дилэни. — Уеду на край света. Раз ты принадлежишь другому, оставайся здесь вы-

<sup>1</sup> Блаженное безделье (*итал.*).

ше моих сил. Мой путь лежит в Африку, там средь незнакомой мне природы я попытаюсь за...

— Бога ради, уходи скорее, — сказала Элен. — Сюда могут войти.

Он опустился перед ней на колени, и она протянула ему свою лилейную ручку, дабы он запечатлел на ней прощальный поцелуй. Девицы, случилось ли вам пережить тот счастливый миг, когда ваш избранник надежно приторочен к вам узами брака, а отвергнутый вздыхатель врывается к вам с прилипшим ко лбу хохлом, падает на колени и лопочет об Африке и о любви, которая, невзирая ни на что, будет цвести в его сердце, не увядая, подобно бессмертнику? Если да, значит, великий божок Купидон преподнес вам лучший из своих даров. Разом насладиться и своим могуществом, и блаженной незыблемостью своего нового положения, услать злополучного обожателя лечить разбитое сердце в чужие края и, пока он приникает в прощальном поцелуе к вашим пальцам, ликовать, что ваш маникюр в отменном порядке, — вот это жизнь! Нет, нет, девицы, такой случай упускать нельзя.

А дальше — неужели вы догадались? — дверь, как следовало ожидать, распахнулась, и в комнату ворвался новобрачный, возревновавший новобрачную к шляпке, которой уделялось так много внимания.

Джон Дилэни запечатлел прощальный поцелуй на руке Элен, махнул через окно и скатился по пожарной лестнице — так начался его путь в Африку.

А теперь, пожалуйста, музыку и помедленнее: вскрип скрипки, вздох кларнета, тихий стон виолончели. Вообразите себе эту сцену. Фрэнк, вне себя от бешенства, испускает душераздирающий крик. Элен кидается ему на грудь, желая внести в дело ясность. Он сбрасывает с плеч ее руки — раз, другой, третий отгалкивает он ее (режиссер покажет вам, как это делать) и швыряет — рыдающую, убитую горем — наземь. Он не желает ее больше видеть и, прорвавшись сквозь толпу ошарашенных зевак, покидает брачный чертог.

А теперь, раз уж театр — это мир, зрителю не миновать выйти во взаправдашнее фойе этого мира и там сочетаться браком, умирать, сесть, богатеть, нищать, ликовать или горевать — весь тот двадцатилетний антракт, который предшествует поднятию занавеса перед следующим действием.

Миссис Барри унаследовала лавку и дом. В тридцать восемь лет она обошла бы на любом конкурсе красоты не одну восемнадцатилетнюю девицу как по очкам, так и по общим показателям. Лишь немногие помнили теперь, какой комедией кончилась ее свадьба, хотя она и не делала из этих событий тайны. Она не перекладывала их лавандой, не пересыпала нафталином, но и не сбывала журналам.

Однажды процветающий юрист средних лет, постоянно покупавший в ее лавке бумагу и чернила, предложил ей через прилавок руку и сердце.

— Премного вам благодарна, — сказала Элен бодро, — но вот уже двадцать лет я принадлежу другому. И хотя вел он себя как нельзя глупее, сдается мне, я его по-прежнему люблю. Последний раз я его видела через полчаса после свадьбы. Вам какие чернила требуются — копировальные или простые?

Склонясь в изысканном старомодном поклоне над прилавком, юрист почтительнейше поцеловал руку Элен. Из ее груди вырвался вздох. Прощальные поцелуи, даже самого романтического толка, могут приесться. Ей шел тридцать девятый год.

Она была хороша собой, привлекательна, а до сих пор от всех своих вздыхателей не видела ничего, кроме попреков и прощаний. Горше того, в последнем она теряла еще и покупателя.

Торговля хирела, и Элен вывесила объявление: “Сдаются комнаты”. На третьем этаже были приготовлены две просторные комнаты для подходящих жильцов. Жильцы въезжали и неохотно съезжали, ибо в доме миссис Барри царили уют, чистота и отменный вкус.

В один прекрасный день в дом неподалеку от Абингдонсквера въехал скрипач Рамонти. Грохот и ляг деловых

квартиры оскорблял его изысканный слух, поэтому приятель направил его в этот оазис тишины в пустыне городского шума.

Моложавый чернобровый Рамонти, с его темной иноземной бородкой клинышком, необычной седой шевелюрой и артистическим темпераментом, проявившимся в непринужденной, веселой и общительной манере держаться, прижился в старом доме подле Абингдон-сквера.

Сама Элен жила на втором этаже, весьма странной и причудливой планировки. Чуть не весь этаж занимал просторный, почти квадратный холл. Вдоль длинной его стены поднималась лестница, дойдя до ее середины, она круто поворачивала и вдоль короткой вела на третий этаж. Холл служил Элен и гостиной, и кабинетом. Тут она поставила свою конторку, тут писала деловые письма, тут вечерами читала и шила у горящего камелька, освещенная красными отблесками пламени. Рамонти так тут нравилось, что он проводил в уютном холле чуть не все свое свободное время, занимая миссис Барри рассказами о достопримечательностях Парижа, где он брал уроки у исключительно прославленного и шумного скрипака.

Следом за Рамонти въехал жилец № 2 — видный, печальный мужчина едва за сорок, с темной таинственной бородой и жалкими, виноватыми глазами. Он тоже любил проводить время в обществе Элен. Пуская в ход взоры Ромео и красноречие Отелло, он обольщал ее рассказами о дальних странах и завлекал тонким обхождением.

В присутствии этого человека Элен с первой же минуты почувствовала неодолимое волнение. Звук его голоса переносил ее в невозвратные дни девичьей любви. Чувство это с каждым днем становилось сильнее, и Элен не противилась ему, напротив, из него рождалась вера, что этот человек сыграл свою роль в той любви. А потом, рассуждая чисто по-женски (да, да, женщины тоже изредка рассуждают), она, минуя пошлые силлогизмы, теории и логику, пришла к выводу, что это ее муж возвратился к ней. Ибо в глазах его она читала любовь, которую женщина всегда безошибочно

угадывает, а также тяжкий груз сожалений и сокрушений, которые вызывают жалость, от которой всего один шаг до любви вознагражденной, которая и является *sine qua non*<sup>1</sup> в доме, который построил Джек.

Но она и виду не подала. Если муж выскакивает на минутку из дому, а заскакивает назад через двадцать лет, он не вправе рассчитывать, что шлепанцы будут ожидать его на привычном месте или что, едва ему захочется закурить, к нему опростетью бросятся с зажженной спичкой. Ему не миновать разъяснений, раскаяния, а глядишь, и разноса. Для начала краткое пребывание в чистилище, а там, буде он проявит должное смирение, не исключено, что ему вручат таки арфу и венец. Вот почему Элен не подала и виду, что знает его тайну или догадывается о ней.

А мой-то приятель-репортер не увидел в этой истории ничего смешного! Ему поручили написать занятную, смешную, потешную, уморительную историю... впрочем, я поощажу собрата... и вернусь к нашему рассказу.

Как-то вечером Рамонти задержался в совмещенном холле-конторе-кабинете и изъяснился Элен в любви с нежностью и пылом вдохновенного художника. В речах его горел пламень божественного огня, который бушует в сердцах тех, в ком сочетается мечтатель и творец.

— Но прежде чем вы ответите мне, — продолжал он, не дав ей сказать, что он застиг ее врасплох, — я считаю своим долгом предупредить вас, что никакого другого имени, кроме Рамонти, я не могу вам предложить. Так назвал меня мой импресарио. Мне неизвестно ни кто я, ни откуда родом. Я помню себя лишь с той минуты, как я очнулся в больнице. Я был тогда молод и провел в больнице много недель. До этого дня в моей памяти полный провал. Мне рассказали, что меня подобрала на улице карета "Скорой помощи": у меня была разбита голова. В больнице решили, что я оступился и ударился головой о булыжник. При мне не нашлось ничего, по чему меня могли бы опознать. Я же сам

<sup>1</sup> Необходимым условием (*лат.*).

так ничего и не вспомнил. Когда меня выписали из больницы, я занялся музыкой. Успех сопутствовал мне. Миссис Барри, я не знаю вашего имени, но я люблю вас; с тех пор как я увидел вас впервые, я понял, что другие женщины для меня не существуют... — и все прочее, тому подобное.

Элен почувствовала, что к ней вернулась молодость. Ее захлестнула волна гордости, за ней мелкой рябью набежало тщеславие, но потом она посмотрела Рамонти в глаза, и сердце ее бешено забилося. Элен не ожидала, что она еще способна переживать такие чувства. Голова у нее пошла кругом. Музыкант незаметно для нее вошел в ее жизнь.

— Мистер Рамонти, — сказала она горестно (помните, что этот разговор происходил не в театре, а в старом доме подле Абингдон-сквера). — Мне очень горько, но я замужем.

И она поведала ему свою печальную историю, как и полагается — раньше ли, позже — всякой героине, а уж кому она ее поведаст — антрепренеру или интервьюеру, это как повезет.

Рамонти отвесил низкий поклон, поцеловал Элен руку и поднялся к себе.

Элен же опустила на стул и мрачно уставилась на свою руку. Ее можно понять. Три обожателя целовали ей руку, седлали горячих скакунов и уносились прочь.

Через час ее навестил таинственный незнакомец с винноватыми глазами. Элен сидела в плетеной качалке и вязала какую-то безделицу. Жилец направился к лестнице, но с полпути вернулся поболтать с Элен. Через разделявший их стол он тоже объяснился ей в нежной страсти. А потом сказал: “Элен, неужели ты не помнишь меня? Мне кажется, я видел по твоим глазам, что ты меня не забыла. Можешь ли ты забыть прошлое и принять любовь, которая выдержала двадцатилетнее испытание? Я бесконечно виноват перед тобой, я страшился вернуться к тебе, но любовь победила рассудок. Можешь ли ты простить, простишь ли ты меня, Элен?”

Элен встала. Таинственный незнакомец сжал ее руку в своих трясущихся руках.

Так они стояли, и мне жаль, что эта сцена и эти чувства пропали для театра.

Ибо в сердце Элен шла борьба. Чистая неувядающая любовь к жениху все еще жила в ней; бесценная, священная память о первом избраннике заполонила половину ее души. Все склоняло ее к этому чистому чувству. Честь, верность и блаженные, незабываемые дни первой любви привязывали ее к нему. Но вторую половину ее души занимало другое, более позднее, более полнокровное, более непосредственное чувство. И старое чувство боролось с новым.

И пока она колебалась, из комнаты наверху донеслись приглушенные, томительно-щемящие звуки скрипки. Старая карга музыка подчас обезоруживает самые благородные сердца. Тут я хочу поспорить с Яго, который говорил, что он скорее “галкам даст клевать свою печенку”<sup>1</sup>, чем откроет душу; я, напротив, считаю, что тому, у кого душа нараспашку, ничего не грозит, но горе тому, кто души не чает в музыке. Музыка и музыкант звали Элен, но честь и прежняя любовь не пускали ее.

— Прости меня, — молил он.

— Можно ли пробыть двадцать лет в разлуке, если любишь? — сказала она, голосом подавая ему надежду на прощение.

— Что мне было делать? — взывал он. — Я ничего не скрою от тебя. В тот вечер, когда он выбежал из дому, я пошел следом за ним. Я потерял голову от ревности. В темном переулке я сбил его с ног. Он не встал. Я осмотрел его. Он ударился головой о булыжник. Я не хотел его убивать. Просто я обезумел от любви и ревности. Притаившись поблизости, я видел, как его увезла “Скорая помощь”. И хотя ты вышла за него замуж, Элен...

— Кто вы такой? — вскричала она в ужасе и вырвала у него руку.

— Неужели ты забыла меня, Элен? Забыла того, кто любил тебя больше всех? Я — Джон Дилэни. Можешь ли ты простить...

1 “Отелло”, акт 1, сц. 1.



Но она уже бежала по лестнице — спотыкаясь, задыхаясь, неслась она навстречу музыке и тому, кто забыл все, но в обеих своих жизнях любил только ее одну; она летела и на бегу рыдала, лепетала, пела: “Фрэнк! Фрэнк! Фрэнк!”

Трое смертных жонглировали годами наподобие бильярдных шаров, а мой приятель-репортер не увидел в этом ничего смешного!

## ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

Ясно вижу, как хмурится лоб художника, как грызет он карандаш, когда речь заходит о том, чтобы изобразить пасхальный сюжет, — оно и понятно, ибо его профессиональные представления о тех, кто может быть причастен к этому празднику, вполне законно сводятся всего к четырем персонажам.

Первый из них — сама Пасха, языческая богиня весны. Здесь он волен дать полный простор воображению. Для этой роли подойдет, в частности, прекрасная дева с живописно распущенными волосами и должным числом пальцев на ногах. Позировать будет известная манекенщица мисс Кларисса Сент-Вавасур, мягко выражаясь, в дезабилье.

Второй вариант — дама с томно воздетыми очами и в рамке из лилий. Смахивает на журнальную обложку, зато многократно проверен.

Третий — мисс Манхэттен в воскресной пасхальной процессии на Пятой авеню.

Четвертый — Мэгги Мэрфи в старой соломенной шляпке с новым красным пером, разодегая на зависть всей Гранд-стрит<sup>1</sup>.

Зайчики, понятное дело, в счет не идут. Пасхальные яйца — тоже, им слишком круто пришлось от строгих критиков.

<sup>1</sup> Улица нью-йоркской бедноты.

Столь ограниченный выбор изобразительных возможностей есть свидетельство того, что из всех праздников Пасха имеет в нашем сознании наиболее расплывчатые и зыбкие очертания. Ее признают своею все религии, хотя придумали язычники. Между тем стоит обратиться к еще более седой старине, к самой первой из всех весен, и мы увидим, как Ева придирчиво выбирает для себя свежий зеленый листок с *figus carica*<sup>1</sup>.

Сия критическая и ученая преамбула имеет целью сформулировать ту теорему, что Пасха — это не дата, не время года, не праздник и не событие. А чтобы установить, что же она такое, предложим читателю отправиться следом за Дании Маккри.

Розовая, ранняя, пришла в урочный срок заря пасхального воскресенья, пришла, как ей назначено по календарю — то есть после субботы и перед понедельником. В 5.24 встало солнце; в 10.30 его примеру последовал Дании. Он прошел на кухню и стал умываться над раковиной. У плиты его мать поджаривала грудинку. Пока сын жонглировал круглым куском мыла, она поглядывала на твердое, молодое, смышенное лицо и вспоминала, каким двадцать два года назад на пустыре в Гарлеме, где теперь жилой дом “Ла Палома”, впервые увидела его отца, когда он поймал между второй и третьей базой бейсбольный мяч, посланный пушечным ударом низко по земле. Сейчас отец Дании сидит с трубкой у открытого окна общей комнаты, и его взлохмаченные седые волосы треплет весенний ветерок. С трубкой он не расставался даже после того, как два года назад на взрывных работах не вовремя взорвался динамит и лишил его зрения. Вообще же очень редко встретишь слепого, который курит, — ведь ему не виден дым. Приятно бы вам было слушать, как читают новости из вечерней газеты, и не видеть, каким шрифтом набраны заголовки?

— Пасха сегодня, — сказала миссис Маккри.

— Мне глазунью, — сказал Дании.

<sup>1</sup> Фиговое дерево (лат.).

После завтрака он оделся, как подобает одеваться в праздничное утро ломовому извозчику с портовых складов на Канал-стрит — сюртук, брюки в полоску, лаковые штиблеты, золоченая цепочка поперек жилета, стоячий, с отвернутыми уголками воротничок, галстук-бабочка, приобретенный на субботней распродаже у Шонстайна (угол Четырнадцатой, сразу как пройдешь фруктовый ларек Тони), и котелок с загнутыми полями.

— Небось погулять собрался, Дании, — с оттенком грусти сказал старый Маккри. — Говорят, нынче вроде бы праздник. Что ж, время весеннее, на улице благодать. Я по воздуху чую.

— А почему это я не могу сходить погулять? — спросил Дании сварливым басом. — Может быть, я обязан сидеть дома? Что я, хуже лошади? Лошадям и то положено отдыхать один раз в неделю. Интересно знать, на чьи деньги мы снимаем эту квартиру? Кто тебе заработал на этот завтрак, можешь ты мне сказать?

— Ладно, сынок, — сказал старый Маккри. — Я ведь не жалуюсь. Погулять в воскресенье — самое милое дело, я тоже страсть как любил, пока были глаза. Ничего, посижу, покурю. Из окна тянет землей, и сухие ветки жгут где-то рядом. А ты ступай отдохни, сынок, — в добрый час. Об одном только я горюю, что твоя мать не выучилась грамоте, дочитала бы мне про гиппопотама... Ну, да что уж теперь.

— Чего это он там мелет насчет гиппопотамов? — спросил Дании у матери, когда проходил через кухню. — Ты не в зоопарк ли водила его? Для чего бы, спрашивается?

— Никуда я его не водила, — сказала миссис Маккри. — так и сидит целыми днями у окошка. Какие у бедного человека развлечения, если он слепой. У них, думается, даже мысли мешаются иной раз. Вчерашний день битый час без умолку толковал про древних греков. Он-то, говорю, может, и древний, а она — совсем еще молодая. Не так ты поняла меня, отвечает. Для слепого, Дании, времечко ползет ох как медленно, хоть по праздникам, хоть и по будним дням. А уж, кажется, пока не потерял глаза, нико-

го не было его лучше и сильней. Да. Вот утро-то выдалось какое. Иди, сынок, веселись. Ужин будет холодный, в шесть часов.

— Про гиппопотама не слышать разговоров? — спросил Дании у дворника Майка, когда спустился и вышел на улицу.

— Пока нет, — сказал Майк и поддернул выше рукава рубахи. — На что только не жаловались за последние сутки — и в части незаконных действий, и природных явлений, и живности. Но насчет этого тихо. Хочешь, сходи к хозяину. А то съезжай с квартиры. У тебя в договоре о найме обозначено про гиппопотамов? Нет? Тогда чего же ты?

— Да это мой старик обмолвился, — сказал Дании. — Просто так, скорее всего.

Дании дошел до угла и свернул на улицу, ведущую к Северу, в центр квартала, где Пасха — современная Пасха в ярком современном уборе — справляет свое торжество. Из темных высоких церквей лились сладкие звуки песнопений, издаваемых живыми цветами — такими представлялись взору девушки в пасхальных нарядах.

Общий фон создавали господа, расфуфыренные в строгом соответствии с обычаем: в сюртуках и цилиндрах, с гарденией в петлице. Дети несли в руках букеты лилий. Окна богатых особняков пестрели роскошнейшими созданиями Флоры, сестры той дамы в венке из лилий.

Из-за угла, в белых перчатках, дородный, застегнутый на все пуговицы, вышел полицейский Корриган, квартальный ангел-хранитель. Дании был с ним знаком.

— Слушай, Корриган, — сказал он. — Пасха, она зачем? Когда она наступает — это известно: как наберешься первый раз семнадцатого марта, и чтобы на полный месяц равное действие. Но зачем? Что она, церковный обряд чин по чину, или же ее в интересах политики губернатор назначает?

— Праздник этот местный, — сказал Корриган с непререкаемостью, достойной Третьего помощника полицейского комиссара. — Проводится ежегодно в черте города Нью-Йорка. Распространяется и на Гарлем. Бывает, что на Сто

двадцать пятую улицу приходится высылать резервный наряд. К политике, я считаю, не имеет касательства.

— Ну, спасибо, — сказал Дании. — А это... не слышал ты, чтобы люди жаловались на гипнопотамов? Когда, то есть, не слишком выпивши?

— На морских черепахах — случалось, — в раздумье сказал Корриган. — При содействии метилового спирта. А на что покрупнее — нет.

Дании побрел дальше. Побрел, придавленный вдвойне тяжелой повинностью — получать удовольствие одновременно и от воскресного дня, и от праздника.

Невзгоды на плечах у рабочего человека — словно будничная одежда, сшитая ему по мерке. Ее надевают столь часто, что привыкают носить с естественным шиком, точно костюм от лучшего портного. Недаром горести бедняков служат самой выигрышной темой для сытых искусников пера и кисти. Другое дело, когда простой человек задумает поразвлечься, тут его забавам сопутствует мрачность, достойная самой Мельпомены. Вот почему Дании угрюмо стиснул зубы в ответ на то, что пришла Пасха, и предавался увеселениям без всякого веселья.

Зайти и степенно посидеть в кафе Дугана — это было еще приемлемо, и Дании пошел на уступку весне, спросив кружку пива. Он сидел в сырой задней комнате, высланной темным линолеумом, и по-прежнему сердцем и душою тщился постигнуть таинственный смысл внешнего торжества.

— Скажи, Тим, — обратился он к официанту. — Для чего людям Пасха?

— Иди ты! — сказал Тим и подмигнул в знак того, что его не проведешь. — Что-то новенькое, да? Ясно. Тебя-то кто на это подловил? Ладно, сдаюсь. Так какой ответ — для ватрушек или для желудка?

От Дугана Дании повернул обратно к востоку. Под апрельским солнцем в нем пробуждалось некое смутное чувство, трудно поддающееся определению. Дании, во всяком случае, истолковал его неверно, решив, что виной ему — Кэти Конлан.

Он встретил ее в нескольких шагах от ее дома, когда она шла в церковь. На углу авеню "А" они обменялись рукопожатием.

— Ого! Такой франт, а хмур, словно туча, — сказала Кэти. — Что с тобой? Гляди веселей, пошли в церковь.

— А чего там такое? — спросил Дании.

— Пасха, чудак ты! До одиннадцати сидела ждала, когда ты за мной зайдешь.

— В чем, Кэти, ее суть, Пасхи этой? — сумрачно спросил Дании. — Похоже, что никто не знает.

— Кто не слепой, тот знает, — запальчиво сказала Кэти. — Мог бы заметить, между прочим, что на мне новая шляпка. И юбка. Тогда и понял бы, что Пасха — это когда девушки наряжаются в весенние обновки. Вот чудак! Ну, идешь ты со мной в церковь?

— Пойду. Раз эту самую Пасху проворачивают в церкви, стало быть, там обязаны ей подыскать какое-то оправдание. А шляпка, конечно, блеск. Особенно зеленые розы.

В церкви священник растолковал кое-что, и при этом не сказать, чтобы толлок воду в ступе. Правда, он говорил быстро, потому что торопился пораньше поспеть домой к праздничному обеду, но дело свое знал. Больше всего он напирал на одно слово — воскресенье. Не новый акт творения, но рождение новой жизни из старой. Паства слышала об этом уже много раз. Впрочем, на шестой скамье от кафедры сидела замечательная шляпка, бесподобное сочетание лаванды с душистым горошком. Так что было чем занять внимание.

После церкви Дании задержался на углу, и Кэти обиженно подняла на него небесно-голубые глаза.

— Ты не к нам сейчас? — спросила она. — Действительно, стоит ли обо мне беспокоиться? Я прекрасно дойду одна. Видно, у тебя мысли заняты чем-то поважней. Ну и пожалуйста. Может быть, мы с вами вообще больше не встретимся, мистер Маккри?

— Зайду, как обычно, в среду вечером, — сказал Дании, повернулся и пошел на ту сторону улицы.

Кэти зашагала прочь, возмущенно встряхивая на ходу зелеными розами. Дании прошел два квартала и остановился. Сунув руки в карманы, он стоял на углу у края тротуара. Лицо у него застыло, как будто высеченное из камня. На самом дне его души что-то шелохнулось, забродило, такое маленькое, нежное, щемящее, такое чуждое грубому материалу, из которого был сработан Дании. Оно было ласковее, чем апрельский день, тоньше, нежели зов плоти, чище и глубже, чем любовь к женщине, — разве не отвернулся он от зеленых роз и от глаз, к которым был прикован вот уже целый год? А что это было, Дании не знал. Проповедник, который спешил к обеду, говорил ему, но ведь у Дании не было либретто, чтоб уловить смысл полусонного и певучего бормотания. И все-таки проповедник говорил правду.

Внезапно Дании хватил себя по бедру и испустил хриплый и восторженный вопль.

— Гишпопотам! — возопил он, обращаясь к опорному столбу надземки. — Нет, это надо же придумать! Ну, теперь-то я знаю, куда он клонил... Гишпопотам! С ума сойти, честное слово! Год прошел, как он это слышал, а гляди ты, почти не промахнулся. Мы кончили 49 годом до Рождества Христова, дальше идет как раз про это. Но поди догадайся, чего он хочет выразить, — мозги свихнешь.

Дании вскочил в трамвай и скоро уже входил в темную квартирку, снятую на его трудовые деньги.

Старый Маккри все сидел у окна. Погасшая трубка лежала на подоконнике.

— Это ты, сынок? — спросил он.

Если сурового мужчину застать врасплох, когда он собрался сделать доброе дело, он вскипит. Дании вскипел.

— Кто здесь платит за квартиру? — злобно огрызнулся он. — На чьи деньги покупают еду в этом доме? Я что, не имею права войти?

— Ты хороший сын, — сказал со вздохом старый Маккри. — Так уже вечер?

Дании протянул руку к полке и достал толстую книгу с тисненым золотым заглавием: "История Греции". Пыли на

ней накопилось с палец толщиной. Он положил ее на стол и нашел место, заложненное полоской бумаги. Тогда он хотнул коротко и зычно и сказал:

— Желаете, значит, чтобы тебе почитали про гишпопотам?

— Я слышу, ты открыл книгу? — сказал старый Маккри. — Сколько же долгих месяцев прошло с тех пор, как мой сын читал ее мне. Шут его знает, сильно полюбились мне эти греки. Ты остановился на середине. Да, хорошо сегодня на улице, сынок. Ступай отдохни, ты наработался за неделю. А я уже привык к этому стулу у окна и к трубке.

— Пел... Пелопоннес, вот мы на чем остановились, — сказал Дании. — А никакой не гишпопотам. Там началась война. И тянулась ни шатко ни валко, не соврать бы, тридцать лет. Вот тут под заголовком сказано, что в 338 году до Рождества Христова один малый из Македонии, Филипп, прибрал к рукам всю Грецию, когда выиграл в сражении при Херо... Херонее. Сейчас почитаю.

Целый час, приложив ладонь к уху, старый Маккри упивался событиями Пелопоннесской войны.

Потом он встал и ощупью добрал до двери на кухню. Миссис Маккри нарезала к ужину холодное мясо. Она подняла голову. Из невидящих глаз старого Маккри текли слезы.

— Слышала, как наш сын мне читает? — сказал он. — Другого такого не сыскать на всем белом свете. Вот я и получил назад свои глаза.

После ужина он сказал Дании:

— И правда, светлый день эта Пасха. Ну, а теперь ты пойдешь провести вечер с Кэти. Все правильно.

— Кто здесь платит за квартиру и на чьи деньги покупают еду в этом доме? — сердито сказал Дании. — Я что, не имею права остаться? Нам еще после ужина надо прочесть про Коринфскую битву в 146 году, опять-таки до Рождества Христова, когда Греция, как там сказано, стала не этой... неотъемлемой частью Римской империи. Или я ничто в этом доме?

## ВО ВТОРОМ ЧАСУ У РУНИ

Лишь в нью-йоркском Ист-Сайде живы еще традиции Капулетти и Монтекки. И борьба там ведется не по правилам арифметики. Попробуйте показать кукиш стороннику враждебного дома — и вы обречены на кровопролитную войну. На Бродвее вы можете тащить своего недруга за нос хоть десять кварталов кряду, он будет только призывать стражников, но во владениях ист-сайдских Тибальтов и Меркуцио нельзя ни глазом моргнуть против этикета, ни локтем двинуть в баре, где постоянными клиентами числятся враги вашего дома и рода.

Вот почему, когда Эдди Макманус, известный среди Капулетти как Хват Макманус, забрел к Немчуре Майку промочить горло и наткнулся там на местных Монтекки, которые тешились пивом, он с ходу повел себя наикорректнейшим образом. Воспитание не позволило ему уйти из салуна, не утолив жажду; осмотрительность направила его стопы к стойке, где зеркало оповещало о всех перебросках противника, следить за которыми его равнодушный взгляд, казалось, считал ниже своего достоинства; опыт нащепывал, что сегодня перст раздора на славу поорудует среди пивных кружек Немчуры Майка. За Хватом, ни на шаг от него не отставая, следовал Шут Клири, его Меркуцио, неизменный спутник всех его походов. Так они стояли друг против друга: четверо представителей шайки Малберри-Хилз, двое — шайки ремонтных доков; обе стороны держались с такой обходительностью, что Немчура Майк одним лишь глазом присматривал за клиентами, другим же то и дело поглядывал под стойку бара, куда он имел привычку спасаться, когда грозная вежливость соперничающих организаций материализовывалась в пули и хладные клинки.

Но не о битвах Малберри-Хилз и ремонтных доков поведем мы рассказ. А о заведении Руни, где на самой что ни на есть прогнившей, мертвой ветке древа жизни распустилась невзрачная бледная орхидея.

На таком высоком уровне обходительности стороны не могли продержаться долго. Неизвестно, кто первый совершил погрешность против ритуала, только возмездие последовало незамедлительно. Бык Малони, представитель Малберри-Хилз, стремительным маневром, достойным самого Дьюи<sup>1</sup>, развернул на штормовом мостике свою восьмидюймовую пушку. С кем мне сравнить Макмануса? Лишь торпеде решусь я уподобить его. Поднырнув под орудийным огнем, он всего на каких-то три дюйма вонзил свой клинок в ребра лучшего крейсера Малберри-Хилз. Тем временем отменный стратег Шут Клири, перелетев через буфетную стойку, выключил свет, так что отныне лишь огонь орудийных залпов освещал сражение. Немчура Майк ползком покинул свое убежище и выскочил на улицу, призывая стражников, а отнюдь не Шекспира, который мог бы увековечить эту покрытую мраком потасовку.

Явился полисмен и увидел бледного, истекающего кровью Монтекки, а с ним — трех удрученных и скрытных сторонников его дома. Верные бандитской этике, они все как один показали, что не знают, чья рука сразила Малони. Ни одного Капулетти на поле брани не оказалось.

— Кончай свои допросы-мопросы, — сказал Бык Малони блюстителю закона. — Еще бы мне не знать, кто меня пырнул. Я с завязанными глазами всегда утляжу такого парня, который превратит меня в витрину скобяной лавки. Нет, и не подумаю сказать тебе, как его зовут. Сам с ним сквитайся. Ой-ай! Полегче, ребята! Мы с ним сами разберемся. Считай, что жалобу я не подавал.

В полночь Макманус обогнул штабель теса в одном из ист-сайдских доков и задержался неподалеку от некоего пожарного крана. Через десять минут к условленному месту как бы невзначай подошел Шут Клири.

— Малони, может, и не отдаст концы, — сказал Шут, — и стукнуть он, ясное дело, не стукнет. А вот Немчура Майк уже стукнул. Заявил в полиции: ему, видишь ли, надоело,

1 Джордж Дьюи — американский адмирал.

что в его салуне без продыху идет пальба. А нам это сейчас страсть как несподручно, потому что Тим Корригэн отбыл в Европу, прохлаждается там с коронованными особами. Он вернется на “Кайзере Вильгельме” только в следующую пятницу. До тех пор тебе придется сидеть тихо и не высывать никуда нос. А вернется Тим, он твое дело уладит в два счета.

Все вышеизложенное должно вам объяснить, почему Хват Макманус в один прекрасный вечер забрел к Руни и там в первый раз за всю свою рискованную биографию заглянул в осиянное нездешним светом лицо Романтики.

Пока Тим Корригэн вращался в высшем свете и не мог пригрозить своим длинным белым перстом в кое-каких кабинетах, Хвату были заказаны все излюбленные притоны его шайки. Посему он засел в комнате некоего Капулетти, окнами во двор на самой верхотуре, и коротал время, читая розовые листки спортивного приложения и понося тихходность “Кайзера Вильгельма”.

Но к вечеру четверга Хвату опостылела жизнь затворника. Ни одна лань так не желала припасть к водоразборной колонке, как желал Хват Макманус припасть к холодной пенящейся кружке, упереться ногой в прочную медную подножку и не спеша перебрасываться шутками и подначками через сверкающую стойку. Однако район, где его знала каждая собака, был закрыт для Макмануса. Полиция искала его повсюду, потому что сезон был скуден новостями и, за неимением лучшего, газеты опять подняли крик, что полиция не может найти управу на гангстеров. Если его зацанают, прежде чем “Кайзер Вильгельм” вернется, никакой Корригэн ему не поможет: будет уже слишком поздно грозить длинным белым пальцем. Но Корригэн ожидался на следующий день, и Хват решил, что может смело позволить себе небольшой выход в сферу тех нехитрых удовольствий, без которых для него жизнь не в жизнь.

В половине первого Макманус стоял на тускло освещенной улице и вглядывался в фамилию РУНИ, начертанную

пылающими буквами на вывеске над окном второго этажа. Он слышал про этот притон, но не знал ни кто сюда ходит, ни где он помещается.

Руководствуясь неизменными приметам, общими для всех подобного рода заведений, он поднялся по лестнице и вошел в просторную комнату, расположенную прямо над кафе.

Там стояло штук двадцать-тридцать столиков, сейчас наполовину пустых. Официанты разносили напитки. В одном конце комнаты человекообразная пианола, одурело поглядывая на посетителей, с остервенелым автоматизмом невпопад молотила по клавишам. Время от времени — к счастью, не слишком часто — кто-то из официантов, чередуя рев с визгом, исполнял песню — одну из песен, пестреющих “мистерами Джонсонами”, “детками” и “черномазыми”, словесными гарантиями исторической достоверности африканских мелодий, слагаемых юнцами в красных жилетах, взращенными среди хлопковых плантаций и рисовых болот Западной Тридцать восьмой.

А теперь — это у вас займет всего минуту — отдайте вместе со мной дань восхищения Руни, полюбуйтесь, как он принимает гостей, как рассаживает их, как управляется с ними, как над ними подтрунивает. Руни нет и тридцати. У него нос Веллингтона, подбородок Данте, скулы ирокеза, улыбка Талейрана, быстрота и натиск Корбетта<sup>1</sup> и осанка одиннадцатилетней ист-сайдской Королевы Мая. У него есть помощник, известный всем как Фрэнк, компанейский, франтоватый крепыш, который сует между столами и присматривает, чтобы уныние забыло дорогу к Руни. Как вы думаете, чем объясняется популярность Руни? Днем там как нельзя более rispettable: почтенные дамы в митенках, увешанные свертками, в сопровождении детей и беспородных собак заглядывают к Руни выпить кружку пива и перекинуться словечком. Даже вечером, при газовом свете, развлечения у Руни довольно унылого свойства — вы-

<sup>1</sup> Корбетт, Джеймс Джон — знаменитый американский боксер.

пивка, рэгтайм, ничего неожиданного, вот разве что официант ошарашит вас, подтерев натекшую лужицу пива под вашей липкой кружкой. И все же ответ на ваш вопрос существует. Вот он — переселение душ! Душа сэра Уолтера Рэлей<sup>1</sup>, удрав из-под его роскошного камзола, обрела родной дом под броским клетчатым жилетом Руни. Руни на два десятилетия опередил свое время. Руни снял эмбарго! Руни прикрыл своим плащом мокрый перекресток общественного мнения, и любая Елизавета, которая ступит на него, может утереть нос королеве. А теперь внимайте, ибо вам откроется тайна: у Руни дамам разрешено курить.

Макманус опустился на свободный стул. Оплатил свое пиво, сбил котелок на кирпично-рыжий затылок, оплел ноги вокруг перекладин стула, и сокровенные глубины его легких исторгли вздох облегчения, ибо грязные соблазны эти были слаще меда устам его.

Это фальшивое веселье, этот лихорадочный блеск поддельного гостеприимства, неуместный безрадостный смех, сердечность, вызванная к жизни винными парами, жуткая, гнетущая тишина, временами перемежающаяся бравурной музыкой, присутствие нарядных, беззастенчивых дам, этих вечных данниц Руни, благодетеля Руни, снявшего запрет на табак, привычные смешанные запахи подмокшей лимонной кожуры, выдохшегося пива и “*Peau d’Espagne*”<sup>2</sup> — Хвату Макманусу, напостившемуся за неделю в той пустыне, которую являла собой комната некоего Капулетти, все это казалось манной небесной.

Девушка без провожатых вошла к Руни, быстрым, но неторопливым взглядом окинула комнату и села напротив Макмануса. Лишь две секунды задержала она на нем взгляд — тот взгляд, которым женщина прощупывает каждого встреченного ею мужчину. За это время она решает, как ей посту-

1 Уолтер Рэлей (1552–1618) — английский мореплаватель и государственный деятель, фаворит королевы Елизаветы. Ввез в Англию табак. Существует предание, что Рэлей прикрыл своим плащом лужу, чтобы Елизавета могла пройти, не замочив ноги.

2 “Испанская кожа” (*фр.*) — сорт духов.

пить, визгом натравить на него полицейского или впоследствии выйти за него замуж.

Закончив недолгий осмотр, девушка положила на стол потертую красную сафьяновую сумочку с торчащим из нее обтрепанным уголком кружевного платка, полощущимся подобно парусу. Отправив ближайшего официанта за легким пивом, она вынула из сумочки коробку папирос и закурила с чуть-чуть преувеличенной небрежностью. Снова заглянула в глаза Хвату Макманусу и улыбнулась.

Этот миг решил судьбу обоих. Непостижимое желание мужчины, едва он окинет первым взглядом женщину, до конца жизни покупать для нее наряды и разжигать костры отнюдь не редкость среди той скромной части человечества, которая не интересуется ни финансами, ни гербами, ни пьесами Шоу. Любовь с первого взгляда знакома и светскому обществу, но там таких случаев раз-два и обчелся; как правило, это внезапное помешательство встречается среди таких простодушных созданий, как голубь, сизокрылая галочка и клерк, живущий на десять долларов в неделю. Поэты, подписчики литературных журналов и сваты, возьмите это соображение на заметку!

Обменявшись таинственными магнетическими токами, оба тут же ощутили в себе желание лгать, втирать очки, ослеплять и морочить, то есть самые низменные из тех побуждений, что порождает странное умопомрачение, именуемое любовью.

— Еще пива? — обратился Хват к девушке.

В его круту такое предложение расценивалось как визитная карточка, сопровождаемая рекомендательными письмами и поручительствами.

— Спасибо, нет, — сказала девушка, наморщив лоб и старательно подыскивая приличествующие случаю слова. — Я зашла сюда на минутку... промочить горло. — Видимо, она сочла, что папироса требует объяснения. — Моя тетя — русская знатная дама. И дома мы после обеда, случается, выкуриваем по папироске.

— Бросьте заливать! — сказал Хват, на которого светский тон действовал удручающе. — У вас пальцы едва не желтее моих.

— Послушайте! — сказала девушка, и голос ее от негодования перешел в шип. — Да за кого вы меня принимаете? Да что это вы себе позволяете? А?

Девушка была прехорошенькая, ее большие карие глаза дерзко блестели. Из-под лихо сдвинутого берета виднелись разделенные прямым пробором выющиеся рыжеватые волосы, собранные низко на затылке. Подбородок и шея ее еще по-девичьи кружились, но щеки и пальцы уже начали худеть. Она взирала на мир с вызовом, недоверием и угрюмым удивлением. Ее нарядный коричневый жакет, забрызганный грязью, стоил явно недешево. Из-под черного платья была на два дюйма выпущена спускавшаяся до полу оборка лиловой шелковой нижней юбки.

— Извиняюсь, — сказал Хват, во все глаза глядя на девушку. — Я ничего такого и не думал. Сдается мне, что в куренье особого вреда нет, Моды.

— Я не знаю другого такого места, где дамам разрешено курить, — сказала девушка, которую быстро умилостивили его извинения. — Видно, в привычке этой хорошего мало, но дома тетя нам позволяет курить. И запомните, меня зовут вовсе не Моды, а Руби Делами.

— Вот это да! — сказал восхищенно Хват. — А меня зовут Макманус. Хват... э... Эдди Макманус.

— Очень даже подходяще, — засмеялась Руби. — Так что не извиняйтесь.

Хват задумчиво посмотрел на большие настенные часы. Быстрые глаза девушки перехватили его взгляд.

— Я знаю, что уже поздно, — сказала она и потянулась за сумочкой. — Да вы небось сами знаете, как приспичивает, когда приспичит закурить. А что, разве к Руни ходить неприлично? Сколько я сюда ни заживала, все было чинно-благородно. То есть я и была-то здесь всего два раза. Я работаю в переплетной мастерской на Третьей авеню. Три раза в неделю нам приходится допоздна работать сверхурочно.

В мастерской нам, ясное дело, курить не разрешают. Вот я и заскочила сюда курнуть по дороге домой. А что, правда сюда ходить неприлично? Если такое ваше мнение, я больше сюда ни ногой.

— Сейчас, пожалуй, всюду поздновато ходить одной, — сказал Хват. — Об этой забегаловке мне мало что известно, но одно скажу: если тебя тут заснимут, вряд ли эту карточку захочешь послать в подарок своему учителю воскресной школы. Опрокиньте еще кружечку, и как насчет того, чтобы я вас проводил домой?

— Но я с вами не знакома, — сказала девушка с похвальной щепетильностью. — И не в моих привычках водить компанию с джентльменами, которых я не знаю. Тетя бы меня не одобрила.

— И зря, — сказал Хват Макманус, подергав себя за ухо. — Уж что-что, а даму я проводить умею, можно сказать, по последнему слову науки и техники. Вы увидите, Руби, я парень что надо. Мой родитель — главная опора всего Уолл-стритовского заведения. Стоит ему высунуться из окна, как моргановская кляча от радости подбрасывает в воздух свой соломенный чепчик. Господи! Да и сейчас тренировку прохожу при Уолл-стрите. Провалиться мне на этом месте, если к следующему дню рождения старик не отвалит мне места на бирже. Только меня все это не больно интересует. Мне больше по душе гольф, яхты, ну и, скажем, матч раундов этак на десять между боксерами полусреднего веса, в бойцовских перчатках, ясное дело.

— Так и быть, можете проводить меня до дверей, — сказала девушка неуверенно, но явно польщено. — Хотя я ничего хорошего не слышала ни о маклерах с Уолл-стрита, ни о гуляках, которые только и знают, что шляться по кулачным боям. Вы что, ничего получше о себе рассказать не можете?

— Сдается мне, — сказал внушительно Хват, — что я не выдвигал в этом городишке девушки красивее вас.

— Да ладно! Все бы вам насмешничать! — Укор она смягчила глубоким, сияющим, украшенным улыбкой взглядом. — А пиво мы все-таки допьем, верно?



Официант исполнил песню. Табачный дым стусился, поплыл, пополз вверх завитками, волнами, зыбкими слоями, кучевыми облаками, воздухопадами, туманными сгустками — казалось, у вас на глазах из ребер четырех предыдущих стихий рождается некая пятая. Гости смеялись и болтали оживленнее, воодушевленные напитками, в изобилии разносимыми официантами, и тем любезным приемом, который Руни оказал курящей части прекрасного пола.

Пробило час. Снизу донеслись звуки запираемых дверей. Фрэнк аккуратно задернул шторы на окнах, выходящих на улицу. Руни спустился вниз и встал на пороге, прикрыв рукой огонек папиросы. Отныне проникнуть к Руни мог лишь тот, кто предъявит вместо пропуска лицо, которое признает ястребиный взгляд самого Руни, — лицо своего парня.

Хват Макманус и перешлетчица самозабвенно беседовали, облокотясь о стол. Едва пригубленные кружки пива были сдвинуты на край, пена на них опала, оборотясь тонкой белой пленкой. После часу приевшиеся увеселения Руни обретали не свойственную им дотеле пикантность, и не потому, что с этого времени программа развлечений расширялась, а потому, что теперь в них ощущался вкус запретного плода. Выдохшийся стакан пива отдавал незаконностью, слабейший крюшон наносил сокрушительный удар по закону и порядку, безобидная компания гуляк оборачивалась шайкой правонарушителей, бросающих вызов властям и правителям. Ибо в таком заведении, как у Руни, где не живут и не столуются, после часу владелец не вправе напоить ни одного мучимого жаждой жителя четырехмиллионного города. Таков закон.

— Послушайте, — сказал Макманус и налег внушительной грудью и локтями на стол. — А вы правда работаете в перешлетной мастерской и живете дома, а сюда только мимоходом зашли... и... словом, вы меня не разыгрываете?

— Скажете тоже, — пылко заверила его девушка. — Да что вы себе думаете? С чего бы это мне вам заливать? Пойдите

в мастерскую и спросите сами. Ей-ей, я вам все как есть рассказала.

— Все как есть, ей же ей? — сказал Хват. — Я ведь хочу, чтоб у нас все было по честному, потому что...

— А почему?

— Сдаюсь, — сказал Хват. — Вы меня заарканили. Я давно ишу такую девушку, как вы. Хотите дружить со мной, а, Руби?

— А вы-то сами хотите, а, Эдди?

— Еще как! Только, понимаете, какая штука, я хочу, чтобы вы все мне... про себя по честному рассказали. Когда парень дружит с девушкой... крепко дружит... ему, понимаете, какая штука, хочется, чтобы девушка была хорошая. Чтоб у них все было по честному и чтоб она не подвела его.

— Вот увидите, Эдди, я вас не подведу.

— Знаю, что не подведете. Я верю, что вы мне все по честному рассказали. И уж не сердитесь, что я вас так спрашиваю. Таких девушек, как вы, нечасто встретишь за полночь у Руни, да еще с папиросой в зубах.

Девушка покраснела и потупилась.

— До меня только сейчас дошло, — сказала она кротко. — А то ведь мне и в голову не приходило, что обо мне могут такое подумать. Но больше я сюда ни-ни. Теперь я после работы — прямиком домой. И если хотите, Эдди, я брошу курить... вот хоть сейчас.

Хват принял вид задумчивый, собственнический, строгий и в то же время сочувственный.

— Даме курить можно, — вынес он, наконец, свой вердикт, — только смотря где и когда. А почему можно? Да потому, что настоящей даме, без подделки, многое позволяется.

— А я все-таки брошу. Ничего хорошего в куренье нет. — Девушка смахнула окурочек на пол.

— Смотри где и когда, — повторил Хват. — Как-нибудь вечером я зайду за вами, мы найдем скамеечку поукромнее в Стюйвезант-сквере и подымим там в свое удовольствие. Но к Руни за полночь — ни ногой, замetano?

— Эдди, а я вам, ей-ей, нравлюсь? — Девушка встревожено вглядывалась в загрубелое, но прямодушное лицо Хвата.

— Ей же ей.

— А когда вы придете ко мне?

— В субботу. Послезавтра вечером вам подходит?

— Очень даже. Я буду вас ждать. Приходите к семи. Когда вы меня сегодня проводите, я вам покажу, где я живу. Смотрите, запомните дорогу. А пока, Мистер Макманус, не вздумайте гулять с другими! Хотя, говори не говори, разве вас удержишь.

— Ей же ей, — сказал Хват, — рядом с вами другие девушки все равно что пугала огородные. Правда. Нет, я такой парень, что, если мне что понравится, я того не упусти. Ей же ей.

Снизу донесся громкий стук: кто-то напористо дубасил в парадную дверь. Подобный грохот мог производить лишь паровой молот или нога полицейского. Руни лягушкой отпрыгнул в угол, выключил свет и кубарем скатился по лестнице.

Комната погрузилась в темноту, лишь кое-где мигали красные глазки сигар и папирос. Грохот ударов возвестил, что противник снова пошел на приступ. Среди гостей началась легкая паника, шорох, перешептывание. В оранжевых отсветах горящих папирос было видно, как спокойный, невозмутимый, хладнокровный Фрэнк переходит от столика к столику.

— Сидеть тихо! — командовал он. — Не говорить, не шуметь. Все обойдется. Попрошу не беспокоиться. Мы ничего не дадим в обиду.

Руби шарила по столу, пока ее руку не накрыла твердая ладонь Хвата.

— Эдди, а вы боитесь? — шепнула она. — Боитесь, что придется сесть на казенный кошт?

— Пока еще от страха зубами не лязгаю, — сказал Хват. — Небось Руни запоздал кое-кого подмазать. Не робейте, детка, со мной не пропадете.

Надо сказать, что Макманус только напускал на себя лихость. Полиция охотилась за обидчиком Быка Малони, Корригэн плыл по волнам океана, так что, попади он сейчас в облаву, ему конец! И надо же такому случиться, как раз когда он встретил Руби! И зачем только он покинул жилище верного Капулетти, хорошо бы сидеть сейчас там на верхотуре и штудировать розовые листки!

Руни, судя по всему, отпер парадную дверь и вступил в переговоры с представителями закона в темном коридоре нижнего этажа. Фрэнк встал в дверях наверху, изображая собой беспроволочный телеграф. Вдруг он захлопнул дверь, бегом пересек комнату и зажег на другом ее конце тусклый газовый рожок.

— Все сюда! — позвал он. — Побыстрее и попрошу без шуму.

Перепуганные гости ринулись к нему. Сподвижник Руни отодвинул потайную панель в стене, выходящей на задний двор, к которой заранее приставляли лестницу, дабы в случае необходимости посетители могли улизнуть.

— А теперь все вниз и на улицу, живо! — командовал Фрэнк. — Дам попрошу пропустить вперед! Потихе, пожалуйста! Не толпиться! Вам ничего не грозит.

Хват и Руби, одни из последних, ждали своей очереди у потайной панели. Вдруг Руби, оттолкнув Хвата в сторону, отчаянно вцепилась ему в руку.

— Пока мы отсюда не ушли, — шепнула она ему на ухо, — и пока ничего не стряслось, Эдди, скажите мне еще раз... вы меня л... я вам, ей-ей, нравлюсь?

— Ей же ей, — сказал Хват, свободной рукой привлекая девушку к себе. — Я в вас врезался по уши.

Когда они опомнились, оказалось, что ловушка захлопнулась, а вокруг кромешная тьма. Последний из посетителей давным-давно спустился вниз. Сейчас они, спотыкаясь и хихикая, волочили лестницу где-то посередине двора к низенькому дому, через крышу которого лежал их единственный путь к спасению.

— Раз так, можно за те же деньги и посидеть, — угрюмо сказал Хват. — Как знать, вдруг Руни еще отобьется.

Они сели за ближайший стол, их руки снова нашли друг Друга.

Но тут в дверь ввалились какие-то мужчины и стали ощупью пробираться в темноте. Один из них — а это был сам Руни — нашел выключатель и зажег свет. Другой оказался полицейским старой закалки — крупным, грузным, гневливым и грубым — словом, таким полицейским, встреча с которым не сулит ничего хорошего. Он подошел к нашей парочке и улыбнулся девушке, как старой знакомой.

— Вы что тут делаете? — спросил он.

— Да вот заскочили покурить, — коротко ответил Хват.

— Пили?

— После часу не пили.

— Выматывайтесь отсюда, да поживее! — приказал полицейский. И тут же: — Сядь! — отменил он предыдущий приказ. Сдернул с Хвата шляпу и устался на его лицо.

— Тебя зовут Макманус?

— Не угадали, — сказал Хват. — И вовсе Петерсен.

— Хват Макманус или что-то вроде этого, — сказал полицейский. — Ты неделю назад пырнул одного парня в салуне Немчуры Майка.

— Да бросьте, — сказал Хват, уловив нотку сомнения в голосе полицейского. — Вы обознались, спугали меня с кем-то другим.

— Обознался? А ну пошли со мной, пусть на тебя еще в участке поглядят. Описание подходит к тебе точь-в-точь. — Полицейский запустил руку за воротник Хвата.

— Вставай! — заорал он.

Хват глянул на Руби. Она побледнела, ее тонкие ноздри трепетали. Пока мужчины разговаривали, ее быстрый взгляд то и дело перебегал с одного на другого. Надо же такое невезенье, думал Хват, чтоб Корригэн прохладился на морях, а он в одночасье и свел знакомство с Руби и потерял ее! В участке его как пить дать опознают. Вот невезенье так невезенье!

Но тут девушка вскочила и что было сил толкнула полицейского обеими руками. Тот выпустил воротник Хвата и попятился.

— Полегче на поворотах, Мэгуайр! — злобно завизжала она. — Убери свои грязные лапы от моего парня! Ты меня знаешь и знаешь, что я тебе плохого совета не дам. Не смей его трогать! Тебе не он нужен — за него я ручаюсь!

— Слушай, Фанни, — сказал полицейский, багровый от злости. — Ты потише, не то мне недолго и тебя замести. Тебе-то откуда известно, что мне другой нужен? И чего, кстати, ты с ним тут делаешь?

— Откуда мне известно? — сказала девушка, то вспыхивая, то бледнея. — Да я с ним, почитай, год как путаюсь. Это ж мой сожитель. Кому и знать его, как не мне. Что, по-твоему, я с ним тут делаю? Мог бы догадаться.

Она наклонилась и, взметнув юбками, сунула руку под черно-лиловый ворох оборок. Щелкнула подвязка — и на стол перед Хватом шлепнулась мятая пачка денег. Купюры лениво, как бы нехотя, распрямлялись одна за другой.

— Прячь монету, Джимми, и пошли, — сказала девушка. — Сдаю выручку, Мэгуайр, — объявила она полицейскому. — А ты получил свои всегдашние пять долларов на всегдашнем углу в десять.

— Врешь! — взревел полицейский, наливаясь кровью. — Теперь попадись мне только на моем участке, враз загремишь в кутузку.

— Кишка у тебя тонка, — сказала девушка. — И знаешь почему? Когда я тебе давала на лапу и сегодня, и на прошлой неделе, тому были свидетели. Так что лучше заткнись.

Хват бережно спрятал деньги в карман.

— Пошли, Фанни, — сказал он, — надо еще перекусить перед тем, как идти домой.

— Выметайтесь-ка отсюда оба, да поживее, не то я... — угрозы завершились невнятным бормотаньем.

На углу улицы они остановились. Хват молча отдал девушке деньги. Девушка не спеша опустила их в сумочку. На лицо ее вернулось то же выражение, с каким она входила

сегодня к Руни, — она вновь взирала на мир с вызовом, недоверием и угрюмым удивлением.

— Похоже, я могу попрощаться с тобой прямо здесь, — сказала она уныло. — Ты уж, конечно, не захочешь больше встречаться со мной. Ну как, давай пожмем руки, мистер Макманус?

— Я б ни в жизнь не смекнул, если б ты не раскололась, — сказал Хват. — Зачем ты это сделала?

— Иначе б тебя как пить дать замели. Вот зачем. Это тебе не причина? — Из глаз девушки покатались слезы. — Ей-ей, Эдди, я хотела стать такой хорошей, что лучше не бывает. Мне опостылела моя жизнь, опостытели мужчины, мне хотелось умереть, и тут я встретила тебя. Мне показалось, что ты не такой, как все. А когда я увидела, что я тебе тоже понравилась, я подумала: вотру-ка я ему очки, прикинусь хорошей, а потом и впрямь стану хорошей. А когда ты сказал, что придешь ко мне домой, да после такого я б скорей умерла, чем пошла бы на плохое. Но что толку говорить? Так что, если хочешь проститься, давай простимся, мистер Макманус.

Хват подергал себя за ухо.

— Это я порезал Малони, — сказал он. — И полиция искала не кого другого, а аккурат меня.

— Да ладно, — сказала девушка безучастно. — Это мне без разницы.

— И потом насчет Уолл-стрита тоже все вранье, я ошиваюсь с одной шайкой в Ист-Сайде, и других занятий у меня не имеется.

— Да ладно, — повторила девушка. — Это мне тоже без разницы.

Хват приосанился, сбил котелок на лоб.

— Я б, пожалуй, мог устроиться к О'Брайену, — сказал он вслух, но как бы для себя.

— Прощай, — сказала девушка.

— Пошли, — сказал Хват. — Я знаю одно местечко тут поблизости.

Через два квартала они остановились у красного кирпичного особняка, выходящего в небольшой парк.

— Это что за дом? — спросила девушка пятясь. — Чего тебе там понадобилось?

С одной стороны парадной двери в ярком свете фонаря блестела медная табличка. Хват решительно потащил девушку вверх по ступенькам.

— Читай! — сказал он.

Девушка прочла надпись на табличке и испустила нечто среднее между стоном и воплем.

— Нет, нет, Эдди! Боже мой, только не это! Я не хочу, я не пойду, нет, нет! Отпусти меня! Нет, ты этого не сделаешь! Ты не можешь... Тебе нельзя! Теперь, когда ты все знаешь! Нет, ни за что! Уйдем отсюда скорее! О господи, да идем же, Эдди, прошу тебя, идем!

У нее закружилась голова, она пошатнулась, но Хват успел ее поддержать. Он нашарил правой рукой кнопку звонка и с силой нажал на нее.

Другой полицейский — прямо диву даешься, какой у них нюх на беспорядки! — проходя мимо, увидел нашу парочку и взбежал по ступенькам.

— Эй! Ты что это себе позволяешь с девушкой? — сердито окликнул он Макмануса.

— Да она через минуту придет в себя, — сказал Хват. — Ей-ей, у нас тут все честь по чести.

— “Преподобный Иеремия Джонс”, — прочел полицейский надпись на табличке, чуть сыщика направило его по верному следу.

— Так точно, — сказал Хват. — Он нас сейчас обвенчает, ей же ей.

## ПСИХЕЯ И НЕБОСКРЕБ

Если вы философ, вы можете сделать вот что: подняться на крышу большого дома и, взирая с трехсотфутовой высоты на собратьев-людей, презирать их как ничтожных букашек.

Они ползают, они толкуются и кружат, бесцельно, тупо, бестолково, точно какие-нибудь несуразные водяные клопы на пруду в летнюю пору. Не скажешь даже, что они спуют, как муравьи, ибо муравей, с присущим ему завидным здравомыслием, всегда знает, как ему быстрее попасть домой. Положение у муравья на земле невысокое, однако же как всегда часто бывает, что он уж и домой пришел, и шлепанцы достал из-под кровати, а вы еще томитесь на высоте своего положения, застряв на станции надземки.

Итак, для философа-крышелаза человек — всего лишь презренная, ничтожная козявка. Биржевые маклеры и поэты, миллионеры, чистильщики сапог, красавцы, землекопы и политики превращаются в черные точки, которые на улице шириной в ваш палец увертываются от других черных точек чуть покрупней размером.

Сам город со столь возвышенной точки зрения, съезжась, предстает сумбурным скопищем перекошенных строений в немислимо искаженной перспективе, могучий океан претеряется в лужу, сам земной шар — в мячик для гольфа, затерянный во вселенной. Все будничное и мелкое отступает прочь. Философ обращает свой взор к небесам, и, вдохновленный новым видением мира, воспаряет душой. Он ощущает себя потомком Вечности и преемником Времени. Он чувствует, что Пространство тоже должно достаться ему в законное и неотъемлемое наследство, и, воспламенясь, размышляет о том, как когда-нибудь существа, подобные ему, по таинственным воздушным тропам устремятся от планеты к планете. Крошечный мир у него под ногами, на котором, точно песчинка на Гималайской вершине, покоится стальная вышка небоскреба, — лишь бесконечно малая крупица в круговороте неисчислимого множества других таких же. Честолюбивые надежды черненьких суетливых букашек там внизу, их достижения, их пустяковые победы и привязанности — что они в сравнении с безмятежной и грозной беспредельностью вселенной, окружающей со всех сторон город?

Что философа непременно посетят такие модели, можно ручаться смело. Их специально отобрали из различных философских направлений, какие только есть на свете, и, снабдив в конце, как надлежит, вопросительным знаком, утвердили как непрменный образец глубокомыслия на большой высоте. И когда философ садится в лифт и едет вниз, ум его обогащен, душа полна покоя, взгляды на сущность мироздания широки, как пряжка на поясе Ориона.

Однако, если вас зовут Дэзи и вам девятнадцать лет, если вы работаете в кондитерской на Восьмой авеню и получаете шесть долларов в неделю, при том что встаете в шесть тридцать утра и трудитесь до девяти вечера, а живете в холодной и тесной, пять футов на восемь, меблированной каморке и тратите на завтрак всего десять центов, если к тому же вы никогда не изучали философию — тогда с высоты небоскреба вы будете, возможно, смотреть на вещи иначе.

Двое вздыхали о непричастной к философии Дэзи, двое домогались ее руки. Первым был Джо, владелец самой маленькой лавочки в Нью-Йорке. Она была примерно с ящик, в каких хранят рабочий инструмент, и лепилась, наподобие ласточкина гнезда, к углу небоскреба в деловой части города. В ней продавались газеты, фрукты, конфеты, сборники песен, папиросы, а летом и лимонад. Когда же, трясая заиндевельными кудрями, приходила суровая зима и загоняла Джо с его фруктами в помещение, то места в лавке оставалось в обрез на хозяина, его товар, печурку величиной с графинчик для уксуса и на одного покупателя.

Джо не принадлежал к той нации, что производит у нас фурор своими фугами и фруктами. Он был толковый молодой американец, который понемногу откладывал деньги и хотел, чтобы Дэзи помогла ему их прожить. Он уже три раза делал ей предложение. И любовная песня его звучала так:

— Ты знаешь, Дэзи, как я хочу, чтобы мы поженились, я и денюжат поднакопил. Магазин у меня, правда, не такой уж большой.

— Ну да, серьезно? — отзывалась та, что была непричастна к философии. — А говорят, тебя сам Уонамейкер<sup>1</sup> уламывает сдать ему излишки помещения на будущий год.

Каждый день утром и вечером Дэзи проходила мимо угла, где притулилась лавочка Джо. И приветствие ее звучало примерно так:

— Эй, в конуре, как дела? Что-то, смотрю, у тебя стало пустовато. Не иначе, продал пачку жевательной резинки.

— Да, места здесь немного, это точно, — с широкой усмешкой отвечал ей Джо, — но на тебя, Дээз, хватит. Мы с магазином ждем не дождемся тебя в хозяйки. Ты уж нас долго не томи, хорошо?

— Магазин! — Дэзи с презрением морщила вздернутый носик. — Не магазин, а консервная банка! Ждете, говоришь? Ну-ну. Только придется тебе, Джо, выкинуть фунтов сто сластей, а то мне не уместиться.

— Что ж, с удовольствием, ведь это выйдет так на так, — галантно говорил Джо.

Жизнь Дэзи и без того текла в узких границах. На работе нужно было двигаться бочком, чтобы протиснуться между полками и прилавком. Дома было больше уюта, чем свободного места. Стены стояли так близко друг от друга, что при малейшем движении громыхали отставшие обои. Рассматривая в зеркале свою каштановую пышную прическу, Дэзи могла зажечь одной рукой газ, а другой в это же время закрыть дверь. На комодке стояла карточка Джо в золоченой рамке, и иногда при взгляде на нее... но тут мысль Дэзи неизменно обращалась к потешной лавочке, приткнутой, как ящик из-под мыла, к углу огромного здания, и вместо нежного вздоха слышался беззаботный смех.

<sup>1</sup> В девятидесятых годах владелец самого большого в Нью-Йорке универсального магазина.

Второй поклонник появился у Дэзи на несколько месяцев позже, чем Джо. Он снял комнату с пансионом в том же доме, где жила она. Звали его Дебстер, и он был философ. Достоинства этого совсем еще молодого человека бросались в глаза, как европейские наклейки на чемодане у жителя Пассейка, штат Нью-Джерси. Свои знания он почерпнул из энциклопедий и справочников, но что касается мудрости, она промчалась мимо, а он остался на обочине, отфыркиваясь и не успев заметить хотя бы номер ее автомобиля. Он мог, и не пропускал случая, рассказать вам, из чего состоит вода и почему человеку полезно есть горох и телятину, какой в Библии самый короткий стих и сколько фунтов гвоздей уйдет на то, чтобы прибить 256 дранок с зазором в четыре дюйма, каково население города Канкаки, штат Иллинойс, в чем суть теории Спинозы, как зовут младшего лакея в доме мистера Г. Маккея Тумли, какова длина туннеля сквозь гору Хусак, когда лучше всего сажать курицу на яйца, какое жалованье получает почтовый курьер на железной дороге, участок Дрифтвуд — Ред-Банк-Фернес, штат Пенсильвания, и сколько насчитывается когтей в передней лапе кошки.

Столь нешуточное бремя познаний не отягощало Дебстера. Факты и цифры были для него словно бы веточки петрушки, приправа к легкой беседе, коей он потчевал вас, если усматривал, что это вам по вкусу. Кроме того, он пользовался ими как бруствером при фуражировке — за столом в пансионе. Обстреливая вас очередями цифр, связанных с тем, сколько весит один фунт пруткового железа сечением пять дюймов на два и три четверти и сколько в среднем выпадает ежегодно осадков в Форт-Спеллинге, штат Миннесота, он пронзал вилкой самый лакомый кусочек курицы на блюде, пока вы только набирались духу спросить у него, отчего куры не клюют денег.

Оснащенный столь ослепительными достижениями, да и наружностью не обиженный, если вам нравится та брильянтовая разновидность, какую в три часа дня встретишь на каждом шагу возле магазинов, он являл собою соперника, с

которым Джо, содержателю микролавки, стоило бы, по-видимому, скрестить оружие. Однако Джо не носил при себе оружия. А если бы и носил, то все равно скрестить его было бы негде.

Как-то в субботу, часа в четыре, Дэзи с мистером Дебстером остановились у палатки Джо. На Дебстере был цилиндр и потому... ну, словом, Дэзи была женщина и не могла допустить, чтобы этот цилиндр вновь очутился в картонке, пока его не увидит Джо. Формальным же предложением их визита была пачка ананасной жевательной резинки, каковую Джо и подал в распахнутые настежь двери лавочки. При виде цилиндра он не дрогнул, не переменялся в лице.

— Мистер Дебстер пригласил меня подняться с ним сюда наверх для обозрения панорамы, — сказала Дэзи, когда познакомила своих обожателей. — Я никогда еще не была на крыше небоскреба. Наверное, там жутко здорово и интересно.

— Хм! — сказал Джо.

— Ландшафт, который открывается нашему взору с крыши высокого здания, — сказал Дебстер, — не только грандиозен, но и поучителен. Мисс Дэзи может быть уверена, что ее ждет большое удовольствие.

— Там, между прочим, тоже ветрено, — сказал Джо. — Ты хорошо оделась, Дэзи?

— Будьте покойны! Напялила сто одежек, — сказала Дэзи, со смущением и радостью отметив, как омрачилось его чело. — А ты тут, Джо, прямо как мумия в футляре. Уж не пополнились ли, чего доброго, твои запасы на фунт орехов или одно яблоко? По-моему, ты вконец затоварился.

Дэзи прыснула, наслаждаясь излюбленной шуткой, и Джо ничего не оставалось, как только улыбнуться тоже.

— В сравнении с масштабами этого дома, мистер, э... мда, — заметил Дебстер, — ваше заведение, как мне представляется, несколько ограничено в размерах. Площадь бокового фасада здесь, если не ошибаюсь, приблизительно триста

сорок футов на сто. Ваш магазин выглядит, соответственно, как если бы на территорию Соединенных Штатов к востоку от Скалистых гор — прибавив сюда же провинцию Онтарио и, скажем, такую страну, как Бельгия, — поместить половину Белуджистана.

— Нет, ей-богу? — простодушно сказал Джо. — Ну вы, приятель, по части цифр — прямо голова. А не скажете, сколько прессованного сена в квадратных фунтах сжует осел, если на целую минуту и пять восьмых перестанет орать “и-а, и-а”?

Через несколько минут Дэзи и мистер Дебстер уже выходили из лифта на верхнем этаже небоскреба. Потом крутая лесенка — и крыша. Дебстер подвел Дэзи к парапету и показал ей, как копошатся внизу на улицах черненькие точки.

— Что это такое? — дрожа спросила она. Ей никогда не приходилось подниматься на такую высоту.

Как же тут было Дебстеру не войти в роль философа на башне и не увлечь ее душу за собою навстречу беспредельному пространству!

— Двunoгие, — торжественно сказал он. — Заметьте, во что они превращаются, если подняться над ними хотя бы на триста сорок футов — сущие насекомые, ползают туда-сюда, а что толку!

— Да ничего подобного! — вдруг воскликнула Дэзи. — Это же люди! А вон автомобиль. Ой, значит, мы так высоко поднялись?

— Подойдите сюда, прошу вас, — сказал Дебстер. Он показал ей огромный город, раскинувший далеко внизу стройные шеренги игрушечных домов, униженные, не смотря на ранний час, первыми путеводными огоньками уличных фонарей. Потом он показал ей бухту, а за нею море, которое на юге и востоке таинственно сливалось с небом.

— Мне здесь не нравится, — объявила Дэзи, встревожено подняв на него свои голубые глаза. — Поехали вниз, а?

Но философ отнюдь не собирался упускать такой случай. Пусть сначала она узрит, сколь возвышен полет его мысли, на какой короткой ноге он с бесконечностью, как обильно уснащена его память статистикой. И тогда ее уже не прельстит более возможность навешиваться за жевательной резинкой в самую маленькую лавчонку Нью-Йорка. И мистер Дебстер принялся разглагольствовать о мизерности и тщете людских забот, о том, что, вознесясь над землей даже на столь незначительное расстояние, сознаешь, что человеку и делам его цена не больше, чем десять медных, трижды пересчитанных грошей. И потому нам надлежит сделать предметом наших помыслов звездные миры и выкладки Эпиктета и в том черпать для себя утешение.

— Лично меня это как-то не манит, — сказала Дэзи. — Помоему, если хотите знать, просто ужас, когда ты так высоко, а люди под тобой словно блохи. А вдруг это мы Джо там видели внизу. Надо же, как будто смотришь из соседнего штата. Да мне тут просто страшно!

Философ глуповато улыбнулся.

— Среди пространства, — говорил он, — сама Земля — всего лишь зернышко пшеницы. Взгляните, пожалуйста, наверх.

Дэзи с опаской покосилась на небо. Короткий день угас, и уже высыпали первые звезды.

— Вон там, — говорил Дебстер, — вы видите Венеру, вечернюю звезду. Она отстоит от Солнца на шестьдесят шесть миллионов миль.

— Вот уж это враки! — сказала Дэзи, и от возмущения у нее на минуту прошел страх. — Что я, по-вашему, из Бруклина, что ли? Сьюзи Прайс из нашей кондитерской ездила в Сан-Франциско к брату, он ей присылал на билет. Так туда и то всего тысячи миль.

Теперь философ улыбнулся снисходительно.

— Наша Земля, — сказал он, — находится на расстоянии девяноста одного миллиона миль от Солнца. А существуют

восемнадцать звезд первой величины, которые от Солнца в двести одиннадцать тысяч раз дальше нас. Если одна из них погаснет, ее последний луч долетит до нас только через три года. Кроме того, есть шесть тысяч звезд шестой величины. Их свет доходит до Земли уже за тридцать шесть лет. В восемнадцатифутовый телескоп мы увидим сорок три миллиона звезд, и в том числе — звезды тринадцатой величины, свет которых достигает Земли за две тысячи семьсот лет. Каждая такая звезда...

— Неправда! — сердито вскричала Дэзи. — Вы нарочно меня пугаете. Вы и так меня напугали, я хочу вниз!

Она топнула ногой.

— Арктур... начал было философ примирительно, но тут, прервав его на полуслове, ему из глубины своей безмерности предъявила наглядный аргумент та самая Природа, которую он тшился описать, напрягая память, но позабыв про сердце. Ибо тому, кто толкует Природу сердцем, известно, что звезды укреплены на небесном своде с одной целью — лить ласковый свет на влюбленных, блаженно блуждающих под ними, и, если в сентябрьскую ночь вы, рука об руку с милой, встанете на цыпочки, окажется, что до них не так уж трудно дотянуться. Чтобы их свет летел к нам целых три года? Чушь какая!

Откуда-то с запада вынырнул метеор, и на крыше небоскреба сделалось вдруг светло, как днем. Метеор пронесся по небу, прочертив с запада на восток огненную параболу. Он шипел на лету, и Дэзи взвизгнула.

— Везите меня вниз, ходячая вы арифметика! — крикнула она отчаянно.

Дебстер помог ей сойти с лесенки, они вошли в лифт. Глаза у нее были безумные, и, когда, мгновенно вызвав у пассажиров слабость в коленках, лифт-экспресс ухнул вниз, она передернулась.

За вращающейся дверью небоскреба философ ее потерял. Она исчезла, а он озадаченно топтался на месте, и ни факты, ни цифры не поспешили ему на выручку.



О. ГЕНРИ

У Джо наступило затишье в торговле, и он, извиваясь змеёй, прорвался между ящиками с товаром, зажег папиросу и приладил одну озябшую ногу к чахлой печурке.

Дверь лавочки распахнулась, и Дэзи, смеясь и плача, спотыкаясь, рассыпая по полу фрукты и конфеты, кинулась к нему на грудь.

— Ну вот, Джо, я побывала на небоскребе! Ой, до чего тут у тебя тепло, уютно, хорошо! Я согласна за тебя выйти, Джо, когда захочешь.

Из сборника  
“ВСЕГО ПОНЕМНОЖКУ”  
1911

## ИЩЕЙКИ

В недрах Большого Города человек подчас исчезает внезапно и бесследно, как пламя задутной свечи. И вот уже кличут на помощь сыскную рать — матерых ищеек, следопытов городских лабиринтов, кабинетных сыщиков, этих приверженцев теории и мастеров индукции. Чаще всего человека так больше и не увидят. Бывает, что он объявится где-нибудь в Шебойгане или в пустынных дебрях близ Терри-Хот под экстравагантной фамилией типа “Смит” и в полном забвении всего, что было до определенного времени, включая счет, присланный от бакалейщика. Бывает, что, когда уже спущены водоемы и прочесаны рестораны на случай, если исчезнувший сидит и ждет, когда ему подадут хорошо прожаренную вырезку, вдруг обнаружится, что он просто переехал в соседний дом.

Итак, был человек — и нет его, как будто с классной доски стерли нарисованную мелом фигурку; поистине захватывающий сюжет для всякого драматурга.

Не лишен интереса в этой связи случай, который произошел с Мэри Снайдер.

Приехал с Запада в город Нью-Йорк средних лет мужчина по фамилии Микс, — приехал разыскать сестру. Миссис Мэри Снайдер, вдову пятидесяти двух лет, которая год назад поселилась в многоквартирном доме одного из густонаселенных районов города.

В доме ему сказали, что Мэри Снайдер уже больше месяца как съехала с квартиры. Нового ее адреса никто не знал.

Выйдя на улицу, мистер Микс обратился к постовому на углу и объяснил, в каком он затруднении.

— Мне во что бы то ни стало нужно найти ее, — сказал он. — Сестра очень бедствует, а я недавно нажил приличные деньги на акциях свинцового рудника и хочу, чтобы она разделила со мною богатство. Помещать объявление в газету нет смысла, она неграмотная.

Полицейский расправил усы и принял до того глубоко-мысленный и всемогущий вид, что Миксу почудилось, будто на его небесно-голубой галстук уже капают слезы радости из глаз сестры Мэри.

— Вы вот что, — сказал полицейский. — Ступайте на Канал-стрит да наймитесь ломовым извозчиком на самую большую подводку. В этом квартале что ни день — обязательно собьют на мостовой старушку. Возможно, ваша тоже попадет под колеса. А не хотите, тогда надо идти в полицейское управление, пускай поставят на это дело сысканого агента.

В полицейском управлении к Миксу отнесли как нельзя более сочувственно. Был объявлен всеобщий розыск, и по всем полицейским участкам разослали карточки Мэри Снайдер, переснятые с фотографии, которая имела у брата. Начальник сысканой полиции на Малбери-стрит поручил вести дело агенту Маллинзу.

Агент отвел Микса в сторонку.

— Случай нехитрый, распушаем в два счета, — сказал он. — Сбрейте баки, положите в карманы побольше хороших сигар, и сегодня в три мы встречаемся в кафе гостиницы “Уолдорф”.

Микс все исполнил в точности. Маллинз ждал его в кафе. За бутылкой вина сыщик расспрашивал его о пропавшей.

— Ну, так, — сказал Маллинз. — Нью-Йорк — город большой, но дело у нас ведется по строгой системе. Найти вашу сестру можно двумя способами. Испробуем сначала первый. Ей, говорите, пятьдесят два года?

— И три месяца, — сказал Микс.

Сыщик повел приезжего в отдел объявлений одной из крупнейших газет. Там он написал и дал Миксу прочесть следующее:

“Срочно требуется: сто хорошеньких девушек для кордебалета новой музыкальной комедии. Обращаться по адресу: Бродвей, дом такой-то, с утра до вечера”. Микс возмутился.

— Моя сестра — бедная немолодая работающая женщина, — сказал он. — Не понимаю, как ее можно разыскать с помощью такого объявления.

— Н-да, — сказал сыщик. — Не знаете вы Нью-Йорка, вот в чем штука. Ну, ладно, не по душе вам этот метод, можем применить другой. Уж это будет дело верное. Только он вам дорожке обойдется.

— Насчет расходов не беспокойтесь, — сказал Микс. — Валийте, применяйте.

Агент повел его обратно в “Уолдорф”.

— Снимите номер на две спальни с гостиной, — распорядился он. — И пошли.

Микс повиновался. На четвертом этаже их провели в роскошно обставленный номер люкс. Микс озадаченно огляделся. Сыщик опустился в бархатное кресло и вытащил из кармана портсигар.

— Забыл вас предупредить, старина, — сказал он. — Надо было договориться, что плата помесечно. Тогда с вас не содрали бы столько.

— То есть как помесечно! — воскликнул Микс. — Да вы что?

— Да просто тут понадобится время. Я же сказал, что этот метод обойдется дорожке. Сейчас засядем и будем ждать до весны. Весной выходит новая адресная книга. Очень может быть, что в ней окажется и адрес вашей сестры.

Микс поспешил распрощаться с агентом. На другой день кто-то посоветовал ему обратиться к знаменитому Шемроку Джолнсу, частному нью-йоркскому детективу, кото-

рый берет баснословно много за услуги, но зато творит сущие чудеса в смысле раскрытия преступлений.

Битых два часа дожидался Микс в приемной великого сыщика, пока его наконец не пригласили войти. Джолнс, облаченный в пурпурный халат, сидел с журналом в руках за шахматным столиком, инкрустированным слоновой костью, и титаническим напряжением мысли старался разгадать мистическую тайну повести "Они". Нет нужды описывать здесь его одухотворенные аскетические черты, пронзительный взгляд и расценки на каждое сказанное слово — они слишком хорошо известны.

Микс изложил ему задачу.

— Если поиски увенчаются успехом, мой гонорар — пятьсот долларов, — сказал Шемрок Джолнс.

Микс поклонился в знак согласия.

— Хорошо, мистер Микс, — сказал Шемрок Джолнс в заключение. — Я берусь за ваше дело. Мне всегда было интересно, куда в этом городе пропадают люди. Помню, был год назад один случай, который мне удалось привести к благополучной развязке. Из небольшой квартиры неожиданно-негаданно исчезли жильцы, некий Кларк со своим семейством. Два месяца я вел наблюдение за домом, где помещалась квартира, надеясь напасть на ключ к разгадке тайны. Вдруг я обратил внимание, что один молочник и посыльный из бакалейной лавки, доставляя свой товар на верхний этаж, идут задом наперед. Это наблюдение навело меня на мысль и, развивая ее по методу индукции, я сразу установил, где находится исчезнувшее семейство. Кларки переехали в квартиру напротив, на той же площадке, и сменили фамилию на Кралк.

Вместе с клиентом Шемрок Джолнс поехал по прежнему адресу Мэри Снайдер и потребовал, чтобы ему показали комнату, в которой она жила. Туда никто так и не въехал с тех пор.

Комнатенка оказалась тесная, обшарпанная, убого обставленная. Микс удрученно присел на колченогий стул, а великий детектив, ища следов пропавшей, принялся ос-

матривать стены, пол, потолок и расхлябанную старую мебель.

Не прошло и получаса, как в руках у Джолнса оказался набор ничего, казалось бы, не значащих предметов — дешевенькая черная шляпная булавка, отрывок театральной программы и уголок, оторванный от бумажной карточки, на котором стояло слово "левая", а под ним значилось: "Б" и "12".

Шемрок Джолнс облокотился о каминную полку и, подперев рукой подбородок, простоял минут десять с печатью глубокого раздумья на одухотворенном челе. На десятой минуте он встрепенулся и воскликнул:

— Вставайте, мистер Микс, загадка решена. Я могу хоть сию минуту показать вам дом, в котором живет ваша сестра. И не бойтесь, что она в стесненных обстоятельствах, она вполне обеспечена — по крайней мере, в настоящее время.

Микс не знал, чего в его душе больше, радости или изумления.

— Но как это вам удалось узнать? — спросил он с нескрываемым восхищением.

За Джолнсом водилась, пожалуй, одна-единственная слабость: он гордился своими необыкновенными профессиональными достижениями в области индукции и не пропускал случая поразить и заморозить слушателей описанием своих методов.

— Путем исключения, — сказал Джолнс, раскладывая свои находки на маленьком столике. — Я поочередно отмечал те части города, куда могла бы переехать миссис Снайдер. Видите шляпную булавку? Она говорит нам, что Бруклин отпадает. Ни одна женщина не сядет в трамвай у Бруклинского моста, не вооружась шляпной булавкой, без которой ей никогда не протиснуться на свободное место. А теперь я докажу вам, что она не могла переехать и в Гарлем. За вот этой дверью вбиты в стену два крючка. На один миссис Снайдер вешала шляпку, на другой — шаль. Присмотритесь, и вы увидите, что от края шали на стенной штукатур-

ке постепенно образовалась грязная полоса. След имеет четкие очертания, а это значит, что шаль была без бахромы. Но судите сами, где это видано, чтобы пожилая женщина с шалью на плечах садилась в гарлемский поезд, а шаль была без бахромы? Как ей тогда зацепиться за вагонную дверцу и застрять, и не дать войти другим пассажирам? Стало быть, Гарлем тоже отпадает.

Таким образом, я прихожу к заключению, что миссис Снайдер переехала куда-то неподалеку. На этом клочке бумаги, оторванном от карточки, мы видим слово "левая", букву "Б". Ну, а мне известно, что в доме двадцать по авеню "Б" находится первоклассный пансион, который вашей сестре — предположительно — никак не по средствам. Но тут мне попадаете вот этот обрывок театральной программы, весьма, заметьте, своеобразно смятый. О чем же он свидетельствует? Для вас, мистер Микс, скорее всего, ни о чем, однако для человека, приученного и привыкшего обращать внимание на малейший пустяк, он свидетельствует о многом.

Вы говорили, что ваша сестра работает уборщицей. Моет полы в кабинетах и коридорах различных учреждений. Давайте предположим, что она устроилась на такую работу в театр. Где, мистер Микс, чаще всего теряют ценные украшения? Разумеется, в театре. Взгляните же теперь на этот обрывок программы. Видите, изнутри отпечталось что-то круглое? В эту бумажку, мистер Микс, было завернуто кольцо — и, возможно, очень дорогое. Миссис Снайдер приходит в театр и за уборкой находит кольцо. Она второпях отрывает клочок от программы, тщательно заворачивает кольцо и прячет его за пазуху. Назавтра она сбывает находку и, располагая теперь какими-то средствами, решает подыскать себе квартиру получше. Когда я дохожу до этого звена в цепи своих рассуждений, дом двенадцать по авеню "Б" уже не представляется мне чем-то невероятным. Там-то мы и найдем вашу сестрицу, мистер Микс.

И Шемрок Джолнс завершил свой убедительный монолог улыбкой художника, создавшего очередной шедевр.

Микс от восхищения решился речи. Вдвоем они направились на авеню "Б" к дому под номером двенадцать. То был старомодный особняк, в каких живут богатые, солидные люди; такие же дома стояли по сторонам.

Они позвонили и в ответ на свой вопрос услышали, что никакой миссис Снайдер тут не знают и вообще за последние полгода в этом доме не появлялось новых жильцов.

Когда они вновь очутились на тротуаре, Микс вынул предметы, найденные в комнате его сестры, и повертел их в руках.

— Я, конечно, не сыщик, — заметил он, поднося к носу обрывок театральной программы, — но мне лично кажется, что в эту бумажку было завернуто не кольцо, а мятный леденец — знаете, такой кругленький. А та, на которой адрес, похоже, оторвана от билета в кинематограф — Левая сторона, ряд "Б", место двенадцать.

Шемрок Джолнс поглядел на него отсутствующим взглядом.

— По-моему, вам самое лучшее обратиться к Джагинсу, — сказал он.

— А кто такой Джагинс? — спросил Микс.

— Это основатель новой, современной школы сысского дела, — сказал Джолнс. — Их методы отличаются от наших, но, говорят, Джагинсу удавалось справляться с совершенно головоломными задачами. Я вас отведу к нему.

Джагинса, затмившего великих, они застали в конторе. Это был шустрый белобрысый человек, всецело захваченный чтением одного из добротных бытовых романов Натаниэля Готтерна.

Великие представители двух различных школ сыска обменялись церемонным рукопожатием, и Джолнс представил Джагинсу своего клиента.

— Изложите обстоятельства дела, — сказал Джагинс, вновь погружаясь в чтение.

Когда Микс кончил, величайший из великих закрыл книгу и сказал:

— Насколько я понял, вашей сестре пятьдесят два года, справа под носом большая бородавка, неимущая вдова, может поплы, чтобы заработать на пропитание, лицом и фигурой чрезвычайно невзрачна.

— Точнее не опишешь, — подтвердил Микс.

Джагинс встал и надел шляпу.

— Через пятнадцать минут я вернусь и принесу вам ее новый адрес, — сказал он.

Шемрок Джолнс побледнел, но все же выдал из себя усмешку.

Когда указанное время истекло, Джагинс вернулся, держа в руке листок бумаги.

— Свою сестру Мэри Снайдер, — спокойно объявил он и заглянул в листок, — вы найдете в доме номер сто шестьдесят два по Чилтон-стрит. Третий этаж, последняя комната по коридору. Это всего за четыре квартала отсюда, — прибавил он, обращаясь к Миксу. — Может быть, сходите удостовериться, верны ли мои сведения, а после придете обратно? Мистер Джолнс, я полагаю, дожждется вас.

Микс поспешно удалился. Через двадцать минут он появился в дверях с сияющим лицом.

— Она там! — вскричал он. — Жива и здорова! Скажите, сколько я вам должен?

— Два доллара, — сказал Джагинс.

Когда Микс расплатился и ушел, Шемрок Джолнс, теребя в руках шляпу, стал перед Джагинсом.

— Боюсь, что это несколько нескромно с моей стороны... — сбивчиво затараторил он. — Но если бы вы были столь любезны... не согласились бы вы...

— Да отчего же, — благодушно сказал Джагинс. — С удовольствием расскажу, как это делается. Помните вы приметы миссис Снайдер? Тогда скажите, мыслимо ли дело, чтобы подобная особа не заказала в рассрочку увеличенную пастельную копию своей фотографии? Самая большая мастерская в Америке по этой части помещается как раз за углом. Я туда зашел и списал ее адрес из книги заказов. Вот и все.

## НАЛЕТ НА ПОЕЗД

ПРИМЕЧАНИЕ. Рассказ этот я услышал от человека, за которым несколько лет кряду охотилась полиция Юго-Запада и который сам занимался деятельностью, столь чистосердечно им описываемой. Его описание *modus operandi*<sup>1</sup> представляется мне заслуживающим внимания, а советы могут оказаться полезными для пассажира, которому случится стать жертвой железнодорожного налета. В то же время его рассказ о тех радостях, которые сулит грабительское дело, вряд ли кого соблазнит овладеть этой профессией. Привожу его рассказ почти дословно.

О. Г.

Если вы спросите, трудно ли ограбить поезд, большинство опрошенных ответит — да. Неправда, нет ничего проще. Я доставил немало беспокойств железным дорогам и бессонных ночей пульмановской компании, мне же моя профессия налетчика никаких неприятностей не приносила, если не считать того, что бессовестные людишки, когда я спускал награбленное, обдирали меня как липку. Риск в нашем деле невелик, ну а неприятности нас не останавливали.

Известен случай, когда поезд чуть не ограбили в одиночку, раз-другой поезда грабили на пару, расторопным ребятам удавалось справиться втроем, но вернее всего грабить поезд впятером. Выбор места и времени для налета зависит от разных обстоятельств.

Самый первый раз я участвовал в ограблении в 1890 году. Если рассказать вам, как я дошел до жизни такой, вы, может быть, поймете, что толкает большинство грабителей на этот путь. Из шести правонарушителей на Западе пять — ковбои, потерявшие работу и сбившиеся с панталыку. Шестой — хулиган с Востока, который рядится бандитом и откальывает такие гнусные номера, что марает имя всех остальных. В судьбе первых пятерых виноваты колонисты и проволочные изгороди, в судьбе шестого — дурное сердце.

<sup>1</sup> Образа действий (*лат.*).

Мы с Джимом работали на 101 ранчо в Колорадо. Колонисты там утесняли ковбоев по-всякому. Забрали себе землю и поставили полицейских, на которых не угодишь. Раз мы с Джимом завернули по дороге в Ла-Хунту, поработали на загоне скота и возвращались на юг. Ну, позабавились малость, но чинно-благородно, никого не трогали, и вдруг — нате вам — фермерская администрация хочет нас замести. Джим пристрелил помощника шерифа, а я вроде как встал на его сторону в споре. Поскакали по их главной улице взад-вперед, постреляли, но остались целы-невредимы. А потом рванули на наше ранчо. Летать наши лошади не могли, но в скорости не уступали птицам.

А так примерно через недельку заявляется туда шайка этих ла-хунтовских рвачей, требует, чтобы мы с ними ехали назад. Мы, ясное дело, ни в какую. Нам что — мы ведь в доме укрылись, только не успели мы им свой отказ изложить до конца, как они наш саманный домишко весь изрешетили пулями. А чуть стемнело, мы их обстреляли и дернули задами в горы. Они тоже в долгу не остались, популяли нам вдогонку. Нам с Джимом пришлось разъехаться — ничего тут не поделаешь, встретиться мы уговорились в Оклахоме.

В Оклахоме мы никуда не пристроились и, как край подошел, решились провернуть это дело с железными дорогами. Мы с Джимом вошли в компанию с Томом и Айком Мурами — двумя братьями, у которых было столько пороху, что им прямо-таки не терпелось переплавить его в звонкую монету. Я смело называю их имена, потому что оба они уже на том свете. Тома застрелили, когда он грабил банк в Арканзасе, Айк подорвался на более опасном дельце: его убили на танцулке в Крик-Нейшн.

Мы выбрали одно местечко на линии Санта-Фе, там через глубокое ущелье идет мост, а кругом густой лес. Все пассажирские поезда брали воду из цистерны неподалеку от моста. Место самое что ни на есть глухое, ближе чем за пять миль домов нет. Накануне мы дали роздых лошадям и обговорили, как лучше обстрелять налет. Планы у нас были

нехитрые, ведь никто из нас грабежами раньше не занимался.

По расписанию экспресс подходил к цистерне в 11.15 вечера. Ровно в одиннадцать мы с Томом залегли по одну сторону полотна, Джим с Айком по другую. Когда поезд стал приближаться и я увидел, как свет головного прожектора разрезает тьму, услышал, как паровоз со свистом выпускает пар, у меня затряслись поджилки. Я готов был год отработать на ранчо бесплатно, лишь бы выйти сейчас из игры. Самые рискованные ребята потом говорили, что им тоже было не по себе, когда они в первый раз шли на дело.

Едва поезд замедлил ход, я вскочил на одну подножку, Джим на другую. Стоило машинисту и кочегару увидеть наши пушки, как они, не ожидая приказаний, подняли руки вверх и попросили не стрелять, обещая слушаться нас во всем.

— Прыгай! — приказал я, и они попрыгали на землю. Мы погнали их вдоль состава. Пока мы занимались обслугой, Том и Айк — каждый со своей стороны — открыли пальбу, пальбу они сопровождали диким гиканьем на манер апачей, чтобы отбить у пассажиров охоту высовываться. Один олух выставил в окно свою игрушку двадцать второго калибра и пульнул в белый свет. Я звезданул по стеклу прямо над его головой. После этого у пассажиров начисто пропало желание сопротивляться. К этому времени я перестал бояться. И если и волновался, то не без приятности, вроде как бывает на танцах или, скажем, на вечеринке. Света в вагонах видно не было, и, едва Том с Айком перестали бесноваться, стало тихо, как на кладбище. Помнится, я слышал, как в кустах у дороги чирикала птичка, будто плакалась, что ей не дают спать.

Я велел кочегару достать фонарь, пошел к почтовому вагону и крикнул почтальону, чтоб он открыл двери, не то я его продырявлю. Он встал на пороге, руки поднял вверх. "Прыгай за борт, братец", — сказал я, и он плюхнулся в грязь, как шматок свинца. В вагоне стояли два сейфа — один по-

больше, другой поменьше. Между прочим, первым делом я вытащил почтальонский арсенал — двуствольный дробовик, заряженный картечью, и пистолет тридцать восьмого калибра. Вынул из дробовика патроны, пистолет сунул в карман и крикнул почтальону, чтоб шел в вагон. Ткнул пушку ему в нос, и он заработал как миленький. С большим сейфом он не справился, но маленький одолел. Там оказалось всего-навсего девятьсот долларов. Убогая пожива после всех наших трудов, и мы решили прочесать пассажиров. Обслугу завели в курительный вагон, машиниста отправили зажечь свет в вагонах. В дверях каждого вагона, начиная с первого, поставили по человеку, а пассажирам велели поднимать руки вверх и выйти в проход.

Если хотите знать, какие труссы составляют большинство человечества, ограбьте пассажирский поезд. Я так говорю не потому, что пассажиры не сопротивляются (я вам потом объясню, почему они не могут сопротивляться), просто жалко смотреть, как они пугаются. И здоровяки-коммивояжеры, и фермеры, и отставные вояки, и франты в воротничках до ушей, и игроки, от чьей похвальбы только что дрожали стекла в вагоне, — все они празднуют труса.

По позднему времени большинство пассажиров ехало спальным, потому в остальных вагонах нам не удалось поживиться. Проводник пульмановского вагона загородил собой проход, но Джим в это время уже подходил к другой двери. Проводник любезно сообщил, что никак не может пропустить меня в вагон, ибо спальный вагон не принадлежит железной дороге, не говоря о том, что пассажиров и так уже потревожили крики и стрельба. В жизни не встречал человека, который бы с большим достоинством нес свои служебные обязанности и так верил бы в чудодейственную силу имени великого Пульмана. Я ткнул мистера Проводника в живот моим шестизарядным, да так, что пуговица с его жилета намертво закупила дуло, только выстрелом мне удалось от нее избавиться. Проводник мигом заткнулся и кубарем скатился по ступенькам.

Я распахнул дверь и вошел в вагон. Ко мне, пыхтя и отдуваясь, подковылял толстый старик. Одну руку он успел продеть в рукав пиджака и теперь пытался натянуть жилет поверх него. Понятия не имею, за кого он принял меня.

— Молодой человек, — сказал он. — Не теряйте головы, сохраняйте хладнокровие.

— Не могу, — сказал я. — Я весь дрожу.

Тут я заверещал и разрядил свой кольт в потолочный фонарь.

Старик хотел юркнуть на нижнюю полку, но не тут-то было: оттуда вылетел визг, и чья-то голая нога так врезала старику в живот, что он шмякнулся на пол. К этому времени Джим уже вскочил в вагон с другой стороны, так что я велел пассажирам вытряхиваться с полок и строиться в проходе. Пассажиры полезли вниз, зрелище было, я вам доложу, ну чисто цирк о трех аренах. Они дрожали, как кролики в сугробе. В среднем на каждого приходилось по четверти костюма и ботинку. Один тип сидел на полу в проходе, судя по его лицу, можно было подумать, что он трудится над головоломной задачей. Он озабоченно натягивал дамский ботинок второго номера на свою ножищу девятого.

Дамы одеваться не стали. Им, голубушкам, так не терпелось посмотреть на взаправдашнего, живого железнодорожного бандита, что они, не тратя времени попусту, обмотались простынями и одеялами и, пища и трепыхаясь, поспрыгивали с полок. Слабый пол, он всегда любопытнее и храбрее.

Когда мы наконец построили пассажиров в ряд и угомонили, я обыскал их одного за другим. Ничего путного, точнее сказать, ценного, у них не нашлось. Но на одного типа просто стоило посмотреть. Это был спесивый развевшийся лодырь из тех, что торчат с умным видом в президиуме. Прежде чем выйти на люди, он успел нацепить сюртук и цилиндр. Ниже его прикрывали только пижамные штаны и мозоли. Я рассчитывал изъять у этого принца Альберта не меньше пачки акций золотых приисков и охупки государственных облигаций, а нашел всего-навсего детскую губную



гармошку. Не возьму в толк, для какой надобности он ее возил. Меня даже злость разобрала, так я обмишурился. Я смазал его гармошкой по губам.

— Не можешь платить — играй, — говорю.

— И играть не могу, — говорит он.

— Тогда учись по-быстрому, — сказал я и дал ему нюхнуть мою пушку.

Он схватил гармошку, стал багровый, как свекла, и давай дуть. Наигрывал он премиленький мотивчик, помню, я его еще мальчонкой слышал:

Что за девчоночка я была,  
Мама красоткой меня звала...

И так он играл без передышки до самого нашего ухода. Когда ему не хватало воздуха или он сбивался — а это случилось частенько, — я наставлял на него пушку и спрашивал, что же такое стряслось с этой девчоночкой, уж не вздумал ли он ее покинуть, и он мигом начинал наяривать с новой силой.

Смешнее этого типа, наяривающего — босиком и в цилиндре — на губной гармошке, в жизни я ничего не видал. Одна рыжая красотка, глядя на него, чуть не надорвала живот со смеху. Ее, наверное, было слышно в соседнем вагоне.

Потом Джим держал пассажиров на мушке, а я обшаривал полки. Я рылся в постелях и бросал в наволочку все, что попадалось под руку, — чего только там не было! То и дело я натькался на пугачи, которыми впору только зубы пломбировать, и кидал их в окно. Покончив с обыском, я вытряхнул наволочку посреди прохода. Оказалось, что я набрал порядком часов, браслетов, колец и сумочек вперемешку с челюстями, фляжками, пудреницами, шоколадными конфетами и шиньонами всевозможной длины и расцветки. Нашлось там и с десяток дамских чулок, которые я выудил из-под матрасов, они были туго набиты дамскими украшениями, часами и пачками банкнот. Я вызвался вернуть “скальпы”, как я их назвал, сказал, что мы не индейцы, но все дамочки изобразили удивление: мол, они в первый

раз такое видят. Одна из пассажирок — и очень недурная собой, — замотанная в полосатое одеяло, увидев, как я поднял с полу увесистый чулок, закричала:

— Это мой чулок, сэр. Скажите, ведь не в ваших привычках грабить женщин?

Так как это был наш первый налет, мы не успели подработать моральный кодекс, и я растерялся. Но, как бы там ни было, я ответил: “Во всяком случае, эта привычка еще не сделалась второй натурой. Если тут ваши личные вещи, я вам их верну”.

— Именно что личные, — пылко заверила дамочка и потянулась за чулком.

— Прошу прощения, но я все-таки хочу поглядеть, что там такое, — сказал я и взялся за носок. На пол полетели золотые мужские часы не меньше двухсот долларов ценой, мужской бумажник, потом мы в нем нашли шестьсот долларов и револьвер тридцать второго калибра, из дамских вещей там был только серебряный браслет центов за пятьдесят.

Я сказал:

— Вот эта вещичка и впрямь ваша, — и протянул ей браслет. — А теперь, — продолжал я, — как вы можете ждать, чтобы мы с вами поступали по-хорошему, когда вы нас так обманываете? Я вам просто удивляюсь.

Красотка покраснела так, будто ее и впрямь поймали с поличным. Другая пассажирка крикнула: “Какая низость!” До сих пор не знаю, к кому она адресовалась, к той дамочке или ко мне.

Управившись с делами, мы наказали пассажирам ложиться спать, с порога вежливо пожелали им спокойной ночи и смылись. На рассвете — за сорок миль от моста — мы поделили добычу. Каждому досталось 1752 доллара 85 центов чистоганом. Побрякушки мы делили на глазок. И разъехались кто куда, каждый сам себе хозяин.

Так прошел мой первый налет, и дался он мне труднее остальных. Правда, потом я твердо держался почтового вагона, пассажиров я больше никогда не касался. На мой вкус, нет ничего неприятнее в нашем деле.

За восемь лет через мои руки прошло немало денег. Самая крупная пожива мне досталась ровно через семь лет после первого налета. Мы разнюхали, каким поездом повезут жалованье солдатам в один из гарнизонов. И налетели на поезд прямо среди бела дня. Наша пятерка залегла в песчаных холмах неподалеку от полустанка. Для охраны на поезде ехало десять солдат, но с таким же успехом их могли распустить по домам. Мы не дали им даже высунуться из вагона, полюбоваться нашей работой. Так что деньги нам достались шутя, и все, заметьте, золотом. Шуму в ту пору ограбление наделало большого. Деньги были казенные, так что правительство взъелось и ну задавать ехидные вопросы: для какой, мол, надобности поезд сопровождал конвой. Военные говорили: никто, мол, не ожидал, что грабители налетят на поезд днем, среди голых песчаных холмов, — больше они в свое оправдание ничего не могли сказать. Не знаю, как приняло их оправдания правительство, но я-то знаю, что они говорили дело. Потому что главное в налете — внезапность. Газеты печатали всякие небывлицы о размерах понесенного казной ущерба и в конце концов сошлись на том, что ущерб составлял 9–10 тысяч. Правительство помалкивало. Но вам я назову верную цифру, она еще ни разу в печати не появлялась, — мы тогда хапнули 48 тысяч. Если вам не лень, покопайтесь, выясните, как дядя Сэм провел этот небольшой дебет-кредит через свой личный бюджет, и вы убедитесь, что сумма мной названа верная, до одного цента.

К тому времени мы уже успели поднакопить опыт и знали, что к чему. Мы отмахали миль двадцать на запад, оставляя за собой такой след, что и бродвейскому полисмену бросился бы в глаза, и вернулись тем же путем назад, только на этот раз уже заметая следы. А через день, когда отряды доброхотов прочесывали местность во всех направлениях, мы с Джимом ужинали на втором этаже у одного нашего друга в том самом городе, откуда за нами выслали погоню. Наш друг показал нам, как в доме через дорогу пе-

чатная машина тискает объявления, в которых обещается вознаграждение за нашу поимку.

Меня спрашивали, что мы делаем с награбленными деньгами. Так вот, как спустишь деньги, никогда не помнишь, куда они ушли. Деньги плывут между пальцами, как песок. Человеку, который объявлен вне закона, нужно много друзей. Почтенный гражданин может обойтись и частенько обходится, двумя-тремя приятелями, но человеку, за которым охотится полиция, без дружков нельзя. Когда отряды разъяренных доброхотов и нацелившиеся на вознаграждение полицейские гонятся за ним по пятам, ему не выжить, если он не подготовит себе заранее несколько домов, где можно передохнуть, поесть, покормить коня и поспать несколько часов кряду спокойно. Вот почему, ограбив поезд, бандит обязательно одаряет своих друзей, и одаряет, не скупясь. Бывало, смываясь после недолгого отдыха в одной из этих мирных обителей, я кидал горсть золота и банкнот игравшим на полу ребятам, не зная даже, сколько там было — сто долларов или тысяча.

Когда бывалому грабителю случается крупно поживиться, он чаще всего отправляется спускать деньги в большие города. Новички же, как бы успешно они ни провели налет, попадают на том, что швыряют деньги неподалеку от тех мест, где они их хапнули.

В 94-м году мне довелось участвовать в одной работенке, на которой мы огребли 20 000 долларов. От погони мы ушли нашим испытанным манером — сдвоили след и на время затаились неподалеку от тех мест, где поезд нарвался на нас. И вот как-то утром читаю я в газете статейку под большой шапкой. В статейке пишут, что шериф с восемью помощниками, а также тридцать вооруженных доброхотов окружили грабителей в мескитовых зарослях на берегу реки Симаррон и через час-другой станет ясно, будут они захвачены живыми или мертвыми. Я читал эту статейку за завтраком в одном из самых роскошных особняков в Вашингтоне, и прислуживал мне холуй в штанах до колен. Напротив меня сидел Джим, он беседовал со своим едино-

утробным дядей, моряком в отставке, чье имя то и дело встречается на страницах великосветской хроники. После налета мы махнули в столицу, накупили себе всяких шикарных одежек и отдохали от трудов несправедных среди воротил и тузов. Видно, мы погибли в тех мескитовых зарослях, потому что мы не сдались, — в этом я готов присягнуть.

А теперь я хочу вам сначала объяснить, почему так легко ограбить поезд, а потом — почему я никому не посоветую этим заниматься.

Во-первых, все преимущества на стороне бандитов. Ясное дело, если они не новички, а парни бывалые и рисковые. Бандиты нападают ночью, исподтишка, а противник их весь на виду, ему некуда укрыться в тесном вагоне. Если же какой-нибудь смельчак и решится высунуть голову в окно или в дверь, он становится мишенью для бандита, у которого рука не дрогнет убить человека.

Но больше всего налет, по-моему, облегчает внезапность нападения, помноженная на воображение пассажиров. Если вам доводилось видеть коня, который наелся дурману, вы поймете, о чем я веду речь. У такого коня прямо-таки немислимое воображение. Его никак не уломаешь перейти ручеек шириной в два фута. Ему чудится, что этот ручеек чуть не шире Миссисипи. Так же обстоит дело и с пассажиром. Ему мерещится, что за окнами беснуется добрая сотня бандитов, а на самом деле их там всего двое-трое. Дуло кольта 45-го калибра кажется ему не меньше жерла туннеля. Обычно с пассажиром особых хлопот не бывает, хотя он и способен на мелкие подлости: засунет, к примеру, пачку денег в башмак и забывает ее выложить, пока не пощечочешь ему ребра стволом шестизарядного; но вообще-то пассажир — тварь безвредная.

Что же касается поездной бригады, то и стадо овец могло бы доставить больше неприятностей. И не потому, что они такие уж трусы, просто они люди здоровые. Они знают, что бандиты шутить не любят. То же можно сказать и о полицейских. Мне доводилось видеть, как тайные агенты, шерифы и железнодорожные сыщики расставались со свои-

ми капиталами кротче кроткого. Я видел, как один из самых храбрых шерифов, которых мне случалось встречать, когда я стал собирать с пассажиров дань, заткнул свою пушку под сиденье и выложил денежки не хуже остальных. И не потому что он испугался, просто он понимал, что сила на нашей стороне. Кроме того, большинство полицейских люди семейные и не хотят рисковать жизнью; человек же, который пошел на грабеж, смерти не боится. Он знает, что рано или поздно его пристрелят, и так оно чаще всего и случается. И вот вам мой совет: если на ваш поезд нападут, празднуйте труса вместе с остальными, а храбрость свою приберегите для более подходящих случаев. Во-вторых, полицейские не торопятся помериться силами с бандитами, потому что им это невыгодно. Каждый раз, когда полицейские прихлопнут в перестрелке кого-нибудь из бандитов, они терпят прямой убыток. Если же бандит удерет, они получают ордер на арест, отмахивают в погоне за беглецами не одну сотню миль, расшвыривают тысячные суммы, выдают расписки направо и налево, а правительство раскошеливается. Так что они гонятся не столько за бандитами, сколько за выгодой.

Перво-наперво в нашем деле надо захватить противника врасплох, лучше этого пока еще ничего не придумано, мысль свою я подкреплю всего одним примером.

Весь 92-й год дэлтонская шайка не давала житья полицейским в районе Чероки-Нейшн. Везло им невероятно, и они стали до того отчаянные и бесшабашные, что завели моду объявлять заранее о своих планах. Один раз они распустили слух, что в ночь на такое-то число они ограбят экспресс компании "Миссисипи—Канзас—Техас" на станции Прайор-Крик.

В ту ночь железная дорога собрала в Маскоги пятнадцать помощников шерифа и посадила на поезд. Мало того, на вокзале в Прайор-Крик в засаде сидело еще пятьдесят вооруженных молодцов.

Однако, когда экспресс прибыл в Прайор-Крик, ни один из дэлтонцев и носу не показал. Эдер, следующая по ходу по-

езда станция, была от Прайор-Крик за шесть миль. Вдруг на стоянке в Эдере, когда полицейские коротали время, живописуя, как бы они расчихвостили дэлтонцев, попадись те им в руки, они услышали такую пальбу, будто целая армия пошла в наступление. В вагон с криком: "Грабители!" — влетели проводник и тормозной кондуктор.

Одни смельчаки повыскакивали из поезда и пустились наутек. Другие попрятали винчестеры под сиденья. Двое завязали перестрелку и были убиты.

Дэлтонцы за десять минут наголову разбили конвой и захватили поезд. А еще за двадцать минут обчистили почтовый вагон, хапнули двадцать семь тысяч долларов и дали деру.

Я так думаю, что в Прайор-Крик, где полицейские ждали налета, они задали бы жару дэлтонцам, но в Эдере они были захвачены врасплох и одурманены, как и рассчитывали дэлтонцы, а те свое дело знали.

Сдается мне, что в заключение стоит подвести итоги моего, восьмилетнего бандитского опыта. Грабить поезд нет расчета. Оставляя в стороне вопросы права и морали — не мне о них судить, — я должен сказать, что жизни бандита не позавидуешь. Деньги вскоре теряют для него цену. Он начинает смотреть на железные дороги как на своих банкиров, а на шестизарядный кольт как на открытый счет. Он швыряется деньгами направо и налево. Чуть не вся его жизнь проходит в бегах, он днем и ночью в седле, когда же ему наконец удастся дорваться до сладкой жизни, у него нет сил ею наслаждаться, так тяжело ему достается в перерывах. Он знает, что рано или поздно он потеряет жизнь или свободу и что отсрочить этот час могут только меткость его стрельбы, быстроноготь его коня и преданность его дружка.

И все же нельзя сказать, что бандит живет в страхе перед полицейскими. Полицейские нападают на бандитов, только если тех втрое меньше, исключений из этого правила я не знаю.

Но бандита вечно точит одна мысль — и она ожесточает его пуще всего, — мысль о том, из кого шерифы вербуют се-

бе помощников. Он знает, что в большинстве своем эти стражи закона были в прошлом такими же бандитами, конокрадами, угонщиками скота, разбойниками с большой дороги и налетчиками, как он сам, и что и свою должность, и неприкосновенность они купили ценой выдачи своих сообщников, ценой предательства, купили тем, что обрекли своих товарищей на каторгу и смерть. И он знает, что однажды — если только его не убьют раньше — эти иуды возьмутся за дело, заманят его в ловушку, и он, который так лихо умел застичь противника врасплох, опростоволосится и сам будет застигнут врасплох.

Вот почему бандит выбирает себе сообщников куда разборчивее, чем осмотрительная девушка жениха. Вот почему по ночам он приподнимается и прислушивается к далекому цокоту копыт. Вот почему ему долго не дают покоя случайная шутка, непривычный жест испытанного товарища или невнятное бормотанье ближайшего друга, спящего бок о бок с ним.

И вот почему специальность налетчика куда менее заманчива, чем смежные с ней профессии, — политика или биржевые спекуляции.

## РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

Вор быстро скользнул в окно и замер, стараясь освоиться с обстановкой. Всякий уважающий себя вор сначала освоится среди чужого добра, а потом начнет его присваивать.

Вор находился в частном особняке. Заколоченная парадная дверь и неподстриженный плющ подсказали ему, что хозяйка дома сидит сейчас где-нибудь на мраморной террасе, омываемой волнами океана, и объясняет исполненному сочувствия молодому человеку в спортивной морской фуражке, что никто никогда не понимал ее одинокой и возвышенной души. Освещенные окна третьего этажа в сочетании с концом сезона в свою очередь свидетельствовали о

том, что хозяин уже вернулся домой и скоро потушит свет и отойдет ко сну. Ибо сентябрь — такая пора в природе и в жизни человека, когда всякий добропорядочный семьянин приходит к заключению, что стенографистки и кабаре на крышах — тщета и суета, и, ощутив в себе тягу к благопристойности и нравственному совершенству, как ценностям более прочным, начинает поджидать домой свою законную половину.

Вор закурил сигарету. Прикрытый ладонью огонек спички осветил на мгновение то, что было в нем наиболее выдающегося, — его длинный нос и торчащие скулы. Вор принадлежал к третьей разновидности. Эта разновидность еще не изучена и не получила широкого признания. Полиция познакомила нас только с первой и со второй. Классификация их чрезвычайно проста. Отличительной приметой служит воротничок.

Если на пойманном воре не удастся обнаружить крахмального воротничка, нам заявляют, что это опаснейший выродок, вконец разложившийся тип, и тотчас возникает подозрение — не тот ли это закоренелый преступник, который в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году выкрал наручники из кармана полицейского Хэннесси и нахально избежал ареста.

Представитель другой широко известной разновидности — это вор в крахмальном воротничке. Его обычно называют вор-джентльмен. Днем он либо завтракает в смокинге, либо расхаживает, переодевшись обойщиком, вечером же — приступает к своему основному, гнусному занятию — ограблению квартир. Мать его — весьма богатая, почтенная леди, проживающая в респектабельнейшем Оушен-Гроув, и когда его препровождают в тюремную камеру, он первым делом требует себе пилочку для ногтей и “Полицейскую газету”. У него есть жена в каждом штате и невесты во всех территориях, и газеты сериями печатают портреты жертв его матримониальной страсти, используя для этого извлеченные из архива фотографии недужных особ женского пола, от которых отказались все доктора и которые получили

исцеление от одного флакона патентованного средства, испытывав значительное облегчение при первом же глотке.

На воре был синий свитер. Этот вор не принадлежал ни к категории джентльменов, ни к категории поваров из Адовой Кухни. Полиция, несомненно, стала бы в тупик при попытке его классифицировать. Ей еще не доводилось слышать о солидном, степенном воре, не проявляющем тенденции ни опуститься на дно, ни залететь слишком высоко.

Вор третьей категории начал крадучись продвигаться вперед. Он не носил на лице маски, не держал в руке потайного фонарика, и на ногах у него не было башмаков на каучуковой подошве. Вместо этого он запасся револьвером тридцать восьмого калибра и задумчиво жевал мятную резинку.

Мебель в доме еще стояла в чехлах. Серебро было убрано подальше — в сейфы. Вор не рассчитывал на особенно богатый улов. Путь его лежал в тускло освещенную комнату третьего этажа, где хозяин дома спал тяжелым сном после тех усад, которые он так или иначе должен был находить, дабы не погибнуть под бременем одиночества. Там и следовало “пошупать” на предмет честной, законной, профессиональной поживы. Может, попадетса немного денег, часы, булавка с драгоценным камнем, словом, ничего сногшибательного, выходящего из ряда вон. Просто вор увидел распахнутое окно и решил попытаться счастья.

Вор неслышно приоткрыл дверь в слабо освещенную комнату. Газовый рожок был привернут. На кровати спал человек. На туалетном столике в беспорядке валялись различные предметы — пачка смятых банкнот, часы, ключи, три покерных фишки, несколько сломанных сигар и розовый шелковый бант. Тут же стояла бутылка сельтерской, припасенная на утро для прояснения мозгов.

Вор сделал три осторожных шага по направлению к столу. Спящий жалобно застонал и открыл глаза. И тут же сунул правую руку под подушку, но не успел вытащить ее обратно.

— Лежать тихо! — сказал вор нормальным человеческим голосом. Воры третьей категории не говорят свистящим ше-

потом. Человек в постели посмотрел на дуло направленного на него револьвера и замер.

— Руки вверх! — приказал вор.

У человека была каштановая с проседью борода клинышком, как у дантистов, которые рвут зубы без боли. Он производил впечатление солидного, почтенного обывателя и был, как видно, весьма желчен, а сейчас вдобавок чрезвычайно раздосадован и возмущен. Он сел в постели и поднял правую руку.

— А ну-ка, вторую! — сказал вор. — Может, вы двусмысленный и стреляете левой. Вы умеете считать до двух? Ну, живо!

— Не могу поднять эту, — сказал обыватель с болезненной grimасой.

— А что с ней такое?

— Ревматизм в плече.

— Острый?

— Был острый. Теперь хронический.

Вор с минуту стоял молча, держа ревматика под прицелом. Он глянул украдкой на туалетный столик с разбросанной на нем добычей и снова в замешательстве уставился на человека, сидевшего в постели. Внезапно его лицо тоже исказила grimаса.

— Перестаньте корчить рожи, — с раздражением крикнул обыватель. — Пришли грабить, так грабьте. Забирайте, что там на туалетном столике.

— Прошу прощенья, — сказал вор с усмешкой. — Меня вот тоже скрутило. Вам, знаете ли, повезло — ведь мы с ревматизмом старинные приятели. И тоже в левой. Всякий другой на моем месте продырявил бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую клешню.

— И давно у вас? — поинтересовался обыватель.

— Пятый год. Да теперь уж не отвяжется. Стоит только заполучить это удовольствие — пиши пропало.

— А вы не пробовали жир гремучей змеи? — с любопытством спросил обыватель.

— Галлонами изводил. Если всех гремучих змей, которых я обезжирил, вытянуть цепочкой, так она восемь раз доста-

нет от земли до Сатурна, а уж греметь будет так, что заткнут уши в Вальпараисо.

— Некоторые принимают “Пилюли Чизельма”, — заметил обыватель.

— Шарлатанство, — сказал вор. — Пять месяцев глотал эту дрянь. Никакого толку. Вот когда я пил “Экстракт Финкельхема”, делал припарки из “Галаадского бальзама” и применял “Поттовский болеутоляющий пульверизатор”, вроде как немного полегчало. Только сдается мне, что помог главным образом конский каштан, который я таскал в левом кармане.

— Вас когда хуже донимает, по утрам или ночью?

— Ночью, — сказал вор. — Когда самая работа. Слушайте, да вы опустите руку... Не станете же вы... А “Бликерстафовский кровоочиститель” вы не пробовали?

— Нет, не приходилось. А у вас как — приступами или все время ноет?

Вор присел в ногах кровати и положил револьвер на колени.

— Скачками, — сказал он. — Набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться от верхних этажей — раза два уже застрял, скрутило на полдороге. Знаете, что я вам скажу: ни черта в этой болезни доктора не смыслят.

— И я так считаю. Потратил тысячу долларов, и все впустую. У вас распухает?

— По утрам. А уж перед дождем — просто мочи нет.

— Ну да, у меня тоже. Стоит какому-нибудь паршивому облачку величиной с салфетку тронуться к нам в путь из Флориды, и я уже чувствую его приближение. А если случится пройти мимо театра, когда там идет слезливая мелодрама “Болотные туманы”, сырость так вопьется в плечо, что его начинает дергать, как зуб.

— Да, ничем не уймешь. Адовы муки, — сказал вор.

— Вы правы, — вздохнул обыватель.

Вор поглядел на свой револьвер и с напускной развязностью сунул его в карман.

— Послушайте, приятель, — сказал он, стараясь преодолеть неловкость. — А вы не пробовали онодельдок?

— Чушь! — сказал обыватель сердито. — С таким же успехом можно втирать коровье масло.

— Правильно, — согласился вор. — Годится только для крошки Минни, когда киска оцарапает ей пальчик. Скажу вам прямо — дело наше дрянь. Только одна вещь на свете помогает. Добрая, старая, горячительная, веселящая сердце выпивка. Послушайте, старина... вы на меня не сердчайте... Это дело, само собой, побоку... Одевайтесь-ка, и пойдём выпьем. Вы уж простите, если я... ух ты, черт! Опять схватил, гадока!

— Скоро неделя, как я лишен возможности одеваться без посторонней помощи, — сказал обыватель. — Боюсь, что Томас уже лег, и...

— Ничего, вылезайте из своего логова, — сказал вор. — Я помогу вам нацепить что-нибудь.

Условности и приличия мощной волной всколыхнулись в сознании обывателя. Он погладил свою седеющую бородку.

— Это в высшей степени необычно... — начал он.

— Вот ваша рубашка, — сказал вор. — Ныряйте в нее. Между прочим один человек говорил мне, что "Растирание Омберри" так починило его в две недели, что он стал сам завязывать себе галстук.

На пороге обыватель остановился и шагнул обратно.

— Чуть не ушел без денег, — сказал он. — Выложил их с вечера на туалетный стол.

Вор поймал его за рукав.

— Ладно, пошли, — сказал он грубовато. — Бросьте это. Я вас приглашаю. На выпивку хватит. А вы никогда не пробовали "Чудодейственный орех" и мазь из сосновых иголок?

## ДЖИММИ ХЕЙЗ И МЬЮРИЭЛ

### I

Ужин кончился, и в лагере наступила тишина, сопровождающая обычно свертывание папирос из кожуры кукурузных початков. Маленький пруд светился на темной земле, как

клочок упавшего неба. Тявкали койоты. Глухие удары копыт выдавали присутствие стреноженных коней, продвигавшихся к свежей траве скачками, как деревянные лошади-качалки. Полуэскадрон техасского пограничного батальона расположился вокруг костра.

Знакомый звук — шорох и трение чапарала о деревянные стремена — послышался из густых зарослей повыше лагера. Пограничники насторожились. Они услышали, как громкий, веселый голос успокоительно говорил:

— Подбодрись, Мьюриэл, старушка! Вот мы и приехали. А долгая получилась поездка, верно? Эх ты, допотопное существо! Да ну, будет тебе целоваться, право! И не цепляйся так крепко за мою шею. Надо тебе сказать, этот коняга под нами не очень тверд на ноги. Он еще, чего доброго, сбросит нас с тобой, если мы будем зевать.

После двух минут ожидания на лагерную площадку вылетела усталая серая в яблоках лошадь. Долговязый парень лет двадцати раскачивался в седле. Никакой Мьюриэл, к которой он обращался, не было видно.

— Эй, друзья, — весело закричал всадник, — вот тут письмо лейтенанту Мэннингу!

Он спешился, расседлал коня, опустил на землю свернутое в кольцо лассо и снял с луки седла путы. Пока лейтенант Мэннинг, командир полуэскадрона, читал письмо, он заботливо соскреб засохшую на путях грязь, показав тем самым, что бережет передние ноги своего коня.

— Ребята, — сказал лейтенант и помахал пограничникам рукой, — это мистер Джимми Хейз. Он зачислен в нашу часть. Капитан Маклин прислал его к нам из Эль-Пасо. Хейз, когда стреножите коня, ребята вас накормят.

Пограничники приняли новичка радушно. Тем не менее они подвергли его внимательному осмотру и воздержались до поры до времени от окончательного приговора. Пограничники выбирают нового товарища в десять раз осмотрительнее, чем девушка возлюбленного. От выдержки, преданности, хладнокровия и меткой стрельбы вашего соседа в бою часто зависит ваша жизнь.

## II

После плотного ужина Хейз присоединился к курящим у костра. Его внешность не рассеяла всех сомнений у его братьев по оружию. Они видели всего лишь длинного, сухопарого юношу с выжженными солнцем волосами цвета пакли и загорелым простодушным лицом, на котором играло добрая, лукавая улыбка.

— Друзья, — сказал новый пограничник, — я сейчас представлю вас одной моей знакомой леди. Я никогда не слышал, чтобы ее называли красавицей, но вы согласитесь, что она все-таки ничего себе. Поди-ка сюда, Мьюриэл!

Он расстегнул свою синюю фланелевую рубашу. Из-за пазухи у него выползла рогатая лягушка. Ярко-красная ленточка была кокетливо повязана вокруг ее колючей шеи. Она сползла на колено к хозяину и уселась там неподвижно.

— Вот у этой самой Мьюриэл, — сказал Хейз с ораторским жестом, — имеется куча достоинств. Она никогда не спорит, она всегда сидит дома, и она довольствуется одним красным платьем и в будни и в воскресенье.

— Вы только посмотрите на эту погань, — сказал, смеясь, один из пограничников. — Видал я рогатых лягушек, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь взял себе такую дрянь в товарищи. Она что, знает вас?

— Возьмите ее и увидите, — сказал Хейз.

Небольшая короткохвостая ящерица, известная под названием рогатой лягушки, совершенно безвредна. Она уродлива, как те доисторические чудовища, уменьшенным потомком которых она является, но кротка, как голубь.

Пограничник взял Мьюриэл с колен Хейза и вернулся на свое сиденье из свернутых одеял. Пленница вертелась, царапалась и энергично вырывалась из его руки. Подержав лягушку с минуту, пограничник опустил ее на землю. Неуклюже, но быстро она заработала своими уморительными лапками и остановилась у ноги Хейза.

— Здорово, разрази меня гром! — сказал другой пограничник. — Никогда не думал, что у этих насекомых столько соображения.

Джимми Хейз стал общим любимцем в лагере пограничников. Он обладал бесконечным запасом добродушия и неиссякаемым мягким юмором, который очень ценится в походной жизни. Он был неразлучен со своей рогатой лягушкой. За пазухой во время езды, на плече или на колене в лагере, под одеялом ночью — маленький уродец никогда не покидал его.

Джимми был шутником того типа, который преобладает в сельских местностях Запада и Юга. Не умея ни изобрести что-нибудь новое по части развлечений, ни сострить экспромтом, он набрел как-то раз на забавную мысль и крепко ухватился за нее. Ему показалось очень смешным иметь при себе для развлечения друзей ручную рогатую лягушку с красной ленточкой на шее. Это была счастливая мысль — почему же не развивать ее до бесконечности?

Отношения, связывавшие Джимми с его лягушкой, трудно поддаются определению. Способна ли рогатая лягушка на прочную привязанность — это вопрос, для разрешения которого мы не располагаем данными. Легче угадать чувства Джимми. Мьюриэл была перлом его остроумия и в качестве такового была им нежно любима. Он ловил для нее мух и защищал ее от холодного ветра. Заботы его были наполовину эгоистичны, и все же, когда пришло время, она отплатила ему сторицей. Немало других Мьюриэл так же щедро вознаграждали других Джимми за их поверхностное увлечение.

Джимми не сразу добился полного признания со стороны своих товарищей. Они любили его за простоту и чудачества, но над ним все еще висел тяжелый меч отсроченного приговора. Жизнь пограничников состоит не только в том, чтобы дурачиться в лагере. Приходится еще выслеживать конокрадов, ловить опасных преступников, драться со всякими головорезами, выбивать из чапарала шайки бандитов, насаждать закон и порядок с помощью шестизарядного револьвера. Джимми, по собственному его при-



знанию, был преимущественно ковбоем и не имел опыта в пограничной войне. Поэтому пограничники в его отсутствие усиленно гадали, как он будет вести себя под огнем. Ибо, да будет всем известно, честь и гордость каждого пограничного отряда зависят от личной отваги составляющих его солдат.

Два месяца на границе было спокойно. Солдаты бездельничали в лагере. А затем, к великой радости изнывавших от скуки защитников границы, Себастьяно Салдар, знаменитый мексиканский головорез и угонщик скота, перешел со своей шайкой Рио-Гранде и стал производить опустошения на техасском берегу. Теперь были основания предполагать, что скоро Джимми Хейзу представится случай показать, чего он стоит. Отряд гонялся за бандитами неустанно, но у Салдара и его людей кони были, как у Лохинвара<sup>1</sup>, и настигнуть их было нелегко.

Однажды вечером, перед закатом, пограничники после долгого перехода остановились на отдых. Усталые лошади стояли тут же, нерасседланные. Люди жарили сало и варили кофе. Вдруг из чащи зарослей на них выскочил Себастьяно Салдар со своей шайкой, стреляя из шестизарядных револьверов и оглашая воздух отчаянными воплями. Это было полной неожиданностью. Пограничники, раздраженно ругаясь, схватились за винчестеры; но атака оказалась лишь показным выступлением в чисто мексиканском духе. После этой шумной демонстрации налетчики с оглушительным криком ускакали прочь вдоль реки. Пограничники вскочили на коней и пустились в погоню; но уже мили через две их лошади выдохлись, и лейтенант Мэннинг отдал приказ прекратить погоню и вернуться в лагерь.

Тут обнаружилось, что Джимми Хейз исчез. Кто-то вспомнил, что, когда началась тревога, он побежал к своей лошади, но после этого никто его не видел. Наступило утро, а Джимми все не было. Думая, что он лежит где-нибудь убитый или раненый, пограничники обыскали все окрестности, но

<sup>1</sup> Храбрый рыцарь, герой баллады Вальтера Скотта, увезший свою возлюбленную, которую хотели выдать замуж за другого.

безуспешно. Тогда они пошли по следам банды Салдара, но она как в воду канула. Мэннинг решил, что коварный мексиканец после своего театрального прощания снова ушел за реку. И действительно, ни о каких дальнейших набегах сведений не поступало.

Это дало пограничникам время разобраться в своих неприятностях. Как уже было сказано, честь и гордость каждого пограничного отряда зависят от личной отваги составляющих его солдат. И теперь они были уверены, что свист мексиканских пуль обратил Джимми Хейза в позорное бегство. Бак Дэвис хорошо помнил, что мексиканцы не дали ни одного выстрела, после того как Джимми побежал к своей лошади. Таким образом, он не мог быть убит. Нет, он бежал от своего первого боя и не захотел вернуться, зная, что презрение товарищей труднее вынести, чем вид направленных на тебя винтовок.

И в отряде Мэннинга из пограничного батальона Маклина было невесело. Это было первое пятно на их знамени. Ни разу еще за всю историю пограничной службы ни один солдат не показал себя трусом. Все они любили Джимми Хейза, и это еще больше портило дело.

Проходили дни, недели и месяцы, а облачко неизжитого позора все еще висело над лагерем.

### III

Год спустя, оставив позади много стоянок и изъездив с оружием в руках много сотен миль, лейтенант Мэннинг почти с тем же составом людей был послан на борьбу с контрабандистами на несколько миль ниже по реке от их старого лагеря. Однажды, пересекая густо заросшую мескитом равнину, они выехали на луг, изрезанный овражками. Тут глазам их представилась немая картина давнишней трагедии.

В одном из овражков лежали скелеты трех мексиканцев. Их можно было узнать только по платью. Самый большой скелет был когда-то Себастьяно Салдаром. Его громадное

дорогое сомбреро с золотыми украшениями — шляпа, известная по всему Рио-Гранде, — лежало тут же, пробитое тремя пулями. На краю овражка покоились заржавевшие винчестеры мексиканцев — все они были направлены дулами в одну сторону.

Пограничники проехали в ту сторону пятьдесят ярдов. Там, в небольшой впадине, все еще целясь из винтовки в тех троих, лежал еще один скелет. Это был бой на взаимное уничтожение. Ни по каким признакам нельзя было опознать одинокого защитника. Его одежда, над которой немало потрудились дожди и солнце, могла быть одеждой любого ранчмена или ковбоя.

— Какой-нибудь ковбой, — сказал Мэннинг. — Они настигли его одного. Молодец парень! Задал он им горячих, прежде чем они укупили его! Так вот почему мы больше ничего не слышали о доне Себастьяно!

И вдруг из-под истрепанных непогодой лохмотьев мертвеца вылезла рогатая лягушка с полинявшей красной ленточкой вокруг шеи и уселась на плече своего давно успокоившегося хозяина. Безмолвно рассказала она повесть о неопытном юноше и быстром сером в яблоках коне — как они в погоне за мексиканскими налетчиками обогнали всех своих товарищей и как мальчик погиб, поддерживая честь своего отряда.

Пограничники теснее столпились у трупа, и, словно по данному знаку, дикий вопль вырвался из их уст. Этот вопль был и панихидой, и надгробной речью, и эпитафией, и торжествующей песнью. Станный реквием над прахом павшего товарища, скажете вы, но, если бы Джимми Хейз мог его услышать, он бы все понял.

## КОВАРСТВО ХАРГРЕЙВЗА

Когда майор Пендлтон Толбот — из Мобилия, сударь, — переехал со своей дочерью мисс Лидией Толбот в Вашингтон, он поселился в пансионе, остановив свой выбор на старо-

модном здании, расположенном в глубине просторного двора на одной из самых тихих в городе улиц. Дом был кирпичный, с портиком, который покоился на высоких белых колоннах. Величавые акации и вязы осеняли тенистый двор, а в пору цветения на траву дождем сыпала свои темно-розовые и белые цветы катальпа. Здесь все по духу своему и виду напоминало Юг и как раз этим пленило взоры Толботов.

В этом уютном, уединенном доме они сняли две комнаты и рабочий кабинет для майора Толбота, который в то время дописывал заключительные главы своей книги “Армия и суд в Алабаме. Воспоминания, курьезы”.

Майор Толбот был плоть от плоти старого-старого Юга. День сегодняшний не имел в его глазах ни достоинств, ни особого интереса. Душою он обитал в том времени, до Гражданской войны, когда у Толботов были тучные хлопковые поля на тысячу акров и рабы, чтобы их возделывать, когда их родовое гнездо славилось княжеским гостеприимством и туда съезжался цвет южной аристократии. Из тех времен он вынес все — и исстари взлелеянную гордость, и взыскательность в вопросах чести, и церемонную вежливость, какой теперь не встретишь, и, можно было подумать, свой гардероб.

Такого платья никто не шил, наверное, лет пятьдесят. Майор был высок ростом, однако всякий раз, когда он склонял колена в неподражаемом и старомодном телодвижении, которое именовалось поклоном, он подметал пол фалдами сюртука. Этим предметом туалета он повергал в изумление даже Вашингтон, где уж давно перестали шарахаться при виде сюртуков и широкополых шляп, какие носят конгрессмены с Юга. За высокую, как у платья принцесс, талию и фалды вразлет кто-то из пансионных остроумцев окрестил это одеяние “принц С.”.

Но несмотря на причудливость костюма, на необозримую ширь плоеной манишки и узкий, как шнурок, галстук, постоянно съезжающий набор, в тонном пансионе миссис Вардман майора любили, хотя и посмеивались над ним.

Молодые министерские чиновники не прочь были, забавы ради, “завести” его, как они выражались, то есть заставить разговаривать о самых милых его сердцу предметах — традициях и истории его драгоценного Юга. Свои тирады он пересыпал извлечениями из “Воспоминаний и курьезов”. Правда, тут требовалась большая осторожность, чтобы майор не заподозрил подвоха, ибо в свои шестьдесят восемь лет он умел так смерить обидчика серыми пронзительными глазами, что и самому дерзкому становилось не по себе.

Мисс Лидия была старая дева, низенькая и пухленькая, с гладко зачесанными назад, туго скрученными в пучок волосами, отчего казалось, что ей не тридцать пять лет, а больше. Она тоже была старомодна, однако, в отличие от майора, не источала флюиды великолепия, утраченного Югом. Она умела трезво оценивать события и знала счет деньгам; она, а не отец ведала семейным бюджетом и вела переговоры с посетителями, когда пора было платить по счетам. Что же касается майора, в его представлении такие вещи, как счета от хозяйки пансиона и из прачечной, были докучливой и презренной мелочью. Их присылали так настойчиво и часто. Отчего, хотелось бы ему знать, их нельзя просто складывать куда-нибудь, а расплатиться за все разом в подходящее время — скажем, когда издадут “Курьезы” и он получит гонорар? На что мисс Лидия, не отрываясь от рукоделия, спокойно говорила:

— Пока не выйдут деньги, будем расплачиваться в срок, а уж потом пусть не взыщут.

Мало кто из постояльцев миссис Вардман оставался днем дома: все либо служили в ведомствах, либо имели свое дело, но был один, который с утра до вечера почти не отлучался со двора. То был молодой человек по имени Генри Гопкинс Харгрейвз — в пансионе всякий величал его полным именем, — он играл в одном из наиболее любимых в городе театров-варьете. Варьете за последние годы утвердилось в столь благоприличном качестве, а мистер Харгрейвз был такой воспитанный, скромный молодой человек, что у

миссис Вардман не нашлось никаких возражений против того, чтобы включить его в число своих жильцов.

В театре Харгрейвз подвизался на амшлуа комика, имитатора простонародных говоров, изображая в бесчисленных сценках немецких, ирландских и шведских иммигрантов, а также негров. Но мистер Харгрейвз был честолюбив и не однажды говорил о своем заветном желании добиться успеха на поприще “высокой” комедии.

Этот молодой человек, судя по всему, чувствовал искреннее расположение к майору Толботу. Когда бы ни начал майор предаваться воспоминаниям о Юге или в который раз пересказывать самые свои забористые курьезы, Харгрейвз уже был тут как тут, готовый ловить каждое слово.

Первое время майор склонен был пресекать попытки “комедианта”, как он называл про себя Харгрейвза, завязать с ним дружбу, но очень скоро приятное обхождение и несомненная способность молодого человека по достоинству оценить рассказчика покорили старого южанина.

Скоро их можно было счесть за давних приятелей. Майор специально освободил послеобеденные часы, чтоб каждый день читать своему другу вслух рукопись книги. И не было случая, чтобы в ответ на очередной курьез Харгрейвз не рассмеялся как раз в нужном месте. Майор — как он в один прекрасный день объявил мисс Лидии — не мог не отметить, что его молодому знакомому свойственны необычайная тонкость восприятия и похвальное уважение к старому режиму. А уж когда завязалась беседа об этих давно минувших временах — большой был любитель поговорить майор Толбот, но еще больше любил его слушать мистер Харгрейвз.

Как нередко случается, когда старые люди рассказывают о былом, майор обожал останавливаться на подробностях. Живописуя жизнь прежних плантаторов, отмеченных чуть ли не царским великолепием, он умолкал на полуслове и не шел дальше, пока не вспоминал, как звали негра-конюха, который держал под уздцы его лошадь, и какого именно

числа произошло то или иное незначительное событие, и сколько именно тюков хлопка собрали в таком-то году — но никогда Харгрейвз не высказывал нетерпения и никогда не ослабевал его интерес. Напротив, он готов был без усталости расспрашивать о разных сторонах тогдашнего жития-бытия и неизменно получал исчерпывающий ответ.

Травля лисиц, вечерние привалы после охоты на опоссума, праздники с пением и танцами у негритянских хижин, пиры в зале господского дома, когда приглашения рассылались на пятьдесят миль в округе; временами — распри с владельцами соседних плантаций, дуэль майора с Ратбуоном Калбертсоном из-за Китти Чалмерз, которая после вышла замуж за некоего Туэйта из Южной Каролины; гонки на собственных яхтах в Мобильской бухте с баснословными ставками; самобытные поверья старых рабов, их беспечные повадки и неподкупная преданность — все это способно было часами подряд поглощать внимание майора и Харгрейвза.

Бывало, что поздно вечером, когда, окончив выступление в театре, молодой человек поднимался к себе, из дверей кабинета показывался майор и с лукавой улыбкой манил его пальцем. Харгрейвз входил и видел, что на маленьком столике уже дожидаются графинчик коньяку, сахарница, фрукты и пышный пучок зеленой свежей мяты.

— Пришло мне на ум, мистер Харгрейвз, — с неизменной своей церемонной учтивостью начинал майор, — что вы, должно быть, изрядно утомлены после трудов в своем... мм... в заведении, где вы изволите служить, а потому не откажетесь отдать должное нашему южному напитку, к которому столь уместно было бы отнести слова поэта — “святой бальзам Природы изнуренной”.

Наблюдать, как он изготавливает напиток, было для Харгрейвза наслаждением. Майор священнодействовал с вдохновением подлинного артиста, неукоснительно соблюдая всегда один и тот же порядок. Какими бережными движениями он разминал мяту, с какой непостижимой точностью определял соотношение частей, как заботливо и осто-

рожно венчал темно-зеленые пряди мяты алой шапкой рдеющих фруктов! И с какою радушной любезностью потчевал гостя, когда, отобрав лучшие овсяные соломинки, погружал их в льдистую глуть!

На четвертый месяц после приезда в Вашингтон, мисс Лидия в одно прекрасное утро обнаружила, что деньги у них на исходе. “Воспоминания и курьезы” были дописаны до конца, но почему-то издатели не спешили выхватить у автора из рук собранные им жемчужины алабамской премудрости и острословия. Деньги за домик, который уцелел еще у них в Мобиле и сдавался в наем, запаздывали на два месяца. Мисс Лидия призвала отца на семейный совет.

— Нет денег? — сказал он, взглянув на нее с удивлением. — Вот досада, когда поминутно отвлекают по таким пустякам. Я, право...

Майор пошарил по карманам. Там нашлась всего одна бумажка — два доллара, — которую он сунул обратно в карман жилета.

— Этим тотчас же необходимо заняться, Лидия, — сказал он. — Будь добра, достань мне мой зонтик, я немедленно иду в город. Только на днях генерал Фулгам, который избран в конгресс от нашего округа, твердо обещал, что пустит в ход свои связи и добьется, чтобы мою книгу опубликовали без промедлений. Я не откладывая заеду к нему в гостиницу и узнаю, о чем ему удалось договориться.

С грустной усмешкой мисс Лидия смотрела, как он застегивает свой “принц С.”, как уходит, остановясь прежде в дверях, дабы отвесить ей, по всегдашнему своему обыкновению, низкий поклон.

Вернулся он к вечеру, когда уже стемнело. Выяснилось, что конгрессмен Фулгам действительно виделся с издателем, которому была отдана на прочтение рукопись. Этот субъект сказал, что можно бы, пожалуй, подумать о ее издании, но лишь в том случае, если автор согласен ужать курьезы и прочее почти вдвое, изгнав из них дух классовой местной нетерпимости, которой его сочинение пронизано от первой до последней страницы.

Майор буквально клокотал от ярости, однако, верный правилам хорошего тона, в присутствии мисс Лидии вновь овладел собой.

— И все-таки нам нужно раздобыть денег, — сказала, хмурясь, мисс Лидия. — Дай мне те два доллара, я нынче же телеграфирую дяде Ральфу, и он пришлет нам что-нибудь.

Майор вытащил из верхнего кармана жилетки маленький конверт и бросил его на стол.

— Вероятно, мой поступок неосмотрителен, — мягко сказал он, — но мне подумалось, что это все равно не деньги, и я купил нам на сегодня билеты в театр. Новая пьеса о войне, Лидия. Я решил, что тебе приятно будет пойти на премьеру этого спектакля в Вашингтоне. Говорят, в нем весьма удачно выведен Юг. Признаюсь, я и сам не прочь посмотреть.

Мисс Лидия в немом отчаянии развела руками. Однако, раз уж все равно билеты куплены, не пропадать же им. И вечером, когда театр огласили бравурные звуки увертюры, даже мисс Лидия позволила себе на время отрешиться от своих тревог. Майор, в белоснежной манишке, за которой почти не виден был его диковинный сюртук, с седой, волосок к волоску, шевелюрой, имел вид самый бравый и представительный. Начиналось первое действие пьесы “Цветок магнолии” — поднялся занавес, и зрители увидели на сцене уголок типичной южной плантации. Майор Толбот заметно оживился.

— Ой, посмотри! — воскликнула мисс Лидия, подтолкнув отца локтем, и протянула ему программу.

Майор надел очки и прочел ту строчку в перечне исполнителей, на которую указывал ее палец.

“Полк. Уэбстен Кэлхун... Г. Гюкинс Харгрейвз”.

— Это же наш мистер Харгрейвз, — сказала мисс Лидия. — Должно быть, сегодня его дебют в этой, как он ее называет, “высокой” комедии. Я так за него рада.

Только во втором действии появился на сцене полк. Уэбстен Кэлхун. При его выходе майор Толбот громко фыркнул, впился в актера свирепым взглядом да так и окаменел

на месте. Мисс Лидия придушенно пискнула и смяла в руке программу. Ибо полковник Кэлхун был загримирован в точности под майора Толбота. Длинные и редкие седые волосы, выщипанные на концах, горбатый породистый нос, широкая плоеная манишка, узенький галстук, повязанный где-то под ухом, — все было похоже как две капли воды. И в довершение сходства сюртук на нем был прямо как двойник неповторимого, казалось бы, сюртука майора. Мешковатое, с высоким воротником и талией под мышками, с широчайшими фалдами на добрый фут длиннее спереди, чем сзади, облачение это могло быть сшито лишь по одному образцу, и никакому другому. С этой минуты майор и мисс Лидия сидели, точно замороженные, глядя, как лже-Толбот “втаптывает” своего надменного прототипа в “злокозненную грязь продажных подмостков”, как выразился потом майор.

Мистер Харгрейвз сумел использовать благоприятные обстоятельства на славу. Он уловил и в совершенстве перенял тончайшие особенности майора, его выговор, интонации, словечки, его чопорную изысканность — и всюду для вящей выразительности чуточку сгустил краски. Когда он склонился в знаменитом поклоне, который майор в простоте душевной почитал наигалантнейшим из всех приветствий, зал неожиданно наградил его взрывом дружных рукоплесканий.

Мисс Лидия сидела, боясь шелохнуться, не смея поднять глаза на отца. То и дело она подносила к щеке ладонь, как бы затем, чтобы скрыть от него улыбку, которую при всем своем недовольстве никак не могла сдержать.

Наивысшей точки в своем искусстве дерзкий подражатель достиг, когда началось третье действие — в той сцене, где полковник Кэлхун принимает у себя в кабинете гостей с соседних плантаций.

Стоя посреди сцены у стола, в тесном кругу друзей, он произносит за обрядом приготовления мятного напитка тот незабываемый, несколько несвязный монолог, который принес “Цветку магнолии” такую славу.

Недвижный, но бледный от возмущения майор Толбот сидел и слушал, как повторяют лучшие его истории, излагают и развивают его излюбленные суждения и взгляды, как выставляют на посмешище его заветную мечту — «Воспоминания и курьезы», нарочито ее искажив и огрубив. Не обошлось и без коронного его номера — рассказа о дуэли с Ратбоуном Калбертсоном, исполненного с таким пылом, вкусом и самолюбованием, что куда там было майору!

Монолог завершился своеобразным, восхитительно остроумным коротеньким наставлением в искусстве готовить мятный напиток, которое сопровождалось наглядной демонстрацией. Здесь тонкая, но не лишенная показного блеска наука майора Толбота воспроизведена была в мельчайших подробностях, с той минуты, когда он изящными движениями разминал благоуханную зелень — «чуть больше усилия, джентльмены, хотя бы на одну тысячную долю, и вместо аромата мы извлечем лишь горечь из этой самим небом ниспосланной нам травки», — и до той, когда придирчиво отбирал самые лучшие овсяные соломинки.

Действие кончилось, и зрители разразились восторженным ревом. Собирательный образ был представлен так точно, убедительно, достоверно, что заслонил собой главных героев пьесы. Вызовы не смолкали, и, когда Харгрейвз вышел на авансцену кланяться, его пылающее мальчишеское лицо сияло, так очевиден был успех.

Только тут, наконец, мисс Лидия решилась повернуть голову и взглянуть на отца. Узкие ноздри его раздувались, словно жабры у рыбы. Он оперся дрожащими руками на ручки кресла, собираясь встать.

— Мы уходим, Лидия, — сказал он прерывающимся голосом. — Здесь совершается гнусное надругательство. — Но он не успел подняться — дочь потянула его обратно.

— Мы остаемся, — объявила она. — Или ты желаешь подтвердить достоинства сюртука-копии, представив на всеобщее обозрение сюртук-оригинал?

И они досидели до конца.

Очевидно, празднуя свой успех, Харгрейвз засиделся до поздна — во всяком случае, наутро он не вышел к завтраку, а потом к обеду.

Часа в три он постучал в кабинет к майору Толботу. Майор открыл, и Харгрейвз с ворохом газет вошел, переполненный торжеством, не замечая, что майор держится как-то необычно.

— Ну, я вчера их ублажил, майор, — возбужденно начал он. — Дождался своей подачи и, похоже, выиграл очко. Только послушайте, что пишет «Пост». «Задуманный и созданный им портрет старозаветного полковника-южанина с его смехотворной напыщенностью, нелепой манерой одеваться, самобытными присловьями и оборотами речи, с его траченной молью фамильной гордостью и в то же время истинно добрым сердцем, высокими понятиями о чести и подкупающим простодушием — бесспорно, лучшее воплощение характерной роли на сегодняшней сцене. Уже один сюртук на плечах полковника Кэлхуна не назовешь иначе, как плодом подлинного вдохновения. Мистер Харгрейвз совершенно пленил зрителей». Недурно звучит для начала, а, майор?

— Я имел честь, сударь, — холодность в голосе майора не предвещала ничего хорошего, — быть вчера вечером свидетелем вашего более чем оригинального выступления.

Харгрейвз на мгновение смешался.

— Вы тоже были? Я не предполагал, что вы бываете на... то есть, что вы любите театр... Послушайте, майор Толбот, — вскричал он горячо, — не обижайтесь, пожалуйста! Готов признаться, я много почерпнул от вас, и это необыкновенно помогло мне сыграть роль. Но поймите, это собирательный образ — не конкретное лицо. Судите хотя бы по тому, как его приняла публика. Ведь половина завсегдатаев нашего театра — южане. И они это поняли.

— Мистер Харгрейвз, — сказал майор, который выслушал его стоя, — вы нанесли мне непростительное оскорбление. Вы подвергли меня осмеянию, низко обманули мое доверие, употребили во зло мое гостеприимство. Если бы я

верил, сударь, что вы хотя бы отдаленно представляете себе, что входит в понятие “джентльмен” и чем это звание подтверждается, я даже в свои годы стрелялся бы с вами. Я попрошу вас, сударь, покинуть эту комнату.

На лице актера изобразилась некоторая озадаченность — казалось, до него не вполне дошел смысл сказанных майором слов.

— Мне, правда, очень жаль, что вы обиделись, — виновато сказал он. — У нас тут принято несколько иначе смотреть на вещи. Я знаю, что многие готовы были бы скупить ползала, если бы их согласились изобразить на сцене так, чтобы публика сразу узнала, кто это.

— Они рождены не в Алабаме, сударь, — надменно сказал майор.

— Возможно. У меня, майор, очень неплохая память, позвольте, я приведу несколько строчек из вашей книги. На одном банкете, в Миллиджвилле, если не ошибаюсь, вы в ответ на чей-то тост произнесли — а теперь намерены и опубликовать — следующее: “Северянин — это человек, начисто лишенный чувствительности и сердечного тепла, кроме, разве что, случаев, когда из них можно извлечь для себя материальную выгоду. Он преспокойно несет любое поругание своей чести или чести своих близких, если оно не повлечет за собой денежного ущерба. Он щедрой рукой жертвует на добрые дела, однако ему надобно, чтобы о том раззвонили во все колокола и начертали на каменных скрижалях”. Это, по-вашему, менее пристрастный портрет, чем тот, что был выведен вчера в образе полковника Кэлхуна?

— Для подобной аттестации есть основания, — насулился, сказал майор. — А некоторые преуве... некоторая свобода в выборе выражений при публичном выступлении позволительна.

— И в том числе — при выступлении на театральных подмостках, — живо подхватил Харгрейвз.

— Не в этом дело, — неумолимо настаивал майор. — Здесь мы имеем пасквиль на вполне определенное лицо. Я положительно не склонен забывать об этом, сударь.

— Ну отчего вы не хотите меня понять, майор Толбот? — с обезоруживающей улыбкой сказал Харгрейвз. — Знайте, что у меня и в мыслях не было оскорбить вас. Просто, когда речь идет о моей профессии, что только не встретится в жизни — все мое. Я беру что хочу — что могу, — а потом возвращаю в зрительный зал. Впрочем, извольте, будь по-вашему. Я не с этим к вам шел. Мы с вами не один месяц были добрыми друзьями, и потому я решился, хотя рискую вновь навлечь на себя вашу немилость. Я знаю — неважно, откуда, в пансионе такого не утаишь, — что вы стеснены в средствах, и хочу, чтобы вы разрешили мне помочь вам в трудную минуту. Я ведь и сам сколько раз попадал в трудное положение. Ну, а тут весь сезон приличное жалованье, удалось скопить кое-что. Могу от чистого сердца предложить вам сотни две — даже больше, — пока вы не получите...

— Довольно! — повелительно вскричал майор, вскинув руку. — Видно, все-таки правда сказана в моей книжке. В ваших глазах деньги — панацея, способная врачевать даже погрязшую честь. Ни при каких обстоятельствах я не согласился бы одолжиться у случайного знакомого, что же до вашего, сударь, оскорбительного предложения уладить с помощью денег обстоятельства, о которых тут говорилось, я скорей умер бы с голоду, чем допустил самую мысль о подобной возможности. Позвольте же повторить вам мою просьбу в части того, чтобы вы немедленно покинули эту комнату.

На сей раз Харгрейвз удалился без единого слова. В тот же день он оставил и пансион, переехав, как объяснила за ужином миссис Вардман, поближе к театру в центре города, где неделю должен был идти “Цветок магнолии”.

Положение у майора Толбота и мисс Лидии было отчаянное. В Вашингтоне майору, при его щепетильности, попросить денег займа было не у кого. Мисс Лидия написала письмо дяде Ральфу, однако представлялось сомнительным, чтобы тот при крайнем расстройстве собственных дел мог оказать им существенную помощь. Майор вынужден был обратиться с извинениями к миссис Вардман, довольно сбив

чиво объясняя задержку с оплатой за пансион “необязательностью арендаторов” и “недоставлением в срок почтовых переводов”.

Избавление явилось внезапно, откуда его никто не ждал.

Однажды под вечер к майору Толботу поднялась привратница и доложила, что его желает видеть какой-то старый негр. Майор попросил проводить посетителя в кабинет. Вскоре, вертя в руках шляпу, кланяясь и косолапо вертя ногой, в дверях появился темнокожий старик в мешковато сшитом, но очень приличном черном костюме. Большие грубые башмаки его сияли металлическим глянецом, наводя на мысль о пасте для чистки плит. Курчавые волосы почти сплошь выбелила седина. Возраст негра, когда у него полжизни позади, определить трудно. Этот, вполне возможно, встречал не меньше весен, чем майор Толбот.

— Не признали, видать, масса Пендлтон, — сказал он с порога.

При этом сызмальства знакомом обращении майор встал и шагнул ему навстречу. Перед ним, несомненно, стоял один из бывших рабов с родовой плантации, но всех их так давно раскидало по свету, что ни голоса, ни лица уж было не узнать.

— Да, честно говоря, не припоминаю, — сказал он ласково. — Но может быть, ты сам мне напомнишь?

— Разве запомнили, масса Пендлтон, как сразу после войны тетушка Синди проводила сына, Моузом звали?

— Постой-постой, — сказал майор, потирая пальцами лоб. Он любил сам вспоминать все, что было связано с дорогой ему стариной. — Моуз, сын тетушки Синди, — задумчиво говорил он. — Ты стоял при лошадях, объезжал молодых. Да, вспоминаю. После капитуляции взял фамилию... погоди, не подсказывай... фамилию Митчелл и уехал на Запад, в Небраску.

— Во-во-во, — лицо старика расплылось в радостной улыбке. — Все так, все верно. В Небраску. Моуз Митчелл, он самый, — я то есть. Теперь уж, правда, кличут дядя Моуз. Старый хозяин, папаша ваш, дал мне мулов, как я уезжал с

плантации, двухлеток — на первое, значит, обзаведение. Помните мулов-то, масса Пендлтон?

— Нет, мулов что-то не припомню, — сказал майор. — Я ведь женился в первый год войны, ты знаешь, и жил на старой усадьбе Фоллинсби. Но что же ты стоишь, дядя Моуз, садись, сделай милость. Я рад тебя видеть. Надеюсь, у тебя все благополучно.

Дядя Моуз сел на стул и бережно положил шляпу рядом на пол.

— Грех жаловаться, хозяин, особенно если взять последнее время. Я когда приехал в Небраску — народ спервоначалу валом валил поглазеть на моих мулов. У них в Небраске таких отродясь не видывали. Взял я их и продал за триста долларов. За три сотни, хозяин, — вот оно дело какое. Сам открыл кузню, разжился малость и купил себе землицы. Семь человек ребятишек вырастили мы со старухой, всех поставили на ноги, только двух схоронили. А тому четвертый год проложили к нам железную дорогу, и аккурат на том месте, где мой участок, стали строить город, так что теперь, масса Пендлтон, у дяди Моуза в наличном капитале, а также в движимом и недвижимом имуществе — ни много ни мало одиннадцать тысяч долларов.

— Приятно это слышать, — сердечно сказал майор. — Весьма приятно.

— Ну, а ваша-то маленькая, масса Пендлтон, которую вы окрестили мисс Лидди, — вот такусенькая была — небось стала совсем большая, и не узнать.

Майор подошел к двери и позвал:

— Лидия, милая, ты не зайдешь на минутку?

Из своей комнаты, совсем большая и изрядно к тому же озабоченная, вышла мисс Лидия.

— Скажи на милость! Так и есть! Страсть до чего выросла, я так и знал. Что ж ты, деточка, — никак забыла дядю Моуза?

— Это Моуз, Лидия, сын тетушки Синди, — объяснил майор. — Он уехал из Солнечной поляны на Запад, когда тебе было два года.



— Хм, — сказала мисс Лидия. — Как же мне было вас запомнить, дядя Моуз, с таких малых лет. Тем более, что я, как вы говорите, “страсть до чего выросла”, и произошло это уже ох как давно. Но неважно, что я вас не помню, — я все равно вам рада.

И точно, она была рада. Радовался и майор. Что-то живое, осязаемое явилось к ним и связало их вновь с далеким и счастливым прошлым. Они посидели втроем, толкуя о былых временах, майор и дядя Моуз перебирали в памяти дела и дни прежних плантаций, поправляя друг друга, подсказывая друг другу...

Майор спросил, как занесло старика в такую даль от дома.

— Здесь, в городе, большой съезд баптистов, — объяснил тот. — И дядю Моуза выбрали делегатом. Я хоть и не проповедовал никогда, но как я есть бессменный церковный староста и будучи в состоянии оплатить дорожные расходы, то меня и послали.

— Но как вы узнали, что мы в Вашингтоне? — спросила мисс Лидия.

— В той гостинице, где я квартирую, работает один негр, он родом из Мобилия. Вот он и сказал, что будто бы видел один раз утречком, как из этого дома выходит масса Пендлтон. А зачем я пришел, — продолжал дядя Моуз, — запуская руку в карман, — земляков навестить, это одно дело, а другое — отдать должок массе Пендлтону.

— Должок? — в недоумении переспросил майор.

— Как же — три сотни долларов. — Он протянул майору пачку денег. — Я когда уезжал, мне старый хозяин и говорит: “Бери, говорит, Моуз, этих мулов, а будет у тебя такая возможность, отдашь за них”. Да, так и сказал — слово в слово. Ведь он и сам обеднел после войны. А раз старый хозяин давно помер, стало быть, долг причитается массе Пендлтону. Триста долларов. Теперь-то у дяди Моуза она есть, такая возможность. Как сторговала у меня землю железная дорога, я первым делом отложил что надо отдать. Вы сочтите деньги, масса Пендлтон. Здесь ровно столько, за сколько я продал мулов. Вот оно как, хозяин.

На глазах у майора Толбота выступили слезы. Одной рукой он стиснул ладонь дяди Моуза, другую положил ему на плечо.

— Милый, верный старый слуга, — сказал он нетвердым голосом. — Не скрою от тебя, что неделю назад масса Пендлтон истратил последний доллар, какой у него оставался за душой. Мы принимаем эти деньги, дядя Моуз, отчасти в уплату долга, отчасти же как символ постоянства и преданности, какими славен был старый порядок. Лидия, душа моя, возьми деньги. Ты сумеешь распорядиться ими лучше меня.

— Бери, детка, бери, — сказал дядя Моуз. — Ваши это деньги, Толботовы.

Когда дядя Моуз ушел, мисс Лидия на радостях всплакнула, майор же отвернулся к стене и задымил своей глиняной трубкой, как хороший вулкан.

В ближайшие дни покой и благоденствие вновь воцарились в семье Толботов. С лица мисс Лидии исчезло озабоченное выражение. У майора появился новый шюртук, в котором он выглядел живым, хоть и вполне музейным олицетворением своего золотого века. Мало того, нашелся издатель, который, ознакомившись с “Воспоминаниями и курьезами”, заключил, что, если рукопись чуточку подправить и сгладить излишние острые углы, получится презанимательная книжица, которую раскупят нарасхват. Короче говоря, дела пошли на лад, а главное — появилась надежда, которая порой нам слаще всех уже обретенных благ.

Однажды, когда с того счастливого дня прошло около недели, горничная принесла мисс Лидии в комнату письмо. Судя по штемпелю, оно было из Нью-Йорка. Мисс Лидия, которая не знала в этом городе ни души, слегка всполошилась от неожиданности и, сев к столу, тотчас вскрыла ножницами конверт. Вот что она прочла:

“Дорогая мисс Толбот!

Я подумал, что Вам приятно будет узнать, как мне повезло. Я получил и принял предложение играть в составе постоянной

нью-йоркской труппы полковника Кэлхуна в "Цветке магнолии". Жалованье — двести долларов в неделю.

Хотел сообщить Вам кое-что еще, о чем майору Толботу, я полагаю, разумней будет не рассказывать. Я непременно должен был чем-то возместить ему ту неоценимую помощь, которую он оказал мне в работе над ролью, — а заодно и то огорчение, которое она ему причинила. Он не дал мне сделать это прямо, ну, я и воспользовался окольным путем. Я-то мог с легкостью обойтись без этих трехсот долларов.

С искренним уважением, Г. Гопкинс Харгрейвз.

*P.S. Как удалась мне, по-Вашему, роль дяди Моуза?"*

Майор Толбот, проходя по коридору, увидел, что у мисс Лидии открыта дверь, и остановился.

— Лидия, милая, почта нам есть сегодня? — спросил он. Мисс Лидия незаметно опустила письмо в карман своей широкой юбки.

— Пришел "Мобильский вестник", — поспешно сказала она. — Я положила на стол у тебя в кабинете.

Из сборника  
"ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ"  
1911

## МАРКИЗ И МИСС САЛЛИ

Старый Билл Баском, сам того не зная, удостоился великой чести: господь призвал его в один день с маркизом Бородэйлом. Маркиз жил в Лондоне на Риджент-стрит, старик Баском — у ручья Хромого Оленя, на южной границе Техаса. Катастрофа, сразившая маркиза, приняла образ некоего лопнувшего мыльного пузыря под названием “Средне- и Южноамериканская монополия по добыче каучука и красного дерева”. Судьба, насмеявшаяся над Баскомом, явилась к нему в не менее устрашающем обличье: шайка цивилизованных индейцев с соседней территории, специалистов по уводу скота, угнала у него все его стадо, насчитывавшее четыреста голов. А когда Баском вздумал выследить разбойников, они его застрелили. Что касается маркиза, то он, убедившись, что на каждые оставшиеся у него пятнадцать шиллингов приходится не менее фунта стерлингов долга, пустил себе пулю в лоб и этим уравнил итоги обеих катастроф.

Со смертью старика Билла шесть его сыновей и дочерей совсем осиротели. Отец не оставил им даже бычка на племя и ни единого доллара, чтобы купить его.

Со смертью маркиза осиротел его единственный сын, давно уже перебравшийся в Штаты и владевший богатым ранчо в Северном Техасе. Когда молодой человек получил скорбную весть, он сел на коня и поскакал в соседний го-

род. Здесь он препоручил поверенным все свое имущество, за исключением лошади, седла, ружья и пятнадцати долларов, с наказом все распродать и вырученные деньги направить в Лондон для расплаты с отцовскими кредиторами. Покончив с этим делом, он снова вскочил в седло и прищипорил коня, держа путь на юг.

В один прекрасный день, почти минута в минуту, но только с разных концов, к ранчо Даймонд-Кросс, что на Малой Пиедре, подъехали два молодых парня и спросили, нет ли какой работы. Оба были в новеньких и даже щегольских ковбойских рубашках и штанах. Один — стройный, загорелый, коротко остриженный брюнет с тонкими, словно точеными чертами; другой — широкоплечий, коренастый малый, свежий и румяный, с вьющимися рыжеватыми волосами и некрасивым, чуть тронутым веснушками лицом, лучшим украшением которого были веселые глаза и смеющийся рот.

Управляющий ответил, что работа найдется. Кстати, ему в то утро донесли, что повар — как известно, самый необходимый человек в лагере, — не снеся шуток и проделок, какие такому лицу полагается сносить по штату, сел на свою мексиканскую лошадку и скрылся в неизвестном направлении.

— Который-нибудь из вас умеет стряпать? — спросил управляющий.

— Я умею, — вызвался рыжеватый. — Мне приходилось стряпать в поле, и я, пожалуй, мог бы выручить вас. Но с условием: при первой возможности вы устроите меня по лучше.

— Вот это разговор мужчины, — обрадовался управляющий. — Поедете с запиской к Сондерсу. Пусть поставит вас на работу.

Таким образом, в расчетной ведомости Даймонд-Кросс прибавилось два новых имени: Джон Баском и Чарльз Норвуд. Пообедав, новые работники вместе направились в лагерь. Маршрут, который им дали, был ясен и прост: "Езжайте прямо, оврагом. Как проедете пятнадцать миль, тут вам

это самое место и будет". Оба паренька были чужие в этих краях, оба молодые и смелые, и, поскольку их свели случай и дальняя дорога, надо думать, что фундамент их последующей дружбы был заложен в тот самый день, когда они скакали бок о бок по извилистой балке Кандад-Верда.

К месту назначения путники прибыли уже после заката. Штаб-квартира лагеря была удобно расположена вдоль длинной заводи, осененной высокими деревьями. Разбросанные по траве палатки и брезентовая кладовая показывали, что стоянка эта рассчитана на долгий срок.

Ковбой только что вернулись в лагерь, где никто не ждал их с ужином. Какие только проклятия не сыпались на голову сбежавшего повара! Пока они снимали седла и стреноживали лошадей, в лагерь прибыли новички и осведомились, где здесь Пинк Сондерс. Старший выступил вперед, и они отдали ему записку управляющего.

Пинк Сондерс, распорядившись всем, что касалось работы, считался первым весельчаком и балагуром в лагере, где все — от повара до управляющего — были на равном положении. Прочитав записку, он помахал товарищам и, надрывая глотку, торжественно объявил:

— Джентльмены, позвольте представить вам Маркиза и Мисс Салли!

Новичков его слова как будто смутили. Новый повар вздрогнул, но, вспомнив, что "Мисс Салли" — обычное прозвище поваров на всех ранчо Западного Техаса, успокоился и добродушно присоединился к общему смеху. Что касается его спутника, то эта выходка не только привела его в смущение, но и рассердила. Резко повернувшись, он ухватился за луку седла, очевидно, намереваясь ускакать.

Но Мисс Салли тронул его за плечо и сказал, смеясь:

— Ничего, ничего, Маркиз. Сондерс не хотел тебя обидеть, наоборот, у тебя такой гордый вид и нос, как у аристократа, — эта кличка как раз по тебе.

Мисс Салли расседлал лошадь, и Маркиз, сменив гнев на милость, последовал его примеру. Мигом засучив рукава, Мисс Салли бросился к кладовой.

— Ну да, я ваш новый повар, черт возьми! А ну-ка, ребята, соберите побольше хворосту, и в полчаса я спроворю вам самый настоящий ужин.

Живость и добродушие, с какими Мисс Салли в мгновение ока перерыл все в кладовой и, найдя кофе, муку и сало, взялся за дело, сразу завоевали ему расположение лагеря.

При ближайшем знакомстве и Маркиз оказался славным, веселым малым; правда, он держался несколько особняком и сторонился грубых лагерных развлечений. Но эта замкнутость так подходила к его прозвищу, что казалась уместной, и ребята даже полюбили его за эту черту. Сондерс назначил его гуртовщиком. Маркиз был отличный наездник и управлялся с лассо и клеймом не хуже других ковбоев.

Вскоре между Маркизом и Мисс Салли завязалось что-то вроде дружбы. После ужина, когда посуда была перемыта и убрана, их обычно видели вместе: Мисс Салли покуривал свою трубку, вырезанную из корневища шиповника, а Маркиз плел себе новый арапник или скоблил сырые ремни на путы для лошадей.

Управляющий не забыл своего обещания при случае подумать о поваре. Наведываясь в лагерь, он подолгу с ним беседовал. Чем-то Мисс Салли приворожил его. Однажды в полдень, возвращаясь с объезда, он завернул в лагерь и сказал ему:

— С завтрашнего дня вас сменит новый повар. Как только он явится, приезжайте в усадьбу. Будете вести у меня всю отчетность и корреспонденцию. Мне нужен надежный человек, который мог бы всем распорядиться, когда меня нет на месте. Насчет жалованья можете не беспокоиться, на Даймонд-Кросс не обидят человека, который соблюдает хозяйский интерес.

— Ладно, — сказал Мисс Салли, да так спокойно, как будто только этого и ждал. — А вы не будете против, если я поселюсь у вас с женой?

— Как, вы женаты? — удивился управляющий, явно недовольный таким оборотом дела. — Первый раз слышу.

— Да то-то и есть, что не женат, но не прочь жениться, — отвечал повар. — Я все откладывал, пока подвернется настоящая должность и у меня будет хотя бы крыша над головой. Не мог же я поселить жену в палатке.

— Верно, — согласился управляющий. — Лагерь не место для женатого человека. Что ж, в доме у нас просторно, и если вы окажетесь тем, кем я вас считаю, — милости прошу. Напишите ей, пусть приезжает.

— Ладно, — повторил Мисс Салли. — Как только завтра меня сменят, я уж не задержусь.

Вечер был прохладный, и, поужинав, ковбои расположились вокруг большого костра. Постепенно их задорные шутки умолкли и наступила полная тишина, а это в ковбойском лагере опасный знак — тут уж непременно жди какой-нибудь каверзы.

Мисс Салли и Маркиз сидели на бревне и рассуждали о преимуществе длинных или коротких стремян при езде на далекое расстояние. Вскоре Маркиз встал и направился к дереву, где у него сушились ремешки для нового лассо. Как только он ушел, с Мисс Салли случилась маленькая неприятность: ветер задул ему в глаз соринку табачной крошки, из которой Смизерс, он же Сухой Ручей, свертывал себе покурить. Пока повар тер пострадавший глаз, из которого текли слезы, Дэйвис Граммофон, прозванный так за свой въедливый, скрипучий голос, поднялся с места и стал держать речь:

— Граждане и ребята, позвольте задать вам один вопрос. Пусть каждый здесь скажет, какое есть на свете величайшее безобразие, такое, что порядочному человеку и смотреть зазорно?

— Плохая карта на руках!

— Бесхозная телка, когда под рукой нет клейма!

— Твой нос!

— Револьверное дуло, когда оно глядит прямо на тебя.

— Молчать, дурачьё! — вмешался толстяк Тэллер, уже немолодой гуртовщик. — Фони лучше знает, дайте ему сказать.

— Так вот, граждане и ребята, — продолжал Граммофон. — Все те безобразия, которые вы здесь перечислили, достаточно прискорбны, и вы, можно сказать, почти угадали, но только не совсем. Нет на свете большего безобразия, чем вот это, — и он указал на Мисс Салли, который все еще тер себе глаза, — когда доверчивая, ослепленная молодая особа убивается, потому что подлый изменщик разбил ее сердце. Что мы с вами — люди или, может, хищные звери, что позволяем какому-то аристократишке смеяться над чувствами нашей Мисс Салли? Неужто мы так и будем смотреть, как этот красавчик с блестящим титулом топчет чувства своей милашки, а ведь кому, как не нам, она вверила свою судьбу. Так что же, намерены мы поступить, как полагается настоящим мужчинам, или мы так и будем есть подмоченный хлеб, зная, что это она обливает его горькими слезами?

— Экое свинство! — негодуя фыркнул Сухой Ручей. — Порядочные люди так не поступают. Я давно замечаю, что этот гад приударяет за нашей красоткой. А еще Маркиз называется! Скажи, Фони, маркиз — это титулованная особа?

— Это вроде как король, — поспешил дать объяснение Осока. — Только пониже чином. Поменьше валета, побольше десятки.

— Прошу понять меня правильно, — продолжал Граммофон. — Это вовсе не значит, что я против аристократов. Есть среди них и порядочные люди. Я сам с ними водился. Я не одну кружку пивца пропустил с мэром Форт-Уэрта, со мной не гнушался водить компанию даже кассир с полустанка, а это такие люди — насчет выпивона они всякого за пояс заткнут. Но если Маркиз позволяет себе играть чувствами невинной кухарочки, — спрашивается, что ему за это полагается?

— Ремня ему хорошего! — крикнул Сухой Ручей.

— Собаке собачья и честь! — выразил общие чувства Осока.

— Проучить, проучить, — хором поддержали остальные.

И прежде чем Маркиз угадал их намерение, двое схватили его за руки и потащили к бревну. Дэйвис Граммофон, сам себя уполномочивший привести приговор в исполнение,

стоял наготове с кожаными штанами в руках. Впервые ковбой в своих грубоватых забавах посягали на неприкосновенность Маркиза.

— Что это вы затеяли? — крикнул он, возмущенно сверкая глазами.

— Полегче, Маркиз, — шепнул ему Руб Феллоуз, вдвоем с приятелем державший его за руки. — Видишь, ребятам пошутить вздумалось. Разложат тебя на бревне и всыпят с десяточек. Не бойся, очень больно не будет.

Однако Маркиз, вне себя от гнева, оскалил зубы и, крикнув что-то невнятное, стал с неожиданной силой вырываться из державших его рук. В мгновение он расшвырял четырех схвативших его молодцов, и они отлетели кто куда. Крик его услышал и Мисс Салли и, окончательно протерев глаза, со всех ног кинулся на выручку.

Но тут раздалось громкое “Алло!” — и в освещенное костром пространство въехал тарантас, запряженный парой резвых лошадок. Все бросились к нему, и то, что они увидели, заставило их забыть о затее Дэйвиса Граммофона, кстати, уже потерявшей для них прелесть новизны. В ожидании более заманчивой дичи и более увлекательной забавы о недавнем пленнике попросту забыли.

Тарантас и лошади принадлежали Сэму Холли, скотоводу с Биг-Мадди. Сэм правил, а рядом с ним сидел гладко выбритый толстяк в сюртуке и цилиндре. Это был окружной судья мистер Дэйв Хэккет, которому вскоре предстояло вторично баллотироваться на ту же должность. Сэм возил его по всей округе и по ковбойским лагерям, чтобы расшевелить независимых избирателей.

Приезжие вылезли из тарантаса, привязали лошадей к дереву и направились к костру.

При их появлении все обитатели лагеря, за исключением Мисс Салли, Маркиза и Пинка Сондерса, по обязанности встречавшего гостей, с криками ужаса бросились врассыпную и исчезли в окружающей темноте.

— Господи боже! — воскликнул Хэккет. — Это они нас так испугались? Неужто мы такие страшные? Рад видеть вас,

мистер Сондерс. Как поживаете? Зачем это вам понадобился мой цилиндр, Холли?

— Я его боюсь, — задумчиво ответил Холли. Он сорвал с Хэкетта цилиндр и, вертя его в руках, вопросительно поглядывал в темноту, где теперь воцарилась мертвая тишина. — Ты как скажешь, Сондерс?

Пинк ухмыльнулся.

— Скажу, что не мешало бы его повесить повыше, — произнес он равнодушным тоном человека, дающего бесплатный совет. — В такой темноте разве что-нибудь увидишь! Не хотел бы я, чтобы этот головной убор торчал на моей макушке.

Холли стал на ступицу заднего колеса фургона и, дотянувшись до ближайшего сука, повесил на него цилиндр. Едва он спустился на землю, как грянули выстрелы по меньшей мере из десятка шестизарядных кольтов — и пробитый пулями цилиндр свалился наземь.

Тут из темноты послышался какой-то свистящий звук, словно двадцать гремучих змей шипело разом, и со всех сторон показались ковбои. Высоко, с величайшей осторожностью поднимая ноги, они обращали друг к другу предостерегающее “тс-с-с!”, словно предупреждая об опасности. В торжественном молчании они стали вокруг цилиндра, с опаской поглядывая на него. Поминутно то одна, то другая фигура, словно в припадке неизъяснимого ужаса, отскакивала в сторону.

— Это та самая гадина, — сказал один ковбой, понизив голос до громкого шепота, — что ночью ползает по болотам и кричит: “Вилли-валло!”

— Нет, это ядовитый Кипоотум, — высказал предположение другой. — Тот, что жалит умирая и орет, когда его закапывают в землю.

— Это хозяин всей нечистой твари, — сказал Дэйви Граммофон. — Но ведь он издох. Не бойтесь его, ребята!

— Какое там издох, притворяется, бестия, — возразил Сухой Ручей. — Это Хайголлакум, страшный лесной дух. Есть только один способ с ним расправиться.

Он вытащил в круг старину Тэллера, грузного гуртовщика в двести сорок фунтов весом. Тэллер поставил цилиндр на донышко и шлепнулся на него всей своей тушей, сплющив его в тонкую лепешку.

Хэкетт, вытаращив глаза, смотрел на происходящее. Заметив, что он готов вспылить, Сэм Холли сказал ему:

— Смотрите, судья, не оплошайте. В Даймонд-Кросс шестьдесят голосов. Ребята хотят испытать вас. Мне думается, вы не проиграете, если обратите все в шутку.

И Хэкетт, оценив великую мудрость этого совета, внял ему.

Подойдя к группе ковбоев, которые после успешной расправы с кровожадным гадом радовались, глядя на его останки, он торжественно произнес:

— Спасибо вам, ребята, за беспримерный подвиг. Вы с героическим и, можно сказать, неутомимым мужеством прикончили чудовище, которое, должно быть, свалилось на нас с деревьев, когда мы в потемках проезжали по оврагу. Теперь я до гроба ваш должник. Вы спасли мне жизнь и, надеюсь, отдадите мне ваши голоса, когда я снова буду баллотироваться на должность судьи. Разрешите вручить вам мою карточку.

Ковбои, которые выкидывали все эти штуки с неизменно серьезным видом, теперь одобрительно посмеивались.

Но Дэйвису Граммофону этого показалось мало. В его изобретательной голове родилась новая идея.

— Нет, приятель, — сказал он сурово. — Ни в одном лагере вы бы так легко не отделались. Шутка ли сказать — выпустить на людей такую вредную тварь! Счастье ваше, что еще обошлось без человеческих жертв. Но вы можете загладить свою вину, исполните только нашу просьбу.

— В чем дело? — насторожился Хэкетт.

— Вам дано право скреплять людей священными узами брака — верно?

— Верно, — согласился Хэкетт. — Брачный союз, скрепленный мною, считается законным.

— Здесь, в этом лагере, нам предстоит исправить величайшее зло, — начал Граммофон, впадая в торжественную

слезливость. — Некий а-ристо-кратишка насмеялся над простецкой, хоть и смазливой на мордочку особой женского пола, которая уже давно по нем сохнет. Весь лагерь считает долгом призвать к порядку этого зарвавшегося потомка, может, тыщи, а может, и тыщи с хвостиком графов — и соединить его, хотя бы и силком, с пострадавшей мамзелью. Ребята! А ну-ка, заарканьте Маркиза и Мисс Салли и гоните их сюда. Мы их тут живо окрутим!

Предложение Граммофона было встречено криками восторга. Все бросились разыскивать главных участников предстоящей церемонии.

— С вашего разрешения, — сказал судья, отирая пот, хотя ночь выдалась холодная, — мне хотелось бы знать, как далеко намерены вы зайти в своей шутке. И не следует ли мне опасаться, что и некоторые другие предметы моего туалета могут быть приняты вами за диких зверей и отданы на растерзание?

— Ребята разошлись нынче больше, чем обычно, — объяснил ему Сондерс. — Им, вишь, пришло в голову поженить тут двоих — нашего повара и гуртовщика. В шутку, конечно. Ну, да ведь вам с Сэмом все равно придется заночевать здесь. Так что сделайте уж им это одолжение, авось они угомонятся.

Сваты тем временем разыскали невесту и жениха. Повар сидел на дышле фургона и спокойно курил свою трубку. Маркиз был тут же, неподалеку, он прислонился к дереву, под которым была устроена кладовая.

Обоих бесцеремонно втолкнули в кладовую, и Граммофон, на правах церемониймейстера, принялся отдавать приказания.

— Ты, Сухой Ручей, и вы, Джимми, Бен и Тэллер, сбегайте в рошу и наберите цветов — хотя бы того же мескита — да не забудьте про испанский меч, что растет у загона для лошадей. Мы дадим его невесте вместо букета. Ты, Хромой, тащи сюда свое красное с желтым одеяло, это будет юбка Мисс Салли. А ты, Маркиз, и так обойдешься: все равно на жениха никто не смотрит.

Во время этих шутовских приготовлений оба главных участника торжества на минуту остались одни. Лицо Маркиза выражало страшное волнение.

— Этой глупости надо положить конец, — обратился он к Мисс Салли, и в свете висячего фонаря лицо его показалось повару мертво-бледным.

— А почему, собственно? — спросил тот с улыбкой. — Зачем портить людям удовольствие? Ведь они до сих пор никогда тебе особенно не докучали. По мне, пусть веселятся.

— Ах, ничего ты не понимаешь, — простонал Маркиз. — Ведь Хэккет — окружной судья. Если он нас соединит — конечно... Я не могу... Ах, ничего ты не знаешь!

Но тут повар подошел поближе и взял Маркиза за руки.

— Салли Баском, — сказал он, — я знаю все!

— Знаешь? — пролетел Маркиз. — И ты — ты хочешь?..

— Я в жизни ничего так не хотел. А ты?.. Тише, сюда идут.

В кладовую ввалились ковбой с свадебным убором для невесты.

— Вероломный койот! — воскликнул Граммофон, обращаясь к Маркизу. — Согласен ли ты заглядить свою вину перед этой гладильной доской — перед этой, с позволения сказать, доверчивой юбкой? Пойдешь ли тихо-скромно к алтарю или прикажешь тащить тебя на веревке?

Маркиз стоял, небрежно сдвинув шляпу на затылок и прислонясь к груде мешков с бобами. Лицо его раздумянилось, глаза горели.

— Что ж, забавляться так забавляться, — сказал он.

Вскоре к Хэккету, Холли и Сондерсу, которые сидели под деревом и курили, приблизилась процессия.

Впереди выступал Хромой Уокер, наигрывавший на своей гармошке нечто весьма заунывное. За ним следовали жених и невеста. Повар обернул вокруг талии пестрое навахское одеяло, в руке его красовался испанский меч — большой, с решето, цветков фунтов пятнадцать весом, с белоснежными, словно восковыми лепестками. Шляпа невесты была украшена ветками мескита и желтыми цветами ра-



тамы. Видавшая виды сетка от комаров служила ей вуалью. За молодой четой брел, спотыкаясь, Дэйвис Граммофон. В качестве посаженного отца он то и дело подносил к глазам конский потник и оглашал воздух рыданиями, которые можно было услышать за милю. Дальше следовали попарно ковбои. Они обменивались замечаниями насчет туалета невесты, по своему разумению изображая гостей на фешенебельной свадьбе.

Едва процессия поравнялась с Хэкетом, он встал и, сказав несколько слов о святости брачных уз, спросил:

— Как вас зовут?

— Салли и Чарльз, — отвечал повар.

— Подайте же друг другу руки, Чарльз и Салли!

Быть может, на свете не было еще столь странной свадьбы. Ибо это была настоящая свадьба, хотя только двое из присутствующих знали это.

После брачной церемонии ковбои прокричали “ура”, и на этот вечер потеха была кончена. Все разворачивали одеяла, думая только о том, как бы поскорее завалиться спать.

Повар, снявший с себя свадебный убор, и Маркиз задержались на минуту в тени кладовой. Маркиз склонил голову на плечо новобрачному:

— Я просто не знала, на что решиться, — сказала она. — Отец умер, и нам, ребятам, не на кого было надеяться. Я столько помогала ему с коровами, что решила пойти в ковбой. Чем еще могла я прокормиться? Особенного удовольствия мне это занятие не доставило, и я бы давно убежала, если бы не...

— Если бы не что?

— Сам знаешь... Но объясни мне... Как тебе пришло в голову?.. Когда ты первый раз...

— Да в ту же самую минуту, как мы приехали в лагерь. Помнишь, Сондерс заорал: “Маркиз и Мисс Салли”. Я заметил, как ты смутилась, и сразу подумал...

— Вот нахал! А почему ты решил, что я подумала, что это он про меня сказал Мисс Салли?

— А потому, — невозмутимо отвечал повар, — что Маркиз за я принял на свой счет. Мой отец был маркиз Бородэйл. Надеюсь, ты простишь мне это, Салли? Ведь это и в самом деле не моя вина!

## НА ПОМОЩЬ, ДРУГ!

Когда я торговал скобяными товарами на Западе, мне не раз случалось наведываться по делам в один городишко под названием Салтилло, в Колорадо. Саймон Белл держал там лавку, в которой торговал всякой всячиной, и я знал, что всегда смогу сбыть ему партию-другую своего товара. Белл был этакий шестифутовый, басовитый детина, соединявший в себе типичные черты Запада и Юга. Он нравился мне. Поглядеть на него, так можно было подумать, что он должен грабить дилижансы или жонглировать золотыми копиями. Однако он отпускал вам дюжину кнопок или катушку ниток, проявляя при этом во сто раз больше обходительности и терпения, чем любая продавщица за прилавком столичного универсального магазина.

Мое последнее посещение Салтилло преследовало двоякую цель. Во-первых, я хотел продать свой товар, во-вторых — дать Беллу добрый совет, воспользовавшись которым он мог сделать неплохое дельце.

В Маунтен-Сити — это город на Тихоокеанской, раз в пять крупнее Салтилло, — одно торговое предприятие не сегодня-завтра должно было вылететь в трубу. Торговало оно бойко и могло бы торговать еще лучше, но в результате неумелого ведения дел и чрезмерного пристрастия одного из компаньонов к азартным играм оказалось на краю банкротства. Все это еще не получило огласки, а мне стало известно стороной. Я знал, что, сразу выложив деньги, можно приобрести это предприятие за четверть его истинной стоимости.

Прибыв в Салтилло, я направился к Беллу в его лавку. Белл кивнул мне, и, как всегда, широкая улыбка медленно

расплылась по его лицу, но он продолжал не спеша отпускать леденцы какой-то девчужке. Покончив с этим, он вышел из-за прилавка и пожал мне руку.

— Ишь ты, — сказал он (незатейливая шутка, которой неизменно встречалось каждое мое появление), — не иначе, как вы приехали делать видовые снимки наших гор. Сей час как будто не сезон сбывать скобяные изделия?

Я рассказал Беллу про выгодное дело, которое наклеивалось в Маунтен-Сити. Если он хочет воспользоваться таким случаем, я готов, так и быть, остаться со всем своим товаром на руках и не помогать ему затовариваться в своем Салтилло.

— Звучит заманчиво, — сказал он с жаром. — Я бы не прочь расширить немножко дело. Очень вам признателен за эти сведения. Только... Ну ладно, пойдете ко мне, вы переночуете у нас, а я подумаю.

Солнце уже село, и всем большим лавкам в Салтилло пора было закрываться на ночь. Приказчики захлопнули свои книги, заперли сейфы, надели пиджаки и шляпы и отправились по домам. Белл задвинул засов на двойных дубовых дверях, и мы немножко постояли на крыльчке, вдыхая свежий, ароматный ветерок, потянувший с гор.

На улице появился высокий плотный мужчина и подошел к крыльцу лавки. Его пушистые черные усы, черные брови и курчавая черная шевелюра находились в странном противоречии с нежно-розовым цветом лица, который по всем законам естества должен был бы принадлежать блондину. Незнакомцу на вид было лет сорок. На нем был белый жилет, белая шляпа, часовая цепочка из золотых пятидолларовиков и недурного покроя серый костюм, в каких любят щеголять восемнадцатилетние юнцы, еще не окончившие колледж. Поглядев сначала с недоверием на меня, незнакомец устремил затем холодный и даже, как мне показалось, враждебный взгляд на Белла.

— Ну как? — спросил Белл тоном, каким говорят с посторонними людьми. — Удалось все уладить?

— Вопрос! — негодуяще вскричал незнакомец. — Чего ради, по-твоему, я здесь околачиваюсь вторую неделю? Сегод-

ня все будет закончено. Устраивает это тебя, или ты, может, на попятный?

— Устраивает, — сказал Белл. — Я знал, что ты это сделаешь.

— Еще бы тебе не знать! — сказал величественный незнакомец. — Будто я раньше не делал.

— Делал, — согласился Белл. — Но и я тоже. Как тебя кормят в гостинице?

— Зубы обломаешь. Но я терплю. А ты, кстати, не можешь ли дать мне каких-либо указаний? Как лучше управляться с... с этим делом? Ты ведь знаешь — у меня нет никакого опыта по этой части.

— Нет, не могу, — подумав, отвечал Белл. — Я все перепробовал. Придется тебе самому поискать какой-нибудь способ.

— Умасливать не пробовал?

— Бочки масла пустил в расход.

— А подпруги с медными пряжками не пойдут в дело?

— И не пытайся. Я раз рискнул — вот что получилось.

Белл протянул руку. Даже в стусившихся сумерках я разглядел на тыльной стороне кисти длинный белый шрам, похожий на след когтя, ножа или еще какого-нибудь острого предмета.

— О, вот как! — сказал незнакомец беспечно. — Ладно, поглядим.

Не прибавив больше ни слова, он пошел прочь. Но, отойдя шагов на десять, оборотился и крикнул:

— Ты держись подальше, когда я буду принимать груз, а то как бы не сорвалось дельце-то.

— Хорошо, — отвечал Белл. — Я буду действовать в своем направлении.

Смысл этой беседы остался для меня совершенно темным, но, поскольку она не имела ко мне никакого касательства, я тут же выбросил ее из головы. Однако необычайная внешность незнакомца нет-нет да всплывала у меня в памяти, пока мы с Беллом шли к нему домой, и я сказал:

— Этот ваш клиент довольно-таки мрачный тип. Я бы не хотел попасть с ним вместе в буран и быть засыпанным снегом в палатке на охоте.

— Вот, вот, — с воодушевлением подхватил Белл. — Настоящая гремучая змея, отравленная укусом тарангула.

— Он не похож на жителя Салтилло, — продолжал я.

— Да, — сказал Белл. — Он живет в Сакраменто. Приехал сюда по делу. Его зовут Джордж Ринго. Это мой лучший друг — единственный, пожалуй, настоящий друг за последние двадцать лет.

Я был так поражен, что не проронил ни слова.

Белл жил в простом, удобном, квадратном, двухэтажном белом домике на краю города. Он попросил меня обождать в гостиной. Это была удручающе благопристойная комната — красный плюш, соломенные циновки, кружевные занавески, подобранные фестонами, и стеклянный шкаф, достаточно вместительный, чтобы держать в нем мумию, и набитый сверху донизу образцами минералов.

Пока я ждал, у меня над головой вдруг раздались звуки, происхождение которых не может вызвать у вас ни малейшего сомнения, в какой бы части света вы их ни услышали. Это был сварливый женский голос, поднимавшийся все выше и выше по мере нарастания клокотавшей в нем злобы. В промежутках между шквалами до меня долетал мерный рокот — голос Белла, пытающегося усмирить разбушевавшуюся стихию.

Мало-помалу буря утихла. Но я все же успел услышать, как женщина сказала, понизив голос, с выражением сдержанной ярости, звучавшей внушительнее, чем все предыдущие вопли:

— Ну, теперь конец. Слышишь — конец. О, ты еще пожалеешь!

В доме, насколько я знал, никого, кроме четы Беллов и прислуги, не было. Меня представили миссис Белл за ужином.

На первый взгляд она показалась мне красивой женщиной, но я вскоре заметил, что это — красота с червоточной. Раздражительность, неуравновешенность, крикливость, эгоизм, вечное чем-нибудь недовольство и неумение владеть собой чрезвычайно испортили ее женственную пре-

лесть. За ужином она была деланно весела, притворно добродушна и подчеркнута смиренна, что изобличало в ней особу с заскоками и капризами. При всем том это, несомненно, была женщина, не лишенная привлекательности в глазах мужчин.

После ужина мы с Беллом вынесли стулья на травку и уселись покурить при лунном свете. Полная луна, как известно, — колдунья. При бледном ее сиянии правдивые люди открывают вам самые драгоценные сокровища своего сердца, а лгуны выдавливают на палитру рассказа самые яркие краски из тюбиков своих фантазий. Я увидел, как широкая улыбка снова медленно разлилась по лицу Белла...

— Вам, верно, кажется странной такая дружба, как у нас с Джорджем, — сказал он. — Нам, признаться, никогда не доставляло особенного удовольствия общение друг с другом. Но мы одинаково понимаем дружбу и все эти годы никогда от этого не отступали. Я постараюсь дать вам некоторое представление о том, как мы это себе представляем.

Человеку нужен один-единственный друг. Тот, кто околачивается возле вас, пьет ваше виски, хлопает вас по плечу, расписывает, как он вас любит, и отнимает у вас время, это еще не друг, даже если вы играли с ним в камушки в школе и удили рыбу в одном ручье. Пока вам не понадобился истинный друг, может, сойдет и этот. Но настоящий друг, на мой взгляд, это тот, на кого вы можете положиться, — вот как я на Джорджа, а он на меня.

С давних пор мы с ним были связаны на самый различный лад. На паях гоняли в Нью-Мексико фургоны с товаром, вместе рыли кой-какое золотишко и слегка поигрывали в карты. Каждому из нас случалось время от времени попадать в беду, и на этой почве мы с ним главным образом и сошлись. А еще, вероятно, потому, что не испытывали потребности слишком часто видеться друг с другом и не слишком друг другу докучали. Джордж — тщеславный малый и отчаянный хвостун. Послушать его, так стоит ему только дунуть — и самый большой из гейзеров в Йосемит-

ской долине тотчас уберется назад в свою дыру. Я человек тихий, люблю почитать, поразмышлять. Чем чаще нам с ним приходилось встречаться, тем меньше мы искали этих встреч. Если бы Джордж попробовал хлопнуть меня по плечу или просюсюкать что-нибудь насчет нашей дружбы, как делают это, я видел, некоторые так называемые друзья-приятели, я бы вздул его, не сходя с места. То же самое и он. Мои замашки так же противны ему, как мне — его. На прииске мы с ним всегда жили в разных палатках, чтобы не навязывать друг другу свою омерзительную личность.

И все же со временем мы поняли, что в беде каждый из нас может рассчитывать на другого — вплоть до его последнего доллара, честного слова или лжесвидетельства, последней пули в его винчестере, последней капли крови в жилах. Мы никогда с ним об этом не говорили — это бы все испортило, а просто убедились на деле. Как-то раз я схватил шляпу, вскочил в товарный вагон и проехал двести миль до Айдахо, чтобы удостовериться его личность, когда его хотели повесить, приняв за железнодорожного бандита. А раз как-то я валялся в тифу в своей палатке, где-то в Техасе, без гроша в кармане и без смены белья и послал за Джорджем в Бойз-Сити. Он приехал с первым поездом. Ни слова не говоря, пришил к палатке дорожное зеркальце, подкрутил усы и втер какое-то снадобье в волосы (они у него от природы ярко-рыжие), после чего с исключительным мастерством изругал меня на все корки и снял пальто.

— Ну ты, трухлявый старый гриб, какого черта ты разлегся? — сказал он. — Надо же быть таким идиотом — небось налакался воды из какого-нибудь гнилого болота? И уж ты, конечно, не можешь не валиться в постель и не подымать визга, когда укусит тебя комар или кольнет под ложечкой?

Я здорово обозлился.

— У тебя не слишком приятная манера ухаживать за больными, — сказал я. — Ступай туда, откуда пришел, и дай мне умереть естественной смертью. Очень жалею, что послал за тобой.

— Я и то подумываю, не уехать ли, — сказал Джордж. — Кому это интересно — будешь ты жить или загнешься? Но раз уж меня сюда заманили, я теперь могу и подождать, пока не кончится это несварение желудка, или крапивная лихорадка, или что там у тебя такое.

Две недели спустя, когда я пошел на поправку, доктор расхохотался и сказал, что, по его мнению, меня поставили на ноги не его лекарства, а то состояние бешенства, в котором я все это время пребывал.

Вот, собственно, как протекала наша дружба с Джорджем. Мы не разводили на этот счет никаких сантиментов. Все строилось на взаимных одолжениях — и только.

Но каждый из нас знал, что другой всегда готов прийти ему на помощь.

Помню, как я однажды подшутил над Джорджем — просто чтобы испытать его. Потом мне было даже совестно. Я мог бы не сомневаться в том, как он поступит.

Мы жили тогда в одном городишке в долине Сент-Луиса, где у нас было стадо овец и немного рогатого скота. Дело у нас было общее, а жили мы, как всегда, врозь. Из восточных штатов ко мне приехала на лето моя тетушка, и я снял небольшой коттедж. Она тут же завела двух коров, несколько поросят и немного кур, чтобы придать дому обжитой вид. Джордж жил в маленькой хижине в полумиле от города.

Однажды у нас с тетушкой околел теленок. Ночью я рубил его на куски, сложил эти останки в мешок и завязал его проволокой. Затем надел старую рубаху, основательно разодрал на ней ворот, почти напрочь оторвал один рукав, взъерошил себе волосы, вымазал руки красными чернилами и побрызгал ими немного на рубаху и на лицо. Думаю, что у меня был такой вид, словно я только что выдержал борьбу не на жизнь, а на смерть. Ввалил мешок на повозку и поехал к Джорджу. Я покричал перед его хижинкой, и он вышел на порог в желтой пижаме, лакированных туфлях и в феске. Джордж всегда был страшным франтом.

Я свалил мешок на землю.

— Ш-ш-ш! — прошипел я, с безумным видом озираясь по сторонам. — Возьми это, Джордж, и зарой где-нибудь за домом. Как есть, так и схорони. И не...

— Ну, чего раскудахтался, — говорит Джордж. — И, ради Создателя, пойдешь умойся и переодень рубашку.

Он закурил трубку, а я галопом поскакал обратно. Наутро он появился у нас в садике перед домом, где моя тетюшка возилась со своими овощами и цветочками. Джордж раскланивается, изгибаясь дугой, рассыпается в комплиментах — он на этот счет мастак, когда захочет, — и просит тетюшку подарить ему розовый куст. Он вскопал небольшую клумбу у себя за домом и хочет посадить там что-нибудь красивое и полезное. Тетюшка, чрезвычайно польщенная, выкапывает с корнем один из своих самых больших кустов и отдает ему. Потом я видел, где он его посадил. На голом, без травы, хорошо утрамбованном месте.

Ни я, ни Джордж никогда ни словом не обмолвились больше по этому поводу.

Луна поднялась выше, быть может, стремясь вызвать прилив океана или — эльфов из своих убежищ, а скорее всего — Симса Белла на дальнейшую откровенность.

— Вскоре после этого привелось и мне оказать услугу Джорджу Ринго, — продолжал Белл. — Он сколотил немного денег с помощью своих овец и коров и уехал в Денвер. Когда я его там увидел, он щеголял в замшевом жилете, желтых башмаках, полосатом костюме, похожем на тент над витриной бакалейной лавочки, и волосы у него были уже до того черны, что даже отливали вороненой сталью и выделялись своей чернотой в полном мраке. Я приехал в Денвер по его вызову. Джордж написал, что я срочно ему нужен, и просил прихватить с собой мой самый парадный костюм. Он был как раз на мне, когда я получил письмо, и я отбыл с ближайшим поездом. Джордж жил...

Белл оборвал свой рассказ и с минуту настороженно прислушивался.

— Мне показалось, что проехал кто-то по дороге, — пояснил он. — Да, так Джордж жил на курорте, на берегу озера под Денвером, и пускал там пыль в глаза не жалея сил. Он снял двухкомнатный коттедж, обзавелся собакой какой-то невиданной породы, гамаком и дюжиной тросточек различного вида.

— Сайми, — говорит он мне, — здесь есть одна вдова, которая вконец допекла меня разнообразными знаками внимания. Нет мне от нее спасенья. Не то чтоб она была некрасива или непривлекательна, но ее намерения слишком серьезны, а я еще не подготовлен к женитьбе и оседлому образу жизни. Стоит мне пойти на вечеринку, или посидеть на веранде отеля, или вообще появиться в каком-нибудь обществе, как она тут как тут — накинет на меня свое лассо и не дает общаться со всем прочим стадом. Мне нравится это местечко, — продолжал Джордж, — я тут имею успех в самом избранном круту, и в мои планы вовсе не входит сматываться отсюда. Вот я и вызвал тебя...

— А что же я должен делать? — спрашиваю.

— Ну как, — говорит, — ты должен заставить ее изменить курс. Отрезать ее от меня. Прийти мне на помощь. Ну, что бы ты сделал, если бы увидел, что меня хочет съесть дикая кошка?

— Бросился бы на нее.

— Правильно, — говорит. — Вот и бросься на миссис де Клинтон.

— А как я должен это сделать? — спрашиваю. — С применением физической силы и устрашения или каким-либо более мягким и приятным способом?

— Поухаживай за ней, — говорит Джордж. — Сбей ее с моего следа. Таскай ее по ресторанам. Катайся с ней на лодке. Околачивайся возле нее, не отходи от нее ни на шаг. Постарайся вскружить ей голову, если сумеешь. Некоторые женщины порядочные дуры. Кто знает, может, она и прельстится тобой.

— А ты никогда не пытался, — спрашиваю я его, — несколько ослабить действие своих роковых чар? Накинуть, так ска-

зять, вуаль на свою ослепительную красоту? Или позволить своему чарующему голосу издать две-три резкие ноты? Коро-че, не пробовал ли ты сам как-нибудь отшить эту даму?

Джордж не уловил иронии в моих словах. Он подкрутил усы и уставился на носки своих башмаков.

— Ты же знаешь, Сайми, — говорит он, — мое отношение к женщинам. Я не могу не щадить их чувств. Это у меня в крови: я всегда вежлив с дамами, всегда потакаю их капризам. Но эта миссис де Клинтон просто мне не пара. К тому же я не создан для брака.

— Ладно, — говорю я. — Сделаю все, что в моих силах.

После этого я купил себе новый костюм и книжку о хорошем тоне и вцепился мертвой хваткой в миссис де Клинтон. Она была совсем недурна собой, очень живая и веселая. Первое время мне казалось, что, только стреножив эту даму, можно помешать ей таскаться за Джорджем по пятам. Но под конец я так ее приручил, что она стала вроде как с охотой кататься со мной верхом и на лодке и даже как будто принимала очень близко к сердцу, если я забывал послать ей с утра цветы. Все же мне как-то не нравилась ее манера поглядывать порой краешком глаза на Джорджа. А Джордж тем временем развлекался вовсю и мог вращаться и общаться сколько влезет. Да, — продолжал Белл, — слов нет, миссис де Клинтон была очень хороша тогда. Она несколько изменилась с тех пор, как вы могли заметить за ужином.

— Что такое?! — воскликнул я.

— Я женился на миссис де Клинтон, — сказал Белл, — как-то раз вечером, после прогулки на лодке. Когда я сообщил об этом Джорджу, тот разинул рот, и мне показалось, что он готов изменить нашему правилу и выразить мне свою признательность. Но он подавил в себе этот порыв.

“Вот как, — сказал он, продолжая играть со своей собакой. — Надеюсь, это не причинит тебе слишком больших хлопот. Что касается меня, то я никогда не женюсь”.

— Это было три года назад, — продолжал рассказ Белл. — Мы обосновались в этом городе и примерно с год сравнительно неплохо ладили друг с другом. А потом все пошло

кувырком. За последние два года жизнь моя постепенно превратилась в ад. Слышали небось сегодня скандальчик наверху? Ну, так это был очень приветливый прием по сравнению с тем, как меня обычно встречают. Ей скучно со мной, скучно в этом захудалом городишке, и она целый день рвет и мечет, бесится, как пантера в клетке. Я терпел, терпел и, наконец, две недели назад воззвал о помощи. Мой призыв настиг Джорджа в Сакраменто. Получив телеграмму, он выехал с первым поездом.

Из дома быстрым шагом вышла миссис Белл и направилась к нам. Она казалась очень взволнованной или встревоженной, но старалась улыбаться, как радушная хозяйка, и говорить спокойно.

— Уже садится роса, — сказала она. — И час довольно поздний. Вы не хотите пойти в дом, джентльмены?

Белл вынул несколько сигар из кармана и сказал:

— Очень уж ночь хороша, неохота пока забираться в комнаты. Я думаю, мы с мистером Эймзом прогуляемся немного по дороге и выкурим еще по сигаре. Мне надобно потолковать с ним насчет некоторых закупок, которые я предлагаю сделать.

— Направо по дороге пойдете или налево? — спросила миссис Белл.

— Налево, — отвечал Белл.

Мне показалось, что миссис Белл вздохнула с облегчением. Когда мы отошли от дома шагов на сто и деревья скрыли его из глаз, Белл свернул в густую рощу, тянувшуюся вдоль дороги, и мы направились обратно к дому. Шагах в двадцати от него мы остановились в тени деревьев. Я недоумевал — что значит этот маневр? И тут до нас долетел стук копыт: к дому приближался экипаж. Белл вынул часы и взглянул на них при лунном свете.

— Минута в минуту, — сказал он. — Джордж всегда точен.

Экипаж подъехал к дому и остановился в густой тени. Женская фигура с большим саквояжем в руках вышла из дома и поспешно направилась к экипажу. Затем мы услышали, как он быстро покатиł обратно.

Я поглядел на Белла. Само собой разумеется, я не задал никакого вопроса, но, вероятно, Белл прочел его на моем лице.

— Она убежала с Джорджем, — сказал он просто. — Он все время держал меня в курсе событий. Через шесть месяцев она получит развод, и тогда Джордж женится на ней. Если он беретса помочь, то никогда не останавливается на полдороге. У них уже все решено.

“Что же такое дружба в конце-то концов?” — невольно подумалось мне.

Когда мы вернулись в дом, Белл завел о чем-то неприужденную беседу, и я старался ее поддерживать. Внезапно наш утренний разговор о фирме в Маунтен-Сити всплыл в моей памяти, и я стал настойчиво уговаривать Белла не упустить такой случай. Теперь он свободен, и ему легче сняться с места. А дело это, несомненно, очень выгодное.

Белл с минуту молчал. Я взглянул на него, и мне показалось, что он думает о чем-то другом, очень далеком от моего проекта.

— Нет, мистер Эймз, — сказал он наконец. — Я не могу пойти на это дело. Горячо признателен вам за ваши хлопоты, но я уж останусь здесь. Я не могу перебраться в Маунтен-Сити.

— Почему же? — спросил я.

— Миссис Белл, — отвечал он, — не захочет жить в Маунтен-Сити. Она не любит этого города и ни за что туда не поедет. Придется мне торчать здесь, в Салтилло.

— Миссис Белл? — воскликнул я в полном недоумении. Я был так изумлен, что даже не пытался найти какой-нибудь смысл в его словах.

— Сейчас объясню, — сказал Белл. — Я знаю Джорджа и знаю миссис Белл. Джордж не очень-то покладист. Если ему что-нибудь не по нутру, он не станет долго терпеть — не то что я. Я даю им от силы полгода, полгода супружеской жизни, а затем последует разрыв, и миссис Белл вернется ко мне. Ей больше некуда деться. Значит, я должен сидеть здесь и ждать. А через полгода придется схватить чемодан

и сесть на первый поезд. Потому что придет призыв от Джорджа: “Друг, на помощь!”

## Я ИНТЕРВЬЮИРУЮ ПРЕЗИДЕНТА

(Вряд ли кто-нибудь успел забыть, что месяц тому назад можно было купить круговой билет в Вашингтон и обратно со значительной скидкой. Чрезвычайная дешевизна этого билета подвигла нас обратиться к некоему остинскому гражданину, принимающему общественные интересы близко к сердцу, и занять у него двадцать долларов под залог нашего типографского станка, а также коровы и под поручительство нашего брата вкупе с небольшим векселем майора Хатчинсона на четыре тысячи долларов.)

Мы приобрели круговой билет, две венские булочки и изрядный кусок сыра, каковые вручили одному из наших штатных репортеров с заданием съездить в Вашингтон и взять интервью у президента Кливленда, по возможности натянув нос всем прочим техасским газетам.

Наш репортер вернулся вчера утром по проселочной дороге. К обеим его ступням были аккуратно привязаны куски толстой, сложенной в несколько слоев мешковины.

Оказалось, что он потерял круговой билет в Вашингтоне и, разделив венские булочки, а также сыр с искателями должностей, которые не солоно хлебавши возвращались к себе тем же путем, добрался до дому голодным, с волчьим аппетитом и в надежде на сытный обед. И вот, правда с некоторым запозданием, мы печатаем его сообщение об интервью, взятом у президента Кливленда.)

Я — старший репортер “Роллинг стоун”. Примерно месяц тому назад главный редактор вошел ко мне в комнату и сказал:

— Да, кстати. Поезжайте в Вашингтон и возьмите интервью у президента Кливленда.

— Ладно, — сказал я. — Счастливо оставаться.

Через пять минут я уже сидел в сказочно пышном пульмановском вагоне и трясся на пружинном плюшевом сиденье.

Не стану рассказывать подробности моего путешествия. Мне был предоставлен карт-бланш и велено не стесняться в расходах, если у меня будет чем их оплатить. Ублаготворение моего организма было предусмотрено на самую широкую ногу. И Вена, и Германия прислали яства, достойные моего взыскательного вкуса.

В пути я всего лишь раз сменил вагон и рубашку и с достоинством отказался разменять два доллара какому-то незнакомцу.

Виды по дороге в Вашингтон разнообразны. Их можно созерцать в окно, а стоит отвернуться, как они же поражают и чаруют взор в окне напротив.

В поезде было очень много Рыцарей Пифии<sup>1</sup>, и один начал было практиковать тайное орденское рукопожатие на ручке моей дорожной сумки, но у него ничего не вышло.

По прибытии в Вашингтон, который я сразу узнал, будучи весьма начитан в биографии Джорджа, я покинул вагон столь поспешно, что забыл вручить представителю мистера Пульмана причитающийся ему гонорар.

Я без промедления направился к Капитолию.

Как-то раз во власти *jeu d'esprit*<sup>2</sup> я изготовил сферическую модель эмблемы нашей газеты — «катыющийся камень, который не обрастает мхом». Я взял деревянный шар размером с небольшое пушечное ядро, покрасил его в темный цвет и приделал к нему перекрученный жгутик длиной дюйма в три как символ мха, которым он не обрастает. И я захватил его с собой в Вашингтон вместо визитной карточки, рассчитывая, что каждый с первого же взгляда уловит столь изящный намек на нашу газету.

1 Один из многочисленных американских клубов, имевших в подражание масонам свой «тайный» ритуал.

2 Остроумия (*фр.*).

Предварительно изучив план Капитолия, я двинулся прямо к личному кабинету мистера Кливленда.

В вестибюле я встретил служителя и с улыбкой протянул ему мою визитную карточку.

Волосы у него встали дыбом, он, как олень, помчался к двери, лег на пол и мгновенно скатился во двор по ступеням длинной лестницы.

— Ага! — сказал я себе. — Наш подписчик-неплательщик.

Затем я увидел личного секретаря президента. Он писал письмо о тарифах и заряжал утиной дробью охотничье ружье мистера Кливленда.

Едва я показал ему эмблему моей газеты, как он выпрыгнул в окно на стеклянную крышу оранжереи, чаровавшей взор редкостными цветами.

Это меня несколько удивило.

Я проверил, в порядке ли мой костюм. Шляпа не съехала на затылок, и вообще в моей внешности не было ничего, что могло бы внушить тревогу.

Я вошел в личный кабинет президента.

Он был один и беседовал с Томом Окилтри. Увидев мой шарик, мистер Окилтри с пронзительным визгом выскок из кабинета.

Президент Кливленд медленно поднял на меня глаза. Он тоже увидел мою визитную карточку и сказал сильным голосом:

— Будьте любезны, подождите минутку.

Президент принялся рыться в карманах сюртука и вскоре извлек из них исписанный листок.

Положив листок на стол перед собой, он встал, простер одну руку над головой и сказал с глубоким чувством:

— Я умираю за свободу торговли, за отечество и... и... и... и за все такое прочее.

Тут он дернул за веревочку — и на столике в углу щелкнул фотоаппарат, запечатлев нас обоих.

— Не надо умирать в палате представителей, мистер президент, — посоветовал я. — Пройдите лучше в зал заседаний сената.



— Умолкни, убийца! — сказал он. — Пусть твоя бомба свершит свое смертоносное назначение.

— Я не прошу о назначении, — произнес я с достоинством. — Я представляю “Роллинг стоун”, газету города Остин, штат Техас. Ее же представляет и эмблема, которую я держу в руке, но, по-видимому, не столь удачно.

Со вздохом облегчения президент опустился в кресло.

— А я думал, вы динамитчик, — сказал он. — Минутку... Техас? Техас?

Он направился к большой настенной карте Соединенных Штатов, ткнул указательным пальцем примерно в Айдахо, зигзагом повел палец все ниже и, наконец, нерешительно остановил его на Техасе.

— Ага, вот он! У меня столько дел, что иной раз я забываю самые простые вещи. Погодите-ка... Техас? А, да! Это тот штат, где Айда Узле и орава цветных линчевали какого-то социалиста по фамилии Хогг за то, что он безобразничал на молитвенном собрании. Так значит, вы из Техаса. Я знавал одного человека из Техаса. Дэйв Калберсон — так, кажется, его звали. Ну, как там Дэйв? И его семейство? А детишки у Дэйва есть?

— Его парнишка в Остине работает, — сказал я. — Возле Капитолия.

— А кто сейчас президент Техаса?

— Я не вполне...

— Ах, простите! Опять забыл. Мне казалось, я что-то слышал о том, что его вновь объявили самостоятельной республикой.

— А теперь, мистер Кливленд, — сказал я, — не ответите ли вы мне на кое-какие вопросы?

Глаза президента подернулись какой-то странной пленкой.

Он выпрямился в кресле, как механическая кукла.

— Приступайте, — сказал он.

— Что вы думаете о политическом будущем нашей страны?

— Я хотел бы заявить, что политическая необходимость требует чрезвычайной безотлагательности, и хотя Соеди-

ненные Штаты в теории связаны нерасторжимо и в принципе делимы и не едины, измена и внутривластные раздоры подорвали единообразие патриотизма и...

— Минуточку, мистер президент, — перебил я. — Будьте добры, смените валик, а? Если бы мне нужны были прописи, я бы мог получить их от “Америкэн ассошиэйтед пресс”. Носите ли вы теплое белье? Ваш любимый поэт, приправа, минерал, цветок, а также чем вы предполагаете заняться, когда останетесь без работы?

— Молодой человек! — строго произнес мистер Кливленд. — Вы себе много позволяете! Моя частная жизнь широкой публики не касается.

Я извинился, и к нему не замедлило вернуться хорошее настроение.

— В сенаторе Миллсе вы, техасцы, имеете замечательного представителя, — сказал он. — Честное слово, я не слышал более блестящих речей, чем его обращения к сенату с призывом отменить тариф на соль и повысить его на хлористый натрий.

— Том Окилтри тоже из нашего штата, — сказал я.

— Не может быть. Вы ошибаетесь, — ответил мистер Кливленд. — Ведь он сам как раз это и утверждает. Нет, мне следует все-таки побывать в Техасе и поглядеть своими глазами, что это за штат и такого ли он цвета, каким его изображают на карте, или нет.

— Ну, мне пора, — сказал я.

— Когда вернетесь в Техас, — сказал президент, вставая, — обязательно пишите мне. Ваш визит пробудил во мне живейший интерес к вашему штату, — до сих пор, боюсь, я не уделял ему того внимания, которого он заслуживает. Благодаря вам в моей памяти воскресли всякие исторические и по-иному любопытные места: Аламо, где пал Дэйви Джонс, Голиад, Сэм Хьюстон, сдающийся Монтесуме, окаменелый бум, обнаруженный в окрестностях Остина, хлопок по пять центов и сиамская демократическая платформа, родившаяся в Далласе. Я бы с удовольствием посмотрел, чем обилен

Абилин, и полюбовался на девушек Деверса<sup>1</sup>. Рад был познакомиться с вами. Когда выйдете в вестибюль, сверните налево, а дальше идите все прямо и прямо.

Я отвесил низкий поклон, давая понять, что интервью окончено, и тотчас удалился. Очутившись снаружи, я без всяких затруднений покинул здание.

Затем я отправился на поиски такого заведения, где подают съестное, которое не значится в списке товаров, облагаемых пошлиной.

Описывать свое возвращение в Остин я не буду. Я потерял мой круговой билет где-то в недрах Белого дома и был вынужден избрать способ возвращения, несколько утомительный для моих башмаков. Когда я покидал Вашингтон, там все были здоровы и просили кланяться.

Из сборника  
“ОСТАТКИ”

1913

1 Эта часть речи президента представляет собой беспорядочную смесь собственных имен, географических названий и намеков на события, так или иначе связанные с Техасом.

## По кругу

Ну, как рубашка, Сэм? В порядке? — спросила миссис Уэбер, не вставая с качалки, в которой с удобством расположилась под виргинским дубом, прихватив с собою, чтобы не скучать, дешевую книжечку в бумажной обложке.

— Еще бы, Марта, — подозрительно кротким голосом отозвался Сэм. — Красота, до чего все подогнано — одно к одному. Я сперва наладился пошуметь, поскандалить, что, мол, пуговиц нет ни одной, а потом вижу — петли тоже все до единой разодраны, значит, расстраиваться из-за пуговиц нет смысла.

— Ничего, — сказала его супруга. — Повяжешь галстук, будет держать не хуже пуговиц.

Овцеводческая ферма Сэма Уэбера находилась в самом глухом и безлюдном углу, какой только есть на всем между речью от Нуэсес до Фрио. Фермерский дом — коробочка о двух комнатах — стоял на пологом пригорке, густо поросшем высокими кустами чапарала. Перед домом была небольшая прогалина, на которой разместились овчарни, навес для стрижки овец и сарай для хранения шерсти. За домом почти сразу начиналась колючая непролазная чащоба.

Сэм снаряжался в дорогу на ферму Чапмена, где задумал подкупить себе несколько породистых баранов-мериносов.

Наконец сборы были закончены. Поездка предстояла деловая и достаточно важная, а ферма Чапмена как по размерам, так и по числу жителей могла потягаться с иным захолустным городком, и Сэм решил, что по такому случаю нелишне будет принарядиться. В итоге живописный, не лишенный своеобразного изящества первопоселенец преобразился в нечто куда менее ласкающее глаз. Тесный белый воротничок неловко врезался в крепкую, медную от загара шею. Под не застегнутым жилетом круглыми волнами дыбились не застегивающаяся рубашка. Мешковатый костюм из “готовых” надежно скрывал красивые очертания ладной и статной фигуры. На орехово-смуглом лице застыла скорбная важность, одинаково подходящая любому узнику, будь он закован в кандалы или в парадную одежду. Он мимоходом взъерошил волосы своему трехлетнему сынишке Рэнди и поспешил во двор, где его дожидался любимый верховой жеребец по кличке Мехико.

Марта, мерно покачиваясь взад-вперед, придержала пальцем слово, на котором остановилась, повернула голову и с лукавой усмешкой оглядела плоды разрушений, которые Сэм произвел в своей внешности, пока пытался привести себя, что называется, в приличный вид.

— Знаешь, Сэм, — протянула она, — уж не сердись на меня, но ты сейчас — вылитый пентюх, каких рисуют в газетах для смеха. И не подумай, что свободный и независимый овцевод штата Техас.

Сэм неуклюже взгромоздился в седло.

— Постыдилась бы говорить такие слова, — отозвался он с горькой обидой. — Уткнется носом в окаянную книжонку и сидит по целым дням, читает всякую дребедень, нет чтобы мужу починить рубашку.

— Ах, да замолчи и езжай себе, — сказала миссис Уэбер, резче налегая локтями на ручки качалки. — Вечно ты ворчишь из-за моих книжек. Сколько хочу, столько и читаю — я, слава богу, и работаю не покладая рук. Живешь в этой глухомани, как крот в норе, ничего не видишь, не слышишь, так чем же еще себя развлечь? Неужели лучше слу-

шать, как ты ноешь да сетуешь с утра до ночи? Нет уж, Сэм, поезжай, сделай милость, и оставь меня в покое.

Сэм стиснул коленями бока лошади и припустил по просеке, ведущей от фермы на большую дорогу, старый почтовый тракт. Было восемь утра, но уже вовсю палило солнце. По-настоящему полагалось бы выехать часа на три пораньше. До фермы Чапмена ехать было всего восемнадцать миль, но из них только три — по дороге. Ему уже как-то раз довелось проделать этот путь с одним ковбоем, и он четко представлял себе, куда держать.

У расколотого грозой мескитового дерева Сэм свернул с большака и двинулся вдоль пересохшего ручья Кинтанилья. Неширокая светлая долина стлалась под ноги коню пышным ковром зеленых кудрявых трав, и Мехико прошел эти несколько миль играючи, резвым, размашистым галопом. Но вот показалось Утиное озеро, откуда путь лежал по бездорожью. Теперь Сэм повернул вправо и стал подниматься по отлогому косогору, усеянному галькой; здесь не росло ничего, кроме цепких колючих опунций и чапаралья. Наверху он приостановился, чтобы последний раз окинуть взглядом окрестности, потому что теперь ему предстояло продираться сквозь густые заросли чапаралья, опунций, мескита, где большей частью уже за двадцать шагов ничего кругом не разглядеть, и лишь природное чутье да случайная путевая примета — вершина бугра, мелькнувшая в отдаленье, причудливая группа деревьев или положение солнца — помогают местному жителю угадывать дорогу.

Сэм спустился по покатоному склону и нырнул в гущу опунций, буйно разросшихся по обширной низине от Кинтанильи до Пьедры.

Часа через два он обнаружил, что заблудился. В смятении он, как обычно бывает в подобных случаях, хотел только одного — поскорее выбраться, неважно куда. Мехико старался, как мог, рьяно пробираясь по извилистым лабиринтам через густые дебри. Конь мгновенно понял, когда хозяин сбился с пути. Ни единого холмика не было теперь, чтобы подняться и оглядеться по сторонам. Те, что все-та-

ки попадались им изредка, сплошь оплела колючая поросль, сквозь которую не пролезть даже кролику. Дремучие, необитаемые пойменные заросли Фрио проглотили всадника и коня.

Для овцевода или ковбоя сбиться с пути и поплутать день, а то и сутки — не ахти какое событие. Такое происходит сплошь да рядом. Ну, не поешь разок-другой вовремя, зато сладко выспишься на мягком травяном ложе, укрывшись попоной. Но тут был особый случай. Ни разу еще Сэм не отлучался со своей фермы на ночь. Слишком многое в здешней местности вызывало страх у Марты — она боялась мексиканцев, змей, ягуаров, даже овец. Потому-то он никогда не оставлял ее одну.

Муки совести у Сэма начались часа, наверно, в четыре пополудни. Мокрый как мышь, он обмяк в седле, изнуренный не столько жарой и усталостью, сколько тревогой. До сих пор он все надеялся напасть на тропу, которая вывела бы его к переправе через Фрио и к ферме Чапмена. Должно быть, он пересек ее, полузаглохшую, не заметив, и проехал дальше. Если так, то он теперь был миль за пятьдесят от дома. Выехать бы к какой-нибудь ферме — пастушьему становищу — все равно куда, лишь бы получить свежего коня, спросить дорогу, а там хоть всю ночь скакать, но добраться до Марты и малыша.

Словом, как я уже дал понять, Сэма одолевали угрызения совести. Он вспомнил, какие злые слова сказал жене на прощанье, и ком встал у него в горле. И без того ей, бедняжке, несладко жить в такой дыре, так еще приходится терпеть дурное обращение. Он ругал себя последними словами, и, как он ни был распарен летним зноем, его все-таки бросило в жар при мысли о том, сколько раз он колот и корил ее за то, что она любит читать книжки.

— Бедная девочка, ведь нет у нее другой утехи, — вслух сказал Сэм и всхлипнул, и Мехико даже шарахнулся в сторону от непривычного звука. — Живет с тобой, паршивый ты брюзга, подлец бессовестный, — отодрать бы тебя, шакала, кнутом, чтобы дух вон, — и готовит, и стирает, и не ви-

дит ничего, одну баранину да бобы, а тебе жалко, если она когда в книжку заглянет!

Тут ему представилось, какая Марта была, когда он первый раз повстречал ее в Догтауне, — нарядная, хорошенькая, бойкая — розы у нее на щеках еще побурели от солнца, безмолвие прерий не придавило ее к земле.

— Пускай меня первая дикая кошка разорвет в клочья, если я ей когда еще в жизни скажу обидное слово, — бормотал Сэм себе под нос. — Или чего недодам моей девочке по части любви и ласки, что ей законно причитается.

Теперь он знал, что делать. Он напишет в Сан-Антонио, чтобы через фирму "Гарсия и Джоунз", которая покупает у него шерсть и снабжает его всем необходимым, ему прислали для Марты ящик книг — романы и все такое. Теперь у них жизнь пойдет иначе. Интересно, поместится у них в доме маленькое пианино? Или им тогда всем придется спать на улице?..

Отнюдь не помогала унять голос совести и та мысль, что Марта с мальчиком будут вынуждены провести эту ночь одни. Обыкновенно, как бы они с женой ни грызлись, но, когда наступала ночь, Марта с довольным и доверчивым вздохом безмятежно клала голову на сильную руку Сэма и забывала дневные страхи. А разве они были столь уж неосновательны? Сэму вспомнилось, сколько шастает по округе разбойников-мексиканцев, как часто бывает, что иную ферму повадится навещать пума, вспомнились гремучие змеи, сороконожки — да мало ли еще опасностей! Марта просто голову потеряет от страха. Рэнди будет реветь и требовать, чтобы пришел папа.

По-прежнему нескончаемой чередой сменяли друг друга кустарники, заросли кактусов, мескитовые рощи. Лощина за лощиной, откос за откосом — все похожие как две капли воды, примелькавшиеся после бесчисленных повторений и все-таки незнакомые, чужие. Ох, уж приехать бы хоть куда-нибудь!

Прямая линия противна Природе. В Природе все движется кругами. Прямолинейный человек — явление куда бо-

лее противоестественное, нежели дипломат. Люди, заблудившиеся в снегу, ходят и ходят точно по кругу, как о том свидетельствуют их следы, пока не свалятся в изнеможении. Равно и те, кто забредет в дебри философии или иных умствований, нередко приходят обратно к исходной точке.

Как раз когда Сэм в пылу раскаяния и благих побуждений достиг наивысшего предела, Мехико тяжело вздохнул и перешел с обычной для него бодрой рыси на неторопливый и размеренный шаг. Перед ними полого поднимался склон, поросший кустарником футов в десять-двенадцать высоты.

— Эй, друг, так нельзя, — усомнился жеребца Сэм. — Знаю, что ты умаялся, но надо же нам ехать дальше. Вот чертовщина, да куда же подевалось все на свете людское жильё! — И он с досадой пришпорил Мехико.

Мехико недовольно всхрапнул, как бы говоря: “Чего ради такие крайности, когда осталось всего ничего”, но все же смирился и затрусил мелкой рысцой. Они обогнули большую купу чапарала, и конь стал как вкопанный. Сэм выронил из рук поводья, да так и застыл в седле, глядя на заднее крыльцо собственного дома, до которого оставалось каких-нибудь десять шагов.

В холодке как ни в чем не бывало расположилась в качалке Марта, с удобством опершись ногами на ступеньку крыльца. Рэнди сидел на земле и возился с игрушкой — парой шпор. На секунду он оторвался от них, взглянул на отца и опять, мурлыча что-то, принялся крутить колесики. Марта, не поднимая головы со спинки кресла, лениво обратила на всадника и коня невозмутимый взор. Она держала на коленях книгу и придерживала пальцем слово, на котором остановилась.

Сэм встряхнулся с каким-то странным ощущением, как будто очнулся от забытья, и медленно спешился. Он облизнул пересохшие губы.

— А ты, я вижу, все сидишь, — сказал он. — Уткнулась носом в окаянную книжонку и читаешь всякую дребедень.

Он совершил полный круг и снова стал самим собой.

## ВОРОБЬИ НА МЭДИСОН-СКВЕРЕ

Молодому человеку в стесненных обстоятельствах, если он приехал в Нью-Йорк, чтобы стать писателем, и притом заранее тщательно изучил поле боя, требуется сделать только одно. Надо напрямик отправиться на Мэдисон-сквер, написать очерк о здешних воробьях и за пятнадцать долларов продать его редакции “Сан”.

Я не могу припомнить ни единого романа или рассказа на ходкую тему — о молодом литераторе из провинции, приехавшем в великий город завоевать пером богатство и славу, в которых герой не начал бы именно с этого. Даже странно, почему какой-нибудь автор в поисках сверхоригинального сюжета не додумался заставить героя описать синиц на Юнион-сквере и продать свое произведение “Геральду”. Но комплекты нью-йоркских журналов неоспоримо свидетельствуют в пользу воробьев и зеленого островка на старой площади, и чек всегда выписывает “Сан”.

Разумеется, нетрудно понять, почему первая дерзкая попытка начинающего автора всегда увенчивается успехом. Его подстегивает необходимость сделать сверхчеловеческое усилие; в огромном грохочущем городе, среди железа, камня и мрамора, он отыскал уголок, где зеленеют трава и деревья и щебечут птицы; все чувствительные струны его души трепещут в сладостной тоске по родным местам; быть может, никогда больше в нем не пробудится с такой силой творческий гений; птички поют, колышутся ветви деревьев, забыт грохот колес; он пишет, вкладывая в строчки всю душу... и продает свое творение в “Сан” за пятнадцать долларов.

Многие годы читал я про этот обычай, прежде чем приехал в Нью-Йорк. Когда друзья, пуская в ход самые убедительные доводы, пытались отговорить меня от поездки, я лишь безмятежно улыбался. Они не знали, что в запасе у меня фокус с воробьями.

Когда я приехал в Нью-Йорк и трамвай повез меня от паромы по Двадцать третьей улице напрямик к Мэдисон-скверу, я уже слышал, как этот чек на пятнадцать долларов шуршит у меня в кармане.

Я остановился в каком-то скромном пансиончике и на другое утро, в час, когда едва просыпаются воробьи, уже сидел на скамье в Мэдисон-сквере. Мелодичное воробьиное чириканье, приветливая весенняя листва величавых деревьев и свежая душистая трава с такой силой напомнили мне старую ферму, которую я покинул, что на глаза мои чуть не навернулись слезы. И тотчас меня посетило вдохновение. Смелые звонкие голоса этих веселых пичужек словно задавали тон чудесной, светлой, причудливой песне надежды, радости и любви к ближнему. Сердца этих крохотных созданий, как и мое сердце, звучали в лад лесам и полям; как и я, они, по воле случая, оказались пленниками сумрачного шумного города — но как же весело, с каким изяществом они переносят неволю!

А потом появились люди, те, кто спозаранку идет на работу, — хмурые, угрюмые парни проходили мимо, бросая на меня косые взгляды, и все торопились, торопились, торопились. И я отчетливо уловил в птичьей песенке свою тему и преобразил ее в притчу и в стихи, в праздничную пляску и в колыбельную песню, а потом перевел все это в прозу и принялся писать.

Два часа кряду карандаш мой без роздыха бегал по листкам блокнота. Потом я пошел в комнатку, которую снял на два дня, сократил написанное вдвое и свеженькое, с пылу с жару отослал почтой в “Сан”.

Назавтра я поднялся чуть свет и потратил два цента из своих капиталов на газету. Если и было в ней слово “воробей”, мне не удалось его отыскать.

Я вернулся с газетой в номер, разостлал ее на кровати и просмотрел всю, столбец за столбцом. Где-то произошла осечка.

Три часа спустя почтальон принес мне большой конверт, в котором находились моя рукопись и листок дешевой бума-

ги размером примерно три дюйма на четыре — наверно, кое-кому из вас случалось видеть такие листки, на которых лиловыми чернилами было написано: “Редакция “Сан” возвращает с благодарностью”.

Я пошел все в тот же сквер и сел на скамью. Нет, в это утро я не счел нужным позавтракать. Несносные воробьи своим дурацким чириканьем совсем испакостили сквер. В жизни не видал таких неумолчно крикливых, нахальных и противных птиц.

Согласно всем традициям, сейчас я должен был стоять в кабинете редактора “Сан”. Сей почтенный деятель — высокий, серьезный, седовласый — должен бы стиснуть мою руку, протереть стекла подозрительно увлажнившихся очков и потряхнуть серебряным колокольчиком.

— Мистер Макчесни, — должен бы он сказать появившемуся в дверях подчиненному, — познакомьтесь, этот молодой человек — мистер Генри, тот самый, что прислал нам такую прелестную жемчужину о воробьях на Мэдисон-сквере. Сейчас же зачислите его в штат. Для начала, сэр, вы будете получать восемьдесят долларов в неделю.

Вот чего я ждал, доверяясь всем авторам, которые воспевали литературный Нью-Йорк.

Да, традиция почему-то дала осечку. За собою я никакой вины не знал, — стало быть, во всем виноваты воробьи. Я уже начал страстно, неукротимо их ненавидеть.

В эту минуту рядом со мной осторожно уселся некто, давным-давно не бритый и не стриженный, в какой-то жеваной шляпе и с премерзкой физиономией.

— Послушай, Вилли, — вкрадчиво забормотал он, — ты не выдашь мне гривенник из своих сундуков? Я бы выпил чашку кофе.

— Я и сам оскудел, приятель, — отвечал я. — От силы могу дать три цента.

— А поглядеть — джентльмен, — сказал он. — Что же это тебя разорило — выпивка?

— Птички, — свирепо ответил я. — Певуны с коричневым горлышком, которые среди городской пыли и шума распе-

вают над ухом усталого труженика про бодрость и надежду. Маленькие пернатые посланцы полей и лесов, нежно чирикающие нам про голубые небеса и цветущие луга. Несносные хитрые надоеды, которые верещат, точно целая стая фисгармоний, и наедаются до отвала букашками и семенами, когда человек сидит тут без завтрака. Да, сэр, птички! Вот, полюбуйтесь-ка на них! — С этими словами я подобрал валявшийся подле скамейки сук и изо всей силы швырнул его в сборище воробьев на лужайке. С пронзительным писком стая взлетела на дерево, но двое остались лежать в траве.

Мой малопривлекательный сосед мигом перепрыгнул через скамьи, подхватил трепыхающиеся жертвы, поспешно засунул в карман. Потом поманил меня грязным пальцем.

— Пошли, друг, — прохрипел он. — Будет тебе кормежка.

Я покорно последовал за моим сомнительным знакомцем.

Он вывел меня из садика на какую-то боковую улочку, потом через щель в заборе — на пустырь, где когда-то были какие-то ямы. За грудой камней и строительного хлама он остановился и вытащил воробьев из кармана.

— Спички у меня есть, — сказал он. — Найдется у тебя бумажка разжечь огонь?

Я достал рукопись моего рассказа о воробьях и предложил ее для жертвенного костра. Под ногами у нас валялись обломки досок, щепки, стручки. Откуда-то из недр своего потрепанного одеяния мой замызганный приятель извлек полбулки, перец и соль.

Через десять минут мы держали над пляшущим огнем по насаженному на палочку воробью.

— А что, — сказал мой сотрапезник, — не так уж и плохо на голодный-то желудок. Вот, помню, когда я только попал в Нью-Йорк... тому уж лет пятнадцать... Приехал я с Запада, думал подыскать себе работу в газете. Пошел я в первое утро в садик на Мэдисон-сквере и уселся на скамейку. Гляжу — воробьи чирикают, трава зеленая и деревья, и так это славно, будто я опять дома, в наших краях. Вытащил из кармана бумагу и...

— Знаю, — перебил я. — Отослал в “Сан” и получил за это дело пятнадцать долларов.

— Слушай, — подозрительно сказал мой приятель, — ты что-то больно много знаешь. Где ты был? Я там заснул на скамье, на солнышке, и кто-то вытащил у меня деньги, все пятнадцать долларов до последнего цента.

## ИСПОВЕДЬ ЮМОРИСТА

Инкубационный период длился, не причиняя мне беспокойства, двадцать пять лет, а затем появилась сыпь, и окружающие поставили диагноз.

Только они назвали болезнь не корью, а чувством юмора. Когда старшему компаньону фирмы исполнилось пятьдесят лет, мы, служащие, преподнесли ему серебряную чернильницу.

Церемония эта происходила в его кабинете. Произнести поздравительную речь было поручено мне, и я старательно готовил ее целую неделю.

Моя коротенькая речь произвела фурор. Она была пересыпана веселыми намеками, остротами и каламбурами, которые имели бешеный успех.

Сам старик Марлоу — глава солидного торгового дома “Оптовая продажа посудных и скобяных товаров” — снизошел до улыбки, а служащие, прочтя в этой улыбке поощрение, хохотали до упаду.

Вот с этого-то утра за мною и утвердилась репутация юмориста. Сослуживцы неустанно раздували пламя моего сомнения. Один за другим они подходили к моей конторке, уверяли, что я произнес замечательную речь, и прилежно растолковывали мне, чем именно была смешна каждая из моих шуток.

Выяснилось, что я должен продолжать в том же духе. Другим разрешалось вести нормальные разговоры о делах и о погоде, от меня же по всякому поводу ожидали замечаний игривых и легкомысленных.



Мне полагалось сочинять эпиграммы на глиняные миски, и зубоскалить по поводу эмалированных кастрюль. Я занимал должность младшего бухгалтера, и товарищи мои бывали разочарованы, если я не обнаруживал повода для смеха в подсчитанной мною колонке цифр или в накладной на плуги.

Постепенно слава обо мне разнеслась, и я стал “фигурой”. Наш городок был для этого достаточно мал. Меня цитировали в местной газете. Без меня не обходилось ни одно сборище.

Я, очевидно, и в самом деле был от природы наделен некоторой долей остроумия и находчивости. Эти свойства я развивал постоянной тренировкой. Шутки мои, надо сказать, носили безобидный характер, в них не было язвительности, они не ранили. Еще издали завидев меня, встречные начинали улыбаться, а к тому времени, когда мы сходились, у меня обычно была готова фраза, от которой улыбка их разрешалась смехом.

Женился я рано. У нас был прелестный сынишка трех лет и пятилетняя дочка. Мы, конечно, жили в домике, уютном плющом, и были счастливы. Мое бухгалтерское жалование гарантировало нас от зол, сопряженных с чрезмерным богатством.

Время от времени я записывал какую-нибудь свою шутку или выдумку, показавшуюся мне особенно удачной, и посылал в один из тех журналов, что печатают такую чепуху. Не было случая, чтобы ее не приняли. От некоторых редакторов поступили просьбы и дальше снабжать их материалом.

Однажды я получил письмо от редактора известного еженедельника. Он просил прислать ему какую-нибудь юмористическую вещичку на целый столбец и давал понять, что, если она подойдет, он будет печатать такой столбец из номера в номер. Я послал, и через две недели он предложил мне годовой контракт и гонорар, значительно превышавший то жалование, которое платила мне скобяная фирма.

Я был вне себя от радости. Жена мысленно уже венчала меня неувядающими лаврами литературного успеха. На ужин мы закатали крокеты из омаров и бутылку черносмо-

родинной наливки. Освобождение от бухгалтерской ляжки — об этом стоило подумать! Мы с Луизой очень серьезно обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что мне следует отказаться от места и посвятить себя юмору.

Я бросил службу в торговом доме. Сослуживцы устроили мне прощальный обед. Моя речь была сплошным фейерверком. Местная газета напечатала ее — от первого до последнего слова. На следующее утро я проснулся и посмотрел на часы.

— Проспал! — воскликнул я в ужасе и кинулся одеваться. Луиза напомнила мне, что я уже не раб скобяных изделий и подрядов на поставку. Отныне я — профессиональный юморист.

После завтрака она гордо ввела меня в крошечную комнату за кухней. Милая Луиза! Оказывается, мне уже был приготовлен стол и стул, блокнот, чернила и пепельница, а также все остальное, что полагается настоящему писателю: вазочка с только что срезанными розами и жимолостью, прошлогодний календарь на стене, словарь и пакетик шоколадных конфет — лакомиться в промежутках между приступами вдохновения. Милая Луиза!

Я засел за работу. Обои в моем кабинете были расписаны арабесками... или одалисками, а может быть, трапецоидами. Упершись взглядом в одну из этих фигур, я сосредоточил свои мысли на юморе.

Я вздрогнул, — кто-то окликнул меня.

— Если ты не очень занят, милый, — сказал голос Луизы, — иди обедать.

Я взглянул на часы. Да, страшная старуха с косою уже забрала себе пять часов моей жизни. Я пошел обедать.

— Не надо тебе переутомляться, — сказала Луиза. — Гете — или кто это, Наполеон? — говорил, что для умственной работы пять часов в день вполне достаточно. Хорошо бы нам после обеда сходить с ребятами в лес.

— Да, я немножко устал, — признался я. И мы пошли в лес. Но скоро я втянулся. Через месяц я уже сбывал рукописи без задержки, как партии скобяных товаров.

Я познал успех. О моих фельетонах в еженедельнике говорили. Критики снизошли до утверждения, что я внес в юмористику новую, свежую струю. Для приумножения своих доходов я посылал кое-что и в другие журналы.

Я совершенствовал свою технику. Забавная выдумка, воплощенная в двух стихотворных строках, приносила мне доллар. Я мог приклеить ей бороду и подать ее в холодном виде как четверостишие, тогда ее ценность возрастала вдвое. А перелицевать юбку да прибавить оборочку из рифм — и ее не узнаешь: это уже салонные стишки с иллюстрацией из модного журнала.

Я стал откладывать деньги, мы купили два ковра и фисгармонию. В глазах соседей я был уже не просто балагур и остряк, как в дни моего бухгалтерства, а гражданин с некоторым весом.

Месяцев через пять или шесть мой юмор стал утрачивать свою непосредственность. Шутки и остроты уже не слетали у меня с языка сами собой. Порой мне не хватало материала. Я ловил себя на том, что прислушиваюсь — не мелькнет ли что-нибудь подходящее в разговорах моих друзей. Иногда я часами грыз карандаш и разглядывал обои, силясь создать веселенький экспромт.

А потом я превратился в гарпию, в Молоха, в вампира, в злого гения всех своих знакомых. Усталый, издерганный, алчный, я отравлял им жизнь. Стоило мне услышать острое словцо, удачное сравнение, изящный парадокс, и я бросался на него, как собака на кость. Я не доверял своей памяти: виновато отвернувшись, я украдкой записывал его впрок на манжете или в книжечку, с которой никогда не расставался.

Знакомые дивились на меня и огорчались. Я совсем изменился. Раньше я веселил и развлекал их, теперь я сосал их кровь. Тщетно они стали бы дожидаться от меня шуток. Шутки были слишком драгоценны, я берег их для себя. Транжирить свои средства к существованию было бы непозволительной роскошью. Как мрачная лисица, я расхваливал пение моих друзей-ворон, домогаясь, чтобы они выростили из клюва кусочек остроумия. Люди стали избегать

моего общества. Я научился улыбаться — даже этой цены я не платил за слова, которые беззастенчиво присваивал. В поисках материала я грабил без разбора, мне годился любой человек, любой сюжет, любое время и место. Даже в церкви мое развращенное воображение рыскало среди величественных колонн и приделов, вынюхивая добычу.

Едва священник объявлял “славословие великое”, как я начинал комбинировать: “Славословие-пустословие — предисловие — великое — лик ее...”

Всю проповедь я процеживал как сквозь сито, не обращая внимания на утекавший смысл, жадно ища хоть зернышка для каламбура или *bon mot*<sup>1</sup>. Самый торжественный хорал только служил аккомпанементом к моим думам о том, какие новые варианты можно выжать из комической ситуации: бас влюблен в сопрано, а сопрано — в тенора.

Я охотился и в собственном доме. Жена моя — на редкость женственное создание, доброе, простодушное и экспансивное. Прежде разговаривать с нею было для меня наслаждением, каждая ее мысль доставляла мне радость. Теперь я эксплуатировал ее, как золотой прииск, старательно выбирая из ее речи крупинки смешной, но милой непосредственности, отличающей женский ум.

Я стал сбывать на рынок эти перлы забавной наивности, предназначенные блистать лишь у священного домашнего очага. С сатанинским коварством я вызывал жену на разговоры. Не подозревая худого, она открывала мне душу. А я выставлял ее душу для всеобщего обозрения на холодной, кричащей, пошлой печатной странице.

Иуда от литературы, я предавал Луизу поцелуем. За жалкие сребреники я напяливал шутовской наряд на чувства, которые она мне поверяла, и посылал их плясать на рыночной площади.

Милая Луиза! По ночам я склонялся над ней, как волк над ягненком, прислушиваясь, не заговорит ли она во сне, ловя каждое слово, которое я мог назавтра пустить в оборотку. И это еще не самое худшее.

1 Меткого, остроумного слова (фр.).

Да простит меня бог! Я вонзил когти в невинный лепет моих малолетних детей.

Гай и Виола являли собой два неиссякаемых источника уморительных детских фантазий и словечек. Это был ходкий товар, и я регулярно поставлял его одному журналу для отдела "Чего только не выдумают дети".

Я стал выслеживать сына и дочь, как индеец — антилопу. Чтобы подслушать их болтовню, я прятался за дверьми и диванами или в садике переползал на четвереньках от куста к кусту.

Единственным моим отличием от гарпии было то, что меня не терзало раскаяние.

Однажды, когда в голове у меня не было ни единой мысли, а рукопись надо было отослать с ближайшей почтой, я зарылся в кучу сухих листьев в саду, зная, что дети придут сюда играть. Я отказываюсь верить, что Гай сделал это с умыслом, но даже если так, не мне осуждать его за то, что он поджег листья и тем погубил мой новый костюм и чуть не кремировал заживо родного отца.

Скоро мои дети стали бегать от меня как от чумы. Нередко, подбираясь к ним подобно хищному зверю, я слышал, как один говорил другому "Вон идет папа", — и, подхватив игрушки, они взапуски мчались в какое-нибудь безопасное место. Вот как низко я пал!

Финансовые мои дела между тем шли неплохо. За год я положил в банк тысячу долларов, и прожили мы этот год безбедно.

Но какой ценой мне это далось! Я не знаю в точности, что такое пария, но, кажется, это именно то, чем я стал. У меня не было больше ни друзей, ни утех, все мне опостылело. Я принес на алтарь Маммоны счастье моей семьи. Как стяжательница-пчела, я собирал мед из прекраснейших цветов жизни, и все сторонились меня, опасаясь моего жала.

Как-то раз знакомый человек окликнул меня с приветливой улыбкой. Уже много месяцев со мной не случилось ничего подобного. Я проходил мимо похоронного бюро Питера Гейфельбауэра. Питер стоял в дверях и поздоровался

со мной. Я остановился, до глубины души взволнованный его приветствием. Он пригласил меня зайти.

День был холодный, дождливый. Мы прошли в заднюю комнату, где топилась печка. К Питеру пришел клиент, и он ненадолго оставил меня одного. И тут я испытал давно забытое чувство — чувство блаженного отдохновения и мира. Я огляделся. Меня окружали ряды гробов полированного палисандрового дерева, черные покровы, кисти, плюмажи, полосы траурного крепа и прочие атрибуты похоронного ремесла. Это было царство порядка и тишины, серьезных и возвышенных раздумий. Это был уголок на краю жизни, овеянный духом вечного покоя.

Войдя сюда, я оставил за дверью суетные мирские заботы. Я не испытывал желания найти в этой благолепной, чинной обстановке пищу для юмора. Ум мой словно растянулся, отдыхая, на черном ложе, задрапированном кроткими мыслями.

Четверть часа тому назад я был развратным юмористом. Теперь я был философом, безмятежно предающимся созерцанию. Я обрел убежище от юмора, от бесконечной, изматывающей, унижительной погони за быстрой шуткой, за ускользящей остротой, за увертливой репликой.

С Гейфельбауэром я не был близко знаком. Когда он вернулся, я заговорил с ним, втайне страшась, как бы он не прозвучал фальшивой нотой в упоительной погребальной гармонии своего заведения.

Но нет. Гармония не была нарушена. У меня вырвался долгий вздох облегчения. Никогда еще я не слышал, чтобы человек говорил так безукоризненно скучно, как Питер. По сравнению с его речью Мертвое море показалось бы гейзером. Ни единый проблеск остроумия не осквернял ее. Из уст Питера сыпались общие места, обильные и пресные, как черная смородина, не более волнующие, чем прошлогодние биржевые котировки. Не без трепета я испытал на нем одну из своих самых отточенных шуток. Она упала наземь со сломанным наконечником, даже не оцарапав его. С этой минуты я полюбил Питера всем сердцем.

Я стал навещать его по вечерам два-три раза в неделю и отводить душу в его комнате за магазином. Других радостей у меня не было. Я вставал рано, мне не терпелось закончить с работой, чтобы можно было подольше пробыть в моей тихой пристани. Только здесь я избавлялся от привычки искать поводов для смеха во всем, что видел и слышал. Впрочем, разговоры с Питером все равно не дали бы мне в этом смысле ровно ничего.

В результате настроение у меня улучшилось. Ведь я имел теперь то, что необходимо каждому человеку, — часы отдыха после тяжелой работы. Встретив как-то на улице старого знакомого, я удивил его мимолетной улыбкой и шутивым приветствием. Несколько раз я привел в крайнее изумление своих домашних — в их присутствии разрешил себе сказать что-то смешное.

Демон юмора владел мною так долго, что теперь я упивался свободным временем, как школьник на каникулах.

Это скверно отразилось на моей работе. Она перестала быть для меня тяжким бременем. Я часто насвистывал, с пером в руке, и писал небрежнее, чем раньше. Я старался поскорее развязаться с рукописью, меня тянуло в мое пристанище, как пьяницу в кабаки.

Жена моя провела немало тревожных часов, теряясь в догадках, где это я пропадаю по вечерам. А мне не хотелось ей рассказывать — женщины таких вещей не понимают. Бедная девочка! Один раз она не на шутку перепугалась.

Я принес домой серебряную ручку от гроба для пресс-папье и чудесный пушистый плюмажик — смахивать пыль.

Мне было приятно видеть их у себя на столе и вспоминать уютную комнату за магазином Геффельбауэра. Но они попались на глаза Луизе, и она завизжала от ужаса. Чтобы успокоить ее, пришлось сочинить какую-то басню о том, как они ко мне попали, но по глазам ее я видел, что ее подозрения еще не скоро улягутся. Зато плюмаж и ручку от гроба пришлось убрать не медля.

Однажды Питер Геффельбауэр сделал мне увлекательнейшее предложение. Методично и разумно, как было ему

свойственно, он показал мне свои книги и объяснил, что и клиентура его и доходы быстро растут. Он надумал пригласить компаньона, который внес бы в дело свой пай. Больше всего ему хочется, чтобы этим компаньоном был я. Когда я в тот вечер вышел на улицу, у Питера остался мой чек на тысячу долларов, что лежали у меня в банке, а я был совладельцем его похоронного бюро.

Я шел домой, и к бурной радости, бушевавшей у меня в груди, примешивались кой-какие сомнения. Меня страшил разговор с женой. И все же я летел, как на крыльях. Поставить крест на юмористике, снова вкусить сладких плодов жизни, вместо того чтобы выжимать их ради нескольких капель хмельного сидра, долженствующего вызвать смех читателей, — какое это будет блаженство!

За ужином Луиза дала мне несколько писем, которые пришли, пока меня не было дома. Среди них оказалось три-четыре конверта с не принятыми рукописями. С тех пор как я стал бывать у Геффельбауэра, эти неприятные послания приходили все чаще. В последнее время я строчил свои стишки и заметки с необыкновенной легкостью. Раньше я трудился над ними, как каменщик, — тяжело, с натугой.

Затем я распечатал письмо от редактора того еженедельника, с которым у меня был заключен контракт. Чеки, регулярно поступавшие из этого журнала, до сих пор составляли наш основной доход. Письмо гласило:

“Дорогой сэръ!

Как Вам известно, срок нашего годового контракта истекает в конце этого месяца. С сожалением должны Вам сообщить, что мы не собираемся продлить означенный контракт еще на год. Ваш юмор вполне удовлетворял нас по своему стилю и, видимо, отвечал запросам значительной части наших читателей. Однако в последние два месяца мы заметили, что качество его определенно снизилось.

Прежде Ваше остроумие отличала непосредственность, естественность и легкость. Теперь в нем чувствуется что-то вымученное, натянутое и неубедительное, оставляющее тягостное впечатление напряженного труда и усилий.

Разрешите еще раз выразить сожаление, что мы не считаем возможным в дальнейшем числить Вас среди наших сотрудников.

С совершенным почтением

*Редактор*".

Я дал письмо жене. Когда она кончила читать, лицо ее вытянулось и на глазах выступили слезы.

— Какая свинья! — воскликнула она негодуя. — Я уверена, что ты пишешь ничуть не хуже, чем раньше. Да к тому же вдвое быстрее. — И тут Луиза, очевидно, вспомнила про чеки, которые нам больше не будут присылать. — Джон! — простонала она. — Что же ты теперь будешь делать?

Вместо ответа я встал и прошелся полькой вокруг обеденного стола. Луиза, несомненно, решила, что я от огорчения лишился рассудка. А дети, мне кажется, только того и ждали — они пустились за мною следом, визжа от восторга и подражая моим пируэтам.

— Сегодня мы идем в театр! — заорал я. — А потом — все вместе кутим полночи в ресторане "Палас". Три-та-три-та-та!

После чего я объяснит свое буйное поведение, сообщив, что теперь я — совладелец процветающего похоронного бюро, а юмористика пусть провалится в тартарары — мне не жалко.

Поскольку Луиза держала в руке письмо редактора, она не нашлась, что возразить против моего решения, и ограничилась какими-то пустыми придирками, свидетельствующими о чисто женском неумении оценить такую прелесть, как задняя комната в похоронном бюро Питера Гейффа... прошу прощения, Гейффельбауэра и К°.

В заключение скажу, что сейчас вы не найдете в нашем городе такого популярного, такого жизнерадостного и неистощимого на шутки человека, как я. Снова все повторяют и цитируют мои словечки, снова я черпаю бескорыстную радость в интимной болтовне жены, а Гай и Виола резвятся у моих ног, расточая сокровища детского юмора и

не страшась угрюмого мучителя, который, бывало, ходил за ними по пятам с блокнотом.

Предприятие наше процветает. Я веду книги и присматриваю за магазином, а Питер имеет дело с поставщиками и заказчиками. Он уверяет, что при моем веселом нраве я способен любые похороны превратить в ирландские поминки.

## СЕРДЦА И РУКИ

В Денвере Балтиморский экспресс брали с бою. В одном из вагонов удобно и даже с комфортом, как свойственно бывалым пассажирам, устроилась очень хорошенькая, изысканно одетая девушка. Среди тех, кто только что сел в поезд, были двое, оба молодые, один — красивый, с дерзким, открытым лицом и такой же повадкой; другой — озабоченный, угрюмый, грузноватого телосложения, просто одетый. Они были пристегнуты друг к другу наручниками.

Двое двинулись по вагону, где незанятой оставалась лишь скамья напротив хорошенькой пассажирки. Сюда, к ней лицом, но против движения поезда, и сели неразлучные двое. Взгляд девушки, чужой, равнодушный, скользнул по ним мимоходом, и вдруг на ее лице расцвела прелестная улыбка, круглые щеки зарделись нежным румянцем, она протянула вперед маленькую руку в серой перчатке. Первые же звуки ее голоса, грудного, мелодичного и уверенного, возвестили о том, что, когда его владелица говорит, ее слушают и она к этому привыкла.

— Что ж, мистер Истон, если вам угодно, чтобы я заговорила первой, извольте. Вы нарочно не узнаете старых друзей, если встречаетесь с ними на Западе?

Услышав ее голос, тот, что помоложе, встрепенулся, секунду помедлил, как бы преодолевая легкое замешательство, но тут же справился с собой и схватил левой рукой протянутую руку.

— Как не узнать, — сказал он с усмешкой. — Мисс Фэрчайлд! Прошу извинить, что здороваюсь левой рукой, правая в настоящее время занята другим.

Он чуть приподнял правую руку, скованную блестящим “браслетом” на запястье с левой рукой его спутника. Радость в глазах девушки медленно угасла, сменяясь ужасом и недоумением. Румянец сошел с ее щек. Рот приоткрылся разочарованно и огорченно. Истон, словно наблюдая что-то забавное, коротко засмеялся и собрался было заговорить опять, но его опередил второй. Все это время острые, смысленные глаза угрюмого пассажира исподтишка следили за выражением ее лица.

— Вы уж простите, мисс, что я к вам обращаюсь, только я вижу, вы знакомы с шерифом. Так, может, попросили бы, пусть замолвит за меня словечко, когда прибудет в тюрьму. Он вам не откажет, а мне все же будет послабление. Он ведь сажать меня везет, в Левенуэрт. На семь лет, за подлог.

— Ах, вот что! — сказала пассажирка, глубоко вздохнув, и лицо ее опять порозовело. — Вот вы чем тут занимаетесь! Стали шерифом?

— Мисс Фэрчайлд, милая, надо же мне было чем-то заняться, — спокойно сказал Истон. — Деньги имеют свойство улетучиваться сами по себе, а за теми, с кем вы и я водили знакомство в Вашингтоне, без денег не угнаться. Подвернулся случай на Западе, вот я и... конечно, шерифу далекоვა-то до посла, но все же...

— А посол у нас больше не бывает, — с живостью отозвалась девушка. — И незачем ему вообще было к нам ездить. Вы могли бы знать это. Ну, а вы теперь, значит, заправский герой Дикого Запада, скачете верхом, стреляете, и на каждом шагу вас подстерегают опасности. Да, в Вашингтоне живут по-другому. А вас там многим не хватало в круту старых знакомых.

Глаза девушки чуть расширились, снова зачарованно устремились к сверкающим наручникам.

— Вы насчет них не сомневайтесь, мисс, — сказал второй. — Шерифы всегда пристегивают к себе арестантов наручниками, чтобы не сбежали. Мистер Истон свое дело знает.

— Скоро ли вас ждать обратно в Вашингтон? — спросила пассажирка.

— Боюсь, что не скоро, — сказал Истон. — Видно, кончились для меня беззаботные деньки.

— Мне страшно нравится на Западе, — без всякой связи с предыдущим сказала девушка. Глаза у нее мягко светились. Она отвела их к вагонному окну. Она заговорила прямо и просто, без гладких оборотов, предписанных воспитанием и правилами хорошего тона. — Мы с мамой прожили это лето в Денвере. Неделю назад она уехала домой, потому что прихворнул отец... Я прекрасно могла бы жить на Западе. По-моему, здешний воздух полезен для здоровья. И не в деньгах счастье. Но некоторые люди такие глупые и так все неверно понимают...

— Послушайте, это нечестно, начальник, — ворчливо сказал угрюмый. — У меня вся глотка пересохла и курить охота с утра. Неужели еще не наговорились? Взяли бы да отвели человека в вагон для курящих. Помираю без трубки.

Скованные друг с другом путники поднялись, и на лице у Истона появилась прежняя ленивая усмешка.

— Грех отказать в такой просьбе; — сказал он беспечно. — Нет лучше друга у обездоленных, чем табачок. До свидания, мисс Фэрчайлд. Ничего не поделаешь, служба.

Он подал ей руку на прощанье.

— Так жаль, что вы не на Восток, — сказала она, вновь облачаясь в латы воспитания и хорошего тона. — Но вам, очевидно, никак нельзя не ехать в Левенуэрт?

— Да, — сказал Истон. — Никак нельзя.

И двое стали бочком пробираться вдоль прохода к вагону для курящих.

Два пассажира с соседней скамьи слышали почти весь разговор. Один сказал:

— Душевный малый этот шериф. Здесь, на Западе, попадает славный народ.

— А не молод он для эдакой должности? — спросил второй.

— Почему молод! — воскликнул первый. — По-моему... Простите, да разве вы не поняли? Ну подумайте сами — какой же шериф пристегнет арестованного к своей *правой* руке?